

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Говард Филлипс
Лавкрафт

ХРЕБТЫ
БЕЗУМИЯ

«ИНОСТРАНКА»

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Говард Филлипс
Лавкрафт

ХРЕБТЫ БЕЗУМИЯ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44
Л 13

Перевод с английского

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Издание подготовлено
при участии издательства «Азбука».

- © О. Алякринский, перевод, 2016
- © И. Богданов, перевод, 2016
- © Л. Брилова, перевод, 2016
- © В. Дорогокупля, перевод, примечания, 2016
- © В. Кулагина-Ярцева, перевод, 2016
- © О. Мичковский, перевод, 2016
- © Е. Мусихин, перевод, 2016
- © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство ИНОСТРАНКА®

ISBN 978-5-389-06778-3

ПОКАЗАНИЯ РЭНДОЛЬФА КАРТЕРА

Еще раз повторяю, джентльмены: все ваше расследование ничего не даст. Держите меня здесь хоть целую вечность; заточите меня в темницу, казните меня, если уж вам так необходимо принести жертву тому несуществующему божеству, которое вы именуете правосудием, — но вы не услышите от меня ничего нового. Я рассказал вам все, что помню, рассказал как на духу, не исказив и не сокрыв ни единого факта, и если что-то осталось для вас неясным, то виною тому — мгла, застлавшая мне рассудок, и неуловимая, непостижимая природа тех ужасов, что навлекли на меня эту мглу.

Повторяю: мне неизвестно, что случилось с Харли Уорреном, хотя я думаю — по крайней мере, надеюсь, — что он пребывает в безмятежном забытье, если, конечно, блаженство такого рода вообще доступно смертному. Да, в течение пяти лет я был ближайшим другом и верным спутником Харли в его дерзких изысканиях в области неведомого. Не стану также отрицать, что человек, которого вы выставляете в качестве свидетеля, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь, в половине двенадцатого, на Гейнсвилльском пике, откуда мы, по его словам, направлялись в сторону Трясины Большого Кипариса — сам я, правда, этих деталей почти не помню. А вот то, что у нас при себе были электрические фонари, лопаты и моток провода с какими-то аппаратами на концах, я готов подтвердить даже под присягой, поскольку все эти предметы играли немаловажную роль в той нелепой

и чудовищной истории, отдельные подробности которой глубоко врезались мне в память, как бы ни была она слаба и ненадежна. Относительно же последующих событий, а также причины того, почему меня обнаружили наутро одного и в невременном состоянии на краю болота, — об этом, клянусь, мне неизвестно ничего, помимо тех фактов, которые я уже устал вам повторять. Вы говорите, что ни на болоте, ни в его окрестностях нет такого места, где мог бы произойти описанный мною кошмарный эпизод. Но я всего лишь поведал о том, что видел собственными глазами, и мне нечего добавить. Было ли это видением или бредом — о, как бы мне хотелось, чтобы это было видением или бредом! — я не знаю, но это все, что осталось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы находились вне поля зрения людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, ответить может только он сам, или его тень — или то неведомое, что я не в силах описать.

Повторяю, я не только знал, какого рода изысканиям посвящает себя Харли Уоррен, но и принимал в них определенное участие. Из его обширной коллекции старинных редких книг на запретные темы я перечитал все те, что написаны на языках, которыми я владею; таких, однако, было очень мало по сравнению с фолиантами, испещренными абсолютно неизвестными мне знаками. Большинство, насколько я могу судить, — арабскими, но в той гробовдохновенной книге, что привела к чудовищным последствиям, — в той книге, которая навсегда осталась у него в кармане, — был использован алфавит, подобного которому я никогда и нигде не встречал. Уоррен ни за что не соглашался открыть мне, о чем эта книга. Относительно же предмета наших штудий я могу лишь повторить, что сегодня уже не вполне его себе представляю. И, по правде говоря, я даже рад своей забывчивости, потому что это были жуткие изыскания, которым я предавался скорее с деланным энтузиазмом, нежели с неподдельным интересом. Уоррен всегда как-то подавлял меня, а временами я его даже побаивался. Помню, как мне стало не по себе от выражения его лица накануне того ужасного происшествия — в тот момент, когда

он с увлечением излагал мне свои мысли по поводу того, почему иные трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в своих могилах, неподвластные тлену. Но сегодня я уже не вижу причин страшиться Уоррена, ибо подозреваю, что он столкнулся с такими ужасами, рядом с которыми мой страх — ничто. Сегодня я боюсь уже не его, а *за* него.

Еще раз говорю, что я не имею достаточно ясного представления о наших намерениях в ту ночь. Несомненно лишь то, что они были самым тесным образом связаны с книгой, которую Уоррен захватил с собой, — с той самой древней книгой на непонятном языке, что пришла ему по почте из Индии месяц тому назад. Но, готов поклясться, я не знаю, что именно мы собирались найти. Свидетель показал, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвилльском пике, откуда мы держали путь в сторону Трясины Большого Кипариса. Возможно, так оно и было, но мне это как-то слабо запомнилось. Картина, врезавшаяся мне в душу — и опалившая ее, — состоит всего лишь из одной сцены. Надо полагать, было уже далеко за полночь, так как ущербный серп луны стоял высоко в застланных дымкой небесах.

Местом действия было старое кладбище, настолько старое, что я затрепетал, глядя на многообразные приметы вековой древности. Находилось оно в глубокой сырой ложине, заросшей мхом, бурьяном и причудливо стелющимися травами. Неприятный запах, наполнявший ложину, абсурдным образом связался в моем праздном воображении с гниющим камнем. Со всех сторон нас обступали дряхлость и запустение, и меня не отпускала мысль, что мы с Уорреном — первые живые существа, нарушившие многовековое могильное безмолвие. Ущербная луна над краем ложбины тускло проглядывала сквозь нездоровые испарения, которые, казалось, струились из каких-то неведомых катакомб, и в ее слабом, неверном свете я различал зловещие очертания старинных плит, урн, кенотафов и сводчатых входов в склепы — крошащихся, замшелых, темных от сырости и наполовину скрытых в буйном изобилии вредоносной растительности.

Первое, что мне запомнилось в связи с нашим пребыванием в этом чудовищном некрополе, было то, как мы с Уорреном остановились перед какой-то ветхой гробницей и скинули на землю поклажу, по-видимому принесенную нами с собой. Помню, что у меня было две лопаты и электрический фонарь, а у моего спутника — такой же фонарь и переносной телефонный аппарат. Между нами не было произнесено ни слова, ибо и место, и наша цель были нам как будто известны. Не теряя времени, мы взялись за лопаты и принялись счищать траву, сорняки и налипший грунт со старинного плоского надгробья. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы отступили на несколько шагов, чтобы окинуть взором полученный результат. Уоррен, похоже, производил в уме какие-то расчеты. Вернувшись к могиле, он взял лопату и, орудуя ею как рычагом, попытался приподнять плиту, расположенную ближе других к груде камней, которая в свое время, вероятно, представляла собою памятник. Не справившись, он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями нам удалось расшатать плиту, приподнять ее и поставить на бок.

На месте удаленной плиты обнажился черный провал, из которого вырвались клубы столь тошнотворных миазмов, что мы с отвращением отпрянули назад. Когда спустя некоторое время мы снова приблизились к яме, испарения были уже не такими густыми. Наши фонари осветили верхнюю часть каменной лестницы, сочащейся какой-то злокачественной сукровицей подземных глубин. По бокам ее тянулись влажные стены с налетом селитры. Именно в этот момент прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова. Нарушил молчание Уоррен, и голос его — приятный, бархатный тенор — был, несмотря на кошмарную обстановку, таким же спокойным, как всегда.

— Мне очень жаль, — сказал он, — но я вынужден просить тебя остаться на поверхности. Я совершил бы преступление, если бы позволил человеку с такими слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда. Ты даже не представляешь — несмот-

ря на все прочитанное и услышанное от меня, — что именно суждено мне увидеть и совершить. Это страшная миссия, Картер, и нужно обладать стальными нервами, чтобы после всего увиденного там, внизу, вернуться в мир живым и в здравом уме. Я не хочу тебя обидеть, и, видит бог, я рад, что ты со мной. Но ответственность главным образом лежит на мне, а я не считаю себя вправе увлекать такого чрезмерно впечатлительного человека к порогу возможной смерти или безумия. Ты ведь даже не можешь себе представить, что ждет меня там! Но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении — как видишь, моего провода хватит до центра Земли и обратно.

Слова эти, произнесенные бесстрастным тоном, до сих пор звучат у меня в ушах, и я хорошо помню, как пытался утешать его. Я отчаянно умолял его взять меня с собой в загробные глубины, однако он был неумолим. Он даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать на своем. Угроза эта возымела действие, ибо только он один знал нашу цель. Все эти подробности я хорошо помню, а вот в чем заключалась эта цель, теперь уже сказать не могу. С большим трудом добившись от меня согласия быть во всем ему послушным, Уоррен поднял с земли катушку с проводом и настроил аппараты. Я взял один из них и уселся на старый, заплесневелый камень подле входа в гробницу. Уоррен пожал мне руку, взвалил на плечо моток провода и скрылся в недрах мрачного склепа.

С минуту мне был виден отблеск его фонаря и слышно шуршание сходящего с катушки провода, но потом свет внезапно исчез, как если бы лестница сделала резкий поворот, и почти сразу вслед за этим пропал и звук. Я остался один, но у меня была связь с неведомыми безднами через магический провод, обмотка которого зеленовато поблескивала в слабых лучах лунного серпа.

Я то и дело высвечивал фонарем циферблат часов и с лихорадочной тревогой прижимал ухо к телефонной трубке, однако в течение четверти часа до меня не доносилось ни

звука. Потом в трубке раздался слабый треск, и я взволнованным голосом выкрикнул в нее имя своего друга. Несмотря на все свои предчувствия, я все же никак не ожидал услышать те слова, что донеслись до меня из глубин проклятого склепа и были произнесены таким возбужденным, дрожащим голосом, что я не сразу узнал по нему своего друга Харли Уоррена. Еще совсем недавно казавшийся таким невозмутимым и бесстрастным, теперь он говорил шепотом, который звучал страшнее, чем самый душераздирающий вопль:

— Боже! Если бы ты только видел то, что вижу я!

Я был не в силах произнести ни слова, и мне оставалось только безмолвно внимать голосу на другом конце трубки. И тогда до меня снова донеслись исступленные возгласы:

— Картер, это ужасно! Это чудовищно! Это просто невозобразимо!

На этот раз голос не изменил мне, и я разразился целым потоком тревожных вопросов. Вне себя от ужаса, я твердил снова и снова:

— Уоррен, что случилось? Говори же, что происходит?

И вновь я услышал голос друга — искаженный страхом голос, в котором явственно слышались нотки отчаяния:

— Я ничего не могу тебе сказать, Картер! Это выше всякого разума! Я просто не вправе ничего тебе говорить, ты слышишь? Кто знает об этом, тот уже не жилец. Господи! Я ждал чего угодно, но только не этого.

Снова тишина, если не считать бессвязного потока вопросов с моей стороны. Потом опять раздался голос Уоррена — на этот раз проникнутый беспредельным ужасом.

— Картер, ради всего святого — верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно! Скорей! Бросай все и беги — это твой единственный шанс на спасение. Делай, как я говорю, и ни о чем не спрашивай!

Я слышал все это и тем не менее продолжал исступленно задавать вопросы. Меня окружали могилы, тьма и тени, подомной таился ужас, недоступный воображению смертного. Но друг мой находился в еще большей опасности, нежели я,

и, несмотря на страх, мне было даже обидно, что он полагает меня способным покинуть его при таких обстоятельствах. Еще несколько щелчков, и после короткой паузы вновь отчаянный вопль Уоррена:

— Сматывайся! Ради бога, верни плиту на место и дергай отсюда, Картер!

То, что мой спутник опустился до столь вульгарных выражений, указывало на крайнюю степень его потрясения, и эта последняя капля переполнила чашу моего терпения. Молниеносно приняв решение, я закричал:

— Уоррен, держись! Я спускаюсь к тебе!

Но на эти слова абонент мой откликнулся воплем, в котором сквозило теперь уже безысходное отчаяние:

— Не смей! Как ты не понимаешь! Слишком поздно! Я виноват — мне и отвечать! Бросай плиту и беги — мне уже ничто не поможет!

Тон Уоррена опять переменялся. Он сделался мягче, в нем была слышна горечь безнадежности, но в то же время ясно звучала тревога за мою судьбу.

— Поторопись, не то будет слишком поздно!

Я старался не придавать его увещаниям большого значения, пытаюсь стряхнуть с себя оцепенение и наконец прийти к нему на помощь. Но когда он заговорил в очередной раз, я по-прежнему сидел без движения, скованный тисками ледящего ужаса.

— Картер, поспеши! Не теряй времени! Это бессмысленно... тебе нужно уходить... лучше я один, чем мы оба... плиту...

Пауза, щелчки и вслед за тем слабый голос Уоррена:

— Почти все кончено... не продлевай мою агонию... завали вход на эту чертову лестницу и беги что есть мочи... ты только зря теряешь время... прощай, Картер... прощай навсегда...

Тут Уоррен резко перешел с шепота на крик, завершившийся воплем, исполненным тысячелетнего ужаса:

— Будь они прокляты, эти исчадия ада! Их здесь столько, что не счесть! Господи!.. Беги! Беги! БЕГИ!

Потом наступило молчание. Мне показалось, будто я несколько веков просидел там недвижимый, шепча, бубня, бормоча, взывая, крича и вопя в телефонную трубку. Века сменялись веками, а я все сидел и шептал, бормотал, звал, кричал и вопил:

— Уоррен! Уоррен! Ты меня слышишь? Где ты?

А потом на меня обрушился тот ужас, что явился апофеозом всего произошедшего — ужас невыразимый, невообразимый и почти невыразимый. Я уже говорил, что как будто вечность миновала с тех пор, как Уоррен прокричал свое последнее отчаянное предупреждение, и что теперь только мои крики нарушали гробовую тишину. Однако через некоторое время в трубке снова раздались щелчки, и я весь превратился в слух.

— Уоррен, ты здесь? — позвал я его снова, и в ответ услышал то, что навлекло на мой рассудок беспроглядную мглу.

Я даже не пытаюсь дать себе отчет в том, что это было — я имею в виду голос, джентльмены, — и не решаюсь описать его подробно, ибо первые же произнесенные им слова заставили меня лишиться чувств и привели к тому провалу в сознании, что продолжался вплоть до момента моего пробуждения в больнице. Стоит ли говорить, что голос был низким, вязким, глухим, далеким, замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Это все, что я могу сказать. На этом кончаются мои отрывочные воспоминания, а с ними и мой рассказ. Я услышал этот голос — и впал в беспамятство. На неведомом кладбище в глубокой сырой ложине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, среди буйных зарослей и вредоносных испарений я сидел, оцепенело наблюдая за пляской бесформенных, жадных до тлена теней под бледной ущербной луной, когда из самых сокровенных глубин зияющего склепа до меня донесся этот голос.

И вот что он произнес:

— ГЛУПЕЦ! УОРРЕН МЕРТВ!

НЕИМЕНУЕМОЕ

Как-то осенью, под вечер, мы сидели на запущенном надгробии семнадцатого века посреди старого кладбища в Археме и рассуждали о неименуемом. Устремив взор на исполинскую иву, в ствол которой почти целиком выросла старинная могильная плита без надписи, я принялся фантазировать по поводу той, должно быть, нездешней и, вообще, страшно сказать какой пищи, которую извлекают эти гигантские корни из почтенной кладбищенской земли. Приятель мой ворчливо заметил, что все это суший вздор, так как здесь уже более ста лет никого не хоронят и, стало быть, в почве не может быть ничего такого особенного, чем бы могло питаться это дерево, кроме самых обычных веществ. И вообще, добавил он, моя непрерывная болтовня о «неименуемом» и разном там «страшно сказать каком» — все это пустой детский лепет, вполне под стать моим потугам на литературном поприще. По его мнению, у меня была нездоровая склонность заканчивать свои рассказы описанием всяческих кошмарных видений и звуков, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они даже не могут поведать о случившемся другим людям. Всем, что мы знаем, заявил он, мы обязаны своим пяти органам чувств, а также интуитивным прозрениям; следовательно, не может быть и речи о таких предметах или явлениях, которые бы не поддавались либо строгому описанию, основанному на достоверных фактах, либо истолкованию в духе

канонических богословских доктрин — в качестве же последних предпочтительны догматы конгрегационалистов со всеми их модификациями, привнесенными временем и ээром Артуром Конан Дойлем.

С Джоэлом Мэнтоном (так звали моего приятеля) мы частенько вели долгие и нудные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и вырос в Бостоне, где и приобрел то характерное для жителей Новой Англии самодовольство, что отличается глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Если что-нибудь и имеет подлинную эстетическую ценность, полагал Мэнтон, так это наш обычный, повседневный опыт, и, следовательно, художник призван не возбуждать в нас сильные эмоции посредством увлекательного сюжета и изображения глубоких переживаний и страстей, но поддерживать в читателе умеренный интерес и воспитывать вкус к точным, детальным отчетам о будничных событиях. Особенно же претила ему моя излишняя сосредоточенность на мистическом и необъяснимом; ибо, несравнимо глубже веруя в сверхъестественное, нежели я, он не выносил, когда потустороннее низводили до уровня обыденности, делая его предметом литературных упражнений. Его логичному, практическому и трезвому уму было не дано понять, что именно в уходе от житейской рутины и в произвольном манипулировании образами и представлениями, обычно подгоняемыми нашей ленью и привычкой под избитые схемы действительной жизни, можно черпать величайшее наслаждение. Все предметы и ощущения имели для него раз и навсегда заданные пропорции, свойства, причины и следствия; и, хотя он смутно осознавал, что мысль человеческая временами может сталкиваться с явлениями и ощущениями отнюдь не геометрического характера, абсолютно не укладывающимися в рамки наших представлений и опыта, он все же считал себя вправе проводить условную границу и выдвирать за ее пределы все, что не может быть испытано и осмыслено среднестатистическим гражданином. Наконец,

он был почти уверен в том, что не может быть ничего настоящего «неименуемого». Само это слово казалось ему лишенным смысла.

Пытаясь переубедить этого самодовольного материалиста-ортодокса, я прекрасно сознавал всю тщетность лирических и метафизических аргументов, однако было в обстановке нашего вечернего диалога нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычного спора. Полуразрушенные плиты, патриархальные деревья и обступавшие кладбище со всех сторон остроконечные крыши старинного городка с его колдовскими преданиями — все это вкупе подвигло меня встать на защиту своего творчества, и вскоре я уже разил врага его собственным оружием. Перейти в контратаку, впрочем, не составило особого труда, поскольку я знал, что Джозел Мэнтон весьма чувствителен ко всякого рода поверьям, над которыми в наши дни смеется любой мало-мальски образованный человек. Я говорю о таких представлениях, как, например, то, что после смерти человек может объявляться в самых отдаленных местах или что на окнах навеки запечатлеваются предсмертные образы людей, глядевших в них в течение всей жизни. Серьезно относиться к тому, о чем шушукаются деревенские старушки, заявил я для начала, ничуть не лучше, чем верить в посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных двойников, а также в явления, не укладывающиеся в рамки обычных представлений. Ибо если верно, что мертвец способен передавать свой видимый или осязаемый образ в пространстве (на расстояние в полземного шара) и во времени (через века), то так ли уж абсурдно предполагать, будто заброшенные дома населены непонятными тварями, обладающими органами чувств, или что старые кладбища накапливают в себе разум поколений, чудовищный и бесплотный? И если те свойства, что мы приписываем душе, не подчиняются никаким физическим законам, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая

чисто духовная сущность, принимающая такую форму — или скорее бесформенность, — которая необходимо должна представляться наблюдателю чем-то абсолютно «неименуемым»? И вообще, когда размышляешь о подобных материях, то лучше всего оставить в покое так называемый «здравый смысл», который в данном случае означает не что иное, как элементарное отсутствие воображения и гибкости ума. Последнюю мысль я высказал Мэнтону тоном дружеского сочувствия.

День клонился к закату, но нам даже не приходило в голову закругляться с беседой. Мэнтон оставался глух к моим доводам и продолжал оспаривать их с той убежденностью в своей правоте, каковая, вероятно, и принесла ему успех на педагогической ниве. Я же имел в запасе достаточно веские аргументы, чтобы не опасаться поражения. Стемнело, в отдельных окнах замерцали огоньки, но мы не собирались покидать свое удобное место на гробнице. Моего прозаического друга, по-видимому, нисколько не смущала ни глубокая трещина, зиявшая в поросшей мхом кирпичной кладке прямо за нашей спиной, ни окружавший нас крошечный мрак, объяснявшийся тем, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшей освещенной улицей возвышалось полуразрушенное нежилое здание, выстроенное еще в семнадцатом веке. Здесь, в этой непроглядной тьме, на полуразвалившейся гробнице вблизи заброшенного дома, мы вели нескончаемую беседу о «неименуемом», и, когда Мэнтон наконец устал отпускать язвительные замечания, я поведал ему об одном ужасном случае, действительно имевшем место и легшем в основу того из моих рассказов, над которым он более всего смеялся.

Рассказ этот назывался «Чердачное окно». Он был опубликован в январском выпуске «Шепотов» за 1922 год. Во многих городах страны, в особенности на Юге и на Тихоокеанском побережье, номер с этим рассказом даже убрали с прилавков, удовлетворяя жалобам слаонервных нытиков. Одна лишь Новая Англия оставалась невозмутимой и только пожимала плечами в ответ на мою эксцентричность. Преж-

де всего, утверждали мои критики, пресловутое существо просто биологически невозможно и то, что я о нем сообщаю, представляет собой всего лишь одну из версий расхожей деревенской байки, которую Коттон Мэзер лишь по чрезмерной доверчивости вставил в свой эклектичный опус «Великие деяния Христа в Америке», причем подлинность этой небылицы настолько сомнительна, что сей почтенный автор даже не рискнул назвать место, где произошел ужасный случай. Столь же неприемлемым для них было то, как я развил и разукрасил представленную в вышеупомянутой книге голую сюжетную канву, тем самым окончательно разоблачив себя как легкомысленного и претенциозного графомана. Мэзер и правда писал о появлении на свет некоего существа, но кто, кроме дешевого сенсуалиста, мог бы поверить, что оно выросло и взяло себе за привычку по ночам заглядывать в окна домов, а днем прятаться на чердаке заброшенного дома, и так до тех пор, пока столетие спустя какой-то прохожий не увидел его в чердачном окне, а потом так и не смог объяснить, отчего у него поседел волосы? Все это было чистой воды вымыслом, притом нелепым, и приятель мой в очередной раз огласил эту точку зрения. Тогда я поведал ему о содержании дневника, обнаруженного среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы находились, и датированного 1706–1723 годами. В дневнике упоминалось о необычных шрамах на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэзера в подлинности этого свидетельства. Я также рассказал ему о страшных историях, имеющих хождение среди местного населения и передаваемых по секрету из поколения в поколение, а также о том, как отнюдь не в переносном смысле сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы взглянуть на некие следы, на которые намекала традиция.

Да, то было время диких суеверий — какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая массачусетские летописи пуританской эпохи? Сколь бы немногочисленными ни

были наши сведения о том, что скрывалось за внешней стороной событий, но уже по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной вырывался и бил ключом, можно судить о всей степени разложения. Ужас перед черной магией — одно из объяснений того кошмара, что царил в смятенных умах человеческих, но даже и это не главное. Из жизни изгонялась красота, изгонялась свобода — об этом можно судить по бытовым и архитектурным останкам эпохи, а также по ядовитым проповедям невежественных богословов. Под смиренной рубашкой из ржавого железа таилась дурная злоба, извращенный порок и сатанинская одержимость. Вот в чем заключался подлинный апофеоз Неименуемого!

Ни единого слова не смягчил Коттон Мэзер, когда разрился анафемой в своей демонической шестой книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты. Сурово, словно библейский пророк, в немногословной и бесстрастной манере, в какой не умел выражаться никто после него, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между собою и человеком, нечто, обладающее дурным глазом, и о несчастном пьянчуге, повешенном, несмотря на все его просьбы и вопли, за одно лишь то, что у него на глазу было бельмо якобы столь же дурного свойства. На этом откровенность Мэзера заканчивается, и он не делает ни малейшего намека на то, что произошло в дальнейшем. Возможно, он просто не знал, а может быть, и знал, да не посмел сказать. Потому что все, кто знал, предпочитали молчать, и до сих пор неизвестно, что заставляло их переходить на шепот при упоминании о замке на двери, скрывавшей за собой чердачную лестницу в доме бездетного, убогого и угрюмого старца, установившего на могиле, которую все обходили стороной, плиту без надписи. На этот счет существует достаточное количество уклончивых слухов, от которых стынет самая пылкая кровь.

Все эти сведения я почерпнул из найденной мною семейной хроники; там же содержится множество скрытых наме-

ков и не предназначенных для посторонних ушей историй о существах с дурным глазом, появлявшихся по ночам то в окнах, то на безлюдных лесных опушках. Возможно, что именно одна из таких тварей напала на моего предка ночью на проселочной дороге, оставив следы рогов на его груди и царапины, как от обезьяньих лап, на спине. На самой же дороге были обнаружены четко отпечатавшиеся в пыли отпечатки копыт и чего-то еще, имеющего отдаленное сходство со ступнями человекообразной обезьяны. Один почтальон рассказывал, как, проезжая верхом по делам службы, он видел вышеупомянутого старика, преследовавшего и окликавшего какое-то гадкое существо, вприпрыжку уносившееся прочь. Дело происходило на Медоу-Хилл незадолго до рассвета при тусклом сиянии луны. Интересно, что многие поверили почтальону. Доподлинно известно также то, что в 1710 году, в ночь после похорон убогого и бездетного старца (тело которого положили в склеп позади его дома, рядом со странной плитой без надписи) на кладбище раздавались какие-то голоса. Дверь на чердак отпирать не решились, и дом был оставлен таким, каким был, — мрачным и заброшенным. Когда из него доносились звуки, все вздрагивали и перешептывались, ободряя себя надеждой на прочность замка на чердачной двери. Надежде этой пришел конец после кошмара, случившегося в доме приходского священника, жильцов которого обнаружили не просто бездыханными, но разодранными на части. С годами легенды все более приобретали характер историй о привидениях — вероятно, по той причине, что если отвратительное существо действительно когда-то жило, то потом оно, как я полагаю, скончалось. Сохранилась лишь память о нем — тем более ужасная оттого, что она держалась в строгой тайне.

За время моего рассказа Мэнтон потерял свою обычную словоохотливость, и я сделал вывод, что слова мои произвели на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, как обычно, но вполне серьезным тоном осведо-

мился у меня о том пареньке, что сошел с ума в 1793 году и явился прототипом главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем тому мальчику потребовалось посетить мрачный заброшенный дом, который все обходили стороной. Случай этот не мог не заинтересовать моего приятеля, поскольку он верил в то, что на окнах запечатлеваются лица людей, сидевших перед ними. Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах пресловутого чердака, паренек решил сам сходить и поглядеть на них — и вернулся, заходясь в истошном крике.

Пока я говорил, Мэнтон был погружен в глубокую задумчивость, но, как только я закончил, он сразу вернулся в свое обычное скептическое расположение духа. Допустив, хотя бы в качестве предпосылки для дальнейшей дискуссии, что какой-то противоестественный монстр существовал на самом деле, Мэнтон, однако, посчитал своим долгом напомнить мне, что даже к самому патологическому извращению природы вовсе не обязательно относиться как к «неименуемому» или, скажем, неопишуемому средствами современной науки. Признав, что я отдаю должное его здравомыслию и несгибаемости, я привел еще несколько свидетельств, добытых мной у очень пожилых людей. В этих позднейших историях с привидениями, пояснил я, речь шла о фантомах столь ужасных и отвратительных, что никак нельзя предположить, чтобы они имели органическое происхождение. Это были кошмарные призраки гигантских размеров и самых чудовищных очертаний, в одних случаях видимые, в других — только ощутимые; в безлунные ночи они как бы плыли по воздуху, появляясь то в старом доме, то возле склепа позади него, то на могиле, где рядом с безымянной плитой пустило корни молодое деревце. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как то утверждала голословная молва, или нет, я не знаю, но, во всяком случае, призраки эти производили сильное и неизгладимое впечатление. Неспроста старейшие из местных жителей так страшились их еще каких-ни-

будь два поколения назад, и лишь в последнее время о них почти перестали вспоминать, что, кстати, и могло послужить причиной их ухода в небытие. Наконец, если взглянуть на проблему с эстетической точки зрения и вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные эманации, или призраки, человеческих существ, то вряд ли стоит ждать связного и членораздельного описания в тех случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной парообразной мерзостью, как дух злобной, уродливой бестии, само существование которой уже есть страшное кощунство по отношению к природе. Эта чудовищная химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, — не представляет ли она во всей неприглядной наготе все подлинно, вопиюще неименуемое?

Должно быть, час уже был очень поздний. Летучая мышь на удивление бесшумно пролетела мимо; она задела меня крылом, да и Мэнтон, вероятно, тоже — в темноте я не видел его, но мне показалось, что он взмахнул рукой.

— А дом? — заговорил он спустя некоторое время. — Дом с чердачным окном — он сохранился? И там по-прежнему никто не живет?

— Да, я видел его собственными глазами.

— Ну и как? Там что-нибудь было? Я имею в виду, на чердаке или где-нибудь еще...

— Там, в углу на чердаке, лежали кости. Не исключено, что именно их и увидал тот паренек. Слабонервному, чтобы свихнуться, и того достаточно, ибо если все эти кости принадлежали одному и тому же существу, то это было такое кошмарное чудовище, какое может привидеться только в бреду. С моей стороны было бы кощунством не избавить мир от этих костей, поэтому я сходил за мешком и оттащил их к могиле за домом. Там была щель, в которую я их и свалил. Только не сочти меня за идиота! Видел бы тот череп! У него были рога сантиметров по десять в длину, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас с тобой.

Вот когда я почувствовал, как Мэнтон, который придвинулся почти вплотную ко мне, пробрала настоящая дрожь! Но любопытство его оказалось сильнее страха.

— А окна?

— Окна? Они все были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Представь себе такие небольшие ромбовидные окна с решетками, что вышли из моды еще до тысяча семисотого года. Думаю, что стекла в них отсутствовали уже лет сто, не меньше. Кто знает, может быть, их выбил тот паренек? Предание молчит на этот счет.

Мэнтон снова затих. Он размышлял.

— Знаешь, Картер, — заговорил он наконец, — мне бы хотелось взглянуть на этот дом. Ты мне его покажешь? Черт с ними, со стеклами, меня интересует сам дом. И та могила, куда ты свалил кости. И другая могила, без надписи. Ты прав, от всего этого веет какой-то жутью.

— Ты уже видел этот дом, Мэнтон. Он торчал у тебя перед глазами весь сегодняшний вечер.

Некоторый налет театральности, с которым я произнес последнюю фразу, подействовал на моего приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать: судорожно отпрянув от меня, он издал оглушительный вопль, сопровождаемый таким призывком, словно он освобождался от удушья, ибо вопль этот вместил в себя все накопившееся и сдерживаемое дотоле напряжение. Да, надо было слышать этот крик! Но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ! Не успело стихнуть эхо, как из крошечной тьмы донесся скрип, и я догадался, что открылось одно из решетчатых окон в этом проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того, поскольку все рамы, кроме одной, давным-давно выпали, я понял, что скрип этот издает кошмарная пустая рама пресловутого чердачного окна.

Потом все с той же закнутой стороны дохнуло затхлым воздухом могилы, и сразу вслед за тем, совсем уже близко от меня, раздался пронзительный крик; он исходил из той жут-

кой гробницы, где покоились человек и монстр. В следующее мгновение удар чудовищной силы, нанесенный мне невидимым объектом громадных размеров и неизвестных свойств, сбросил меня с моего скорбного сиденья, и я растянулся на плененной корнями почве зловещего погоста, в то время как из могилы вырвалась такая адская какофония шумов и сдавленных хрипов, что фантазия моя мгновенно населила окружающий беспросветный мрак мильтоновскими легионами безобразных демонов. Поднялся вихрь иссушающе-ледяного ветра, раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки, но, прежде чем понять, что произошло, я милостью божьей лишился чувств.

Не обладая моим крепким телосложением, Мэнтон, однако, оказался более живучим, и, хотя он пострадал сильнее моего, мы очнулись почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и через несколько секунд нам стало ясно, что мы находимся в больнице Святой Марии. Персонал сгорал от любопытства; нас обступили со всех сторон и, чтобы освежить нашу память, рассказали нам о том, как мы попали сюда. Оказалось, что какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Медоу-Хилл, примерно в миле от старого кладбища, в том самом месте, где некогда, по слухам, находилась бойня. У Мэнтона было две глубоких раны на груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине. Я отделался более легкими повреждениями, зато все тело мое было покрыто ссадинами и синяками самого странного характера — один из кровоподтеков, например, напоминал след копыта.

Мэнтон явно знал больше, чем я, однако озадаченные и заинтригованные врачи не смогли добиться от него ни слова до тех пор, пока он не выведал у них все, что касалось наших ран. Только после этого он сообщил, что мы стали жертвами разъяренного быка — выдумка, на мой взгляд, довольно неудачная, ибо откуда было взяться в таком месте быку?

Как только врачи и сиделки удалились, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным благоговейного ужаса, спросил:

— Но, боже правый, Мэнтон, что это было на самом деле? Что-то такое, о чем можно судить по нашим ранам?

И хотя я почти догадывался, каким будет ответ, он ошеломил меня настолько, что я даже не ощутил чувства торжества от одержанной победы.

— Нет, *это было нечто совсем другое*, — прошептал Мэнтон. — Оно было повсюду... какое-то желе... слизь... И в то же время оно имело очертания, тысячи очертаний, столь кошмарных, что они бегут всякого описания. Я видел там глаза — и в них проклятие! Это была какая-то бездна... пучина... воплощение вселенского ужаса! Картер, *это было неименуемое!*

СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ

В тридцать лет Рэндольф Картер утратил ключ, отмыкавший врата в мир его снов. Прежде он мог компенсировать прозаичность повседневного существования увлекательными ночными странствиями по затерянным древним городам и сказочно прекрасным землям на берегах эфемерных морей, но с годами чудесные сны все реже посещали Картера, и наконец тот мир стал для него недоступным. Его галеры уже не могли подняться к верховьям полноводного Украноса мимо золоченых шпилей Франа, а караваны слонов не брели сквозь напоенные ароматами джунгли Кледа, где в лунном свете сонно белели давно опустевшие, но незатронутые временем колоннады прекрасных дворцов.

Он прочел много книг об окружавшем его реальном мире и много беседовал с различными людьми. Исполненные благих побуждений философы учили его рассуждать логически и анализировать процессы, подспудно формировавшие его желания и фантазии. Так понемногу он утратил способность удивляться и позабыл о том, что вся наша жизнь — это лишь цепь возникающих в сознании образов, а поскольку нет никакой существенной разницы между отражениями объективной реальности и образами, порожденными фантазией, то нет и причин отдавать кому-то из них предпочтение. Вместо этого ему внушали почти суеверное благоговение перед материальными, осязаемыми вещами, заставляя его втайне стыдиться своих странных видений. Умудренные опытом

люди называли их детскими глупостями, тем более нелепыми, что эти видения настойчиво претендовали на особую значимость и некий скрытый смысл, тогда как бестолковое вращение вселенной продолжало перемалывать нечто в ничто лишь затем, чтобы из этого ничто вновь сделать нечто, не замечая искорок чьих-то желаний и устремлений, вспыхивающих и тут же гаснущих в беспредельном мраке.

Эти трезвые умы хотели прочно приковать его к незыблемому порядку вещей, разъясняя суть и практическое назначение каждой вещи, дабы изгнать ненужные тайны из мира, где должно властвовать знание. Он инстинктивно сопротивлялся, надеясь вернуться в те сумеречные сферы, где разрозненные фрагменты видений и мимолетные ассоциации волшебным образом сливались в сознании, даря ему трепетное предвкушение чуда; они же в свою очередь обращали его к чудесам современной науки, побуждая искать красоту в схеме строения атома и траекториях движения небесных тел. Когда же ему не удавалось по достоинству оценить все прелести чего-то давно изученного, рассчитанного и измеренного, его называли лишенным воображения, интеллектуально незрелым типом, поскольку он предпочитал зыбкие иллюзии своих снов добротным и очевидным иллюзиям утвержденного миропорядка.

Картер, как мог, старался не выделяться из толпы, на словах признавая превосходство простейших обывательских эмоций над вычурными фантазиями немногих изощренных душ. Он не возражал, когда ему говорили, что реальные физические ощущения — вроде предсмертной боли свиньи под ножом мясника или желудочных колик у какого-нибудь фермера — значат для этого мира куда больше, нежели бесподобная красота Нарафа с его сотней узорчатых ворот и хрустальными куполами, смутные воспоминания о которых сохранились у него от прежних снов. Следуя мудрым советам, он усердно воспитывал в себе общепринятополезную способность к сопереживанию и состраданию.

При всем том он не мог не замечать, какими мелкими, переменчивыми и, по сути, бесцельными являются все наши устремления и как печально контрастируют истинные побудительные мотивы наших действий с высокими идеалами, эти действия якобы направляющими. Для маскировки своих истинных чувств он пользовался легкой иронией — тем самым средством, которое его учили применять в борьбе с абсурдными, напрочь оторванными от реальности видениями. Он ясно сознавал, что наша повседневность насквозь фальшива и ничуть не менее абсурдна, чем его сны, которые еще много выигрывали при сравнении с этим обделенным красотой и упрямо не желающим признавать собственную несостоятельность миром. Как следствие, он превратился в своего рода юмориста, еще не ведая, что юмор тоже бесполезен как прибежище в нашей дремучей вселенной, не способной уловить элементарную связь между причиной и следствием.

С утратой снов оказавшись целиком во власти реального мира, он сначала попытался найти утешение в религии — в той наивной вере отцов, которая предполагала некий мистический путь ухода от обыденности. Однако при ближайшем рассмотрении он обнаружил, что здесь правят бал те же банальность и косность вкупе с чахлым подобием красоты, глупой напыщенностью и смехотворными претензиями на непогрешимость. Его никак не могли впечатлить неуклюжие попытки церкви законсервировать в качестве непреложной истины суеверные страхи и домыслы наших далеких предков, которые таким образом реагировали на что-либо недоступное их пониманию. С возрастающим раздражением наблюдал Картер за тем, как люди всерьез пытаются строить земную жизнь на базе отживших преданий и мифов, убедительно опровергаемых каждым новым открытием их же собственной хваленной науки. Эта неуместная серьезность окончательно убила в Картере интерес, который он вполне мог бы питать к древним верованиям, если бы их эмоциональный заряд и красочные ритуалы представляли в своем истинном, сказочно-фантазийном обличье.

Впоследствии Картер свел знакомство с людьми, отвергавшими старые мифы, но те оказались еще безнадежнее религиозных фанатиков. Им было не дано усвоить, что красота неразрывно связана с гармонией и потому в суетливом многообразии космоса возможно только одно приемлемое для всех понятие красоты: это нечто гармонирующее с нашими снами, мечтами и воспоминаниями и позволяющее нам сотворить свой собственный маленький мир, отгороженный от вселенского хаоса. Эти люди не понимали, что добро и зло, красота и уродство являются всего лишь декоративным обрамлением картины мира, а вся их ценность заключается в том, что они дают нам некоторое представление о мыслях и чувствах наших предков, создававших те или иные детали орнамента, сугубо индивидуального для каждой культуры и каждой расы. Вместо этого «вольнодумцы» либо полностью отрицали все эти понятия, либо сводили их к примитивным и грубым инстинктам, тем самым практически не отличаясь от дикарей и животных. В их уродливо искаженном сознании каким-то образом угнездилось чувство гордости за свое «духовное освобождение», при том что они оставались рабами предрассудков ничуть не менее пагубных, нежели те, от которых они якобы освободились. В сущности, они всего-навсего сменили идолов: место слепого страха и бездумного благочестия заняли вседозволенность и анархия.

Картера не прельстили эти новомодные, обретенные по дешевке и дурно пахнущие «свободы»; они оскорбляли его представление о красоте, а его разум восставал против убогих логических потуг, посредством которых доморощенные идеологи пытались облагородить свои изначально ущербные постулаты, навесив на них культовую мишуру, снятую с ими же ниспровергнутых старых идолов. Большинство из них пребывало в заблуждении относительно смысла жизни, полагая его некой самодовлеющей категорией, одинаково применимой ко всем и каждому. При этом они не могли обойтись без привычных понятий морали и долга, никак не соотносимых с понятием красоты, хотя сама Природа в свете их

научных открытий подтверждала свою абсолютную независимость от каких-то умозрительных нравственных норм. Приняв за аксиому иллюзии справедливости, свободы и формальной логики, они поспешили отвергнуть прежние знания и верования, даже не дав себе труда подумать о том, что эти же самые знания и верования лежат в основе их нынешних убеждений и являются их единственным ориентиром в бессмысленной и хаотичной вселенной. Лишившись этого ориентира, их жизнь вместе с тем лишилась и конкретной цели, что вынудило их искать спасение от смертной тоски в нарочитой деловитости, в диких буйствах и грубых чувственных наслаждениях. А когда все это приелось до тошноты, они обратились к иронии и сарказму, избрав главным объектом нападок очевидные всем недостатки общественного устройства. Этим несчастным было невдомек, что их сознательно упрощенный и огрубленный подход к действительности покоится на столь же шаткой основе, что и религиозное мировоззрение их предшественников, а сегодняшняя удовлетворенность жизнью может завтра обернуться жестоким разочарованием. По-настоящему насладиться спокойной и неувядающей красотой можно только в счастливых снах, однако наш мир лишил себя такой возможности, в угаре идолопоклонства утратив драгоценный дар детской чистоты и невинности.

Посреди этого хаоса Картер пытался вести образ жизни, подобающий благоразумному и воспитанному человеку своего круга. С годами воспоминания о чудесных снах слабели, а утвердиться в какой-либо новой вере он так и не смог, но стремление сохранить душевную гармонию вынуждало его следовать правилам поведения, обусловленным его расовой принадлежностью и социальным статусом. Бесстрастно проходил он улицами многих городов и только порою вздыхал, когда игры солнечных бликов, золотящих высокие кровли, или мягкий свет вечерних фонарей на окруженной балюстрадами старой площади напоминали о давних снах и пробуждали тоску по сказочным мирам, куда у него уже не было

доступа. Путешествия не могли послужить им достойной заменой, и даже мировая война оказалась для Картера лишь слабой встряской — это при том, что он воевал чуть ли не с первых дней, завербовавшись во французский Иностранный легион. На фронте он завел было друзей, но вскоре начал тяготиться их обществом, однообразием и приземленностью их чувств. Отсутствие контактов с родственниками, оставшимися за океаном, его скорее радовало, нежели огорчало, так как среди этой родни он не имел по-настоящему родственных душ, за исключением дедушки да еще двоюродного деда Кристофера, но эти двое уже давно умерли.

По окончании войны он вернулся к сочинительству, которое забросил, когда его перестали посещать сны. Но и это занятие не приносило ему удовлетворения, поскольку теперь он уже не мог оторваться от земной суеты и свободный полет фантазии остался в прошлом. Язвительная ирония без труда разрушала хрупкие минареты, сотворенные его воображением, а боязнь неправдоподобия оказалась губительной для нежных цветов, которые он взращивал в сказочных садах. Попытки сопереживать героям своих книг лишь придавали этим образам слезливо-сентиментальный налет, тогда как стремление к жизненной убедительности низводило повествование до уровня неуклюжей аллегии либо пошлой социальной сатиры. При всем том его новые романы имели куда больший успех, чем прежние. Осознавая, сколь пустым должно быть сочинение, способное угодить вкусам пустоголовой толпы, он сжег свои рукописи и оставил литературное поприще. В тех стилистически изысканных романах он иногда посмеивался над собственными сновидениями, обрисовывая их как бы мимоходом, небрежными штрихами, отчего сны теряли живую энергию, задушенные праздною игрой слов.

Следующей попыткой стало сознательное удаление в мир иллюзий, обращение к загадочному и сверхъестественному как к противоядию от обыденности. Однако и здесь он вскоре столкнулся с идейным убожеством и бесплодием: модные оккультные учения на поверку оказались столь же выхоло-

щенными и закостеневшими, как научные доктрины, с которыми он имел дело прежде, но в отличие от последних не содержали даже слабого намека на истину, способного хоть как-то оправдать их существование. Откровенная глупость, фальшь и бессвязность мыслей не имели ничего общего с его снами; такие учения не могли дать прибежище умам, превосходящим жалкий уровень их адептов. Продолжая поиски в этом направлении, Картер приобретал и штудировал самые невероятные книги и искал общества самых странных людей, чей круг знаний и интересов выходил далеко за обычные рамки. Он проникал в те сферы человеческого сознания, где мало кому доводилось бывать до него, изучал потаенные глубины жизни, легенды и скупые свидетельства, восходящие к незапамятным временам. Его дом в Бостоне был максимально приспособлен к смене настроений владельца: для каждого настроения существовала особая комната, окрашенная в подходящие тона, снабженная подходящими к случаю книгами и предметами, с соответственно подобранными освещением, температурой, звуковым оформлением и запахами.

Как-то раз до него дошли сведения об одном человеке на Юге, который чуждался общества и постоянно пребывал в страхе перед какими-то чудовищными откровениями из древних книг и клинописных глиняных табличек, привезенных из Индии и Аравии. Картер отправился к нему и на протяжении семи лет делил с ним жилище и ученые занятия, но как-то в полночь на старом кладбище неизъяснимый ужас объял обоих — и только один из них вернулся оттуда, куда уходили двое. После этого Картер перебрался в Аркхем, овеянный мрачными колдовскими легендами городок в Новой Англии, с которым была тесно связана история его рода. Кое-что из пережитого им здесь, в ночной тьме среди вековых деревьев и обветшалых домов с островерхими крышами, так напугало исследователя, что он зарекся впредь открывать некоторые страницы в дневнике одного из своих безрассудных предков. Все эти занятия приблизили его к пределам реального мира, но так и не указали путь в заветную страну

сновидений. К пятидесяти годам он отчаялся найти душевный покой в мире, слишком суетном, чтобы замечать красоту, и слишком практичном, чтобы дать простор мечтаниям.

Окончательно разуверившись в этой ничтожной реальности, Картер жил отшельником, тоскуя о дивных снах своей юности. Сомневаясь, стоит ли продолжать такое существование, он раздобыл через одного знакомого в Южной Америке особенный эликсир, с помощью которого можно было без мучений и боли кануть в небытие. От этого шага его до поры удерживали только апатия и сила привычки. Мысленно возвращаясь к прошлому, он решил устранить все последние изменения в интерьере дома и постарался вернуть ему тот облик, который помнил с детства, включая оконные витражи и викторианскую мебель.

С течением времени добровольный уход из жизни перестал привлекать Картера, благо строгое затворничество в привычной с юных лет обстановке надежно отгородило его от постылой повседневности, а в его снах появились намеки на близость удивительных перемен. Уже много лет подряд ему, как и большинству людей, снились только сцены и образы, так или иначе порожденные дневными впечатлениями; однако теперь их перемежали видения иного порядка, чей потаенный смысл скрывался за внешне безобидными картинками из его детства, напоминающими о вроде бы незначительных мелочах, которые он полагал давно и прочно забытыми. Неоднократно в момент пробуждения он громко звал мать или деда, к тому времени уже четверть века покоившихся в могилах.

И наконец однажды ночью дед рассказал ему о ключе. Седой ученый муж, представший в его сне на редкость ясно и отчетливо, сначала долго рассуждал о древности их рода и о странных видениях, которые в разное время посещали отдельных его представителей, наделенных от природы повышенной чувствительностью. Он говорил о крестonosце с пламенным взором, который узнал некие страшные тайны, пребывая в сарацинском плену, и о сэре Рэндольфе Картере,

первом в роду носителе этого имени, практиковавшем магию во времена королевы Елизаветы. Он говорил также об Эдмунде Картере, который только чудом избежал петли в ходе Салемского ведьмовского процесса, — именно он упрятал в старинную шкатулку большой серебряный ключ, передававшийся в их семье по наследству. Прежде чем Картер проснулся, старик успел сообщить, где нужно искать эту дубовую, с причудливым резным орнаментом шкатулку, которую никто не открывал вот уже два столетия.

И Картер нашел ее там, где было указано: в выдвижном ящике огромного комода, пылившегося на чердаке. Шкатулка, имевшая примерно фут в длину и в ширину, была покрыта готической резьбой столь устрашающего вида, что нежелание потомков Эдмунда Картера знакомиться с ее содержимым стало понятным без дополнительных разъяснений. Это содержимое не выдало себя ни единым звуком при интенсивном встряхивании шкатулки, от которой исходил тонкий аромат каких-то экзотических пряностей. Она была окована по углам тронутым ржавчиной железом и заперта на хитроумный замок. Упомянутый дедом серебряный ключ вполне мог оказаться всего лишь одним из семейных преданий; во всяком случае, отец Рэндольфа даже не знал о существовании шкатулки. Самого же Картера не покидало смутное предчувствие, что эта находка поможет ему вернуться в давно утраченный мир сновидений, хотя дед ни словом не обмолвился на сей счет.

Старик-слуга взломал замок и не без содрогания поднял темную дубовую крышку, с которой на него злобно взирали морды каких-то отвратительных существ. Внутри, обернутый ветхим пергаментом, действительно хранился массивный ключ из потускневшего серебра с изображенными на нем загадочными знаками. Пергамент также был покрыт иероглифическими письменами на неведомом языке. Картер вспомнил, что похожие иероглифы он видел на папирусе, принадлежавшем ученому отшельнику, который однажды в полночь бесследно исчез посреди старого кладбища. Всякий

раз, читая те письма, ученый буквально трясся от страха. Невольно вздрогнул и Картер, впервые прикоснувшись к пергаменту.

Он очистил серебряный ключ от налета и с той поры держал его у себя в спальне вместе со старой шкатулкой. Сны меж тем становились все более живыми и красочными, хотя в них и не появлялись фантастические города и волшебные сады, знакомые по прежним видениям. Вместо этого к нему из глубины времен взывали голоса множества предков, направляя к чему-то скрытому у самых истоков их рода. Когда Картер понял, что ему предстоит возвращение в прошлое, его мысленный взор устремился на север — к лежащему за дальними холмами Аркхему, к берегам стремительного Мискатоника, к затерянной в сельской глуши родовой усадьбе.

И вот в один из дней на пике багряной осени Картер сел в автомобиль и поехал знакомой дорогой, минуя гряду округлых холмов и луга за каменными оградами, светлую просторную долину и сумрачный лесной массив, одинокие фермы и плавные изгибы Мискатоника с перекинутыми через поток бревенчатыми или каменными мостами. За очередным поворотом он увидел рощу гигантских вязов, в которой полтора века назад таинственным образом сгинул один из его предков, и тревожно напрягся, когда деревья качнули ветвями под порывом ветра, словно подавая ему знак. Далее путь лежал мимо бывшего обиталища старой ведьмы Гуди Фаулер с угрюмо-черными провалами окошек и несоразмерно громоздкой крышей, перекосившейся настолько, что края стропил едва не упирались в землю у северной стены дома. Картер нажал педаль газа, стремясь поскорее миновать недоброе место, и снизил скорость только перед холмом, чью вершину венчал старинный белый особняк — здесь родилась и жила его мать, а также ее предки в нескольких поколениях. Дом по-прежнему гордо взирал через ленту шоссе на впечатляющую панораму долины у подножья скалистого кряжа и на далекие шпили Кингспорта, за которыми у самого края неба угадывалась дремотная океанская синева.

Следующий, более крутой холм был уже вотчиной его родни по отцовской линии. Прошло более сорока лет с тех пор, как Картер навещал эти места в последний раз. Дорога петлями взбиралась вверх по склону. Достигнув середины подъема, он остановил машину, чтобы оглядеться. Было уже далеко за полдень, солнце клонилось к западу, и потоки волшебного золота проливались с закатного неба на долину в ее осеннем убранстве. В загадочном безмолвии этого пейзажа улавливалось некое сходство с его последними снами: и тут, и там присутствовало ожидание чуда. Картер попытался представить себе одиночество, каким оно может быть в неизмеримой дали от этого мира, на других, неведомых планетах, а его взор меж тем рассеянно блуждал по бархатной зелени давно запущенных полей с кое-где еще заметными останками изгородей, по лесам, что желто-багряными шапками покрывали уходящие вдаль холмы, по темным пятнам сырых тенистых лоцин, на дне которых лениво журчали ручьи, вымывая грунт из-под набухших узловатых корней.

У него возникло ощущение, что автомобиль будет лишним, чужеродным элементом в тех местах, куда он направлялся. Поэтому он оставил машину на заросшей обочине и, положив серебряный ключ в карман пальто, пешком продолжил путь. Густой лес сомкнул над ним ветви, но ближе к вершине холма деревья должны были расступиться — насколько он помнил, заросли вплотную подходили к усадьбе только с одной, северной стороны. Он попытался угадать, в каком состоянии окажется дом, пустовавший вот уже лет тридцать, после смерти его чудаковатого двоюродного деда Кристофера. Мальчишкой он охотно и подолгу гостил в усадьбе, всем занятиям и развлечениям предпочитая блуждания в полном тайн и загадок лесу за пределами фруктового сада.

Лесные тени сгущались, предупреждая о скором наступлении ночи. Справа меж деревьев открылся небольшой просвет, и он разглядел внизу часть долины и колокольню конгрегационалистской церкви на холме в центре Кингспорта —

закат окрасил ее стены в розовый цвет и сверкал отраженным пламенем в маленьких круглых окнах. Через несколько шагов вновь углубившись в тень, он с запоздалым удивлением сообразил, что только что увиденное могло относиться лишь к воспоминаниям из его детства, а никак не к современности, ибо та церковь была уже давно снесена, уступив место зданию благотворительной лечебницы. Помнится, он в свое время с интересом прочел газетную публикацию о подземных ходах непонятного назначения, обнаруженных строителями в скальной толще холма под фундаментом старой церкви.

Он еще не оправился от первого потрясения, когда за ним последовало новое: до его слуха донесся хорошо знакомый пронзительный голос. Бениджа Кори, слуга дяди Кристофера, уже был в преклонных летах в ту пору, когда Картер приезжал сюда ребенком. Теперь ему не могло быть менее ста лет, однако этот высокий и резкий голос ничуть не изменился и не мог принадлежать никому другому — хотя отдельные слова разобрать было трудно, характерные интонации и тембр не оставляли ни малейших сомнений. Кто бы мог подумать, что старый Бениджа до сих пор жив!

— Мистер Рэнди! Мистер Рэнди! Куда вы запропалились? Хотите до срока загнать в гроб тетушку Марту? Сколько раз она вас просила не шастать по лесу, особенно когда дело к ночи! Рэнди! Рэ-энди! Вот паршивец, небось опять ходил на старую вырубку и полдня проторчал у Змеиного логова... Ау, Рэ-энди!

...Рэндольф Картер стоял в кромешной тьме и тер глаза тыльной стороной руки. Произошло нечто странное. Он только что побывал в очень далеких, чужих местах, где ему быть совсем не полагалось, и вот сейчас непозволительно опаздывал с возвращением домой. Он не догадался уточнить время по часам на кингспортской колокольне, для чего можно было бы воспользоваться подзорной трубой; но его больше тревожило не опоздание само по себе, а то, чем оно было вызвано. Он сунул руку в карман курточки, чтобы проверить, на

месте ли подозрная труба. Ее там не оказалось, зато в кармане лежал большой серебряный ключ, вроде бы найденный им в каком-то ящике. Помнится, дядя Крис что-то рассказывал о старинной шкатулке со спрятанным внутри ключом, но тетя Марта тогда его прервала, заявив, что не годится пичкать подобными историями ребенка, чья голова и без того забита невесть какими фантазиями. Рэндольф попытался восстановить в памяти события, связанные с обретением ключа, но мысли путались, и цельной картины не получалось. Он смутно помнил чердак их дома в Бостоне и то, как он пообещал Парксу половину его недельного жалованья, если слуга поможет открыть шкатулку и сохранит это дело в тайне от старших. Он как раз мысленно представлял себе эту сцену, когда лицо Паркса вдруг невероятным образом искажилось, покрываясь морщинами, и бойкий коротышка-кокни как будто разом постарел на десятки лет.

— Рэ-энди! Рэ-энди-и!.. Эй, Рэнди!

Качающийся фонарь вынырнул из-за темных кустов на дорожном изгибе, и старый Бениджа чуть не сбил с ног маленького бродягу, в безмолвном изумлении застывшего на месте.

— Вот он где, негодник! Я тут глотку деру битый час, нешто нельзя откликнуться? Язык бы, небось, не отсох. Это ж надо: на дворе тьма крошечная, тетушка Марта вся извелась, а наш мистер Рэнди гуляет себе хоть бы хны! Вот погодите, я все расскажу дяде Крису, он вам задаст по первое число! Сколько раз вам говорили не соваться затемно в лес! Этим часом тут всякая бесовщина творится, мне про то еще мой дед сказывал. Давайте-ка поживее, мистер Рэнди, Ханна не будет всю ночь напролет держать на плите ваш ужин.

И Рэндольф Картер зашагал вверх по дороге. Любопытные звезды мигали сквозь поредевшую осеннюю листву; чуть погодя залаяли собаки, и за последним поворотом он увидел желтый свет в окнах дома и мерцающие Плеяды над высокой двускатной крышей, черный силуэт которой смутно проступал на фоне ночного неба. Тетушка Марта дожидалась их,

стоя в дверях, и на сей раз ограничилась беззлобным ворчанием, когда блудное дитя под конвоем Бениджи переступило порог. Она слишком хорошо знала дядю Криса, чтобы удивляться подобным выходкам его внучатого племянника, — что поделаешь, если у Картеров это в крови. Рэндольф никому не сказал о ключе, покорно проглотил свой ужин, но заупрямился, когда его стали укладывать спать. Зачастую ему лучше грезилось наяву, и он хотел поскорее найти верное применение своей находке.

На следующее утро Рэндольф проснулся очень рано с намерением тотчас бежать на старую вырубку, но дядя Крис перехватил его на крыльце и повел в гостиную завтракать. За столом он нетерпеливо вертелся, обводя взглядом знакомую комнату с истертым ковром на полу, низкими потолочными балками и выступающими гранями угловых столбов, и лишь однажды на его лице промелькнула улыбка, когда ветви садовых деревьев легонько постучались в оконное стекло. Деревья и холмы были ему по-настоящему близки, ибо они обрамляли врата в иной мир — тот мир вне времени и пространства, к которому принадлежал и он сам.

Вновь обретя свободу после завтрака, он потрогал в кармане ключ, дабы увериться в его сохранности, и припустил через сад в ту сторону, где над усадьбой нависал лесистый склон смежной горы. Толстый слой мха пружинил под ногами; покрытые лишайником скалы тут и там возникали из предрассветной мглы подобно алтарям друидов среди уродливо разбухших и скрюченных стволов священной рощи. В одном месте пришлось перебираться по камням через ручей, который чуть ниже по течению обрывался водопадом, неустанно выпевавшим свои рунические рулады для невидимых фавнов, сатиров и дриад.

Наконец он достиг отверстия пещеры, темневшего среди зарослей. Это и было таинственное Змеиное логово, к которому боялись приближаться окрестные жители и от которого его не раз пытался отвести старый Бениджа. Пещера была глубока — гораздо глубже, чем полагали все, кроме

Рэндольфа. Еще ранее он обнаружил в самом дальнем углу расщелину, ведущую в подземный зал с высоким потолком и гранитными стенами, чья поверхность наводила на мысль об их скорее искусственном, нежели природном происхождении. Он пополз уже знакомым путем, время от времени зажигая спички, которые утащил из комода в гостиной, и протиснулся в расщелину с нетерпеливой поспешностью, удивившей его самого. Не менее странной была уверенность, с какой он двинулся напрямик к противоположной стене зала, на ходу извлекая из кармана серебряный ключ.

...Как бы то ни было, он в самом деле осуществил задуманное и поздним вечером явился домой с торжествующим видом, отказавшись назвать причины опоздания к ужину — не говоря уж про обед — и пропустив мимо ушей вполне заслуженные им суровые упрёки.

Сейчас вся дальняя родня Рэндольфа Картера сходится во мнении, что на десятом году его жизни случилось нечто, совершившее переворот в сознании мальчика. Его чикагский кузен Эрнест Б. Эспинуолл, будучи десятью годами старше Рэндольфа, отчетливо помнит странную перемену, которая произошла в нем осенью 1883-го. С той поры он нередко в подробностях описывал фантастические сцены, какие мало кто исхитрился бы вообразить даже в самых общих чертах, а временами высказывал нестандартные суждения по самым что ни на есть практическим вопросам. Это можно было назвать своего рода предвидением, ибо его намеки, изначально казавшиеся лишёнными смысла, потом получали реальное подтверждение. В последующие десятилетия исторический процесс порождает новые изобретения, имена и события, и окружающие порой с изумлением вспоминали, что Картер еще за много лет до того мимоходом говорил об этих вещах как о чем-то хорошо известном и само собой разумеющемся. Он и сам часто не понимал смысла им сказанного и не мог объяснить, почему то или иное явление вызывает у него такую реакцию, полагая возможной причиной этого

некий полузабытый сон. Когда в 1897 году один турист случайно упомянул в его присутствии название французского местечка Беллуа-ан-Сантер, лицо Картера вдруг покрыла смертельная бледность. Его знакомые припомнили эту деталь спустя без малого двадцать лет, в 1916-м, когда он, будучи солдатом Иностранного легиона, лишь чудом выжил после тяжелого ранения, полученного близ того самого местечка.

Родственники Картера много рассуждали обо всех этих странностях после его необъяснимого исчезновения. Коротышка Паркс, его старый слуга, долгие годы стоически сносивший хозяйские причуды, сообщил, что в последний раз видел Картера в то утро, когда он отъезжал от бостонского дома за рулем машины, прихватив с собой найденный накануне серебряный ключ. Паркс лично помог ему открыть старинную шкатулку с резным орнаментом, в которой хранился тот самый ключ. По словам слуги, этот орнамент и еще нечто связанное со шкатулкой, но не поддающееся четкому определению, оказали на него самое гнетущее воздействие. Перед отъездом Картер сказал, что собирается посетить родину своих предков в окрестностях Аркхема.

Его автомобиль нашли на обочине дороги, ведущей к старой усадьбе Картеров на Вязовой горе; там же находилась и резная шкатулка, вид которой сильно испугал наткнувшихся на автомобиль поселян. Внутри шкатулки был только свиток пергамента с текстом, который не сумели расшифровать ни лингвисты, ни палеографы. Следы ног уничтожил прошедший накануне ливень, однако детективы из Бостона установили, что кто-то совсем недавно копался в руинах картеровской усадьбы, а позади нее, в лесу на горном склоне, был найден белый носовой платок без инициалов или иных меток, которые помогли бы идентифицировать его владельца.

Некоторое время назад был поднят вопрос о разделе имущества Рэндольфа Картера между его наследниками, однако я считаю это неправильным, поскольку не верю в его смерть.

Время и пространство, видимость и реальность — все это тесно переплетено и подвержено прихотливому изменению, распознать которые могут лишь немногие ясновидцы. Картер, судя по всему, нашел способ преодолеть этот сложный лабиринт. Вернется он когда-нибудь оттуда или нет, предсказать не берусь. Он очень долго искал утерянный мир своих снов, чудесный мир своего детства. В конце концов он обрел нужный ключ и, похоже, сумел правильно им воспользоваться.

Я спрошу его об этом при встрече, ибо надеюсь вскоре увидеться с ним в том краю снов, где нам обоим не раз доводилось бывать. С недавних пор в Ултаре, за рекой Скай, ходят слухи о новом правителе, взошедшем на опаловый трон Илек-Вада — легендарного города стрельчатых башен, что возносятся над прозрачно-стеклянными утесами и отражаются в сумеречном море, на дне которого бородатые ласторукие гнорри строят свои неподражаемые лабиринты, — и теперь я догадываюсь о первопричине этих слухов. И конечно же, мне не терпится своими глазами увидеть тот самый серебряный ключ с загадочной символикой, быть может скрывающей в себе истинные тайны безликого и бесстрастного космоса.

ВРАТА СЕРЕБРЯНОГО КЛЮЧА

I

В просторной комнате, украшенной гобеленами с гротескным орнаментом и старинными бухарскими коврами превосходной работы, вокруг заваленного документами стола сидели четверо мужчин. В дальних углах дымились курильницы на витых кованых треножниках; периодически их подпитывал благовониями дряхлый старик-негр в темной ливрее. Из глубокой стенной ниши доносилось тиканье диковинных напольных часов в форме гроба, циферблат которых был испещрен какими-то непереводаемыми иероглифами, а движение четырех стрелок не соотнобразовывалось ни с одной из систем счисления, известных на этой планете. Обстановка в целом была весьма неординарной, однако для дела, ради которого собрались эти люди, она подходила как нельзя более. Ибо здесь, в новоорлеанском доме виднейшего американского ученого-мистика, математика и востоковеда, решалась судьба наследства другого — тоже далеко не заурядного — мистика, писателя и визионера, исчезнувшего с лица земли четыре года тому назад.

Рэндольф Картер, всю жизнь пытавшийся сбежать от утомительно скучной реальности в манящие дали сновидений и иллюзорные пространства иных миров, пропал без вести седьмого октября 1928 года в возрасте пятидесяти четырех лет. Слывя оригиналом и отшельником, он всегда был загадкой для окружающих, а кое-кто всерьез полагал, что в основе его причудливых литературных опусов лежат действитель-

ные эпизоды из жизни автора, оставшиеся за рамками его скупой документированной биографии. Одно время он тесно общался с Харли Уорреном, мистиком из Южной Каролины, чей неумеренный интерес к сочинениям на наакале — древнейшем языке гималайских жрецов — в конечном счете обернулся трагедией: Картер был единственным свидетелем того, как Уоррен среди ночи спустился в провал сырого зловонного склепа на старом кладбище, чтобы никогда уже не выбраться оттуда. Много лет Картер прожил в Бостоне, но все его предки происходили из дремучей глуши — лесистых взгорий, что лежат за Аркхемом, старинным городком с репутацией богом проклятого места. И в той самой глуши, среди угрюмых и диких холмов, он однажды исчез.

Его старый слуга Паркс, умерший в начале 1930 года, среди прочего поведал следствию о шкатулке с устрашающим орнаментом, найденной Картером на чердаке его бостонского особняка. Шкатулка содержала пергамент с непонятными письменами и большой серебряный ключ, также покрытый загадочными символами. Эти вещи упоминаются и в некоторых письмах самого Картера. По словам Паркса, его господин считал серебряный ключ древней семейной реликвией и надеялся с его помощью открыть врата в утерянный мир своего детства — мир иных измерений и фантастических стран, который он прежде посещал только в неясных, ускользающих из памяти сновидениях. И вот однажды Картер, прихватив шкатулку, отбыл из дома на своей машине, и с той поры его больше не видели.

Позднее автомобиль был обнаружен на старой, поросшей травой дороге, что вела к родовой усадьбе Картеров — точнее, к ее останкам без крыши и стен, с зияющим под открытым небом провалом погребя. Неподалеку находилась вязовая роща, где в 1781 году бесследно исчез еще один представитель рода Картеров, а руины дома на краю рощи служили напоминанием о старой колдунье Гуди Фаулер, некогда стряпавшей там свои адские зелья. Эти места пользовались дур-

ной славой с тех самых пор, как в 1692 году их заселили беженцы из Салема, где тогда вовсю шла охота на ведьм. Среди спасшихся от пенькового галстука был и Эдмунд Картер, о чьем колдовском могуществе ходили легенды. И вот сейчас одинокий отпрыск Эдмундова рода канул в неизвестность вслед за своим не к ночи будь помянутым предком.

В машине Картера нашли жутковатого вида резную шка тулку, источавшую какой-то экзотический аромат, а также древний пергамент с письменами, которые никто не смог прочесть. Серебряный ключ отсутствовал — вероятно, Картер унес его с собой. К сожалению, следствию не удалось восстановить более-менее отчетливую картину происшедшего. При осмотре развалин усадьбы бостонские детективы заметили, что отдельные бревна были совсем недавно передвинуты. Мало что смог прояснить и носовой платок, найденный на склоне горы за усадьбой, где среди скал и корявых деревьев темнел зев пещеры, известной в округе как Змеиное логово. С этой пещерой ассоциировались мрачные предания, уже было забытые, но вновь ожившие в связи с последними событиями. Фермеры шепотом передавали истории о том, как старый колдун Эдмунд Картер совершал в Змеином логове свои нечестивые обряды; помянут был и нездоровый интерес, каковой еще в юные годы проявлял к пещере ныне сгинувший невесть куда Рэндольф Картер. Во времена его детства островерхая крыша старинного дома еще маячила на холме, а в усадьбе хозяйничал его двоюродный дед Кристофер. Маленький Рэндольф часто лазил в Змеиное логово и порой рассказывал о нем очень странные вещи. Кто-то из старожиллов вспомнил его слова о расщелине в глубине Змеиного логова, через которую можно попасть в другой, гораздо более обширный подземный зал. Однажды, будучи девяти лет от роду, Рэнди безвылазно провел в пещере целый день — случилось это, кстати, тоже в октябре, — а вскоре после того у мальчишки начало проявляться нечто вроде дара предвидения.

В ночь исчезновения Картера прошел сильный дождь, размывший следы на дороге подле оставленной машины. Дождевая вода просочилась и в Змеиное логово, покрыв его пол слоем жидкой грязи. Деревенские увальни, правда, бормотали что-то насчет следов, якобы виденных ими под огромным вязом у дороги, а также неподалеку от Змеиного логова, на склоне холма, где был найден носовой платок. Впрочем, кого могли заинтересовать их бредни об отпечатках детских тупоносых ботинок — вроде тех, что носил в свое время юный Рэндольф? Ничуть не большего внимания заслуживали и пересуды насчет других отпечатков, якобы встречавшихся на дороге с детскими и походивших на следы сапог без каблучков, какие носил старый Бениджа Кори, — он когда-то служил в усадьбе Картеров и помер добрых тридцать лет назад.

Однако именно эти пересуды — а также известное намерение Картера с помощью серебряного ключа отпереть ворота в мир его детских грез — побудили некоторых любителей мистики заявить, что он сумел повернуть ход времени и возвратиться на сорок пять лет назад, в октябрьский день 1883 года, проведенный им в недрах Змеиного логова. По их мнению, в тот самый день он совершил путешествие во времени из 1883-го в 1928-й и обратно — а иначе откуда мальчишке вдруг стало известно многое из того, что должно было произойти в этом временном промежутке? В качестве доказательства они приводили тот факт, что «провидческие» высказывания Картера никогда не касались событий, случившихся после 1928 года.

Один из упомянутых мистиков — эксцентричный пожилой джентльмен из Провиденса, штат Род-Айленд, многие годы поддерживавший переписку с Картером, — пошел еще дальше, заявив, что Картер не только вернулся в прошлое, но и сумел полностью освободиться от временной зависимости, пустившись в свободное странствие по сказочным просторам своих детских снов. Однажды этому джентльме-

ну явилось некое видение, после чего он опубликовал собственную версию происшедшего. По его словам, Картер ни много ни мало сделался правителем Илек-Вада, взойдя на опаловый трон этого легендарного города стрельчатых башен, что возносятся над прозрачно-стеклянными утесами и отражаются в сумеречном море, на дне которого бородатые ласторукие гнорри строят свои неподражаемые лабиринты.

Этот же ученый муж, которого звали Уорд Филлипс, первым возвысил голос против раздела наследства Рэндольфа Картера между его родственниками — кстати сказать, весьма отдаленными, — аргументируя свои возражения тем, что Картер здравствует поныне и вполне может в один прекрасный день вернуться в этот мир. Его главным оппонентом выступал искушенный в юриспруденции кузен пропавшего, Эрнест Б. Эспинуолл из Чикаго, который был десятью годами старше Рэндольфа, но в судебных баталиях выказывал поистине юношескую горячность. Четыре года велась тяжба, и вот пришло время вынесения окончательного вердикта — именно с этой целью собралась четверка мужчин в большой и весьма необычной комнате новоорлеанского дома.

Хозяином дома был исполнитель завещания и литературный душеприказчик Картера, луизианский креол Этьен-Лоран де Мариньи, известный мистик и знаток восточных древностей. Картер познакомился с ним во время войны, когда оба служили во французском Иностранном легионе. Их быстрому сближению способствовало сходство взглядов и интересов. Во время отпуска с фронта молодой, но уже весьма умудренный креол повез меланхоличного бостонского мечтателя на юг Франции, в Байонну, дабы посвятить его в ужасающие тайны древних склепов, скрытых в подземельях этого города с тысячелетней историей. Та поездка навеки скрепила их дружбу. Составляя завещание, Картер назначил своим душеприказчиком де Мариньи, и сейчас тому приходилось заниматься вопросом наследства. Он делал это крайне неохотно, ибо, как и старый джентльмен из Род-Айленда,

не верил в смерть Картера. Но что значат видения и предчувствия мистиков в сравнении с чугунной логикой закона?

Таким образом, в этом странном доме посреди старого французского квартала сошлись люди, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Как полагается в подобных случаях, о месте и времени встречи было заранее объявлено через газеты во всех городах, где предположительно проживали наследники Картера, но откликнулись на объявления немногие, и в назначенный срок лишь четыре человека расселись вокруг стола под тиканье гробовидных часов, отсчитывавших неведомо какое время, и под журчание фонтана во внутреннем дворике, куда выходило окно с неплотно задернутыми шторами. По ходу заседания лица собравшихся становились все менее различимы, теряясь в клубах ароматного дыма, — доверху наполненные курильницы уже не требовали постоянного внимания со стороны старика-негра, который неслышно перемещался по комнате, причем в движениях его была заметна постепенно нарастающая нервозность.

Председательствовавший Этьен де Мариньи — красивый брюнет с густыми усами — был моложав и подтянут. Интересы наследников представлял Эспинуолл, седой и тучный, с апоплексически-красным лицом в обрамлении импозантных бакенбард. Третьим был тщательно выбритый, длинноносый, тощий и сутулый Филлипс, старый мистик из Провиденса; а что до четвертого участника собрания — смуглого бородача со странно неподвижным, резко очерченным лицом, — то его возраст не поддавался определению. Характерный тюрбан указывал на его принадлежность к касте браминов, а угольно-черные, сверкающие глаза казались лишенными радужной оболочки и смотрели на окружающих словно из какой-то невероятной глубины. Он представился сваами Чандрапутрой, мистиком из Бенареса, имеющим важное сообщение для собравшихся. Де Мариньи и Филлипс были знакомы с этим человеком по переписке и высказались за то, чтобы допустить его к обсуждению. Говорил он без выра-

жения, глухо и как-то механически, словно английский язык был плохо совместим с его речевым аппаратом, но при всем том выстраивал фразы гладко и правильно, не хуже, чем это сделал бы урожденный англосакс. Европейский костюм болтался на нем как на вешалке, что в сочетании с косматой черной бородой, тюрбаном и большими белыми рукавицами придавало ему нелепо-экзотический вид.

Первым взял слово де Мариньи, вертя в руках свиток пергамента, найденный в машине Картера.

— Я не смог расшифровать эти письма, — сказал он. — Не преуспел в этом и присутствующий здесь мистер Филлипс. По утверждению полковника Черчуорда, текст составлен не на языке наакаль и также не имеет ничего общего с письменностью острова Пасхи, хотя резные изображения на шкатулке напоминают скульптуры с этого острова. Лично мне бросилась в глаза одна интересная особенность: эти знаки кажутся небрежно размещенными вдоль горизонтальной оси, как будто свисая с нее под разным наклоном. Нечто похожее я наблюдал в рукописи, принадлежавшей бедняге Харли Уоррену, который получил ее из Индии в девятнадцатом году, как раз когда мы с Картером были у него в гостях. Он заявил, что нам лучше ничего не знать об этой вещи, имевшей, как я понял из его намеков, взвешенное происхождение. Уоррен взял ее с собой на кладбище той декабрьской ночью, и рукопись пропала вместе с ним. Недавно я отправил нашему другу, присутствующему здесь сваи Чандрапутре, изображения некоторых знаков из той книги, воспроизведенные мною по памяти, а также фотокопию текста с данного пергамента. Надеюсь, что он, проведя изыскания и консультации, сможет пролить свет на эту загадку. Теперь о ключе, — продолжил де Мариньи. — У меня есть его снимок, в свое время присланный Картером. Изображенные на нем символы не являются буквами как таковыми, но по ряду признаков могут быть отнесены к той же культурной традиции, что и знаки на пергаменте. В своих письмах Картер утверждал, что

вплотную приблизился к их расшифровке, но никогда не сообщал подробностей. По сему поводу на него как-то раз нашло подобие поэтического вдохновения. Древний серебряный ключ, писал он, откроет одну за другой все двери, что преграждают нам вход в коридоры пространства и времени, ведущие к самой последней Границе, которую не пересекал ни один человек с той поры, как гениальный Шаддад воздвиг и сокрыл под песками Аравии циклопические купола и несчетные башни Ирема, города тысячи колонн. Лишь изредка изможденные дервиши и обезумевшие от жажды кочевники, писал Картер, доносили до нас вести о монументальном портале с изображением гигантской Руки над замковым камнем свода, но никто из людей не сумел пройти под этой аркой и, вернувшись назад, заявить с полным правом, что оставил следы своих ног на красном песке по ту сторону. Серебряный ключ, по мнению Картера, был именно тем, чего ждала раскрытая ладонь каменной Руки... Мы не знаем, почему Картер, уходя, не взял вместе с ключом и пергамент. Возможно, он забыл о свитке или намеренно поостерегся его брать, памятуя об участии другого человека, который прихватил свиток с похожими знаками, спускаясь в кладбищенский склеп, и оттуда уже не вернулся. А может, для задуманного им дела этот пергамент просто не был нужен.

Де Мариньи сделал паузу, которой воспользовался мистер Филлипс, заговоривший резким пронзительным голосом:

— О странствиях Рэндольфа Картера нам известно только из наших собственных сновидений. Я посетил во сне много удивительных мест и среди прочего узнал важные новости, когда был в Ултаре, что за рекой Скай. Похоже, Картер неплохо устроился и без помощи пергамента — он действительно вернулся в мир своих детских грез и был провозглашен королем Илек-Вада.

Алоплексическая физиономия мистера Эспинуолла потемнела еще больше, приобретая густо-багровый оттенок, и он вскричал, брызжа слюной:

— Неужели никто не заткнет рот старому дуралею? Я уже сыт по горло всей этой бредятиной! Мы здесь для того, чтобы делить наследство, так давайте этим и займемся, в конце концов!

И тут впервые прозвучал глухой неестественный голос свами Чандрапутры.

— Господа, эта проблема сложнее, чем вы полагаете. Мистер Эспинуолл напрасно насмехается над снами как источником информации. В свою очередь, мистер Филлипс представил нам далеко не полную картину — возможно, из-за того, что не досмотрел свой сон. Сам я придаю большое значение и уделяю много времени снам — у нас в Индии это давняя традиция, — и точно так же, насколько мне известно, относились к сновидениям все люди в роду Рэндольфа Картера. Вы, мистер Эспинуолл, не в счет — будучи родственником по материнской линии, вы не связаны кровно с этим семейством. Мои сновидения, а также некоторые другие источники раскрыли многое из того, что вам до сих пор оставалось неясным. К примеру, что касается пергамента — кстати, тогда еще не расшифрованного: он был оставлен в автомобиле исключительно по оплошности, хотя в интересах Картера было иметь свиток при себе. В целом мне удалось достаточно подробно проследить ход событий после того, как Картер, взяв серебряный ключ, покинул машину на закате дня седьмого октября, четыре года назад.

Эспинуолл недоверчиво хмыкнул, но двое ученых все своим видом выражали заинтересованность. Дым от курильниц густыми клубами заволакивал комнату, а тиканье часов напоминало чехарду точек и тире какой-то фантастической морзянки, передающей непонятные сообщения из других миров. Индус откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и продолжил рассказ своим странно безжизненным голосом, но при том на правильном и образном английском языке. И постепенно перед слушателями начала вырисовываться картина происходившего в тот октябрьский день.

II

Холмистая местность за Аркхемом была издавна насыщена магией — возможно, еще той самой, которую вызвал с далеких звезд и из глубин земли старый колдун Эдмунд Картер, обосновавшийся здесь после бегства из Салема в 1692 году. Как только Рэндольф Картер очутился среди знакомых с детства холмов, он понял, что где-то совсем рядом находятся магические врата — одни из тех, пройти которые удавалось лишь немногим отчаянным, отверженным или отрешившимся, таким путем сумевшим преодолеть раздельную стену между нашим миром и непознаваемой бесконечностью. Картер чувствовал, что именно в этом месте и в этот день года он может с успехом завершить дело, начатое несколькими месяцами ранее, когда он разгадал значение символов на потускневшем, невероятно древнем серебряном ключе. Теперь он знал, как его нужно поворачивать, держа под определенным углом к закатному солнцу, и какие ритуальные сочетания звуков следует произнести в пустоту одновременно с девятым и последним поворотом ключа. Здесь, в непосредственной близости от заветных ворот, ключ не мог его подвести, и Картер был уверен, что этой ночью он снова окажется в мире своего детства, об утрате которого он никогда не переставал скорбеть.

Положив ключ в карман, он выбрался из автомобиля и зашагал к вершине холма — в самое сердце этой безлюдной глуши, минуя увитую лозами изгородь, полосу угрюмого чернолесья, узловатые ветви заброшенного сада, пустые оконные глазницы бывшей фермы и остатки еще каких-то построек. А когда закатное солнце алыми бликами заиграло на далеких шпилях Кингспорта, он извлек из кармана ключ, направил его в нужную сторону и повернул девять раз, произнося заклинание. Магический ритуал подействовал даже быстрее, чем он успел это осознать.

В сгущавшихся сумерках прозвучал знакомый голос из далекого прошлого — это был Бениджа Кори, старый слуга

его двоюродного деда. Но разве старик не умер тридцать лет назад? Хотя постой, какие тридцать лет? Какой сегодня день? Который час? Где он только что был? И если старый Бениджа разыскивает его поздно вечером седьмого октября 1883 года — чему тут удивляться? Разве он не обещал тетушке Марте вернуться домой засветло? А что это за ключ в кармане его куртки — там, где должна лежать подзорная труба, подаренная отцом два месяца назад, на его девятый день рождения? Где он нашел эту серебряную штучковину — кажется, на чердаке их дома в Бостоне? Нельзя ли с ее помощью отпереть закупоренный плитой ход в дальнем конце Змеиного логова? Местные всегда сторонились этого угла, связывая его с колдуном Эдмундом Картером, и никто из них даже не пытался проникнуть в глубь Логова, где узкая, прикрытая корнями расщелина вела во мрак огромного зала. Хотел бы он знать, кто именно потрудился, высекая в скальной стене контуры арки? Не сам ли старый Эдмунд приложил к этому руку? Или то были иные силы, действовавшие по его велению? Все эти мысли вертелись в голове маленького Рэндольфа, когда он вечером ужинал с дядей Крисом и тетей Мартой под кровом старинного дома.

На рассвете следующего дня он покинул дом через заднее крыльцо, продрался сквозь спутанные ветви яблоневого сада и побежал к старой вырубке, где под сенью исполинских дубов чернел запретный и манящий вход в Змеиное логово. Второпях он не заметил потери носового платка, выпавшего, когда он в очередной раз нащупывал серебряный ключ в кармане куртки. Нырнув в отверстие пещеры, мальчик уверенно двинулся вперед, освещая себе путь спичками, предусмотрительно взятыми из комода в гостиной. Спустя еще минуту он протиснулся через расщелину и, очутившись под сводом просторного зала, сразу направился к дальней стене, средняя часть которой напоминала большую, тщательно обработанную плиту с арочным закруглением сверху. Здесь он долго простоял в молчании, зажигая одну спичку за другой

и разглядывая поверхность плиты, по которой каплями стекла влага. Каменный выступ над аркой имел определенное сходство с раскрытой ладонью гигантской руки. Достав из кармана серебряный ключ, он проделал необходимые манипуляции и произнес комбинацию звуков, имея лишь смутное представление о том, откуда ему эти вещи известны. Все ли он сделал правильно? Сейчас он твердо знал только одно: ему нужно преодолеть барьер, отделяющий эту реальность от вольных просторов грез, от той величественной бездны, где исчезают все измерения, растворяясь в бесконечности.

III

Дальнейшее едва ли можно описать словами. Подобному нагромождению парадоксов, противоречий и аномальных явлений нет места в нашей повседневной жизни, однако в своих фантастических снах мы зачастую воспринимаем эти вещи как нечто само собой разумеющееся — вплоть до момента возвращения к объективной реальности, ограниченной жесткими рамками причинно-следственных связей и трехмерной логики. По ходу рассказа индийского гостя обычный здравомыслящий человек вполне мог ощутить себя объектом какого-то дурацкого розыгрыша (чего, к примеру, стоила одна лишь мысль о превращении взрослого мужчины в девятилетнего мальчишку). Мистер Эспинуолл с отвращением фыркнул, всем своим видом показывая, что не намерен слушать эту ерунду. Рассказ между тем продолжался.

Магический ритуал, совершенный Рэндольфом Картером в глубине пещеры, возымел свое действие. Уже первые его движения и первые произнесенные им звуки породили явственные перемены в окружающей обстановке. Пространство и время искажались, при том что эти искажения не были заметны внешне — просто такие понятия, как «длительность» или «местоположение», в одночасье утратили всякий смысл. Днем ранее Картер чудесным образом совер-

шил прыжок во времени, преодолев несколько десятилетий, но теперь все различия между взрослым мужчиной и мальчиком исчезли. Отныне это был просто Рэндольф Картер, наделенный комбинацией образов, которые утратили всякую связь с земными событиями и явлениями. Еще мгновение назад он стоял в пещере, перед высеченной посреди стены аркой с изображением гигантской руки. Теперь же пещеры не было, как, впрочем, не было и ее отсутствия; а гранитную стену нельзя было назвать ни реально существующей, ни иллюзорной. Существовал лишь поток впечатлений — не столько зрительных, сколько воспринимаемых сознанием, — и в центре потока находился он, Рэндольф Картер, получающий и фиксирующий все эти впечатления, сам не зная каким образом.

По окончании ритуального действия Картер понял, что место, где он теперь очутился, не значится ни на каких географических картах, а здешнее время не согласуется с земной хронологией. Нельзя сказать, что природа происшедшего была ему совершенно неведома — кое-какие намеки на сей счет попадались в Пнакотикских рукописях, а в запретном «Некрономиконе» безумного араба Альхазреда данной теме была посвящена отдельная глава, значение которой он понял лишь после того, как расшифровал символы, выгравированные на серебряном ключе. Врата отворились — но то были еще не Предельные Врата. Эти лишь отделяли земное пространство и время от вневременной области, за которой и находились Предельные Врата, ведущие в Бесконечную Пустоту вне всех планет, созвездий и вселенных.

Он знал, что в этом странствии у него должен быть Проводник — жуткое существо, обитавшее на планете за миллионы лет до появления людей, когда загадочные Предтечи возводили среди влажных первозданных лесов свои удивительные города, на заросших руинах которых много позднее паслись примитивные прародители млекопитающих. Картер вспомнил туманные рассуждения в «Некрономиконе» насчет этого Проводника.

«Дерзнувшие заглянуть за Преграду и принять Его в качестве Проводника, — писал безумный араб Альхазред, — совершают непоправимую ошибку, ибо, как сказано в Книге Тота, страшную цену придется платить всего за один только взгляд. Ушедшим на ту сторону не суждено вернуться. Бесконечность за пределами этого мира населена призраками тьмы, от которых нет спасения. Они блуждают в ночи, где защитой от них не является даже Знак Древних; они незримо присутствуют у изголовья каждой могилы, питаюсь тем, что исходит оттуда. Но все эти призраки — ничто в сравнении со Стражем Ворот, ведущим безрассудных за пределы всех миров, во Всепоглощающую Бездну. Он — это Умр-ат-Тавил, старейший из Властителей Древности, именуемый также Продлившим Жизнь».

Память и воображение формировали смутные образы среди бурлящего хаоса, но Картер знал, что это всего лишь продукты его собственного сознания. В то же время появление этих образов не было случайным — источником их являлась иная реальность, беспредельная, невыразимая и не поддающаяся измерению. Окружая его, эта новая реальность проявлялась посредством тех символов, какие был способен усвоить его разум, ибо земному сознанию не дано охватить все многообразие форм, существующих вне известных нам пространственно-временных измерений.

Перед его взором как в тумане проплывали картины, вероятно отображавшие очень далекое прошлое Земли. Чудовищные твари передвигались на фоне строений, какие нормальному человеку не привидятся и во сне; характер ландшафта и окружающая растительность были под стать фантастической архитектуре. Он видел подводные города и их странных обитателей; он видел башни среди бескрайней пустыни, где взлетали, уносясь в межзвездные пространства, или приземлялись, выныривая из космических глубин, крылатые, шарообразные и цилиндрические объекты. Картер старался запомнить как можно больше из увиденного, при том что сменявшиеся картины не имели как отчетливой свя-

зи между собой, так и непосредственного отношения к созерцателю. Да и сам этот созерцатель не имел постоянного облика и положения, которые все время менялись, подстраиваясь под прихотливую игру фантазии.

Прежде всего он хотел отыскать ту сказочную страну своих детских снов, где галеры поднимались к верховьям полноводного Украноса мимо золоченых шпилей Франа, караваны слонов брели сквозь напоенные ароматами джунгли Кледа, а в лунном свете сонно белели давно опустевшие, но незатронутые временем колоннады прекрасных дворцов. Однако сейчас, ошеломленный многообразием увиденного, он забыл о своей изначальной цели. В голову приходили самые дерзновенные мысли, и его уже не страшила встреча со всемогущим и ужасным Проводником.

Внезапно череда мелькающих картин сменилась более устойчивым, хотя и несколько расплывчатым изображением. Перед ним вздымались каменные громады самых причудливых конфигураций, не подчинявшихся обычным законам геометрии. С неба, имевшего совершенно невообразимый оттенок, под разными углами струились потоки света, скользя по резным иероглифам на изогнутой шеренге гигантских шестигранных пьедесталов, которые были увенчаны какими-то покрытыми материей фигурами.

Еще одна фигура находилась не на пьедестале, а плыла над туманной поверхностью вдоль их подножий. В ее постоянно изменяющихся очертаниях временами проглядывало отдаленное сходство с человеческими формами, при том что высотой она раза в полтора превосходила обычного человека. Как и фигуры на пьедесталах, она была закутана в покрывало из материи нейтрального цвета. Картер не заметил в покрывале никаких отверстий для глаз — возможно, этому существу они и не требовались, если его органы восприятия выходили за пределы сугубо физических чувств.

Последняя догадка Картера не замедлила подтвердиться, ибо существо обратилось напрямую к его разуму, не облекая

это обращение в звуковую форму. Произнесенное имя должно было повергнуть пришельца в трепет, однако Рэндольф Картер не затрепетал. Вместо этого он ответил аналогичным — то есть телепатическим — образом, выказывая все знаки почтения, предписанные «Некрономиконом». Ибо перед ним был тот, кого страшился весь мир со времен, когда Ломар поднялся из морской пучины и Крылатые пришли на Землю, чтобы передать людям Древнее Знание. Да, это был он — таинственный Проводник и Страж Ворот, Умр-ат-Тавил, именуемый также Продлившим Жизнь.

Проводник знал (ибо ему было ведомо все сущее) о причине появления здесь Картера, а также о том, что этот искатель сновидений и тайн его не боится. В то же время Картер не ощущал никакой угрозы, исходящей от Проводника, и на мгновение заподозрил, что пугающие намеки безумного араба были вызваны обычной завистью и желанием самому совершить то, что сейчас готовился совершить он. А быть может, Проводник представлял смертельную угрозу лишь для тех, кто его боялся. Между тем мысленное обращение продолжилось, обретая в сознании Картера привычную ему словесную форму.

— Я старейший из Властителей Древности, о котором тебе ведомо, — говорил Проводник. — Мы ждали тебя — я и другие Властители. Мы готовы тебя принять, хотя ты долго медлил с приходом. У тебя есть ключ, и ты смог открыть Первые Врата. Теперь тебя ждет испытание у Предельных Врат. Если ты боишься, лучше отступись. Ты еще можешь невредимым вернуться туда, откуда пришел. Но если ты намерен идти дальше...

Пауза могла показаться зловещей, однако мысленный сигнал по-прежнему не содержал угрозы. Картер ответил без колебаний.

— Я пойду вперед, — сказал он. — И я прошу тебя быть моим проводником.

После этих его слов Проводник сделал подобие знака — во всяком случае покров его колыхнулся, что могло предпо-

лагать поднятие руки или иное сходное по характеру движение. Когда же был подан второй знак, Картер вспомнил соответствующие указания в сокровенных книгах и понял, что приближается к Предельным Вратам. Струящийся свет принял новый — столь же непередаваемый — оттенок, и фигуры на шестигранных пьедесталах стали видны яснее. Они как будто распрямились и теперь больше напоминали людей, хотя Картер знал, что они не могли быть людьми. Над их покрытыми материей головами замаячили, переливаясь красками, высокие уборы вроде тех, что венчали безымянные статуи, высеченные неизвестным скульптором на утесах запретной горы в Тартарии; а из складок покровов выглядывали длинные жезлы с резными навершиями в виде древних магических символов.

Картер догадался, кто это такие, откуда они явились и кому служат; он догадался и о том, каковой должна быть плата за подобную службу. Но и эта догадка не умалила его решимости идти до конца и узнать все, что он хотел узнать. Он не страшился пресловутого «проклятия», считая его всего лишь расхожим штампом — вроде тех, какие порой употребляют слепцы, клеймя всех могущих видеть, пусть даже только вопл глаза. Теперь ему казалось смешным непомерное самомнение иных болтунов, рассуждавших о жестоких замыслах Властителей Древности, якобы готовых прервать свой вековечный сон, чтобы с яростью обрушиться на несчастное человечество. С тем же успехом можно было представить себе мамонта, который, забыв обо всем, неистовствует в попытке отмщения чем-то ему досадившему дождевому червю. Между тем фигуры на пьедесталах одновременно качнулись резными жезлами, передавая мысленное сообщение:

— Приветствуем тебя, Старейший, и тебя, Рэндольф Картер, ибо ты, благодаря отваге своей, стал одним из нас.

Заметив, что один из пьедесталов не занят, Картер по жесту Старейшего догадался, что это место предназначено для него. Еще один пьедестал, размерами превосходивший про-

чие, стоял в центре образованной ими кривой линии, которую нельзя было назвать ни полукругом, ни эллипсом, ни параболой, ни гиперболой. Картер понял, что это — трон самого Проводника. Двигаясь в какой-то необычной для себя манере, Картер занял место на пьедестале; к тому времени Проводник также поднялся на трон.

Какое-то время спустя он смутно осознал, что Проводник держит под складками своих покровов некий предмет, на который было ощутимо нацелено внимание прочих окутанных материей Властителей. Предмет имел сферическую форму и был сделан из какого-то слабо светящегося металла; когда же Проводник вытянул его вперед, возникло *ощущение звука* — низкого и ритмического, хотя его ритм не совпадал ни с какими ритмами Земли. Затем почувствовался — именно почувствовался, а не слышался — монотонный напев. Холодное свечение сферы стало более интенсивным, пульсируя в такт ритмическому заклинанию. Одновременно фигуры на пьедесталах начали слегка раскачиваться, повинаясь этому ритму, а нимбы над их головами сияли тем же непередаваемым светом, что и сфера.

Здесь индус прервал свой рассказ и бросил взгляд на массивные часы в форме гроба с четырьмя стрелками и покрытым иероглифами циферблатом, чье тиканье также не совпадало ни с какими ритмами Земли.

— Вам, господин де Мариньи, — обратился он к ученому хозяину, — нет нужды пояснять, какому чужеродному ритму следовали, напевая и раскачиваясь, эти фигуры на пьедесталах. Ныне только вы один — здесь в Америке, я хочу сказать, — имеете понятие о Внешнем Пространстве. Эти часы, вероятно, прислал вам тот самый йог, о котором часто говорил бедняга Харли Уоррен, — тот самый провидец, что называл себя единственным человеком, посетившим Йан-Хо, где хранятся тайны мрачного древнего Ленга, и сумевшим вынести некие предметы из этого запретного города. Много ли вам известно об их истинных свойствах? Насколько я знаю

из своих сновидений и прочих источников, создатели этих вещей имели отчетливое представление о Первых Вратах. Однако вернемся к моему повествованию.

Наконец беззвучное пение прекратилось, — продолжил индус, — сияние нимбов померкло, а фигуры перестали раскачиваться и как будто осели на своих пьедесталах. Однако сферический предмет продолжал пульсировать, излучая свет непередаваемых оттенков. Картер догадался, что Властители Древности вновь погрузились в сон, и попытался вообразить, от каких космических сновидений он отвлек их своим приходом. Еще немного погодя он осознал, что странные заклинания были частью обряда, посредством которого Проводник вызвал у Властителей Древности особый вид сновидений, отворяющих Предельные Врата, доступ к которым ему обеспечил серебряный ключ. В глубинах этого сна Властители созерцали неизмеримые внешние пространства Бесконечной Пустоты, готовясь завершить то, что они должны были сделать для Картера.

В отличие от них, Проводник не спал, усилием мысли направляя весь этот процесс. Очевидно, он наполнял конкретными образами сновидения Властителей. Картер знал, что каждый из них должен был сформировать во сне определенную картину или мысль, которые все вместе, сконцентрировавшись, создадут явление, воспринимаемое обычным земным взором. Когда это произойдет, он сможет сам контролировать процесс, обращая в реальность все, что ни вообразит. Нечто подобное он уже наблюдал на Земле — в частности, в Индии, когда объединенная воля круга посвященных придавала мысли реальное воплощение, — а также в неизмеримо древнем Атлаанате, о котором мало кто из смертных решался говорить вслух.

Картер не имел ясного представления о Предельных Вратах и о том, как через них следует проходить, так что ему оставалось лишь ждать развития событий. Он, похоже, сохранил свою телесную оболочку и по-прежнему сжимал

в руке серебряный ключ. Массивная скала перед ним имела ровную поверхность, и центральная часть этой стены все сильнее притягивала его взгляд. А затем Проводник внезапно прервал мысленное общение с Картером.

Впервые он по-настоящему осознал, сколь ужасной может быть полная тишина — одновременно как на физическом, так и на ментальном уровнях. До той поры он постоянно улавливал какой-то ритм, какую-то смутную пульсацию внеземных измерений, но теперь вокруг воцарилось абсолютное молчание бездны. Он ощущал свое тело, но при этом не слышал собственного дыхания; а сфера Умр-ат-Тавила излучала ровное, уже не пульсирующее свечение. Нимб над покрытой головой чудовищного Проводника — более яркий, чем у прочих Властителей Древности, — сиял холодным, как будто замороженным светом.

У него закружилась голова; чувство утери пространственной ориентации возросло тысячекратно. Немногие светящиеся объекты лишь подчеркивали непроницаемость тьмы вокруг них, и хотя фигуры Властителей никуда не исчезли, здесь, в непосредственной близости от их шестигранных пьедесталов, возникало ощущение бесконечной удаленности. Мгновение спустя теплые благоухающие волны подхватили его и увлекли в то, что выглядело как окрашенное в розовые тона море дурманящего вина, чьи волны разбивались о подножия огненно-медных утесов. Потрясенный, он озирает широкий морской простор и пенистые буруны у далекого берега. К тому времени период полной тишины закончился, и плещущие волны говорили с ним на своем языке, который, впрочем, не состоял из физических звуков.

— Обладающий Истиной находится по ту сторону добра и зла, — проник в его сознание голос, не являвшийся голосом как таковым. — Обладающему Истиной по силам постичь Все-в-Одном. Обладающий Истиной знает, что иллюзия — это единственная реальность, тогда как материя — не более чем обман.

И вот на поверхности каменной стены, к которой был все так же прикован его взгляд, проступили очертания титанической арки, напоминавшей ту, что он видел давным-давно в пещере, в таком далеком и кажущемся теперь нереальным трехмерном земном пространстве. С некоторым опозданием он обнаружил, что производит манипуляции с серебряным ключом, инстинктивно совершая ритуал вроде того, с помощью которого он открыл Первые Врата. Насколько он понял, розовое море, чью пьянящую влагу он ощущал на своих щеках, на самом деле было каменным монолитом, сквозь который он проник под воздействием произнесенного им заклинания и совместного мысленного усилия Властителей Древности. По-прежнему полный решимости, он двинулся вперед — и прошел через Предельные Врата.

IV

Прохождение Рэндольфа Картера сквозь каменную стену напоминало головокружительный полет в межзвездных безднах. Откуда-то издали до его сознания доносились всплески пугающе-сладостного, почти божественного ликования, биение гигантских крыльев и прочие звуки, неведомые на Земле и в Солнечной системе. Оглянувшись, он увидел не одни врата, а множество им подобных; через иные как раз проходили существа, чей облик он постарался тут же стереть из памяти.

А спустя еще мгновение он испытал ужас, какого ему не смогли бы внушить никакие чужеродные твари, — ужас, от которого он был не силах избавиться, ибо это было связано с собственной телесной сущностью. Еще при прохождении Первых Врат его облик отчасти утратил стабильность, так что он начал испытывать сложности с ощущением своего тела и пространственным восприятием окружающих его объектов, но тогда он по-прежнему ощущал свою цельность. Тогда он еще оставался Рэндольфом Картером, конкретной

точкой в великой круговерти измерений. Однако сейчас, пройдя через Предельные Врата, он как будто разделился на множество существ.

Он одновременно находился в самых разных местах. На Земле 7 октября 1883 года мальчишка по имени Рэндольф Картер покинул Змеиное логово, в сумерках спустился по скалистому склону и через старый яблоневый сад добрался до дома своего двоюродного деда Кристофера, что в холмистой местности неподалеку от Аркхема. И в тот же самый момент, теперь соответствовавший 1928 году по земному исчислению, тот же Рэндольф Картер, но уже как некая смутная форма, восседал на пьедестале среди Властителей Древности в области за пределами обычных земных измерений. Был и третий Рэндольф Картер, плывший в космической бездне по ту сторону Предельных Врат. Помимо того, в хаотическом многообразии мелькавших в его сознании сцен присутствовало бесконечное множество существ, которые были «Картерами» не в меньшей степени, чем его данное проявление, летящее за Предельными Вратами.

Эти «Картеры» существовали во всех периодах земной истории, включая те, что выходили за рамки знаний и предположений ученых. Встречались «Картеры» в человеческом обличье и «Картеры» в обличье животных — как позвоночных, так и беспозвоночных — или даже растений; иные из них обладали разумом, иные же — нет. Были и «Картеры», никак не связанные с Землей и обитавшие в других мирах, звездных системах и галактиках. Споры вечной жизни перемещались в просторах космоса от планеты к планете, от одной вселенной к другой — и все они являлись частицами его самого. Отдельные видения напоминали ему давние сны — туманные либо отчетливо-яркие, промелькнувшие лишь один раз или преследовавшие его многими ночами, — а некоторые фантастические внеземные сцены были настолько узнаваемы, что это не могло не вызвать восторга, правда смешанного с ужасом.

Ужас этот возрастал по мере осознания Картером всего, что с ним случилось. Дотоле самые страшные мгновения были испытаны им в ту ночь, когда двое при свете ущербной луны отправились на старое кладбище, откуда вернулся лишь один из них, — но тот страх не шел ни в какое сравнение с этим. Ни смерть, ни душевные или физические муки не могут породить такого отчаяния, какое вызывает утрата собственной индивидуальности. Обратившись в ничто, мы обретаем забвение; но осознавать себя существующим, одновременно зная, что ты лишен собственного «я» и более не являешься единственным и неповторимым, чем-то отличным от всех других, — вот он, истинный апофеоз ужаса.

Он знал, что некогда в Бостоне жил человек по имени Рэндольф Картер, однако не знал, насколько нынешний он — очутившаяся за Предельными Вратами частица многообразной сущности — соответствует тому самому Картеру. Его собственное «я» исчезло, но в то же время он (если уместно говорить «он» о несуществующей индивидуальности) осознавал себя единицей в несметном легионе самых разных «я». Сходным образом мог бы чувствовать себя человек, чье тело внезапно превратилось в нечто вроде многорукой и многоглавой статуи из индийского храма. В растерянности он глядел на свои бесчисленные копии, тщетно пытаясь отыскать среди них подлинник, если (чудовищная мысль!) такой подлинник существовал вообще.

Эти мучительные размышления были прерваны, когда того из Картеров, что летел в пространстве за Предельными Вратами, объял ужас иного порядка, исходивший от силы, которая одновременно противостояла ему, окружала его и являлась его неотъемлемой частью, существуя сразу во всех временных и пространственных измерениях. Не проявляясь в зрительном образе, эта сила, однако, имела отчетливую индивидуальность и присутствовала как непосредственно здесь, так и в бесконечности, по которой были рассеяны прочие воплощения Картера.

Перед новым жутким явлением Картер забыл о страхах, связанных с потерей собственного «я». Эта сила была Все-в-Одном и Одно-во-Всем, сочетая все многообразие в Едином Сущем и принадлежа не к одному конкретному пространственно-временному континууму, а ко всему мирозданию, которое не имеет границ и превосходит самые смелые фантазии и любые математические расчеты. Возможно, это было то же самое, что тайные культы Земли упоминали под именем Йог-Сотот, ракообразные обитатели Юггота почитали под именем Запредельного Существа, а блуждающий разум спиральных туманностей определял как Непереводимый Знак. Впрочем, едва узрев это явление, Картер понял, насколько бессмысленны и жалки были все попытки подогнать его под какую-то религиозную или научную концепцию.

И вот Единое Сущее обратилось к данной частице Картера, и обращение это было подобно сгустку энергии, представшему как череда гигантских, яростно пылающих и ревущих волн, в движении которых прослеживался тот же неземной ритм, что ранее присутствовал в заклинаниях, раскачивании и мерцании нимбов Властителей Древности в той области, что лежит между Первыми и Предельными Вратами. Казалось, мириады звездных миров и вселенных устремляются к одной маленькой точке в пространстве, дабы уничтожить ее в этом едином яростном порыве. И в то же время всепоглощающий ужас, несомый пламенными волнами, как будто изолировал эту частицу Картера от других его воплощений, позволив ему в какой-то мере восстановить ощущение собственного «я». Когда же он смог трансформировать пульсацию волн в понятную речевую форму, ужас сменился благоговением, и то, что недавно представлялось невыразимой жутью, обернулось сказочным великолепием.

— Рэндольф Картер, — говорилось в обращении, — мои представители в твоём мире, именуемые Властителями Древности, направили тебя сюда, ибо, хотя изначально тебе было суждено возвращение в край утраченных снов, ты с об-

ретением большей свободы возвысился до иных, куда более высоких и достойных устремлений. Ты когда-то мечтал проплыть по золотистым волнам Украноса, отыскать заброшенные города в орхидейных джунглях Кледа и взойти на опаловый трон Илек-Вада, чьи легендарные башни и бесчисленные купола устремляются к единственной алой звезде на небосводе, чуждом твоему миру и все прочим мирам. Теперь же, пройдя первые и вторые врата, ты можешь мечтать о большем. Ты не из тех, кто, как малый ребенок, спешит отвергнуть все несовпадающее с его красивыми мечтами. В тебе есть мужество и решимость для того, чтобы раскрыть самые сокровенные тайны, лежащие в основе всех видений и снов. Я одобряю твои стремления и готов даровать тебе то, что до сих пор только одиннадцать раз даровал существам с твоей планеты, причем лишь пятеро из них были людьми или им подобными. Я готов открыть тебе Последнюю Тайну, встреча с которой губительна для слабых духом. Но до того, как ты увидишь эту самую последнюю — и самую первую — из всех тайн, у тебя остается выбор. Ты еще можешь вернуться через врата, так и не сняв пелену, застилающую твой взор.

V

Внезапно космическое волнение прекратилось, оставив Картера одного среди ледящего безмолвия. Во всех направлениях простиралась бесконечная пустота, однако искатель знал, что Единое Сущее по-прежнему здесь. И он послал в бездну мысленный ответ:

— Я согласен. Я не отступлю.

Снова всколыхнулись волны, и Картер понял, что его услышали. И почти сразу же безграничный разум обрушил на искателя поток знаний и объяснений, распахивая перед ним новые горизонты и готовя его к постижению великих тайн космоса. Он узнал, сколь наивны и ограниченны пред-

ставления людей о трехмерности мироздания, где в действительности существует бесчисленное множество направлений помимо простейших «вниз-вверх», «вперед-назад» и «влево-вправо». Ему было продемонстрировано ничтожество земных богов с их мелочными страстишками — ненавистью, гневом, любовью и тщеславием, с их жаждой поклонений и жертвоприношений, с их претензиями на слепую веру почитателей вопреки рассудку и самой природе.

Хотя основную информацию Картер получал в словесной форме, часть ее поступала непосредственно через чувства. Зрение — или, быть может, воображение — помогло ему ориентироваться в этой области множественных измерений, непостижимых для обычных человеческих органов восприятия. В смятении он наблюдал за могучим вихрем космических сил, вдруг сменявшимся беспредельной пустотой. Он находился в какой-то особой точке обзора, откуда открывался вид на движение гигантских форм, к которым были неприменимы понятия «размер», «очертания» и «границы», — даже проведя всю жизнь за изучением тайн мироздания, он не мог уяснить себе их природу. Понемногу он начал понимать, каким образом мальчишка Рэндольф Картер на ферме близ Аркхема в 1883 году мог одновременно являться и причудливой фигурой на шестигранном пьедестале за Первыми Вратами, и чем-то неопределенным, представшим перед Единым Сущим в космической бездне, и всеми прочими воплощениями, промелькнувшими перед ним в калейдоскопе сцен.

Затем движение волн стало более интенсивным, помогая ему постичь все многообразие той сущности, малой частицей которой было его данное воплощение. Он осознал, что любая форма в пространстве образуется путем сечения какой-либо фигуры, существующей в большем количестве измерений. Так, квадрат является результатом сечения куба, а круг — результатом сечения сферы. В свою очередь, трехмерные куб и сфера возникают при сечении четырехмерных

образов, известных людям лишь по догадкам и сновидениям; четырехмерные создаются посредством сечения пятимерных — и так далее, вплоть до невообразимой бесконечности. Мир людей и земных богов это всего лишь низшее проявление ничтожно малой величины — трехмерное сечение того, что расположено в области за Первыми Вратами, где Умр-ат-Тавил навевает сны Властителям Древности. Люди именуют эту жалкую копию реальностью, при этом полагая нереальным многомерный оригинал, хотя на деле все обстоит прямо противоположным образом. То, что мы считаем сущностью и реальностью, есть лишь иллюзия и призрак, тогда как истинной сущностью и реальностью является как раз то, что кажется нам призрачным и иллюзорным.

Время неподвижно и, соответственно, не имеет ни начала, ни конца. Представление о времени как о чем-то движущемся и вызывающем перемены есть иллюзия. Да и само время, в сущности, является иллюзией. Прошрое, настоящее и будущее существует лишь в представлениях обитателей низших миров с малым числом измерений. Люди связывают движение времени с происходящими переменами, каковые также суть иллюзия, ибо все, что было, есть и будет, существует одновременно.

Эти откровения были поведаны Картеру в столь серьезно-величественной манере, что у него не было возможности усомниться, хотя многое из сообщенного было выше его понимания. Он безоговорочно принимал эти откровения за истину, поскольку их источником была величайшая космическая реальность, свободная от всяческих косностей и страстей. Да и сам его поиск разве не был основан на вере в иллюзорность и несущественность всех традиционных, поверхностных и примитивных земных понятий?

Выдержав внушительную паузу, волны продолжили свой бег и сообщили ему, что так называемые перемены, волнующие обитателей низших миров, на самом деле лишь функция их сознания, воспринимающего внешний мир под раз-

личными космическими углами зрения. К примеру, при сечении конуса под разными углами можно получить круг, эллипс, параболу или гиперболу, но при этом сам конус останется неизменным. Так и взгляды на бесконечную и неизменную реальность дают разные результаты при смене космических углов зрения. Обитатели миров с малым числом измерений, как правило, не способны самостоятельно контролировать смену этих углов в своем сознании — это доступно лишь очень немногим из них, овладевшим тайными знаниями и таким образом покорившим неподвижное время, а заодно и перемены, которые в действительности не происходят. Что касается обитателей за Вратами, то они могут менять угол зрения по своему желанию, воспринимая космос либо фрагментарно (то есть раздробленным на частицы-события), либо как неизменное целое.

Следующая пауза позволила Картеру поразмыслить над тем, что стояло за столь напугавшей его утратой собственного «я». Интуитивно соединив отдельные фрагменты откровения, он приблизился к разгадке и понял, что мог узнать о наличии мириад своих воплощений гораздо раньше, еще только пройдя Первые Врата, однако магия Умр-ат-Тавила уберегла его от этого, чтобы страх не помешал ему правильно воспользоваться серебряным ключом при открытии Предельных Врат. Мысленно он попросил уточнить характер связей между разными его воплощениями — находившимся сейчас за Предельными Вратами, восседавшим на пьедестале среди Властителей Древности, мальчиком из 1883 года, мужчиной из 1928-го, чередой его собственных предков и бесчисленными обитателями далеких эпох и миров. Медленно всколыхнулись волны, стараясь отчетливее передать ответ, едва ли постижимый человеческим умом.

И он узнал, что все поколения существ в пределах своих измерений, а также все стадии роста каждого существа являются не более чем воплощениями его вечного прообраза, находящегося вне измерений. То есть каждый человек в ро-

ду — сын, отец, дед и так далее — и каждый этап жизни этого человека — от младенца до старика — представляют собой частицу этого вечного существа, проявившуюся при смене космического угла зрения. Посему Рэндольф Картер во все периоды его жизни, а также все предки Рэндольфа Картера — включая людей и их доисторических предшественников, обитателей Земли и иных планет — все это суть частицы одного, вечного «Картера» вне пространства и времени. Это всего лишь набор призрачных проекций единого существа, различающихся между собой только углами, под которыми в каждом отдельном случае было проведено сечение.

Малейшее изменение угла может превратить взрослого человека в ребенка; превратить Рэндольфа Картера в колдуна Эдмунда Картера, в 1692 году бежавшего из Салема в окрестности Аркхема, или в Пикмена Картера, который в 2169 году сыграет исключительную роль в спасении Австралийского континента от нашествия монгольских орд; превратить Картера-человека в существо, прибывшее на Землю с двойной планеты Китанил в системе Арктура и жившее в доисторической Гиперборее, где оно поклонялось черному идолу Цатогуа; превратить Картера-землянина в его невероятно далеких инопланетных предков — в обитателей того же Китанила или планеты Шонхи в другой галактике, в четырехмерный летучий разум из еще более древнего пространственно-временного континуума, в растительный мозг с черной радиоактивной кометы, что помчится по немыслимой орбите в далеком будущем, — и так далее в бесконечном круговороте космических циклов.

Вечные прообразы, населяющие бездну, не имеют формы и не поддаются никаким описаниям, и только единичные сновидцы из трехмерных миров способны догадаться об их существовании. Главенствует среди них Единое Сущее, *которое и есть прообраз самого Картера*. Происхождением от Верховного Прообраза и объясняется жадное стремление Картера и всех его предков познать сокровенные тайны кос-

моса. В каждом из миров все великие колдуны, великие мыслители и великие художники являются воплощениями именно этого прообраза.

Ошеломленный новым откровением, Картер мысленно воздал почести Единому Сущему, частицей которого, как выяснилось, был и он сам. Волнение космоса улеглось, давая ему возможность в тишине подумать об удивительных дарах, необычных вопросах и совсем уже странных просьбах. Однако мысли путались, не в состоянии разом охватить гигантский размах открывшихся перед ним новых перспектив. Ведь, если буквально понимать все ему сообщенное, Картер, овладев искусством самостоятельной смены угла сознания, получал возможность *физически* посетить все далекие эпохи и области вселенной, ранее виденные им лишь во снах. Но как овладеть этим искусством? Тут мог сыграть свою роль серебряный ключ, с помощью которого он уже переносился из 1928-го в 1883 год, а затем сумел выйти за пределы времени. Как ни странно, даже сейчас, утратив телесную оболочку, Картер точно знал, что ключ все еще находится при нем.

Пауза в космическом волнении продолжалась, и Картер этим воспользовался, чтобы обратиться с вопросами к Единому Сущему. В этой бездне он был равноудален от всех прочих своих ипостасей — человеческих и нечеловеческих, земных и инопланетных — и горел желанием узнать о них как можно больше. Более всего его интересовали воплощения, далеко отстоявшие во времени и пространстве от земного 1928-го года. Он не сомневался в том, что Верховный Пробраз может телесно переместить его в любое из этих созданий, и тогда он станет реальным участником сцен, которые прежде являлись ему лишь во фрагментарных видениях.

Для начала он попросил допустить его в неоднократно виденный во снах сумрачный фантастический мир с пятью разноцветными солнцами и незнакомыми созвездиями на небосводе — в мир гигантских черных скал, причудливых

металлических башен, неизвестно куда ведущих туннелей и загадочных парящих цилиндров, населенный существами с клешнеобразными конечностями и головами, напоминающими морды тапиров. У него было смутное предчувствие, что этот мир окажется наилучшим местом для последующего установления контактов со множеством иных миров. Страха он не испытывал: как и во всех загадочных ситуациях, с которыми он сталкивался в своей жизни, любознательность взяла верх над остальными чувствами.

Начнувшись волны, и Картер понял, что его просьба удовлетворена. А Единое Сущее уже начало рассказ о черных межгалактических безднах, которые он должен будет преодолеть, о пяти близко расположенных звездах, вокруг которых вращалась нужная ему планета, и о таящихся в глубоких норах чудовищах, с которыми вели упорную борьбу клешне-рукие обитатели планеты. Верховный Прообраз объяснил ему, под каким углом следует повернуть плоскость его сознания относительно пространственно-временных элементов искомого мира, чтобы вселиться в тело своего тамошнего воплощения. При этом он должен четко усвоить и не забывать свои символы — в противном случае он не сможет вернуться назад.

Картер послал в ответ мысленное подтверждение, догадавшись, что упомянутые символы — это знаки, изображенные на серебряном ключе, который уже успешно перемещал его из 1928-го в 1883 год. Почувствовав его нетерпение, Единое Сущее изъявило готовность начать процесс. Бег волн резко прекратился, и на мгновение все вокруг как будто замерло в ожидании.

А затем раздался низкий рокочущий гул, стремительно набиравший силу и переросший в чудовищный гром. И вновь Картер почувствовал себя точкой в пространстве, на которой под звуки уже знакомого чужеродного ритма фокусировалась неистовая энергия, одновременно создавая ощущение обжигающего звездного пламени и ледяющего хо-

лода космической пустоты. Перед ним мелькали, скрещивались и переплетались лучи, цвета которых были неведомы в спектрах этой вселенной. Картер стремительно перемещался в пространстве, но при всей скорости этого движения все же успел на мгновение увидеть одинокую фигуру, восседавшую на туманном троне шестиугольной формы...

VI

Индуc сделал паузу в повествовании. Де Мариньи и Филлипс всем своим видом выражали внимательный интерес. Эспинуолл, напротив, демонстративно игнорировал рассказчика, притворяясь, будто поглощен изучением лежащих на столе бумаг. Гробовидные часы тикали все в том же странном ритме, который теперь казался особенно зловещим. Иссикающий дым поднимался над курильницами фантастическими завитками, что в комбинации с гротескными фигурами на колеблемых сквозняком гобеленах вызывало неприятное, тревожное ощущение. Старик-негр, подкладывавший благоговения в курильницу, к тому моменту уже покинул комнату, вероятно не вынеся ощутимо нараставшего здесь напряжения. Рассказчик чуть помедлил, словно извиняясь, прежде чем продолжить.

— Полагаю, вам нелегко поверить в мой рассказ о полете в бездну, но еще менее правдоподобным вам покажется описание вполне материальных и осязаемых вещей, к которому я сейчас перехожу. Так уж устроен человеческий ум: чудеса представляются нам вдвойне невероятными, если они происходят не в привычном трехмерном мире, а в областях, которые нам случается видеть только во сне. Я постараюсь не утомлять вас подробностями и сообщу лишь то, что вам необходимо знать.

Когда стих космический вихрь и умолк громоподобный ритм, Картеру показалось, что он вернулся в один из неоднократно виденных снов. Как и в сновидении, он обнаружил

себядвигающимися в толпе клешнеруких тварей по городским улицам меж металлических стен, озаренных лучами разноцветных солнц. Взглянув на свое тело, он убедился, что сам он с виду не отличается от здешних жителей — его складчатая кожа была местами покрыта чешуей, а туловище сочленялось как у насекомого, хотя в очертаниях его и присутствовало некое карикатурное сходство с человеческой фигурой. Серебряный ключ был по-прежнему при нем, зажатый в одной из длинных заостренных клешней.

В следующий момент ощущение, будто он находится во сне, исчезло. Напротив, он почувствовал себя очнувшимся от сна, в котором видел беспредельную бездну, Единое Сущее и еще какое-то нелепое создание чужой расы, именуемое Рэндольфом Картером. Подобные видения часто посещали мага Зкаубу, жившего на планете Йаддит. Пожалуй, это происходило даже слишком часто, мешая ему должным образом творить магические обряды, которые не позволяли свирепым бхоулам выбраться на поверхность из своих нор. Эти видения порой сливались с воспоминаниями о его действительных путешествиях на фотонном звездолете по множеству инопланетных миров, но никогда еще они не выглядели столь реальными. Тяжелый, вполне материальный серебряный ключ, вдруг обнаружившийся в его правой верхней клешне, был точной копией того, что являлся ему в снах, и это неожиданное приобретение не сулило ничего хорошего. Ему надо было успокоиться, обдумать случившееся и поискать ответ в священных таблицах Нхинг. Зкауба свернул с оживленной улицы в тихий переулок, поднялся по металлической стене к дверям своего жилища и сразу направился к полке, где хранились таблицы.

С того момента миновало семь дней, и последний из них застал Зкаубу в ужасе и отчаянии — он наконец выяснил правду и вместе с ней обрел массу новых, противоречивых воспоминаний. Его душевный покой был нарушен отныне и навек, ибо он утратил цельность собственного «я». Теперь

их было двое в одном теле: Зкауба, маг с Йаддита, и Рэндольф Картер из Бостона на планете Земля. Первый не мог без судорог отвращения представить себе гнусное земное млекопитающее, чей облик ему придется принять в будущем, а второй с не меньшим ужасом ощущал себя в теле урода с клешнями, которым он был в невероятно далеком прошлом и в которого он воплотился вновь.

— Время, проведенное Картером на Йаддите, заслуживает отдельного рассказа, — продолжил свами, в чьем механическом голосе появились хрипы, свидетельствовавшие об усталости. — Он посетил Шонхи, Мтуру, Кат и многие другие миры в двадцати восьми галактиках, куда могли добираться фотонные корабли с Йаддита. С помощью серебряного ключа и некоторых других символов, известных местным магам, он путешествовал в далекое прошлое и будущее. Ему приходилось сражаться с бесцветными скользкими бхоулами в первозданных туннелях, пронизавших внутренность планеты. Много дней он провел в библиотеках за изучением наследия десяти тысяч живых и уже погибших миров. Он общался с лучшими умами Йаддита, в том числе с древнейшими мудрецами Буо. Зкауба не рассказывал никому из местных о постигшем его раздвоении личности, но всякий раз, когда в этой паре брала верх индивидуальность Картера, последний начинал лихорадочно искать способы возвращения на Землю, в свою привычную телесную оболочку, и усиленно практиковался в человеческой речи, хотя речевой аппарат Зкаубы был плохо приспособлен для таких упражнений.

Дело в том, что серебряный ключ не мог вернуть Картера в его земное воплощение, каковой жуткий факт выяснился вскоре после его прибытия на Йаддит. Причину этого он выяснил уже позднее, собрав воедино обрывки сновидений, собственные воспоминания и знания, полученные от мудрецов Йаддита. Ключ был изготовлен на Земле, в древней Гиперборе, и сила его была действенна только для сознания

человеческих существ. Правда, с его помощью можно было изменять планетарный угол наклона и перемещаться во времени, при этом оставаясь в нынешней телесной оболочке. Существовал еще ряд символов, дополнявших возможности серебряного ключа, делая их практически неограниченными, но и они были продуктом земного разума, который не мог быть воспроизведен магами Йаддита. Эти символы были записаны на так и не расшифрованном пергаменте, хранившемся в резной шкатулке вместе с серебряным ключом, и Картеру оставалось лишь горько сожалеть о том, что оставил пергамент в машине перед тем, как открыть Первые Врата. Когда Единое Сущее в ныне недостижимой бездне предупреждало его о необходимости помнить свои символы, он решил, что имеется в виду только ключ, и теперь расплачивался за эту оплошность.

Он пытался использовать всю мощь науки и магии Йаддита, чтобы найти обратную дорогу к своему Верховному Прообразу. Обретенные здесь познания помогли бы ему расшифровать текст на пергаменте, но, увы, — ему нечего было расшифровывать. А в те периоды, когда преобладание в тандеме получала индивидуальность Зкаубы, тот всеми силами старался уничтожить раздражавшие его личные воспоминания Картера.

Так проходили века и тысячелетия, если исчислять время по земным меркам, — срок, невообразимый для людей, но вполне обычный для сверхдолгих жизненных циклов обитателей Йаддита. В процессе затянувшейся борьбы двух личностей, поочередно захватывавших власть над телом, чаша весов постепенно склонилась в пользу Картера. Теперь он много времени посвящал вычислениям, уточняя расстояние между Йаддитом и Землей и временной промежуток, который отделял его от человеческой эпохи. Цифры ошеломляли — зоны световых лет, — но Картер научился ими оперировать благодаря навыкам, приобретенным на Йаддите. Кроме того, он развил в себе способность посещать Землю в

сновидениях и узнал о родной планете много нового. Однако ему не удавалось увидеть во сне самое главное — текст на утраченном пергаменте.

В конце концов у него созрел отчаянный план бегства с Йаддита. Это произошло после того, как он нашел зелье, способное поддерживать Зкаубу в дремотном состоянии, не стирая при этом его личные знания и воспоминания, так что ими мог в своих интересах пользоваться Картер. Он надеялся, руководствуясь ранее сделанными расчетами, добраться до Земли на одном из местных фотонных кораблей, но это был слишком дальний полет даже для привычных к космическим путешествиям жителей Йаддита. Ему предстояло *физически* проделать весь путь через межгалактические бездны — то самый путь, что некогда *мысленно* преодолело его бестелесное воплощение. По достижении Земли он собирался, несмотря на свой инопланетный облик, отыскать и расшифровать пергамент, оставленный им в машине на сельской дороге близ Аркхема, а затем уже с помощью ключа и расшифрованных дополнительных символов вернуть себе нормальный человеческий вид.

Он прекрасно осознавал подстерегавшие его опасности. Изменить угол наклона и переместиться в будущее он мог, только находясь на поверхности планеты (в процессе полета такая тонкая операция была невозможна), но Картер знал, что в ту далекую эпоху цивилизация на Йаддите уже погибнет и планета окажется во власти бхоулов, так что старт космического корабля будет сопряжен с немалым риском. Сложность представляла также приостановка его жизненных функций на время перелета, который продлится многие тысячи лет. А в случае успешного прибытия на место опасность представляли земные бактерии и вирусы, губительные для инопланетянина с Йаддита. Значит, он должен был заранее выработать против них иммунитет. Еще одна проблема касалась его внешности — нужно было как-то замаскироваться под человека до той поры, пока не будет найден пергамент,

который позволит ему в действительности восстановить свой человеческий облик. В своем нынешнем виде у него было мало шансов уцелеть — движимые страхом и ненавистью люди наверняка постараются уничтожить мерзкую тварь. Наконец, следовало позаботиться о запасе золота — к счастью, достаточно распространенного металла на Йаддите, — дабы не испытывать финансовых затруднений при поисках пергамента.

Не торопясь, обстоятельно, Картер готовился к осуществлению своего плана. По его заказу был построен одноместный корабль-капсула повышенной прочности, способный выдержать как перемещение во времени, так и беспримерный по дальности космический полет. Он снова и снова перепроверял свои расчеты и много раз посещал в сновидениях Землю, стараясь максимально приблизиться к 1928 году. После долгих научных изысканий и экспериментов проблема приостановки жизненных функций была решена успешно, как и проблема иммунитета против земных болезнетворных организмов. Он регулярно тренировался, готовя свое тело к предстоящим перегрузкам. Изготовленные им восковая маска и мешковатый костюм позволяли не слишком выделяться среди людей. Он составил особо сильные магические формулы, чтобы отразить нападение бхоулов в момент старта с умирающей планеты далекого будущего. Позаботился он и о запасах зелья, необходимого для того, чтобы держать под контролем личность Зкаубы, пока Картер будет делить с ним одну телесную оболочку. Наконец, не было забыто и золото в количестве, достаточном для обеспечения его земных нужд.

И вот настал день, выбранный им для побега. Терзаемый сомнением и страхом, Картер взошел на стартовую платформу и забрался в фотонный корабль, предварительно известив «соотечественников» о своем намерении отправиться к тройной звезде Нитон. В тесной капсуле ему едва хватило места, чтобы надлежащим образом совершить ритуал с серебряным ключом. В самый последний момент он перевел корабль в

предстартовый режим, запуская двигатель. И тотчас его тело пронзила острая боль, а небо за иллюминатором потемнело и на нем закружился хоровод незнакомых созвездий.

Так же внезапно боль отпустила. Над кораблем темнело ледяное межзвездное пространство, а сам корабль завис над поверхностью планеты — высокая стартовая платформа, на которой он был некогда установлен, за многие прошедшие века рассыпалась в прах. Земля внизу кишела гигантскими червеобразными бхоулами, один из которых приподнял свое гибкое бесцветное тело на несколько сотен футов в попытке дотянуться до корабля. Но магическая формула сработала, отразив атаку, а еще через мгновение двигатель вышел на полную мощность и помчал невредимого звездоплвателя прочь с умирающего Йаддита.

VII

В комнате новоорлеанского дома, которую некоторое время назад покинул охваченный страхом старый слуга-негр, свами Чандрапутра продолжал свой рассказ, по мере которого его механически-монотонный голос становился все более глухим и хриплым.

— Господа, я не прошу вас верить мне на слово, пока не представлю доказательства, которыми располагаю. До той поры вы вольны считать мифическим рассказ о тысячах световых лет — тысячах лет во времени и несчетных триллионах миль в пространстве, — проведенных Рэндольфом Картером в облике инопланетного существа внутри космического корабля, за тонким, но прочным корпусом из электроактивного металла. Он тщательно рассчитал время пребывания в анабиозе, чтобы выйти из него за два-три года до посадки на Землю, которая планировалась на тысяча девятьсот двадцать восьмой год или как можно ближе к этому сроку.

Он никогда не забудет свое пробуждение. Вспомните, господа, что, до того как погрузиться в многовековой сон, он в полном сознании прожил несколько тысяч земных лет

в абсолютно чуждом, удивительном и пугающем мире Йаддита. При выходе из анабиоза он в первую минуту ощутил жестокий холод, затем прекратились мучившие его мрачные сны, он открыл глаза и увидел за иллюминатором звезды, созвездия и туманности, чьи очертания были ему знакомы еще по тем временам, когда он глядел в звездное небо с Земли.

Когда-нибудь его путешествие по Солнечной системе будет описано во всех деталях. Он видел ее самые дальние планеты — Кинарт и Юггот, пролетел близко от поверхности Нептуна, испещренной какими-то грибовидными образованиями мертвенно-белесого цвета. Он познал тайны, скрываемые облачной пеленой Юпитера, и ужасы одной из его планет-спутников. Он видел руины циклопических строений на красном марсианском диске. С приближением к Земле та превратилась из яркой точки в сияющий полумесяц, который быстро разрастался. Картер снизил скорость, хотя перед долгожданной встречей с родной планетой каждая минута промедления казалась ему мучительной.

Наконец корабль вошел в верхние слои земной атмосферы, но замедлил снижение, выжидая, когда Солнце осветит западное полушарие. Картер хотел приземлиться поблизости от того места, где покинул земной мир, — у Змеиного логова на взгорье за Аркхемом. Если вам доводилось провести долгое время вдали от родины — по крайней мере с одним из вас это произошло, насколько я знаю, — вы поймете ощущения Картера при виде округлых холмов Новой Англии, огромных вязов и разросшихся неухоженных садов за осыпающимися каменными оградами.

В рассветный час он совершил посадку на нижнем лугу старой усадьбы Картеров и с облегчением отметил царившие вокруг тишину и безлюдье. Стояла осень, как и во время его отбытия, и запах увядающей листвы кружил голову, вызывая в памяти картины прошлого. Картеру удалось переместить легкую капсулу вверх по склону и укрыть ее в Логове, хотя протиснуть ее через расщелину в дальнюю пеще-

ру не удалось. После этого он надел маску и скрыл свое тело под человеческой одеждой. Корабль хранился в Логове более года, пока обстоятельства не вынудили Картера найти для него новое укрытие.

Он пешком добрался до Аркхема — попутно попрактиковавшись в ходьбе на людской манер и сохранении равновесия в условиях земной гравитации. В городском банке он обменял свои золотые слитки на наличные и осторожно навел кое-какие справки, выдавая себя за иностранца. Тогда-то и выяснилось, что он попал в 1930 год, то есть на два года позднее намеченного.

Что и говорить, положение его было незавидным. Не имея возможности объявиться под собственным именем, он должен был действовать без промедления и при этом все время быть настороже, к чему добавлялись проблемы с непривычной для инопланетного организма земной пищей и необходимость постоянно держать при себе запас зелья для нейтрализации личности Зкаубы. Он добрался до Бостона и снял квартиру в трущобном районе на западной окраине, где можно было жить, не привлекая к себе слишком пристального внимания. Первым делом он узнал все, что касалось наследства Рэндольфа Картера, в том числе о настойчивом стремлении мистера Эспинуолла разделить это наследство между родственниками и о достойных похвалы действиях господ де Мариньи и Филлипса, противостоявших этим попыткам.

Индус отвесил поклон двум упомянутым джентльменам, но при этом никакого выражения не промелькнуло на его смуглом, обрамленном густой бородой лице.

— Окольными путями Картер сумел раздобыть точную копию пропавшего пергамента и приступил к его расшифровке, — продолжил он. — С радостью могу сказать, что я лично помогал ему в этих делах. Он связался со мной вскоре по прибытии на Землю и уже через меня наладил контакты с другими мистиками в разных концах мира. Я приехал

в Бостон и поселился вместе с ним в жалкой конуре на Чемберс-стрит. Что касается пергамента, я охотно дам господину де Мариньи все необходимые пояснения. Язык, на котором написан текст, не наакальский, как вы думали изначально, а р'льехский, на котором говорили потомки Ктулху, прибывшие на Землю много космических циклов назад. Разумеется, это всего лишь перевод, а гипербореяский оригинал был написан за миллионы лет до того на языке цат-йо.

Расшифровка оказалась более сложным делом, чем предполагал Картер, но он никогда не терял надежды. В начале этого года он существенно продвинулся вперед благодаря древней книге, доставленной из Непала, и сейчас работа уже близка к завершению. К сожалению, с недавних пор возникло одно препятствие — подошел к концу запас зелья, усыпляющего личность Зкаубы. Впрочем, эта опасность не столь велика, как могло бы показаться, поскольку личность Картера по-прежнему имеет подавляющее влияние в тандеме и Зкаубе удастся получать контроль над телом на все более редкие и краткие промежутки времени. Обычно он пробуждается лишь в стрессовых ситуациях, но и тогда он слишком слаб для того, чтобы радикально изменить ход событий в свою пользу. Правда, однажды он чуть было не отыскал спрятанный космический корабль, намереваясь улететь обратно на Йаддит, но Картер вовремя захватил инициативу и перепрятал корабль в другое место, когда Зкауба снова впал в летаргию. До сих пор максимум, чего ему удавалось достичь, так это напугать нескольких посторонних людей да стать причиной кошмарных слухов среди поляков и литовцев, населяющих бостонский Уэст-Энд. Он не нанес существенных повреждений маскировочному наряду Картера, хотя несколько раз срывал его с тела и кое-что приходилось потом подправлять. Я видел это существо без одеяния и уверяю вас: такое зрелище может испугать кого угодно.

Месяц назад Картер прочел в газете объявление о встрече, на которой мы сейчас присутствуем, и понял, что надо

срочно принять меры по спасению своего наследства. Он не мог ждать до того времени, когда будет закончена расшифровка текста и он вернет себе человеческий облик. Вот почему он поручил мне действовать от его имени, и в этом качестве я нахожусь здесь.

Господа, я уполномочен заявить вам следующее: Рэндольф Картер не умер, но временно находится, скажем так, в аномальном состоянии. Однако через два-три месяца он объявится в привычном всем вам виде и потребует наложить арест на свое имущество, если оно к тому времени уже будет распределено между наследниками. Я могу представить вам доказательства, если это потребуется. Исходя из всего сказанного, я прошу вас отложить решение вопроса на неопределенный срок.

VIII

Де Мариньи и Филлипс устали на индуса, словно загипнотизированные, тогда как Эспинуолл издал серию бурчащих и фыркающих звуков. Раздражение законника теперь перешло в приступ ярости. Он грохнул по столу тяжелым кулаком с апоплексически вздутыми венами и заговорил резким лающим голосом:

— Как долго еще будет продолжаться это фиглярство? Вот уже битый час я выслушиваю какого-то сумасшедшего — или, скорее, жулика, — а под конец он имеет наглость заявлять, что Рэндольф Картер жив, и требует отложить рассмотрение дела! Почему вы до сих пор не вышвырнули вон этого шарлатана, де Мариньи? С какой стати мы должны терпеть издевательства всяких чокнутых проходимцев?

Де Мариньи ответил негромко, подняв руки в успокоительном жесте:

— Давайте обсудим все спокойно и без спешки. Это крайне необычная история, но кое-что из услышанного я, как человек довольно сведущий в мистике, не считаю абсолют-

но невозможным. И потом, с тысяча девятьсот тридцатого года я поддерживал переписку со свами, и многое из сказанного им здесь согласуется с содержанием тех писем.

Он сделал паузу, и мистер Филлипс поспешил вставить свое слово.

— Свами Чандрапутра говорил о доказательствах. Много в этой истории мне показалось достойным внимания, и я также за последние два года получил много писем от свами, косвенно подтверждающих сказанное. Однако в некоторых своих заявлениях он заходит чересчур далеко. Имеются ли у вас реальные, вещественные доказательства?

В ответ свами все с тем же невозмутимым видом начал извлекать что-то из кармана своего просторного пиджака и медленно произнес:

— Никто из вас не видел своими глазами тот самый серебряный ключ, хотя господа де Мариньи и Филлипс знают его по фотоснимкам. Скажите, вам знаком этот предмет?

Он вытянул руку в холщовой рукавице, и на стол лег увесистый ключ из потускневшего серебра. Около пяти дюймов в длину, он был выполнен в чрезвычайно экзотическом стиле и сплошь покрыт причудливыми знаками. Де Мариньи и Филлипс дружно ахнули.

— Это он самый! — вскричал де Мариньи. — Точь-в-точь как на фото! Тут не может быть ошибки!

Но у мистера Эспинуолла и сейчас нашлось что сказать.

— Глупцы! Разве это доказательство? Если ключ в самом деле принадлежал моему кузену, пусть этот чужак — этот грязный ниггер — объяснит, как он к нему попал! Рэндольф Картер исчез вместе с ключом четыре года назад. Откуда мы знаем, что он не был убит и ограблен? Кузен был порядком не в себе и вечно якшался со всякой полоумной швалью. А ну-ка, черномазый, скажи нам, где ты взял ключ? Может статься, ты сам убил Картера?

На лице свами не дрогнул ни один мускул, но черные глаза без радужной оболочки недобро сверкнули.

— Держите себя в руках, мистер Эспинуолл. Я мог бы предъявить еще одно доказательство, но боюсь, оно произведет на присутствующих нежелательный эффект. Давайте же будем разумными. Вот бумаги, составленные уже после тысячи девятьсот тридцатого года, в чем нетрудно удостовериться. При этом стиль и характерные обороты убедительно свидетельствуют о том, что записи сделаны лично Рэндольфом Картером.

Он вынул из внутреннего кармана длинный конверт и передал его разъяренному Эспинуоллу, тогда как де Мариньи и Филлипс наблюдали за этой сценой со все возрастающим изумлением.

— Конечно, почерк разобрать трудно — не забывайте, что в настоящее время у Рэндольфа Картера нет человеческих рук, более подходящих к принятому у землян способу изборажения письменных знаков, — добавил свами.

Эспинуолл бегло просмотрел бумаги, и на лице его появилось озадаченное выражение, однако он не собирался идти на попятную. В комнате сгущалась атмосфера неизъяснимого страха, а чужеродное тиканье напольных часов оказывало какое-то демоническое воздействие на де Мариньи и Филлипа, при том что Эспинуолл, казалось, совсем не замечал этого ритма.

— Судя по всему, это ловкая подделка, — заявил он. — Если же бумаги подлинные, это может означать, что Рэндольф Картер находится под контролем неких преступников. В этом случае самым правильным будет немедленно арестовать и допросить этого негодяя. Позвоните в полицию, де Мариньи.

— Не будем спешить, — сказал хозяин дома. — Вряд ли это дело требует вмешательства полиции. У меня есть другое предложение. Мистер Эспинуолл, этот человек имеет репутацию выдающегося мистика. По его словам, он пользуется полным доверием Картера. Быть может, вы будете удовлетворены, если он сумеет ответить на некоторые вопросы, по-

нятные лишь очень немногим людям, от которых у Картера не было никаких секретов? Я был близок с Картером и могу задать нужные вопросы. Позвольте только принести одну книгу, как раз подходящую для такой проверки.

Он направился к двери библиотеки, сопровождаемый Филлипсом, который выглядел ошеломленным и как будто не вполне осознавал свои действия. Эспинуолл остался на месте, пристально наблюдая за тем, как Чандрапутра неловко запихивает в карман серебряный ключ. Внезапно юрист издал вопль, заставивший де Мариньи и Филлипса остановиться на пути к двери.

— Черт побери, я понял! Мерзавец вовсе не тот, за кого себя выдает! Бьюсь об заклад, он никакой не индус. И это лицо — вовсе не лицо, а маска! Вдобавок фальшивая борода и тюрбан. Он сам же навел меня на эту мысль болтовней о маскировке. Этот тип — обычный аферист, как я и предполагал. И никакой он не иностранец — судя по манере речи, он скорее смахивает на янки. А эти дурацкие рукавицы, думаете, зачем? Да затем, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Чертов ублюдок, сейчас я сорву с тебя эту штуку...

— Стойте! — раздался режущий слух голос свами. — Я обещал при необходимости привести еще одно доказательство, но надеялся обойтись без этого. Старый сутяга прав: я не индеец и мое лицо действительно скрыто под маской — но это *не человеческое лицо*. Остальные двое, как я вижу, догадались об этом еще раньше по ходу моего рассказа. Не советую трогать эту маску, Эрнест, — тебе очень не понравится то, что ты под ней найдешь. Пора бы и тебе наконец понять уже понятное другим: я — *Рэндольф Картер*.

Все замерли. Де Мариньи и Филлипс, находившиеся в другом конце комнаты, наблюдали за сменой выражений на багровой физиономии юриста, тогда как фигура в тюрбана была видна им только со спины. Часы продолжали отбивать свой ужасающий ритм; клубы дыма и раскачивающиеся гобелены, казалось, исполняли слаженную пляску смерти. Наконец Эспинуолл опомнился и подал голос:

— Ты меня не запугаешь, ловкач! У тебя наверняка есть иные причины скрывать свое лицо — небось, боишься, что тебя опознают? Пора с этим покончить...

Он потянул руку через стол, но свами перехватил и сжал ее своей конечностью в белой рукавице, вызвав у нападавшего крик боли и изумления. Де Мариньи бросился было к ним, но остановился, когда протестующий возглас псевдоиндуса сменился непередаваемой комбинацией из жужжащих и щелкающих звуков, какие просто не в состоянии издать голосовые связки человека. Эспинуолл пустил в ход свободную руку и на сей раз сумел дотянуться до бороды противника, сорвав ее вместе с маской.

Миг спустя в горле Эспинуолла что-то забулькало, лицо его исказила гримаса ужаса, глаза полезли из орбит, а тело начало конвульсивно дергаться, как при эпилептическом припадке. Лжесвами меж тем отпустил его руку и, не прекращая жужжать и пощелкивать, поднялся из-за стола. Затем двое стоявших позади него зрителей увидели, как фигура в тюрбане как бы сложилась, принимая позу, совершенно неестественную для человека, и заковыляла по направлению к занимавшим стенную нишу гробовидным часам. Со своей позиции де Мариньи и Филлипс не видели лица, с которого только что была сорвана маска. Их внимание отвлек Эспинуолл, тяжело рухнувший на пол. Этот шум вывел их из оцепенения, но, когда они подоспели к упавшему, тот был уже мертв.

Оглянувшись затем на неуклюже передвигавшегося свами, де Мариньи заметил, как с его руки слетела белая рукавица, обнажив вместо кисти что-то черное и продолговатое. Задымление в комнате помешало рассмотреть отчетливее, а когда де Мариньи двинулся было следом, мистер Филлипс остановил его, схватив за плечо.

— Не нужно! — прошептал он. — Мы не знаем, кто сейчас управляет этим телом. Вспомните о том самом Зкаубе, маге с Йаддита...

Тем временем фигура в тюрбане добралась до стенной ниши, и двое наблюдателей разглядели сквозь дым черную клешню, совершающую какие-то манипуляции у покрытой иероглифами высокой дверцы напольных часов. Затем раздался громкий щелчок, и фигура исчезла в открывшемся проеме, притворив за собой дверцу.

Не сдерживаемый более коллегой, де Мариньи устремился к часам и заглянул внутрь, но там уже никого не было. Часы же продолжали отбивать свой неестественный, мрачный космический ритм, сопровождающий открытие переходов между мирами и измерениями. На полу посреди комнаты валялась белая холщовая рукавица, а рядом со столом лежал мертвец, все еще сжимавший в руке маску с фальшивой бородой, но никаких иных следов недавнего пребывания чужака здесь не осталось.

За прошедший с той поры год ничего нового о судьбе Рэндольфа Картера узнать не удалось. Вопрос о его наследстве так и остается нерешенным. Как выяснилось, по бостонскому адресу, с которого пресловутый свами Чандрапутра отправлял письма различным ученым-мистикам, действительно проживал в 1930–1932 годах странного вида индус, который покинул эту квартиру незадолго до описанной выше новоорлеанской встречи и с той поры нигде не объявлялся. По свидетельствам соседей, он был смуглолицым и бородатым, с неподвижным бесстрастным лицом. Когда же домовладельцу показали маску, оставшуюся в руке мертвого Эспинуолла, он признал ее очень похожей на лицо своего бывшего квартиросъемщика. Последнего, впрочем, никоим образом не связывали с кошмарными привидениями, о которых ходили слухи среди населявших этот район выходцев из Восточной Европы. Лесистые взгорья за Аркхемом были обследованы в поисках «металлической капсулы», но ничего в этом роде обнаружить не удалось. Зато клерк аркхемского отделения Первого Национального банка припомнил неле-

пого бородача в тюрбане, который в октябре 1930 года обменял на наличные несколько золотых слитков.

Де Мариньи и Филлипс пребывали в растерянности. В конце концов, какими доказательствами они располагали? Они выслушали рассказ, но то были всего лишь слова. Они видели ключ, но его вполне можно было подделать, основываясь на тех же фотоснимках, которые Картер посылал многим корреспондентам. Имелись кое-какие документы, но все они были второстепенного характера и сомнительной подлинности. Они общались с незнакомцем в маске, но единственный человек, видевший его истинное лицо, скончался на месте от апоплексического удара. Что касается таинственного исчезновения незнакомца внутри напольных часов, то это мог быть просто обман зрения, каковой допустить нетрудно, учитывая возбужденное состояние зрителей, а также дурманящий дым от благовоний. И потом, всем известно, что индусы — большие мастера гипноза. Логично было бы предположить в «свами» мошенника, покушавшегося на наследство Рэндольфа Картера. Правда, вскрытие показало, что Эспи-нуолл умер в результате нервного потрясения, объяснимого скорее сильнейшим испугом, нежели вспышкой гнева. Было и еще кое-что в этой истории...

Этьен-Лоран де Мариньи частенько подолгу засиживается в своем просторном кабинете среди гротескных гобеленов и клубов ароматного дыма и со сложными, ему самому не очень понятными ощущениями прислушивается к чужеродному ритму диковинных напольных часов, циферблат которых испещрен какими-то непередаваемыми иероглифами.

УЖАС ДАНВИЧА

Горгоны, гидры и химеры — жуткие истории о Келено и гарпиях — могут воспроизводиться в обремененном суевериями мозгу; *но они были там и прежде*. Они суть образы, типы — архетипы же сидят внутри нас, и они вечны. Иначе как могли бы поражать наши души рассказы о вещах, которые мы привыкли считать пустыми выдумками? Но разве сами эти образы внушают нам ужас и разве мы действительно смертельно боимся, что будем физически поражены ими? Менее всего это так; однако существуют и *страхи, невообразимо более древние, нежели человеческая оболочка...* Да, они существовали и посейчас могут существовать вне ее, и они не меняют своей сущности... Мы говорим здесь о чисто духовном, спиритуальном страхе: он затмевает собой другие чувства, он переполняет нас в невинном младенчестве — и он не позволяет нам найти хоть какой-то ответ на вопрос о том, что мы увидим, доведись нам заглянуть в древнее внеземное отражение нашего эго, где мы лишь улавливаем краем глаза неясный мир теней предсуществования.

Чарльз Лэм. Ведьмы и другие ночные страхи

I

Если судьба когда-нибудь забросит вас в центральную часть северного Массачусетса и вам доведется сбиться с пути на развилке дорог у пика Эйлсбери, что за Динз-Корнерз, вашему взору откроется пустынный и ни на что не похожий ландшафт. Местность здесь заметно повышается, а извилистые пыльные дороги в окаймлении полуразрушенных каменных оград порой почти теряются в мощных зарослях дикого шиповника. Деревья в попадающихся там и сям рощах кажутся неправдоподобно большими, а буйные заросли сорных злаков, куманики и прочего бурьяна наводят на мысль о том, что земли в этой местности не возделываются вот уже много лет. Впрочем, впечатление это верно лишь отчасти — кое-где все же можно увидеть засеянные поля, но их немногочисленность и скудость с ходу повергают вас в состояние глубокого уныния, как и удручающее однообразие жалких,

невообразимо старых лачуг. Редкие одинокие поселенцы, праздно торчащие у своих убогих жилищ или посреди неровных каменистых лугов, настороженно провожают вас взглядами исподлобья, и, ощутив их на себе, вы уже не решаетесь подойти к кому-нибудь из них и спросить дорогу — дело тут не столько в отталкивающей внешности, которой наделила природа обитателей этих мест, сколько именно в той плохо скрытой враждебности, что сквозит в их угрюмых взорах. Проникнувшись атмосферой напряженного безмолвия, исходящего от этих уродливых скрюченных фигур, вы вдруг чувствуете, что соприкоснулись с чем-то запретным и что это может не кончиться для вас добром. А когда, поднявшись по дороге в гору, вы окажетесь на гребне холма и с этого возвышения вашему взору откроется картина мрачных лесных дебрей, на душе у вас станет еще более тревожно. Вершины холмов, настораживающие своей слишком уж неестественной, идеально закругленной формой, порой увенчаны странными кольцами из высоких каменных столбов, отчетливо видимых на фоне ясного неба.

Путь вам пересекают овраги и ущелья изрядной глубины, через которые переброшены грубо сколоченные и с виду ненадежные деревянные мосты. В низинах лежат заболоченные луга, вызывающие неосознанное отталкивающее чувство, в темное время суток переходящее в столь же неосознанный, но от этого не менее натуральный страх, навеваемый криками скрытых во тьме козодоев и мельтешением огромной массы светлячков, заводящих свой безмолвный танец под надоедливый однообразный ритм нескончаемых лягушачьих воплей. Неторопливый Мискатоник, начиная отсюда свой путь к океанским водам, опоясывает подножья холмов тонкой извилистой лентой, напоминающей издали гигантский блестящий серпантин.

С приближением к холмам густые леса, покрывающие их склоны, внушают еще большее опасение, нежели подозрительные каменные кольца на их вершинах. Вам хотелось бы держаться подальше от этих зловещих темных откосов, вы-

рисовывающихся во всем своем мрачном великолепии на фоне угрюмого, неприветливого неба, однако нет дороги, которая проходила бы от них на более-менее почтительном расстоянии. Миновав очередной холм, вы въезжаете в темный коридор старого крытого моста, и при виде этого сооружения вам становится не по себе; но другого пути нет, выбирать не приходится — и вы ныряете в этот мрачный туннель, по ту сторону которого вашему взору открывается небольшая деревушка, зажатая между рекой и вертикальным склоном Круглой горы. Поселение это представляет собой скопище жалких лачуг под островерхими двускатными крышами — последняя деталь красноречиво свидетельствует о том, что дома эти были возведены не одну сотню лет назад и наверняка сильно обветшали. При более тщательном осмотре от вашего взгляда не ускользнет, что многие из домов давно уже опустели и того и гляди рухнут, а в древней церквушке с обломанным шпилем нашла себе приют убогая лавчонка — единственное торговое заведение, обслуживающее жителей этого поселка. В ноздри вам ударяет отвратительный затхлый запах — дух тлена, что веками подтачивает дома и улицы выморочной деревушки. Поднимая облака пыли, вы проносите на своем автомобиле по главной улице и, достигнув противоположной окраины, выезжаете на узкую извилистую дорогу, уводящую вас все дальше и дальше от поселка и вливающуюся через некоторое время в основную магистраль по другую сторону пика Эйлсбери, куда вы выруливаете с неизменным вздохом облегчения. После этой нечаянной экскурсии вам вряд ли придет в голову поинтересоваться названием поселка; но если все же вы проявите известное любопытство, то узнаете, что он именуется Данвич.

Приезжие всегда были в Данвиче явлением достаточно редким, в особенности после обрушившегося на поселок кошмара, вслед за которым были спешно убраны все дорожные знаки, указывающие путь к Данвичу. В этой местности, красивой по всем эстетическим канонам, вы не встретите ни художников, ни отдыхающих. Привычка избегать этих мест

родилась еще два столетия тому назад, когда разговоры о кровавых шабашах ведьм, поклонении Сатане и жутких обитателях лесов вызывали у людей не смех, а приступы суеверного ужаса. Но и в наш просвещенный век люди испытывают страх перед Данвичем и его окрестностями — страх совершенно бессознательный, поскольку о Данвичском ужасе 1928 года им почти ничего не известно: сильные мира сего сочли за благо замолчать эту ужасную историю, дабы не нарушать спокойствия граждан. Скорее всего, страх этот основывается все на тех же старинных суевериях, которым так подвержены деградировавшие за долгие годы глухой изоляции обитатели медвежьих углов Новой Англии. Почти полная их отрезанность от внешнего мира и, как следствие, большое количество родственных браков сделали свое дело — жители этой затерянной глубинки давно уже выродились в особую расу, отмеченную явными признаками умственного и физического упадка. Их анналы изобилуют упоминаниями о чудовищных злодействах, загадочных смертях, кровосмешениях и иных деяниях, не менее извращенных и богомерзких; впрочем, при том удручающе низком уровне интеллектуального развития, что присущ подавляющему большинству представителей сей затерянной ветви человеческого племени, все эти дикие истории не вызывают особого удивления. Разве что доморощенная аристократия этих мест — далекие потомки двух-трех состоятельных семей, прибывших сюда в 1692 году из Салема, — еще как-то удерживается на более-менее приемлемом уровне существования, да и то верно лишь отчасти: многие из представителей побочных ветвей их генеалогических древ давным-давно уже погрязли в мерзости и нищете, тем самым лишив себя возможности носить доставшиеся им фамилии с честью и достоинством. Отцы семейств Уэйтли или Бишопов изредка отправляют своих подростков сыновей постигать науки в Гарвардском или Мискатоникском университетах, да вот только неизвестно, чтобы хоть один из них по окончании учебы вернулся под ветхую

крышу дома, где был рожден и он сам, и многие поколения его предков.

Даже от тех, кто располагает мало-мальской информацией о недавних событиях, вы не услышите ничего толкового о случившейся здесь дьявольщине, зато вам расскажут множество старинных легенд — в них повествуется о таинственных и страшных индейских обрядах, в продолжение которых туземцы вызывали с вершин круглых холмов чудовищные богохульные тени и устраивали исступленные моления под доносившийся откуда-то из-под земли жуткий грохот. В 1747 году преподобный Абийя Хоудли, новоиспеченный глава Данвичского прихода конгрегационалистской церкви, произнес страстную проповедь, предупреждая в ней свою паству о скором пришествии Сатаны. Вот что услышали от него прихожане:

«Не должно более молчать о тех богомерзких деяниях демонов преисподней, которые стали слишком очевидными, чтобы не замечать их и впредь. Сатанинские голоса *Азазеля* и *Бузраэля*, *Вельзевула* и *Велиала* доносятся уже до нас из-под земли, и не один десяток ныне живущих свидетелей, честность которых никоим образом не может быть поставлена под сомнение, готовы подтвердить это. Сам я не более как две недели назад собственными ушами слышал, как Силы Зла вели свои богохульные беседы на холме, что за моим домом, и беседы эти сопровождались Громами, и Скрежетом, и Шипом Змеиным, и еще многими звуками, не порожденными Землею, но пришедшими из глубин Адовых, которые только Черная Магия и может обнаружить и которые только Дьявол и может отомкнуть».

Вскоре после произнесения этой проповеди мистер Хоудли бесследно исчез, но текст ее, дошедший до Спрингфилда и отпечатанный в тамошней типографии, по сей день хранится там в целостности и сохранности. Вот с какого времени берут свое начало звуки холмов, о которых ходят самые зло-

вещие легенды и которые давно уже являются неразрешимой загадкой для геологов и физиографов.

В других преданиях рассказывается о нечистых смрадах, что исходят от корончатых кругов, образованных столбами на вершинах холмов, и о духах, молнией проносящихся в небесах, — их нельзя увидеть, но можно услышать, если оказаться в определенных местах на дне глубоких расщелин. Еще одна загадка — Дьяволово Пастбище, склон холма, лишенный какой бы то ни было растительности: здесь вы не увидите ни деревца, ни кустика, ни даже травинки. Нельзя не отметить и тот неподдельный суеверный ужас, что испытывают аборигены перед криками козодоев. Птиц этих тут великое множество; теплыми летними ночами они кричат как оглашенные, повергая в ужас обитателей Данвича, которые всерьез считают, что с наступлением темноты козодои выходят на свою дьявольскую охоту, карауля души умирающих, и когда душа, покинув брренное тело своего обладателя, оказывается в цепких лапах этих голосистых тварей, они тут же раздражаются демоническим хохотом, который слышен на всю округу; но если душе усопшего удастся ускользнуть от ночных охотников, то разочарование охватывает их, и голоса их постепенно растворяются во мраке.

Нет нужды говорить, что этим наивным сказкам уже не одна сотня лет и что у человека образованного они могут вызывать разве только улыбку. Они стары, как сам Данвич, который появился в этой лесной глуши на много лет раньше любого другого поселения в радиусе тридцати миль. На южной окраине поселка вы можете углядеть торчащие над землей стены погреба и дымовую трубу старинного дома Бишопов, возведенного еще до 1700 года, а мельница, что лежит наполовину в развалинах, представляет собой наиболее позднее строение Данвича, сооруженное в 1806 году. Промышленности как таковой здесь никогда не было, если не считать всплеска деловой активности где-то в XIX веке, но все благополучно заглохло короткое время спустя. Огромные каменные столбы на вершинах холмов по праву считаются

самыми старыми постройками в окрестностях, но их возведение приписывают скорее индейцам, нежели потомкам белых поселенцев. Скопления черепов и костей внутри образованных столбами колец — а также на сопоставимой с ними по размерам плоской, как стол, вершине Часового холма — поддерживают всеобщую веру в то, что такого рода площадки служили когда-то местами погребения индейцам-покумтукам, хотя многие этнологи считают такую точку зрения совершеннейшим вздором и утверждают, что останки принадлежат представителям европейской расы.

II

2-го числа февраля месяца 1913 года, в воскресенье, в пять часов пополудни, в округе Данвич, в большом и наполовину пустующем фермерском доме, притулившемся на склоне холма в четырех милях от самого Данвича и в полутора милях от иного ближайшего жилища, явился на свет Уилбер Уэйтли. Эта дата у многих осталась в памяти, поскольку совпала в тот год со Сретеньем, которое, впрочем, в соответствии с данвичскими традициями носило здесь совсем другое название. Хорошо помнили и о том, что именно в тот самый день с холмов раздались демонические звуки, а собаки в продолжение всей ночи лаяли как бешеные. И конечно, в сравнении с этими обстоятельствами вряд ли можно считать существенной такую деталь, как личность матери новорожденного — а ею была опустившаяся, отталкивающего вида женщина-альбинос лет тридцати пяти, жившая со своим престарелым, наполовину уже свихнувшимся отцом, о колдовских опытах которого в годы его юности рассказывали шепотом самые жуткие истории. У Лавинии Уэйтли никогда не было мужа, но, как водилось в округе, она не стала отрекаться от ребенка, дав окружающим возможность вволю посудачить о предполагаемом отце мальчика. Самой ей до всех этих пересудов не было никакого дела — она всерьез гордилась своим чадом, столь разительно непохожим на нее: облик

этого смуглого козлоподобного младенца являл собой совершеннейший контраст с некрасивыми, но в то же время более-менее стандартными чертами лица его матери и с ее ярко выраженным альбинизмом. Многим в округе доводилось слышать ее невнятные бормотания, из которых следовало, что рожденный ею мальчик наделен необычайными способностями и что его ждет великое будущее, хотя никто не думал принимать все это всерьез, ибо Лавиния Уэйтли являла собой типичный пример тихого помешательства.

Она имела обыкновение бродить по окрестным холмам целыми днями напролет, и даже жестокие проливные дожди, что разражались время от времени над Данвичем, не могли удержать ее в четырех стенах, а недолгие часы, проводимые ею под крышей своего заброшенного жилища, она без остатка посвящала чтению огромных затхлых томов, что достались от отца, а до него переходили от одного поколения Уэйтли к другому в течение добрых двух столетий и были уже настолько изъедены червями и временем, что, казалось, должны развалиться на куски при первом же прикосновении. Не проведя ни единого дня в школе, она была буквально напичкана бессвязными обрывками старинных преданий, в которые ее посвятил старик Уэйтли, снискавший себе в округе недобрую славу знатока черной магии. Из-за этой незавидной репутации, а также из-за факта якобы насильственной смерти миссис Уэйтли, случившейся, когда Лавинии минуло двенадцать лет, люди всегда обходили стороной стоявший на отшибе фермерский дом, где обитало странное семейство. Смерть матери не особенно тронула душу юной Лавинии и уж во всяком случае не изменила ее образа жизни — так же, как и раньше, она продолжала расти в полной изоляции, с головой погрузившись в свои дикие мечты и проводя время в совершенно не детских играх. Домашние заботы ее нисколько не тяготили, что было неудивительно при том полном пренебрежении к чистоте и порядку, что царило в их семействе.

В ночь, когда родился Уилбер, люди слышали душераздирающий вопль, эхом пронесшийся над всей местностью

и заглушивший даже неистовый лай собак и привычные шумы холмов. Роды прошли без доктора и без повивальной бабки, и о существовании ребенка соседи узнали неделю спустя после его появления на свет, когда старый Уэйтли прибыл в заснеженный Данвич на своей санной повозке и обратился к кучке людей, толкавшихся рядом с магазинчиком Осборна, с пространной и непонятной речью. Мало что уловив из нее, слушатели все же отметили тогда про себя, а после и вслух, ту разительную перемену, которая произошла в облике старика и особенно в выражении его глаз, неизменно затуманенных пеленой некоей непостижимой таинственности. Во всяком случае, одно было несомненно — тот суеверный страх, что он внушал окружающим, сейчас поселился в его собственной душе, хотя, казалось, не таков он был, чтобы его могли напугать обычные семейные дела. И вместе с тем в его речи сквозило нечто вроде гордости за своего внука, и еще многие годы после того вспоминали жители Данвича слова, сказанные им об отце ребенка:

— Что мне до ваших пересудов о нем — вы сами скоро увидите, каков вырастет парень у Лавинии, коли он пойдет в отца. Уж не думаете ли вы, что только людьми, подобными вам, и населен этот свет? Знайте, что Лавиния читала в книгах и видела глазами своими то, о чем большинство из вас и помыслить неспособно. А муж, избранный ею, — самый лучший из мужей, каких вы только смогли бы отыскать по эту сторону Эйлсбери; и если бы вы знали об этих холмах хоть малую долю того, что знаю о них я, вы поняли бы, что никакое церковное венчание не сравнится с таинством в этих холмах. Внемлите же — *придет день, и вы все услышите, как дитя Лавинии назовет имя своего отца на вершине Часового холма!*

Старый Зехария Уэйтли (из ветви этого рода, не затронутой деградацией) и невенчанная жена Эрла Сойера по прозвищу Мамочка Бишоп были единственными, кому довелось увидеть Уилбера в первый месяц его жизни. Мамочка заглянула тогда в дом Уэйтли из чистого любопытства, и все ее

последующие рассказы делают честь наблюдательности этой особы; что же до Зехарии, то он привел на двор старика Уэйтли пару коров олдернийской породы — тот купил их у его сына Кертиса. Этой сделкой было положено начало безостановочной веренице закупок скота для семьи маленького Уилбера, которая оборвалась только в 1928 году, когда разразился Данвичский ужас. Но странное дело — хотя с того времени дряхлый хлев во дворе Уэйтли стал регулярно пополняться крупной живностью, не похоже было, чтобы его стены ломились от изобилия в нем коров и быков. Одно время наиболее любопытные жители Данвича подкрадывались к животным, что паслись на крутом косогоре немного выше одинокого фермерского дома, и подсчитывали их количество — благо пастуха рядом с коровами не было никогда. За всю историю этих наблюдений никому из добровольцев не удалось насчитать более одной дюжины малокровных, донельзя истощенных экземпляров. Бог знает, что послужило причиной такого их нездоровья: то ли губительная почва этого пастбища, то ли зараза, коей были поражены стены и потолок старого хлева, — но в любом случае не приходилось сомневаться, что животные на подворье Уэйтли мерли как мухи. На коже быков и коров можно было порой разглядеть какие-то раны и болячки непонятного происхождения, похожие на глубокие порезы; и некоторые из наблюдателей божились, что точно такие же болячки они видели на шее старика Уэйтли и его дочери-альбиноски.

Той же весной, буквально через пару месяцев после рождения Уилбера, Лавиния вернулась к своему излюбленному занятию — блужданию по окрестным холмам; только сейчас во время прогулок на ее руках покоился смуглокожий мальчик. Хотя интерес общественности к новорожденному угас после того, как большинству деревенских жителей удалось увидеть его своими глазами, многим из них не давало покоя то неестественно быстрое развитие, которое демонстрировал маленький Уилбер. Действительно, он рос не по дням, а по часам — уже в три месяца он не уступал размерами годова-

лому ребенку, а его движения и звуки голосовых связок почти сразу же после рождения отличались осмысленностью, весьма нехарактерной для грудного младенца. Никто в округе особенно не удивился тому, что в полгода с небольшим он самостоятельно сделал первые шаги, а еще через месяц ходил совершенно уверенно.

А как-то раз — это было после Дня всех святых — в полночь на вершине Часового холма люди увидели мощное яркое зарево, исходившее оттуда, где в окружении образованных древними камнями могильных холмов возвышалась плоская, как стол, скала. Волна самых невероятных слухов прокатилась по Данвичу, стоило лишь Сайласу Бишопу — из числа относительно благополучных Бишопов — упомянуть о том, что примерно за час до появления зарева он видел, как Уилбер неся как угорелый вверх по увенчанному плоским камнем холму, а за ним мчалась его полоумная матушка. Вообще-то на холме Сайлас появился, чтобы загнать отбившуюся от стада телку, но, увидав в тусклом свете своего фонаря два стремительно летящих силуэта, тут же забыл о возложенной на него миссии и уставился на беглецов, не спуская с них глаз до тех пор, покуда те не скрылись из виду. Удивительно было то, как им удалось продрасться сквозь заросли густого кустарника, почти не подняв шума, но еще большее изумление вызвал у Сайласа тот факт, что оба они — и мать, и сын — были при том совершенно голыми. Впрочем, насчет мальчика у него потом уже не было полной уверенности — по его словам, могло стать и так, что на Уилбере были надеты темные штаны или трусы, а вокруг талии был обвязан пояс с бахромой. Впоследствии, когда Уилбер стал появляться на людях, он всегда бывал одет в полный костюм, неизменно застегнутый на все пуговицы, и одна лишь угроза в отношении целостности его наряда, не говоря уже о реальном нарушении таковой, наполняла его бешенством и страхом. Такое внимание к своему внешнему виду было в глазах данвичцев явлением примечательным, особенно в сопоставлении с ужасающей неряшливостью его матери и деда; но только после раз-

разившегося в 1928 году кошмара жители деревни смогли понять, что скрывалось под одеждой Уилбера Уэйтли.

В январе следующего года по поселку поползли слухи, что «черный ублюдок Лавинии» заговорил — в одиннадцать месяцев от роду. Да как заговорил! Во-первых, его речь и близко не походила на тот ребяческий лепет, который исчезает у большинства детей только в три-четыре года, а во-вторых, по его выговору ни за что нельзя было признать в нем уроженца здешних мест. Особой разговорчивостью мальчик, правда, не отличался, но, когда он говорил, нельзя было не заметить, что в его речи всегда наличествовал некий неуловимый элемент, абсолютно нехарактерный для обитателей Данвича. С точки зрения смысла произносимые им предложения, включая даже те, где встречались несложные идиомы, были более чем обычными. Станным в его речи было ее звучание как таковое — слышавшие Уилбера не могли отделаться от впечатления, что вырывающиеся из его горла звуки явно отличаются от тех, что обычны для нормального человека. На лицо он выглядел гораздо старше своего возраста, хотя и унаследовал от матери и деда такую фамильную черту, как почти полное отсутствие подбородка. Вид его не по-детски крупного носа идеально гармонировал с вдумчивым взглядом темных глаз южанина и придавал лицу взрослое и в некоторой степени даже сверхъестественно умное выражение. Несмотря на это, он был все же весьма уродлив: толстые и отвислые, как у козла, губы, пористая желтая кожа, грубые и ломкие волосы, сильно вытянутые в длину уши. Очень скоро все его невзлюбили — еще сильнее, чем деда и мамушку; любые разговоры о нем неизменно сводились к обсуждению колдовских деяний старого Уэйтли, в частности, о том, как однажды, стоя посреди каменного круга с огромной раскрытой книгой в руках, старик Уэйтли выкрикнул во всю силу своих легких «Йог-Сотот!» и от звука этого страшного имени содрогнулись окрестные холмы. Мальчика не любили не только люди, но и собаки, и ему всегда приходилось быть начеку, когда он проходил по улицам Данвича.

III

Тем временем старик Уэйтли продолжал покупать скот, хотя нельзя было сказать, чтобы стадо его заметно увеличилось от этого. Он напилил бруса и досок и принялся за ремонт незаселенной части заднего крыла дома — за древностью своей оно уже ушло наполовину в землю, вернее сказать, в каменистый склон холма, на котором стоял дом. Под островерхими крышами заброшенной части здания скрывалось несколько просторных помещений, но непонятно было, для чего они вдруг понадобились старику, когда до сих пор ему и его дочери вполне хватало для проживания трех наименее обветшалых комнат первого этажа.

Многие сомневались, что у старика Уэйтли достанет сил и терпения осуществить задуманную реконструкцию, однако эти опасения оказались напрасными — несмотря на полоумное бормотание, то и дело исходившее от старика во время его трудов, качество его плотницкой работы было выше всяких похвал. Работать над домом он начал сразу же после рождения Уилбера — окружающие заметили это, обратив как-то раз внимание на сарай с инструментами, который за считанные дни был приведен в полный порядок, обит дранкой и заперт на огромный, специально купленный для этой цели замок. Заброшенный верхний этаж дома старик отделал с таким тщанием, что там, как говорится, и комар бы носу не подточил. Пожалуй, единственным проявлением его слабоумия явилось то, что он намертво заколотил все окна реконструированной части здания, — хотя злые языки утверждали, что его затея с восстановлением этого дома уже сама по себе есть чистой воды сумасшествие. Правда, против одной из комнат нижнего этажа, которую старый Уэйтли оборудовал специально для своего новорожденного внука, никто не посмел возразить: эти действия всем без исключения представлялись совершенно естественными, тем более что те, кто был вхож в дом Уэйтли, собственными глазами видели эту комнату — в отличие от помещений второго этажа, куда хозяин дома не

допускал никого. Комнату Уилбера старик сплошь усталил уходящими под самый потолок книжными полками и без промедления заполнил их своими полусгнившими древними фолиантами, которые до того времени были беспорядочно свалены по углам многочисленных помещений старого дома.

— Да, неплохую они сослужили мне службу, — говаривал он, сидя за какой-нибудь из своих книг и любовно починая ее ветхие, потемневшие от времени страницы с помощью клея, собственноручно сваренного им на ржавой кухонной плите, — но этот парень извлечет из них куда больше толку. Уж будьте уверены, он-то вычитает оттуда все, что только можно, — а не то откуда ему еще набраться знаний?

В сентябре 1914 года Уилберу стукнуло год и семь месяцев, и к тому времени его рост и развитие вызывали уже настоящую тревогу у окружающих. Ростом он был с четырехлетнего ребенка, а разговаривал бегло и необыкновенно осмысленно. Иногда он сопровождал свою мать во время ее прогулок по окрестностям, но чаще его видели бродящим среди раскинувшихся вокруг Данвича полей и холмов без всякого присмотра. Дома он с завидным прилежанием рассматривал странные картинки и таблицы в дедовских книгах — когда один, а когда в компании старика Уэйтли, который подробно разъяснял ему содержание этих фолиантов. Ремонт дома к тому времени был уже закончен, и те, кому приходилось видеть его последствия, недоумевали, для чего старику понадобилось заменять одно из окон верхнего этажа дверью из сплошного куска дерева. Эта необычная дверь располагалась на восточном фронтоне, который едва не упирался в высившийся по соседству холм; с земли к ней вел сработанный стариком деревянный помост. На этом реконструкция дома была благополучно завершена, и сарай с инструментами, такой ухоженный в период ремонта, вновь оказался заброшенным: его распахнутая настежь дверь кое-как болталась на полувывороченных петлях, и, когда однажды Эрлу Соьеру, пригнавшему старику очередную партию скота, вздумалось заглянуть в этот самый сарай, его обоняние было

оскорблено весьма неприятным запахом, напоминавшим, по его словам, смрадный дух, исходящий от круглых площадок внутри индейских каменных столбов на холмах. Эрл Соьер был всерьез убежден, что в силу своей необычности это злобование имеет явно богопротивное происхождение и уж в любом случае является надругательством над земным естеством. Впрочем, тогда его слова о дьявольской природе этого запаха были пропущены жителями Данвича мимо ушей, ибо стены их собственных домов и подсобных помещений тоже отнюдь не благоухали.

Последующие месяцы не ознаменовались ничем примечательным, если не считать того, что таинственные шумы холмов с каждым днем становились все громче и отчетливее. В 1915 году, в канун первого мая, в Данвиче ощущались такие сильные подземные толчки, что они дошли даже до Эйлсбери, а в канун Дня всех святых раздававшиеся в недрах земных раскаты чудовищного грома явственно совпадали со вспышками пламени на вершине Часового холма, и фраза «Проклятые Уэйтли — это их рук дело» была тогда на устах у каждого данвичца. Уилбер тем временем продолжал сверхъестественно быстро расти и набирать вес — в трехлетнем возрасте он уже выглядел как десятилетний ребенок. Почти все свободное ото сна время он проводил за чтением дедовских книг и сделался странно молчалив — именно тогда люди всерьез заговорили о демоническом блеске глаз на его уродливом и совершенно не детском лице. Иногда он что-то бормотал на непонятном жаргоне или напевал причудливые мелодии, и эти звуки наполняли тех, кому случайно доводилось их слышать, чувством необъяснимого страха. Неприязнь собак к нему стала притчей во языцех, и он вынужден был вооружиться пистолетом, чтобы безопасно расхаживать по округе. Порою он пускал оружие в ход, и это отнюдь не прибавляло ему популярности среди владельцев сторожевых псов.

Некоторые из тех, кто был вхож в дом Уэйтли, часто заставляли Лавинию на первом этаже в полном одиночестве,

в то время как с заколоченного второго этажа доносились странные сдавленные крики и несмолкающие шаги. Вопросы о том, что такое делают ее отец и сын, уединившись наверху, она неизменно пропускала мимо ушей; но как-то раз, когда местный продавец рыбы, известный на всю округу шутник, взялся за ручку запертой двери, за которой скрывалась ведущая наверх лестница, и принялся дергать ее, бедная Лавиния побледнела как полотно и едва не упала в обморок от охватившего ее ужаса. Рассказывая об этом случае завсегдатаям данвичских лавок, торговец клятвенно уверял их, что доносившиеся сверху звуки поразительно напоминали топот лошадиных копыт. Слушатели тут же вспоминали превращенное в дверь окно второго этажа, ведущий к нему помост, прорву крупных животных, приобретенных стариком Уэйтли за последнее время — и многозначительно кивали головами. Далее на ум им приходили жуткие легенды о юности отца Лавинии и о тех странных и таинственных существах, что появляются на лике Земли, стоит лишь принести неким языческим богам в нужное время и на нужном месте жертвенного тельца, умертвив его мгновенно, как считали одни, либо медленно, по мнению других... Некоторое время спустя люди стали замечать, что поселковые собаки прониклись к стоящему на отшибе дому Уэйтли такой же яростной нелюбовью, какой они до того удостаивали лишь самого Уилбера.

Отголоски мировой войны дошли до этих мест в 1917 году, когда сквайр Сойер Уэйтли, выполняя обязанности председателя местной призывной комиссии, отчаялся отыскать в Данвиче необходимое количество молодых людей призывного возраста. Правительственные чиновники, озабоченные столь явными признаками вырождения целого региона, направили туда нескольких военных и медицинских экспертов; те прибыли на место и провели тщательное исследование, с результатами которого можно ознакомиться и сейчас, пролистав подшивку любой из новоанглийских газет за те годы. За появлением этого отчета последовал наплыв репортеров в Данвич, и уж они-то постарались на славу, расписывая на

все лады нравы здешней глубинки. Особенно отличились «Бостон глоб» и «Аркхем эдвертайзер», сообщавшие о странностях роста молодого Уилбера, познаниях старика Уэйтли в области черной магии, полках с таинственными книгами, наглухо изолированном верхнем этаже древнего дома на холме и о загадочных подземных шумах, что держали в страхе обитателей этого захолустья. Уилберу было тогда четыре с половиной года; выглядел же он на все пятнадцать — на щеках и верхней губе стал уже пробиваться темный пушок и начал ломаться голос.

Эрл Сойер сопровождал репортеров и фотографов, когда те посещали дом старика Уэйтли, и в продолжение этих визитов постарался обратить их внимание на более чем необычный смрад, доносившийся из верхнего помещения. Ничего определенного по поводу этого запаха Сойер сказать не мог, но в одном не сомневался: зловоние, испускаемое сверху, было идентично мерзкому запаху, который несколькими годами раньше ему довелось учуять в распахнутом настезь сарае, где старик Уэйтли хранил свои инструменты, — и в то же время оно ничем не отличалось от того мертвенного духа, что исходил от каменных столбов, венчавших окрестные холмы. Данвичцы читали газетные репортажи с презрительными ухмылками на лицах — слишком уж много нагородили бестолковые газетчики в своих рассказах. Да и чего ради им вздумалось интересоваться, почему старик Уэйтли всегда расплачивается за купленный скот золотыми монетами, да еще и невообразимо старинной чеканки. Сами Уэйтли принимали непрошенных визитеров с плохо скрытой враждебностью, однако предпочли не вызывать еще большие кривотолки, гоня их прочь или отказываясь от беседы.

IV

На протяжении следующих десяти лет Уэйтли не привлекали к себе особого внимания на фоне в целом убогой жизни, которую вело большинство обитателей Данвича, которые

постепенно привыкли к безобразиям, ежегодно творящимся в Вальпургиеву ночь и канун Дня всех святых, когда Уэйтли возжигали огни на вершине Часового холма под леденящие кровь звуки, с каждым годом все громче доносившиеся из земных недр. В то же время странные и зловещие дела продолжали твориться в их доме. Редкие посетители в один голос утверждали, что с заколоченного верхнего этажа постоянно доносятся какие-то звуки, несмотря на то что во время визита гостя встречали все члены этого странного семейства. Некоторые из визитеров подозревали, что на чердаке совершаются обряды жертвоприношения — и в самом деле, эта догадка как нельзя лучше увязывалась с тем неоспоримым фактом, что закупаемый стариком в невероятных количествах скот исчезает как в прорву. В поселке пошли уже разговоры о том, что неплохо было бы обратиться в Общество защиты животных; однако сразу было ясно, что из этой затеи ничего не выйдет, так как жители Данвича менее всего склонны были привлекать внимание посторонних людей к себе и своему поселению.

Году примерно в 1923-м, когда Уилберу минуло уже десять лет и его бородатое лицо ничем не отличалось от физиономии взрослого мужа, в доме начался второй этап больших плотницких работ. Все они происходили внутри заколоченного верхнего этажа, и по деревянным обломкам, которые старый Уэйтли и его внук выбрасывали наружу, люди догадались, что они разобрали перекрытия и, возможно, даже пол чердачного помещения, освободив все пространство между первым этажом и островерхой крышей старого дома. Большую дымовую трубу, что была установлена посреди здания, они тоже снесли, и сейчас вместо нее торчала из окна корявая жестяная труба, какие ставятся на походных кухнях.

В первую же весну после повторного ремонта старик Уэйтли заметил, что из долины Холодных Ключей к их дому стало слетаться огромное количество козодоев. Их пронзительные крики не прекращались каждую ночь, и старик воспринимал их как знамение свыше.

— Слышали бы вы, как они свистят — аккуратно со мною вместе, как я дышу, — говорил он собравшимся в магазине Осборна односельчанам, — и сдается мне, они караулят мою грешную душу. Знают, подлые твари, что она вот-вот готова покинуть меня, и, видать, никак не хотят ее упустить. Погодите, вот я окочурюсь, и вы сразу узнаете, удалось им это или нет. Ежели, когда я помру, они будут хохотать всю ночь и угомонятся только с рассветом, то, стало быть, у них это получилось; а уж коли они сразу утихнут, как я отойду, то, значит, ничего у них не вышло. Я-то уж знаю, что не всякая душа, за какой они ведут охоту, им в аккуратно достается.

В ночь на 1 августа 1924 года доктору Хаутону в Эйлсбери позвонил Уилбер Уэйтли, который, нещадно нахлестывая свою единственную лошадь, проскакал сквозь тьму до лавки Осборна, где имелся телефон. Когда доктор прибыл на место, старик Уэйтли был очень плох: слабое сердцебиение и прерывистое дыхание свидетельствовали о скором конце. Неопрятная белобрысая Лавиния и ее бородатый сынишка стояли у изголовья постели, а из пустот наверху раздавались странные звуки, как будто кто-то яростно метался туда-сюда; своим ритмом эти звуки напоминали шум океанских волн. Доктор с видимым беспокойством прислушивался к крикам ночных птиц за окном; их неисчислимый легион стройно выводил свои дьявольские песнопения в такт свистящему дыханию умирающего. От этой жуткой гармонии доктору стало не по себе, и он в очередной раз пожалел о том, что поехал на вызов в это пользующееся недоброй славой место.

Около часа ночи старик Уэйтли пришел в себя и, собравшись с силами, перестал хрипеть, чтобы сказать несколько слов своему внуку:

— Не хватает места, Уилли, скоро будет не хватать места. Ты быстро растешь — а *он* растет еще быстрее. Скоро ты дождешься от него толку, мой мальчик. Откроет тебе ворота к Йог-Сототу, и ты войдешь в них с долгой песнью на устах, а найдешь ты ее на странице семьсот пятьдесят первой полного собрания. Только обычному земному огню это не под силу, нет.

Похоже было, что старик окончательно выжил из ума. Наступила пауза, в продолжение которой стая козодоев за окном сменила ритм своих криков в соответствии с участвующимся дыханием старика Уэйтли, и тут же откуда-то издали послышались звуки, весьма напоминавшие зловещие шумы холмов. Услыхав их, старик из последних сил выдавил из себя еще несколько фраз:

— Корми его регулярно, Уилли, и следи за количеством; но не позволяй ему расти слишком быстро здесь, потому что коли начнешь давать ему по четвертине, он вырастет еще до того, как ты откроешь ворота к Йог-Сототу, а этого не нужно... Только те, которые извне, могут это сработать и приумножить... Только древние, когда они захотят вернуться...

Но тут вместо слов снова пошли хрипы, и Лавиния издала жуткий визг, услышав, как отреагировали на это козодои. Старик закрыл глаза и потерял сознание; где-то час спустя он разомкнул на секунду веки, обвел всех собравшихся мутным взглядом, и затем из его горла вырвался жуткий клекот — на этот раз последний. Дикие вопли козодоев мгновенно смолкли, и доктор Хаутон, подойдя к безжизненному телу, надвинул дряблые веки на блестящие серые глаза. Лавиния всхлипнула, но Уилбер, вслушиваясь в слабые шумы снаружи, довольно ухмыльнулся.

— Упустили они его, — пробормотал он своим густым басом.

К тому времени Уилбер успел накопить изрядный запас познаний в той области, в которой его с ранних лет натаскивал старик Уэйтли. Впрочем, его эрудиция носила довольно однобокий характер и не распространялась на другие науки. Тем не менее имя его было известно во многих библиотеках, в том числе и весьма удаленных от Данвича, — он вел с ними переписку, надеясь отыскать в их архивах некоторые редкие и запрещенные книги, изданные много лет назад. Что же касается односельчан, то все они дружно ненавидели и боялись его, подозревая, что он замешан в исчезновении нескольких данвичских детей. Прямых обвинений, однако, против него

никто не выдвигал — этому мешал как страх людей перед ним, так и его тугой кошелек, в котором не переводились старинные золотые монеты, коими Уилбер, как некогда его дед, рассчитывался за коров и бычков, закупаемых теперь в еще более жутких количествах. Выглядел он совершенно зрелым мужчиной и заметно превосходил окружающих ростом. В 1925 году, когда один из его корреспондентов, сотрудник Мискатоникского университета, приехал в Данвич навестить своего ученого коллегу и отбыл бледным и потрясенным, — рост Уилбера уже тогда достигал шести футов девяти дюймов.

Все годы, что Уилбер жил со своей уродливой матерью-альбиносской, он относился к ней не иначе как со все возрастающим презрением и в конце концов запретил ей появляться с ним на холмах во время оргий в Вальпургиеву ночь и канун Дня всех святых. В 1926 году бедняжка призналась Мамочке Бишоп в том, что испытывает страх перед своим чудовищным отпрыском.

— Я знаю про него много всякого, что не могу тебе сказать, Мамочка. А нынче с ним такое творится, что я и сама уже не пойму. Чего хочет Уилбер? И чем он занят? Богом клянусь, ума не приложу.

В тот канун Дня всех святых холмы грохотали громче, чем когда-либо ранее. Как в течение многих лет до того, на Часовом холме вспыхнули огни; но ритмичные вопли огромной стаи козодоев, которым по всем срокам не время уже было заводить свои песни, повергли в замешательство собравшихся на празднестве. Птицы явно собрались около неосвещенного фермерского дома Уэйтли, и после наступления полуночи их пронзительные крики переросли в дьявольскую истерию, не стихавшую до самого рассвета и повергшую всю округу в состояние тихого ужаса. Затем птицы бесследно исчезли — видимо, отбыли наконец на юг, на добрый месяц запоздав с отлетом. Никто из деревенских жителей не решился дать тогда какое-либо определенное толкование этому зловещему феномену. В тот день в поселке не было зарегистри-

ровано ни одной смерти — но с тех пор никто и никогда не встречал больше бедную Лавинию Уэйтли, уродливую полоумную альбиноску.

Летом 1927 года Уилбер починил два сарая у себя во дворе и начал перетаскивать в них свои книги и имущество. Вскоре после этого Эрл Сойер появился в магазине Осборна и заявил, что в фермерском доме вовсю ведутся новые плотницкие работы. Уилбер заколотил все двери и окна на первом этаже и, похоже, убрал все перегородки, как сделал наверху его дед четыре года назад. С той поры Уилбер жил в одном из сараев, и Сойер отметил, что он выглядел необычно встревоженным. Поскольку его подозревали в причастности к исчезновению своей матери, то очень немногие отваживались сейчас подходить к его жилищу. Его рост превысил уже семь футов, и не было никаких признаков того, что скоро он перестанет расти.

V

Первое путешествие Уилбера за пределы Данвичской округи явилось, несомненно, самым значительным событием следующей зимы. Его переписка с библиотекой Виденера в Гарварде, парижской «Библиотек Насьональ», Британским музеем, Буэнос-Айресским университетом и, наконец, библиотекой Мискатоникского университета в Аркхеме не дала никаких результатов — нигде не согласились на выдачу книги, которую он так отчаянно желал заполучить. В грязной потрепанной одежде, невообразимо огромного роста — почти восьми футов, — с дешевым чемоданом в руке, купленным незадолго до того в магазине Осборна, и с темным козлоподобным ликом горгульи, появился он на улицах Аркхема, обуреваемый желанием отыскать таинственный том, хранящийся под замком в библиотеке колледжа, — жуткий «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда, переведенный на латынь Олаусом Вормием и напечатанный в семнадцатом веке в Испании. В городе он оказался впервые

в жизни, но времени на знакомство с ним тратить не стал и сразу же по прибытии направился в университет. У входа на университетскую территорию он равнодушно проследовал мимо свирепого сторожевого пса, который, едва завидев нелепую фигуру Уилбера, принялся лаять и бросаться на него с какой-то одержимостью, едва не оборвав сдерживавшую его массивную цепь.

В чемодане Уилбера лежала бесценная, но, увы, неполная копия англоязычной версии «Некрономикона» в переводе доктора Ди — она перешла к нему в соответствии с дедовским завещанием. Оказавшись в университетской библиотеке и получив на руки латинскую копию, он тут же принялся соотносить оба текста в попытках обнаружить тот самый абзац, которого недоставало на 751-й странице его собственного дефектного тома. Разумеется, он старался не привлекать к себе внимания библиотекаря, которым был, кстати сказать, его старый знакомый Генри Армитедж (магистр наук Мискатоникского университета, доктор физических наук университета Принстона, доктор литературы колледжа Джонса Хопкинса) — тот самый эрудит, что заглядывал как-то раз к нему на ферму, а сейчас сидел напротив и вежливо, но настойчиво задавал гостю вопрос за вопросом. Уилбер нехотя отвечал на них. Да, если честно, он ищет что-то вроде формулы или заклинания, содержащих страшное имя Йог-Сотот, однако разного рода расхождения, разночтения и двусмысленности делают процесс определения занятием в высшей степени непростым. После того как он переписал формулу, наконец-то найденную им среди множества всех прочих, доктор Армитедж совершенно случайно бросил взгляд на разворот латинского перевода — и ужаснулся той чудовищной угрозе человеческому разуму и самому существованию человечества, которая содержалась в тексте на левой странице.

«Не должно думать, — гласил текст, мысленно переводимый Армитеджем, — что человек есть либо старейший, либо последний властелин на Земле и что жизнь есть только то,

что ему ведомо. Нет же — Властители Древности пребудут ныне, присно и во веки веков. Не в пространствах, которые нам известны, но *между* ними ходят Они, неизменные в своем властном спокойствии, лишённые измерений и невидимые для нас. Йог-Сотот знает ворота. Йог-Сотот — это ворота. Йог-Сотот — это ключ и это страж. Прошрое, настоящее и будущее — все в руках Йог-Сотота. Он знает, где Властители Древности прорывались в этот мир из древних времен и где они прорвутся вновь. Он знает, где Они ходили по полям Земли и где они ходят до сих пор и почему никто не может увидеть Их в это время. Иногда по Их духу можно определить, что Они где-то рядом, но никому не дано даже представить себе полностью Их внешность, *хотя некоторые из вас могут столкнуться с теми, кто ниспослан Ими в гуцу рода человеческого*; и на Земле можно встретить порою человекоподобных, отличных своею внешностью от классического человека, но и это не поможет вам создать в своем воображении Их истинный облик. Невидимые и смердящие, бродят Они в пустынных местах, где в нужную пору произносятся Слова и свершаются Обряды. Ветер носит Их голоса, и земля произносит Их откровения. Они сокрушают леса и уничтожают города, но ни лесу, ни городу никогда не дано увидеть поражающую их десницу. Кадат в холодной пустыне знал Их, но кто из людей знает сейчас, где Кадат? Ледяные просторы Юга и исчезнувшие в океанских глубинах острова скрывают от нас камни, на которых выбита Их печать, но кто видел скованный жестоким морозом город или высокую башню, увитую ракушками и морскими водорослями? Великий Ктулху приходится Им названным братом, но и он может видеть Их только в тумане. *Йа! Шуб-Ниггурат!* Только по Их духу можете вы узнать о Них. Их руки лежат у вас на горле, но вы не видите Их, и место Их обитания лежит за невидимым порогом, который охраняется. Йог-Сотот — это ключ от ворот, где смыкаются сферы. Человек властвует сейчас там, где некогда властвовали Они; и очень скоро Они будут властвовать там, где сейчас властвует человек. За летом при-

ходит зима, и за зимою приходит лето. Они ждут, могущественные и терпеливые, и скоро вновь пребудет Их царствование».

Читая эти бессмысленные на первый взгляд строки, доктор Армитедж почувствовал неподдельный страх — осязаемый и материальный, как дуновение мертвенного воздуха древних гробниц. Ему достаточно было соотнести содержание прочитанного с недобрыми слухами о Данвиче и с тем, что он знал об Уилбере Уэйтли — начиная от его таинственного происхождения и кончая подозрением в его причастности к убийству собственной матери. Козлоподобный гигант, сгорбившийся над библиотечным столом, вдруг показался ему пришельцем с другой планеты или из другого, неведомого измерения. Человеком он был только частично; другая же составляющая его существа уходила своими корнями в черные бездны бытия, что, подобно титаническим фантомам, простерлись далеко за пределами пространства и времени, энергии и сознания. Уилбер поднял голову и заговорил своим странным резонирующим голосом, какой просто не в состоянии произвести нормальные человеческие головные связи.

— Мистер Армитедж, я бы очень хотел забрать с собой эту книгу. В ней есть кое-что такое, что мне надобно испытывать, но не здесь, в этой комнате. Я знаю, есть инструкции, но, полагаю, вы не возьмете на себя грех отказать мне в моей просьбе. Дайте мне ее, сэр, и я клянусь вам, ни одна живая душа не узнает об этом. Уж само собой, я буду беречь ее как зеницу ока. А эта копия Ди — так, право же, не я довел ее до такого состо...

Он осекся на полуслове, увидев на лице библиотекаря решительный отказ выполнить его просьбу. Его уродливая физиономия вытянулась еще больше. Армитедж, собравшийся было предложить Уилберу снять копию с нужной ему части, вдруг подумал о возможных последствиях этого шага — и смолчал; ибо не мог он дать ключей к зловещим неве-

домым сферам своему одержимому посетителю. Уэйтли понял, что ничего ему здесь не добиться.

— Ладно, чепуха какая, — произнес он нарочито небрежным тоном. — Пойду попытаю счастья в Гарварде — может быть, там сидят не такие буквоеды, как здесь.

С этими словами он поднялся с места и зашагал к выходу, пригибаясь в каждом дверном проеме. Вскоре Армитедж услышал отчаянный лай огромного сторожевого пса у калитки, и вслед за этим в поле его зрения показалась гориллоподобная фигура Уилбера, вышагивавшего по прилежавшей к университету улочке. Тут же на ум ему пришли самые невероятные легенды, когда-либо слышанные им, и истории, добросовестно приводимые в старых номерах «Эдвертайзера». Невидимые существа неземного происхождения — или, по крайней мере, берущие свое начало отнюдь не из трехмерного земного пространства — проносились над холмами и долами Новой Англии, оставляя за собою жуткий смрад и вызывая в душах людей леденящий ужас, и повисали над кругами каменных столбов на холмах. Эти истории ему приходилось слышать не раз и не два, но только сейчас он вдруг ощутил всем своим существом кошмарную близость вторжения неведомых злых сил и будто воочию увидел проблеск черного царства древних властителей вселенной. С дрожью страха и отвращения он захлопнул «Некрономикон». В помещении ощущался оставшийся после Уилбера омерзительный запах — непонятный, нечестивый дух.

— Иногда по Их духу можно определить, что Они где-то рядом, — процитировал он вслух.

Действительно, запах этот поразительно напоминал тот, что едва не свалил его с ног в фермерском доме Уэйтли более трех лет назад. Он еще раз представил себе Уилбера — страшного, отвратительного, с козлиной физиономией — и издевательски рассмеялся, вспомнив деревенские сплетни по поводу его происхождения.

— Кровосмешение? — пробормотал Армитедж вполголоса. — Боже мой, какие дураки! Да покажи им портрет вели-

кого бога Пана работы Артура Мейчена — и они всерьез полагают, что это плод обычного данвичского блуда! Однако же что за существо было отцом Уилбера Уэйтли? Жило ли оно здесь, на этой планете, либо же обитало где-то в неведомых на Земле измерениях, передав своему отпрыску дьявольское свое уродство? Родился в Сретение — как раз спустя девять месяцев после Вальпургиевой ночи тысяча девятьсот двенадцатого года, когда слухи о странных подземных шумах достигли Аркхема. Кто же бродил по горам в ту ночь? Какой потусторонний ужас получил свое воплощение в этом получеловеке?

Следующие несколько недель доктор Армитедж целиком посвятил сбору всевозможной информации об Уилбере Уэйтли и бесформенных видениях Данвичской округи. Прибыв в Эйлсбери, он нашел там доктора Хаутона — того самого, что посетил старика Уэйтли на его смертном одре, — и внимательнейшим образом выслушал последнее обращение старика к своему внуку в изложении врача. Далее последовал визит в Данвич, не принеший, однако, ничего нового; и тем не менее тщательное изучение тех страниц «Некрономикона», что так жаждал получить молодой Уэйтли, смог пролить некоторый свет на природу той угрозы нашей планете, о которой говорилось в дьявольском фолианте. Разговоры и переписка со специалистами, занимавшимися старинными поверьями, вызывали у него все возраставшее изумление, к которому примешивалась тревога, постепенно нараставшая в неосознанный, но от этого не менее острый страх. И с наступлением лета он понял, что нужно что-то предпринимать в отношении затаившегося в верховьях Мискатоника кошмара и той чудовищной твари, что именовалась Уилбером Уэйтли.

VI

Пролог Данвичского ужаса, потрясшего округу осенью 1928 года, имел место в период между началом мая и равноденствием, и доктору Армитеджу довелось стать одним из

свидетелей этой жуткой прелюдии. К тому времени Армитедж был уже наслышан о неудачной поездке Уилбера в Кембридж и о его отчаянных попытках получить оригинал или хотя бы копию недостающих у него страниц «Некрономикона» в библиотеке Виденера. Попытки эти, впрочем, оказались для него столь же безуспешными, да и не могли быть иными, поскольку Армитедж дал на этот счет строжайшие указания служащим всех библиотек Новой Англии. Прибыв в Кембридж, Уилбер пребывал в состоянии страшного нервного напряжения: он во что бы то ни стало старался заполучить эту книгу, но при этом явно торопился назад, домой, словно опасаясь какой-то беды от своего долгого отсутствия.

В ночь на 3 августа доктор Армитедж был разбужен в своей спальне неистовым лаем огромного сторожевого пса, охранявшего территорию кампуса. Собака будто взбесилась — настолько страшными и чудовищными были издаваемые ею рыки и завывания, которые звучали с утращающими паузами и после каждой паузы становились все громче и громче. Затем раздался крик — или визг, — поднявший с постелей многих жителей Аркхема и на всю ночь лишивший их душевного покоя, ибо он был не только оглушительно громким, но и звучал настолько чужеродно и нехарактерно для человека, что у всех, кто его слышал, кровь заледенела в жилах.

Армитедж, впопыхах накинув на себя одежду, помчался по ночной улице и, подбежав к зданию университета, увидел, что некоторые любопытные уже опередили его. Вой охранной сигнализации, не смолкая, оглашал весь прилегающий к университету квартал. Озаренное мрачным светом лунной луны, чернело распахнутое окно в библиотеку. Незваному пришельцу удалось проникнуть внутрь помещения, поскольку именно оттуда доносились лай собаки и визг ее жертвы, с каждой минутой, впрочем, постепенно ослабевавший и переходивший в басовитый стон. Какое-то шестое чувство подсказывало Армитеджу, что внутри помещения творятся сейчас невообразимо ужасные вещи, которые могут повергнуть человека неподготовленного в состояние глубо-

чайшего шока; и потому, открывая дверь вестибюля, он, на правах лица, ответственного за библиотеку, не допустил туда никого из толпы, за исключением профессора Уоррена Райса и доктора Фрэнсиса Моргана, которых заметил среди собравшихся зевак. Это были надежные люди — еще раньше он поделился с ними своими соображениями по поводу Уилбера Уэйтли и таинственной главы из «Некрономикона». Внутри воцарилась уже полная тишина, которую нарушали лишь раздававшиеся время от времени жалобные поскуливания пса; не ускользнуло от наблюдательного Армитеджа и то, что козодои, облепившие густой кустарник вокруг кампуса, завели свою дьявольскую ритмичную песнь как будто в унисон с затихавшим дыханием умирающего.

Помещение было наполнено чудовищным смрадом, хорошо уже знакомым доктору Армитеджу. Трое мужчин быстро проследовали в маленький читальный зал, откуда слышался вой собаки. Некоторое время никто не решался зажечь свет, затем Армитедж призвал на помощь всю свою отвагу и щелкнул выключателем. И тут же у кого-то из троих — сейчас уже трудно сказать, у кого именно, — вырвался из груди дикий вой ужаса: настолько страшной оказалась представлявшая им на фоне сдвинутых в беспорядке столов и перевернутых стульев картина. По словам профессора Райса, он вообще потерял сознание от увиденного; впрочем, этот обморок длился всего пару секунд и потому прошел тогда незамеченным.

На полу читального зала, в зловонной луже сукровицы и вязкой, похожей на деготь массы, лежало огромное тело — даже в скрюченном состоянии оно простиралось в длину чуть ли не на девять футов. Своими острыми клыками пес разорвал на лежащем всю одежду и вырвал в некоторых частях его тела куски кожного покрова. Истерзанный уже умирал — его тело сотрясали страшные конвульсии, а грудь вздымалась в такт жутким крикам козодоев, с нетерпением ожидавших снаружи свою добычу. По всей комнате были разбросаны лоскутья одежды и обуви; на подоконнике валялся холщо-

вый мешок. У стола, в самой середине комнаты, лежал револьвер, которым ночной пришелец так и не воспользовался, причиной чему послужил обнаруженный в стволе неисправный патрон.

Распростертое на полу существо имело, как бы банально это ни звучало, совершенно неопишемую внешность. Помимо огромного роста оно характеризовалось чертами, совершенно не поддающимися визуализации, — ибо наши представления о размерах и очертаниях слишком тесно привязаны к обычным формам жизни на Земле и к известным нам трем измерениям. Существо было человекоподобным — во всяком случае, с головой и руками, очень похожими на человеческие, а козловидное лицо без подбородка выдавало в его обладателе представителя нечестивого семейства Уэйтли. В то же время туловище и нижние члены тела имели совершенно фантастические с точки зрения тератологии формы, и только большое количество одежды позволяло ему скрывать от людей свое чудовищное уродство.

Верхняя от пояса часть тела была лишь наполовину антропоморфной: грудная клетка, на которой все еще лежали мощные лапы сторожевого пса, имела загрубелый сегментарный кожный покров, сходный с панцирем аллигатора или крокодила. Спина была разукрашена черно-желтыми узорчатыми разводами — совсем как у отдельных видов змей. Вид ниже пояса вызывал еще больший ужас — ибо здесь кончалось малейшее сходство с человеком и начиналось нечто совершенно неопишемое. Кожа, или, лучше сказать, шкура, была покрыта густой черной шерстью, а откуда-то из брюшины произрастало десятка два причудливо изогнутых зеленовато-серых щупальцев с красными присосками. Их расположение было в высшей степени странным и наводило на мысль о симметрии неведомых космических миров, лежащих далеко за пределами Солнечной системы. На обоих бедрах, в глубоко посаженных и обрамленных розоватыми ресничками орбитах, находились какие-то рудиментарные глаза, а рядом с хоботообразным хвостом в пурпурных кольцевых

отметках располагалось нечто вроде недоразвитого горла или рта. Если бы не черная шерсть на ногах, то можно было бы сказать, что ноги приблизительно напоминали задние конечности доисторических земных ящеров; заканчивались они мощными ребристыми утолщениями, в равной степени не похожими ни на лапы с когтями, ни на копыта. При дыхании существа окраска его хвоста и щупальцев ритмично меняла цвет; эта способность была, по-видимому, унаследована им от далеких неземных предков, для коих это было обычным явлением. Щупальца меняли окраску с бледно-желтой в темно-зеленую, в то время как хвост из серого превращался в светло-коричневый; пурпурные же кольца сохраняли постоянную окраску. Крови — настоящей красной крови — не было, вместо нее на полу виднелась зловонная желто-зеленая сукровица, которая, затекая за пределы уже загустевшей лужи, странным образом обесцвечивала крашеный пол.

Завидев троих мужчин, лежащее на полу существо принялось, не поднимая и не поворачивая головы, бормотать что-то непонятное. Во всяком случае, это была не английская речь — доктор Армитедж не сделал тогда никаких записей, но сумел кое-что запомнить. С первых же слогов стало ясно, что бормотание это не имеет ничего общего с земной речью; доктор уловил в нем некоторые разрозненные фрагменты, взятые из «Некрономикона» — из тех самых богохульных мест, ради которых существо и приняло сейчас свою страшную смерть. Затем бормотание стало совсем нечленораздельным — доктору удалось различить что-то вроде: «*Н'гай, н'гха-гхаа, багг-шоггог, й'хах; Йог-Сотот, Йог-Сотот...*» Постепенно голос стихал на фоне безумного ритмичного крещендо затаившихся в своем дьявольском ожидании козодоев.

Наконец хрипы прекратились; пес поднял свою огромную голову и издал долгий, страшный вой. Пение козодоев за окном тут же оборвалось, и на фоне ровного гула толпы послышались дикие крики ужаса. Огромные стаи пернатых стра-

жей взвились в залитое лунным светом небо и умчались прочь, так и не дождавшись своей добычи.

В эту минуту пес поднялся на четыре лапы и, испуганно гавкнув, выпрыгнул прямо в окно. В толпе поднялся шум, но доктор Армитедж крикнул собравшимся, что ни один из них не будет допущен в помещение до тех пор, пока не явится полиция или коронер. Слава богу, подумал он, что окна библиотеки расположены слишком высоко для того, чтобы с улицы можно было увидеть, что делается в помещении. На всякий случай он опустил еще и шторы. Вскоре явились два полисмена, и доктор Морган, встретив их в вестибюле, принялся настойчиво уговаривать их не входить в комнату до прихода коронера, когда тело после должного осмотра будет закрыто.

На полу между тем происходили ужасные перемены. Было бы, наверное, излишним описывать *вид* полурасчлененных останков и то, как они стремительно *ужимались и разлагались* буквально на глазах доктора Армитеджа и профессора Райса; но все же необходимо отметить, что доля человеческой составляющей в Уилбере Уэйтли занимала, судя по случившимся изменениям, весьма незначительное место. Когда был наконец коронер, чудовищный запах почти исчез, а на крашенных половицах осталась только липкая белесая масса. По всей видимости, тело Уэйтли не имело ни черепа, ни скелета, во всяком случае, никто не увидел и намека на них. Наверное, этим он был похож на своего неизвестного отца.

VII

И все же это был только пролог к Данвичскому кошмару как таковому. Озадаченные представители официальных кругов исполнили необходимые в подобных случаях формальности, скрыв от широкой общественности наиболее чудовищные детали. В Данвич приехали юристы, в задачу которых входило найти наследников Уилбера Уэйтли. Первое, на что они обратили внимание по приезду, было царившее

в поселке страшное возбуждение — причиной этому были как сильные подземные шумы в районе проклятых холмов, так и жуткое зловоние и звуки мощных глухих ударов, доносившиеся все громче и громче из обширных пустот заколоченного дома на отшибе. Эрл Сойер, в отсутствие хозяина ухаживавший за коровами и лошадьми, получил вскоре сильное нервное расстройство. Власти всячески избегали этого заброшенного строения, с большой изобретательностью придумывая отговорки, чтобы не приближаться к нему, и появились здесь только один раз, бегло осмотрев отремонтированный незадолго до случившихся событий сарай. Они составили многословный, но совершенно пустой отчет и представили его в суд поселка Эйлсбери. Говорят, среди многочисленных Уэйтли в верховьях Мискатоника — как деградировавших, так и более-менее приличных представителей этого рода — до сих пор идут тяжбы за долю имущества, оставшегося после гибели Уилбера.

Помещенная в огромном гроссбухе и состоявшая из странных и с трудом различимых символов рукопись была, судя по обилию пробелов и разнообразию чернил и почерков, чем-то вроде дневника; она поставила в тупик тех, кто нашел ее на старинном бюро, служившем хозяину письменным столом. После недельных дебатов дневник был отправлен в Мискатоникский университет вместе с коллекцией старинных книг усопшего, с тем чтобы расшифровать и изучить эти материалы; но даже лучшие из лингвистов не были уверены в том, что им удастся разобраться в этой жуткой тарабаршине. Что же касается древнего золота, которым дед и внук Уэйтли расплачивались за купленный скот, то оно просто-напросто бесследно исчезло.

Ужас пришел в Данвич в ночь на 10 сентября. Весь вечер из-под земли доносился мощный гул, и собаки лаяли как оглашенные. Те, кого нелегкая подняла десятого рано утром, сразу же уловили нависший над местностью характерный смрад. Около семи часов Лютер Браун, мальчишка-подросток на дворе Джорджа Кори, что между ущельем Холодных

Ключей и деревней, примчался как угорелый с десятинного луга, где пас хозяйских коров. Ворвавшись в кухню, он забился в угол и сжался в комок от страха, а под окнами дико мычали не менее перепуганные коровы, примчавшиеся вслед за мальчиком. Тяжело дыша, Лютер в отрывистых фразах изложил увиденное им миссис Кори, жене хозяина дома:

— Я, значит, шел по дороге и зашел уже за ущелье — и вдруг чувствую неладное! Вонь стоит кругом — ужас какая вонь, а кусты и деревья вдоль дороги все лежат, будто между ними дом проволокли. Это бы еще ничего, но тут я увидел *следы*, мис'с Кори, — громадные круглые следы, что от твоей бочки, да какие глубокие — будто их слон оставил. *Только этих ног, что их оставили, было две, а не четыре!* Я поглядел на эти следы — и побежал прочь, но разглядел, что они как пальмовые листья, линии там выходили из одной точки в разные стороны. А запах был ужасный — совсем как от дома старика Уэйтли...

Здесь он осекся, содрогнувшись от свежих воспоминаний. Миссис Кори, видя, что от мальчишки ей больше ничего не добиться, принялась названивать соседям, внеся таким образом свою лепту в создание серии самых невероятных слухов, послуживших своеобразной увертюрой к основному действию. Когда она дозвонилась до Салли Сойер, экономки Сета Бишопа, дом которого располагался ближе других к обиталищу Уэйтли, ей пришлось из рассказчицы стать на время слушательницей и в течение доброй четверти часа внимать истории о том, как Чонси, сын Салли, мучимый бессонницей, потащился утром на холм, что неподалеку от дома Уэйтли, и в ужасе примчался обратно, стоило ему лишь один раз взглянуть на дом и на пастбище, где коровы мистера Бишопа были оставлены пастись на ночь.

— Только представьте, миссис Кори, — доносился искаженный телефонной линией голос Салли, — Чонси был до того напуган, что и слова вымолвить не мог! Потом, правда, сказал, что дом старого Уэйтли весь разлетелся в щепки, как от бомбы, только от нижнего этажа и осталось что-то — да

и то так, самая малость, — и все кругом было залито какой-то противной вязкой гадостью, она так омерзительно пахла... Представляете — кругом искореженные бревна, развороченная земля, и все заляпано этой мерзостью. А на дворе, то есть на том месте, где он был, он увидел какие-то отметины на земле, огромные, размером со свиную голову, опять же залитые этой липкой гадостью. Они уходили куда-то в луга, а трава под ними буквально лежала — так она была притоптана, и она шла полосой шире амбара, а каменные стены по обочинам все так и повалены.

Хоть он и был напуган, миссис Кори, а решил все же посмотреть, как там коровы Сета; и он нашел их на верхнем пастбище, неподалеку от Дьяволова Пастбища, — с ними ужас что творилось! Половина из них вообще исчезла, а другая — ну просто кошмар, да и только: они выглядели так, как будто из них высосали всю кровь, а на шее и боках были раны, какие видели у скотины старого Уэйтли с тех пор, как был рожден черный ублюдок Лавинии. Сет ушел сейчас взглянуть на них, хотя я-то точно знаю, что навряд ли он осмелится приблизиться к дому старика Уэйтли! Чонси, конечно же, не стал смотреть, куда эта полоса уходила с пастбища, но сказал: «Сдается мне, что следы эти вели к дороге, что соединяет ущелье с деревней».

Помяните мои слова, миссис Кори, вся эта чертовщина так или иначе связана с Уилбером Уэйтли. Слава богу, он получил то, что заслужил, мерзкий ублюдок. Я всегда говорила, что он не человек, — и оказалась права в конце концов. И еще мне сдается, что не одного только Уилбера вырастили в доме старого Уэйтли — а то чего ради стали бы они бесконечно переделывать его и заколачивать окна. И этот второй Уилбер такой же нечеловек, как и первый, которого мы знали. Не зря же, говорят, вокруг Данвича постоянно витают невидимые существа — но не люди, и людям следует их опасаться.

Вчера земля опять не молчала, а к утру, как сказал Чонси, козодои в ущелье Холодных Ключей разорались так громко,

что бедняжка глаз не мог сомкнуть. А потом он услышал звук со стороны дома Уэйтли — будто где-то ломают деревянную постройку. Я уже вам говорила, что он увидел, когда там оказался. Ой, не к добру все это, не к добру! Надо бы всем нашим мужчинам собраться и покончить с этой дьявольщиной раз и навсегда. Я уже за себя боюсь, если честно, и мне порой кажется, что скоро настанет мой час, хотя все в руках Божьих.

Ваш Лютер, часом, не глянул, куда вели эти огромные следы? Нет? Тогда, миссис Кори, ежели они шли вдоль дороги к ущелью и не появились до сих пор у вашего дома, то, я полагаю, они ведут напрямик в ущелье. Я всегда говорила, что нечистое это место — ущелье Холодных Ключей. Козодои и светляки ведут себя там так, как будто они порождение не Бога, а дьявола. А ежели встать аккуратно между водопадом и Медвежьей Берлогой, то можно услышать, как шумят и разговаривают какие-то нечестивые твари...

К полудню 10 сентября добрых три четверти мужского населения Данвича, включая мальчишек, курсировало вдоль дорог и лугов между развалинами дома Уэйтли и ущельем Холодных Ключей, с замиранием сердца рассматривая оставленные на земле чудовищно огромные следы, останки изувеченных коров Сета Бишопа, страшные, источающие зловоние обломки дома Уэйтли и примятую растительность на полях и по обочинам дороги. Что-то необъяснимо жуткое вырвалось на свободу в этом мире, и мрачному ущелью на окраине Данвича довелось стать эпицентром этого события. Деревья были сломаны или сильно погнуты, а в густом кустарнике, облепившем круто уходящий вниз склон оврага, было проделано нечто вроде широкой просеки — будто подхваченный лавиной дом прокатился вниз по этой почти вертикальной стене. Снизу не доносилось ни единого звука, зато стоял невообразимо мерзкий запах; и потому не приходится удивляться тому, что мужчины предпочли постоять на краю обрыва и поглазеть вниз, вместо того чтобы спуститься в это логово неизвестного циклопического чудовища. Компания взяла

с собой трех собак, которые поначалу неистово лаяли, но у обрыва поджали хвосты и испуганно смолкли. Кто-то догадался сообщить о случившемся в «Эйлсбери трэнскрипт», но редактор этого издания, привыкший не воспринимать данвичские небылицы всерьез, ограничился по этому поводу коротким репортажем, выдержанным в довольно-таки фигурных тонах. К слову сказать, репортаж этот был перепечатан впоследствии агентством «Ассошиэйтед пресс».

К ночи все разошлись по домам, накрепко забаррикадировав двери. Весь скот, разумеется, был загнан под крыши хлевов и сараев. Около двух часов ночи семья Элмера Фрая, чей дом стоял близ восточного края ущелья Холодных Ключей, была поднята на ноги доносившимся снаружи жутким смрадом и отчаянным лаем запущенной на ночь в дом собаки. Прислушавшись, Элмер и его домочадцы уловили ритмичные звуки глухих ударов, раздававшиеся откуда-то неподалеку. Миссис Фрай кинулась было к телефонному аппарату, когда звук ломаемого дерева ворвался в ее сознание, заставив буквально замереть на месте. Он исходил, по всей вероятности, из хлева; тут же за ним последовал дикий рев животных и беспорядочный топот копыт. Собака смолкла и трусливо прижалась к ногам хозяев, которые сами были перепуганы не меньше ее. Затем Фрай зажег фонарь, но сделал это скорее в силу привычки — он знал, что выход за пределы дома будет означать для него и для его семьи верную смерть. По щекам жены и детей катились крупные слезы, но они не проронили ни единого звука, повинувшись древнему инстинкту, который подсказывал им, что полная тишина — единственный путь к спасению. Рев скотины перешел наконец в долгое жалобное мычание, а затем снова раздались звуки трескавшегося дерева. Фрай, сбившиеся в кучку в гостиной, не смели пошевелиться до тех пор, пока звуки снаружи не затихли, удалившись куда-то в направлении ущелья Холодных Ключей. Затем, внимая жутким стонам из хлева и демоническим крикам вновь припозднившихся с отлетом на юг козодоев, Селина Фрай подбежала к телефону и принялась излагать абонен-

там на другом конце провода подробности второй фазы Данвичского ужаса.

На следующий день вся округа пребывала в панике; сбившиеся в кучки люди со страхом осматривали последствия случившегося. Две широкие полосы примятой травы тянулись от дома Фраев до самого ущелья; на лишенных растительности участках почвы можно было разглядеть чудовищные следы. Одна из бревенчатых стен хлева была снесена до основания. Из коров удалось обнаружить не более одной четверти от их первоначального количества. Некоторые были буквально разорваны на куски, а тех, что еще подавали признаки жизни, пришлось пристрелить. Эрл Соьер предложил обратиться за помощью в Эйлсбери или Аркхем, но его никто не поддержал. Старый Зебулон Уэйтли (из тех Уэйтли, которые, несмотря на убогий образ жизни, сохранили еще способность мыслить здраво и разумно) предположил, что вся эта дьявольщина является результатом действия неких таинственных ритуалов, совершаемых на вершинах холмов. В семье, где воспитывался Зебулон, свято верили в старинные предания, силу заклинаний и сверхъестественную сущность каменных столбов на холмах, и все это вкупе подсказывало Зебулону, что случившиеся в округе страшные события совсем не обязательно напрямую связаны с Уилбером Уэйтли и его дедом.

На убогую деревушку, жители которой так и не удосужились объединиться для настоящего отпора неведомой беде, опустилась ночь. Кое-где, правда, по несколько семей собиравались на ночь под одной крышей, но в основном поселенцы ограничивались прежними нехитрыми мерами — баррикадированием дверей и окон и держанием заряженных кремневых ружей и вил наготове. Впрочем, в эту ночь не произошло ровным счетом ничего, разве что опять на всю округу раздавались шумы холмов; и когда настал день, многие уже с надеждой думали, что ужас миновал безвозвратно. Нашлись даже смельчаки, которые предложили спуститься в ущелье, хотя дальше предложений дело опять-таки не пошло.

Прошла еще одна ночь, утром после которой Фрай и Бишопы известили общественность, что собаки опять беспokoйно лаяли до самой зари, а откуда-то издалека доносились глухие шумы и знакомый омерзительный запах. Наблюдатели отметили появление тех же огромных чудовищных следов на дороге, опоясывавшей Часовой холм. Как и раньше, трава по обочинам была сильно примята; кроме того, следовало отметить, что следы вели сейчас уже в двух направлениях — будто неведомый гигант, явившись сюда из ущелья Холодных Ключей, вернулся по той же тропе обратно. У основания холма полоса поваленного кустарника шириной добрых тридцать футов забирала круто вверх, и у исследователей все оборвалось внутри, когда они увидели, что даже на самых отвесных подъемах проложенная тропа не отклонялась ни на дюйм в сторону — она шла строго вперед. Неведомое существо обладало способностью взбираться по вертикальным каменным кручам; и когда исследователи, воспользовавшись более безопасными путями, оказались на холме, они увидели, что именно здесь, на его вершине, завершалась тропа объявившегося в округе монстра. И именно здесь Уэйтли возжигали свои дьявольские костры и выкрикивали богохульные заклинания в Вальпургиеву ночь и канун Дня всех святых — здесь, у плоского, как стол, камня. И камень этот был по существу эпицентром обширного пространства, пораженного обитавшим в холмах ужасом, а по его поверхности была размазана та же густая дегтеобразная масса, что была обнаружена среди развалин дома Уэйтли. Никто из собравшихся не проронил ни слова. Их взоры обратились вниз — очевидно, монстр спустился по той же тропе, по какой и поднялся. Впрочем, логика, здравый смысл и действие физических законов были не в силах разъяснить ситуацию, с которой столкнулись данвичцы. Разве что старый Зебулон мог бы дать всему этому более-менее правдоподобное объяснение, но его не было — он остался в поселке.

Ночь на четверг началась под стать предыдущим, однако завершение ее было трагическим. Козодои в ущелье кричали

с таким неистовством, что многие из данвичцев всю ночь не могли сомкнуть глаз, а около трех часов пополуночи все аппараты на общей телефонной линии вдруг принялись трезвонить. Схватив трубки, поселенцы услышали дикие вопли:

— Помогите — ради всего святого, помогите же!

Затем послышался треск ломаемого дерева, и голоса смолкли. Никто не посмел выйти из дома, да никто и не имел представления, откуда исходил этот звонок. И лишь утром по тому, что семейство Фраев не присоединилось к телефонному обсуждению ночных событий, люди поняли, в чей дом пришла ночью беда. Когда часом позже группа вооруженных мужчин подошла к месту, где стоял дом Элмера Фрая, они увидели ужасную картину, впрочем их ничуть не удивившую. Примятая трава, жуткие следы, отпечатавшиеся на почве; но дома больше не было — о нем напоминала только груда бесформенных обломков, среди которых не было обнаружено ни живых, ни мертвых. Только смрад и темная дегтеобразная мерзость. Семьи и дома Элмера Фрая в Данвиче больше не было.

VIII

А тем временем параллельно кошмару, имевшему место непосредственно в Данвиче, другая его ипостась — менее материальная и в то же время гораздо более изощренная — открывалась человеческому сознанию за закрытыми дверями уставленной книжными полками комнаты в здании Мискатоникского университета в Аркхеме. Загадочный рукописный дневник Уилбера Уэйтли, доставленный в университет для расшифровки, вызвал полное замешательство среди лингвистов, специализировавшихся как в древних, так и в современных языках: знаки его алфавита, хотя и отдаленно напоминали по виду обнаруженные в Месопотамии арабские письмена, оказались все же совершенно никому не известными символами. В конце концов ученые пришли к выводу, что текст составлен на основе искусственно разработанного ал-

фавита, то есть по существу является самой настоящей криптограммой. Анализ текста на основе всех известных методов криптографии не дал никакого результата: записи остались нерасшифрованными, при том что в ходе работы ученые принимали во внимание все языки, которые предположительно мог использовать для составления текста его автор. Древние книги, найденные в обиталище Уэйтли, вызвали большой интерес у представителей естественных наук и философов, однако не дали ничего нового лингвистам, день и ночь бьющимся над смыслом непонятных записей. Одна из книг — тяжелый том с массивной железной застежкой — была написана другим, но тоже абсолютно неизвестным алфавитом, напоминающим по графическому облику санскрит. Доктор Армитедж забрал его себе — как из интереса к семейству Уэйтли, так и из-за того, что именно он, Армитедж, был крупнейшим специалистом в области лингвистики и мистических текстов древности и Средневековья.

Армитедж предположил, что алфавит использовался исключительно приверженцами некоторых запрещенных древних культов, которые вобрали в себя множество колдовских форм и традиций арабского Востока. Впрочем, это было не так уж важно, поскольку происхождение символов тайнописи не имело большого значения для ее расшифровки. В самом деле, рассуждал доктор Армитедж, текст такого большого объема мог быть составлен только на родном языке, исключение могли представлять разве что какие-нибудь формулы и заклинания. И он с новой силой принялся за разгадку манускрипта, исходя из предположения, что основная его часть составлена на английском языке.

После серии неудач, постигших его коллег, он понимал, что данная загадка является весьма и весьма сложной. Весь остаток августа он посвятил изучению принципов криптографии, прочтя по этому вопросу все, что ему только удалось найти в своей библиотеке: «Polygraphia» Тритемия, «De Furtivis Literarum Notis» (автор — Джанбатиста Порпа), «Traite des Chiffres» (де Виженер), «Cryptomenysis Patefacta» (Фаль-

конер), написанные в XVIII веке трактаты Дэвиса и Тикнеса, а также произведения современных авторов: Блэйра, ван Мартена и Клюбера — перу последнего принадлежал солидный труд под названием «Kryptographik». Изучая эти пространственные сочинения, Армитедж одновременно не оставлял попыток расшифровать манускрипт и в конце концов убедился, что имеет дело с одной из хитроумнейших и запутаннейших криптограмм, в которой отдельные листы, испещренные непонятными знаками, служили ключом к этому дьявольскому шифру, отнюдь не являясь при этом записями собственно текста. Нужно было обращаться к старым источникам, ибо Армитедж заключил, что код манускрипта должен быть очень древним. Только к концу августа тучи начали рассеиваться — Армитеджу удалось расшифровать несколько букв. Как доктор и предполагал, текст оказался на английском языке.

Вечером 2 сентября на этом фронте пал последний рубеж, и доктор впервые прочел длинный отрывок из записей Уилбера Уэйтли. Это и вправду был дневник; записи позволяли сделать вывод, что их автор, несмотря на свою потрясающую эрудицию в области оккультных наук, был в принципе довольно-таки малограмотной личностью. Первый длинный абзац, который удалось расшифровать Армитеджу, был датирован 26 ноября 1916 года, и, соотнеся эту дату с датой рождения Уилбера, доктор внутренне содрогнулся — запись, которую он держал сейчас в руках, была сделана ребенком трех с половиной лет от роду; впрочем, выглядел он тогда на двенадцать-тринадцать.

«Сегодня читал про Акло для Саваофа — он слышен с холмов, а не с неба. Оно там наверху опережает меня, как я и думал, и, кажется, совсем не имеет мозгов в земном понимании. Застрелил овчарку Элама Хотчинса, когда та пыталась искушать меня. Элам сказал, что будь его воля, он застрелил бы меня. Но я знаю, что не застрелит. Прошлой ночью дед открыл мне Формулу Дхо, и сейчас я могу сам видеть город внутри

на двух магнитных полюсах. Я дойду до этих полюсов, когда очистится Земля, если не смогу прорваться сквозь Формулу Дхо-Хна после свершения. Те, из воздуха, сказали мне на Шабаше, что до того, как я смогу очистить Землю, нужно ждать несколько лет и дед тогда уже будет мертв, и я должен выучить все углы и плоскости между Ыром и Нххнгром. Они оттуда помогут мне, но они не могут взять тело без человеческой крови. Оно наверху должно сгодиться для этого. Я могу немного видеть, когда делаю для него знак Вура или дую на него порошком Ибн-Гази, и оно походит тогда на тех, какими я их вижу Вальпургиевой ночью на холме. Другое лицо, возможно, придет на смену этому. Не могу представить, как я буду выглядеть, когда Земля будет очищена от существ, что обитают на ней сейчас. Тот, кто пришел с Акло Саваофа, сказал, что я обрету иные формы и стану похожим на тех, что извне, но для этого нужно еще немало потрудиться».

Наступившее утро доктор Армитедж встретил в холодном поту — настолько ужасным было то, что прочел он в манускрипте. Несмотря на это, он всю ночь лихорадочно расшифровывал записи. Позвонив жене, он сказал ей, чтобы она не ждала его к завтраку; когда же она сама принесла ему в библиотеку еду, он едва к ней притронулся. Днем он продолжил чтение, а принесенные обед и ужин также проигнорировал. Все это время он совсем не спал и лишь к середине следующей ночи задремал было в кресле, но уже несколько минут спустя вскочил на ноги, не в силах выдерживать нагромождения ночных кошмаров — таких же ужасных, какими представлялись ему угрозы человечеству, о коих говорилось в расшифрованной рукописи.

Утром 4 сентября профессор Райс и доктор Морган стояли на встрече со своим ученым коллегой, после чего ушли от него с посеревшими, трясущимися от страха лицами. В тот вечер доктор лег в постель, но спал урывками. На следующий день, в среду, он снова засел за манускрипт, делая объемные выписки как из читаемых абзацев, так и из тех, которые уже

были расшифрованы и уточнены. Ближе к утру он вздремнул, но перед самым рассветом вновь уже сидел за рукописью. Незадолго до полудня к нему заглянул его врач, доктор Хартуэлл, и стал настаивать, чтобы Армитедж прекратил работать. Тот отказался, заявив, что прочесть весь дневник целиком для него является вопросом жизни и смерти, и пообещал попозже дать более внятные объяснения.

В тот вечер, сразу же с наступлением сумерек, он завершил свое убийственное чтение и в изнеможении рухнул на софу. Жена, принеся ужин, обнаружила его в полукомадном состоянии — однако стоило лишь ей приблизиться к письменному столу и заглянуть в его бумаги, как он очнулся и поднял ужасный крик: ни за что на свете не позволил бы он ей ознакомиться с их содержанием. С трудом поднявшись, он сгреб в кучу лежавшие на столе записи и запечатал их в большой конверт, который убрал во внутренний карман пиджака. Прибыл доктор Хартуэлл; укладывая своего подопечного в постель, он слышал, как тот беспрестанно бормотал: *«Но Боже правый, что тут можно сделать?»*

Весь следующий день доктор Армитедж провел в промежуточном состоянии между сном и бредом. Он не стал давать обещанных объяснений Хартуэллу, но потребовал, чтобы тот разрешил ему встретиться с Райсом и Морганом. Его дикий взгляд внушал страх, равно как и его разговоры о снесении с лица земли старого фермерского дома Уэйтли и о некоем плане искоренения всего живого на планете неведомой древней расой из другого измерения. То он кричал, что мир в опасности, ибо Древние Существа хотят захватить его и унести прочь из Солнечной системы и космоса в совершенно иную, неведомую фазу бытия, из которой сами они появились тысячи миллиардов лет назад; то он требовал подать ему «Демонотриу» Ремигия и жуткий «Некрономикон» Альхазреда, в которых он надеялся отыскать некие формулы, чтобы проверить по ним реальность предполагаемой угрозы.

— Их нужно остановить! — то и дело вскрикивал он. — Эти Уэйтли делают все, чтобы позволить Им войти в наш

мир, и ничего нельзя придумать хуже этого! Скажите Райсу и Моргану — дело не совсем безнадежное, я знаю, как приготовить порошок... Эту тварь не кормили со второго августа, когда Уилбер нашел свою смерть, и если так пойдет дальше...

Однако, несмотря на солидный возраст (Армитеджу было тогда уже 73 года), здоровье у него оказалось отменным, да и долгий сон сделал свое доброе дело. В пятницу вечером доктор проснулся с совершенно ясной головой, хотя все еще испытывал острое чувство страха и ответственности за судьбу человечества. Днем в субботу он направился в библиотеку и провел совещание с Морганом и Райсом; остаток дня и вечер трое ученых провели за отчаянными дебатами и высказыванием самых невероятных догадок. Непрестанно звучали длинные цитаты из страшных и ужасных книг, взятых с полок секретных книгохранилищ, с лихорадочной быстротой копировались диаграммы и формулы. Ни один из собравшихся не проявлял ни малейшего скептицизма по поводу обсуждаемого предмета — все трое видели тело Уилбера Уэйтли, лежавшее распростертым на полу комнаты в том же самом здании, после чего никто из них не мог уже воспринимать дневник как бред безумца.

Сначала в ходе дебатов прозвучало предложение оповестить полицию штата Массачусетс, но в конце концов решено было этого не делать, ибо здесь речь шла о феномене, в реальность которого невозможно было поверить, не увидев того, что видели трое ученых мужей. Поздно вечером они наконец разошлись, так и не остановившись на каком-либо конкретном плане, однако в течение всего воскресенья Армитедж был занят сопоставлением формул и смешиванием химикалий, полученных им в лаборатории колледжа. И чем больше раздумывал он над чудовищным дневником, тем больше сомневался в существовании какого-либо материального агента, с помощью которого можно было бы уничтожить тварь, оставленную после своего исчезновения из мира людей Уилбером Уэйтли, и тем самым предотвратить надвигающуюся на планету катастрофу.

В понедельник Армитедж занимался тем же, чем и в воскресенье, поскольку задача, стоявшая перед ним, требовала бесконечных исследований и экспериментов. Дальнейшие изучения чудовищного дневника внесли некоторые изменения в план; впрочем, и после этого доктор не был уверен в его эффективности. Во вторник он наметил для себя четкую программу действий, в соответствии с которой решил предпринять в течение недели поездку в Данвич.

Однако в среду он испытал настоящее потрясение. На одной из последних страниц «Аркхем эдвертайзер» он увидел заметку агентства «Ассошиэйтед пресс», в которой рассказывалось о чудище, выросшем в мозгах данвичцев благодаря бутлегерскому виски, — остроумный редактор полагал, что все описываемые страхи являются не более чем плодом пьяной фантазии местных жителей. Армитедж, едва придя в сознание после прочитанного, сразу же позвонил Райсу и Моргану. Их спор затянулся далеко за полночь, и уже на следующее утро они начали лихорадочные приготовления к экспедиции в Данвич. Армитедж знал, что им придется привести в действие ужасные силы, но не видел иного способа одолеть еще более страшное зло, сотворенное другими.

IX

В пятницу утром Армитедж, Райс и Морган выехали в Данвич и прибыли туда около часу пополудни. День стоял прекрасный, но даже яркое солнце не могло скрыть чего-то недоброго, что витало над куполообразными холмами и глубокими ущельями, куда почти не проникали прямые солнечные лучи. На некоторых холмах были отчетливо видны корончатые круги из каменных столбов. Атмосфера молчаливого страха сковала Данвич — из разговоров в магазине Осборна визитеры уже знали об ужасных событиях, в частности об исчезновении семьи и дома Элмера Фрая. В этот день они обошли весь Данвич; с замиранием сердца осмотрели развалины дома Фрая в подтеках мерзкой дегтеобразной массы,

оставленные на месте злодеяния странные следы, искалеченный скот Сета Бишоп, широченные полосы примятой травы и растительности в различных местах. Тропа к вершине Часового холма казалась Армитеджу знаком катастрофы, и он долго не мог оторвать глаз от зловещего камня-алтаря, что венчал эту мрачную возвышенность.

После некоторых раздумий визитеры решили обратиться к полицейским, прибывшим сюда из Эйлсбери вскоре после первых телефонных сообщений о трагедии семьи Фрая, и сравнить рассказы местных жителей с сообщениями стражей порядка. Однако последних нигде не было видно; вообще же их было пятеро и они прибыли в поселок на машине, которая стояла сейчас пустой у руин дома Фрая. Местные жители, незадолго до того разговаривавшие с полицейскими, выглядели такими же озадаченными, как Армитедж и его спутники. И вдруг старый Сэм Хатчинс побледнел и, ткнув под ребра Фреда Фарра, указал на узкую глубокую лощину, что зияла неподалеку.

— Боже, — едва слышно произнес он, — я же наказывал им ни за что на свете не спускаться в ущелье... Я и думать не мог, что они отважатся на это — при таких-то следах и смраде и козодоях, что кричат здесь день и ночь не переставая...

По рядам аборигенов и заезжих исследователей пробежала дрожь ужаса, и все напрягли слух, стараясь уловить хоть что-нибудь в атмосфере тягостного ожидания. Армитедж, сейчас уже до конца понявший природу неведомого ужаса, дрожал под грузом той ответственности, которая, как он считал, выпала на его долю. Скоро на поселок должна была опуститься ночь, а именно ночью чудовище выходило на свою жуткую охоту. *Negotium perambulans in tenebris*... Старый библиотекарь повторил про себя формулу, которую он запомнил, и сжал в кармане бумагу, где была записана другая, которую, в отличие от первой, он не знал наизусть. После этого он проверил свой электрический фонарик и убедился, что тот работает нормально. Стоявший рядом с ним Райс вынул из чемодана мощный пульверизатор, похожий на те, что

используются для уничтожения насекомых, а Морган достал из чехла винтовку для охоты на крупную дичь, с которой он чувствовал себя спокойнее, несмотря на предупреждения его коллеги, что материальное оружие здесь вряд ли поможет.

Армитедж, прочитавший чудовищный дневник, отчетливо представлял себе, с явлением какого плана им предстоит столкнуться. Однако об этом он помалкивал, не желая лишний раз пугать и без того до смерти перепуганных жителей Данвича. Он еще надеялся, что неизвестное порождение адовых глубин покинет мир людей подобру-поздорову. С наступлением сумерек местные жители начали рассеиваться по домам, не решаясь оставаться за пределами своих жилищ, хотя предыдущие события могли, казалось бы, убедить их в том, что стены и запоры в любом случае неспособны противостоять страшной силе, которая гнет деревья и сокрушает дома. Они только головами покачали, узнав о том, что городские визитеры собираются расположиться на ночь у руин дома Фрая, около ущелья, — и разошлись по домам, будучи твердо уверенными, что видят гостей в последний раз.

В ту ночь из-под холмов опять слышалось глухое ворчание, а хор козодоев звучал прямо-таки угрожающе. В какой-то момент сильный ветер, поднявшийся из ущелья Холодных Ключей, донес до них неописуемо отвратительный запах, так хорошо им знакомый: все трое отчетливо помнили те страшные минуты, в продолжение которых они стояли над издыхающей тварью — гигантом-получеловеком пятнадцати лет от роду. Однако монстр не спешил появляться из ущелья, и все трое сидели в ожидании, не предпринимая никаких активных действий, — Армитедж сказал коллегам, что атаковать его в темноте было бы чистой воды самоубийством.

Потом наступило утро, и ночные звуки исчезли. Начался серый, пасмурный день, принялся моросить дождь, и к северо-западу от холмов стали собираться тяжелые свинцовые тучи. Гости из Аркхема сидели в раздумье — искать ли им укрытия среди развалин дома Фрая или спуститься в ущелье и атаковать неведомого противника? Тем временем полил

сильный дождь, из-за горизонта послышались глухие раскаты грома. Засверкали молнии; одна из них, раздвоенная, блеснула совсем рядом и, казалось, низверглась прямо в проклятое ущелье. Небо потемнело почти до черноты, и аркхемцам оставалось надеяться лишь на то, что гроза окажется кратковременной и за ней последует прояснение.

Было все еще зловеще темно, и прошло не более часа, когда со стороны дороги послышались человеческие голоса. В следующий момент они увидели группу перепуганных людей, их было с десятков, не больше; они бежали, кричали, истерически плакали. Слышались обрывки фраз, и посланцы Аркхема напрягли слух, пытаясь уловить в этих криках нечто членораздельное.

— О боже, о боже! — кричал один из аборигенов. — Оно пришло опять, *и на этот раз днем!* Оно сейчас явится сюда, и одному Богу известно, что будет со всеми нами!

Говоривший умолк, но его тут же сменил другой.

— Где-то с час тому назад Зеб Уэйтли услышал телефонный звонок, а звонила миссис Кори, жена Джорджа, который живет у развилки дорог. Она сказала, что мальчишка Лютер, их поденщик, загонял коров во двор, когда началась гроза, и увидел, что деревья гнутся прямо у самого входа в ущелье — как раз напротив этого самого места, — и он снова почуял ту самую вонь, как в понедельник, когда он первый раз увидел огромные следы. И еще он услышал звуки — не то свиста, не то ударов, а может, и те и другие, и вдруг все деревья вдоль дороги враз наклонились в одну сторону, и он услышал страшный топот, а грязь так и полетела брызгами. Затем впереди, где Бишопов ручей пересекает дорогу, он услышал жуткий треск со стороны моста — он божится, что собственными глазами видел, как тот разлетелся в щепки. А когда звуки заглохли где-то вдаль — на дороге, что ведет к дому колдуна Уэйтли и Часовому холму, — у Лютера хватило духу подойти поближе туда, откуда шел шум, и посмотреть на землю. Там он увидел воду вперемешку с грязью, а небо было темным, и дождь постепенно смывал все следы; но он все равно успел

разглядеть их — они начинались из устья ущелья и были огромными как бочки. Точно такие же следы он видел в тот понедельник.

В этом месте его взволнованно прервал первый оратор.

— *Самое ужасное*, что это только начало. Все мы слышали, как Салли, экономка Сета Бишопа, звонила по телефону: сначала ее вообще чуть не хватил припадок — она видела, как гнулись деревья вдоль дороги, и стала говорить по телефону, что слышит что-то вроде приглушенных звуков, похожих на поступь слона, и будто они приближаются к ее дому. Еще она говорила что-то об ужасном запахе и сказала, что ее мальчишка Чонси закричал, будто точно такой же запах он слышал, когда разлетелся вдребезги в понедельник дом Уэйтли. А собаки чуть с ума не посходили — уж так лаяли. Потом она заорала как бешеная и сказала, что сарай у дороги только что смело, как будто штормом, — но ветра-то в это время не было никакого. Все на телефоне слова сказать не смели. А Салли снова принялась верещать, а следом за нею и Сет Бишоп, и мальчишка Чонси, а потом что-то тяжелое стало колотиться в их дом, мы это слышали. Салли закричала, что ограда смята, как бумага, а потом мы опять услышали тяжелый удар — но не молнии, нет... А потом... потом...

Лица слушавших выражали величайший страх; Армитедж, хотя тоже дрожал с головы до ног, все же нашел в себе мужество приободрить рассказчика. Тот напрягся и вспомнил еще кое-что:

— Салли закричала снова: «Помогите, оно лезет сюда, в дом!» — и тут мы услышали ужасный треск, вопли людей — в общем, то же самое, что и у Элмера Фрая, только...

Он замолчал на секунду, а потом продолжил:

— Вот и все — потом уже не было больше ни звука. Мертвая тишина. Мы как услышали это, сразу же попрыгали в машины и повозки, набрали как можно больше людей и помчались к дому Кори, а когда увидали, что там творится, то решили, что лучше обратиться за помощью к вам — уж вы-то лучше знаете, что делать. Лично я считаю, что все это — кара Божья за наши грехи.

Армитедж понял, что пришло время действовать, и, обратившись к сгрудившимся перепуганным поселенцам, решительно заговорил:

— Мы должны сделать это, друзья. — Он постарался придать своему голосу как можно большую уверенность. — Мне кажется, у нас есть шанс с этим покончить. Вы знаете, что Уэйтли были колдунами — и это все их колдовство, но его можно одолеть тем же образом. Я видел дневник Уилбера Уэйтли и читал кое-какие из его странных книг; и я знаю старинное заклинание, чтобы заставить это чудовище покинуть наш мир. Конечно, ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но и шанс, что нам дан, мы не имеем права упускать. Оно невидимо — я знаю, что оно должно быть невидимо, — но в этом дальнобойном разбрызгивателе есть порошок, благодаря которому мы сможем увидеть его на секунду. Позже мы это испробуем. Ужасно, конечно, что эта тварь жива и бродит здесь, но еще хуже было бы, если бы Уилбер не умер: уж тогда бы он точно вырастил из нее чудовище во сто раз кошмарнее. Дай вам бог никогда не узнать, какой катастрофы удастся, я надеюсь, избежать этому миру. Сейчас мы сразимся только с одним гадом, ибо он не может размножаться. Но он способен натворить немало бед, и потому лучше покончить с ним, и чем скорее, тем лучше. Итак, начнем. Сейчас мы отправимся на место, которое подверглось нападению. Кто-нибудь, ведите нас — я не знаю дороги туда, но мне кажется, мы можем сократить путь и пойти прямо через луга. Ну как, годится?

Наступило напряженное молчание, которое первым нарушил Эрл Сойер:

— Вы можете попасть аккуратно к Сету Бишопу, ежели пойдете напрямик через этот луг и перейдете ручей вброд в мелком месте. А там взберетесь наверх и как раз окажетесь рядом с домом Сета — он на другой стороне.

Армитедж, Райс и Морган двинулись в указанном направлении, а следом за ними нерешительно поплелись аборигены. Небо стало понемногу проясняться, гроза как будто под-

ходила к концу. Когда Армитедж непроизвольно сбился с нужного направления, Джо Осборн поправил его и занял место впереди. Люди обрели уверенность и смелость, хотя, казалось бы, мрачные холмы с почти отвесными, заросшими темным лесом склонами, что ждали их в конце пути, не предвещали ничего хорошего.

В конце концов они оказались на размытой дождем дороге. Еще на подходе к дому Бишопа поломанные деревья и чудовищные следы на земле красноречиво свидетельствовали о случившемся здесь кошмаре. На осмотр развалин исследователи затратили не больше одной минуты. Все было ясно и так — полное повторение истории с Фраями, и никого из живых или мертвых не было найдено среди обломков дома и амбара. Никто не желал торчать здесь, посреди смрада и отвратительной вязкой гадости; все инстинктивно повернули в сторону изуродованной фермы Уэйтли и алтаря на Часовом холме.

Проходя мимо места, служившего обиталищем Уилберу Уэйтли, люди содрогнулись от отвращения и страха, и снова их решимость была поколеблена. Такой массивный дом могла снести с лица земли только поистине дьявольская сила... У подножия Часового холма следы с дороги исчезли, но оставались другие свидетельства того, что недавно здесь произошло чудовище: погнутые деревья и примятая растительность указывали на это более чем красноречиво.

Армитедж достал из кармана подозрную трубу и внимательно обследовал в него крутой зеленый склон холма. Затем он передал инструмент Моргану, обладавшему более острым зрением. Морган, едва глянув в трубу, издал испуганный вскрик и передал инструмент Эрлу Сойеру, возбужденно указывая пальцем куда-то на склон. Сойер, не привыкший обращаться с подобными вещами, долго принаравливался к трубе, но с помощью Армитеджа навел все же фокус. Его крик выражал гораздо больший испуг, нежели реакция Моргана.

— Боже правый, трава в кустах шевелится! Оно ползет вверх — прямо на вершину, один бог знает для чего!

Тут же среди участников похода началась паника. Одно дело было идти по следам этого неведомого создания, и совсем другое — вступить с ним в непосредственный контакт. Пусть даже Армитедж и знал заклинания — ну а вдруг они не подействуют? Все тут же забросали доктора вопросами о неведомом монстре, но ответы заезжего ученого никого не удовлетворили. Все ощущали, что соприкасаются с какой-то неизвестной и запретной фазой бытия, лежащей далеко за пределами освященного Богом человеческого познания.

Х

В конце концов троица из Аркхема — старый седобородый Армитедж, коренастый, также тронутый сединой Райс и стройный моложавый Морган — отправилась на гору без сопровождения местных жителей. Трубу они отдали аборигенам, оставшимся стоять на дороге, подробно проинструктировав их, как ею пользоваться. Восхождение оказалось трудным, особенно для Армитеджа, самого пожилого из команды. Снизу собравшимся было хорошо видно, как, поддерживаемый своими компаньонами, карабкался он вверх, как колебались огромные массы травы и кустарника, когда тот, невидимый, кто производил эти колебания, возвращался по однажды проторенной им тропе.

Потом глядевший в трубу Кертис Уэйтли — из достойной ветви этого семейства — увидел, что троица из Аркхема внезапно отклонилась в сторону от просеки. Он сказал толпе, что, очевидно, те решили попытать счастья на соседней вершине, что была несколько ниже Часового холма и благодаря проделанной просеке виднелась где-то впереди. И в самом деле — вскоре троица оказалась на соседнем холме, избежав тем самым незапланированного столкновения с ползущим по просеке невидимым исчадием ада.

Затем труба перешла к Уэсли Кори, который тут же закричал, что Райс извлек на свет пульверизатор, а Армитедж настраивает его и что сейчас должно что-то произойти. Тол-

па беспокойно зашевелилась — у всех в памяти были свежи еще слова Армитеджа, что порошок из пульверизатора может разглядеть невидимое чудовище. Некоторые в страхе закрыли глаза, но Кертис Уэйтли снова подхватил подозрную трубу и сколько мог напряг зрение. Он заметил, что Райс, благодаря удачно выбранной позиции, имел все шансы распылить чудесный порошок с максимальным эффектом.

Остальные невооруженным глазом увидели только мгновенную вспышку внутри серого облака величиной примерно с большое здание — облако это висело около самой вершины холма. Кертис, державший подозрную трубу, с пронзительным визгом уронил ее на дорогу, в грязь. Он зашатался и упал бы наземь, если бы его не подхватили стоящие рядом товарищи. Обведя всех диким взглядом, он простонал в изнеможении:

— О боже, великий боже, *это... это...*

Тут же на него обрушился шквал расспросов; Генри Уилер тем временем поднял трубу и вытер ее от грязи. Кертис едва мог говорить — да и то лишь отдельными бессвязными фразами:

— Больше амбара... весь из каких-то витых канатов... весь в форме куриного яйца... огромный... ног десять, не меньше... как свиные головы, и закрываются при шаге... жидкий как кисель... делает шаги, когда скручивает канаты, и они оказываются близко друг к другу... на них огромные выпученные глаза... вокруг них десять или двенадцать ртов, величиной с газовую плиту... то открываются, то закрываются... серые, с кольцами, не то синими, не то лиловыми... *и боже правый — какое там жуткое полулицо!*

Эта последняя подробность, по-видимому, окончательно доконала бедного Кертиса — сразу же после этих слов он рухнул в обморок. Фред Фарр и Уилл Хатчинс оттащили его на обочину дороги и уложили на мокрую траву. Генри Уилер, дрожа как осиновый лист, навел подозрную трубу на гору. В его поле зрения попали три крошечные фигурки — они из последних сил бежали к вершине вверх по крутому склону.

Больше он ничего не увидел. Затем внимание всех присутствующих было привлечено странным, нехарактерным для этого времени года звуком, доносившимся откуда-то сзади, из глубокой долины, а может быть, даже из кустарника, что покрывал Часовой холм. Это был вопль бесчисленных козодоев, и в их пронзительном хоре слышалось напряженное ожидание чего-то поистине демонического.

Затем подозрная труба перешла в руки Эрла Сойера, и тот сообщил, что три фигурки неподвижно стоят на самой высокой точке холма, которая находится вровень с камнем-алтарем на Часовом холме, но на довольно-таки почтительном расстоянии от него. Один из стоящих то и дело воздевал руки над головой, соблюдая некий четкий ритм, и едва Эрл Сойер сообщил об этом, как толпа услышала донесшийся издали слабый полумузыкальный тон, как будто своими жестами человек сопровождал какое-то заклинание. Силуэт на отдаленном пике был, должно быть, весьма гротескным и впечатляющим зрелищем, но собравшимся было совсем не до его эстетической ценности.

— Он, должно быть, говорит заклинание, — прошептал Уилер, снова схватив трубу.

Оглушающие песни козодоев вновь заполнили всю округу; сейчас они звучали, подчиняясь какому-то неправильному ритму, совершенно асинхронному по отношению к свершаемому на холме действию.

Внезапно солнце будто померкло, хотя его не застигало ни единое облачко, и этот странный и зловещий феномен не ускользнул от внимания данвичцев. Под холмами нарастали грохочущие звуки, причудливо смешиваясь с размеренным громом, доносившимся с небес. Высоко в небе сверкнула молния, и толпа замерла в ожидании грозы. Сейчас уже было несомненно, что люди из Аркхема творят заклинание, и Уилер увидел в трубу, как все трое поднимают руки в одном ритме. Из поселка то и дело раздавались взрывы неистового собачьего лая.

Дневной свет тем временем продолжал угасать, и все волей-неволей усталились на темнеющий горизонт. Пурпурные сумерки, порождение нематериального затмения дневного неба, тяжелым бременем опустились на зловеще ворчащие холмы. Затем вновь сверкнула молния, на этот раз более яркая, и в свете ее вспышки люди увидели некий туман, сгустившийся на значительной высоте над камнем-алтарем. Никому в этот момент и в голову не пришло воспользоваться подзорной трубой. Козодои продолжали свою ритмичную песнь, и люди из Данвича напряглись в ожидании неведомой угрозы, которую источала гибельная атмосфера.

Совершенно неожиданно для всех раздался низкий, надтреснутый, грубый звук, навсегда врезавшийся в память тех, кому довелось его тогда услышать. Он исходил не из человеческого горла, ибо органы человека не способны были воспроизвести столь чудовищную акустическую перверсию. Казалось, он вздымается из какой-то бездонной ямы, однако источником этого мерзкого звука был, вне всякого сомнения, алтарь на вершине холма. Было бы даже неверным обозначить услышанное данвичцами словом «звук», поскольку его ужасный, инфрасонарный тембр воздействовал скорее на тайники скованного страхом сознания и подсознания, нежели на органы слуха. И все же это были звуки, ибо их сочетание складывалось в подобие слов. Звуки были громкими — как грохот холмов и грозы, над которыми они прокатывались эхом, — и все же они исходили от существа, невидимого человеческому глазу. И, даже смутно представив себе источник этих акустических колебаний, люди задрожали от неопишемого ужаса и сгруппировались в тесную кучу.

— *Ыгнайх... ыгнайх... тфлтрх'ннга... Йог-Сотот...* — раздался над местностью страшный рык. — *Ы-бтнк... х'ейе — н'гркдл'лх...*

Здесь речевой поток на некоторое время прервался. Генри Уилер, поднеся к глазам подзорную трубу, изо всех сил напрягал зрение, но видел на вершине только три жалких человеческих силуэта, которые неистово двигали руками —

видимо, их заклинания подходили к кульминационной точке. Из каких черных бездн адского ужаса, из каких неведомых морей внекосмического сознания были извлечены эти громовые звуки? Тут же они стали собираться с новыми силами и обрушили на слушавших всю свою темную ярость:

— *Эгх-йя-йя-йя-йяххаааа — йе'йяаааааа... н'га — н'гхаааааа... х'вуу... х'вуу...* НА ПОМОЩЬ! НА ПОМОЩЬ!!! О-о-от-ОТЕЦ! ЙОГ-СОТОТ!..

И это было все. Побледневшие зрители, все еще не могущие окончательно прийти в себя от услышанных слов, произнесенных, *несомненно, на английском языке* и прозвучавших подобно грому над древними зловещими холмами из пустот рядом с каменным алтарем, услышали, как слова эти перешли в чудовищный раскат грома, который потряс холмы — оглушающий, демонический раскат, что не имел себе равных по силе на этой земле. Возникшая из пурпурного зенита молния ударила в камень-алтарь, и незримая волна страшной силы покатилась с холмов вниз на поселок, обдав всех неописуемо мерзким запахом. Деревья, трава и кустарник пригнулись до земли под тяжестью этой чудовищной волны; и насмерть перепуганные люди у подножия холма, полузадушенные смертоносным смрадом, еле-еле удержались на ногах. Вдали дико завывали собаки, зеленая трава и листва вмиг стали бледно-желтыми, и земля внезапно оказалась густо усеянной тельцами издохших козодоев.

Смрад скоро рассеялся, но растительность так и не обрела свой первоначальный зеленый цвет. И по сей день на склоне этого холма с растительностью творится что-то неладное... Кертис Уэйтли еще только приходил в себя, когда троица из Аркхема медленно спустилась с холма в лучах солнца, яркого и незатуманенного. Они были спокойны и серьезны, хотя, должно быть, пережили потрясение гораздо более страшное, нежели то, что довелось испытать данвичцам, наблюдавшим за развитием событий с относительно безопасного расстояния. В ответ на поток вопросов они только покачали головами.

— Потом, потом, — устало произнес Армитедж, — скоро вы узнаете все сами. Одно могу сказать — эта тварь больше не вернется. Ее разнесло на множество разных частей, составлявших ее сущность, и она не сможет существовать более в нормальном мире. Наши чувства воспринимали только малую ее часть. Она была похожа на своего отца — и почти вся ушла обратно к нему в царство неведомых измерений, за пределы нашей материальной вселенной, откуда лишь человеческое богохульство может вызвать ее на мгновение на вершину.

После этого воцарилась недолгая тишина, в течение которой расстроенные чувства бедняги Кертиса Уэйтли начали складываться в некий определенный образ, и он со стоном обхватил голову руками. Увиденное на вершине горы не давало покоя его несчастной душе:

— О боже, боже мой, эта страшная морда — на вершине холма; с красными глазами, белобрысая, без подбородка — как у Уэйтли! Это был осьминог, сороконог, паук или что-то вроде него, но сверху его было получеловечье лицо, и оно как две капли воды походило на физиономию колдуна Уэйтли, только что было несколько ярдов в обхвате...

И он замолк с маской непередаваемого ужаса на лице, а его односельчане смотрели на него в изумлении, которое не успело еще выкристаллизироваться в новый страх. Лишь старый Зебулон Уэйтли, молчавший до сих пор, вдруг заговорил.

— Пятнадцать лет уж прошло, да, — прошамкал он, — с тех пор как я в первый раз услышал от старого Уэйтли, что в один прекрасный день дитя Лавинии назовет имя своего отца на Часовом холме. Да вы и сами тогда это слышали...

Но Джо Осборн перебил его, вновь обращаясь к ученым мужам из Аркхема:

— *Так что же все-таки это было?* И как молодой Уэйтли вызвал ЭТО с небес?

Армитедж проговорил, тщательно подбирая слова:

— Это было... в общем, это неведомая субстанция, которая не принадлежит к нашему пространству и которая суще-

ствуется, растет и оформляется по иным законам, нежели законы нашей Вселенной. У нормального человека никогда не будет ни желания, ни возможности вызвать это порождение дьявола извне, и только очень дурные люди могут отважиться попытаться сделать это, прибегая к богопротивным ритуалам. Нечто в этом роде было в самом Уилбере Уэйтли — достаточно для превращения его в невиданного монстра, смерть которого была зрелищем совершенно ужасным. Я намереваюсь предать огню его богомерзкий дневник, а вам настоятельно советую взорвать этот камень-алтарь динамитом и снести с вершин кольца каменных столбов. Эти предметы притягивали сюда жутких тварей, которых так любили Уэйтли и которые хотели стереть с лица Земли человеческую расу и увлечь нашу планету в неведомые просторы иных измерений. Что касается твари, что мы отправили в неведомое, — так вот, Уэйтли вырастили ее для свершения самых гнусных злодеяний, задуманных пришельцами из других миров. Она быстро выросла до невероятных размеров — по той же причине, что и Уилбер, только еще быстрее, — но она превзошла его, поскольку в ней было больше той самой *чужеродности*. И не спрашивайте, как Уилбер вызвал ее с небес. Ему не надо было этого делать — *ибо это был его брат-близнец, но гораздо больше похожий на своего отца.*

МУЗЫКА ЭРИХА ЦАННА

Я очень тщательно изучил карты города, но улицы д'Осей нигде не нашел. Я обращался не только к современным картам: мне известно, названия могут меняться. Напротив, я глубоко зарылся в историю этих мест, исследовал самолично, вне зависимости от названия, все городские районы, где могла бы находиться улица, известная мне как д'Осей. Стыдно в этом признаваться, но, несмотря на все усилия, я так и не нашел ни дом, ни улицу, ни даже часть города, где, будучи нищим студентом-философом, в последние месяцы своего обучения в местном университете я слушал музыку Эриха Цанна.

Что мне отказала память, неудивительно: пока я жил на улице д'Осей, у меня были серьезные нелады со здоровьем, с психикой в том числе; помнится, меня там не навещал никто из моих немногочисленных знакомых. Но то, что я не могу отыскать свое прежнее обиталище, удивляет и озадачивает, ведь располагалось оно в получасе ходьбы от университета и было в некоторых отношениях приметным. Трудно поверить в то, что побывавший там его забудет. Никто из тех, с кем я позднее говорил, ни разу в жизни не видел улицу д'Осей.

Улица эта находилась по ту сторону реки, текущей меж громадами кирпичных товарных складов с мутными окнами; берега ее соединяет массивный мост из темного камня. У реки всегда было тенисто, словно дым соседних фабрик на ве-

ки вечные скрыл из виду солнце. И еще над рекой стояли дурные запахи, совершенно особые; когда-нибудь они помогут мне найти то место, потому что их я ни с чем не спутаю. За мостом были мощенные булыжником улицы с рельсами, потом начинался подъем, сперва пологий и ближе к д'Осей невероятно крутой.

Мне в жизни не попадалось второй такой узкой и крутой улицы, как д'Осей. Это был только что не обрыв, где не ездил никакой транспорт, там и сям гладкая дорога сменялась ступеньками, отдельные участки переходили в лестницу, а верхний конец замыкала мощная стена, увитая плющом. Уличный настил был неоднородный: где-то каменные плиты, где-то булыжники, где-то голая земля, с пробивавшейся тут и там серовато-зеленой растительностью. Дома, высокие, с островерхими крышами, невероятно старые, кренились в разные стороны. Бывало, противолежащие дома, наклоненные навстречу друг другу, образовывали что-то вроде арки, и в этом месте всегда стоял полумрак. Встречались также перекинутые через улицу мостики.

Обитатели здешних мест производили на меня странное впечатление. Вначале я объяснял это их молчаливостью, но позднее решил, что они просто очень старые. Не знаю, как мне пришло в голову там поселиться, но я в то время был немного не в себе. Из-за безденежья мне часто приходилось переселяться, и я навидался разных бедных кварталов, пока наконец не набрел на ветхий дом на улице д'Осей, в котором распоряжался паралитик по фамилии Бландо. Считая от вершины холма, дом стоял третьим и далеко превосходил всех своих соседей по высоте.

Моя комната находилась на пятом этаже, где больше никто не жил: дом был почти пуст. Поздно вечером, когда я вселялся, из окна островерхого чердака лилась странная музыка, и на следующий день я спросил Бландо, кто играл. Он ответил, что это старик-немец, немой и чудаковатый; имя его, судя по подписи, Эрих Цанн, вечерами он играет на виоле в оркестре при одном захудалом театре. Бландо добавил,

что Цанн имеет привычку браться за инструмент по ночам, когда вернется из театра; потому он и приискал себе просторную и изолированную чердачную комнату с единственным окошком, через которое, в отличие от всех прочих, открывается вид на склон холма по ту сторону стены в конце улицы.

Потом я слышал Цанна каждую ночь, он мешал мне спать, и все же я был зачарован его странной, потусторонней музыкой. Я мало знаком с музыкальным искусством, однако был убежден, что ни одно из созвучий Цанна не похоже ни на что слышанное мною прежде; отсюда я сделал вывод, что мой сосед одарен в высшей степени оригинальным талантом композитора. Чем дольше я слушал, тем сильнее пленяли меня эти звуки, и через неделю я решился свести знакомство со стариком.

Однажды вечером, когда Цанн возвращался с работы, я подстерег его в коридоре и сказал, что хотел бы с ним познакомиться и послушать вблизи его игру. Он был невысокого роста, щупл, сутул, с голубыми глазками и забавным личиком сатира, лысиной во всю голову, одет в какие-то обноски. Когда я заговорил, Цанн ответил злым и одновременно испуганным взглядом, но, видя мое дружелюбие, в конце концов смягчился и недовольным жестом пригласил меня следовать за ним по темной и шаткой чердачной лестнице. Его комната, одна из двух под крутой крышей, располагалась с запада и смотрела на высокую стену, в которую упирался верхний конец улицы. Очень просторное помещение казалось еще больше из-за необычайной скудости обстановки и запущенности. Из мебели имелись только узкая железная кровать, неопрятный умывальник, столик, большой книжный шкаф, железный нотный пюпитр и три старомодных стула. На полу громоздились в беспорядке ноты. Обшитые голыми досками стены, видно, никогда не штукатурили. Судя по залежам пыли и вездесущей паутине, можно было вообще усомниться, что тут кто-то живет. Очевидно, Эрих Цанн не признавал иной красоты, кроме сущей в эмпириях воображения.

Жестом предложив мне садиться, немой закрыл дверь, повернул большую деревянную задвижку и зажег еще одну свечу в дополнение к той, что была при нем. Извлек из траченного молью футляра виолу и с нею в руках сел на самый крепкий из имевшихся стульев. Нотами он не воспользовался и, не спросив о моих пожеланиях, целый час угощал меня восхитительными мелодиями, подобных которым я никогда не слышал. Не иначе как это были его собственные композиции. Что они собой представляли, я, не будучи знатоком музыки, описать не способен. Это были как будто фуги с повторяющимися пассажами самого пленительного свойства, но я обратил внимание на то, что в них ни разу не прозвучали потусторонние мотивы, которые я слышал прежде, у себя.

Те, прежние мелодии невольно запечатлелись у меня в памяти, и я часто пытался, не совсем успешно, напеть их про себя или просвистеть. И потому, когда музыкант наконец отложил смычок, я попросил его сыграть что-нибудь из них. Когда я завел об этом речь, старик насторожился и спокойствие и скука на его морщинистом личике сатира сменились диковинным сочетанием злости и страха, как в тот раз, когда я впервые к нему обратился. Подумав, что это старческие капризы, к которым не стоит относиться серьезно, я стал его уговаривать и даже, чтобы вызвать соответствующее настроение, попытался насвистеть одну из мелодий, слышанных накануне ночью. Однако мне сразу же пришлось умолкнуть: едва немой музыкант узнал мотив, как черты его исказила неопишуемая гримаса, а длинная костистая рука потянулась к моим губам, чтобы остановить грубую имитацию. И еще одна странность: испуганный взгляд старика скользнул к одинокому, завешенному шторой окну, словно там могли появиться незваные гости. Это было тем более нелепо, что чердак располагался очень высоко, куда выше соседних крыш; консьерж говорил мне, что на улице нет второго окна, откуда виден через стену противоположный склон холма.

Заметив испуг старика, я вспомнил о словах Бландо, и мне взбрело в голову полюбоваться широкой, головокружительно-

ной панорамой посеребренных луною крыш и городских огней с той стороны холма — зрелищем, недоступным всем прочим обитателям улицы д'Осей. Я шагнул к окну и готовился уже раздёрнуть неописуемо ветхие шторы, но тут меня настиг, в полном уже неистовстве, хозяин комнаты. Кивая на дверь, он обеими руками стал оттягивать меня от окна. Это меня окончательно возмутило, я велел ему убрать руки и сказал, что немедленно ухожу. Старик ослабил хватку и, видя, как я обижен, стал успокаиваться. Он снова сжал мою руку, но на этот раз примирительным жестом, принудил меня сесть на стул, с задумчивым видом подошел к столу и, найдя среди хлама карандаш, стал писать на тяжеловесном, как бывает у иностранцев, французском длинную записку.

Когда он наконец вручил записку мне, там оказалась просьба снизойти к нему и простить. Цанн утверждал, что он стар, одинок и подвержен необычным страхам и неврозам, связанным с собственной музыкой и не только с ней. Ему понравилось, как я слушаю, и он приглашал меня приходить еще, но только просил не обращать внимания на его причуды. Однако он не может исполнять свою необычную музыку для других и не выносит, когда ее воспроизводят другие, а также не терпит, когда посторонние что-нибудь трогают в его комнате. До нашей встречи в коридоре он не имел понятия, что мне слышна его игра, и теперь он спрашивает, нельзя ли договориться с Бландо, пусть переселит меня в нижний этаж, подальше от ночных концертов. Он, Цанн, берется доплачивать за мою новую комнату.

Пока я разбирал жуткий французский язык старика, моя обида сменилась сочувствием. Он страдает от физического и нервного недуга, я тоже; философские занятия научили меня доброте. Тут в окне послышался тихий стук — наверное, задремали под ночным ветерком ставни, и я почему-то, вслед за Эрихом Цанном, испуганно вздрогнул. Закончив читать, я пожал хозяину руку, и мы расстались друзьями. Назавтра Бландо предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже, между квартирой пожилого ростовщика

и комнатой респектабельного обойщика. На четвертом этаже жильцов не было.

Вскоре я убедился, что Цанн не так жаждет моего общества, как можно было подумать, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. Он не приглашал меня к себе, а если я приходил незванным, Цанн держался беспокойно и играл вяло. Происходило это всегда ночью: днем Цанн спал и никого не принимал. Нельзя сказать, чтобы я проникался к нему все большей симпатией, хотя чердачная комната и потусторонняя музыка сохраняли для меня свою непонятную притягательность. Меня одолевало странное желание выглянуть в это окно, увидеть ту сторону стены, неизвестный склон, блестящие крыши и шпили внизу. Однажды я поднялся на чердак в то время, когда Цанн был в театре, но дверь оказалась заперта.

Что мне удавалось, так это подслушивать ночную игру немого музыканта. Вначале я прокрадывался на цыпочках в свой прежний пятый этаж, потом набрался смелости и стал взбираться по скрипучей лестнице до самого верха, поближе к чердаку. Там, в тесном коридоре, перед запертой на засов дверь с прикрытой замочной скважиной, я нередко внимал звукам, наполнявшим душу неопределенным страхом, ибо за ними чудилась какая-то сверхъестественная тайна. Нет, музыка была красива, а вовсе не ужасна, но ее сопровождали вибрации, несравнимые ни с чем на нашей брэнной земле, а временами она обретала симфоническое звучание и трудно было поверить, что это играет один-единственный исполнитель. Несомненно, Эрих Цанн обладал истинной гениальностью, причем самого необузданного свойства. Недели текли, игра становилась все мощнее и причудливей, сам же старый музыкант худел и выглядел таким затравленным, что больно было смотреть. Он от меня затворился, а при случайных встречах на лестнице шарахался в сторону.

Однажды ночью, пока я подслушивал под дверь, пенье виолы переросло в беспорядочный визг. Ловя эту сумятицу звуков, я усомнился в собственном здравом рассудке, но тут

прозвучавший за закрытой дверью вопль подтвердил плачевную реальность: там действительно происходило что-то ужасное. Так жутко и нечленораздельно мог кричать только немой и только от отчаянного страха или нечеловеческой боли. Я стал колотить в дверь — ответа не было. Дрожа от холода и страха, я ждал в темном коридоре. Наконец послышался шорох: бедный музыкант пытался, опираясь на стул, подняться на ноги. Я решил, что он приходит в себя после обморока, и снова стал стучать в дверь, повторяя ободряющим тоном свое имя. Цанн, судя по всему, доковылял до окна, закрыл его и задернул шторы, потом не без труда добрался до двери, отодвинул неверной рукой засов и впустил меня. На этот раз можно было не сомневаться, что он рад меня видеть: его несчастное личико просияло от облегчения и он ухватился за мою куртку, как ребенок хватается за юбку матери.

Жалостно дрожа, старик усадил меня на стул, и сам сел тоже; виола со смычком лежали, забытые, рядом с ним на полу. Первое время он сидел неподвижно, только странно кивая и словно бы напряженно и испуганно к чему-то прислушиваясь. Потом Цанн как будто успокоился, пересел к столу, написал краткую записку, отдал ее мне и, вернувшись за стол, принялся быстро и непрерывно строчить. В записке он умолял меня, во имя милосердия и ради удовлетворения собственного любопытства, оставаться на месте и ждать, пока он подготовит на немецком полный рассказ о страшных тайнах, его окружающих. Я ждал, немой музыкант водил карандашом по бумаге.

Прошло около часа, я все еще ждал, рядом со старым музыкантом быстро вырастала стопка листков, но вдруг он отчаянно дернулся. Ошибиться было невозможно: он глядел на зашторенное окно, вслушивался и трясся от испуга. Тут мне почудилось, что я и сам что-то различаю: звук, совсем не пугающий, напоминал чрезвычайно тихую и отдаленную мелодию, словно неведомый музыкант играл в каком-нибудь из соседних домов или по ту сторону высокой стены, за ко-

торую мне не доводилось заглядывать. На Цанна было страшно смотреть: он уронил карандаш, рывком встал, схватил виолу и принялся оглашать ночную тишину теми дичайшими мотивами, какие исполнял только наедине с собой, а я слушал только из-за запертой двери.

Что играл той ужасной ночью Эрих Цанн, описывать бесполезно. Прежде, подслушивая, я не представлял себе, что это за жуть, так как не видел его лица, теперь же понял: за этой бурной игрой стоит отчаянный страх. Громкими звуками старик то ли от чего-то себя защищал, то ли старался что-то заглушить; в чем он видел опасность, я не догадывался, но чувствовал, что опасность эта велика. Причудливое музицирование обрело характер бреда, истерики, но сохраняло в себе следы высшего таланта, которым, как мне было известно, обладал странный старик. Я узнал мелодию: это был неистовый венгерский танец, любимый театральной публикой, и на миг мне подумалось, что прежде я ни разу не слышал, чтобы Цанн исполнял чужие сочинения.

Виола завывала все громче и отчаянней. Музыкант, заливаемый потоками пота, дергался как обезьяна и не спускал безумного взгляда с занавешенного окна. Под яростный напев мне все отчетливей представлялись тени сатиров и вакханок, бешено кружащихся среди водоворота туч, дымов и молний. Затем я различил как будто иные тоны, более высокие и протяжные, чем у виолы; где-то далеко на западе они выпевали размеренную, упорную, дразнящую мелодию.

Тут за окном заплакал и застучал в ставни ночной ветер, словно бы вызванный безумной игрой старика. Визгливая виола Цанна стала исторгать из себя звуки, не свойственные, как я думал, этому инструменту. Ставни застучали громче, растворились и начали биться об окно. Задрезбезжало разбитое стекло, внутрь ворвался студеной ветер, зашипели свечи, зашелестели бумаги на столе, где Цанн начал записывать свою страшную тайну. Я поглядел на Цанна: ясное сознание его покинуло. Голубые глаза бессмысленно пялились в пустоту, смычок извлекал из виолы уже не музыку, а механиче-

ское, ни на что не похожее чередование звуков, описать которое не под силу перу.

Внезапный, еще более мощный порыв ветра подхватил рукописные листы и увлек к окну. Я отчаянно кинулся следом, однако не успел: листы исчезли. Тогда мне вспомнилось мое прежнее желание выглянуть в это окно, единственное на улице д'Осей, откуда виден склон холма за стеной и простертый внизу город. Было очень темно, однако город всегда светится огнями, и я надеялся увидеть их сквозь потоки дождя. Но когда я приник к этому чердачному окошку, самому высокому на улице, и под шипенье свечей и завывания безумной виолы и ночного ветра стал всматриваться в сумрак, там не оказалось ни простертого внизу города, ни приветливых фонарей знакомых улиц — ничего, кроме беспредельного черного пространства, невообразимого пространства, оживленного движением и музыкой, не похожего ни на что на этой земле. И пока я глядел, оцепенев от ужаса, ветер задул обе свечи, освещавшие старинный, с остроугольным потолком, чердак, и оставил меня в первобытном непроницаемом мраке, с демоническим хаосом перед глазами и демоническим беснованием ночной виолы за спиной.

Не имея возможности добыть света, я шатнулся назад, ударился о стол, опрокинул стул и стал на ощупь пробираться туда, где вскрикивал, извергая дикую музыку, мрак. Какие бы силы мне ни прогивостояли, я должен был, по крайней мере, попытаться спасти Эриха Цанна и спастись самому. Однажды я ощутил какое-то холодное прикосновение и закричал, но жуткая виола заглушила мой крик. Внезапно меня толкнул ходивший ходуном смычок: музыкант был рядом. Я протянул наугад руку и наткнулся на спинку стула, потом нашел плечо Цанна и стал трясти, чтобы старик очнулся.

Он не откликнулся, но виола продолжала завывать все так же оглушительно. Я нащупал голову музыканта, сумел остановить его механические кивки и прокричал в ухо, что нам обоим нужно спастись бегством от непонятных ночных созданий. Однако он не отвечал и с тем же остервенением во-

дил смычком, а между тем по всему чердаку загуляли странные ветерки, затеявшие во тьме и неразберихе подобие танца. Коснувшись уха музыканта, я, сам не поняв отчего, вздрогнул. И понял, только ощупав его неподвижное лицо: холодное, околеченевшее, бездыханное лицо, остекленевшими глазами бессмысленно пялившееся в пустоту. И вот, каким-то чудом отыскав дверь и большой деревянный засов, я с бешеной скоростью припустил вниз по лестнице, подальше от обладателя остекленевших глаз и от дьявольского завывания проклятой виолы, ярость которой не стихала, а только усиливалась.

Век буду помнить это ужасное бегство: как я прыгал, скользил, летел по бесконечным лестницам темного дома; как выскочил в забытьи на узкую крутую улочку, к ступенчатой дороге и кренившимся домам, как по ступеням и бульжнику сбежал на нижние улицы, к зловонной, зажатой в высоких берегах реке, как пересек, пыхтя, большой темный мост и очутился на известных нам всем улицах и бульварах — широких и опрятных. Ветра, помнится, не было, как и луны, и все огни в городе сияли ярким блеском.

Все мои розыски, все самые тщательные расследования ни к чему не привели: я так и не нашел улицу д'Осей. Однако ни об этом, ни о потере плотно исписанных листков, единственного ключа к тайне музыки Эриха Цанна, я особо не печалюсь.

МОДЕЛЬ ПИКМАНА

Не посчитай, что я спятил, Элиот, на свете встречаются люди и не с такими причудами. Вот дедушка Оливера никогда не ездит в автомобилях — что б тебе и над ним не посмеяться? Ну не по душе мне треклятая подземка, так это мое личное дело, к тому же мы гораздо быстрее добрались на такси. А иначе вышли бы на Парк-стрит и потом тащились пешком в гору.

Согласен, при нашей встрече в прошлом году я не был таким дерганным, но нервы это одно, а душевная болезнь — совсем другое. Видит бог, причин было более чем достаточно, и если я сохранил здравый рассудок, то мне, можно сказать, повезло. Да что ты, в самом деле, пристал как с ножом к горлу? Прежде ты не был таким любопытным.

Ну ладно, если тебе так приспичило, слушай. Наверное, ты имеешь право знать, ты ведь писал мне, беспокоился прямо как отец родной, когда я перестал посещать клуб любителей живописи и порвал с Пикманом. Теперь, после того как он исчез, я порой бываю в клубе, но нервы у меня уже не те.

Нет, я понятия не имею, что случилось с Пикманом, не хочу даже и гадать. Тебе, наверное, приходило в голову, что я прекратил с ним общаться неспроста, мне кое-что о нем известно. Именно поэтому мне не хочется даже задумываться о том, куда он подевался. Пусть выясняет полиция в меру своих возможностей, да только что они могут — они не знают даже про дом в Норт-Энде, который он снял под фамилией

Питерс. Не уверен, что и сам найду его снова, да и не стану пытаться, даже при дневном свете! Зачем этот дом ему понадобился, мне известно — вернее, боюсь, что известно. Об этом речь впереди. И, думаю, еще до окончания рассказа ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию. Они захотят, чтобы я их туда отвел, но даже если бы я вспомнил дорогу, у меня не пойдут ноги. Там было такое... отчего я теперь не спускаюсь ни в метро, ни в подвалы — так что смейся, если тебе угодно.

Ты, конечно, знал еще тогда, что я порвал с Пикманом совсем не из-за тех глупостей, которые ему ставили в вину эти вздорные ханжи вроде доктора Рейда, Джо Майнота или Босуорта. Меня ничуть не шокирует мрачное искусство; если у человека есть дар, как у Пикмана, то, какого бы направления в искусстве он ни придерживался, я горжусь знакомством с ним. В Бостоне не было живописца лучше, чем Ричард Аптон Пикман. Я говорил это с самого начала, повторяю и теперь; я не колебался и в тот раз, когда он выставил эту самую «Трапезу гуля». Тогда, если помнишь, от него отвернулся Майнот.

Чтобы творить на уровне Пикмана, требуется большое мастерство и глубокое понимание Природы. Какой-нибудь малеватель журнальных обложек наляпает там-сям ярких красок и назовет это кошмаром, или шабашем ведьм, или портретом дьявола, но только большой художник сумеет сделать такую картину на самом деле страшной и убедительной. Ибо лишь истинному художнику известна настоящая анатомия ужасного, физиология страха: с помощью каких линий и пропорций затронуть наши подспудные инстинкты, наследственную память о страхе; к каким обратиться цветовым контрастам и световым эффектам, дабы воспрянуло ото сна наше ощущение потусторонней угрозы. Излишне тебе рассказывать, почему картины Фюсли действительно вызывают трепет, а глядя на обложку дешевой книжки-страшилки, захочешь разве что посмеяться. Подобные люди умеют уловить нечто эдакое... нездешнее и дать и нам на миг это почувство-

вать. Этим умением владел Доре. Им сейчас владеет Сайм. Ангарола из Чикаго. Пикман владел им как никто другой до него и — дай бог — никто не будет владеть после.

Что они такое видят — не спрашивай. Знаешь, в обычном искусстве существует принципиальное различие между живыми, дышащими картинами, написанными с натуры или с модели, и убогими поделками, которые всякая мелюзга корысти ради штампует по стандарту в пустой студии. А вот подлинный мастер фантастической живописи, скажу я тебе, обладает неким видением, способностью создать в уме модель или сцену из призрачного мира, где он обитает. Так или иначе, картины Пикмана отличались от сладеньких придумок иных шарлатанов приблизительно так же, как творения художников, пишущих с натуры, от стряпни карикатуриста-заочника. Видеть бы мне то, что видел Пикман... но нет! Прежде чем вникнуть глубже, давай-ка опрокинем по стаканчику. Бог мой, да меня бы уже не было на этом свете, если бы я видел то же, что этот человек — вот только человек ли он?

Как ты помнишь, сильной стороной Пикмана было изображение лиц. Со времен Гойи он был единственный, кто умел создавать такие дьявольские физиономии и гримасы. Из предшественников Гойи этим мастерством владели средневековые искусники, создавшие горгулий и химер для собора Нотр-Дам и аббатства Мон-Сен-Мишель. Они верили во всякую всячину, а быть может, и *видели* эту всякую всячину: в истории Средневековья бывали очень странные периоды. Помню, как ты сам за год до своего отъезда спросил однажды Пикмана, откуда, черт возьми, он заимствует подобные идеи и образы. И разве не гнусный смешок ты услышал в ответ? Отчасти из-за этого смеха с Пикманом порвал Рейд. Он, как тебе известно, занялся недавно сравнительной патологией и теперь, кичась своей осведомленностью, рассуждает о том, что значат с точки зрения биологии и теории эволюции те или иные психологические и физические симптомы. Рейд говорил, что Пикман с каждым днем все больше отвращал его, а под конец чуть ли не пугал, что в его внешности и по-

вадках появилось что-то мерзкое, нечеловеческое. Он много разглагольствовал о питании и сделал вывод, что Пикман наверняка завел себе необычные, в высшей степени извращенные привычки. Догадываюсь: если вы с Рейдом упоминали Пикмана в своей переписке, ты наверняка предположил, что Рейд просто посмотрелся картин Пикмана и у него разыгралось воображение. Я и сам как-то раз ему это сказал... в ту пору.

Но имей в виду, что я не порвал бы с Пикманом из-за его картин. Напротив, я все больше им восхищался: «Трапеза гуля» — это настоящий шедевр. Ты знаешь, конечно, что клуб отказался ее выставить, а Музей изящных искусств не принял в дар. Могу добавить: картину к тому же никто не купил, и она оставалась у Пикмана вплоть до того дня, когда он исчез. Теперь она у его отца в Салеме: тебе ведь известно, что Пикман происходит из старинного салемского рода; в 1692 году одна из его представительниц была повешена как ведьма.

Я частенько заглядывал к Пикману, особенно когда стал собирать материал для монографии о фантастическом жанре в искусстве. Скорее всего, именно эта картина навела меня на мысль к нему обратиться. Так или иначе, оказалось, что он просто кладезь сведений и идей. Пикман познакомил меня со всеми, что у него имелись, картинами и рисунками в этом жанре, и, ей-богу, если бы о них стало известно в клубе, его бы в два счета оттуда выкинули. Очень скоро он убедил меня и увлек; часами, как школьник, я выслушивал его дикие суждения об искусстве и философские теории, с какими прямая дорога в Данверский сумасшедший дом. Я смотрел на него как на идола, тогда как другие все больше его сторонились, и потому он стал мне доверять; однажды вечером он намекнул, что, если я пообещаю помалкивать и держать себя в руках, он покажет мне что-то необычное — такого я у него в доме еще не видел.

«Знаешь, — сказал он, — иные замыслы на Ньюбери-стрит непредставимы, да они здесь и не смогут возникнуть. Моя

задача — ловить обертоны души, а откуда им взяться на ненатуральных улицах, в искусственном окружении? Бэк-Бэй — это не Бостон, Бэк-Бэй это пока ничто, он слишком недавний, чтобы пропитаться воспоминаниями и обзавестись местными духами. Если здесь и водятся призраки, то это ручные духи приморских низин и мелководных бухточек, а мне нужны человеческие призраки — призраки существ высокоорганизованных, видевших геенну огненную и осознавших, что им открылось.

Художнику место в Норт-Энде. Эстету, если он истинный эстет, следует переехать в трущобы, где сохраняется множество традиций. Бог мой! Неужто не понятно, что такие места не были построены, а *выросли* сами по себе? Там жили, чувствовали, умирали поколение за поколением — в те времена, когда люди не боялись жить, чувствовать и умирать. Тебе известно, что в 1632 году на Коппс-Хилле находилась мельница и что добрая половина нынешних улиц была заложена в 1650 году? Я покажу тебе дома, которые простояли два с половиной века и больше, дома, повидавшие такое, от чего современный дом рассыпался бы в пыль. Что им, современным, известно о жизни и о силах, что за нею стоят? Ты говоришь, будто салеменные ведьмы выдумка, но не сомневаюсь, моя прапрапрабабушка рассказала бы тебе много интересного. Ее вздернули на Висельном холме, под взглядом этого ханжи, Коттона Мэзера. Чего больше всего боялся треклятый Мэзер, так это как бы кто-нибудь не выбрался за окаймленные рамки обыденности. Жаль, никто его не околдовал и не высосал ночью всю кровь!

Могу показать тебе его дом, и также другой, куда он боялся ступить, несмотря на все свои грозные речи. Ему было известно куда больше, чем он осмелился пересказать в своей дурацкой „Магналии“ или наивных „Чудесах незримого мира“. Слушай, а знаешь ли ты, что некогда под Норт-Эндом имелась сеть туннелей, соединявших разные дома и дававших тайный доступ на кладбище или к морю? Пусть на зем-

ле нас преследуют и гонят, под землю преследователям не проникнуть, откуда доносится ночами смех — не догадаться!

Из каждого десятка домов, что уцелели и стоят на своем месте с 1700 года, в восьми я берусь показать тебе в подполе кое-что интересное. Что ни месяц, читаешь в прессе: среди старых построек рабочие нашли то заделанную кирпичами арку, то колодец, ведущие неизвестно куда. Один такой дом, у Хенчман-стрит, был еще в прошлом году хорошо виден с эстакады надземки. Здесь прятались ведьмы, пираты, контрабандисты с добром, добытым при помощи колдовства и разбоя; говорю тебе, в старое время люди умели жить, умели раздвигать предписанные им границы. Людям было мало одного-единственного мира, умные и смелые шли дальше! А что сегодня? Сплошное размягчение мозгов: члены клуба, по идее знатоки, до дрожи пугаются, когда им показываешь картину, не отвечающую вкусам завсегдатаев чайных салонов на Бикон-стрит!

Единственное, чем хороши наши времена, так это тем, что народ нынче слишком тупой, чтобы дотошно изучать прошлое. Что рассказывают о Норт-Энде карты, записи, путеводители? Тьфу! Да я не глядя берусь показать тебе три-четыре десятка переулков и кварталов к северу от Принс-стрит, не известных почти никому, кроме иностранцев, которых там видимо-невидимо. А всякие там итальяшки и прочие, разве они понимают, с чем имеют дело? Нет, Тербер, эти старинные местечки дремлют себе на роскошном ложе тайн, ужасов и необычных возможностей, и не найдется ни единой живой души, способной их понять и ими воспользоваться. То есть одна живая душа все же есть: в прошлом копаюсь я, и не первый день!

Слушай, ты же всем таким интересуешься. А если я скажу тебе, что завел там себе вторую студию, где охочусь за ночными призраками старинных страхов, где изображаю сюжеты, о которых на Ньюбери-стрит не решаюсь и думать? Разумеется, этих чертовых истеричек из клуба я не ставил в известность, в том числе и Рейда, чтоб он провалился. При-

думал, тоже мне: я, мол, в своем роде чудовище, эволюционирую в обратную сторону. Да, Тербер, я давно уже понял: ужас так же заслуживает быть запечатленным в картинах, как и красота. Поэтому я взялся за розыски в тех местах, где, как я небезосновательно полагаю, обитает ужас.

Я нашел там местечко; из нынешних представителей нордической расы о нем, кроме меня, почти никто не знает. Если мерить расстояние, это в двух шагах от эстакады, но что касается истории человеческого духа, эти точки разделяют века и века. Мой выбор решило то, что в подвале имеется старый кирпичный колодец — из тех, о которых я говорил. Развалюха едва держится, так что других жильцов там не появится, а какие гроши я за нее плачу, стыдно и признаться. Окна заколочены, но тем лучше: для того, что я делаю, дневной свет нежелателен. Пишу я в подвале, где самая вдохновляющая атмосфера, но в моем распоряжении еще несколько меблированных комнат на первом этаже. Хозяин — один сицилиец, я назвался ему Питерсом.

Ну, если ты решился, отправляемся сегодня же вечером. Думаю, картины тебе понравятся: как уже было сказано, я дал себе волю, когда писал. Путь недалекий, иногда я даже добираюсь пешком; взять такси в такой район — значит привлечь к себе внимание. Можно доехать поездом от Саут-Стейшн до Бэттери-стрит, а там два шага пешком».

Что ж, Элиот, после этой речи мне ничего не оставалось, как только сделать над собой усилие, чтобы не бегом, а обычным шагом отправиться за первым, какой попадется, свободным кебом. На Саут-Стейшн мы сели в надземку и около полуночи, спустившись по ступеням на Бэттери-стрит, двинулись вдоль старой береговой линии мимо причала Конститюшн. Я не следил за дорогой и не вспомню, в который мы свернули переулок, знаю только, что это был не Гриноу-лейн.

Наконец повернув, мы двинулись в горку по пустому переулку, старинней и обшарпанней которого я в жизни не видел; с фронтонов осыпалась краска, окна в частом переплете

были побиты, остатки древних каминных труб сиротливо вырисовывались на фоне освещенного луной небосклона. Все дома, за исключением разве что двух-трех, стояли здесь еще со времен Коттона Мэзера. Два раза мне попадались на глаза навесы, а однажды — островерхий силуэт крыши, какие были до мансардных, хотя местные знатоки древностей утверждают, будто таких в Бостоне не сохранилось.

Из этого переулочка, освещенного тусклым фонарем, мы свернули в другой, где было так же тихо, дома стояли еще теснее, а фонарей не было вовсе. Через минуту-другую мы обогнули в темноте тупой угол дома по правую руку. Вскоре Пикман вынул электрический фонарик и осветил допотопную десятифиленчатую дверь, судя по всему безнадежно источенную червями. Отперев ее, он провел меня в пустой коридор, отделанный роскошными некогда панелями из темного дуба — без особой, разумеется, затейливости в рисунке, но явственно напоминавшими о временах Эндроса, Фиппса и ведовства. Потом Пикман провел меня в комнату налево, зажег масляную лампу и предложил располагаться как дома.

Имей в виду, Элиот, я человек, что называется, искушенный, но, оглядев стены, признаюсь, оторопел. Там были картины Пикмана — те, которые на Ньюбери-стрит не только не напишешь, но даже не покажешь, и он был прав в том, что «дал себе волю». Ну-ка еще по стаканчику — мне, во всяком случае, позарез нужно выпить!

Не стану и пытаться описать тебе эти картины: от одного взгляда на них становилось дурно. Это был такой смердящий, кощунственный ужас, что язык тут бессилен. Ты не обнаружил бы в них ни причудливой техники, как у Сидни Сайма, ни устрашающих трансатурнианских пейзажей и лунных грибов Кларка Эштона Смита. Задний план обычно составляли старые кладбища, лесные дебри, береговые утесы, кирпичные туннели, старинные комнаты, отделанные темным деревом, или просто каменные своды. Любимым местом действия было кладбище Коппс-Хилл, которое располагалось поблизости, в двух-трех кварталах.

Фигуры на переднем плане воплощали в себе безумие и уродство: Пикману особенно удавались мрачные, демонические портреты. Среди его персонажей было мало полноценных людей, их принадлежность к роду человеческому ограничивалась теми или иными отдельными чертами. Стояли они на двух ногах, но клонились вперед и слегка напоминали собак. Отталкивающего вида кожа походила во многих случаях на резину. Ну и мерзость! До сих пор они стоят у меня перед глазами! За какими занятиями они были изображены, в подробностях не выспрашивай. Обычно кормились, но чем — не скажу. Временами они были показаны группами на кладбище или в катакомбах, нередко — дерущимися из-за добычи, а вернее, из-за находок. И какую же дьявольскую выразительность Пикман умудрялся придать незрячим лицам их жертв! Его персонажи запрыгивали иной раз по ночам в открытые окна, сидели, скорчившись, на груди у спящих, тянулись к их шеем. На одной картине, изображавшей Висельный холм, они окружали кольцом казненную ведьму, в лице которой прослеживалось явственное с ними сходство.

Но только не подумай, будто мне сделалось дурно от жутких сюжетов и антуража. Мне не три года, я всякого навиделся. Дело в их лицах, Элиот, в их треклятых лицах, что буквально жили на картине, бросая злобные взгляды и пуская слюни! Бог мой, они вправду казались живыми! Адское пламя, зажженное красками, бушевало на полотнах мерзкого колдуна; кисть его, обращенная в магический жезл, рождала на свет кошмары. Дай-ка, Элиот, мне графин!

Одна из картин называлась «Урок» — лучше бы мне никогда ее не видеть! Слушай... можешь вообразить кружок невиданных тварей, похожих на собак, что, сидя на корточках, учат малое дитя кормиться так же, как они? Наверное, это подмененный ребенок: помнишь старые рассказы о том, как таинственный народец крадет человеческих детей, оставляя взамен в колыбелях собственное отродье? Пикман показал, что случается с украденными детьми, как они вырастают, и после этого я начал замечать зловещее сходство в лицах

людей и нелюдей. Показывая разные степени вырождения, от легких его признаков до откровенной потери человекоподобия, он глумливо протягивал между ними нить эволюции. Собаководные твари произошли от людей!

Я еще не успел задуматься о том, как бы он изобразил собственное отродье этих тварей, навязанных людям подменшей, как мой взгляд уперся в картину, отвечавшую на этот вопрос. На ней было старинное пуританское жилище: мощные потолочные балки, окно с решетками, скамья со спинкой, громоздкая мебель семнадцатого века; семья сидела кружком, отец читал из Библии. Все лица выражали почтительное достоинство, лишь одно кривилось в дьявольской усмешке. Оно принадлежало человеку молодому, но уже не юноше, который явно находился здесь на правах сына набожного главы семейства, но на самом деле происходил от нечистого племени. Это был подменш, и Пикман, в духе высшей иронии, придал ему заметное сходство с собой самим.

Пикман успел зажечь лампу в соседней комнате, открыл дверь и, любезно ее придерживая, спросил, хочу ли я взглянуть на его «современные этюды». От страха и отвращения мне отказал язык, и я ничего из себя не смог выдавить, но Пикман, похоже, понял меня и остался очень доволен. Заверяю тебя еще раз, Элиот: я вовсе не мимоза и не шарахаюсь от всего, что хоть чуточку расходится с привычными вкусами. Я не юноша и достаточно искушен; думаю, ты, зная меня по Франции, понимаешь, что такого человека не так-то легко выбить из колеи. Помни также, что я уже пришел в себя и кое-как притерпелся к ужасным холстам, на которых Новая Англия была представлена как какой-то придаток преисподней. Так вот, несмотря на это, в соседней комнате я невольно вскрикнул и схватился за дверь, чтобы не упасть. В первой комнате толпы гулей и ведьм переполняли мир наших предков, в этой же они вторгались в нашу повседневную жизнь!

Боже, что это была за живопись! Один этюд назывался «Происшествие в метро», там стоя этих мерзких тварей выбиралась из неизвестных катакомб через трещину в полу

станции подземки «Бойлстон-стрит» и нападала на людей на платформе. Другой изображал танцы среди надгробий на Коппис-Хилл, фон был современный. На нескольких дело происходило в подвалах; монстры протискивались через дыры и проломы в каменной кладке, сидели на корточках за бочками и печами и, злобно сверкая глазами, поджидали, пока спустится по лестнице первая жертва.

На одном полотне, самого отталкивающего вида, было представлено поперечное сечение холма Бикон-Хилл, пронизанного сетью ходов, в которых кишели, подобно муравьиным армиям, зловонные монстры. Неоднократно встречались изображения танцев на современных кладбищах, а один сюжет почему-то поразил меня больше остальных: в неведомом сводчатом помещении несколько десятков тварей теснились вокруг одной, которая, держа в руках популярный путеводитель по Бостону, очевидно, что-то зачитывала из него вслух. Все указывали на один из ходов, морды были перекошены в пароксизме безудержного, оглушительного хохота — я почти что слышал его адское эхо. Название картины гласило: «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло покоятся на кладбище Маунт-Оберн».

Постепенно успокаиваясь и принаравливаясь к второй комнате с ее собранием демонов и рожденных большой фантазией сцен, я попытался понять, что меня особенно в них отвращало. Прежде всего, сказал я себе, создания Пикмана свидетельствуют о полном бессердечии их творца, о воображении, не обузданном никакими человеческими чувствами. Так упиваться муками разума и плоти, деградацией смертной оболочки человека мог только закоренелый враг рода людского. Во-вторых, картины вселяли тем больший ужас именно вследствие мастерского исполнения. Это искусство было на редкость убедительным — глядя на картину, ты видел подлинных демонов и трепетал перед ними. Странно было то, что Пикман словно бы ни о чем не умалчивал и ничто не искажал. В рисунке не было ничего расплывчатого, условного: четкий контур, жизнеподобие, педантично-подробная прорисовка. А лица!

Ты видел их не через призму восприятия художника — это был пандемониум как он есть, изображенный кристально ясно и объективно. Богом клянусь, это чистая правда! В Пикмане не было ничего от фантазера, сочинителя, он даже не пытался воплотить на полотне мимолетные образы сна — нет, он холодно и насмешливо фиксировал некий прочно устоявшийся механистический мир ужасов, который был открыт ему полностью, с ясностью, не допускавшей иных толкований. Одному Создателю известно, что это был за мир и где являлись Пикману богохульственные образы, передвигавшиеся по нему шагом, рысью или ползком, но, гадая о том, откуда они взялись, в одном можно было не сомневаться: во всех аспектах своего искусства — и в замысле, и в исполнении — Пикман был полным и добросовестным реалистом, опиравшимся едва ли не на научное знание.

Хозяин повел меня теперь в подвал, где, собственно, располагалась его студия, и я готовил себя к тому, чтобы обнаружить на его неоконченных полотнах новые дьявольские сюрпризы. Когда мы добрались до подножия осклизлой лестницы, Пикман осветил фонариком угол обширного пространства и луч уперся в круглое кирпичное сооружение — очевидно, большой колодец в земляном полу. Мы приблизились, и я разглядел, что он достигает в поперечнике футов пяти, стенки, толщиной в добрый фут, поднимаются над грунтом дюймов на шесть и сделан колодец весьма основательно — работа семнадцатого века, если не ошибаюсь. Пикман пояснил, что это как раз то, о чем он рассказывал: вход в сеть туннелей, которые в былые годы пронизывали холм. Я заметил между прочим, что колодец не заложен кирпичом, а прикрыт тяжелой деревянной крышкой. При мысли о том, что, если намеки Пикмана не были празднословием, через колодец можно попасть в места самые разные, меня пробрала легкая дрожь. Затем мы повернули, поднялись на одну ступеньку и, войдя в узкую дверь, оказались в довольно большой комнате с дощатым полом, оборудованной под студию. Ацетиленовая горелка давала достаточно света, чтобы можно было работать.

Неоконченные картины на мольбертах или у стен производили такое же отталкивающее впечатление, что и оконченные, которые я осмотрел наверху, и были так же тщательно выписаны. Наброски были подготовлены с большим старанием, карандашные линии свидетельствовали о том, что Пикман заботился о правильной перспективе и пропорциях. Он был великий художник — говорю это даже сейчас, когда мне многое стало известно. Я обратил внимание на большую фотокамеру на столе, и Пикман объяснил, что фотографирует сцены, которые собирается использовать как фон, чтобы рисовать их в студии с фотографий, а не выезжать со всеми принадлежностями на этюды. Пикман считал, что фотографии с успехом заменяют натуру или живую модель, и, по его словам, постоянно их использовал.

Мне было очень тревожно в окружении тошнотворных эскизов, наполовину законченных монстров, злобно плявлившихся из всех углов, и, когда Пикман внезапно сдернул чехол с громадного полотна, которое стояло в тени, я — второй раз за вечер — не удержался от крика. По темным сводам старинного душного подземелья побегало многократное эхо, и я едва не откликнулся на него истерическим хохотом. Боже милостивый, Элиот, я не знал, где здесь правда, а где болезненное воображение. Казалось, никто из обитателей нашей планеты не мог бы измыслить ничего подобного.

Это было нечто колоссальных размеров и кошунственного облика, с горящими красными глазами; оно держало в костистых лапах другое нечто, прежде бывшее человеком, и глодало его голову, как ребенок грызет леденец. Наклонная поза чудовища наводила на мысль, что оно вот-вот уронит свою добычу, чтобы устремиться за более сочным куском. Но, черт возьми, неудержимый, панический страх нагоняло не само это исчадие ада с его собачьей мордой, острыми ушами, налитыми кровью глазами, уплощенным носом и слюнявой пастью. Самым страшным были не чешуйчатые лапы, тело с налипшими комьями земли, не задние ноги с подобием

копыт — хотя человеку впечатлительному хватило бы и всего перечисленного, чтобы повредиться в уме.

Дело было в живописи, Элиот, проклятой, нечестивой, противоестественной живописи! Богом клянусь, в жизни не видел такой живой картины, она буквально дышала. Чудовище сверкало глазами и вгрызалось в добычу, и я понимал: пока действуют законы природы, никто не способен создать подобную картину без модели; художник должен был хотя бы мельком заглянуть в нижний мир, куда имеет доступ лишь тот из смертных, кто продал душу дьяволу.

К свободному участку полотна был приколот кнопкой скрученный листок, и я предположил, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон, столь же кошмарный, что и передний план. Я потянулся к листку, чтобы расправить и рассмотреть, но тут Пикман вздрогнул, словно его подстрелили. С того мгновения, когда мой испуганный крик пробудил в темном подземелье непривычное эхо, Пикман не переставал напряженно прислушиваться, теперь же он явно испугался, хотя не так, как я: причина страха была реальная. Он вытащил револьвер, сделал мне знак молчать, шагнул в основное подвальное помещение и закрыл за собой дверь.

Похоже, меня на мгновение просто парализовало. Вслед за Пикманом я прислушался: откуда-то донесся, вроде бы, слабый топот, откуда-то еще — взвизги и жалобный вой. Подумав о гигантских крысах, я содрогнулся. Потом послышался приглушенный стук, от которого у меня по коже побежали мурашки. Он был какой-то неуверенный, вороватый — не спрашивай, что это значит, я не могу объяснить. Словно тяжелый деревянный предмет бился о камень или кирпич. Дерево о кирпич — понимаешь, что это мне напомнило?

Те же звуки, теперь громче. Перестук, словно деревяшка отлетела в сторону. Резкий скрежет, бессвязный выкрик Пикмана, шесть оглушительных выстрелов — так стреляет в воздух, ради пущего эффекта, цирковой укротитель. Приглушенный вой или визг, удар. Снова стук дерева о кирпич. Наступила тишина, и дверь открылась. Признаюсь, я дернулся

так, что едва устоял на ногах. Вошел Пикман с дымящимся револьвером, кляня на чем свет зажавшихся крыс, что шныряют в старинном колодце.

«Черт разберет, Тербер, где они находят корм, — ухмыльнулся он. — Эти древние туннели сообщаются с кладбищем, логовом ведьм и морским побережьем. Как бы то ни было, они оголодали: им до чертиков хотелось выбраться наружу. Наверно, их потревожил твой крик. В этих старинных домах все бы хорошо, если б не соседство грызунов, хотя временами мне думается, для атмосферы и колорита они не лишние».

Ну вот, Элиот, на том и завершилось наше ночное приключение. Пикман обещал показать мне дом и, видит небо, выполнил это обещание сполна. Обрато он повел меня через лабиринт переулков, вроде бы в другую сторону: первый фонарь я увидел на полузнакомой улице с однообразными рядами современных многоквартирных строений и старых домов. Это была Чартер-стрит, но откуда мы на нее вывернули, я не заметил, потому что голова у меня шла кругом. На поезд мы уже опоздали, пришлось идти пешком по Хановер-стрит. Этот путь мне запомнился. Мы шли по Тримонт, потом по Бикон; на углу Джой я простился с Пикманом и свернул за угол. После этого я и словом с ним не перемолвился.

Почему я с ним порвал? Не торопи события. Погоди, я позвоню, чтобы принесли кофе. Мы уже изрядно нагрузились другим напитком, но что касается меня, мне это было необходимо. Нет, дело не в картинах, которые я видел в студии, хотя из-за них Пикмана подвергли бы остракизму чуть ли не во всех домах и клубах Бостона; и, думаю, тебя больше не удивляет, что я избегаю метро и всяческих подвалов. Виною разрыва был один предмет, который я на следующее утро обнаружил у себя в кармане куртки. Ты ведь помнишь: к жуткому полотну в подполе был приклеен свернутый листок и я подумал, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон для своего чудовища. Когда произошел переполох, я как раз разворачивал бумажку и, наверное, машинально

затолкал ее себе в карман. Ага, вот и кофе. Лучше черный, Элиот, сливками только испортишь.

Да, именно из-за этой бумажки я порвал с Пикманом — Ричардом Аптоном Пикманом, величайшим художником из всех, кого я знаю, и самым отвратительным ублюдком из всех, кто когда-либо перешагивал границы бытия, чтобы погрузиться в пучину бреда и безумия. Старина Рейд был прав, Элиот. Пикман был не вполне человеком. Он либо рожден под сенью тайны, либо нашел ключик к запретным вратам. Но это теперь неважно, он исчез — возвратился в мифическую мглу, где так любил блуждать. Да, распоряжусь-ка я, чтобы зажгли свет.

Только не спрашивай меня о сожженной бумаге; я не собираюсь делиться ни объяснениями, ни даже догадками. Не спрашивай и о том, что там была за возня в подполе, которую Пикман так старался приписать крысам. Знаешь, со старых салемиких времен в мире уцелели некоторые тайны, а в рассказах Коттона Мэзера встречаются и не такие чудеса. Тебе ведь известно, каким поразительным правдоподобием отличались картины Пикмана и как мы все гадали, откуда он взял эти лица.

Так вот, насчет листка: выяснилось, что никакая это не фотография фона. Все, что там было, это чудовищная тварь, которую Пикман изображал на полотне. Это была его модель, а фоном служили стены подземной студии, видимые во всех подробностях. Но, боже мой, Элиот, *это была фотография с натуры.*

СКИТАЛЕЦ ТЬМЫ

Посвящается Роберту Блоху

Зрила тьму распростертой Вселенной,
Где вращался планет легион —
Безрассудно заброшенных всеми,
Черных, не получивших имен.

«Немезида»¹

Осмотрительные дознаватели едва ли рискнут пойти наперекор общему мнению, согласно которому причиной смерти Роберта Блейка стала молния или сильное нервное потрясение, вызванное электрическим разрядом. Верно, что окно, у которого он стоял, осталось целым, однако природа не раз демонстрировала нам свою способность к необычайным феноменам. Выражение же его лица могло быть обусловлено неким рефлекторным сокращением лицевых мышц, причина коего могла и не иметь ни малейшего отношения к им увиденному, а вот иные записи в его дневнике, бесспорно, явились плодом его фантастических вымыслов, рожденных под влиянием местных суеверий, а также обнаруженных им древностей. Что же касается паранормальных явлений в заброшенной церкви на Федерал-Хилл, то проницательный аналитик без труда отметит их связь с шарлатанством, сознательным или невольным, к коему Блейк имел тайное касательство.

Ведь, в конце концов, несчастный был писателем и живописцем, всецело погруженным в области мифов, сновидений, кошмаров и суеверий, и в своих штудиях выказал сильную склонность к необычным сценам и эффектам. Его прежний приезд в этот город — с визитом к странному старику, так же как и он сам, интересующемуся оккультной и запрет-

¹ Перевод: Троя & П. Сатарова.

ной мудростью, — сопровождался смертью в языках пламени, и, должно быть, он вновь прибыл сюда из родного Милуоки, подчинясь некоему мрачному инстинкту. Возможно, ему были известны какие-то предания, вопреки его утверждениям об обратном в дневниковых записях, а его гибель, вероятно, уничтожила в зародыше некую грандиозную мистификацию, приуроченную обрести литературное воплощение.

Среди тех, однако, кто изучал и сопоставлял данные обстоятельства, остаются немногие упрямы, отдающие предпочтение гипотезам менее рациональным и менее отвечающим здравому смыслу. Они склонны трактовать многие пассажи дневника Блейка в буквальном смысле и многозначительно указывают на некоторые факты, такие как несомненная подлинность старинных церковных книг, достоверное существование до 1877 года одиозной еретической секты адептов «Звездной Мудрости», как и задокументированное исчезновение в 1893 году чересчур дотошного репортера по имени Эдвин М. Лиллибридж и — самое главное — чудовищный, неописуемый ужас, запечатлевшийся на лице молодого журналиста в момент его смерти. Именно один из таких упрямов, будучи склонным к фанатическим крайностям, выбросил в воды залива тот самый камень причудливой огранки вместе со странно изукрашенным металлическим ларцом, обнаруженным внутри шпиля старой церкви, — именно там, в черном шпиле без окон, а вовсе не в башне, где, как указывалось в дневнике Блейка, изначально хранились эти предметы. Сей ученый муж — знаменитый врач, имевший склонность к мистическим преданиям, чьи поступки вызывали большей частью общественное порицание, — как прямо, так и косвенно уверял, будто избавил землю от чего-то чрезвычайно опасного, что не должно было долее на ней пребывать.

Из двух этих мнений читатель должен сам выбрать для себя то, которое ему больше по душе. В газетах факты были освещены с позиций скептиков, однако противоположный лагерь может сослаться на сохранившийся рисунок того, что

увидел Роберт Блейк, — или того, что ему показалось, будто он увидел, — или что он себе вообразил. Теперь же, изучив его дневник более внимательно, бесстрастно и без спешки, можно восстановить всю цепь мрачных событий с точки зрения их основного участника.

Молодой Блейк вернулся в Провиденс зимой с 1934-го на 1935 год и обосновался на верхнем этаже старинного особняка, стоящего посреди зеленой лужайки неподалеку от Колледж-стрит — на гребне большого холма в восточной части города близ Браунского университета, как раз позади мраморного здания библиотеки Джона Хейя. Это было чудесное уютное жилище в самом сердце небольшого садового оазиса, изобилующего приметам сельской старины, где в солнечный день дружелюбные исполинские коты лениво грелись на крыше амбара. Он поселился в квадратном доме георгианского стиля, с прозрачной крышей, с классической дверью, обрамленной изумительными резными косяками, с окнами, сложенными из множества стеклянных квадратиков, и иными приметам зодчества начала девятнадцатого века. Внутри были большие комнаты, разделявшиеся дверьми о шести панелях, настланный широкими досками пол, изогнутая лестница колониальной поры и белые каминные в стиле Адама; к тому же имелось еще несколько задних комнат, расположенных на три ступеньки ниже основного уровня.

Кабинет Блейка, просторная юго-западная комната, выходил южной частью на сад перед домом, а западными окнами — перед одним из них стоял его письменный стол — на кромку холма, и за ним открывалась изумительная перспектива на городские крыши внизу и на таинственные закаты, полыхавшие вдали. За крышами виднелись алые склоны холмов, и на их фоне, примерно в двух милях, высилась прозрачная громада Федерал-Хилл, с поблескивающими гроздьями крыш и церковными шпилями, зыбкие очертания которых таинственно колыхались в окутывавших их клубах дыма, воспаряющих ввысь из печных труб и принимающих

порой самые причудливые формы. У Блейка рождалось странное ощущение, что он наблюдает нечто неведомое, некий эфемерный мир, который может растаять, точно сон, если только он предпримет попытку найти его и вступить в его пределы.

Выписав из дому большинство своих книг, Блейк купил кое-какую старинную мебель, подходящую для его нового обиталища, и стал писать и рисовать, живя в полном уединении и самолично занимаясь нехитрыми домашними делами. Его спальня находилась в чердачном помещении северного крыла, где стеклянные панели прозрачной крыши давали чудесное освещение. В ту первую зиму на новом месте он создал пять из своих наиболее знаменитых повестей — «Пещерный житель», «Ступени склепа», «Шаггай», «В долине Пнат» и «Звездный сибарит» — и написал семь холстов: портреты неведомых монстров неземной наружности и в высшей степени странные пейзажи.

В закатный час он часто сживал за своим столом и сонно смотрел на западный горизонт — на темные башни Мемориал-Холла, на колокольную георгианского здания городского суда, на высокие остроконечные башни в центральной части города и, разумеется, на те зыбкие глыбы увенчанных шпилями зданий вдалеке, чьи неизвестные улицы и лабиринты фронтонов столь властно будоражили его воображение. От соседей он узнал, что дальний склон был когда-то обширным индейским поселением и многие тамошние строения сохранились еще со времен первых английских и ирландских поселенцев. Время от времени он наводил свою подзорную трубу на этот призрачный недостижимый мир за клубящейся завесой дыма, рассматривая отдельные крыши, печные трубы и шпили и размышляя о странных и любопытных тайнах, ими хранимых. Даже в окуляре оптического прибора Федерал-Хилл являлся Блейку чем-то неведомым, почти сказочным, имеющим тайную связь с потусторонними неосознаваемыми чудесами, коими буйная фантазия населила его

литературные и живописные творения. И это ощущение не покидало Блейка даже после того, как город на холме растворялся в фиолетовых сумерках, а огни уличных фонарей, подсветка здания суда и красный прожектор Индустриального треста озаряли ночное небо причудливым заревом.

Из всех далеких зданий Федерал-Хилл воображение Блейка в особенности поражала одна большая темная церковь. Она была видна особенно четко в определенные часы суток, и на закате ее высокая башня и конический шпиль проступали черным силуэтом на пылающем небе. Казалось, она стоит на некоем возвышении, ибо фасад и едва видимое северное крыло с покатой крышей и верхними рамами огромных сводчатых окон величественно вздымались над крышами соседних зданий и частоколом печных труб. В ее облике угадывалось нечто особенно мрачное и грозное, и она, казалось, была сложена из каменных глыб, за последние несколько веков исхлестанных суровыми ветрами и потемневших от копоти и сажи. По стилю же, насколько позволяла разглядеть подзорная труба, это был образчик ранней экспериментальной неоготики, что предшествовала периоду величественных творений Апджона и позаимствовала некоторые линии и пропорции у Георгианской эпохи. Вероятно, постройка была возведена между 1810 и 1815 годами.

Шли месяцы, и Блейк всматривался в далекое строение со все возрастающим интересом. Так как огромные окна никогда не были освещены, он сделал вывод, что здание заброшено. И чем более он туда вглядывался, тем живее разыгрывалось его воображение, пока он наконец не начал измышлять самые диковинные вещи. Ему чудилось, будто над этим зданием витает аура унылого запустения, так что даже голуби и ласточки избегали укрываться под его закопченными карнизами. Направив подзорную трубу на соседние башни и колокольни, Блейк замечал стаи гомонящих птиц, но это здание они старались облетать стороной. Во всяком случае, так ему казалось, и это наблюдение он занес в свой дневник.

Он порасспросил кое-кого из знакомых об этом строении, но никто из них не бывал на Федерал-Хилл и не имел ни малейшего понятия, что там за церковь.

Весной Блейком овладело глубокое смятение. Он начал давно задуманный роман — о возрождении в штате Мэн ведьмовского культа, — но странным образом его сочинение никак не двигалось вперед. Долгими часами он просиживал за своим столом перед западным окном, вглядываясь в далекий холм и в черную угрюмую колокольню, покинутую птицами. Когда же на садовых деревьях появились первые хрупкие листочки и весь мир наполнился новорожденной красотой, беспокойство Блейка лишь усилилось. Именно тогда-то ему в голову и пришла мысль пройти через город и, поднявшись на тот холм, вступить в задымленный мир своих грез.

В конце апреля, как раз в канун мистической Вальпургиевой ночи, Блейк совершил первое путешествие в неведомое. Он долго брел по бесконечным городским улочкам, миновал унылые, заброшенные площади и наконец добрался до карабкающейся вверх по склону улочки, выложенной древними ступенями, вдоль которых толпились дома с покосившимися дорическими портиками и закопченными окнами в куполообразных крышах, — эта улица, как ему мнилось, должна была привести в давно его соблазнявший неведомый, недоступный и укрытый туманной пеленой мир. Он видел выцветшие бело-голубые уличные таблички с надписями, не сообщавшими ему ровным счетом ничего, и вскоре заметил в толпе странные темные лица куда-то спешащих людей и иностранные вывески над витринами магазинов, разместившихся в бурых, покосившихся от времени домишках. Но Блейк не смог найти ничего из того, что виделось ему издалека, и в который уж раз он вообразил, что увиденный им из окон его дома Федерал-Хилл всего лишь бесплотный мир грез, куда никогда не ступит нога смертного.

На пути ему то и дело попадались облупившиеся фасады церквей или полуразрушенные колокольни, но черного гро-

мадного строения, которое он искал, нигде не было видно. Когда же он задал вопрос об огромном каменном храме некоему торговцу, тот только улыбнулся и как бы непонимающе покачал головой, хотя по-английски он говорил весьма сносно. Чем выше Блейк взбирался по склону, тем более причудливый вид обретали городские кварталы, а пугающий лабиринт угрюмых улочек, что вились в южном направлении, казался бесконечным. Он пересек два или три широких проспекта, и раз ему даже почудилось, что впереди мелькнула знакомая башня. Блейк спросил у другого уличного торговца о каменном храме и на этот раз мог бы поклясться, что недоумение его собеседника было фальшивым. Смуглое лицо торговца омрачила тень страха, который тот попытался скрыть, и Блейк заметил, как он сотворил какой-то непонятный знак правой рукой.

И вдруг слева на фоне неба, высоко над бурными черепичными крышами, столпившимися вдоль бегущих к югу улочек, Блейк увидел черную громаду храма. Он тотчас же понял, что это, и по немощным проулкам, ответвлявшимся от улицы, поспешил к храму. Дважды он сворачивал не в ту сторону, но чутье подсказало ему не спрашивать дорогу ни у старцев, ни у домохозяек, сидящих на крылечках у своих домов, ни у ребятни, копошащейся в дорожной грязи.

Наконец на юго-востоке он увидел черную колокольню: в конце улицы темнела исполинская каменная громада, и вскоре он уже стоял на продуваемой ветрами большой площади, мощенной брусчаткой и окаймленной вдали высокой насыпью. Его поиски завершились, ибо на широком, огороженном железными перилами и поросшем сорной травой плато, которым заканчивалась насыпь, — точно это был отдельный мирок, вознесенный на шесть футов над соседними улочками, — высился угрюмый исполин, чей облик, невзирая на иную перспективу, Блейк безошибочно узнал.

Заброшенная церковь находилась в последней стадии разрушения. Высокие каменные подпорки фасада давно обвали-

лись, и изящные флероны валялись в траве и кустах. Закопченные готические окна в основном уцелели, хотя каменные средники большей частью отсутствовали. Блейк подивился, как это витражи могли так хорошо сохраниться, учитывая известные повадки мальчишек всех поколений. Массивные двери были целы и плотно затворены. По верхнему краю насыпи, опоясывающей прилегающую к храму территорию, тянулась ржавая железная ограда, и калитка — у верхней ступеньки лестницы, поднимающейся от площади, — была заперта на висячий замок. Тропинка же от этих ворот к зданию совсем заросла травой. Все здесь было объято запустением и тленом, и, глядя на не оглашаемые птичьим гомоном карнизы и на увитые плющом стены, Блейк почувал едва ощутимый холодок некоего непонятного и зловещего предчувствия.

На площади были какие-то люди. Блейк заприметил в северном углу полицейского и подошел к нему с намерением порасспросить о храме. Странно было видеть, как здоровенный ирландец в ответ только перекрестился и нехотя пробурчал, что люди предпочитают не интересоваться этим зданием. Когда же Блейк проявил настойчивость, полицейский уклончиво заметил, что священники-итальянцы настрого запретили местным жителям упоминать об этом храме, ибо некогда здесь обреталось исчадие зла и оставило там свои метки. Он, мол, и сам слыхал о каком-то шепоте, доносящемся изнутри, — об этом ему когда-то поведал отец, вспоминая известные еще с детства слухи.

В стародавние времена в церкви хозяйничала какая-то дурная секта — запрещенное общество, члены которого вызывали ужасных духов из неведомых бездн ночи. Изгнать этих духов сумел один добрый священник, хотя были и те, кто утверждал, будто полностью изгнать зло из храма мог лишь дневной свет. Ежели бы пастор О'Малли был жив, он мог бы многое вспомнить. Но теперь-то благоразумнее обходить этот храм стороной. Нынче от него никому нет никако-

го вреда, так как прежние его владельцы давно умерли или уехали из этих мест. В 1877 году они сбежали, точно крысы с тонущего корабля, опасаясь возмущения горожан, сильно обеспокоенных таинственными исчезновениями местных жителей. Настанет день, когда представители городских властей войдут в здание и конфискуют все имущество по причине отсутствия наследников, но ежели кто сделает это по собственному почину, то ничего хорошего не получится. Так что уж пускай себе стоит эта церковь да разрушается, и не надо тревожить то, чему должно вечно лежать не потревоженным в черной пучине.

Полицейский ушел, а Блейк долго еще стоял и глядел на мрачную громаду колокольни. Известие, что это здание и другим представлялось столь же зловещим, как и ему, привело его в необыкновенное возбуждение, и он гадал, какая толика истины скрывается в преданиях, поведанных ему «синим мундиром». Возможно, это всего лишь легенды, навеянные сумрачным обликом здания, но даже и в этом случае они представлялись странным воплощением его собственных вымыслов.

Дневное солнце выглянуло из-за рваных облаков, но оказалось неспособным осветить своими лучами закопченные стены старинного храма, вознесенного над высоким плато. И странно, что весенняя зелень не тронула бурую, иссохшую поросль в церковном дворе за железной оградой. Блейк словно против воли приблизился к возвышенности и стал изучать скаты насыпи и заржавленную ограду, надеясь обнаружить какой-нибудь проход внутрь. Черное святилище как будто источало ужасную притягательную силу, которой невозможно было противостоять. Вблизи лестницы в ограде не было ни щели, однако же с северной стороны нескольких прутьев недоставало. Он мог бы подняться по ступенькам вверх и по узкой кромке вдоль ограды добраться до этого проема. Коли местные жители так страшатся этого храма, то ему наверняка удастся пройти туда беспрепятственно.

Блейк уже взобрался на насыпь и уже почти был готов пролезть через прореху в ограде, как вдруг его заметили. Глянув вниз, он увидел, как стоявшие на площади бросились прочь, делая правой рукой тот же тайный знак, что и заговоривший с ним давеча торговец. Окна в соседних домах захлопнулись, и какая-то полная женщина метнулась на улицу и увела своих чумазых ребятишек в некрашенный покосившийся домишко. Дыра в ограде оказалась довольно широкой, и протиснуться в нее было просто, так что очень скоро Блейк брел по густой высокой траве. Попадавшиеся ему на пути выщербленные надгробия свидетельствовали, что некогда тут находилось кладбище, впрочем, как стало ясно с первого взгляда, это было очень-очень давно. Вблизи исполинский храм нависал над ним массивной громадой, и он даже немного испугался, но взял себя в руки и, подойдя вплотную, решил подергать одну за другой все три массивные двери на фасаде. Двери были заперты, так что он двинулся вокруг циклопического здания, надеясь найти хотя бы небольшой лаз. Но даже и тогда он еще не был уверен, что хочет проникнуть в мрачную цитадель запустения и мрака. В то же время это в высшей степени странное сооружение влекло его к себе с неодолимой силой.

Зияющее и ничем не прикрытое подвальное окошко на задах могло послужить искомым лазом. Заглянув в него, Блейк увидел затянутый паутиной и пылью подвал, тускло освещенный с западной стороны лучами предзакатного солнца. В глаза ему бросилась какая-то рухлядь, старые бочки, полусгнившие короба и бессчетные стулья, шкафы, столы, причем все было покрыто толстой пеленой пыли, смягчающей резкие контуры предметов. Проржавевшие останки печи показывали, что здание когда-то было жилым и содержалось в порядке по крайней мере до середины Викторианской эпохи.

Действуя почти бессознательно, Блейк пролез в окошко и опустил ноги на бетонный пол, покрытый ковром пыли и усеянный обломками древней рухляди. Сводчатый подвал

оказался довольно просторным помещением без внутренних перегородок, а в дальнем углу справа, среди темных теней, он разглядел узкий черный арочный проход, по-видимому к лестнице наверх. Попад в это призрачное здание, Блейк ощутил в душе щемящую тревогу, но, совладав со своим страхом, стал осторожно осматриваться. В пыльной куче хлама он нашел еще прочную бочку и подкатил ее к окну, дабы подготовить себе путь к отступлению. Затем он собрался с духом и, разрывая плотную завесу паутины, пересек подвальное помещение к арке. Едва не задохнувшись от пыли и ощущая на лице липкие обрывки паутины, он добрался до лестницы и начал подниматься по выщербленным каменным ступеням, тонущим во тьме. Фонаря у него не было, и он шел наобум. После резкого поворота ступенек Блейк нащупал запертую дверь и, пошарив пальцами, наткнулся на древнюю щеколду. Дверь отворялась внутрь, и за ней он увидел тускло освещенный коридор. Коридор был обшит деревянными панелями, изъеденными прожорливыми древесными жучками.

Поднявшись на первый этаж, Блейк спешно стал его обследовать. Все внутренние двери оказались не заперты, и он свободно переходил из зала в зал. Колоссальный неф производил жуткое впечатление из-за многолетней пыли, плотным слоем покрывшей ложи прихожан, алтарь, резной амвон и орган, и из-за исполинских сетей паутины, протянувшихся между арок галереи и опоясывавших готические колонны. И на всем этом безмолвном запустении играли пугающе-таинственные лучи заходящего солнца, что пробивались сквозь потемневшие витражи огромных апсидных окон.

Витражи были настолько закопчены, что Блейк с трудом распознал некоторые изображения, но даже то небольшое, что удалось разглядеть, очень ему не понравилось. Рисунки были в общем довольно традиционными, и, разбираясь в тайном смысле магического символизма, он узнал многое, что относилось к древнейшим сюжетам. Выражение лиц некоторых святых на витражах было откровенно греховным, а одно

окно, похоже, изображало просто темную бездну, прорезанную спиралями неясного света. Отворотившись от окон, Блейк заметил, что покрытый паутиной крест над алтарем был не вполне обычного вида и напоминал древний анк, или *cruх ansata* древних египтян.

В ризнице, рядом с апсидой, Блейк обнаружил полу-сгнивший письменный стол и высокие, под потолок, стеллажи со старинными фолиантами, все траченные жучками, а многие и с распавшимися листами. Здесь впервые он испытал самый настоящий шок от объявшего его ужаса, ибо названия сих книг сразу сообщили ему о многом. То были запретные «черные» сочинения, о которых большинство здравомыслящих людей никогда не слыхало либо же слыхало лишь обрывочные упоминания вполголоса; то были устрашающие своды древнейших секретов и формул, которые поток времени донес до нас из поры ранней юности человечества и из тех дремучих былинных дней, когда и человека еще не было на земле. Блейк и сам читал многие из них — латинскую версию кошмарного «Некрономикона», и зловещую «*Liber Ivonis*», и одиозные «*Cultes des goules*» графа д'Эрлетта, и «*Unaussprechlichen Kulten*» фон Юнцта, и дьявольские «*De Vermis Mysteriis*» старика Людвига Принна. Но были тут и прочие книги, о которых он знал лишь понаслышке или вовсе не знал, — Пнакотикские рукописи, «Книга Дзяна», а также полуистлевший том, чьи страницы были заполнены совершенно непонятными иероглифами, хотя иные из символов и диаграмм, к ужасу своему, мог бы узнать любой изучающий оккультные науки. Теперь Блейку было вполне ясно, что передававшиеся из уст в уста местные предания не лгали. Это страшное место некогда было пристанищем зла, что древнее рода человеческого и необъятнее познанного мира.

В дряхлом столе Блейк обнаружил небольшую записную книжицу в кожаном переплете, испещренную странными криптографическими записями. Рукописный текст представлял собой вереницу традиционных символов, используемых

ныне в астрономии, а в древности употреблявшихся в алхимии, астрологии и прочих оккультных науках, — то были знаки солнца, луны, планет, аспектов и зодиакальных созвездий; здесь же иероглифы плотно занимали каждую страничку, и весь этот загадочный текст был разделен на параграфы, из чего следовало, что каждый символ соотносится с некоей буквой алфавита.

В надежде разгадать криптограмму позднее, Блейк положил книжицу в карман пиджака. Многие книги на полках невероятно возбудили его любопытство, и он испытал сильное искушение как-нибудь потом позаимствовать себе иные из них. Его удивило, как это они смогли простоять тут нетронутыми в течение столь длительного времени. Неужто он первый, кому довелось приоткрыть завесу гнетущего всеохватного страха, которая на протяжении почти шестидесяти лет охраняла это место от непрошенных посетителей?

Тщательно обследовав нижний этаж, Блейк проторил тропу в пыльной толще призрачного нефа в зал, где он ранее заметил дверь и лестницу, по-видимому ведущую в черную башню и на колокольню, которые уже давно были ему знакомы. Восхождение по лестнице далось ему с превеликим трудом, он задыхался, ибо повсюду плотным слоем лежала пыль, а пауки потрудились на славу, плотно задрапировав узкий проход. Высокие деревянные ступени вились спиралью, и Блейк раз за разом проходил мимо закопченного оконца, в котором смутно маячил лежащий внизу город. Хотя он и не приметил, находясь внизу, никаких веревок, он все же ожидал увидеть в башне, на узкие бойницы которой так часто направлял свою подозрную трубу, колокол или куранты. Но его ждало разочарование, ибо, добравшись до верхней ступени лестницы, он оказался в башенном зале без всяких признаков часов — он был явно предназначен для каких-то иных целей.

Помещение площадью около пятнадцати квадратных футов было тускло освещено светом из четырех бойниц — по одной на каждой стене, — с плотными, покрытыми изнутри

глазурью деревянными ставнями, которые в свою очередь были защищены темными ширмами, теперь уже порядком истлевшими. Посреди покрытого пылью пола возвышался странного вида трапецевидный каменный постамент четырех футов в высоту и двух в диаметре, причем каждая его сторона была покрыта причудливыми, грубо высеченными и невразумительными иероглифами. На постаменте покоился металлический ларец нарочито асимметричной формы. Его крышка на петлях была откинута, и внутри ларца находилось нечто, что под слоем многолетней пыли казалось то ли яйцообразным, то ли неправильно сферическим предметом четырех дюймов в обхвате. Вокруг постамента неровным кругом выстроились семь готических кресел с высокими прямыми спинками, еще почти не тронутыми временем, а позади них вдоль обшитых темными досками стен высились семь колоссальных изваяний из потрескавшегося и выкрашенного в черный цвет гипса, напоминавших загадочных каменных истуканов с таинственного острова Пасхи.

В дальнем углу вымощенного камнем зала в стену была вделана лесенка, ведущая к закрытому люку в безоконный шпиль наверху.

Когда глаза Блейка привыкли к тусклому освещению, он заметил причудливые барельефы на стенках диковинного ларца из желтоватого металла. Подойдя поближе, он стал расчищать пыль руками и носовым платком и только потом разглядел, что на стенках ларца выбиты какие-то неведомые чудища. Изображенные на ларце уродцы, хотя явно имели сходство с живыми тварями, не походили ни на одно из известных земных существ. Четырехдюймовый же сфероид внутри ларца оказался черным с красными прожилками полиэдром со множеством неровных граней — это был то ли необычный кристалл, то ли рукотворная поделка, вырезанная из тщательно отполированного минерала. Камень не касался дна, а был подвешен с помощью металлических лент и семи странного вида подпорок, горизонтально вделанных в углы ларца ближе к крышке. Этот камень, когда Блейк уви-

дел его вблизи, вызвал у него тревожное возбуждение. Он не мог оторвать от него глаз и, глядя на его сверкающие грани, почти воочию представлял его себе прозрачным вместилищем бездонного мира чудес. В его сознании вдруг возникли ландшафты неведомых планет с гигантскими каменными башнями, и иных планет с исполинскими горами без всяких признаков жизни, и еще более далекие просторы Вселенной, где лишь едва уловимое волнение в бездонной сумрачной тьме говорило о наличии там разума и воли.

Отведя взгляд, Блейк тотчас заметил холмик праха в дальнем углу, прямо под ведущей к шпилью лесенкой. Он не мог понять, отчего эта кучка праха привлекла его внимание, но от нее точно исходил некий тайный сигнал, направленный прямо в его подсознание. Он двинулся вперед, раздвигая свисающие клочья паутины, и по мере приближения к холмику праха ему все отчетливее открывался мрачный смысл его находки. Смахнув верхний слой пыли рукой и платком, Блейк наконец узрел тайну и задохнулся от прилива смешанных чувств. Это был человеческий скелет, который, по-видимому, пролежал тут довольно долго. Одежда на нем истлела, но по пуговицам и остаткам ткани можно было судить, что некогда это был серый костюм. Имелись и еще кое-какие предметы — башмаки, металлические застёжки, крупные запонки, булавка для галстука, журналистский значок с выбитым на нем названием старой «Провиденс телеграм» и полуистлевшая кожаная записная книжка. Блейк раскрыл книжку и, внимательно осмотрев, обнаружил несколько банкнот старого выпуска, целлулоидовый рекламный календарь на 1893 год и несколько визитных карточек на имя Эдвина М. Лиллибриджа, а также листок бумаги с карандашными пометами.

Листок был покрыт записями, немало озадачившими Блейка, и он внимательно прочитал их при тусклом свете, пробирающемся из западной бойницы. Бессвязный текст содержал нижеследующие фразы:

«Проф. Енох Боуэн вернулся домой из Египта в мае 1844 — купил старую церковь Свободной Воли в июле — его археологические труды и изыскания по оккультизму хорошо известны.

Д-р Драун из 4-й Баптистской в проповеди 29 дек. 1844 предостерегает о „Звездной Мудрости“.

Община числом 97 к концу 45.

1846 — трое исчезли — первое упоминание о Сияющем Трапецоэдре.

Семеро исчезли в 1848 — пошли разговоры о кровавых жертвоприношениях.

Расследование 1853 ни к чему не пришло — разговоры о каких-то звуках.

Отец О'Малли рассказал о поклонении дьяволу посредством ларца, обнаруженного в египетских развалинах, — утверждает, что можно вызвать нечто, что не может существовать при дневном свете. От слабого света ускользает, на ярком свету изгоняется. Потом приходится вызывать вновь. Вероятно, узнал об этом из предсмертной исповеди Френсиса Финна, вступившего в „Звездную Мудрость“ в 49-м. Эти люди говорили, что Сияющий Трапецоэдр являл им небо и иные миры и что Скиталец Тьмы раскрывает им какие-то тайны.

История Оррина Б. Эдди, 1857. Они вызывают это, глядя в кристалл, и общаются на тайном языке.

200 или более в общине 1863, за исключением мужчин на фронте.

Толпа ирландцев учинила погром в храме в 1869 после исчезновения Патрика Рейгана.

Завуалированная статья в Дж. 14 марта 72, но о ней никто не говорит.

Шестеро исчезли в 1876 — тайный комитет обратился к мэру Дойлу.

Февраль 1877 — обещает принять меры — храм закрыт в апреле.

В мае местная банда — „Ребята с Федерал-Хилл“ — угрожает д-ру и ризничим.

181 чел. покинули город до конца 77-го — имен не называют.

Ок. 1880 пошли рассказы о привидениях — проверить, правда ли, что с 1877 ни один человек не входил в храм.

Попросить у Ланигана фотографии храма, сделанные в 1851...»

Вложив лист в записную книжку и отправив ее в карман пиджака, Блейк затем обратил свой взор на истлевший скелет. Смысл заметок был ему вполне ясен, и он уже не сомневался, что этот несчастный сорок два года назад пришел в заброшенное здание в поисках газетной сенсации, на что никто, кроме него, не отважился бы. Возможно, никто и не знал о его намерениях. Но он не вернулся в редакцию. Может быть, им все же овладел до поры до времени подавляемый страх и, испытав сильнейший шок, он умер от внезапного разрыва сердца? Блейк нагнулся над белыми костями и заметил, что они в довольно странном состоянии. Иные из них были сильно раздроблены, иные на концах были как *будто расплавлены*. Многие оказались причудливого желтоватого оттенка, с неотчетливыми признаками обожженности. Обожжены были также и клочья одежды. Особенно поразил его череп, покрытый желтоватыми пятнами, с обугленным отверстием на темени, точно какая-то сильнодействующая кислота мгновенно прожгла кость. Что же происходило здесь со скелетом за истекшие четыре десятилетия, Блейк не мог даже вообразить.

Поддавшись безотчетному инстинкту, он вновь перевел взгляд на камень, и под его непостижимым влиянием у него в мозгу явилось туманное видение. Он увидел фигуры в клобуках, которые своим видом не походили на людей, и бескрайнюю пустыню, испещренную высокими, до небес, резными каменными монолитами. Он увидел башни и стены в мрачных безднах под морским дном и круговерти пространств,

где ключья черного тумана клубились на фоне холодного алого зарева. А позади всего этого он узрел бездонную пучину тьмы, где твердые и текучие формы можно было различить лишь по их воздушному кружению, и неосязаемые могучие силы, казалось, упорядочивали этот безграничный хаос и давали ключ ко всем парадоксам и тайнам ведомого нам мира.

Неожиданно на Блейка нахлынул щемящий неясный панический ужас, и чары рассеялись. У Блейка перехватило дыхание, и он отвернулся от камня, ощутив присутствие некоего бесплотного пришельца, который глядел на него невыносимо пристальным взглядом. Блейк ощутил себя во власти некоего существа, не таящегося в камне, но как бы сквозь этот камень вперившего в него свой взор, — некоего существа, обещавшего бесконечно преследовать его и следить за ним, не принимая физического облика. Положительно это мрачное место начало дурно влиять на его нервы, чего и следовало ожидать после такой зловещей находки. А тут еще и дневной свет стал меркнуть, и, поскольку у Блейка с собой не было никакого светильника, ему разумнее всего было поскорее покинуть храм.

И вот тогда-то в сгущающихся сумерках Блейку показалось, что он заметил слабый отблеск сияния, исходящего из причудливо ограненного камня. Он попытался отвести глаза, но некая могучая сила точно приковала его взгляд. Может быть, это слабое радиоактивное фосфоресцирование? И как там говорилось в заметках мертвеца о Сияющем Трапецеэдре? Что же это, в конце концов, за покинутый приют вселенского зла? Что творилось здесь в стародавние времена и что до сих пор таится в его безмолвных мрачных углах? И теперь ему показалось, что он ощущает почти неуловимое зловонное дуновение, хотя источник дурного запаха был ему неизвестен. Блейк ухватился за крышку ларца и резко захлопнул ее. Крышка легко поддалась и плотно захлопнулась над теперь уже всюю сиявшим камнем.

От громкого металлического лязга сверху точно что-то дрогнуло, и из-за закрытого люка, из вечного мрака шпиля, донесся тихий шорох. То были, несомненно, крысы, единственные живые твари, обнаружившие свое присутствие в этом проклятом месте с той самой минуты, как Блейк переступил порог колокольни. И тем не менее этот шорох ужаснул его не сказано, так что он, не помня себя, бросился вниз по винтовой лестнице, быстро пересек жуткий неф, нырнул в сводчатый подвал, выбежал на объятую сумерками безлюдную площадь и помчался по пугающим переулочкам и проспектам Федерал-Хилл к мирным оживленным улицам и к родным кирпичным тротуарам академического квартала.

В последующие дни Блейк никому ни словом не обмолвился о своей экспедиции. Он читал книги, изучал в городской библиотеке подшивки газет за многие годы и лихорадочно разгадывал криптограмму из кожаной записной книжицы, которую он обнаружил в церкви на покрытом паутиной столе. Шифр, как сразу понял Блейк, был не из простых, и после долгих попыток его разгадать он убедился, что зашифрованные записи сделаны не на английском языке, а также не на латинском, греческом, французском, испанском, итальянском или немецком. Вполне очевидно, что ему необходимо было использовать всю свою незаурядную эрудицию.

Каждый вечер его посещало прежнее желание взглянуть в западное окно, и он видел древний черный шпиль над поблескивающими крышами далекого и почти призрачного мира. Но теперь это видение внушало ему неведомый ранее ужас. Он ведь знал теперь, какое наследие дьявольской мудрости там скрывалось, и от осознания этого его воображение рождало образы самого необычного и гротескного свойства. Возвращались перелетные птицы, и, наблюдая за их полетом на закате, он отчетливее, чем когда-либо раньше, представлял, как они стараются облетать стороной одинокую колокольню. Стоило птичьей стайке подлететь к колокольне поближе, казалось Блейку, как они в панике упархивали

врассыпную, и ему мнился их перепуганный щебет, который не долетал до него за многие мили, отделявшие его от того места.

В июне в дневнике Блейка появилась запись об одержанной им победе над криптограммой. Этот текст, как он обнаружил, был составлен на темном языке акло, использовавшемся древними идолопоклонниками сатанинских культов и в самых общих чертах известном ему по прошлым его изысканиям! Дневник странным образом умалчивает о содержании расшифрованного Блейком текста, но он явно был глубоко взволнован и одновременно обескуражен результатами своих трудов. Там есть упоминания о некоем Скитальце Тьмы, явившемся ему при созерцании Сияющего Трапецоэдра, и безумные домыслы о мрачных безднах хаоса, из которых тот прибыл. Это существо, по его словам, обладало всеми знаниями мира и алкало чудовищных жертв. Некоторые записи Блейка свидетельствуют о его опасениях, как бы тварь, которую, как ему представлялось, он призвал, не вырвалась на волю, хотя при этом он отмечает, что свет уличных фонарей создает для нее непреодолимую преграду.

О самом же Сияющем Трапецоэдре он упоминает довольно часто, не раз называя его «окном времени и пространства», и прослеживает его историю с той стародавней поры, когда его подвергли огранке на темном Югготе, прежде чем Старцы принесли его на землю. Звездоголовые обитатели Антарктики поклонялись ему и схоронили в диковинном ларце, обнаруженном затем змеелюдьями Валузии в руинах их поселений, а потом в Лемурии первые представители земного рода человеческого прозревали в нем тайны вечности. Его переносили через неведомые моря и неведомые земли, он утонул в океанской пучине вместе с Атлантидой, а потом миноносский рыбак поймал его в свою сеть и продал смуглоликим купцам из сумрачного Хема. Фараон Нефрен-Ка выстроил для него храм с саркофагом без окон, и за сие деяние его имя было сбито со всех памятных скрижалей и стерто из всех летописей. Потом камень пролежал под руинами того свято-

татственного святилища, которое жрецы и новый фараон сровняли с землей, до той самой поры, когда праздная лопата извлекла его вновь на погибель человечеству.

Газетные статьи начала июля некоторым образом дополнили записи Блейка, однако столь кратко и невнятно, что лишь обнародованный дневник покойного привлек внимание публики к этим публикациям. Похоже, что после того, как непрощенный гость вторгся в проклятый храм, Федерал-Хилл вновь оказался во власти страха. Итальянцы шептались о необычном шорохе, стуке и скрежете в темном безоконном шпиле и призывали своих священников изгнать призраков, посещавших их в дурных снах. По их уверениям, что-то постоянно показывалось из дверей храма, дабы удостоверить, достаточно ли стемнело на улице и можно ли выбраться наружу. В газетных заметках упоминались живучие местные суеверия, однако никто не объяснял первопричину их происхождения. Было совершенно ясно, что молодые репортеры не давали себе труда заглянуть в глубь прошлого. Ссылаясь на эти публикации в своем дневнике, Блейк почему-то пишет о гнетущем его чувстве раскаяния и рассуждает о необходимости погребения Сияющего Трапецоэдра и изгнания вызванного им исчадия зла силой дневного света, проникшего в ужасный законопаченный шпиль. В то же время, однако, он выказывает чересчур неумеренное возбуждение и даже признается в противоестественном желании — не отпускаявшем его даже во сне — вновь посетить проклятую башню и заглянуть в космические тайны сияющего камня.

А затем крошечная публикация в «Джорнал» утром семнадцатого июля повергла автора дневника в шок. То был очередной перепев почти что комичной темы об охватившей Федерал-Хилл тревоге, однако Блейк воспринял его как нечто воистину чудовищное. Во время ночной грозы во всем городе на целый час погасло уличное освещение, и в эту краткую пору кромешного мрака тамошние итальянцы от ужаса едва не лишились рассудка. Живущие вблизи проклятого храма

божились, что обретающееся в шпиле чудовище воспользовалось временным отключением электричества и спустилось в нижний зал церкви, издавая чудовищный стук и грохот. Напоследок оно с грохотом поднялось в башню, где раздался звон бьющегося стекла. Во мраке оно могло перемещаться куда угодно, и только свет неизменно понуждал его к отступлению.

Когда по проводам вновь побежал электрический ток и вновь ярко вспыхнули уличные фонари, в башне что-то заметалось и ужасно загрохотало, ибо даже слабый отблеск света, просочившегося сквозь закопченные бойницы, оказался невыносимым для этой твари. Чудовище шумно проскользнуло в свое сумеречное убежище в шпиле как раз вовремя — ибо яркий сноп света мгновенно зашвырнул бы его обратно в бездну тьмы, откуда оно и явилось, вызванное безумцем. Пошел дождь. В сгустившейся тьме толпы молящихся собрались вокруг храма с зажженными свечами и фонарями, кое-как прикрыв их сложенными газетами и зонтиками — точно выставив световой дозор для спасения города от скитающегося во мраке кошмара. Один раз, как утверждали люди, стоявшие ближе всего к храму, где-то внутри здания с чудовищным грохотом хлопнула дверь.

Но даже это было не самое страшное. Вечером того же дня в «Баллетине» Блейк прочитал о находке репортеров. Наконец-то не устояв перед искушением добыть сенсационный материал о нависшей над городом угрозе, двое смельчаков, презрев предостережения взволнованных итальянцев, после тщетных попыток отворить двери храма пробрались внутрь через подвальное окошко. Там они и увидели, что плотный слой пыли на полу в переднем зале и призрачном нефе весь изборозжен странными следами, а полуистлевшие подушки кресел и атласная обивка лож разодраны в клочья и их останки беспорядочно разбросаны повсюду. Везде стоял мерзкий смрад, виднелись желтоватые потеки, а на полу темнели точно выжженные пятна. Открыв дверь в башню и на некоторое время замерев на месте, ибо им почудилось, будто наверху

кто-то скребется, репортеры обнаружили, что с узкой винтовой лестницы кто-то недавно смахнул пыль.

И в помещении внутри башни пыль также была местами стерта. Репортеры повели о восьмиугольном каменном постаменте, и о перевернутых готических креслах с высокими спинками, и о диковинных гипсовых изваяниях, — но самое удивительное, что ни обезображенный скелет, ни металлический ларец в их заметке упомянуты не были. Но более всего встревожила Блейка — помимо ссылок на желтоватые пятна, обугленные следы и дурной запах — последняя деталь, объясняющая происхождение битого стекла. Все без исключения окна-бойницы в башне были выбиты, а два из них поспешно и неумело законопачены скомканной атласной обивкой и ватой из подушек, которые неведомая рука затолкала между внешними ставнями и внутренними ширмами. Куски атласной обивки и набивочной ваты были разбросаны по полу, точно кому-то внезапно помешали довершить начатую работу — погрузить помещение башни в крошечную тьму, чтобы, как и встарь, ни лучик дневного света не пробивался снаружи.

Желтоватые потеки и выжженные пятна были также обнаружены и на лесенке, карабкающейся вверх по стене к люку, но когда один из репортеров, поднявшись по ней, отворил дверцу и осветил лучом фонаря темный и зловонный конус шпилья, он не разглядел ничего, кроме крошечной тьмы и бесформенной кучки какой-то трухи на полу неподалеку от люка. Вынесенный в итоге вердикт, понятное дело, гласил: шарлатанство. Кто-то, видимо, просто подшутил над суеверными обитателями города на холме, или же какой-то фанатик попытался распалить страхи горожан для их же, по его разумению, блага. Или, наконец, кто-то из молодых да ранних умников учинил этот грандиозный розыгрыш на потеху публике. У этого происшествия было забавное продолжение, когда местная полиция решила отрядить в храм офицера для проверки фактов газетного отчета. Три стража порядка исхитрились под разными предлогами избежать этого задания,

и только четвертый с очень большой неохотой отправился туда и скоро вернулся, не добавив ничего нового к сведениям, изложенным газетчиками. С этого дня дневник Блейка свидетельствует о его нарастающем ужасе и нервических подозрениях. Он уговаривает себя ничего не предпринимать и с беспокойством размышляет о возможных последствиях нового сбоя в электрической сети города. Из дневника явствует, что трижды — во время грозы — он звонил в городскую электрическую компанию в крайне возбужденном состоянии и настоятельно убеждал предпринять срочные меры по предупреждению неожиданного отключения тока. В своих записях он часто выражает озабоченность из-за того, что при осмотре темного помещения в башне репортерам не удалось обнаружить ни металлический ларец с камнем, ни изуродованный старый скелет. Он делает вывод, что их забрали, но кто и куда — ему оставалось лишь гадать. Однако худшие опасения Блейка касались его самого и некоей святотатственной связи, коя, как ему чудилось, существовала между его сознанием и незримым монстром, таящимся в том храме, — с тем чудовищным порождением ночной тьмы, которое он вызвал тогда из бездны мрака. Похоже, он постоянно испытывал душевные терзания, и его редкие посетители той поры припоминают, как он с отсутствующим взглядом сидел за своим столом, всматриваясь в западное окно на мерцающую вдалеке громаду черной колокольни в клубах дыма, окутавшего городские крыши. В его записях с монотонным образом описываются ужасные сны, так как Блейк утверждал, что его богомерзкая связь с непостижимым исчадием зла укрепляется в часы сна. Упоминается и одна ночь, когда он вдруг осознал, что полностью одет и машинально бредет вниз с Колледж-Хилл в западном направлении. Снова и снова Блейк повторяет тревожащую его догадку о том, что обитель таинственного храма точно знает, где его найти...

Неделю, прошедшую после тридцатого июля, вспоминают как пору явного помешательства Блейка. Он перестал одеваться и заказывал себе пищу по телефону. Посетители

заметили веревки на его кровати, и он пояснил, что из-за лунатизма вынужден каждый вечер привязывать себя за ноги такими прочными узлами, чтобы их нельзя было развязать или, во всяком случае, чтобы при попытке это сделать он смог проснуться.

В дневнике он сделал запись и о том ужасном случае, который вызвал у него нервный срыв. Погрузившись в сон вечером тридцатого, он внезапно увидел себя бредущим куда-то в крошечной тьме, но сумел разглядеть лишь смутные горизонтальные полосы голубоватого света. Еще он почувствовал сильный тошнотворный запах и услышал странные тихие звуки над головой. На каждом шагу он спотыкался о невидимую преграду, и с каждым звуком, доносящимся сверху, раздавался — как бы отзывом — невнятный скрежет, сопровождаемый шуршанием, какое издают два трущихся друг о друга куски дерева.

Один раз его вытянутые вперед руки нащупали каменный постамент с пустой верхушкой, а потом он понял, что цепляется за перекладины приделанной к стене лестницы и неуверенно карабкается вверх, к источнику какого-то невыносимо мерзкого зловония, откуда на него ритмично накатывались могучие обжигающие волны. Перед его взором в калейдоскопическом водовороте плясали фантастические образы, которые то и дело уплывали в бескрайнюю бездну мрака, где в еще более далекой тьме бешено кружились солнца и миры. Он вспомнил древние мифы об Абсолютном Хаосе, где обретается слепой и безумный бог Азатот, Вседержитель Всего, окруженный верной ордой безумных безликих танцоров и убаюканный тонким монотонным писком демонической флейты в лапах безымянного существа.

А потом резкий звук из внешнего мира развеял отупляющий дурман и родил в душе Блейка несказанный ужас. Что это был за звук, он так и не понял, — возможно, запоздалая вспышка фейерверка, что все лето устраивался на Федерал-Хилл, когда горожане славил своих разнообразных ангелов-хранителей и святых, почитаемых у них на родине, в ита-

янских деревнях. Как бы то ни было, он громко вскрикнул, сорвался с лестницы и на ощупь двинулся по едва освещенному залу, в котором он оказался.

Блейк сразу понял, где он, и стремглав бросился вниз по винтовой лестнице, на каждом повороте врезаясь в каменную стену и сдирая кожу на руках. Потом был кошмарный бег по гигантскому сумрачному нефу, чьи похожие на привидения арки тонули во мраке под крышей, потом он пробрался по знакомому заваленному рухлядью подвалу, потом выскочил на свежий воздух, увидел уличные фонари на площади перед храмом и, совершенно обезумев, понесся вниз с призрачного холма, мимо обветшалых фронтонов, через безмолвный мрачный город, сквозь угрюмый лес высоких черных башен, потом вверх по восточному склону холма к дверям собственного старинного особняка.

Когда утром к нему вернулось сознание, Блейк увидел, что лежит на полу у себя в кабинете — полностью одетый. Его одежда была в грязи и паутине, и каждая клеточка избитого в кровь тела, казалось, изнывала от боли. Глянув в зеркало, он увидел свои всклокоченные волосы. От его одежды исходило словно ввевшееся в ткань странное зловоние. Вот тогда-то у него и сдали нервы. После того случая он стал невылазно сидеть дома в халате и только и делал, что смотрел в западное окно да трясся от страха в ожидании очередной грозы и лихорадочно испещрял листки дневника бессвязными записями.

Незадолго до полуночи восьмого августа разразилась сильная гроза. Все небо над городом разрывали змеевидные вспышки, причем в ту ночь видели и две шаровые молнии. Дождь лил сплошным потоком, а нескончаемая канонада грома лишила сна тысячи горожан. Блейк вконец потерял покой, опасаясь за сохранность уличного освещения, и около часа ночи попытался дозвониться до электрической компании, но тут как раз в интересах безопасности электричество временно отключили. Он все записал в своем дневнике — крупными нервными и нередко не поддающимися расшиф-

ровке каракулями, сложившимися в мрачную повесть о его нарастающем безумии и отчаянии, а также о его наблюдениях, сделанных в крошечной тьме.

Ему пришлось сидеть дома без света, чтобы смотреть в окно, и, похоже, большую часть ночи он провел за своим столом, тревожно вглядываясь сквозь потоки дождя в поблескивающие крыши вдали, в созвездие мерцающих вдалеке огоньков Федерал-Хилл. Время от времени он вносил новые размашистые записи в дневник, так что две страницы испещрены отрывочными фразами вроде: «Свет не должен погаснуть...», «Оно знает, где я...», «Я должен его уничтожить...», «Оно зовет меня, но, наверное, на этот раз оно не причинит мне боли».

Но потом свет померк во всем городе. Судя по отметке в регистрационном журнале городской электростанции, это случилось в 2.12, но в дневнике Блейка нет упоминания о времени. Запись гласит: «Света нет — спаси нас бог!» На Федерал-Хилл были наблюдатели, не меньше Блейка объятые тревогой, и группки вымокших до нитки людей бродили по улицам и площадям вокруг богомерзкого храма, держа в руках прикрытые зонтиками горящие свечи, электрические фонари, масляные лампы, распятия и всевозможные амулеты, распространенные в Южной Италии. Они благодарили Бога за каждую вспышку молнии и правой рукой делали загадочные знаки, выражая свой ужас, когда гроза стала утихать, молнии сверкали все реже, а затем и вовсе исчезли. Усилившийся ветер задул почти все свечи, и над городом стустилась грозная тьма. Кто-то разбудил отца Мерлуццо, настоятеля церкви Святого Духа, и он поспешил на страшную площадь, дабы по мере сил успокоить испуганных людей. И тут уж странный шум в башне услышали все, даже ранее сомневавшиеся.

О том, что произошло в 2.35, есть достоверные свидетельства: во-первых, самого священника, молодого и хорошо образованного человека, во-вторых, патрульного Уильяма Дж. Монохана из центрального полицейского управления,

в высшей степени надежного и добросовестного служаки, который в ту самую минуту, будучи в дозоре, пришел на площадь посмотреть, чем вызвано такое скопление народа, ну и самое главное, семидесяти восьми человек, стоявших вокруг высокой насыпи перед храмом, в особенности же тех, что находились на площади против восточной стены. Разумеется, не произошло ничего такого, что можно было бы расценить как явление, выбивающееся из природного порядка. Возможных объяснений наблюдавшегося феномена найдется немало. Кто знает наверняка, какие химические реакции возникали в гигантском, плохо проветриваемом и давно заброшенном здании с кучей всякой рухляди. Зловонные испарения, или непроизвольное возгорание, или взрыв газов, образовавшихся в процессе длительного гниения, — любое из бесчисленных физико-химических явлений могло бы стать причиной случившегося. Ну и конечно, нельзя исключать фактор сознательного шарлатанства. Происшествие само по себе было довольно простым и заняло чуть менее трех минут. Отец Мерлуццо, человек весьма пунктуальный, постоянно сверялся со своими наручными часами.

Все началось с явственного нарастания глухого грохота в темной башне. Затем в течение некоторого времени из храма тянуло сильным зловонием, которое очень быстро стало крайне едким и удушливым. Потом раздался треск расщепляемого дерева, и огромный тяжелый предмет рухнул во двор прямо под насупившуюся восточную стену церкви. От дуновения ветра свечи потухли, и башня исчезла из виду, но, когда предмет грохнулся о землю, наблюдатели увидели, что из восточной бойницы башни выпал закопченный ставень.

Тотчас после этого с невидимых высот на площадь пахнуло невыносимым смрадом, и трепещущие зрители, ощутив приступ тошноты, от ужаса едва не пали ниц. Одновременно воздух содрогнулся, словно под взмахами могучих крыльев, и внезапно налетевший с запада порыв ветра, куда более мощный, чем раньше, выгнул зонтики и сорвал шляпы с голов. В крошечной тьме разглядеть что-либо было невозмож-

но, хотя кое-кто из устремивших глаза в небо зрителей как будто увидел быстро расширяющееся плотное пятно, нечто вроде бесформенной тучи, которая со скоростью кометы понеслась к востоку.

И все. Люди онемели. Объятые ужасом, они не знали, что делать, да и стоит ли вообще что-нибудь делать. Не понимая, свидетелями чего они стали, все так и остались нести свою тревожную вахту на площади, и, когда спустя мгновение вознесли молитву, небо вдруг осветила резкая вспышка запоздалой молнии, за которой последовал оглушительный раскат грома, вспоровшего водные хляби небес. А через полчаса дождь прекратился, и еще через четверть часа уличные фонари снова засияли, а пережившие весь этот кошмар измученные зрители с облегчением разошлись по своим домам.

На следующий день газеты упомянули об этом происшествии лишь вскользь, в связи с сообщениями о небывалой грозе. Похоже, что ослепительная молния и оглушительный громовый раскат, подобные федералхиллским, были еще сильнее на востоке, где также наблюдали загадочный природный феномен. Но лучше всего сей феномен наблюдался над Колледж-Хилл, где гром разбудил всех спящих и породил массу слухов. Из тех же, кто в ту минуту бодрствовал, лишь немногие увидели необычайно яркую вспышку света над вершиной холма и заметили взметнувшийся вверх странный воздушный столб, из-за которого облетела едва ли не вся листва с деревьев и пострадали сады. Все согласилось с тем, что столь мощная молния непременно должна была ударить в какое-то место неподалеку, хотя следов молнии впоследствии так и не обнаружили. Некому молодому человеку, члену студенческого братства «Тау-Омега», показалось, что он увидел в воздухе огромный клуб дыма необычных очертаний — как раз перед вспышкой молнии, но его наблюдениям не нашлось никакого иного подтверждения. Немногие зрители тем не менее ощутили мощный порыв западного ветра и сильную волну тошнотворного смрада перед запоздалым раскатом грома;

все очевидцы единодушно подтвердили также и свидетельства о мимолетном запахе гари после удара грома.

Все эти свидетельства очень подробно обсуждались в связи с их возможным касательством к смерти Роберта Блейка. Студенты общежития «Пси-Дельта», в котором верхние торцевые окна выходят прямо на кабинет Блейка, утром девятого заметили неясные очертания бледного лица в западном окне и подивились застывшему на нем странному выражению. Когда же вечером того же дня студенты опять увидели это лицо, они забеспокоились и стали ждать, не появится ли в окнах свет. Потом они пошли к неосвещенному дому, позвонили в звонок и, наконец, вызвали полицейского, который выломал дверь.

Хозяин неподвижно сидел прямо за столом у окна, и, когда вошедшие увидели вылезшие из орбит остекленевшие глаза и следы неописуемого конвульсивного ужаса, отпечатавшегося в искаженных чертах, они в страхе покинули помещение. Вскоре медицинский эксперт из управления коронера произвел первичный осмотр и, невзирая на неповрежденное окно, констатировал смерть от удара электротоком или вследствие шока, вызванного электрическим разрядом. Он совершенно проигнорировал выражение невыразимого ужаса на лице покойного, не найдя в нем ничего невероятного для человека со столь ненормальным воображением и неуравновешенной психикой. К этому выводу он пришел, проштудировав обнаруженные в доме книги, осмотрев картины и рукописи, а также прочитав сделанные неверной рукой записи в дневнике, найденном на столе. Блейк до последней секунды продолжал записывать свои безумные мысли, и карандаш с обломанным грифелем так и остался в его конвульсивно сжатом правом кулаке.

После того как везде в городе погас свет, записи стали совершенно бессвязными и лишь частично поддавались прочтению. Кое-кто сделал выводы, совершенно отличные от официального и строго научного вердикта, однако плоды спекуляций едва ли имеют шанс быть воспринятыми на веру

консервативно настроенной публикой. Доводы досужих фантазеров не подтвердил даже поступок суеверного доктора Декстера, который выбросил таинственный ларец и граненый камень — предмет, вне всякого сомнения, испускавший сияние, когда его нашли в темном шпиле на башне, — в самую пучину залива Наррагансетт. А интерпретируя смысл последних безумных записей Блейка, главным образом ссылаются на его чрезмерную впечатлительность и нервное расстройство, усугубленные познаниями о древнем культе зла, чьи пугающие следы ему удалось обнаружить. Вот эти записи — или то, что удалось в них разобрать:

«Света все еще нет — уже минут пять прошло. Вся надежда на молнию. Йаддит уверяет, что не отступит... Сквозь него проникает какая-то сила... Дождь, и гром, и ветер — я глосну. Тварь завладевает моим разумом...

Что-то с памятью. Вижу вещи, которых раньше не знал. Иные миры, иные галактики... Тьма... Молния кажется мраком, а тьма кажется светом...

Холм и храм на нем, которые я вижу в крошечной тьме, не могут быть настоящими. Возможно, это оптическая иллюзия, отпечаток на дне глазного яблока, оставшийся после вспышки молнии. Пусть Господь сделает так, чтобы итальянцы вышли со свечами, если молнии больше не будет!

Чего я боюсь? Разве это не аватара Ньярлатхотепа, который в древнем и сумрачном Кхеме принимал обличье человека? Я помню Юггот, и еще более далекий Шаггай, и абсолютную пустоту черных планет...

Долгий крылатый полет сквозь пустоту... не могу пересечь универсум света... сотворенный вновь мыслями, заточенными в Сияющем Трапецеэдре... пошли его сквозь ужасные бездны сияния...

Меня зовут Блейк — Роберт Харрисон Блейк, проживающий в доме 620 по Ист-Нэпп-стрит в Милуоки, Висконсин... Я на этой планете...

Азатот, сжался! Молния более не сверкает! — ужасно! Я способен узреть все неким необычайным чувством, но не зрением — свет стал тьмой, а тьма светом... эти люди на холме... стража... свечи и амулеты... их священники...

Ощущение расстояния пропало... далекое стало близким, близкое далеким. Света нет... стекла нет, вижу этот шпиль... эту колокольню... окно... слышу... Родерик Ашер... я схожу или уже сошел с ума... Тварь шевелится и грохочет в башне... Я — это оно, и оно — это я... Хочу выбраться... Должен выбраться и объединить силы... Оно знает, где я...

Я Роберт Блейк, но я вижу башню Тьмы. Чудовищный запах... все ощущения смешались... оконная рама в башне треснула и выпадает... Йа... нгай... игг...

Я вижу это — оно приближается... адский ветер... исполинское пятно... черные крылья... Йог-Сотот, спаси меня... тройной горящий глаз...»

ХРАМ

(Рукопись, найденная на побережье Юкатана)

20 августа 1917 года я, Карл Генрих, граф фон Альтберг-Эренштайн, капитан-лейтенант военно-морского флота Германской империи, командир субмарины U-29, помещаю эти записи в запечатанную бутылку с тем, чтобы доверить их водам Атлантики в точке, мне доподлинно неизвестной, но расположенной приблизительно на 20-м градусе северной широты и 35-м градусе западной долготы, где лежит на океанском дне мой потерявший управление корабль. Я делаю это с целью довести до общего сведения ряд весьма неординарных фактов, которые едва ли когда-нибудь смогут быть предъявлены мною лично, учитывая безнадёжность моего настоящего положения, — здесь я имею в виду не только саму катастрофу U-29, столь же загадочную, сколь и непоправимую, но и — что ещё хуже — все более очевидные признаки ослабления моей железной германской воли и силы духа.

18 июня, после полудня, как я тогда же и передал по радио на U-61, находившуюся неподалеку от нас и державшую курс на базу в Киле, мы торпедировали британское грузовое судно «Виктория», шедшее из Нью-Йорка в Ливерпуль. Это произошло на 45 градусах 16 минутах северной широты и 28 градусах 34 минутах западной долготы. Мы позволили экипажу перебраться в спасательные шлюпки и засняли гибель корабля на киноплёнку для последующей демонстрации этих кадров в Имперском Адмиралтействе. Судно тонуло, можно сказать, живописно, зарываясь носом в волны и все выше

задирая корму; наконец его корпус встал вертикально и спустя несколько мгновений исчез под водой. Наша кинокамера не упустила ни малейшей детали; остается лишь сожалеть, что такой превосходный документальный материал никогда уже не попадет в Берлин. Завершив съемку, мы расстреляли из пулеметов спасательные шлюпки, и я скомандовал погружение.

Когда перед заходом солнца мы снова всплыли на поверхность, первое, что попало нам на глаза, было тело матроса, мертвой хваткой вцепившегося в ограждение палубы нашей лодки. Несчастный молодой человек (судя по внешности, это был грек или итальянец, темноволосый, с правильными, на редкость красивыми чертами лица), несомненно, принадлежал к экипажу «Виктории». Он, похоже, пытался найти спасение на борту того самого корабля, который волею судьбы стал виновником гибели его собственного судна — еще одна жертва несправедливой и агрессивной войны, развязанной подлыми собаками-англичанами против нашего славного Отечества. Обыскав труп, мои люди обнаружили в кармане его куртки весьма необычный предмет — искусно вырезанную из слоновой кости голову юноши с покрывавшим ее лавровым венком. Лейтенант Кленц, мой помощник и заместитель, изъясил эту скульптуру у матросов и, полагая, что имеет дело с произведением огромной исторической и художественной ценности, сохранил ее у себя. Для нас обоих осталось загадкой, каким образом подобная вещь могла попасть в руки простого моряка.

После обыска мертвец был выброшен за борт; при этом произошли два события, вызвавшие сильное волнение среди членов экипажа. Глаза трупа сперва были закрыты, но, когда его с большим трудом оторвали от поручня и потащили к краю палубы, они внезапно широко раскрылись; многие потом всерьез утверждали, будто взгляд этот был осмысленным. По их словам, мертвец внимательно и несколько даже насмешливо наблюдал за склонившимися над ним в тот момент Шмидтом и Циммером. Боцман Мюллер, человек хотя и до-

статочно пожилой, но отнюдь не умудренный жизнью — что вы хотите от этой суеверной эльзасской свиньи! — был настолько впечатлен странным поведением трупа, что продолжал следить за ним, когда тот был уже в воде; он клятвенно уверял, что видел своими глазами, как мертвец, погрузившись на небольшую глубину, расправил скрюченные прежде конечности и, приняв классическую позу пловца, начал стремительно удаляться от лодки в южном направлении. Мы с Кленцем положили конец всем этим проявлениям дремучего крестьянского невежества, сделав самый суровый выговор своим людям, и Мюллеру в первую очередь.

На следующий день обстановка на корабле была неспокойной вследствие внезапного недомогания, случившегося сразу у нескольких членов экипажа. Причиной тому, вероятно, было нервное переутомление, обычное для долгих морских походов, и плохой сон. Они казались рассеянными и какими-то отупевшими; убедившись, что это не симуляция, я временно освободил всех больных от несения вахты. Море порядком штормило, и мы опустились на глубину, где качка была не столь ощутимой и где мы могли переждать непогоду без особых проблем, если, конечно, не считать за проблему невесть откуда взявшееся подводное течение, не обозначенное ни на одной из наших океанографических карт. Стенания больных между тем становились откровенно раздражающими; видя, однако, что это не сказывается на боевом духе команды в целом, мы решили до времени воздержаться от радикальных шагов. Наши ближайшие планы предусматривали продолжение крейсерских операций в этих водах; в качестве главной цели был выбран лайнер «Дакия», упоминавшийся в недавних сообщениях германских агентов из Нью-Йорка.

Когда в конце дня лодка поднялась на поверхность, волнение моря уже почти улеглось. На северном горизонте дымили трубы боевого корабля, не представлявшего, впрочем, серьезной угрозы для нашей всегда готовой к погружению субмарины. Гораздо больше нас встревожили бредовые речи

боцмана Мюллера, который с наступлением темноты сделался совсем невменяемым. Противно было слушать его детский лепет о мертвецах, плавающих в открытом море и якобы заглядывающих в иллюминаторы подлодки; в этих вздувшихся, тронутых разложением трупах он узнавал людей, чью смерть ему приходилось ранее наблюдать в ходе наших победоносных боевых операций. По его утверждению, предводителем этих мертвецов был молодой человек, труп которого мы при известных обстоятельствах обнаружили на палубе субмарины. Дабы впредь избавить себя от выслушивания подобных гнусностей, мы приказали заковать Мюллера в кандалы и хорошенько вразумить плетьюми. Эта воспитательная процедура вряд ли пришлась по душе рядовому составу команды, но — дисциплина прежде всего. Мы с лейтенантом Кленцем отклонили также обращение делегации матросов во главе с Циммером, просивших нас выбросить в море загадочное скульптурное изображение.

20 июня заболевшие накануне матросы Боум и Шмидт перешли из состояния прострации в состояние буйного помешательства. Я всерьез пожалел о том, что подводный флот Германии не комплектуется дополнительно офицерами-психиатрами, — как-никак речь идет о немецких жизнях, каждая из которых драгоценна; однако постоянные вопли и причитания этой парочки насчет какого-то нависшего над всеми нами ужасного проклятья начали пагубно отражаться на дисциплине остальных, что вынудило нас прибегнуть к мерам исключительного характера. Экипаж воспринял происшедшее в угрюмом молчании, тогда как на боцмана Мюллера это подействовало умиротворяюще и в дальнейшем он уже не доставлял нам хлопот. Будучи освобожден от оков вечером того же дня, он без лишних слов приступил к исполнению своих обязанностей.

На протяжении всей следующей недели мы были очень взвинчены, каждую минуту ожидая появления «Дакии». Напряженное состояние усугублялось исчезновением Мюллера и Циммера, без сомнения покончивших с собой на почве

преследовавших их навязчивых страхов; этот факт, впрочем, нельзя считать доказанным, поскольку никто не видел, как самоубийцы бросались за борт. Я, в сущности, был рад отделаться от Мюллера, который даже своим молчанием действовал на экипаж угнетающе. Люди теперь стали более замкнуты; чувствовалось, что они втайне чего-то боятся. Многие были нездоровы, но никто больше не устраивал истерик. Общая атмосфера повлияла и на лейтенанта Кленца, которого начали раздражать самые пустяковые вещи — такие, например, как игры дельфинов, целыми стаями собиравшихся вокруг U-29, или возрастающая интенсивность южного течения, не показанного на наших картах.

В конечном счете стало ясно, что «Дакию» мы упустили. Подобные неудачи не являются чем-то из ряда вон выходящим, и мы испытывали скорее облегчение, нежели досаду, ибо теперь на очереди стояло возвращение в Вильгельмсхафен. В полдень 28 июня мы повернули на северо-восток и после нескольких весьма курьезных стычек с необычно большими скоплениями дельфинов дали машинам полный ход.

Взрыв в двигательном отсеке в два часа ночи явился для нас полной неожиданностью. Без всякой видимой причины — ибо я при всем желании не могу сослаться на какие-либо неполадки в машинах или на небрежность персонала — корабль вдруг из конца в конец содрогнулся от удара страшной силы. Лейтенант Кленц поспешил в двигательный отсек, где обнаружил пробитый топливный бак и развороченную взрывом главную установку, а также тела погибших механиков Раабе и Шнайдера. Наше положение таким образом резко ухудшилось, лодка была обездвижена и лишена управления; правда, остались неповрежденными химические регенераторы воздуха и устройства, обеспечивающие всплытие и погружение корабля и работу шлюзовых камер, но и здесь все зависело лишь от того, надолго ли хватит запасов сжатого воздуха и энергии аккумуляторных батарей. Попытка вос-

пользоваться спасательными лодками неминуемо привела бы к пленению нас неприятелем, испытывающим необъяснимую злобу и ненависть по отношению к нашей великой германской нации; что же касается радио, то нам со времени потопления «Виктории» ни разу не удавалось выйти на связь с другими субмаринами имперского флота.

С момента аварии и вплоть до 2 июля мы дрейфовали на юг, не встречая по пути никаких судов. Дельфины по-прежнему окружали U-29 плотным кольцом — обстоятельство, достойное удивления, если учесть расстояние, пройденное нами за это время. Утром 2 июля вдали показался боевой корабль под американским флагом, что возбудило в команде сильнейшее желание капитулировать. В результате лейтенанту Кленцу пришлось пристрелить одного из матросов, а именно Траубе, который с особой настойчивостью призывал к совершению этого противного немецкой природе поступка. Все прочие крикуны сразу притихли, и мы успели уйти под воду незамеченными.

На следующей день с юга появилась огромная стая морских птиц. Погода стала быстро ухудшаться, все указывало на приближение бури. Задраив люки, мы ожидали дальнейшего развития событий, пока необходимость погружения не стала очевидной — в противном случае наш неуправляемый корабль рисковал быть опрокинутым чрезвычайно высокими и крутыми волнами. До сих пор мы старались экономить электричество и сжатый воздух, давление которого уже ощутимо упало; но сейчас у нас не было выбора. Мы погрузились на сравнительно небольшую глубину и, едва только шторм начал стихать, решили подняться на поверхность. Тут нас ожидало новое потрясение: полностью отказали все устройства, обеспечивающие всплытие субмарины. Очутившись в подводном плену, люди очень скоро пришли в состояние, близкое к панике; некоторые вновь стали наекать на хранившуюся у лейтенанта Кленца античную скульптуру как на источник всех наших бед. Однако вид автоматического

пистолета их несколько успокоил. Бедные парни — мы все время старались их чем-нибудь занять, заставляя чинить вышедшее из строя оборудование, хотя и сами прекрасно создавали абсолютную бесполезность этих усилий.

Обычно мы с Кленцем спали по очереди; как раз во время моего сна, около пяти часов утра 4 июля, и произошел открытый мятеж. Шестеро оставшихся в живых ублюдков, полагая отныне свою гибель неизбежной, внезапно пришли в дикую ярость, причиной которой послужило воспоминание о нашем отказе за два дня до того сдаться в плен военному кораблю янки. С животным ревом метались они по кораблю, круша попадавшиеся под руку приборы и поминая на разные лады все ту же злосчастную скульптуру и ее мертвого хозяина, так потрясшего их своим многозначительным взглядом и нехарактерной для трупа подвижностью. Лейтенант Кленц оказался не на высоте положения, пребывая в растерянности и бездействии, чего, впрочем, и следовало ожидать от слабовольного и женоподобного уроженца Рейнской провинции. Я пристрелил всех шестерых, как того требовала обстановка, и после еще раз лично удостоверился в смерти каждого.

Мы удалили трупы через шлюзовые камеры и остались на U-29 вдвоем. Кленц очень нервничал и почти все время был пьян. Мы решили держаться как можно дольше, благо в нашем распоряжении были значительные запасы провизии, а химические установки исправно вырабатывали кислород — к счастью, ни одна из них не пострадала от рук этих грязных скотов. Однако все наши компасы, глубиномеры и прочие хрупкие приборы были разбиты, так что в дальнейшем мы могли определять свое местонахождение лишь приблизительно, пользуясь для этого наручными часами и календарем и вычисляя скорость дрейфа путем наблюдений за различными морскими организмами через бортовые иллюминаторы или из боевой рубки. Заряда аккумуляторных батарей вполне хватало для внутреннего освещения корабля,

кроме того, мы периодически включали наружный прожектор, но, в какую бы сторону мы его ни направляли, везде были видны одни и те же дельфины, плывшие параллельным с нами курсом. Эти дельфины заинтересовали меня с чисто научной точки зрения; как известно, обычный *Delphinus delphis* является млекопитающим из семейства китовых и, подобно всем другим млекопитающим, не может жить без воздуха, однако я специально два часа подряд следил за одним из этих пловцов, и за все это время он ни разу не поднимался к поверхности океана.

По прошествии нескольких дней мы с Кленцем пришли к выводу, что, продолжая дрейфовать в южном направлении, субмарина понемногу опускается на глубину. Мы отмечали изменения в окружающей нас подводной флоре и фауне и прочли на эту тему немало книг из моей походной библиотеки. Должен признать, что научная компетентность моего товарища по несчастью оставляла желать много лучшего. В его стиле мышления не было ничего прусского, он при всяком удобном случае давал волю своему нездоровому воображению или же пускался в пространные рассуждения, не представлявшие никакого практического интереса. Приближение смерти пугало его чрезвычайно — нередко я заставлял его за молитвой, в которой он поминал всех мужчин, женщин и детей, в разное время отправленных нами на дно, забывая при этом, что любые действия, совершенные ради блага Германии, являются справедливыми и достойными всяческого одобрения. Постепенно теряя чувство реальности, он мог часами смотреть на скульптурный образ античного юноши и рассказывать фантастические истории о кораблях и людях, бесследно сгинувших в море. Иногда, в порядке психологического эксперимента, я сам уводил его на эту зыбкую почву, дабы развлечься его бесконечными поэтическими цитатами и вольными переложениями старых морских легенд. Мне было искренне жаль его, я вообще не могу оставаться равнодушным, когда вижу страдания немца; но что

поделаешь — он был не тем человеком, вместе с которым легко встречать смерть. За себя лично я был спокоен и с гордостью думал о том, как родное Отчество будет чтить мою память и как моим сыновьям будут ставить в пример их доблестного отца.

9 августа мы обнаружили в непосредственной близости от лодки океанское дно и осветили его лучами прожектора. Местность под нами представляла собой холмистую равнину, большей частью покрытую ковром из морских трав и колониями мелких моллюсков. То здесь, то там из темноты выступали очертания одиноко торчавших морских скал, заросших водорослями и густо облепленных ракушками, но, несмотря на это, чем-то неуловимо схожих между собой. По утверждению Кленца, это были останки погибших кораблей. Гораздо больше его озадачила каменная глыба, поднимавшаяся вертикально над морским дном на высоту примерно четырех футов и имевшая два фута в диаметре; ее боковые стены, очень ровные и гладкие, в верхней части резко сходились, образуя треугольную, правильной формы вершину. Я объяснил происхождение этого феномена обнажением кристаллических горных пород, Кленцу же померещились на поверхности глыбы какие-то странные письмена. Спустя некоторое время его начала бить нервная дрожь, и он отвернулся от иллюминатора с выражением сильнейшего испуга на лице. Причину столь постыдного малодушия я нахожу лишь в его общем угнетенном состоянии, вызванном беспредельностью, мрачностью и таинственностью открывшейся перед нами морской бездны. Такое испытание оказалось сверх его сил; я же, как оно и подобает германскому офицеру, сохранил ясность мыслей и полное хладнокровие, успев между делом отметить два интересных обстоятельства: во-первых, U-29 прекрасно выдерживала глубоководное давление, на которое ее конструкция изначально рассчитана не была; во-вторых, нас по-прежнему сопровождали дельфины, тогда как большинство ученых-натуралистов категорически отрицают возможность существования высших форм

жизни на этих глубинах. Хотя теперь я был уверен в том, что в своих первых оценках преувеличил быстроту погружения субмарины, но в любом случае достигнутая нами глубина была достаточно велика для того, чтобы сделать упомянутые выше факты заслуживающими внимания. Определив скорость нашего дрейфа по ориентирам на океанском дне, я убедился в правильности моих прежних расчетов, произведенных еще в поверхностных слоях воды.

Между тем настал момент, когда несчастный Кленц сошел с ума уже бесповоротно. Это случилось в 3 часа 15 минут пополудни 12 августа. Перед тем он находился в боевой рубке, наружный прожектор был включен — и вдруг я увидел, как он врывается в каюту, где я сидел за книгой, и сразу же догадался обо всем по его лицу. Вот что он мне сказал (привожу его речь дословно): «Он зовет нас к себе! Он зовет нас к себе! Я слышу его! Нам надо идти!» Произнеся это, он схватил со стола скульптуру, засунул ее в карман и потянул меня за руку к трапу, ведущему на палубу субмарины. Только теперь я понял, что он хочет открыть люк и выбраться вместе со мною наружу. Сама эта идея, грозившая верной гибелью нам обоим, была настолько нелепой и страшной, что я, признаться, сперва даже растерялся. Остановившись, я попробовал его урезонить, но он уже был неуправляем. «Идем же скорее, — твердил он свое, — ждать больше нечего. Лучше раскаться и получить прощение, чем упорствовать, вынося себе окончательный приговор». Тогда я попытался изменить тактику, перейдя от уговоров к прямым оскорблениям. Я назвал его маньяком, жалким безумным ничтожеством, — все было тщетно. Он кричал мне в ответ: «Если я действительно безумен, то это счастье! Да будут боги милосердны к тем, кто может сохранить рассудок вплоть до грядущего ужасного конца! Еще не поздно сойти с ума, так поспешим, пока он зовет, в последний миг даруя нам прощение!»

После этой вспышки красноречия сознание его как будто слегка прояснилось, и он уже гораздо более спокойным голосом попросил меня позволить ему уйти одному, раз уж я не

намерен составить ему компанию. На сей раз я не колебался с принятием решения. Да, конечно, это был немец, мой соотечественник, но в то же время он был не пруссак, а всего лишь рейнландец, к тому же плебейского происхождения; и потом — это был потенциально опасный безумец. Уступив его самоубийственной просьбе, я тем самым избавился бы от спутника, чье присутствие на корабле отныне таило в себе угрозу и моей собственной жизни. Я попросил его не уносить с собой скульптуру — ответом на это был жуткий истерический смех, звучание которого я не берусь описать словами. Когда же я осведомился, не желает ли он оставить какую-нибудь памятную вещь или локон волос, которые я мог бы передать его семье в Германии, если вдруг удастся спастись, то вновь услышал все тот же отвратительный хохот. Дальнейшее промедление не имело смысла, он забрался в шлюзовую камеру, и я, выдержав необходимую паузу, привел в действие механизм, отправивший беднягу к праотцам. Удостоверившись, что тело покинуло пределы подлодки, я включил прожектор, надеясь увидеть его в последний раз — меня интересовало, будет ли труп сплюснен в лепешку глубоководным давлением или же останется невредимым, как те удивительные дельфины. Мне, однако, не удалось обнаружить никаких следов моего бывшего соратника, ибо дельфины, сгрудившись плотной массой перед боевой рубкой, начисто перекрыли обзор.

Очень скоро я пожалел, что перед уходом Кленца не вытащил тайком у него из кармана эту скульптуру, поскольку воспоминание о ней не давало мне с той поры покоя. Я постоянно видел перед собой эти юные, прекрасные черты лица в обрамлении сплетающихся листьев, испытывая при этом волнение, необычное для моей отнюдь не артистической натуры. Меня впервые по-настоящему огорчило отсутствие собеседника. Кленц, хотя и далеко не ровня мне по уровню интеллекта, все же был лучше, чем никто. Я плохо спал этой ночью и, ворочаясь на своей койке, продолжал

думать о неумолимо приближающейся развязке. Я, разумеется, понимал, что мои шансы на спасение ничтожны.

На следующий день я, как обычно, поднялся в рубку для изучения обстановки за бортом субмарины. В северном направлении подводный ландшафт мало чем отличался от того, что мы наблюдали в течение последних четырех суток. Правда, скорость дрейфа U-29 теперь значительно уменьшилась. Развернув прожектор в противоположную сторону, я заметил, что дно впереди начинает идти под уклон; в поле зрения все чаще попадали одинаковые по форме монолиты, расположенные не в хаотическом беспорядке, а словно повинувшись какой-то определенной схеме. Океанское дно уходило вниз гораздо круче, чем погружалась подлодка, и вскоре, дабы хоть что-нибудь разглядеть, мне пришлось направить луч света почти вертикально вниз. В результате слишком резкого изменения угла наклона произошел обрыв электрического провода; ликвидация этой неисправности отняла у меня несколько минут. Наконец все было восстановлено, и при свете прожектора моему взору открылась лежащая меж двух горных отрогов подводная долина.

Не будучи никоим образом склонен к бурным проявлениям эмоций, я все же в первый момент не смог сдержать удивленного возгласа. Я вынужден сознаться в этом, хотя человеку, воспитанному в лучших традициях великой прусской культуры, не пристало удивляться подобным вещам — достаточно было обратиться к своим познаниям в геологии и истории, чтобы вспомнить о гигантских тектонических смещениях, происходивших в разное время как в океанских, так и континентальных областях земной коры. А увидел я следующее: далеко внизу параллельно друг другу тянулись, исчезая во мраке, ряды полуразрушенных зданий великолепной, хотя и весьма необычной по своему стилю архитектуры, построенных большей частью из мрамора — если судить по тому мягкому и бледному мерцанию, с каким их стены отражали луч света. Развалины мертвого города занимали собой

все пространство узкой вытянутой долины, по обеим сторонам которой на уступах крутых горных склонов располагались многочисленные, особняком стоящие храмы, дворцы и виллы. Крыши домов были обрушены, колонны повалены и расколоты, но следы былой красоты и величия проглядывали повсюду в нагромождениях древних руин.

Встреча с мифической Атлантидой — ибо я до тех пор полагал ее существование мифом — внезапно пробудила во мне азарт исследователя. По дну долины, как я догадался, в древние времена протекала река — мне удалось разглядеть остатки гранитных и мраморных мостов, дамб, террас и набережных, некогда, вероятно, утопавших в роскошной зелени аллей и скверов. Охваченный энтузиазмом, я едва не опустил до идиотской сентиментальности, ранее столь раздражавшей меня самого в рассуждениях бедного Кленца. Только сейчас я впервые заметил отсутствие южного течения — U-29 медленно планировала над затонувшим городом, подобно тому как снижается аэроплан перед посадкой в обычных городах там, наверху. Я также с опозданием обнаружил исчезновение сопровождавшей меня стаи дельфинов.

Спустя примерно два часа лодка легла на каменные плиты площади, примыкавшей к скалистому склону горы. По одну сторону от меня раскинулся город, отлого спускавшийся к руслу реки; по другую сторону я в неожиданной близости от себя увидел богатый, отлично сохранившийся фасад громадного здания, очевидно храма, выдолбленного внутри цельной скалы. Каких трудов могло стоить создание столь титанического сооружения — на сей счет остается лишь строить догадки; тем более что, судя по множеству окон, за монументальным фасадом должны скрываться довольно обширные внутренние помещения. Парадная лестница в средней части фасада поднималась к огромным, распахнутым настежь дверям, украшенным по периметру рельефными фигурами, напоминавшими персонажей вакхического карнавала. Особенно сильное впечатление произвели на меня мощные ко-

лонны и фриз со скульптурами поразительной красоты и изящества: здесь были изображены идиллические картины пасторальной жизни, а также процессии жрецов и жриц со странного вида предметами культа, совершающих обряд поклонения некоему лучезарному божеству. Мастерство художественного исполнения было просто феноменальным; искусство этого народа казалось в чем-то близким по духу к древнегреческому, и в то же время оно резко отличалось от него. Что-то подсказывало мне, что я имею дело с очень отдаленным во времени предшественником эллинской культуры, нежели с непосредственным ее вдохновителем. У меня уже не вызывал сомнений тот факт, что все это грандиозное произведение архитектуры вплоть до мельчайших деталей было высечено из единого скального монолита, который являлся частью нависавшего над долиной горного хребта. Размеры внутренних помещений храма для меня оставались загадкой; возможно, основу их составляла огромная естественная пещера или даже система пещер, проникающих далеко в глубь горы. Ни время, ни вода никак не отразились на первоначальном великолепии древнего храма — а это, конечно, мог быть только храм, — и ныне, тысячи лет спустя, нетронутый и неоскверненный, он покоился в окружении вечного мрака и безмолвия океанской бездны.

Не помню, сколько часов провел я в созерцании затонувшего города с его домами, арками, статуями и мостами, с его колоссальным храмом, прекрасным и пугающе таинственным одновременно. Даже в преддверии смерти моя любознательность брала верх над всеми остальными чувствами — прожектор выхватывал из темноты все новые и новые удивительные подробности. Но он был бессилён проникнуть в зияющий провал центрального входа в храм; в конце концов я вспомнил о необходимости экономить энергию и отключил прожектор, свет которого и так уже был заметно слабее, чем в первые дни нашего вынужденного дрейфа. Перспектива в скором времени остаться без света лишь обострила во мне жажду немедленной деятельности. Именно я, представитель

великой Германии, должен первым пройти по следам этой канувшей в вечность цивилизации!

Я достал и осмотрел глубоководный водолазный костюм, изготовленный из гибко сочлененных металлических пластин, проверил работу портативного фонаря и регенератора воздуха. Определенное затруднение представлял выход из шлюзовой камеры в одиночку, без чьей-либо помощи, но я был уверен, что сумею решить эту проблему, используя свои технические знания и опыт.

16 августа я покинул борт U-29 и, увязая ногами в толстом слое ила, покрывающем улицы разрушенного города, двинулся вниз по направлению к речному руслу. Мне нигде не удалось обнаружить скелетов или иных человеческих останков, но зато я сделал немало иных, бесценных с точки зрения археологии находок, прежде всего скульптур и старинных монет. Сейчас я не имею возможности распространяться на эту тему во всех подробностях; скажу лишь, что испытал благоговейный трепет при знакомстве с культурой, находившейся в полном расцвете величия и славы в те времена, когда по долинам Европы бродили пещерные жители, а могучий Нил нес свои воды мимо диких, первозданных берегов. Быть может, те, кто найдет эту рукопись (если она вообще будет когда-нибудь найдена), сумеют ближе подойти к разгадке тайны, о которой я здесь говорю лишь намеками. Тем временем энергия моих электрических батарей уже подошла к концу, и я был вынужден поторопиться с возвращением, решив посвятить весь следующий день осмотру храма в глубине скалы.

17-го числа, когда я окончательно укрепился в своих намерениях проникнуть внутрь храма, меня внезапно постигло тяжкое разочарование: как оказалось, все элементы, необходимые для подзарядки портативного фонаря, были уничтожены еще во время июльского бунта этих паршивых свиней. Ярость моя была беспредельной, однако германский здравый смысл не позволил мне отправиться без соответствующего снаряжения в непроглядную тьму пещеры, вполне

могущей оказаться логовом какого-нибудь невиданного морского чудовища или запутанным лабиринтом ходов, из которых я никогда не смог бы выйти наружу. Все, что я был в состоянии сделать, — это направить на фасад здания изрядно уже потускневший луч прожектора U-29 и при его свете взойти по ступеням наверх, чтобы вблизи рассмотреть украшения храма. Сноп света падал на дверь под восходящим углом, и когда я заглянул внутрь в надежде хоть что-нибудь разглядеть во мраке, то не увидел даже смутных очертаний стены или свода в той стороне, куда устремлялся луч. Сделав шаг или два вперед, предварительно ощупывая пол стальным прутком, я не осмелился идти дальше. Более того — впервые в жизни я ощутил пронзительный, леденящий ужас. Теперь я начал лучше понимать душевное состояние несчастного Кленца; в то время как храм притягивал меня все сильнее, внутри меня возрастал слепой страх перед неизвестностью, ожидавшей меня за этим порогом. Вернувшись на борт субмарины, я выключил свет и принялся размышлять, сидя в полной темноте. Электричество следовало экономить на случай крайней необходимости.

Субботу 18-го числа я так и провел в темноте, мучимый самыми разными мыслями и воспоминаниями; это было очень нелегким испытанием даже для моей истинно германской выдержки. Кленц, на свое счастье, успел сойти с ума и погибнуть, прежде чем мы достигли этих затаившихся в глубине океана зловещих обломков далекого прошлого — и он тогда еще призывал меня последовать его примеру. Неужели и вправду судьба сохранила мне разум лишь для того, чтобы привести меня, беспомощного и беззащитного, к концу более ужасному, чем в состоянии вообразить человек? Нет, очевидно, все дело было в нервном перенапряжении; впечатлительность — удел ничтожеств, и я обязан усилием воли преодолеть эту временную слабость.

Я так и не смог заснуть в ту ночь и, уже не думая об экономии, снова включил свет. Было очень досадно, что электричеству суждено кончиться раньше, чем запасам воздуха

и провизии. Вспомнив еще об одном — наиболее простом из всех возможных — исходе, я тщательно почистил свой автоматический пистолет. Ближе к утру я, должно быть, уснул при включенном свете, так как, проснувшись вчера после полудня, обнаружил батареи совершенно безжизненными. Я зажег одну за другой несколько спичек и в отчаянии посетовал на ту непредусмотрительность, с какой мы давным-давно израсходовали все имевшиеся у нас свечи.

Когда погасла последняя спичка, которую я решился истратить, я долго сидел в темноте и полном безмолвии. В который раз уже думая о неизбежности смерти, я прокручивал в памяти всю череду недавних событий и внезапно наткнулся на как будто дремавшее до поры мимолетное впечатление, которое заставило бы содрогнуться любого более слабого и суеверного человека. *Голова лучезарного божества на фасаде храма была тем же самым скульптурным портретом античного юноши, принесенным из моря мертвым матросом и впоследствии возвращенным обратно в море несчастным Кленцем.*

Я был слегка озадачен таким совпадением, но ни в коей мере не уstraшен. Только недоразвитым умам свойственна поспешность, с какой они объясняют любую необычную и сложную для понимания вещь действием якобы сверхъестественных сил. Совпадение, безусловно, было довольно странным, но я, как человек здравомыслящий, не собирался увязывать факты, не предполагающие между собой никакой логической связи, или искать закономерную последовательность в трагических событиях, произошедших с нами со дня гибели «Виктории» вплоть до настоящего времени. Ощущая потребность в дополнительном отдыхе, я принял успокоительное лекарство и погрузился в сон. Мое нервное состояние отразилось и на сновидениях, ибо я все время слышал крики тонущих в море людей и видел мертвые лица, прильнувшие к иллюминаторам лодки. Среди этих отвратительных мертвых масок я вдруг увидел живое, насмешливо гля-

девшее на меня лицо молодого матроса, обладателя той самой проклятой статуэтки.

Описывая сегодняшний день с момента своего пробуждения, я должен быть особенно внимательным, поскольку нервы мои расшатаны и реальные факты в моем сознании начинают путаться с галлюцинациями. Мой случай должен представлять исключительный интерес для психологов, и я сожалею, что недоступен сейчас для научного наблюдения со стороны компетентных германских специалистов.

Первым, что я почувствовал, едва открыв глаза, было непреодолимое желание сию же минуту встать и идти в храм; желание это росло и усиливалось, и лишь какой-то подсознательный рефлекс самосохранения удержал меня от этого безумного шага. Вскоре после того мне почудился *свет*, слабо струящийся в окружавшей меня крошечной тьме; я как будто заметил смутные фосфорические блики за иллюминатором, выходящим в сторону храма. Это возбудило мое любопытство, поскольку мне ничего не было известно о глубоководных организмах, способных быть источником столь сильного свечения. Но прежде чем я успел что-либо предпринять, следующее, уже третье подряд необъяснимое явление заставило меня вообще усомниться в объективности своих ощущений. На сей раз это была слуховая галлюцинация — ритмический мелодичный звук, похожий на не очень стройное и в то же время чарующе прекрасное хоровое песнопение или религиозный гимн, каким-то образом доносившийся извне сквозь звуконепроницаемый корпус лодки. Угадав в этом первый опасный признак психического расстройства, я зажег еще несколько спичек и принял большую дозу раствора бромистого натрия, которая несколько сняла напряжение — по крайней мере, она помогла рассеять акустическую иллюзию. Но фосфорическое свечение не исчезало, и я с трудом подавил в себе нелепое желание приблизиться к иллюминатору, чтобы разгадать его природу. А свет затем казался поразительно реальным; вскоре я начал различать вокруг себя знакомые предметы и среди них пустой ста-

кан из-под бромистого натрия, который уж точно никак не мог быть давним, отложившимся в памяти визуальным впечатлением, поскольку виделся мне сейчас не на своем привычном месте, а там, где я случайно поставил его несколько минут назад. Это последнее обстоятельство меня порядком озадачило, я пересек каюту и дотронулся рукой до стакана. Он действительно находился здесь, я видел и осязал его одновременно. Теперь я знал, что либо свет этот и впрямь был настоящим, либо же он являлся частью столь глубокой и всеобъемлющей галлюцинации, что всякая попытка устранить ее была заранее обречена на провал. Поэтому, прекратив бесполезную борьбу с самим собой, я немедленно отправился наверх в боевую рубку, чтобы взглянуть оттуда на источник таинственного света. Разве не могла им оказаться еще одна германская субмарина, дававшая мне неожиданный шанс на спасение?

Читателю ни в коем случае не стоит принимать все, изложенное мною ниже, за объективную истину. Поскольку эти события не укладываются в рамки естественного порядка вещей, они неизбежно являются продуктом моего расстроенного воображения. Итак, поднявшись в рубку, я обнаружил подводное пространство в целом гораздо менее освещенным, чем ожидал его увидеть. Вокруг не было никаких фосфоресцирующих растений или животных, и спускавшийся к руслу реки город был окутан непроницаемым мраком. Что же касается зрелища, представшего передо мной по другую сторону рубки, то оно не показалось мне ни особо эффектным или абсурдным, ни тем более наводящим страх, однако оно погасило последнюю искру надежды, еще тлевшую в глубине моего сознания. *Ибо распахнутая дверь и окна вырубленного в скале подводного храма излучали яркий, слегка колеблющийся свет, напоминавший отблески огромного жертвенного костра, горевшего где-то далеко внутри здания.*

Мои последующие впечатления сумбурны и фрагментарны. По мере того как я все пристальнее вглядывался в эту

противоестественную картину, меня начали посещать разные видения — в глубине храма мне представлялись какие-то предметы и фигуры; некоторые из них перемещались, иные были неподвижны. Тогда же я вновь услышал те самые отдаленные звуки хора, которые впервые достигли моего слуха сразу же после пробуждения. Постепенно нараставшие во мне беспокойство и страх сконцентрировались вокруг молодого пришельца из моря и его резной статуэтки, во всех деталях повторявшей изображения на фризе и колоннах храма. Вспомнив бедного Кленца, я подумал о том, где может сейчас покоиться его тело вместе с этой статуэткой, унесенной им обратно в океан. Перед уходом он пытался меня о чем-то предупредить, но я не прислушался к его словам, — ведь это был всего лишь слабохарактерный и мягкотелый рейнландец, помешавшийся от невзгод и опасностей, которые уроженец Пруссии способен переносить без малейшего затруднения.

Мне остается добавить совсем немного. Навязчивая идея войти внутрь храма превратилась теперь в категорический, требующий беспрекословного подчинения приказ. Отныне моя германская воля не управляет уже моими поступками, но я пока могу выказывать самостоятельность во второстепенных вопросах. Эта же разновидность умственной болезни ранее погубила Кленца, заставив его устремиться в морскую пучину даже без элементарного защитного снаряжения; однако я, человек прусского склада ума и характера, намерен до конца использовать все те немногие возможности, которыми пока располагаю. Когда я понял, что мне так или иначе придется идти в храм, я первым делом тщательно осмотрел и подготовил к выходу свой водолазный костюм, шлем и регенератор воздуха, после чего взялся за составление этих поспешных записей в надежде, что они когда-нибудь станут достоянием гласности. Покидая — теперь уже навсегда — свою субмарину, я отправлю к поверхности океана запечатанную бутылку с этой рукописью.

Я не испытываю страха, меня также мало тревожат пророчества сумасшедшего Кленца. Все мною виденное не имеет ничего общего с реальной действительностью; в конечном итоге следствием моего безумия явится самая обыкновенная смерть от удушья, когда иссякнет запас кислорода. Горящий внутри храма свет — это не более чем обман зрения, так что мне предстоит по-немецки спокойно и мужественно встретить смерть в безмолвии и непроглядной тьме океанских вод. Демонический хохот, который я слышу, дописывая эти строки, на деле является лишь порождением моего угасающего рассудка. Теперь мне осталось лишь облачиться в водолазный костюм, открыть люк и бесстрашно войти в эту своеобразную древнюю усыпальницу, молчаливо хранящую тайны неизмеримых глубин и далеких забытых столетий.

КРЫСЫ В СТЕНАХ

Шестнадцатого июля 1923 года все работы в Экзем-Прайери были закончены, и я смог переехать туда. Реставрация потребовала колоссальных трудов, ведь от огромного пустого здания оставались лишь развалины, но, поскольку здесь когда-то находилось жилище моих предков, расходы меня не смущали. В доме никто не жил со времен короля Иакова I, когда и разыгралась ужасная, так и оставшаяся до конца не объясненной трагедия, жертвой которой пали хозяин дома, пятеро его детей и несколько слуг; третий же сын оказался под подозрением, вызывавшим всеобщий ужас. Это был мой прямой предок, единственный оставшийся в живых представитель проклятого рода.

Наследника сочли убийцей, и владение отошло верховной власти, а сам обвиняемый в кровавом преступлении не сделал попытки ни оправдаться, ни вернуть свою собственность. Гонимый чем-то более страшным, чем угрозы и законы, стремясь не видеть больше и не вспоминать отчий дом, Уолтер де ла Пор, одиннадцатый барон Экзем, бежал в Виргинию и положил там начало роду, известному в следующем столетии как Делапор.

Усадьба Экзем-Прайери осталась без хозяина, а впоследствии была передана во владение рода Норрисов и служила объектом пристального изучения благодаря своей довольно причудливой архитектуре, в которой готические башни со-

четались с романской постройкой, в свою очередь возведенной на фундаменте еще более ранних стилей или их смешении — римского и даже друидского и местного уэльского, если верить легендам. Здание отличается своеобразием: одна из его стен стоит вровень с отвесным обрывом из чистого известняка, с этого обрыва усадьба возвышается над уединенной долиной в трех милях западнее деревни Анчестер.

Архитекторам и любителям старины нравилось изучать эти странные памятники давних времен, но сельские жители питали к ним ненависть. Они ненавидели усадьбу и сотни лет назад, когда там обитали мои предки, и теперь — когда она пребывала в запустении, покрытая мхом и плесенью. Я не бывал в Анчестере раньше, зная, что принадлежу к проклятому роду. А на этой неделе рабочие взорвали Экзем-Прайери и сейчас уничтожают остатки фундамента.

Мне было известно о моем происхождении, было известно и то, что мой первый американский предок прибыл в колонию с подмоченной репутацией. Но подробностей я не знал — Делапоры отличались скрытностью. В отличие от живущих по соседству плантаторов мы не часто хвастались пращурами-крестоносцами или героями Средневековья и Возрождения и не блюли традиций, кроме одной: до самой Гражданской войны каждый владелец поместья оставлял старшему сыну запечатанный конверт, который следовало вскрыть после его смерти. Мы дорожили тем, чего сумели достичь после переселения, и нас знали как гордое и почитаемое, хотя несколько замкнутое и необщительное виргинское семейство.

В ходе войны наше достояние погибло, и сама наша жизнь совершенно переменялась — сторел Карфакс, наш дом на берегу реки Джеймс. Мой дед, весьма почтенного возраста, погиб во время этой трагедии, а вместе с ним и конверт, который связывал всех нас с прошлым. Я до сих пор помню пожар, пережитый в семилетнем возрасте: солдаты-федералы стреляли, женщины вопили, негры плакали и молились.

Отец мой был в армии, оборонял Ричмонд, и, одолев множество формальностей, мы с матерью перешли линию фронта, чтобы наконец соединиться с ним.

По окончании войны мы все перебрались на север, откуда была родом моя мать; там я вырос, состарился и добился наивысшего для флегматичных янки благосостояния. Ни отец, ни я ничего не знали о содержимом передававшегося по наследству конверта; и, поглощенный рутинной массачусетской деловой жизни, я утратил всякий интерес к тайнам, относящимся к далекому прошлому моего рода. Если бы я подозревал, каковы они, я бы предоставил Экзем-Прайери зарастать мхом и паутиной и служить убежищем для летучих мышей!

Отец умер в 1904 году, не оставив никакого послания ни мне, ни моему единственному сыну Альфреду, десятилетнему мальчику, росшему без матери. Именно мой сын, вопреки традиции, оказался источником сведений о нашем роде: я мог поделиться с ним только анекдотическими догадками относительно прошлого, в то время как он, попав в Англию в конце войны, в 1917 году (он был офицером авиации), изложил мне в письмах несколько весьма интересных семейных преданий. По всей видимости, Делапоры обладали весьма красочной и даже зловещей историей, как следовало из бытовавших в округе легенд, которые пересказал моему сыну его друг, капитан Эдвард Норрис из Королевских военно-воздушных сил, живший неподалеку от нашей родовой усадьбы в Анчестере, таких легенд, с которыми не всякие романы могли бы сравниться по буйству воображения и неправдоподобию. Норрис, разумеется, относился к ним не вполне серьезно, а для моего сына эти легенды послужили развлечением и дали ему материал для писем ко мне. Благодаря этим преданиям наследство за океаном привлекло к себе мое внимание, я решился приобрести и восстановить семейную усадьбу, которую Норрис продемонстрировал Альфреду во всем ее живописном запустении и предложил

купить по весьма сходной цене, поскольку теперешним владельцем оказался его собственный дядя.

Я приобрел Экзем-Прайери в 1918 году, но почти сразу же был вынужден отказаться от дальнейших планов на его счет, поскольку мой сын вернулся домой полным инвалидом. Те два года, что он еще прожил, я посвятил заботам о нем и даже предоставил партнерам ведение своих дел.

В 1921 году, полностью удалившись от дел и не имея цели в жизни, я решил оставшиеся годы посвятить своему приобретению. Посетив Анчестер в декабре того же года, я познакомился с капитаном Норрисом, пухлым дружелюбным молодым человеком, много рассказывавшим о моем сыне, и заручился его содействием в сборе чертежей и всяческих сведений, которые могли бы помочь мне в восстановлении дома. Экзем-Прайери не вызвал у меня никаких чувств: это была груда грозящих вот-вот упасть средневековых развалин, покрытых лишайниками и испещренных грачиными гнездами, торчавшая на откосе, без полов и перекрытий, — только каменный остов стоящих порознь башен.

Постепенно восстановив для себя облик дома, каким он был триста лет назад, когда его покинули мои предки, я занялся наймом рабочих. Мне пришлось искать их вдалеке от Анчестера, так как местные жители испытывали к усадьбе страх и ненависть, которые трудно себе представить. Эти чувства были так сильны, что порой заражали и приезжих рабочих, отчего многие из них оставляли работу; а страх и ненависть распространялись не только на усадьбу, но и на мой род.

В свое время сын рассказывал мне, что ощущал настороженность окружающих во время его визитов в эти места, так как он из рода де ла Пор, теперь и я чувствовал это отчуждение, чувствовал, пока не убедил жителей деревни в том, что почти ничего не знаю о своем наследстве. Но и тогда я не совсем преодолел их неприязнь, и деревенские предания мне пришлось узнавать от Норриса. Возможно, мне

не могли простить намерения восстановить ненавистный символ, поскольку — обоснованно или нет — Экзем-Прайери виделся им как логово извергов и оборотней.

Собрав воедино рассказы Норриса и добавив к ним отчеты нескольких ученых, исследовавших развалины, я пришел к выводу, что Экзем-Прайери возведен на месте доисторического храма, друидского или даже более раннего, современного Стонхенджу. Несомненно, здесь совершались не поддающиеся описанию ритуалы, и, судя по весьма прискорбным рассказам, эти ритуалы перешли в культ Кибелы, занесенный римлянами.

На стенах нижнего подвала до сих пор еще виднелись ясно читаемые буквы: «DIV...OPS...MAGNA.MAT...», знаки Великой матери, чей темный культ когда-то тщетно запрещали в Риме. В Анчестере, судя по многочисленным свидетельствам, некогда располагался лагерь третьего легиона императора Августа; и считается, что храм Кибелы был великолепен и полнился толпами адептов, которые, повинувшись фригийскому жрецу, совершали страшные церемонии. Как свидетельствуют легенды, падение старой религии не прекратило оргий в храме, а священнослужители и в новой вере продолжали жить без больших перемен. Из тех же источников известно, что ритуалы не исчезли с властью римлян и что к уцелевшим приверженцам культа добавились и саксы, которые, придав этим обрядам сохранившийся в дальнейшем вид, превратили это место в центр культа, наводившего ужас на половину Гептархии. Около 1000 года нашей эры в хрониках упоминается стоявшая здесь мощная каменная обитель странного и могучего монашеского ордена, окруженная обширными садами, к которым перепуганные жители соседних деревень не смели приблизиться, хотя их не окружали стены. После норманнского завоевания Англии обитель, хотя и не была разрушена, пришла в страшный упадок, поэтому ничто не препятствовало тому, чтобы Генрих III в 1261 году пожаловал эти земли моему предку, Гилберту де ла Пору, первому барону Экзему.

До этого времени о моем роде нет никаких порочащих сведений, но затем, очевидно, что-то произошло. В одной из хроник, датированной 1307 годом, упоминается «проклятый богом де ла Пор», в устных же преданиях нет ничего, кроме неистребимого злобного страха, внушенного замком, возведенным на фундаменте древнего храма и монастыря. Рассказы о жизни обитателей замка ходили самые жуткие, казавшиеся еще страшнее из-за своей опасливой сдержанности и расплывчатости. В них мои предки представляли как племя демонов, перед которыми Жиль де Ретц и маркиз де Сад кажутся сушими младенцами; в частности, там содержались невнятные намеки на то, что по вине владельцев Экзем-Прайери на протяжении нескольких поколений исчезали жители деревни.

Самыми черными злодеями представляли бароны и их прямые наследники, во всяком случае, так явствовало из большинства преданий. Те, кто не был отмечен печатью зла, умирали таинственной смертью в юном возрасте, уступая место другим, более типичным отпрыскам. Очевидно, в семье под предводительством главы дома существовал свой культ, который временами насчитывал всего лишь несколько человек. Участие в нем обуславливалось скорее характером, нежели принадлежностью к роду, поскольку среди его приверженцев были люди, связанные с де ла Порами узами брака. Леди Маргарет Тревор из Корнуолла, жена Годфри, второго сына пятого барона Экзема, именем которой пугали детей по всей округе, стала демонической героиней особенно страшной старинной баллады, до сих пор бытующей в областях, граничащих с Уэльсом. Сохранилась и совершенно другого рода легенда, отвратительный рассказ о леди Мэри де ла Пор, которая вскоре после свадьбы с графом Шроусфилдом была убита мужем и свекровью, причем оба убийцы получили отпущение грехов и благословение священника, которому они исповедались в том, что не осмелились повторить людям.

Эти предания и баллады, полные грубых суеверий, вызывали у меня страшное раздражение. Их неистребимость и постоянное упоминание в них моих предков были особенно досадны, так как обвинения в приверженности к чудовищным обычаям казались мне сущим вымыслом, если не считать известного скандала с моим близким родственником, молодым Рэндольфом Делапором из Карфакса, который якшался с неграми, а после возвращения с мексиканской войны сделался жрецом вуду.

Гораздо меньше меня трогали довольно туманные рассказы о стенаниях и воплях в открытой ветрам долине под известковым обрывом; о зловонии на кладбище после весенних дождей; о барахтающейся и визжащей белой твари, которую растоптал конь сэра Джона Клейва ночью в безлюдном поле; о каком-то слуге, лишившемся рассудка из-за того, что ему довелось увидеть в обители средь бела дня. Истории эти казались мне банальными сказками о призраках, а я в то время был отъявленным скептиком. Рассказы о пропавших крестьянах выкинуть из головы было труднее, хотя, принимая во внимание средневековые обычаи, не следовало придавать им особого значения. Любопытство часто каралось смертью, и не одна отрубленная голова бывала выставлена всем напоказ на укрепленных стенах — теперь исчезнувших — вокруг Экзем-Прайери.

Некоторые истории отличались необычайной красочностью, и я пожалел, что в юности не занимался сравнительной мифологией. Например, существовало поверье, что еженощно в обители справляет колдовской шабаш множество демонов с крыльями как у летучих мышей, для пропитания которых, вероятно, требовалось невероятно огромное количество крупных плодов, вызревавших в обширных садах. А самым ярким из всех было драматическое повествование о крысах — о стремительной армии отвратительных паразитов, хлынувшей из замка через три месяца после трагедии, обрекшей его на запустение, — отощавшей, грязной, изго-

лодавшейся армии крыс, сметавшей все на своем пути и пожиравшей домашнюю птицу, кошек, собак, свиней, овец, жертвой которой пали даже двое злополучных прохожих. Полчища крыс сновали между деревенскими домами, сея ужас и вызывая проклятия. Эта армия грызунов вызвала к жизни отдельный цикл легенд.

Таких вот рассказов я наслушался, пока по-старчески придирчиво следил за завершающими работами по восстановлению родовой усадьбы. Не стоит, однако, думать, что именно они определяли психологическую атмосферу вокруг меня. Капитан Норрис и всякие любители старины, напротив, постоянно поощряли и воодушевляли меня. После двух лет со дня начала работ реставрация была закончена, и я с гордостью, вполне искупавшей огромные расходы, осматривал великолепные комнаты, обшитые деревянными панелями стены, высокие своды, переплеты окон и широкие лестничные пролеты.

Все особенности средневековой архитектуры были искусно воспроизведены, а заново возведенные стены ничем не отличались от подлинных. Итак, дом моих предков был восстановлен, и мне предстояло очистить от дурной славы род, который заканчивался на мне, по крайней мере в здешних местах. Я решил жить тут постоянно и доказать, что де ла Пор (я снова вернулся к изначальному написанию имени) не обязательно должен быть злодеем. Возможно, моей решимости способствовало и то, что, хотя Экзем-Прайери снаружи ничем не отличался от средневековой постройки, внутри был полностью обновлен и чист от старых призраков и всяких грызунов.

Как я уже говорил, я поселился здесь шестнадцатого июля 1923 года. Моими домочадцами были семеро слуг и девять кошек, к последним я питал нежную любовь. Старший кот, по имени Черномазый, прожил у меня семь лет и вместе со мной переехал из Болтона, штат Массачусетс; остальных я собрал, живя вместе с семейством капитана Норриса, пока шли восстановительные работы.

Пять дней наша жизнь текла совершенно безмятежно. Я проводил большую часть времени за систематизацией старинных семейных сведений. Теперь я располагал подробными описаниями случившейся трагедии и бегства Уолтера де ла Пора. Думаю, что в передаваемой из поколения в поколение бумаге, сгоревшей во время пожара в Карфаксе, содержалось нечто подобное. Очевидно, моего предка вполне обоснованно обвиняли в том, что он убил — за исключением четверых слуг-соучастников — всех домочадцев, пока те спали, спустя две недели после потрясшего его, изменившего всю его жизнь открытия, о котором он никому не говорил прямо, кроме, возможно, слуг, помогавших ему и затем навсегда исчезнувших.

На это преднамеренное убийство, жертвами которого пали отец, три брата и две сестры, окрестные жители посмотрели сквозь пальцы, а закон отреагировал так слабо, что преступнику, целому и невредимому, удалось, почти не скрываясь, выехать в Виргинию; по преданиям, он проклял это место древним проклятием. Что за открытие толкнуло его на убийство, я мог только предполагать. Уолтер де ла Пор должен был с детства знать зловещие рассказы о собственном роде, следовательно, не они побудили его совершить ужасное деяние. Что же произошло? Стал он свидетелем какого-то отвратительного древнего обряда или натолкнулся на пугающий обличительный символ в усадьбе или по соседству? В Англии его считали робким, мягким юношей. В Виргинии он казался не столько суровым и жестоким, сколько встревоженным и испуганным. В дневнике Фрэнсиса Харли из Беллвью, другого джентльмена, жизнь которого была полна приключений, Уолтер де ла Пор упоминается как человек беспримерной справедливости, чести и утонченности.

Двадцать второго июля произошел случай, который в то время не привлек к себе внимания, зато потом, в свете последовавших событий, приобрел исключительное значение.

Случай был настолько незначительный, что мог бы остаться совсем незамеченным; и мне следует еще раз подчеркнуть, что, поскольку я жил в совершенно новом — если не считать стен — доме в окружении хорошо вышколенных слуг, мрачные предчувствия казались нелепыми, несмотря на дурную славу этого места.

Как я потом припомнил, случилось вот что: мой старый черный кот, повадки которого я хорошо знал, был явно встревожен, вопреки обыкновению. Он беспокойно блуждал по готической башне из комнаты в комнату, не переставая обнюхивать стены. Я сознаю, насколько банально это звучит — совсем как неперенный пес в истории с привидениями, вой которого всегда предшествует появлению перед его хозяином закутанной в простыни фигуры, — но ничего не могу поделать.

На следующий день один из слуг пожаловался, что все кошки в доме ведут себя беспокойно. Он пришел ко мне в кабинет, просторную комнату в западной части дома, с крестовым сводом, панелями черного дуба и трехстворчатым готическим окном, в которое виднелись известняковый обрыв и уединенная долина; и пока он рассказывал, мне на глаза попался Черномазый, кравшийся вдоль западной стены и царапавший новые панели, закрывавшие старые каменные стены.

Я объяснил слуге, что это, должно быть, какой-то особый запах, возможно, испарения старого камня, недоступные человеческому восприятию, которые более чувствительные органы кошек улавливают даже через новые деревянные панели. В тот момент я думал так вполне искренне и, когда слуга предположил, что это могут оказаться мыши или крысы, ответил, что никаких крыс здесь не было целых триста лет, а полевые мыши с окрестных полей вряд ли могут забраться в эти высокие стены, где, насколько известно, их никогда не видели. Вечером того же дня я посетил капитана Норриса, и он уверил меня, что полевые мыши не в со-

стоянии заселить дом столь быстро — это совершенно невероятно.

С наступлением ночи я, как обычно, отпустив слугу, удалился в спальню в западной башне, отделенную от кабинета каменной лестницей и недлинной галереей — лестница частично сохранилась, а галерея была восстановлена из руин. Спальня, круглая, очень высокая комната без деревянных панелей, завешенная гобеленами, которые я собственноручно выбирал в Лондоне, освещалась электрическими лампочками, искусно имитирующими свечи.

Убедившись, что Черномазый со мной, я захлопнул тяжелую готическую дверь, спустя какое-то время выключил свет и лег на резную кровать с балдахином и пологом, а почтенный кот забрался, как обычно, ко мне в ноги. Не задерживая полога, я смотрел в выходящее на север узкое окно. Небо чуть светлело от приближающейся зари, и на нем изящно вырисовывался ажурный силуэт оконного переплета.

Какое-то время я спал, потому что помню странный обрывок сна, прерванного тем, что спокойно лежавший кот вдруг вскочил. В рассветном полумраке мне было видно, как он стоит: шея вытянута, передние ноги на моих лодыжках, задние ноги выпрямлены. Кот устоял на какое-то место на стене чуть западнее окон, по-моему ничем не отличавшееся от остальной стены, но и я устремил взгляд туда же.

Присмотревшись, я понял, что у кота была причина волноваться. Не могу сказать с уверенностью, что гобелен шевельнулся, хотя мне кажется, что шевельнулся, но еле заметно. Однако ручаюсь, что услышал тихую отдаленную беготню мышей либо крыс. Кот мгновенно прыгнул, и под его тяжестью один из гобеленов упал на пол, обнажив сырую старую каменную стену с новой кладкой в нескольких местах. Там не было и следа грызунов.

Черномазый пробежался в ту и в другую сторону вдоль стены, пробуя когтями упавшую ткань и пытаясь просунуть лапу между стеной и дубовым полом. Он ничего не обнару-

жил и спустя какое-то время, потеряв терпение, улегся на прежнее место поперек кровати. Я лежал не шевелясь, но заснуть не мог.

Наутро я опросил всех слуг и обнаружил, что никто из них не заметил ничего необычного, кроме поварихи, которая вспомнила, как вел себя кот, спавший у нее на подоконнике. В какой-то момент ночью кот, протяжно замыкая, разбудил повариху, и та увидела, как он стремглав вылетел в открытую дверь и помчался вниз по лестнице. Днем я подремал и вечером вновь зашел к капитану Норрису, которого очень заинтересовал мой рассказ. Странные происшествия — совершенно незначительные, но любопытные — привлекли его своей живописностью и дали повод припомнить многочисленные истории о призраках. Нас обоих обеспокоило появление крыс, и Норрис одолжил мне парижской зелени и несколько ловушек, которые я по возвращении домой отдал слугам, чтобы те разместили их в нужных местах.

Спать хотелось, и я лег рано, но меня тревожили самые ужасные сны. Казалось, я гляжу с головокружительной высоты вниз, в сумеречный грот, по колено наполненный отбросами, где белобородый демон гоняет посохом стадо каких-то одутловатых вялых животных, вид которых вызвал у меня неопишное отвращение. Затем, прервав свое занятие, он кивнул головой, после чего огромная стая крыс ринулась вниз, в зловонную пропасть, и пожрала и стадо, и пастуха.

Жуткое видение внезапно исчезло — меня разбудил Черномазый, по обыкновению спавший у меня в ногах. В этот раз я понял, отчего он фыркает и шипит, отчего вонзает когти мне в ногу, не сознавая, что причиняет боль. Ото всех стен комнаты неслись зловещие звуки — ужасный шорох от лап огромных голодных крыс. Еще не светало, и не было видно, что творится под тяжелой тканью — упавший гобелен уже висел на месте, — но я не настолько испугался, чтобы не зажечь свет.

При свете ламп я увидел, что ткань, закрывавшая стены, сотрясалась в некоем особом ритме — танец смерти шевелил гобелены. Почти сразу же движение, а за ним и шум прекратились. Вскочив с постели, я ткнул в один из гобеленов рукояткой грелки с углями, стоявшей поблизости, а затем приподнял его, чтобы посмотреть, что за ним творится. Но там не было ничего, кроме неровной каменной стены, да и кот перестал ощущать присутствие таинственных визитеров. Осмотрев круглую ловушку, стоявшую в комнате, я обнаружил захлопнутые дверцы, но не нашел никаких следов того, что в нее кто-то попался и сбежал.

О том, чтобы спать дальше, не могло быть и речи; поэтому, взяв зажженную свечу, я открыл дверь и по галерее направился к старинной лестнице, ведущей к кабинету. Черномазый следовал за мной по пятам. Но прежде чем мы дошли до каменных ступеней, кот обогнал меня, понесся вниз и исчез. Спустившись по ступеням, я убедился, что шум доносится из большого зала внизу, и в природе этого шума нельзя было усомниться.

За дубовыми панелями кишели крысы, они носились вдоль стен, а Черномазый, предвкушавший охоту, бегал кругом в ярости и недоумении. Когда я зажег свет внизу, шум не утих. Крысы продолжали бесчинствовать, их было слышно так отчетливо, что я в конце концов уловил, в каком направлении они перемещались. Эти существа в неисчислимых, по всей видимости, количествах совершали чудовищную миграцию с непостижимой высоты вниз, на какую-то достижимую или недостижимую глубину.

Я услышал шаги в коридоре, и в ту же минуту двое слуг распахнули массивные двери. Они искали по всему дому источник непонятного беспокойства, повергшего всех кошек в злобную панику, заставившего их стремительно преодолеть несколько пролетов лестницы и с мяуканьем усесться перед закрытой дверью в нижний подвал. Я выяснил у слуг, что крыс они не слышали, а попытавшись привлечь их вни-

мание к раздававшимся за панелями звукам, вдруг понял, что шум стих.

В сопровождении двух слуг я дошел до двери нижнего подвала, но обнаружил, что кошки уже разбежались. Я решил спуститься и обследовать подземную крипту позже, а пока просто обошел все ловушки. Все они оказались захлопнутыми, но ни в одну никто не попался. Удовлетворившись тем, что никто, кроме меня и кошек, не слышал крыс, я просидел в кабинете до утра, глубоко задумавшись и вспоминая известные мне легенды о доме, где я обитал.

Я немного подремал днем, полулежа в удобном кресле, с которым не расстался, несмотря на решение обставить дом в средневековом стиле. Позже я позвонил капитану Норрису, и он пришел, чтобы помочь мне в исследовании нижнего подвала.

Ничего неподобающего обнаружено не было, но, сообразив, что склеп сооружен руками римлян, мы ощутили понятный трепет. Все низкие арки и массивные колонны были римскими — не поддельными романскими, работы неумелых саксов, а строгими, исполненными классической гармонии — времен цезарей; стены изобиловали надписями, хорошо знакомыми любителям старины, которые постоянно изучали здание, — надписями наподобие «P. GETAE. PROP... TEMP... DONA...» и «L. PRAEC... VS... PONTIFI... ATYS...»

Упоминание Аттиса заставило меня вздрогнуть, ведь я читал Катулла и немного знал о чудовищных обрядах культа восточного бога, связанного с культом Кибелы. При свете фонарей мы с Норрисом безуспешно пытались разобрать старые, почти стершиеся письма на грубо вытесанных прямоугольных каменных блоках, которые, как принято считать, служили алтарем. Один из рисунков, напоминавший солнце с лучами, был, по мнению ученых, дорийского происхождения, и это позволяло предполагать, что римские жрецы просто использовали алтарь более древнего святилища

какого-то местного культа. Меня потрясли бурые пятна на одном из этих каменных блоков. Самый большой камень в центре помещения носил явные следы огня, возможно от сожжения жертв.

Таковы были достопримечательности крипты, куда накануне с мяуканьем рвались кошки и где мы с Норрисом решили провести ночь. Слугам, которые принесли для нас кушетки, было велено не обращать внимания на ночные проделки кошек, а Черномазому позволили остаться с нами — в качестве помощника и компаньона. Мы решили плотно закрыть тяжелую дубовую дверь, сделанную реставраторами по старинным образцам, с вентиляционными отверстиями, и, подготовившись таким образом, остались одни, при зажженных фонарях, в ожидании неведомых событий.

Склеп находился глубоко в основании монастыря, намного глубже поверхности известнякового обрыва, высившегося над уединенной долиной. Именно склеп был целью необъяснимого нашествия крыс, я не сомневался в этом, хотя затруднился бы объяснить почему. Мы лежали в ожидании, и я чувствовал, что бдение мое порою перемежается неотчетливыми снами, от которых меня пробуждало беспокойное шевеление кота, лежащего у меня в ногах. Сны эти не повторяли в точности, но разительно напоминали тот, что снился мне накануне ночью. Я вновь видел сумеречный грот, пастуха с бесчисленным стадом похожих на грибы животных, валявшихся в грязи, и, по мере того как я смотрел, они оказывались все ближе и были видны все отчетливее — настолько, что я почти различал их черты. Затем я взгляделся в одутловатую морду одного из них — и проснулся с криком, заставившим Черномазого подскочить, а бодрствовавшего капитана Норриса — расхохотаться. Не знаю, хохотал бы Норрис больше или меньше, знай он, что именно заставило меня вскрикнуть. Но я и сам вспомнил об этом гораздо позже. Запредельный ужас, бывает, милосердно отнимает память.

Когда события начались, Норрис разбудил меня. Он тихонько тряс меня, призывая прислушаться, и я очнулся — от тех же пугающих снов. Действительно, было что послушать: за закрытой дверью разыгрывался истинный кошмар: кошки скреблись и вопили, а Черномазый, не обращая внимания на своих сородичей снаружи, возбужденно бегал вдоль каменных стен, в которых я слышал топот стремительно мчащихся крыс, точь-в-точь как накануне ночью.

Меня пронзил ужас, поскольку это не поддавалось разумному объяснению. Крысы, если только они не были порождением безумия, охватившего только меня и кошек, прогрызли ходы и беспрепятственно передвигались в римских стенах, которые казались мне сооруженными из мощных известняковых блоков... если только под разрушительным действием воды там не образовались извилистые галереи, расчищенные и расширенные телами грызунов...

Допустим, что так, но от этого ужас не становился слабее, ведь если это были живые грызуны, отчего Норрис не слышал их мерзкой возни? Почему он хотел привлечь мое внимание к поведению Черномазого и к воплям кошек за дверью и лишь смутно, неясно догадывался, что именно привело их в неистовство?

К тому времени, когда мне удалось объяснить ему, по возможности разумно, что, как мне кажется, я слышу, последние звуки стремительного бега затихли, удаляясь ВСЕ ГЛУБЖЕ, намного глубже самого нижнего подвала. Казалось, весь известняковый утес изгрызен, как решето, полчищами рыскающих грызунов, Норрис воспринял объяснение не так скептически, как я ожидал, казалось, он был глубоко потрясен. Он жестом призвал меня убедиться, что кошки у двери прекратили шуметь, словно считая крыс потерянными для себя; но Черномазым вновь овладел приступ беспокойства, и он царапал когтями пол у основания большого каменного алтаря в центре, который был ближе к кушетке Норриса, чем к моей.

Я испытывал страх перед неведомым. Случилось нечто поразительное, и я видел, что капитан Норрис, который был моложе, сильнее и, естественно, намного прозаичнее меня, был взволнован в той же мере, что и я, возможно, из-за того, что вырос на здешних легендах. Какое-то время мы могли лишь наблюдать за старым черным котом, который все еще скреб лапами у основания алтаря, но не так яростно, и то и дело просительно поглядывая на меня и мяукая, как в тех случаях, когда хотел, чтобы я что-то сделал для него.

Норрис поднес фонарь к алтарю и рассмотрел место, которое царапал Черномазый; после чего, не говоря ни слова, он опустился на колени и счистил лишай столетней давности с массивного камня дорийских времен на мозаичный пол. Не обнаружив ничего, он готов был прекратить изыскания, как вдруг я заметил вещь весьма обычную, от которой, однако, меня бросило в дрожь, хотя, в сущности, она лишь подтверждала мои предположения.

Я поделился своим наблюдением с Норрисом, и мы оба, захваченные этим открытием, не отрываясь глядели на слабое трепетание пламени стоявшего поблизости фонаря от дуновения воздуха, который явно просачивался в щель между полом и алтарем в том месте, где были счищены лишай.

Остаток ночи мы провели в ярко освещенном кабинете, возбужденно обсуждая план наших будущих действий. То, что под самой глубокой кладкой римских времен, под этим проклятым зданием существует еще один склеп, о котором не подозревали вездесущие любители старины в течение трех веков, было достаточным поводом, чтобы потрясти нас даже без всяких зловещих событий. Мы не знали, как поступить — то ли прекратить поиски и навсегда оставить дом под суеверным подозрением, то ли дать волю своей смелости и любви к приключениям, несмотря на ужасы, которые могут ожидать нас на неизвестных глубинах.

К утру мы договорились поехать в Лондон и собрать группу археологов и ученых, которые смогли бы разгадать

тайну. Надо сказать, что, прежде чем покинуть нижний подвал, мы тщетно пытались сдвинуть центральный алтарь, который теперь стал для нас воротами в новую преисподнюю безымянного страха. Какая тайна спрятана за этими воротами, должны открыть люди мудрее нас.

В течение многих дней, проведенных в Лондоне, капитан Норрис и я излагали факты, легенды и наши предположения пяти известным ученым, от которых можно было ожидать тактичного отношения к любым открытиям, если таковые последуют в результате будущих исследований. Мы обнаружили, что большинство ученых не расположены к насмешкам, но, напротив, искренне заинтересовались нашим рассказом и настроены сочувственно. Вряд ли необходимо называть их всех, но могу сказать, что в их числе был сэр Уильям Бринтон, чьи раскопки в Троаде в свое время потрясли мир. Оказавшись вместе со своими спутниками в поезде, направлявшемся в Анчестер, я ощутил приближение ужасающих открытий, и это ощущение напомнило мне о траурной атмосфере в Америке, на другом краю земного шара, при известии о безвременной кончине президента.

Вечером седьмого августа мы добрались до Экзем-Прайе-ри, где, по словам слуг, ничего необычного за время моего отсутствия не произошло. Мы решили начать исследования на следующий день, а пока я предоставил в распоряжение каждого из гостей прекрасную комнату.

Сам я отправился в свою спальню в башне, и Черномазый улегся у меня в ногах. Заснул я скоро, но меня мучили отвратительные сны. Видение римского празднества, наподобие пира Тримальхиона, где посреди роскошного стола на блюде, закрытом крышкой, лежало нечто ужасное. Затем повторился проклятый сон о пастухе и его мерзком стаде в сумеречном гроте. Но когда я проснулся, было уже светло и снизу доносились привычные звуки. Крысы, ни живые, ни призрачные, меня не тревожили, а Черномазый все еще спокойно спал. Когда я спустился вниз, там, как и везде, царила

тишина, которую один из приглашенных ученых — Томпсон, знаменитый спирит, — объяснил довольно нелепо, считая, что именно теперь мне предстоит увидеть то, что собираются явить некие силы.

Все было готово, и в одиннадцать утра вся наша группа, насчитывающая семь человек, неся мощные электрические прожектора и инструменты для раскопок, спустилась в нижний подвал и заперла за собой дверь. Черномазого взяли с собой — у исследователей не было оснований не доверять его чутью, и нас беспокоило лишь, как он поведет себя в случае появления таинственных грызунов. Мы бегло осмотрели римские надписи и рисунки на неизвестно кому принадлежавшем алтаре, поскольку трое из присутствующих ученых уже видели их, а все остальные знали по описаниям. Самым значимым объектом нам казался центральный алтарь, и спустя час сэр Уильям Бринтон, используя неизвестной конструкции противовесы, сумел опрокинуть его на мозаичный пол.

Открывшееся зрелище было так ужасно, что, не будь мы подготовлены к нему, могло бы нас ошеломить. Сквозь почти квадратное отверстие в мозаичном полу виднелись каменные ступеньки, так чудовищно истертые, что в середине они казались просто наклонной плоскостью, и эти ступеньки были завалены устрашающей массой человеческих либо похожих на человеческие костей. Сохранившиеся скелеты застыли в паническом страхе. На всех костях виднелись следы крысиных зубов. Черепа свидетельствовали о явном идиотизме, кретинизме либо примитивности пещерного человека.

Ступеньки, засыпанные грудой костей, вели вниз, в туннель, вытесанный в крепкой скале, по которому поступал поток воздуха. Не внезапный порыв ядовитого воздуха из затхлого склепа, а прохладный легкий ветерок, приносивший некоторую свежесть. Мы ненадолго замерли, но вскоре принялись лихорадочно расчищать ступеньки. Именно то-

гда сэр Уильям, исследовав тесные стены, сделал странное замечание: он сказал, что туннель, судя по направлению ударов, очевидно, высечен *изнутри*.

Теперь мне следует быть очень внимательным и тщательно подбирать слова.

Очистив от груды погрызенных костей несколько ступенек, мы увидели, что сверху идет свет; не таинственное фосфоресцирование, а обычный дневной свет, который не мог пробиться иначе, чем через неисследованные трещины в известняковой скале. Эти трещины не были обнаружены на поверхности, что вряд ли удивительно, ведь в долине никто не жил, а скала возвышалась над ней так отвесно, что для подробного изучения требовался аэроплан. Еще несколько ступенек, и у нас перехватило дыхание при виде представшей нашим глазам картины, буквально перехватило — Торнтон, спирт, без чувств упал на руки другого ошеломленного участника нашей экспедиции, стоявшего позади него. Норрис, чье округлое лицо сделалось белым как мел и как-то обвисло, выкрикнул что-то неразборчивое, а с моих губ сорвался не то вздох, не то шипение, и я закрыл глаза. Стоявший за мной человек — единственный из всех присутствующих старше меня — выкрикнул банальное «о боже!» самым хриплым голосом, какой мне когда-либо доводилось слышать. Из всех нас, семерых образованных людей, лишь сэр Уильям Бринтон сохранил самообладание, и это, несомненно, можно поставить ему в заслугу, тем более что он возглавлял группу и увидел все первым.

Перед нами был сумеречный грот, очень высокий, простирившийся так далеко, что не охватить взглядом; подземный мир безграничной тайны и ужасающих предположений. Здесь были камни и руины — я со страхом окинул взглядом таинственный ряд могильников, грубо очерченный круг каменных глыб, низкие сводчатые римские развалины, рухнувшее здание в романском стиле, древнеанглийскую деревянную постройку, но все это бледнело перед жутким зре-

лищем, какое представляла собой земля. Вокруг ступенек, куда ни взглянешь, громоздилась безумная путаница человеческих костей или, по крайней мере, столь же похожих на человеческие, как те, что валялись на лестнице. Кости вздымались, как вспененное море, какие-то лежали поодаль, можно было различить совершенно или частично целые скелеты, которые, застыв в дьявольском неистовстве, либо оборонялись от какой-то опасности, либо сжимали скелеты своих жертв с несомненно каннибальскими намерениями.

Доктор Траск, антрополог, кончив классифицировать черепа, обнаружил смещение, поставившее его в тупик. По большей части это были черепа существ, стоящих ниже в развитии, чем пилтдаунский человек, но, во всяком случае, определенно людей. Множество черепов принадлежало особям, стоявшим на более высокой ступени развития, и совсем немногие относились к вполне развитым типам. Все кости были погрызены крысами, но встречались и отметки зубов получеловеческого стада. С ними были перемешаны и крошечные косточки крыс — погибших солдат смертоносной армии, закончившей старинную сагу.

Я задавался вопросом, сумеет ли кто-нибудь из нас, пережив этот день страшных открытий, сохранить душевное здоровье. Гротескное готическое воображение Гофмана или Гюисманса не могло бы измыслить сцены более дикой и невероятной, более безумной и более отталкивающей, чем потрясший нас сумеречный грот. Одно открытие следовало за другим, но мы пытались пока не думать о событиях, происходивших здесь триста, тысячу, две тысячи или десять тысяч лет назад. Это было преддверие преисподней, и бедный Торнтон снова лишился чувств, когда Траск сказал ему, что некоторые скелеты принадлежат существам, опустившимся до уровня четвероногих за последние двадцать или более поколений.

Ужас все нарастал по мере того, как мы осматривали развалины. Четвероногие — и случайное пополнение из класса

двуногих — содержались в каменных загонах, из которых они, должно быть, вырвались в предсмертном голодном иступлении или в паническом страхе перед крысами. Их были целые стада, а на корм им, очевидно, шли грубые овощи, остатки которых в виде отвратительного силоса лежали на дне огромных каменных закромов доримских времен. Теперь я понял, почему сады моих предков были так обильны, — боже, как бы мне хотелось забыть об этом! О назначении стад я мог не спрашивать.

Сэр Уильям, стоя со своим прожектором в римских развалинах, вслух переводил надписи, свидетельствующие о самом омерзительном ритуале из всех, о которых мне доводилось слышать. Он рассказывал о ритуальной пище допотопного культа, которую впоследствии использовали и жрецы Кибелы. Норрис, прошедший войну Норрис, выйдя из древнеанглийской постройки, нетвердо держался на ногах. Постройка оказалась бойней и кухней, как он и предполагал, но видеть знакомую английскую утварь и читать знакомые английские graffiti, датированные 1610 годом, в таком месте — это было слишком. Я не рискнул пойти в это сооружение, дьявольская деятельность в котором прекратилась лишь благодаря кинжалу моего предка, Уолтера де ла Пора.

Но зато отважился войти в низкое романское здание с выбитой дубовой дверью и обнаружил там страшный ряд каменных камер с ржавыми прутьями. Три из них не были пусты: там оказались хорошо сохранившиеся скелеты, и на указательном пальце одного из них я увидел кольцо-печатку с моим собственным фамильным гербом. Под римским святилищем сэр Уолтер открыл склеп с более древними камерами, но они были пусты. Еще ниже — крипта с гробами, где находились скелеты, уложенные в соответствии с ритуалом; на некоторых надгробьях сохранились чудовищные параллельные надписи на латинском, греческом и фригийском языках.

Тем временем доктор Траск вскрыл один из доисторических могильников и извлек оттуда черепа — немногим более

похожие на человеческие, чем череп гориллы, — с изумительными резными украшениями. Весь этот кошмар оставил моего кота невозмутимым. Один раз я увидел его сидящим на чудовищной груде костей и задумался, в какие тайны проникает взгляд его желтых глаз.

В какой-то мере осознав ужасающие открытия, сделанные в сумеречном гроте — так отвратительно предсказанном моим повторяющимся сном, — мы направились к черной как ночь, на вид бесконечной пещере, куда не пробивался ни один луч света сквозь трещины в скале. Мы никогда не узнаем, какие невидимые стигийские миры разверзаются дальше, за небольшим пространством, которое мы прошли, — такие тайны губительны для человечества. Мы не уходили далеко от прожекторов, освещавших бесконечные проклятые ямы, где некогда устраивали пиршества крысы, ямы, внезапное оскудение которых заставило голодную армию грызунов сначала броситься на стада живых существ, оставшихся без пищи, а затем выплеснуться из монастырского здания в опустошительной оргии, которую никогда не забудут окрестные жители.

Боже мой! Эти отвратительные черные ямы с изгрызенными осколками костей и разбитыми черепами! Эти кошмарные расселины, заполнявшиеся костями питекантропов, кельтов, римлян и англичан в течение многих греховных столетий! Глубину некоторых из них, набитых до краев, невозможно было определить. На дне других, куда не доходили лучи наших прожекторов, роились не имеющие имени образы. А как же, подумал я, злополучные крысы, которые, рыская по этому жуткому Тартару, случайно свалились в какую-нибудь из расселин?

Я поскользнулся на краю зияющего рва, и меня охватил приступ невыносимого страха. Когда я пришел в себя, кругом не было никого, кроме пухленького капитана Норриса. Затем из кромешной тьмы, из жуткого отдаления донесся звук, мне показалось, я узнаю его; мой старый черный кот

тут же понесся мимо меня, наподобие крылатого египетского бога, в бесконечные пропасти неведомого. Я следовал за ним по пятам, спустя секунду все мои сомнения развеялись — это слышался таинственный стремительный бег крыс, порожденных адом, крыс, всегда ищущих новые ужасы, решивших увлечь меня на расплату в эти ослабившиеся пещеры к центру земли, где безумный безликий бог Ньярлатотеп слепо завывает во тьме под мелодию флейт, на которых играют два призрачных слабоумных музыканта.

Мой фонарь погас, но я продолжал бежать. Мне слышались голоса, и вой, и эхо, но, перекрывая все, раздавался усиливающийся звук коварного, мерзостного, стремительного бега; он постепенно рос и рос, подобно закованному, покрытому пятнами трупу, который тихонько вздымается над маслянистой рекой, текущей под бесконечными мостами из оникса к черному гнилому морю.

Что-то с разбега налетело на меня — что-то мягкое и пухлое. Должно быть, это крысы; тягучая, студенистая голодная армия, для пира которой подходит и живое, и мертвое... Почему бы крысам не пожрать де ла Пору, подобно тому, как сами де ла Пору пожирают то, что запрещено?.. Война пожрала моего сына, черт бы их всех побрал... а огонь проклятых янки пожрал Карфакс и спалил старого Делапора и нашу тайну... Нет, нет, я *не* дьявольский свинопас в зловещем сумеречном гроте! У этой одутловатой, похожей на гриб твари *не может быть* лица Эдварда Норриса! Кто сказал, что я де ла Пор?.. Это вуду, говорю я вам... пятнистая змея... Будь проклят, Торнтон, я покажу тебе, как падать в обмороки при виде того, что содеяла моя семья!.. Ублюдок, негодяй, я научу тебя разбираться... за кого ты меня принимаешь?.. Magna Mater! Magna Mater!.. Atys... Dia ad aghaidh's ad aodaun... agus bas dunach ort! Dhonas's dholas ort, agus leat-sal!.. У-у-у... у-у-у... р-р-р... ш-ш-ш-ш-ш...

Вот что, по их словам, я говорил, когда три часа спустя меня нашли лежащим на пухлом полусъеденном теле капи-

тана Норриса, а мой собственный кот прыгал и кидался на меня, стараясь вцепиться мне в горло. Сейчас они уже взорвали Экзем-Прайери, забрали моего Черномазого и заперли меня в Хануэлле, в этой комнате с решетками, вполголо-са переговариваясь о моей наследственности и о случившемся в усадьбе. Торнтон находится в соседней палате, но мне не разрешают с ним говорить. Большинство фактов, имеющих отношение к обители, пытаются скрыть. Когда я заговорил о бедном Норрисе, меня обвинили в отвратительном поступке, но им всем следовало бы знать, что я этого не делал. Им следовало бы знать, что это крысы; скользкие, стремительно бегущие крысы, чьи шаги не дают мне уснуть; дьявольские крысы, шуршащие за обивкой этой комнаты и ввергающие меня в еще больший, чем прежде, ужас; крысы, которых они не слышат; крысы, крысы в стенах.

В СКЛЕПЕ

*Посвящается Ч. У. Смитту,
подсказавшему идею этого рассказа*

Нет ничего более нелепого, нежели то весьма распространенное и, к сожалению, слишком глубоко укоренившееся в сознании большинства представление, согласно которому в нашей обыденной жизни нет места вещам таинственным и зловещим. Стоит только упомянуть о патриархальном новоанглийском местечке, о неуклюжем и невежественном сельском гробовщике и о каком-то происшествии в могильном склепе — и нормальный читатель уже заранее настроен на очередной безобидный фарс, пусть даже и с некоторой долей гротеска. Но, видит Бог, эта правдивая от начала и до конца история, которую мне довелось услышать от ныне покойного Джорджа Берча, доставит мало приятных минут любителям легких комедий и мелодрам.

Берч сменил род занятий еще в 1881 году, однако предпочитал не рассказывать о том, что с ним произошло, и под любым предлогом уклонялся от разговоров на эту тему. Хранил молчание и его старый лечащий врач, доктор Дэвис, скончавшийся несколько лет тому назад. Всем было известно, что причиной случившегося с Берчем несчастья явилась простая неловкость, в результате которой он сам запер себя на девять часов в склепе кладбища Долины Пек, откуда ему удалось выбраться, лишь прибегнув к самым грубым и разрушительным действиям. Нет никаких сомнений, что так оно и было на самом деле, однако этому инциденту сопутствовали и кое-какие более зловещие обстоятельства, о которых

сам пострадавший неоднократно рассказывал мне в пьяном бреду незадолго до кончины. Скорее всего, он доверял мне потому, что я был его лечащим врачом — вероятно, он испытывал потребность довериться кому-нибудь после того, как умер доктор Дэвис. Жил он в одиночестве, не имея никого из родни.

До 1881 года Берч служил сельским гробовщиком Долины Пек, своей редкостной душевной примитивностью выделяясь даже среди представителей сего не слишком благородного ремесла. Кое-что из того, что приписывала ему молва, современному городскому жителю могло бы показаться неправдоподобным, и даже обитателям Долины Пек, пожалуй, стало бы не по себе, узнай они, сколь незатейлив был моральный кодекс их похоронных дел мастера в вопросах такого рода, как, например, право собственности на ценные предметы погребального убранства, незаметные под крышкой гроба, или соблюдение общепринятых норм при таких операциях, как размещение бессловесных клиентов в гробах, размеры которых далеко не всегда были рассчитаны на них с предельной точностью. Одним словом, Берч был человеком душевно черствым и абсолютно беспринципным, хотя вряд ли можно было бы назвать его злым или жестоким. Это был типичный лодырь и выпивоха, лишенный даже той малой толики воображения, что от природы дана любому нормальному человеку.

С чего начать историю Берча, я не знаю, потому как рассказчик из меня никудышный. Начну, пожалуй, с декабря 1880 года, который выдался на редкость холодным; земля промерзла на большую глубину, и кладбищенские землекопы, посоветовавшись, пришли к выводу, что с рытьем могил лучше обождать до весны. По счастью, селение было небольшим, умирали там нечасто, и всем покойникам нашлось место во временном пристанище, в качестве которого послужил единственный кладбищенский склеп. С приходом суровой зимы Берч погрузился в совершенную апатию. Никогда прежде он не сколачивал столь неуклюжих и несоразмерных

гробов, а о том, что ржавый замок в двери склепа хотя бы время от времени требует смазки, Берч, похоже, и вовсе забывал.

Наконец настала весенняя оттепель, и работа по подготовке могильных ям пошла живее. Берча всегда раздражали хлопоты, связанные с перевозкой и погребением тел, но уклоняться от исполнения своих обязанностей он не стал и в одно хмурое апрельское утро взялся за дело. Однако незадолго до полудня хлынул сильный ливень, и Берч был вынужден отложить свое занятие на неопределенный срок, препроводив к месту вечного отдохновения всего лишь одно из девяти тел. Удача эта выпала на долю девяностолетнего Дариуса Пека, могила которого находилась неподалеку от склепа. Берч думал возобновить работу на следующий день и начать со старика Феннера, могила которого тоже была рядом. Однако на деле получилось так, что он приступил к работе только через три дня, в Страстную пятницу, пятнадцатого числа. Не будучи суеверным, Берч нимало не смутился такой датой, но с тех пор и до конца дней своих он категорически отказывался браться за какое-либо важное дело в этот праздничный день, ставший для него роковым.

Итак, в пятницу днем Берч запряг лошадь в телегу и отбыл в направлении склепа, намереваясь перевезти из него тело Мэтью Феннера. Он, как всегда, был нетрезв, что и сам впоследствии признавал, хотя в то время он еще не успел пристраститься к потреблению алкоголя в таких дозах, какие в дальнейшем нередко помогали ему забыться. Просто он испытывал легкое головокружение и слишком часто и не к месту дергал за поводья, что действовало на нервы его чересчур чувствительной кобыле, которая после того, как он слишком резко осадил ее перед входом в склеп, начала ржать, бить копытом и вскидывать голову — почти как в прошлый раз, когда ее, по всей видимости, вывел из себя проливной дождь. В тот день погода выдалась ясная, но ветреная, и, когда Берч отворил железную дверь и вступил в склеп, расположенный на склоне холма, он был искренне рад тому, что

наконец оказался в укрытии. Вряд ли кому другому на его месте пришлось бы по душе сырое и затхлое помещение с восемью гробами, расставленными как попало, но Берч в ту пору не обращал внимания на такие мелочи, заботясь лишь о том, чтобы опустить нужный гроб в нужную могилу. Он еще не забыл бурное негодование многочисленных родственников Ханны Биксби, когда они, переезжая в другой город, хотели забрать с собой ее тело, но обнаружили под надгробием Ханны гроб судьи Кэпуэлла.

Внутри склепа царил полумрак, но гробовщик имел прекрасное зрение и не взял по ошибке гроб с телом Азефа Сойера, хотя тот был очень похож на гроб Феннера. Собственно говоря, он и был в свое время сколочен для Мэтью Феннера, но потом Берч забраковал его, посчитав слишком некрасивым и непрочным; причиной такой щепетильности со стороны столь несентиментального человека, как Берч, послужили, вероятно, воспоминания о том, с какими участием и великодушием отнесся к нему этот низенький старичок пять лет тому назад, когда Берч оказался на грани разорения. В новый гроб для старого Мэтью он вложил все свое мастерство, но при этом оказался настолько корыстным, что сохранил и отвергнутое изделие, которое спустя некоторое время использовал под тело Азефа Сойера, скончавшегося от злокачественной лихорадки. Сойер был не из тех людей, которые пользуются особенной любовью ближних; ходило немало слухов о его почти нечеловеческой мстительности и злопамятности, проявлявшейся иногда по самым пустяковым поводам. Посему Берч без малейших угрызений совести определил для него небрежно сколоченный гроб, который он теперь и отпихнул в сторону, разыскивая гроб Феннера.

Дверь захлопнуло ветром как раз в тот момент, когда Берч добрался до старины Мэта. Все вокруг погрузилось во тьму. Узкая фрамуга почти не пропускала света, а вентиляционное отверстие наверху и подавно, поэтому обратный путь к двери по беспотолково заставленному помещению даже у такого

знатока местного рельефа, как Берч, занял немало времени. Достигнув наконец своей цели, он долго гремел разболтанными дверными ручками, толкал металлические створки и не переставал удивляться тому, что массивная парадная дверь вдруг стала такой неподатливой. Постепенно он начал сознавать, что произошло, а осознав, принялся громко вопить, как будто привязанная снаружи лошадь могла сделать для него нечто большее, нежели ответить ржанием, в котором не сквозило ни нотки сочувствия. Случилось так, что замок, за которым давно никто не следил, просто-напросто сломался, и беспечный гробовщик оказался в ловушке, став жертвой собственного недосмотра.

Несчастье произошло, по-видимому, где-то в половине четвертого пополудни. Флегматик по темпераменту и прагматик по складу характера, Берч вопил недолго; замолчав, он принялся искать рабочие инструменты, которые, как он помнил, валялись где-то в углу. Сомнительно, чтобы на него хоть сколько-нибудь подействовали весь ужас и абсурдность его положения; разве что сам факт заточения вдали от тех мест, где обычно бывают люди, мог вывести его из равновесия. Рабочий день бедолаги был досадным образом прерван; на появление в этих краях случайного прохожего не стоило и надеяться, так что сидеть ему там было суждено в лучшем случае до следующего утра. Отыскав в дальнем углу груды инструментов, Берч выбрал молоток и стамеску и вернулся, переступая через гробы, к двери. Воздух в склепе становился все более тяжелым и удушливым, что, впрочем, мало беспокоило Берча, сосредоточенно работавшего над ржавым неподатливым замком. Он много бы сейчас дал за фонарь или огарок свечи, но ввиду их отсутствия вынужден был ковыряться вслепую. Убедившись, что справиться с замком при помощи таких неподходящих орудий и при таком освещении ему все равно не удастся, гробовщик стал озираться по сторонам в поисках иных возможностей для избавления. Склеп был вырыт в склоне холма, и узкий вентиляционный ход тянул-

ся сквозь толщу земли на расстоянии в несколько футов, так что не стоило даже думать о том, чтобы им воспользоваться. Гораздо дольше взгляд его задержался на щелеобразной фрамуге в кирпичной кладке высоко над дверью — если бы он взялся за дело как следует, то вполне смог бы расширить это отверстие; оставалось лишь сообразить, как до него добраться. В склепе не было ничего похожего на лестницу, а ниши для гробов, которыми Берч почти никогда не пользовался, располагались в задней и боковых стенах, и от них в данной ситуации не было никакого проку. Сообразив, что в качестве ступеней здесь могут послужить лишь сами гробы, Берч принялся размышлять над тем, как бы их получше разместить. Чтобы дотянуться до фрамуги, достаточно будет высоты трех гробов, рассудил он; еще лучше, если их будет четыре. Поскольку верхние и нижние поверхности ящиков были относительно ровными, их вполне можно было взгромоздить один на другой наподобие строительных блоков. Оставалось прикинуть, как из восьми имевшихся гробов соорудить нечто устойчивое и удобное для восхождения. Продумывая возможные варианты, он невольно посетовал на то, что составные элементы будущей конструкции были столь ненадежно склочены. В конце концов Берч решил положить внизу три гроба параллельно стене, установить на них два ряда по два гроба в каждом, а сверху водрузить еще один гроб, который и будет служить ему платформой для ног. Это позволило бы подняться на нужную высоту с минимумом неудобств. А еще лучше, рассудил гробовщик, использовать в качестве основания только два гроба; таким образом, один гроб останется в запасе, и его можно будет поставить на самый верх, если вдруг для того, чтобы выбраться наружу, потребуются еще большая высота. В зловещих сумерках неутомимый узник перетаскивал и устанавливал друг на друга ящики с бренными останками своих близких, и его миниатюрная Вавилонская башня поднималась все выше и выше. Время от времени ветхие гробы опасно трещали, и Берч решил при-

беречь прочно сколоченный гроб Мэтью Феннера для самого верха, с тем чтобы ступни его имели как можно более надежную опору. В темноте он мог найти этот гроб лишь на ощупь и в самом деле наткнулся на него по чистой случайности — тот сам свалился ему прямо в руки после того, как Берч нечаянно поставил его рядом с другим гробом в третий ряд.

Завершив работу и немного отдохнув на нижней ступени своего сооружения, Берч взял инструменты и осторожно взобрался наверх, оказавшись как раз на одном уровне с узкой фрамугой. Ее окружала простая кирпичная кладка, и Берч не испытывал ни малейшего сомнения в том, что ему очень быстро удастся расширить отверстие так, чтобы через него можно было пролезть. При первых же ударах молотка ждавшая снаружи лошадь принялась тихонько ржать, не то одобряя действия своего хозяина, не то бессовестно издеваясь над ним.

Снаружи стемнело, а Берч все продолжал трудиться — хрупкая на первый взгляд кирпичная кладка оказалась неожиданно неподатливой. Луна вскоре скрылась за тучами, и в темноте работа пошла еще медленнее, так что единственным утешением для Берча мог служить сам факт ее продвижения. Он теперь не сомневался, что к полуночи выберется из заточения, а то, что к мыслям его не примешивалось ни капли суеверного страха, было для этого человека вполне естественно. Не отвлекаясь на угнетающие размышления о времени, месте и тех, кто находился у него под ногами, гробовщик с философским спокойствием обтесывал каменную кладку, чертыхаясь всякий раз, когда в лицо ему попадал отлетевший осколок, и злорадно посмеиваясь, если осколком задевало лошадь, которая все нетерпеливее была своим копытом по ту сторону стены. Понемногу отверстие расширялось, и гробовщик уже начал к нему так и эдак примериваться; при этом гробы под ним отчаянно скрипели и ходили ходуном. Между тем он пришел к выводу, что ему не придется класть на верхушку штабеля еще один гроб, поскольку дыра

находилась как раз на уровне его плеч. Должно быть, уже перевалило за полночь, когда Берч решил, что теперь-то уж ему удастся пролезть в образовавшееся отверстие. Пыхтя и истекая потом, он с многочисленными передышками спустился на пол и присел на нижний гроб, чтобы собраться с силами перед последней попыткой. Изголодавшаяся лошадь ржала теперь уже непрерывно; в ржании этом было что-то недоброе, и Берч от души пожелал ей скорее сдохнуть. Удивительно, но его почти не радовала близость избавления; к тому же он не был полностью уверен в успехе, ибо при своей весьма тучной комплекции был мало пригоден к подобного рода физическим упражнениям. Карабкаясь вверх по гробам, которые при каждом движении издавали душераздирающий скрип, Берч, как никогда, ощущал собственную тяжесть; ощущение это стало особенно сильным на самом верху — и уже в следующий момент он услышал характерный звук ломающегося дерева. Судя по всему, Берч зря старался, когда выбирал в качестве опоры самый прочный гроб, ибо, как только он встал на обе ноги, полупрогнившая крышка лопнула и гробовщик провалился в ящик на добрых два фута. Напуганная этим шумом, а возможно, и проникшим наружу запахом, лошадь издала звук настолько дикий, что его вряд ли кто бы решился назвать ржанием, и, как безумная, бросилась в темноту, волоча за собой бешено грохочущую телегу.

Не говоря уже о тех малоприятных ощущениях, которые испытывал Берч, стоя по колено в гробу, он теперь уже не мог так просто, как раньше, добраться до отверстия. Ухватившись за края последнего, он попытался подтянуться, но в этот самый миг почувствовал совершенно необъяснимую помеху — казалось, кто-то тянет его вниз за лодыжки. Впервые за эту ночь Берч испытал чувство страха; он напрягал все свои силы, но никак не мог освободиться от чьей-то цепкой безжалостной хватки. Внезапно чудовищная боль пронзила его икры, но и тут неистребимый материализм гробовщика услужливо подсказал ему спасительную мысль о щепках, отставших гвоздях и прочих атрибутах расплзающегося по

швам деревянного ящика. Возможно, бедняга сильно кричал. Во всяком случае, он брыкался, извивался и корчился, делая это почти автоматически, в полуобморочном состоянии.

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Берч протиснулся наконец в щель и, глухо шлепнувшись на сырую землю, пополз прочь от склепа. Он, видимо, совсем не мог идти, и проглянувшая сквозь тучи луна озарила плачевное зрелище — человека с истекающими кровью лодыжками, который ползком передвигался в сторону кладбищенской сторожки, судорожно загребая руками могильную землю. Он с трудом преодолевал сопротивление собственного тела, подчинявшегося ему с той самой сводящей с ума медлительностью, которая знакома всякому, кого преследовали кошмарные видения. На самом деле, конечно, его никто не преследовал, ибо, когда Армингтон, владелец сторожки, услышал, как кто-то скребется у входа, и отворил дверь, глазам его предстал один Берч, окровавленный, но живой.

Хозяин помог Берчу добраться до постели и тотчас же послал своего малолетнего сынишку за доктором Дэвисом. Несчастный находился в полном сознании, но не мог выговорить ничего вразумительного, если не считать нескольких восклицаний вроде: «О, мои ноги!», «Пусти!» и «Склеп закрылся сам». Потом пришел доктор со своим медицинским саквояжем и первым делом снял с пациента верхнюю одежду и обувь. Раны, представшие его взору — а обе лодыжки Берча в области ахилловых сухожилий были в прямом смысле слова растерзаны, — привели его в сильнейшее замешательство, если не в ужас. Несколько заданных им вопросов были бы скорее уместны в процессе расследования, нежели медицинского осмотра; во время перевязки руки его заметно тряслись, и создавалось впечатление, что он стремится как можно скорее скрыть эти раны от своего взора.

Разумеется, Дэвис, как беспристрастный врач, не должен был учинять Берчу допрос в столь резкой и требовательной форме; но он, казалось, спешил выжать из ослабшего гробов-

щика каждую мелкую подробность пережитого им ужаса. С особенно непонятной настойчивостью он выпытывал у Берча, уверен ли он — и если да, то насколько уверен, — в том, чей гроб был на самом верху. В этой связи доктора почему-то интересовало абсолютно все: и то, как Берч выбирал гроб, и как он смог в темноте определить, что это гроб именно Мэтью Феннера, и как он отличил его от скверно сколоченного двойника, в котором покоился Азеф Сойер. И как могло получиться, что прочно сработанный гроб Феннера развалился с такой легкостью? Дэвис, испокон веку практиковавший в этих краях, в свое время видел и тот, и другой гробы на соответствующих похоронах; именно он был лечащим врачом Феннера и Сойера вплоть до самой их смерти. И когда Сойера провожали в последний путь, Дэвис не переставал удивляться тому, каким образом этот пусть малопривлекательный, но отнюдь не малорослый тип умудрился целиком втиснуться в такой небольшой ящик.

Доктор распрощался с больным только через два часа, наказав ему перед уходом, чтобы на все вопросы о происхождении своих ран он отвечал, что, мол, поранился о гвозди и щепу. Никакому другому объяснению, добавил он, все равно никто не поверит, поэтому лучше всего как можно меньше обо всем этом болтать и уж во всяком случае не давать осматривать раны другим врачам. Берч следовал этому совету всю оставшуюся жизнь — до тех пор, пока не поведал свою историю мне, и, когда я увидел его шрамы — а к тому времени они уже давным-давно заросли и побелели, — я не мог не согласиться с тем, что, храня молчание, он поступал мудро. У Берча оказались порваны большие сухожилия, и он навсегда остался калекой, однако самые значительные увечья, как я склонен думать, получила его душа. Нервы его со временем расстроились совершенно, и мне всегда было жалко смотреть на то, как он реагирует на ненароком сказанные слова «пятница», «склеп», «гроб» и некоторые другие, с менее очевидными ассоциациями. Его испуганная лошадь в тот же вечер вернулась на свое место, чего никак нельзя сказать о его рас-

судке. Он сменил род занятий, но и тогда его продолжало что-то терзать. Возможно, это был просто страх, а может, еще и какое-то запоздалое раскаяние за былую бессердечность. Пьянство, без сомнения, лишь усугубляло его страдания, вместо того чтобы их облегчить.

В ту же ночь, оставив Берча в сторожке, доктор вооружился фонарем и направился в старый склеп. Луна освещала изувеченный фасад и валявшиеся на земле осколки кирпича, замок на тяжелой двери открылся легко и сразу. Закаленный многолетней работой в анатомичках, Дэвис решительно вошел внутрь и огляделся, едва подавляя подступившую к горлу тошноту. Один раз он вскрикнул, а чуть погодя хрипло вздохнул, что прозвучало страшнее любого крика. Потом он пулей помчался в сторожку и в нарушение всех правил растормошил, растолкал, разбудил пациента и срывающимся шепотом обрушил на него поток фраз, повергших несчастного в состояние шока.

— Все-таки я оказался прав, Берч, — это был гроб Азефа! Я сразу узнал следы его зубов на ваших ногах, у него не хватало передних в верхнем ряду — о, ради Христа, никогда никому не показывайте своих ран! Тело почти не сохранилось, но это выражение лица — точнее того, что некогда было лицом!.. Вы же знаете, каким он становился зверем, когда дело доходило до мести, — помните, как он разорил старика Раймонда спустя тридцать лет после их тяжбы по поводу земли?.. А как он раздавил щенка, огрызнувшегося на него год назад, в августе? Это был сущий дьявол, Берч, и я думаю, что такая чудовищная мстительность вполне могла победить время и смерть. Боже, какая адская злоба! Да, не хотел бы я стать ее мишенью... Но вы-то — зачем вы это сделали, Берч?! Он был негодяй, и я не виню вас за то, что вы подсунули ему негодный гроб, но — черт возьми! — на этот раз вы зашли слишком далеко! Иногда, конечно, можно и поскупишься, но вы же знали, каким коротышкой был старый Феннер. Мне до конца своих дней не забыть того, что я там увидел! Вы, должно быть, сильно брыкались, Берч, потому что гроб Азефа лежал

на полу. У него была раздавлена голова, и все вокруг находилось в страшном беспорядке. Я много чего повидал на своем веку, но там была одна вещь, которая выходит уже за все рамки. Око за око! Видит Бог, Берч, в конце концов вы получили по заслугам! Когда я увидел череп, меня едва не стошнило, но другое — другое было еще ужаснее! Я имею в виду ноги — они были отрезаны точно по самые лодыжки, так, чтобы тело Азефа можно было втиснуть в гроб, предназначенный для Мэтью Феннера!

ИЗГОЙ

Барон всю ночь ворочался в постели;
Гостей подпивших буйный пляс томил
Чертей и ведьм — и в черноту могил
Тащили их во сне к червям голодным.

Китс¹

Несчастлив тот, на кого воспоминанья детских лет наводят лишь уныние и страх. Увы тому, кто помнит только долгие часы уединения в огромных мрачных залах с тяжелыми портьерами и сводящими с ума рядами старинных книг или одни безмолвные бдения в сумеречных рощах среди причудливых, гигантских, лозами отягченных деревьев, безмолвно простирающих изогнутые ветви ввышину. Такую участь присудили боги мне — обманутому и обескураженному, опустошенному и сломленному. И все же в те мгновения, когда рассудок мой готов умчаться за свои пределы — *к иному!* — я в отчаянии цепляюсь за эти увядшие воспоминания и странным образом успокаиваюсь.

Где я родился, мне не ведомо; помню только замок, бесконечно старый и бесконечно страшный, со множеством темных галерей и высокими потолками, где глаз мог различить лишь паутину да сумрачные тени. Стены древних каменных коридоров, казалось, источали сырость, и мерзкий запах стоял повсюду, как будто разлагались груды трупов, оставленных минувшими поколениями. В замке никогда не было света, и поэтому я любил зажечь свечу и, не отрываясь, смотреть на нее. Но света не было и снаружи, ибо ненавистные деревья намного превосходили высотой самую высокую из доступных мне башен. Лишь одна черная башня возносилась над

¹ Дж. Китс. «Канун Святой Агнесы» (1820). Перевод С. Сухарева.

лесом и уходила в неведомое наружное небо, но подходы к ней были разрушены, и на нее никак нельзя было взобраться, разве что сделать заведомо безнадежную попытку вскарабкаться по голой стене, одолевая ее камень за камнем.

Вероятно, я прожил в этом месте долгие годы, но я не умею определять время. Кто-то, должно быть, заботился об удовлетворении моих нужд, однако я не могу припомнить никого, кроме самого себя; ни единой живой души, если не считать безмолвных крыс, летучих мышей и пауков. Впрочем, кто бы он ни был, мой радетель, он представляется мне невероятно старым, потому что мое первое понятие о живом человеке связано с чем-то карикатурно схожим со мной самим, только гораздо более уродливым, сморщенным — и ветхим, как и весь замок. Я никогда не находил ничего отталкивающего в тех костях и скелетах, что усыпали дно глубоких, сложенных из камня ям в подвалах замка. В моем воображении эти предметы причудливо ассоциировались с повседневностью, и я считал их, пожалуй, более натуральными, чем цветные изображения людей, попадавшие мне в пыльных книгах. Все, что я знаю, вычитано мною из этих книг. Никто не наставлял и не учил меня, и я не помню, чтобы хоть раз за все эти годы мне довелось услышать человеческий голос, в том числе и свой собственный, ибо хотя я и читал о том, что такое речь, мне даже в голову не приходило попробовать заговорить вслух. Наружность моя равно не являлась предметом моих размышлений, так как в замке не было зеркал, и я разве что бессознательно ощущал себя похожим на тех молодых людей, чьи изображения встречались мне на рисунках и гравюрах в книгах. Молодым же я осознавал себя потому, что почти не имел воспоминаний.

За стенами замка, по ту сторону гниющего рва, я часто отдыхал под темными кронами молчаливых деревьев и часами мечтал о прочитанном в книгах, с тоскою рисуя себя среди веселых и шумных толп в солнечном мире за бескрайним лесом. Однажды я попытался выбраться из этого леса, но чем дальше отходил от замка, тем гуще становились тени,

тем больше наполнялся воздух гнетущим страхом, и я, как безумный, бросился назад, боясь заблудиться в лабиринте ночной немоты.

Так, в вечном полумраке, я ждал и мечтал, сам не зная о чем. Но вот тоска моя по свету в этом сумрачном безлюдье стала столь невыносимой, что я не вытерпел и с мольбою воздел руки к единственной башне, черной и полуразрушенной, которая возвышалась над лесом и уходила в неведомое небо. И тогда я решил, что поднимусь на эту башню, чего бы это мне ни стоило, ибо лучше раз взглянуть на небо и погибнуть, чем вечно жить, не видя света дня.

В промозглом полумраке я взбирался по старым, стертым каменным ступеням, пока не достиг места, где они кончались и откуда наверх вели лишь небольшие углубления в стене, которыми я и воспользовался на свой страх и риск. Ужас и отчаяние внушал мне этот мертвый гладкий каменный цилиндр, черный, пустынный и немой, тем более зловещий оттого, что с его стен то и дело бесшумно взмывали в воздух вспугнутые мною нетопыри. Но еще в больший ужас и отчаяние приводило меня то, как невероятно долго длился мой подъем, ибо сколько я ни лез, тьма у меня над головой не рассеивалась. Вековым могильным холодом веяло на меня, и я трепетал, не в силах объяснить себе, почему я не могу достичь света. Вообразив, что меня застигла ночь, тщетно пытался я нащупать свободной рукой бойницу, чтобы выглянуть наружу и определить высоту, на которой нахожусь.

Но вот, после бесконечно долгого и рискованного подъема вслепую по этой безнадежной вогнутой круче, я почувствовал, что голова моя упирается во что-то твердое, и понял, что достиг крыши или, во всяком случае, какого-то перекрытия. В темноте я не мог различить, что это за преграда, а потому потрогал ее рукой и убедился, что это нечто каменное и неподвижное. Тогда я стал двигаться по окружности башни, цепляясь за все, за что только можно было ухватиться на скользкой стене, и поминутно рискуя сорваться вниз, пока наконец не нашел то место, где преграда слегка подавалась.

Поскольку руки мои были заняты, я уперся в эту плиту или, точнее, крышку люка головой и, рванувшись вверх, приподнял ее. Моя надежда увидеть свет не оправдалась, и, пролезая в открывшийся проем, я уже знал, что путь мой завершён лишь на время, ибо передо мною была ровная каменная площадка, большего диаметра, нежели нижняя часть башни. Очевидно, это был пол какой-то грандиозной дозорной комнаты. Выбираясь на него, я старался двигаться так, чтобы тяжелая плита не вернулась на свое место, но при всей осторожности я не смог этого предотвратить — простершись в изнеможении на каменном полу, я услышал гулкое эхо, вызванное ее падением. Впрочем, я надеялся, что при необходимости мне снова удастся ее приподнять.

Теперь-то уж, казалось мне, я нахожусь на такой высоте, куда не достают ветви проклятого леса. С трудом поднявшись на ноги, я стал на ощупь искать окно, чтобы наконец увидеть небо, месяц и звезды, о которых так много читал. Но куда бы я ни повернулся, меня всюду ждало разочарование — кругом были лишь одни широкие мраморные выступы, служившие подставкой для продолговатых сундуков пугающих размеров. Чем больше я думал и гадал, тем неодолимее становилось желание узнать, что за седые тайны скрывает это хранилище, отрезанное от нижнего замка веками расстояния. Но тут я неожиданно нащупал нишу с каменной дверью, покрытой каким-то необычным рельефом. Толкнув ее, я убедился, что она заперта, — тогда я собрал все силы и одним могучим рывком, способным сокрушить все земные препятствия, втянул ее внутрь, на себя. Едва я сделал это, как меня охватило сильнейшее из блаженств, когда-либо испытанных мною, — впереди, за декоративной металлической решеткой, к которой поднималось несколько каменных ступеней, сияла мягким, бархатным светом полная луна, виденная мною до того лишь в сновидениях и смутных грезах, которые я не осмеливаюсь назвать воспоминаниями.

Полагая, что на этот раз я уж точно достиг самой верхушки башни, я было бросился вверх по ведущим к решетке ступ-

пеням, но тут луну закрыла туча, в наступившей темноте я споткнулся и далее был вынужден продвигаться уже более осторожно и медленно. Когда я добрался до решетки, было по-прежнему темно; тронув ее, я удостоверился в том, что она не заперта, но открывать ее полностью не стал, боясь упасть с той головокружительной высоты, на которую поднялся. И в этот момент снова появилась луна.

Ничто не потрясает так сильно, как то, что до беспредельности неожиданно и до нелепости невероятно. Самое страшное из пережитого мною прежде не шло ни в какое сравнение с тем, что предстало моему взору в этот миг — с той абсурдной картиной, что открылась передо мной. Сама по себе она была, пожалуй, вполне прозаической, но тем-то и более ошеломляющей, ибо вот что я увидел: вместо головокружительной панорамы бескрайнего леса, обозреваемой с огромной высоты, сразу за решеткой и на том же уровне, где я стоял, простиралась ровная поверхность земли, усеянная мраморными плитами и обелисками, сгрудившимися вокруг старинной каменной церкви, шпиль которой призрачно поблескивал в лунном свете.

Действуя почти бессознательно, я отворил решетку и ступил на выложенную белым гравием дорожку, расходившуюся в двух направлениях. Моим рассудком, в каком бы оторопелом и беспорядочном состоянии он ни пребывал, по-прежнему владело неистовое стремление к свету, и даже испытанное мною разочарование не могло охладить меня. Я не имел понятия, да и не хотел понять, что это было — сон, наваждение или волшебство, — но я был полон решимости узреть великолепие и блеск мира, чего бы это мне ни стоило. Я не ведал, кто я, что я, где я нахожусь, но, продолжая следовать вперед неверными шагами, я вдруг начал смутно что-то припоминать, и это дремавшее во мне до поры воспоминание подсказало мне, что путь мой не совсем случаен. Миновав участок с плитами и обелисками, я вышел через арку на открытое пространство и теперь следовал по дороге, местами сохранившейся и хорошо заметной, местами же терявшейся среди

густых трав, где только отдельные развалины выдавали ее прежнее присутствие. Один раз мне пришлось переплыть через быстрый поток, посреди которого вздымались остатки замшелой и осыпающейся каменной кладки, свидетельствовавшие о том, что здесь некогда стоял мост.

Прошло, должно быть, больше двух часов, прежде чем я достиг своей предполагаемой цели — старого, увитого плющом замка посреди парка с густыми зарослями деревьев; замка до безумия знакомого и до неузнаваемости чужого. Я обнаружил, что ров заполнен водой, а многих известных мне башен нет. Меня также смутило присутствие нескольких новых флигелей. Однако более всего меня привлекли и приятно удивили настежь распахнутые окна, из которых вырывались снопы яркого света и доносились звуки самого буйного веселья. Приблизившись к одному из них, я заглянул внутрь и увидел большую компанию людей в необычных одеяниях; они пировали и вели оживленную беседу. Я ни разу не слышал, как звучит человеческая речь, и потому мог только смутно угадывать, о чем они говорили. Черты некоторых присутствующих пробудили во мне неясные, бесконечно далекие воспоминания; остальные лица были совершенно неизвестными.

Через окно, расположенное вровень с землей, я вступил в ярко освещенный зал — и это был шаг от неповторимого проблеска надежды к жесточайшему из потрясений, к отчаянию и осознанию горькой истины. Кошмар не заставил себя ждать, ибо как только я вошел, глазам моим предстала ужаснейшая из сцен, какие только можно вообразить. Едва я сделал этот шаг, как всю компанию охватил внезапный и необъяснимый ужас, исказивший до уродства лица гостей и исторгнувший нечеловеческие вопли едва ли не из каждой глотки. Все разом бросились уносить ноги. В создавшейся суматохе и панике одни падали в обморок, другие подхватывали и тащили бесчувственные тела за собой в безумной спешке. Многие прикрыли глаза руками и, словно слепые котята, беспомощно тыкались в разные стороны, опрокидывая мебель

и налетая на стены, прежде чем им удавалось добраться до какой-либо из многочисленных дверей.

Оставшись один в роскошном зале и еще не придя в себя от их душераздирающих криков, отзвуки которых постепенно стихали в отдалении, я вдруг затрепетал при мысли о том, что где-то рядом со мной затаилось нечто, чего я до сих пор не замечал. На первый взгляд зал казался пустым, но, когда я двинулся к одной из ниш, мне почудилось, будто я уловил там какое-то шевеление или что-то в этом роде — там, за обрамленным золотом дверным проемом, ведущим в другой, чем-то похожий на первый, зал. По мере приближения к арке я все более убеждался в том, что кроме меня в зале еще кто-то есть, и все же ужас, что предстал передо мной, был слишком неожиданным. Издав первый и последний в своей жизни звук — отвратительное завывание, потрясшее меня не меньше, чем его омерзительная причина, — я узрел во всей ужасной очевидности столь невообразимое, неопишуемое и безобразное чудовище, какое вполне могло одним видом своим превратить веселую компанию в беспорядочную толпу обезумевших от страха беглецов.

Я не в силах даже приблизительно описать, как выглядело это страшилище, сочетавшее в себе все, что нечисто, скверно, мерзко, непотребно, аморально и аномально. Это было какое-то дьявольское воплощение упадка, запустения и тлена, гниющий и разлагающийся символ извращенного откровения, чудовищное обнажение того, что милосердная земля обычно скрывает от людских глаз. Видит Бог, это было нечто не от мира сего — во всяком случае, *теперь* уже не от мира сего, — и тем не менее, к ужасу своему, я разглядел в его изъеденных и обнажившихся до костей контурах отталкивающую и вызывающую карикатуру на человеческий облик, а в тех лохмотьях, что служили ему одеянием, — некий отдаленный намек на знатность, отчего мой ужас только усилился.

Я был почти парализован — правда, не настолько, чтобы не предпринять слабую попытку к бегству; но одного неверного шага назад оказалось недостаточно для того, чтобы раз-

рушить чары, которыми сковал меня этот безымянный и безголосый монстр. Глаза мои, словно заколдованные неподвижно уставившимися в них тусклыми, безжизненными зрачками, отказывались повиноваться мне и, как я ни старался, не закрывались — они лишь милосердно затуманились, и богомерзкий призрак представлялся мне теперь не так отчетливо, как в момент первого шока. Я попытался было поднять руку, чтобы заслониться от этого зрелища, но силы оставили меня до такой степени, что рука не вполне повиновалась моей воле. Однако в результате этой попытки я потерял равновесие, и, чтобы не упасть, мне пришлось ступить несколько шатких шагов вперед. И только тогда, в тот самый момент, когда я делал эти шаги, я внезапно и как-то судорожно осознал, насколько близко нахожусь от этого чудовищного исчадия ада; мне даже почудилось, что я слышу глухой шум его дыхания. Находясь на грани помешательства, я все же нашел в себе силы выбросить вперед руку и отстранить от себя зловонный призрак, стоявший почти вплотную ко мне. И в этот самый миг, в это катастрофическое мгновение вселенского кошмара и адского катаклизма пальцы мои коснулись протянутой ко мне гниющей лапы монстра, стоявшего под позолоченным сводом.

Я не издал ни звука, но все кровожадные вампиры, оседлавшие ночной ветер, вскричали за меня в тот самый миг, когда на мой рассудок одной стремительной лавиной обрушились душегубительные воспоминания. За одну секунду я вспомнил все, что было со мною прежде, еще до того ужасного замка с его деревьями; я припомнил здание, со временем переделанное, в котором сейчас находился; и, что было кошмарнее всего, я узнал то богомерзкое существо, которое в момент, когда я отдергивал свои запятнанные пальцы от его лапы, оскалилось в чудовищной ухмылке.

Но во вселенной наряду с горечью существует и сладость, и имя этой сладости — забвение. В немыслимом ужасе того мгновения забылось все, что угнетало меня, и наплыв мрачных воспоминаний рассеялся хаотичным эхом перекликаю-

щихся образов. Грезя наяву, я покинул это проклятое логово призраков и быстро и бесшумно выбежал наружу — туда, где светила луна. Вернувшись на кладбище с мраморными плитами и спустившись по ступеням к каменному люку, я убедился, что его уже не сдвинуть с места, но это меня отнюдь не огорчило, ибо я уже с давних пор ненавидел тот старинный замок внизу и его деревья. Огньне я разъезжаю верхом на ночном ветре в компании с насмешливыми и дружелюбными вампирами, а когда наступает день, мы резвимся в катакомбах Нефрен-Ка, что находятся в неведомой и недоступной долине Хадоф возле Нила. Я знаю, что свет — не для меня, не считая света, струимого луной на каменные гробницы Неба; не для меня и веселье, не считая веселья запретных пиров Нитокрис под Большой пирамидой. И все же в этой своей вновь обретенной свободе и безрассудстве я едва ли не благословляю горечь отчуждения.

Ибо, несмотря на покой, принесенный мне забвением, я никогда не забываю о том, что я — изгой, странник в этом столетии и чужак для всех, кто пока еще жив. Мне это стало ясно — раз и навсегда — с того момента, когда я протянул руку чудовищу в огромной позолоченной раме; протянул руку — и коснулся холодной и гладкой поверхности зеркала.

КАРТИНКА В СТАРОЙ КНИГЕ

Искатели острых ощущений любят наведываться в глухие, потаенные места. Они охотно посещают катакомбы Птолемеи и узорчатые мавзолеи гиблых полуденных стран, забираются на залитые лунным светом башни полуразрушенных рейнских замков и сходят вслепую по стертым ступеням в провалы, зияющие чернотой среди руин заброшенных азиатских городов. Дремучий лес с нечистой силой, безлюдный горный кряж служат для них объектами паломничества, и они подолгу кружат возле таящих немую угрозу монолитов на необитаемых островах. Но подлинный ценитель ужасов, который в каждом новом впечатлении, полном неопишуемой жути, усматривает конечную цель и смысл существования, превыше всего ставит старинные усадьбы, затерянные в новоанглийской глуши, ибо именно там силы зла пребывают в своем наиболее полном и первозданном обличье, идеально согласуясь с окружающей их атмосферой суеверия и невежества.

Ничто не являет собой картины столь пугающей и безотрадной, как неказистый деревянный дом, расположенный вдали от проезжих трактов на сыром травянистом косогоре у подножья гигантского выхода скальных пород. Сотни лет простоял он так, и все это время вились и ползли по его стенам виноградные лозы, а деревья в саду разрастались вширь и ввысь. Ныне его почти не разглядеть среди буйных лесных зарослей, и только крохотные оконца иногда выдают его при-

сутствие своим тревожным блеском, словно напоминая о безумных ужасах, спасение от которых можно найти лишь в бесконечном мертвенном оцепенении.

В таких домах поколение за поколением живут самые странные обитатели, каких только видывал свет. Фанатичные приверженцы жутких верований, сделавших их изгоями среди людей, — они прибыли сюда вместе с остальными переселенцами, чьи предки в поисках свободы селились на безлюдье. Здесь они жили в достатке и покое вне тех ограничений, что сковывали их сограждан, но сами при этом оказывались в постыдном рабстве у мрачных порождений собственной фантазии. В отрыве от цивилизации и просвещения все душевные силы этих пуритан устремлялись в совершенно неизведанные русла, а болезненная склонность к самоограничению и жестокая борьба за выживание среди окружавшей их дикой природы развили в них самые мрачные и загадочные черты характера, ведущие свое происхождение из доисторических глубин холодной северной родины их предков. Практичные по натуре и строгие по убеждениям, они не умели красиво грешить, а когда грешили — ибо человеку свойственно ошибаться, — то более всего на свете заботились о том, чтобы тайное не сделалось явным, и потому постепенно теряли всякое чувство меры в том, что им приходилось скрывать. Одни лишь старые заброшенные дома, дремлющие в лесной глуши, могли бы поведать о том, что от века покрыто тайной, но они смертельно боятся стряхнуть с себя дремотное забытие. Порой поневоле подумаешь, что для самих этих домов было бы лучше, если бы их снесли, — ведь они, должны быть, часто видят сны.

В одном из таких сооружений, ветхом и покосившемся, мне однажды пришлось искать убежища от внезапного проливного дождя. В ту пору, в ноябре 1896 года, я путешествовал по Мискатоникской долине, собирая информацию об истории этого края и его жителей. Предполагая, что путь мой затянется и будет извилистым и кружным, я решил воспользоваться велосипедом, несмотря на то что время года отнюдь

не располагало к такому виду транспорта. Непогода застигла меня на по всем признакам заброшенной дороге, которую я выбрал в качестве кратчайшего пути до Аркхема. Населенных пунктов поблизости не было, и единственным укрытием могло послужить старое и невзрачное бревенчатое строение, тускло поблескивавшее оконцами меж двух исполинских вязов у подножия каменистого холма. Хотя дом этот находился на довольно приличном расстоянии от того, что некогда называлось дорогой, он с первого же взгляда произвел на меня крайне невыгодное впечатление. Порядочные здания не таращатся на путников столь вызывающим и бесцеремонным образом. Кроме того, в ходе моих генеалогических изысканий мне попадались легенды вековой давности, изначально настроившие меня против подобного рода мест. Однако разгуливая не на шутку стихия не позволяла мне быть слишком щепетильным, и я без колебаний подкатил по травянистому склону к закрытой входной двери.

Сначала я почему-то решил, что дом оставлен жильцами, однако, когда я приблизился к нему, уверенность моя сильно пошатнулась, ибо, несмотря на то что все дорожки густо поросли сорной травой, они все же сохранились несколько лучше, чем можно было ожидать в случае полного запустения. Поэтому, прежде чем толкнуть входную дверь, я постучал, ощущая при этом какую-то необъяснимую тревогу. Замерев в ожидании на неровной мшистой глыбе, заменявшей собой порог, я беглым взглядом окинул стекла соседних окон и фрамуги над дверью и отметил, что все они хорошо сохранились, хотя и были покрыты толстым слоем пыли и дребезжали при каждом порыве ветра. Значит, дом по-прежнему был обитаем, несмотря на всю его видимую запущенность. Однако на стук мой никто не отозвался. Постучав на всякий случай еще разок, я взялся за ржавую щеколду и обнаружил, что дверь не заперта. Взору моему открылась тесная прихожая с обшарпанными стенами; в воздухе ощущался едва уловимый, но тем не менее весьма неприятный запах. Я вошел в дом с велосипедом и затворил за собой дверь. Впереди маячила

узкая лестница, к которой примыкала дверца, ведущая, вероятно, в погреб, а по левую и правую руку виднелись закрытые двери комнат первого этажа.

Прислонив велосипед к стене, я толкнул дверь слева от себя и проследовал в крохотную клетушку с низким потолком, тускло освещенную сквозь два запыленных окошка и обставленную самой простой и необходимой мебелью. Вероятно, эта комната некогда служила гостиной: в ней имелись стол, стулья и внушительных размеров камин с полкой, на которой тикали старинные часы. Книг и бумаг было немного, и в окружающем полумраке я с трудом различал заголовки. Более всего меня поразила дух глубокой древности, присутствовавший повсюду — буквально в каждой видимой детали интерьера. Большая часть домов в округе изобиловала реликвиями былых времен, но здесь старина сохранилась в какой-то особенной полноте, ибо во всей каморке я не нашел ни одного предмета, который можно было бы с уверенностью отнести к послереволюционному периоду. Не будь эта комната столь скудно обставлена, она могла бы стать подлинным раем для антиквара.

Осматривая эти необычные апартаменты, я все отчетливее ощущал, как во мне растет то чувство беспокойства, что охватило меня с первого взгляда на дом. Я бы не мог с точностью определить, что именно пугало или отталкивало меня; скорее всего, дело было в самой атмосфере дремучей старины, мрачности и забвения. Я не испытывал ни малейшего желания присесть и беспрестанно ходил по комнате, разглядывая все подряд. Первым предметом, привлечшим мое внимание, стала средней толщины книга, валявшаяся на столе и имевшая столь древний вид, что было даже как-то странно лицезреть ее здесь, а не в стенах какого-нибудь музея или библиотеки. Кожаный переплет с металлическими застешками позволил ей сохраниться в отличном состоянии; правда, от этого она выглядела еще более неуместной среди убогой обстановки этой обители. Когда я раскрыл ее на титульном листе, удивление мое значительно возросло, ибо передо мной лежало не

что иное, как редчайшее издание отчета Пигафетты о землях Конго, составленного им на латыни на основе записок мореплавателя Лопеса и отпечатанного в 1598 году во Франкфурте. Я был немало наслышан об этом издании, украшенном оригинальными иллюстрациями работы братьев де Брю, и на время позабыл о своих тревогах, охваченный нетерпеливым желанием перелистать страницы книги. Рисунки и впрямь оказались весьма любопытными. Делая их, художники руководствовались поверхностными описаниями и были вынуждены восполнять недостающие детали за счет собственного воображения, в результате чего негры, например, у них вышли светлокожими и с европейскими чертами лица. Вероятно, не скоро бы я закрыл эту книгу, не будь здесь одного, на первый взгляд пустякового обстоятельства, которое подействовало на меня угнетающе и вновь пробудило прежнее ощущение беспокойства. Обстоятельство это заключалось в том, что книга как бы по собственной воле снова и снова раскрывалась на одной и той же картинке под номером 12, где была изображена во всех отвратительных подробностях лавка мясника у анзикейских каннибалов. Мне самому было стыдно, что я так нервничаю из-за какого-то пустяка, но рисунок так вывел меня из равновесия, особенно после того, как я прочел пояснительные строки, в которых излагались некоторые особенности анзикейской кухни.

Чтобы рассеяться, я повернулся к ближайшей полке и принялся разглядывать стоявшие на ней книги. Их было немного, в том числе Библия восемнадцатого века; «Путь паломника», напечатанный в том же столетии в типографии издателя альманахов Исаии Томаса и снабженный затейливыми гравюрами; полуразложившийся остов «Великих деяний Христа в Америке» Коттона Мэзера и еще несколько книг столь же почтенного возраста. Внезапно мое внимание привлекли звуки шагов в комнате наверху. В первый момент я ошеломился от неожиданности — ведь еще совсем недавно, когда я колотился в дверь, на стук мой никто не отозвался, но в следующее мгновение меня осенило, что, видимо, хозяин только

что встал после глубокого сна, и я уже без прежнего удивления продолжал прислушиваться к скрипу шагов, доносившемуся с лестницы. Поступь была тяжелой и в то же время какой-то уж слишком осторожной; такое странное сочетание насторожило меня. Потом шаги замерли, и через несколько секунд, в течение которых обитатель дома, должно быть, разглядывал стоявший в прихожей велосипед, я услышал, как он возится с задвижкой, после чего обшита дубовыми досками дверь распахнулась настежь.

В проеме возникла персона столь примечательной наружности, что я удержался от изумленного возгласа лишь благодаря тому, что вовремя вспомнил о правилах хорошего тона. Лицо и фигура вошедшего вызвали во мне смешанное чувство испуга и уважения. Передо мной стоял седовласый старец, одетый в рубище, ростом не менее шести футов и, несмотря на возраст и очевидную нужду, еще достаточно крепкого и плотного телосложения. Длинная всклокоченная борода почти полностью закрывала ему лицо, которое имело какой-то неправдоподобно румяный и свежий цвет и было едва тронuto морщинами, на высокий лоб ниспадала прядь седых волос, густых, как у юноши. Голубые глаза его, слегка налитые кровью, глядели остро и испытующе. Если бы не вопиющие неухоженность и неопрятность, облик этого человека можно было бы назвать не только впечатляющим, но и благородным. Однако эта неухоженность придавала ему настолько отталкивающий вид, что ни лицо, ни фигура уже не могли поправить положение. Во что конкретно был одет старик, я даже затрудняюсь сказать — в моем представлении это была просто масса лохмотьев, из-под которых торчала пара тяжелых сапог. Нечистоплотность же его превосходила всякое описание.

Как наружность вошедшего, так и тот произвольный страх, который он мне внушал, приготовили меня к какой-нибудь грубости с его стороны, и потому я даже вздрогнул от удивления и ощущения какого-то жуткого несоответствия, когда он жестом пригласил меня сесть и заговорил слабым

старческим голосом, проникнутым льстивым подобострастием и заискивающим радушием. Выражался он весьма своеобразно — на той примитивной разновидности новоанглийского диалекта, которую я считал давно вышедшей из употребления, — и все время, пока он разглагольствовал, сидя напротив меня за столом, я прислушивался не столько к смыслу, сколько к характерным оборотам его речи.

— Что, небось, под дождик попали? — начал хозяин. — Очень славно, что вы оказались так близко от дома и не погнушались зайти. А то я, вишь, маленько соснул, иначе бы враз услышал. Эх, старость не радость, сынок, а в мои лета самое первое дело — крепкий сон. Далеко ли путь держите? С той поры, как убрали аркхемскую станцию, редко встретишь на этой дороге прохожего человека.

Я ответил, что направляюсь в Аркхем, и извинился за непростеное вторжение. Старик продолжал:

— Рад видеть вас, юный сэ. Нечасто сюда навевываются чужаки, так что мне, старику, и словом-то перекинуться не с кем. Сдается мне, что вы аж из Бостона, верно? Самому мне там, правда, бывать не случалось, но городского я если увижу, то завсегда отличу. Жил тут у нас в восемьдесят четвертом один горожанин, работал учителем, стало быть, в школе, а потом вдруг куда-то сгинул, и с тех пор о нем ни слуху ни духу...

В этом месте старик как-то странно захихикал, но, когда я спросил его, чем вызван этот смех, он промолчал. По всем признакам хозяин дома пребывал в чрезвычайно веселом расположении духа и не находил нужным скрывать своих причуд, о склонности к каковым можно было догадаться уже по одному тому, как он ухаживал за своей внешностью. Старик продолжал разглагольствовать в том же роде с каким-то даже подозрительным радушием. Между тем мне пришло в голову спросить у него, где он раздобыл такое редкое издание, как «*Regnum Congo*» Пигафетты. По-прежнему находясь под впечатлением этой книги, я почему-то никак не решался о ней заговорить. В конце концов, однако, любопытство взяло

верх над смутными опасениями, владевшими мной с того момента, как я впервые увидел этот дом. К моему облегчению, старика нимало не смутил мой вопрос, и он отвечал на него охотно и обстоятельно:

— А, эта африканская книжка! Я выменял ее году в шестьдесят восьмом у капитана Эбенезера Хоулта, того самого, который потом погиб на войне.

Услышав имя капитана, я насторожился. Оно встречалось мне несколько раз в ходе моих генеалогических изысканий, правда, насколько я помнил, его не было ни в одном из документов, относившихся к послереволюционному периоду. Я подумал, не сможет ли хозяин дома помочь мне в работе, и решил спросить его об этом чуть позже.

Старик между тем продолжал:

— Эбенезер много лет плавал за море на салемском купце и в каждом, почитай, порту находил разные занятные штучки. Книжицу эту, сколько мне помнится, он раздобыл в Лондоне, в какой-то из тамошних лавок, — покойник любил это дело, по лавкам, стало быть, шастать. Я раз гостил у него дома на холме (в ту пору я барышничал лошадьми) и вдруг вижу эту книжку. Уж больно мне картинки приглянулись — ну, я ее у него и выменял. Занятная книжица! Дай-ка я стекла-то нацеплю...

Старик порылся в своих лохмотьях и вытащил на редкость старые и засаленные очки с крохотными восьмиугольными стеклами и металлическими дужками. Водрузив их себе на нос, он взял со стола книгу и принялся любовно ее перелистывать.

— Эбенезер кое-что тут разбирал — она ведь на латыни, — а у меня вот никак не выходит. Мне ее читали учителя — двое или трое — правда, не целиком, и еще пастор Кларк — говорят, он, бедняга, в пруду утонул. Ну-ка, попробуйте, может, у вас получится?

Чтобы убажить старика, я перевел ему один абзац из начала книги. Если я и допустил кое-какие ошибки, старик был не настолько грамотен, чтобы их заметить, — во всяком слу-

чае, слушая меня, он радовался, как ребенок. К этому времени общество старика уже начало меня тяготить, и я стал подумывать о том, как бы улизнуть, не обидев его. С другой стороны, меня забавляло детское пристрастие старого невежественного человека к картинкам в книге, которую он не умел читать, и мне было интересно, насколько лучше он справляется с теми немногими томами на английском, что украшали его библиотеку. Простодушие, столь неожиданно выказанное хозяином дома, развеяло большую часть моих опасений, и, продолжая слушать его болтовню, я невольно улыбался.

— Странное дело, как эти картинки заставляют тебя шевелить мозгами. Взять хотя бы вот эту, в начале. Где это видано, чтобы у деревьев были такие листья — прямо как крылья? А люди? Совсем не похожи на негритосов. Да и вообще ни на кого. Я так думаю, им положено быть вроде наших индейцев, только что в Африке. Иные, гляньте-ка, смахивают на обезьян или каких-то обезьяньих людей, а вот что касается этой бестии, то о такой я даже и не слыхивал.

Старик ткнул пальцем в мифическое существо — вероятно, плод вымысла художника, — представлявшее собой подобие дракона с крокодильей головой.

— А теперь я покажу вам самую славную картинку, где-то здесь она, посередке...

Голос старика упал почти до шепота, глаза заблестели ярче обыкновенного, движения дрожащих рук стали как будто еще более неловкими, но тем не менее они вполне справились со своей задачей. Книга раскрылась, можно сказать, сама собой — как если бы ее часто открывали именно на этом месте — на той безобразной двенадцатой картинке, где была представлена лавка мясника у анзикейских каннибалов. Меня охватило прежнее беспокойство, но я старался не показывать виду. Самым странным было то, что художник изобразил африканцев похожими на белых людей. Отрубленные конечности и туши, развешанные по стенам лавки, выглядели омерзительно, а мясник с топором на их фоне попросту не

укладывался в сознании нормального человека. Однако хозяин дома, похоже, наслаждался этим зрелищем ровно в той же мере, в какой я испытывал к нему отвращение.

— Ну и как она вам? Не видали в наших краях ничего подобного, а? Когда я увидел ее в первый раз, у меня аж дух захватило. Я так и сказал Эбу Хоулту: «У меня от этой картинки поджилки трясутся». Когда в молодости я читал о резне — это было в Писании, про то, как убивали мидианитов, или как их там, — я тогда уже начал смекать, но картинки у меня не было. А здесь нарисовано все как есть. Я, конечно, понимаю, что убивать — это грех, но разве не все мы затем только и родились, чтобы жить во грехе? Вот этот бедолага, которого разделявают на части, — каждый раз, как я взгляну на него, у меня аж мурашки по коже бегут, а я все гляжу и не могу оторваться. Вишь, как ловко мясник отхватил ему ноги. Там, на лавке, лежит его голова, одна рука вона рядом, а другая — по ту сторону чурбана.

Старик пришел в сильнейшее возбуждение, глаза его хищно поблескивали за стеклами очков, и только голос с каждым словом становился все тише.

Мои собственные ощущения едва поддаются описанию. Все безотчетные страхи, что владели мною прежде, возродились с новой силой, и уже в следующее мгновение я осознал всю степень своего отвращения к этому дряхлому мерзкому чудовищу, находившемуся в непосредственной близости от меня. Я более не сомневался в том, что передо мной сумасшедший или по меньшей мере психически нездоровый человек. Старик говорил едва слышно, но шепот его казался мне страшнее любого крика, и, слушая, я трепетал.

— Так вот, значит, я и говорю, что странное дело, как эти картинки действуют на мозги. Если хотите знать, юный сэр, то вот от этой я прямо-таки схожу с ума. Когда я заполучил у Эба книжку, я глядел на нее часами, особенно как послушаю пастора Кларка, когда он, покойник, читал воскресную проповедь. Однажды я проделал забавную штуку — да вы не пугайтесь, сэр! — просто перед тем, как пойти забивать овец

на продажу, я поглядел на картинку, и право слово — забивать овец после этого стало куда веселее...

Старик говорил очень тихо, настолько тихо, что некоторых слов я не мог разобрать. Я прислушивался к шуму дождя и дребезжанию крохотных оконных стекол, улавливая время от времени глухие раскаты грома, необычные для этого времени года; с каждым разом они становились все ближе. Раз чудовищная вспышка молнии и последовавший за ней громовой раскат сотрясли дом до самого основания, но говоривший, казалось, не обратил на это никакого внимания.

— Забивать овец стало куда веселее, и все же, знаете ли, это было не совсем то, что надо. Странное дело, когда тебе что-нибудь втемяшится в башку. Ради всех святых, юноша, не рассказывайте никому об этом, только я готов поклясться перед Богом, что от этой картинки во мне проснулся аппетит к такого рода пище, какую не вырастишь на пастбище и не купишь за деньги. Эй, сидите смирно, что вас взяло? Я же еще ничего не делал, я только спрашивал себя: а что, если я попробую? Говорят, что мясо создает плоть и кровь и продлевает жизнь. Вот мне и стало любопытно: а нельзя ли продлевать свою жизнь еще и еще, если это будет не просто мясо, а нечто большее...

Но старику не суждено было продолжить свой монолог. Причиной этому явился отнюдь не мой испуг и даже не внезапно налетевший ураган — тот самый, в разгар которого я очнулся в полном одиночестве среди дымящихся почерневших развалин. Рассказчика остановило одно, на первый взгляд пустяковое и в то же время не совсем обычное обстоятельство.

Книга лежала между нами на столе, раскрытая на той странице, где была помещена эта отвратительная картинка. В тот момент, когда старик произносил слова «нечто большее», послышался слабый звук, напоминающий всплеск, и на пожелтевшей бумаге раскрытого тома показалось какое-то пятнышко. Я было мысленно погрешил на ливень и протекающую крышу, но ведь ливень не бывает красным. Между тем в самом центре картинки, изображавшей лавку мясника

у анзикейских каннибалов, живописно поблескивала миниатюрная алая клякса, сообщающая особую выразительность кошмару, запечатленному на репродукции. Заметив ее, старик оборвал фразу на середине — еще прежде, чем его могло побудить к этому выражение ужаса на моем лице; старик оборвал фразу и бросил беглый взгляд на потолок, в направлении комнаты, из которой он вышел час тому назад. Я проследил за его взглядом и увидел прямо над нами, на потолке, крупное темно-красное пятно неправильной формы; оно росло на моих глазах. Я не закричал и даже не пошевелился, я просто зажмурился. А спустя мгновение раздался сокрушительной силы удар стихии; он разнес на куски этот проклятый дом, кишасший чудовищными тайнами, и даровал мне обморок, который только и спас меня от окончательного помешательства.

ХОЛОД

Вы хотите знать, отчего я терпеть не могу сквозняков, почему мне становится не по себе на пороге холодной комнаты и тошнота подступает к горлу, когда теплый осенний день сменяется вечерней прохладой? Вы не ошибетесь, если скажете, что я ненавижу холод точно так же, как другие не переносят дурные запахи. Но чтобы вам было все понятно, я хочу поведать одну весьма жуткую историю, оставляя за вами право решать, насколько эта история объясняет упомянутую странную особенность моей психики.

Заблуждаются те, кто связывает все кошмары и ужасы исключительно с мраком, безмолвием и одиночеством. Ошибочность такого взгляда открылась мне в сиянии полуденного солнца, в грохоте и шуме большого города, среди жильцов самых обыкновенных меблированных комнат с самой заурядной домовладелицей. А началось все весной 1923 года, когда я устроился на работу в один из нью-йоркских журналов. Работа была столь же скучной, сколь и низкооплачиваемой, и это последнее обстоятельство заставляло меня переезжать с места на место в поисках не очень дорогой, но достаточно чистой и сносно обставленной комнаты. Наконец, после долгих мытарств, я обосновался в доме на Четырнадцатой Западной улице, показавшемся мне наименее отвратительным обиталищем из числа осмотренных.

Этот четырехэтажный каменный особняк, внутри отделанный мрамором и резным деревом, некогда, возможно, впе-

чатлял обывателей своей пышностью и великолепием, но сейчас мог служить разве что образцом безвкусицы. В просторных комнатах с нелепыми обоями на стенах и вычурной лепниной под высокими потолками царил затхлый дух, к которому постоянно примешивались отвратительные кухонные запахи. Зато полы в помещениях были чистыми, постельное белье менялось более-менее регулярно, а горячая вода довольно редко отключалась и была действительно горячей, так что я счел это место вполне пригодным для проживания до той поры, когда смогу снимать более приличное жилье. Хозяйка дома — неряшливая, с заметной бородкой, испанка по фамилии Эрреро — не докучала мне болтовней и попреками за горящий допоздна свет в моей комнате на третьем этаже, окнами на улицу; соседи, тихие и необщительные испанцы из самых низов, тоже меня вполне устраивали. Единственным серьезным неудобством был постоянно доносившийся с улицы шум городского транспорта.

Первый странный инцидент в цепи последовавших за тем невероятных событий произошел на исходе третьей недели моего пребывания в этом доме. Однажды вечером я внезапно услышал, что где-то в комнате капает, и почти одновременно с этим отчетливо ощутил едкий запах нашатыря. Взглянув вверх, я заметил в углу на потолке влажное пятно. Желая выяснить причину происшествия, я поспешил к хозяйке и, рассказав ей о постигшей меня неприятности, услышал в ответ заверения в том, что все будет улажено.

— Это все доктор Муньос, — ворчала сеньора Эрреро, поднимаясь по лестнице. — Он, конечно, опять пролил химикалий. Он есть так болен и слаб — кто бы его сам лечил, он ведь все больше и больше слабый, — но он не хочет никто ему помогать. У него есть такой странный болезнь — он целый день принимает ароматная ванна, и он нельзя тревожить и нагревать. Он сам ухаживает свой квартира, его маленький комната весь занят бутылки и машинки — он сейчас не доктор, он никто не лечит. Но он все равно был большой доктор — мой папа слышал о нем в Барселона, — и он совсем

недавно вылечил рука у один водопроводчик, когда он стал болеть. Он никуда не выходит, только на крыша, а мой сын Эстебан приносит его еда, белье, лекарство и химикалий. Господи, опять этот нашатырь, который он холодит себя, да!

Сеньора Эрреро устремилась на четвертый этаж, а я вернулся в свою комнату. Капли перестали падать с потолка; затерев лужу на полу и распахнув окно, чтобы проветрить комнату, я услышал у себя над головой тяжелую поступь. Несомненно, это были шаги сеньоры Эрреро, ибо обычно сверху не доносилось никаких звуков, за исключением шума некоего работающего механизма. Несколько последующих дней я лениво размышлял о странной болезни жильца наверху. По правде сказать, его упрямое нежелание принимать постороннюю помощь показалось мне поначалу довольно странным, но, немного поразмыслив, я решил, что это всего-навсего эксцентричная причуда привыкшего к долгому уединению человека.

Я бы, наверное, так никогда и не познакомился с доктором Муньосом, если бы однажды утром со мной не случился сердечный приступ. Зная, что медлить нельзя ни минуты, и вспомнив рассказ сеньоры Эрреро о врачебном искусстве одного из своих постояльцев, я, преодолевая слабость, поднялся этажом выше и постучал в дверь доктора. В ответ откуда-то справа послышался довольно странный голос, обладатель которого на правильном английском языке спросил, кто я такой и что мне надо, после чего распахнулась дверь, но не та, в которую я стучался, а соседняя.

Поток неожиданно холодного воздуха хлынул на меня, и я почувствовал сильный озноб — несмотря на то что за окнами стояло жаркое летнее утро. Квартира, в которую я попал, поражала своей богатой, со вкусом подобранной обстановкой, резко контрастировавшей с убогим убранством других помещений дома. Складная кушетка, занимавшая место софы, мебель красного дерева, роскошные портьеры, картины старых мастеров и полки, тесно уставленные книгами, — все это делало квартиру похожей скорее на апартаменты

джентльмена, нежели на обычную спальню в меблированных комнатах. Помещение, должное выполнять роль прихожей, было переоборудовано доктором под лабораторию, о которой упоминала сеньора Эрреро: то была маленькая комната, заполненная всевозможными склянками и приборами. Примыкавшая к ней комната побольше была, скорее всего, жилой, но все предметы домашнего обихода и одежда были скрыты от посторонних глаз в шкафах и просторной ванной комнате. Несомненно, доктор Муньос отличался хорошим воспитанием и по этой причине не желал выставлять напоказ материальную сторону своего бытия.

Небольшого роста и весьма пропорционального сложения, доктор был одет в великолепно скроенный и пошитый, однако чересчур официальный для дома костюм. Породистое лицо с властным, хотя и не надменным выражением было окаймлено коротко остриженной седой бородой, большие темные глаза за стеклами старомодного пенсне придавали ему некоторое сходство с мавром; в целом же черты его были скорее кельтскими. Густые волосы, аккуратно уложенные над высоким лбом, свидетельствовали о регулярных визитах парикмахера. В общем, все в облике доктора Муньоса наводило на мысль о его принадлежности к аристократическим слоям общества.

Тем не менее в первую минуту внешность доктора вызвала у меня совершенно неожиданную антипатию. Конечно же, оттенок зловещей синевы на его лице и пронзительный холод протянутой мне руки вполне могли стать основанием для подобных чувств, хотя этим недостаткам вполне можно было найти оправдание, вспомнив о болезни доктора. Скорее всего, доктор Муньос был здесь ни при чем, а отвращение у меня вызвал холод — столь подозрительная для такого жаркого дня ледяная свежесть показалась слишком уж необычной, а всякие отклонения от нормы, как правило, пробуждают в моей душе отрицательные эмоции.

Однако антипатия быстро уступила место восхищению высочайшим искусством этого странного врача — его

холодные как лед, слегка подрагивавшие руки уверенно возвращали меня к жизни. Между делом доктор рассказал мне целую историю о том, как он однажды объявил себя непримиримым врагом смерти и посвятил борьбе с нею всю свою жизнь, в конечном счете растеряв последних друзей и поломав блестящую карьеру.

«Благородный фанатик», — подумал я, глядя на него. В течение нескольких минут он прослушивал мои легкие и сердце, а затем ушел в свою лабораторию и вскоре вернулся оттуда с какой-то микстурой, которую и дал мне выпить. Все это время он не переставал разговаривать со мной; очевидно, люди моего круга давно уже не бывали его гостями, и теперь, произнося этот монолог, он мысленно возвращался к лучшим годам своей жизни. В то же самое время его хорошо поставленный голос звучал неестественно глухо, без каких бы то ни было интонационных оттенков, и так ровно, что я даже не смог различить вдохов.

— Не беспокойтесь о своем слабом сердце, — говорил доктор. — Важно, чтобы у вас была сильная воля, ибо воля и сознание превыше органической жизни, и если изначально здоровую телесную оболочку тщательно законсервировать и сохранить в ней упомянутые мною качества, тело будет продолжать жить, несмотря на дефекты каких-либо органов или даже полное их отсутствие. Вы можете жить или по крайней мере вести осознанное существование, даже совсем не имея сердечной мышцы! Что касается меня, то целый букет болезней не позволяет моему организму существовать при нормальной температуре. Потому я и вынужден жить в пространстве, где поддерживается постоянный холод. А нагрейся эта комната всего на несколько градусов и продлись это хотя бы пару часов, как я тут же умру. Ведь мой организм нормально функционирует лишь при 55–56 градусах Фаренгейта, а для поддержания такой температуры нужно, чтобы система охлаждения работала исправно, как часы. — Тут он указал на аммиачную холодильную установку с бензиновым двигателем. Именно его шум я часто слышал в своей комнате.

Я был исцелен с чудесной быстротой и покинул холодную квартиру доктора в полном восторге как от него самого, так и от его необычных идей. После этого случая я стал у него частым гостем. Правда, визиты приходилось наносить, одеваясь в теплое пальто, но это нисколько не мешало мне внимать пространным рассказам моего соседа об исследованиях, которые он проводил в глубочайшей тайне, и об их потрясающих воображение результатах. С дрожью в руках и с душевным трепетом перелистывал я страницы неправдоподобно древних фолиантов, теснившихся на его книжных полках. Что же до моего сердечного недуга, то от него я избавился окончательно и бесповоротно, пройдя у доктора короткий, но весьма эффективный курс лечения. Его концепции и методы были удивительны, если не сказать уникальны. В отличие от врачей, с которыми я имел дело до недавнего времени, доктор Муньос не относился с гневом и презрением к так называемому шарлатанству средневековых врачей-алхимиков, а, напротив, считал, что все зашифрованные ими формулы скрывают в себе некие психологические стимулы, должны оказывать влияние на те или иные субстанции нервной системы, в которых уже прекратились органические пульсации. С большим интересом слушал я повествование доктора о его коллеге, докторе Торресе из Валенсии, который принимал участие в ранних экспериментах моего собеседника и излечил его от тяжелой болезни, приключившейся с ним восемнадцать лет тому назад. Болезнь эта не прошла, однако, бесследно — с нее и начались все нынешние недуги доктора Муньоса, от коих он ныне спасался столь необычным способом. Доктор же Торрес недолго праздновал победу — вскоре после излечения своего коллеги он сам пал жертвой коварного врага, повергнутого им незадолго до того в битве за жизнь единомышленника. По всей вероятности, это была страшная битва; перейдя к рассказу о ней, доктор Муньос понизил голос до шепота и сообщил — не вдаваясь, однако, в подробности, — что методы исцеления были весьма и весьма неорди-

нарны и уж никак не получили бы одобрения со стороны старых консерваторов — последователей Галена.

Регулярно общаясь с доктором, я с некоторых пор стал с сожалением замечать, что мой новый друг медленно, но верно угасает физически. Синева его лица заметно усилилась, голос звучал уже настолько глухо, что понять его речь можно было лишь с большим трудом, движения и жесты, еще совсем недавно отточенные и элегантные, стали неуверенными и суевливыми. Но неприятнее всего было наблюдать за тем, как его ум постепенно утрачивал присущие ему некогда живость и гибкость. Сам доктор, казалось, не замечал происходивших с ним перемен, чего никак нельзя было сказать обо мне; мало-помалу выражение его лица и темы его бесед стали раздражать меня и пробуждать в душе антипатию, подобную той, что ненадолго возникла у меня во время первого знакомства.

У него появились совершенно необъяснимые причуды; ему вдруг понадобились экзотические специи и египетские благовония, так что вскоре его комната стала издавать ароматы, невольно напоминавшие о склепах с захоронениями фараонов в Долине Царей. Кроме того, доктор с моей помощью внес некоторые изменения в конструкцию компрессора и привода холодильной установки, а также увеличил длину трубок, по которым перегонялся аммиак. Он успокоился лишь тогда, когда температура воздуха в его комнате приблизилась к точке замерзания воды, а потом и вовсе опустилась ниже этой отметки. Только в ванной и в лаборатории поддерживалась более высокая температура, да и то только для того, чтобы не замерзала вода и не замедлялись химические реакции. Его сосед по этажу стал жаловаться на холод, проникавший из квартиры доктора через смежную дверь, и мне пришлось установить на ней дополнительные уплотнения. В последнее время доктор беспрестанно говорил о смерти, однако любые упоминания о похоронах и прочих подобных ритуалах вызывали у него жуткий сатанинский хохот.

Что и говорить, он становился весьма неприятным собеседником, и все же, испытывая в душе благодарность за ту помощь, которую он оказал мне в свое время, я не решался бросить его на произвол судьбы. Каждый день я заходил к нему и приводил в порядок комнату и лабораторию. Покупки для него тоже делал я; но если с продуктами дело обстояло довольно просто, то формулы многих химических веществ, которые он заказывал, приводили аптекарей в явное замешательство — они ума не могли приложить, для кого и для чего могли вдруг понадобиться такие препараты.

Постепенно вокруг квартиры доктора Муньоса сгустилась атмосфера необъяснимого ужаса. Из комнаты и лаборатории постоянно исходило жуткое зловоние, распространявшееся по всему дому. Специи и ароматические вещества больше не могли заглушить отвратительного запаха неизвестных химикалий, которые доктор использовал для своих ванн — он принимал их чуть ли не ежечасно, неизменно и категорически отвергая все мои предложения о помощи. Видимо, эти процедуры были одним из средств борьбы против его таинственного недуга. Сеньора Эрреро, проходя мимо квартиры доктора, всякий раз крестилась и, запретив своему сыну Эстебану даже приближаться к злополучным апартаментам, переложив все заботы о загадочном постояльце на мои плечи. Как-то раз, когда я предложил доктору воспользоваться услугами других врачей, он пришел в неописуемую ярость и, наверное, растерзал бы меня на куски, если бы не опасался пагубного влияния отрицательных эмоций на свой дряхлеющий организм. И все же, невзирая на полный упадок физических сил, воля и сознание доктора скорее укрепились, нежели ослабли, — так, после той изнурительной для него вспышки гнева он решительно отказался лечь в постель, не обращая ни малейшего внимания на мои настойчивые увещания. В первые дни нашего знакомства он был спокоен и даже апатичен; но сейчас от былой апатии не осталось и следа: казалось, доктор бросает вызов демону смерти в своем бешеном и необузданном стремлении повергнуть врага, даже будучи

схваченным им за горло. Он уже больше не делал вида, что принимает приносимую ему пищу (впрочем, я давно понял, что все его трапезы — не более чем безыскусная имитация нормальной жизнедеятельности человеческого организма), и от полного разрушения доктора спасала только недюжинная сила его воли и интеллекта.

С некоторых пор он взялся составлять какие-то пространственные документы, которые тщательно запечатывал и отдавал мне, поручая отправить их после его смерти по тем или иным адресам, большей частью в Индию. Среди его адресатов значился также один знаменитый врач-француз, которого все считали давным-давно умершим и о котором ходили самые невероятные слухи. После того, что случилось, я сжег все эти документы, никуда их не отправив и не прочтя ни одного из них. Он ужасно сдал за последнее время — его внешность и голос вызывали ужас даже у меня, и я чувствовал себя весьма неуютно, оставаясь с ним наедине. В один из сентябрьских дней я вызвал в его квартиру электрика — нужно было починить настольную лампу, — но при виде доктора бедняга рухнул на пол и забился в эпилептическом припадке. Руководствуясь указаниями, которые доктор давал мне, не выходя из-за портьеры, я сумел привести его в чувство. Позднее электрик дрожащим шепотом сказал мне, что, пройдя все ужасы мировой войны, он ни разу не испытывал подобного потрясения.

Миновала уже середина октября, когда произошла внезапная и чудовищная развязка. Однажды вечером, часов около одиннадцати, сломался насос холодильной установки, и уже через три часа температура воздуха в комнате доктора поднялась до катастрофически высокой отметки. Услышав у себя над головой отчаянный, призывающий на помощь стук, я поднялся наверх и без лишних слов принялся чинить поломку, в то время как доктор носился по комнате, непрерывным потоком изрыгая чудовищные проклятья. Мои жалкие дилетантские попытки не возымели успеха, и пришлось позвать на помощь механика, коротавшего ночь в гараже по

соседству. Однако и он ничего не смог сделать, посоветовав подождать до утра, когда можно будет раздобыть новый поршень. Ярость и страх переполняли обреченного затворника настолько, что казалось, вот-вот разорвется его и без того хрупкая телесная оболочка. В очередном приступе бешенства доктор закрыл глаза руками и ринулся в ванную, сметая все на своем пути. Спустя некоторое время он вышел оттуда с плотной повязкой на лице, и я вдруг подумал, что никогда больше не увижу его глаз...

В комнате стало совсем тепло, и где-то около пяти часов утра доктор снова удалился в ванную, отдав мне распоряжение собрать весь имевшийся в ближайших ночных аптеках и кафетериях лед. Я тут же убежал на поиски льда; вернувшись некоторое время спустя и оставив все, что сумел раздобыть, у двери ванной комнаты, я услышал доносившийся оттуда на фоне беспрестанного плеска воды низкий каркающий голос доктора: «Еще! Еще!» Уже наступило утро, лавки и магазины открывались один за другим. Я поймал Эстебана и предложил ему либо подносить лед в квартиру доктора, либо искать исправный поршень для насоса, поскольку не мог делать два дела одновременно; однако Эстебан, получивший на этот счет строгие инструкции от своей матери, наотрез отказался помочь мне.

В конце концов я нанял человека, которому поручил все заботы по доставке льда, а сам занялся поисками поршня и специалиста, способного его установить. Никогда еще собственное бессилие в решении, казалось бы, простой задачи не приводило меня в такое иступленное состояние. Я почти физически ощущал неумолимое течение времени, когда безрезультатно звонил по телефону и лихорадочно метался по всему городу в бесплодных попытках сделать хоть что-нибудь. Около полудня мне наконец удалось найти подходящую мастерскую, но она располагалась в отдаленном пригороде, и я возвратился только в половине второго, привезя с собой необходимые принадлежности и двух механиков — крепких, толковых парней. В общем, я сделал все возможное и надеялся, что мои усилия не окажутся тщетными.

Но, едва переступив порог, я понял, что опоздал. Словно какой-то зловещий дух поселился в доме. Испуганные жильцы дрожащими руками перебирали четки, то ли пытаюсь молиться, то ли в надежде отвлечься за этим занятием от чего-то неведомого и потому особенно страшного. Они сообщили мне, что из комнаты доктора с самого утра распространяется отвратительный запах и что нанятый мною человек сбежал; те же, кто его видел, на всю жизнь запомнили его искаженное гримасой ужаса лицо и его же пронзительный, нечеловеческий вопль. Однако дверь, которую он в паническом бегстве оставил открытой, теперь была заперта изнутри. Из-за двери не доносилось ни единого звука, кроме размеренного стука капель.

Я наскоро переговорил с сеньорой Эрреро и рабочими и, несмотря на царивший в моей душе страх, решился проникнуть в квартиру. Механики собрались было взломать дверь, но хозяйка принесла какое-то хитроумное проволочное приспособление, с помощью которого удалось повернуть торчавший изнутри ключ. Перед этим мы открыли двери всех остальных комнат на этаже и широко распахнули все окна. Совершив эти приготовления, мы зажали носы платками и проникли в квартиру.

В первый момент нас ослепило полуденное солнце. Спустя несколько секунд, когда глаза привыкли к яркому свету, мы разглядели на полу след — узкую полоску какого-то темного студенистого вещества, тянувшуюся из ванной комнаты до двери в прихожую, а оттуда в кабинет доктора, где на столе чернела небольшая круглая лужица, при виде которой по моему телу пробежала дрожь. Рядом с лужицей лежал клочок бумаги с оборванными самым невероятным образом краями — казалось, это сделала не человеческая рука, а когтистая лапа неведомого животного, и эта же лапа крупным, уродливо искаженным почерком нацарапала на листке несколько строк. От стола след шел к кушетке и обрывался там окончательно.

Что же я увидел на кушетке? И что там могло быть несколько минут тому назад? Я никогда не решусь ответить на

эти вопросы со всей откровенностью. Скажу только, что разгадку увиденной мною жуткой картины я нашел в той самой записке, лежавшей на столе, — после чего зажег спичку и предал бумагу огню. Сеньора Эрреро и рабочие не обратили на это внимания — пораженные увиденным, они с криками выбежали из комнаты и помчались в полицейский участок сообщить об ужасном происшествии. Я остался в комнате один; за окном сияло яркое солнце, слышался шум машин и трамваев, запрудивших 14-ю улицу, и эта обыденная обстановка никак не вязалась с тем страшным признанием, которое сохранилось в сожженном мною письме. Оно было совершенно невероятным, но тогда я поверил ему безоговорочно. Не знаю, верю ли я ему сейчас. Есть вещи, о которых лучше не размышлять, и я с полной определенностью могу сказать лишь то, что с тех пор не выношу запаха аммиака и едва не падаю в обморок от внезапного дуновения холодного воздуха.

«Конец близок, — гласило послание. — Льда больше нет — человек заглянул в ванную и удрал. Становится все теплее и теплее, и ткани уже не выдерживают. Вы помните мою теорию о воле, нервах и консервации тела после прекращения работы органов? Хорошая теория, но в жизни так не может продолжаться бесконечно. Я не предусмотрел возможности постепенного разложения. Доктор Торрес знал об этом, но умер, не выдержав потрясения. Его рассудок отказался служить ему после того, как, прочитав мое письмо, он вытащил меня из могилы и вернул в мир живых. А что касается органов, то они все равно никогда бы не возобновили свою работу. Он следовал моей теории и сделал искусственную консервацию. Вы, наверное, поняли, что он вытащил меня из могилы в самом прямом смысле этого слова — *ведь я умер еще тогда, восемнадцать лет назад*».

ШЕПЧУЩИЙ ИЗ ТЬМЫ

I

Запомните накрепко: в последний момент никакого зримого ужаса я не увидел. И сказать, будто окончательный вывод я сделал в состоянии психологического шока — последней соломинки, заставившей меня среди ночи спешно покинуть уединенную ферму Эйкли и помчаться в его автомобиле по безлюдной дороге меж округлых холмов Вермонта, — значит игнорировать элементарные факты. Невзирая на все серьезные вещи, которые я увидел и услышал, невзирая на всю наглядность впечатления, произведенного на меня этими тварями, я даже теперь не могу в точности сказать, прав я был или нет, придя к ужасающему умозаключению. Ведь, в конце концов, исчезновение Эйкли ни о чем не говорит. В его доме не нашли ничего подозрительного, за исключением следов от пуль, продырявивших стены снаружи и внутри. Можно было подумать, что он просто вышел на прогулку по окрестным горам и не вернулся. Ничто не указывало на то, что в доме побывали некие гости, и в его кабинете не нашли тех жутких металлических цилиндров и машин. А в том, что высокие лесистые горы и бесконечный лабиринт журчащих ручьев, среди которых он родился и вырос, внушали ему смертельный ужас, тоже нет ничего необычного; ведь тысячи людей подвержены аналогичным болезненным страхам. Странное же поведение, как и обуревавшие его приступы страха, можно легко объяснить эксцентричностью натуры.

События, сыгравшие столь значительную роль в моей жизни, случились во время печально знаменитого Вермонтского наводнения 3 ноября 1927 года. Тогда — как и сейчас — я преподавал литературу в Мискатоникском университете в Аркхеме, штат Массачусетс, и изучал древние поверья Новой Англии. Вскоре после того небывалого в истории наводнения среди множества публикаций в прессе о разрушениях, бытовых тяготах населения и помощи пострадавшим появились и странные сообщения о существах, обнаруженных в речных запрудах; тогда многие мои знакомые пустились с азартом обсуждать эти новости и попросили меня пролить свет на сей предмет. Мне было лестно сознавать, что они столь серьезно относятся к моим штудиям местного фольклора, и я постарался разоблачить те дикие рассказы, которые, как мне представлялось, выросли на почве невежественных деревенских суеверий. Меня немало забавляло, как некоторые весьма образованные люди с полной серьезностью настаивали на том, будто циркулировавшие слухи основывались на фактах — пусть даже искаженных и неверно истолкованных.

Источником небылиц, привлечших мое внимание, были главным образом газетные публикации; впрочем, одну историю, или, скорее, сплетню, мой приятель узнал из письма матери, жившей в Хардвике, штат Вермонт. В нем описывалось примерно все то же самое, что и в прочих слухах, но речь шла о трех не связанных между собой находках — одна была обнаружена в Уинуски-ривер близ Монпелье, другая — в Вест-ривер в округе Уиндэм за Ньюфаном, а третья — в реке Пассампсик в округе Каледония выше Линдонвилля. Разумеется, разные источники упоминали о множестве находок, но по всему выходило, что они толкуют именно об этих трех. В каждом случае местные жители сообщали о замеченных в бурных водах, что низвергались с пустынных холмов, неких диковинных жутковатых объектах, причем молва связывала эти объекты с циклом тайных и очень древних преданий, о которых ныне помнили лишь немногие старики.

Людам чудилось, будто они видели фрагменты органических существ, не похожих ни на какие доселе им известные. Естественно, в те трагические дни разлившиеся реки выбрасывали на берег тела погибших при наводнении; но очевидцы, описывавшие странные фрагменты, уверяли, что это не были человеческие останки, хотя и походили на людей размерами и общими очертаниями. Вместе с тем утверждалось, что эти фрагменты явно не принадлежали ни одному из животных, что водятся в Вермонте. Они были розоватого цвета, длиной около пяти футов; по виду напоминали ракообразных и имели множество пар то ли спинных плавников, то ли перепончатых крыльев и несколько пар членистых конечностей, а иные напоминали спиралевидный эллипсоид, покрытый множеством крохотных щупальцев — там, где у обычных ракообразных находится голова. Что особенно удивляло — так это точность, с какой совпадали описания из разных источников. С другой стороны, чему тут удивляться? Ведь старинные легенды этого горного края изобиловали живописными подробностями, которые исподволь питали возбужденное воображение так называемых очевидцев и расцвечивали их рассказы. Мой же вывод заключался в том, что очевидцы — а они в каждом случае были наивными и простодушными обитателями провинциальной глуши — замечали в потоках вод изуродованные и вздутые трупы людей и домашних животных; но тем не менее, под влиянием полузабытых местных легенд, приписывали несчастным жертвам наводнения самые фантастические свойства.

Предания старины, туманные, невнятные и большей частью давно забытые нынешним поколением, были весьма необычны и явно отражали влияние еще более древних индейских сказаний. Все это мне было прекрасно известно (хотя никогда до той поры я не бывал в Вермонте) по редчайшей монографии Эли Давенпорта, где описаны устные народные предания, собранные до 1839 года среди долгожителей штата. Эти предания к тому же совпадали с рассказа-

ми, которые я лично слышал от стариков в горных селениях Нью-Гэмпшира. Если суммировать все эти рассказы, то в них речь шла о неведомой расе ужасных существ, обитавших в самых отдаленных горных районах — в глухих чащах, на вершинах высоких пиков и в уединенных долинах, где протекают ручьи, берущие начало из неведомых ключей. Этих тварей редко когда удавалось увидеть воочию, и свидетельства их существования передавались теми, кто некогда отважился зайти на самые дальние склоны гор или спуститься в глубокие горные ущелья, которых избегали даже волки.

На илистых берегах тамошних ручьев и на иссохших клочках земли они находили диковинные отпечатки лап и клешней, а также выложенные из камней таинственные круги с вытоптанной по диаметру травой, которые явно не были созданы природой. А на склонах гор обнаруживались диковинные пещеры неведомой глубины, заваленные — отнюдь не случайно! — гигантскими валунами, и множество следов, ведущих как внутрь пещер, так и прочь от них — если, конечно, направление следов было верно определено. Но хуже того, там были найдены предметы, на которые даже самым безрассудным следопытам редко когда удавалось наткнуться в сумеречных долинах и в непроходимых чащах мактового леса, далеко за границами областей, обычно посещаемых путешественниками.

Все это вызывало бы куда меньшую тревогу, если бы отрывочные рассказы об этих предметах не были столь похожи. А так сложилось, что почти все местные байки сходились в ряде важных подробностей: очевидцы уверяли, будто эти существа напоминают гигантских алых крабов с множеством пар лап и с парой огромных крыльев, точно у летучей мыши, посередине спины. Иногда существа передвигались на всех конечностях, но иногда лишь на паре задних лап, используя остальные для переноски крупных предметов неясного назначения. Кто-то однажды наблюдал целую их стаю

значительной численности, которая организованно передвигалась по обмелевшей речушке стройными колоннами по трое в ряд. Как-то этих тварей видели в полете — они взмыли с вершины одинокой голой скалы ночью и исчезли в вышине, шумно махая огромными крыльями и на миг заслонив яркий диск луны.

Похоже, горным чудовищам не было дела до людей, хотя их кознями объясняли загадочные исчезновения поселенцев — особенно тех, кто намеренно строил дома слишком близко к печально известным долинам или слишком высоко на склонах печально известных гор. Многие места в тех краях считались нежелательными для поселения, причем даже и после того, как повод для этого общераспространенного опасения давно позабылся. На иные окрестные горы люди смотрели с содроганием, хотя никто уже и не помнил, сколько поселенцев пропало в горных лесах и сколько домов сгорело дотла у подножия этих угрюмых зеленых часовых.

Согласно самым ранним легендам, жуткие твари нападали лишь на тех, кто осмеливался нарушать пределы их владений, но вот более поздние поверья рассказывали о том, что они выказывали любопытство в отношении людей и даже высылали тайные отряды слежения за поселенцами. Известны также рассказы о странных отпечатках когтей, что находили по утрам на оконных рамах фермерских домов, а также об исчезновении людей вдаль от всем известных опасных мест. И еще рассказывали о странных жужжащих голосах, явно копирующих человеческую речь, которые делали ужасающие предложения одиноким путникам на тропинках или проезжих дорогах в лесных чащах, и о детишках, насмерть перепуганных увиденным или услышанным в тех местах, где вековые леса вплотную подступали к их жилищам. И наконец, в преданиях совсем недавнего прошлого — когда все прежние суеверия уже стерлись из памяти и люди вовсе перестали посещать те заповедные места — фигури-

ругуют ужасные истории об отшельниках и обитателях уединенных ферм, которые внезапно подвинулись рассудком и будто бы продали душу богомерзким тварям. А в одном из северо-восточных округов в самом начале XIX века возникло даже поветрие обвинять эксцентричных и нелюдиных затворников в том, что они-де заключили союз с отвратительными тварями или стали их посланцами в нашем мире.

Что же до самих тварей, то тут описания, понятное дело, разнились. Обыкновенно их называли «те самые» или «те древние», хотя в разных местах бытовали и другие термины, но они не смогли закрепиться надолго. Возможно, многие поселенцы-пуритане считали их порождением дьявола и на этом основании пускались истово строить теологические спекуляции. Те же, в чьих жилах текла кельтская кровь — а таковыми были нью-гэмпширские потомки шотландцев и ирландцев и их сородичи, прибывшие в Вермонт осваивать дарованные губернатором Уэнтвортом земли, — связывали этих тварей со злыми духами или болотным «малым народцем» и оберегали себя от их козней заговорами, передававшимися из поколения в поколение. Но самые фантастические домыслы на их счет распространяли местные индейцы. При всем различии древних сказаний у разных индейских племен они совпадали в некоторых важнейших деталях. Так, существовало единодушное мнение, что эти твари — порождение не земного мира. В изобилующих живописными подробностями мифах пеннакуков рассказывается, что Крылатые прилетели с неба, с Большой Медведицы, и вырыли в земных горах глубокие шахты, где они добывают особые минералы, которых не найти нигде в других мирах. Они вовсе не поселились на Земле, говорят нам мифы, а просто выставили тут временные форпосты и регулярно летают к своим звездам в северной части неба с грузом добытых минералов. И уничтожают они лишь тех земных жителей, которые подбираются к ним чересчур близко или пытаются их вы-

слеживать. Дикие звери сторонятся их из природного инстинкта, а не потому, что твари на них охотятся. Питаться земными растениями и животными Пришлые не могут, поэтому они принесли с собой свою пищу с далеких звезд. Подходить к их колониям опасно — вот почему молодые охотники, забредавшие в облюбованные тварями горы, пропадали навсегда. Столь же опасно вслушиваться в их ночное перешептывание в лесах, когда они жужжат точно пчелы, пытаясь подражать человеческой речи. Им ведом язык всех людей — пеннакуков, гуронов, пяти ирокезских племен, — но у них самих, похоже, нет своего языка, да они в нем и не нуждаются. Они переговариваются, меняя цвет головы, что и служит им для передачи осмысленных сообщений.

Разумеется, все легенды и предания, как индейские, так и белых поселенцев, в течение девятнадцатого века почти полностью забылись, лишь местами сохраняясь в форме древних суеверий. После того как жители Вермонта прочно обосновались на земле и начали строить дороги и поселения по четкому плану, они все реже вспоминали о старинных страхах и запретах, в угоду которым эти планы составлялись. Большинство фермеров просто знали, что такие-то горные районы издавна считаются опасными, невыгодными для освоения или непригодными для проживания, и чем дальше от них держаться, тем лучше. Со временем вошедшие в привычку обычаи и соображения экономической выгоды столь глубоко укоренились, что поселенцам более не было смысла выходить за границы своих мест обитания, а запретные горы так и остались необитаемыми — скорее волею случая, нежели по умыслу. И за исключением нечастых вспышек панических страхов в тех местах, лишь суеверные старухи да девьяностолетние деды, вспоминая свою юность, судачили о тварях, обитающих в дальних горах; но даже пересказывая шепотом древние предания, рассказчики соглашались, что теперь нечего бояться тварей, ведь они давно смирились с присутствием ферм и поселков, коли люди раз и навсегда

оставили их в покое, не посягая на выбранные ими для обитания места.

Все это мне давно было известно из книг и устных преданий, собранных мною в Нью-Гэмпшире; вот почему, когда после наводнения появились все эти нелепые слухи, я легко догадался, на какой благодатной почве они возникли. Мне стоило немалых усилий объяснить все это моим друзьям, и меня соответственно позабавило, когда некоторые особенно задиристые спорщики продолжали настаивать, будто во всех этих нелепых сообщениях содержится изрядная доля истины. Эти упрямцы указывали на то, что все древние предания объединяет сходство общей канвы событий и деталей и что было бы крайне глупо безапелляционно судить о таинственных обитателях малоизученной вермонтской глухомани. Их сомнения не могли развеять даже мои заверения, что все мифы повторяют хорошо известную, общую для всего человечества сюжетную структуру и что они возникли на ранних стадиях творческой деятельности человека и отражают одинаковые заблуждения.

Было бесполезно доказывать таким оппонентам, что в сущности вермонтские мифы мало чем отличаются от универсальных легенд о персонификации природных явлений, благодаря которым Древний мир населяли фавны, дриады и сатиры, а уже в современной Греции возникли легенды о калликанзарах, а в древнем Уэльсе и Ирландии — предания о троглодитах и землероях, жутких существах, обитающих глубоко под землей. И было бесполезно ссылаться на удивительно схожую веру народов горного Непала в ужасного Ми-го или «мерзких снежных людей», что бродят по ледникам Гималайских хребтов. Когда я сослался на эти факты, мои оппоненты обратили их против меня, увидев в них намек на историческую достоверность старинных преданий и лишний аргумент в пользу реального существования диковинной расы древних обитателей Земли, вынужденных прятаться от господствующего на планете *homo sapiens* и, с боль-

шой долей вероятности, кое-где доживших до относительно недавних времен — а то и существующих по сей день.

И чем больше я поднимал на смех теории моих друзей, тем с большим упорством они настаивали на их истинности, добавляя, что даже без влияния древних мифов недавние сообщения слишком недвусмысленны, подробны и объективны, чтобы от них можно было просто отмахнуться. Два-три самых отъявленных фанатика сослались на древние индейские сказания, в которых говорилось о внеземном происхождении таинственных тварей, и цитировали экстравагантные писания Чарльза Форта, уверявшего, будто посланцы иных миров из глубин космоса частенько посещали нашу Землю в прошлом. Большинство же моих противников, однако, были всего лишь романтиками, упрямо пытавшимися пересадить на реальную почву фантастические вымыслы о таинственном «малом народе», которые популяризовал блистательный мастер литературы ужасов Артур Мейчен.

II

Естественным образом так получилось, что наши острые дебаты в конце концов были опубликованы в форме писем, направленных в редакцию «Аркхем эдвертайзер»; кое-какие из них были затем перепечатаны в газетах тех районов Вермонта, где и возникли фантастические рассказы в связи с недавним наводнением. «Ратлэнд геральд» посвятила половину полосы выдержкам из писем с обеих сторон, в то время как «Братлборо реформер» полностью перепечатало мой обширный историко-мифологический обзор, пронизательно снабдив публикацию глубокомысленным комментарием своего обозревателя, пишущего под псевдонимом Пенд-рифтер, который целиком и полностью поддержал и одобрил мои скептические выводы. К весне 1928 года я стал в Вермонте чуть ли не местной знаменитостью, притом что никогда не посещал этот штат. Вот тогда-то я и начал полу-

чать от Генри Эйкли письма с опровержениями моих взглядов, которые произвели на меня глубокое впечатление и вынудили в первый — и последний — раз в жизни посетить этот удивительный край безмолвных зеленых гор и говорливых лесных ручьев.

Многое из моих сведений о Генри Уэнтворте Эйкли было почерпнуто из переписки с его соседями и его единственным сыном, проживающим в Калифорнии, уже после моего посещения его уединенной фермы. Он был, как я выяснил, последним представителем старинного и уважаемого во всей округе семейства юристов, администраторов и землевладельцев. Однако именно на нем древний род резко уклонился от практических занятий в сторону чистой науки, и он многие годы посвятил изучению математики, астрономии, биологии, антропологии и фольклора в Вермонтском университете. До той поры я никогда не слышал его имени, и он не слишком щедро делился автобиографическими подробностями в письмах, но из них мне сразу стало ясно, что это человек большого ума и эрудиции, с сильным характером, давно уже живущий затворником и посему мало искушенный в обычных житейских делах.

Несмотря на всю фантастичность высказанных Эйкли идей, я с самого начала отнесся к нему куда более серьезно, чем к кому-либо из иных своих оппонентов. Во-первых, он, похоже, и впрямь сталкивался с конкретными явлениями — зримыми и осязаемыми, — о которых он высказывался в столь фантастической манере; а во-вторых, его отличало подкупающее стремление облекать свои умозаключения в форму предположений и гипотез, как и подобает истинному ученому мужу. Он не старался убедить меня в чем-либо и в своих выводах основывался исключительно на том, что считал неопровержимым свидетельством. Разумеется, первым моим побуждением было объявить его гипотезы ошибочными, но при всем том я не мог не отдать должное его уму и эрудиции. И я никогда не был склонен, в отличие от его знакомых,

объяснять взгляды Эйкли, равно как и его безотчетный страх перед безлюдными лесистыми горами вокруг его фермы, безумием. Я убедился, сколь неординарной личностью был этот человек, и понимал, что излагаемые им факты, безусловно, порождены весьма странными и требующими изучения обстоятельствами, — пусть даже они и не вызваны теми фантастическими причинами, на которые он ссылался. Позднее я получил от него и вещественные доказательства, в свете которых все изложенное им сразу предстало в ином, пугающе-странном виде.

Я не могу придумать ничего лучше, нежели полностью пересказать, насколько это возможно, длинное письмо, в котором Эйкли поведал кое-что о своей жизни и которое сыграло поворотную роль в моей интеллектуальной биографии. Я более не располагаю этим письмом, но в моей памяти запечатлелось буквально каждое слово; и я вновь хочу подтвердить, что не сомневаюсь в душевном здоровье его автора. Вот это письмо — дошедший до меня текст, замечу, был написан несколько старомодными затейливыми каракулями, что вполне соответствовало образу ученого отшельника, почти не поддерживающего связей с внешним миром.

п/я №2

д. Тауншенд, округ Уиндхэм, Вермонт.

5 мая 1928 года

Альберту Н. Уилмарту, эск.,

Солтонстолл-ст., 118,

Аркхэм, Масс.

Уважаемый сэр,

я с большим интересом прочитал в «Братлборо реформер» (от 23 апреля 1928 г.) перепечатку Вашего письма касательно недавних сообщений о странных телах, замеченных в наших реках во время наводнения прошлой осенью, и о любопытных народных преданиях, с которыми они столь детально совпадают. Легко понять, почему у чужака возникла вы-

сказанная Вами точка зрения и по какой причине м-р Пенд-рифтер с Вами согласился. Подобной позиции обыкновенно придерживаются образованные люди как в самом Вермонте, так и за его границами, таковым была и моя собственная позиция в юности (сейчас мне 57 лет), задолго до того, как научные изыскания общего характера и изучение книги Давенпорта заставили меня обратиться к исследованию некоторых здешних гор, куда никто не осмеливается заходить.

На эти исследования меня натолкнули странные древние сказания, которые я слышал от престарелых фермеров, не отличавшихся ученостью, но теперь я убежден, что было бы лучше, если бы я не брался за эти изыскания вовсе. Должен сказать, со всем должным смирением, что антропология и фольклор не чужды моим интересам. Я много занимался этими предметами в колледже и хорошо знаком с трудами признанных корифеев в данной области — таких, как Тайлор, Лаббок, Фрэзер, Катрфаж, Мюррей, Осборн, Кит, Буль, Дж. Эллиот Смит и т. д. Мне отнюдь не в новинку, что предания о скрывающихся расах стары как человечество. Я читал перепечатки Ваших писем, а также и тех, кто с Вами согласен, в «Ратлэнд геральд», и, пожалуй, понимаю, в чем суть Вашего диспута.

Пока же я спешу заявить, что Ваши противники, боюсь, скорее более правы, нежели Вы, хотя, как представляется, здравый смысл на Вашей стороне. Они даже более правы, нежели сами это осознают, — ибо, разумеется, они руководствуются лишь теорией и не могут знать того, что известно мне. Если бы мои познания в данном предмете были столь же ничтожны, я ни за что не поддержал бы их точку зрения. И был бы целиком на Вашей стороне.

Как видите, мне весьма непросто перейти к предмету моего письма, вероятно, потому, что меня страшит этот предмет, но дело в том, что я располагаю определенными свидетельствами о жутких лесных тварях, обитающих в горах,

где никто не осмеливается ходить. Сам я не видел останки тварей, замеченных после наводнения, как о том писали в газетах, но я лично встречал подобных тварей при обстоятельствах, говорить о коих мне просто страшно. Я видел их следы, которые в последнее время стали появляться в непосредственной близости от моего дома (я живу на старой ферме Эйкли, южнее деревни Таунишенд, на склоне Темной горы). Несколько раз в лесу я слышал голоса, которые не осмелился бы даже вкратце описать.

В одном месте я слышал их настолько долго, что даже записал их с помощью фонографа и диктофона на восковый валик — постараюсь прислать Вам сделанную мной запись. Я воспроизвел эту запись на аппарате и дал ее послушать нашим старикам, и их буквально парализовал страх, когда они услышали один из голосов, очень похожий на тот, о котором в детстве им рассказывали бабушки и даже пытались имитировать (о таком же жужжащем голосе в лесу упоминает Давенпорт). Я знаю, как большинство обывателей относится к человеку, который будто бы «слышал голоса», — но прежде чем сделать свой вывод, просто прослушайте мою запись и поинтересуйтесь у кого-нибудь из сельских стариков, что они об этом думают. Если Вы сможете найти этому нормальное объяснение, очень хорошо; но за этим стоит нечто неведомое. Ибо, как Вы сами знаете: *Ex nihilo nihil fit*¹.

Итак, цель моего письма не в том, чтобы затеять с Вами спор, но предоставить Вам информацию, которую, я полагаю, человек Вашего склада сочтет весьма и весьма интересной. Но это в приватном порядке. Публично же я на Вашей стороне, ибо, как свидетельствует ряд вещей, людям нет нужды знать слишком много об этом деле. Мои собственные исследования носят сугубо частный характер, и я бы не стал делать какие-либо заявления, могущие привлечь внимание широкой публики и побудить людей к посещению обследованных

¹ Из ничего не возникает ничто (лат.)

мною мест. Но правда — ужасная правда — в том, что за нами постоянно наблюдают существа внеземного происхождения, чьи шпионы из числа людей собирают о нас сведения. От одного несчастного человека, который являлся таким шпионом (так он сам утверждал, и я не вижу причин ему не верить), я почерпнул большую часть разгадки этой тайны. Потом он покончил с собой, но у меня есть основания полагать, что, помимо него, есть еще и другие.

Эти твари прибыли с другой планеты, они способны жить в межзвездном пространстве и перемещаться в эфире с помощью неуклюжих, но весьма мощных крыльев; ими довольно трудно управлять, вот почему эти крылья практически бесполезны для полетов в земной атмосфере. Я остановлюсь на этом подробнее чуть позже, если Вы не сочтете меня безумцем, недостойным Вашего внимания. Они прилетают к нам ради добычи металлов в глубоких горных шахтах, и, мне кажется, я знаю, откуда они родом. Они не причинят нам вреда, если мы оставим их в покое, но никто не может предсказать, что произойдет, если мы будем проявлять слишком большое любопытство. Разумеется, армия вооруженных людей могла бы стереть с лица земли их горную колонию. Вот этого они и опасаются. Но если так случится, из космоса сюда прилетят их бесчисленные полчища. Они с легкостью смогут завоевать Землю и до сих пор не пытались этого сделать только потому, что это им не нужно. Они скорее оставят все как есть — лишь бы не предпринимать лишних усилий.

Я думаю, они хотят избавиться от меня — из-за моих открытий. В лесу на Круглом холме, что к югу отсюда, я нашел большой черный камень, покрытый полустертыми загадочными иероглифами; и после того, как я принес его домой, все изменилось. Если твари сочтут, что я узнал о них слишком много, они меня либо убьют, либо утащат с Земли на свою планету. Они имеют обыкновение время от времени похищать кого-нибудь из наших ученых, чтобы оставаться в курсе событий человеческого мира.

Итак, я подошел ко второй цели моего обращения к Вам, а именно: побудить Вас притупить разгоревшийся в прессе спор, а не раздувать его ради более широкой огласки. Местные жители должны держаться подальше от этих гор, и чтобы отвадить их, нам не следует возбуждать любопытство публики. Бог свидетель, местных жителей и так подстерегает масса иных опасностей, исходящих от предпринимателей и торговцев недвижимостью, наводнивших Вермонт, и от орд дачников, спешащих захватить свободные участки земли и застроить горные склоны дешевыми коттеджами.

Буду рад получить от Вас ответ и попытаюсь отправить Вам экспресс-почтой фонографический валик с записью и черный камень (надписи на нем настолько стерты, что никакая фотография их не передаст), если Вы соизволите проявить свой интерес. Я говорю «попытаюсь», ибо думаю, что эти мерзкие твари способны вмешиваться в ход событий. Есть тут у нас один тип по имени Браун, угрюмый и скрытный, он живет на ферме неподалеку от нашей деревни... Так вот, я полагаю, что он их шпион. Мало-помалу твари стараются пресечь все мои связи с внешним окружением, потому что я слишком много узнал об их мире.

Они ухитряются разными способами выведывать все, чем я занимаюсь. Это письмо, возможно, даже не попадет к Вам в руки. Думаю, если ситуация ухудшится, мне придется покинуть родные места и переехать к сыну в Сан-Диего, в Калифорнию, хотя будет очень нелегко покинуть дом, где ты родился и вырос и где прожили шесть поколений твоего рода. К тому же, едва ли я осмелюсь продать кому-нибудь дом именно теперь, когда эти твари взяли его на заметку. Вероятно, они попытаются завладеть этим черным камнем и уничтожить фонографическую запись, но я, если смогу, им в этом воспрепятствую. Мои большие сторожевые псы всегда отпугивают тварей, потому как в здешних краях они все еще малочисленны и боятся раздуливать в открытую. Как я

уже сказал, их крылья не приспособлены для коротких полетов над землей. Я вплотную подошел к расшифровке иероглифов на камне и надеюсь, что Вы, с Вашими познаниями в области фольклора, поможете мне восполнить недостающие элементы. Полагаю, Вам многое известно о страшных мифах, предшествующих периоду возникновения человека, — в частности, о циклах Йог-Сотота и Ктулху, на которые есть ссылки в «Некрономиконе». Как-то я держал в руках сию книгу, и, как я слышал, у Вас в университетской библиотеке хранится под замком один ее экземпляр.

В заключение, мистер Уилмарт, хочу выразить убеждение, что с багажом наших знаний мы можем оказать весьма полезными друг другу. Я вовсе не желаю, чтобы Вы каким-то образом пострадали, и должен Вас предупредить, что обладание камнем и записью представляет опасность; но я уверен, что Вы сочтете любой риск во имя знания оправданным. Я поеду в Ньюфан или Братлборо, чтобы отправить Вам все, что Вы сочтете желательным, так как тамошняя почтовая служба заслуживает больше доверия, чем наша. Должен заметить, что теперь я живу в совершенном одиночестве, ибо никто из местных не хочет наниматься ко мне на ферму. Они боятся тварей, которые по ночам подбираются близко к дому, заставляя моих псов беспрестанно лаять. Мне остается радоваться, что я не увлекся всеми этими вещами еще при жизни моей жены, ибо все это свело бы ее с ума.

С надеждой, что Вы не сочтете меня чересчур назойливым и захотите связаться со мной, а не выбросите это письмо в мусорную корзину, сочтя его бредом сумасшедшего, остаюсь

искренне Ваш,

Генри У. Эйки.

P. S. Я собираюсь сделать дополнительные отпечатки некоторых фотографий, которые, надеюсь, помогут проиллю-

стрировать ряд моих утверждений. Местные старики находят их отвратительными, но правдоподобными. Я их незамедлительно вышлю, если Вам интересно.

Г. У. Э.

Трудно описать чувства, охватившие меня при первом прочтении этого странного документа. По здравом размышлении, подобные экстравагантные излияния должны были рассмешить меня куда сильнее, чем значительно более безобидные измышления простаков, ранее вызвавшие мое бурное веселье. Но что-то в тоне письма заставило меня отнестись к нему, как ни парадоксально, с исключительной серьезностью. Не то чтобы я хоть на секунду поверил в существование загадочных обитателей подземных шахт, прилетевших с далеких звезд, о чем рассуждал мой корреспондент; но, отбросив первые сомнения, я необъяснимым образом поверил в полное здравомыслие и искренность Эйкли, как и в его противостояние с неким реально существующим и весьма загадочным феноменом, который он не мог объяснить никак иначе, кроме как призвав на помощь свое буйное воображение. Все обстояло совсем не так, как ему казалось, размышлял я, но, с другой стороны, эта тайна требовала тщательного расследования. Несомненно, его сильно взволновало и встревожило нечто странное, и едва ли его волнение и тревога были беспричинны. Он был по-своему конкретен и логичен, и, что особенно любопытно, его повесть четко укладывалась в сюжеты древних мифов, в том числе самых невероятных индейских преданий.

Вполне возможно, что он на самом деле слышал в горах пугающие голоса и на самом деле нашел черный камень, но из этого он делал совершенно безумные выводы, вероятно, по наущению человека, которого он счел шпионом космических пришельцев и который позднее покончил с собой. Легко предположить, что этот человек был не в своем уме, но, возможно, в его рассказах простодушный Эйкли обна-

ружил крупницу очевидной, но извращенной логики, заставившей его — уже готового к подобным вещам благодаря многолетнему изучению фольклора — поверить в эти бредни. Что же до последних событий — а именно отказа местных жителей наниматься к нему на работы, — то, видимо, малодушные односельчане Эйкли были в не меньшей степени, чем он, уверены, что его дом по ночам подвергается нашествию жуткой нечисти. И что еще важно: собаки ведь лаяли!

И потом, упоминание про фонограф и записанные на нем голоса — у меня не было оснований не верить, что он сделал подобную запись в горах именно при тех самых обстоятельствах, о коих он мне поведал. Но что это было — то ли звериный вой, ошибочно принятый им за человеческую речь, то ли голос скрывающегося в лесу одичавшего человека? Размышления привели меня к черному камню, испещренному загадочными иероглифами, и я стал ломать голову над тем, что бы это значило. А потом задумался о фото снимках, которые Эйкли обещал мне переслать и которые его соседи-старики сочли столь устрашающе-правдоподобными...

Перечитывая его каракули, я проникался убеждением, что мои доверчивые оппоненты, возможно, имели для своего мнения куда больше оснований, чем мне ранее казалось. В конце концов, странные человекоподобные существа с признаками наследственного вырождения и впрямь могут обитать в безлюдных горах Вермонта, хотя они, конечно, не являются теми рожденными на далеких звездах монстрами, о которых толкуют народные поверья. А если эти твари и впрямь существуют, то тогда находки странных тел в разлившихся реках едва ли можно считать сплошной выдумкой. Не слишком ли самонадеянным было мое предположение, будто старинные сказания, как и недавние газетные сообщения, очень далеки от реальности? Но даже при возникших у меня сомнениях мне было стыдно сознавать, что пищей для

них послужили причудливые фантазии экстравагантного Генри Эйкли.

В конце концов я ему написал, выбрав тон дружелюбной заинтересованности и попросив сообщить мне более подробные детали. Через пару дней пришел ответ. Как Эйкли и обещал, он сопроводил письмо несколькими фотоснимками сцен и предметов, иллюстрирующих его рассказ. Вытащив фотографии из конверта и взглянув на них, я испытал ужас от внезапной близости к запретному знанию; ибо, невзирая на размытость большинства снимков, они источали некую сатанинскую власть внушения, и власть эту лишь усиливал факт их несомненной подлинности — как оптического доказательства реальности запечатленных объектов и как результата объективной передачи странных изображений без предвзятости, искажения или фальши.

Чем дольше я рассматривал фотоснимки, тем более убеждался в том, что моя легковесная оценка личности Эйкли и его рассказа безосновательна. Безусловно, эти изображения служили неоспоримым свидетельством присутствия в горах Вермонта чего-то такого, что явно выходило за пределы наших знаний и верований. Самое жуткое впечатление производила фотография отпечатка лапы — снимок, сделанный в тот момент, когда солнечный луч упал на влажную землю где-то в пустынном высокогорье. Это не было дешевым надувательством — что было ясно с первого взгляда, ибо отчетливо видимые камушки и травинки служили четким ориентиром масштаба изображения и не оставляли возможности для трюка с фотомонтажом. Я назвал изображение отпечатком лапы, но правильное было бы назвать это отпечатком клешни. Даже сейчас я вряд ли смогу описать его точнее, чем сказать, что след походил на отпечаток гигантской крабьей клешни, причем направление ее движения определить было невозможно. След был не слишком глубоким, не слишком свежим, а размером примерно соответствовал ступне взрослого мужчины. По краям следа располагались отро-

ки, похожие на зубья пилы, чье назначение меня озадачило: я не мог с уверенностью сказать, что этот орган служил для передвижения.

На другой фотографии — явно сделанной с большой выдержкой в густой тени — виднелся вход в лесную пещеру, закрытый огромным валуном. На пустой площадке перед пещерой можно было различить множество странных следов, и, рассмотрев изображение с лупой, я вздрогнул, поняв, что эти следы схожи с отпечатком лапы на первой фотографии. На третьем фотоснимке был запечатлен сложенный из камней круг, напоминающий ритуальные постройку друидов, на вершине поросшего лесом холма. Вокруг загадочного круга трава была сильно вытоптана, хотя никаких следов — даже с помощью лупы — я не обнаружил. О том, что это глухое место находится вдалеке от обжитых районов штата, можно было судить по бескрайним горным грядам на заднем плане, что тянулись далеко к горизонту и тонули в дымке. Но если изображение лапы-клешни вызвало в моей душе некую невнятную тревогу, то крупный черный камень, найденный в лесу на Круглом холме, наводил на определенные мысли. Эйкли сфотографировал камень, лежащий, по-видимому, на его рабочем столе в кабинете, ибо я заметил на заднем плане книжную полку и бюстик Мильтона. Камень, как можно было догадаться, располагался перед объективом вертикально, обратив к зрителю неровную выпуклую поверхность размером примерно один на два фута; но вряд ли в нашем языке найдутся слова для точного описания его поверхности или формы. Каким принципам внеземной геометрии подчинялась рука неведомого резчика — а у меня не было ни малейшего сомнения в искусственном происхождении этого каменного изваяния, — я даже отдаленно не мог предположить. Никогда раньше я не видел ничего подобного: этот диковинный камень, несомненно, имел внеземное происхождение. Мне удалось разобрать немногие из иероглифов на его поверхности, и, всмотревшись в них, я

испытал настоящий шок. Конечно, эти письма могли оказаться чьей-то безобидной шуткой, ведь, кроме меня, есть немало тех, кто знаком с богопротивными строками «Некрономикона», принадлежащими перу безумного араба Абдула Альхазреда; но тем не менее я невольно содрогнулся, узнав некоторые идеограммы, — насколько я знал из своих ученых занятий, они имели прямую связь с леденящими кровь кощунственными заклинаниями существ, пребывавших в безумном полусне-полубодрствовании задолго до возникновения Земли и иных далеких миров нашей Солнечной системы.

На трех из пяти остальных фотографий были запечатлены болота и леса со смутными приметам тайного обитания каких-то омерзительных тварей. Еще было изображение загадочной отметины на земле вблизи дома Эйкли, которую, по его словам, он сфотографировал на рассвете после той самой ночи, когда его псы разлаялись пуще обычного. След был очень нечетким, и по его виду невозможно было понять, что это такое, хотя он, пожалуй, принадлежал тому же отвратительному существу, что и отпечаток лапы-клешни, сфотографированный в безлюдном высокогорье. На последнем фотоснимке я увидел жилище Эйкли — фермерский дом белого цвета, в два этажа, с чердаком, выстроенный, верно, век с четвертью тому назад, с аккуратно подстриженной лужайкой и мощенной камнями дорожкой, которая вела к двери, покрытой изящной резьбой в георгианском стиле. На лужайке расположились несколько сторожевых псов, а на переднем плане стоял мужчина приятной наружности с коротко стриженной седой бородкой — по-видимому, Эйкли собственной персоной, сфотографировавший самого себя, о чем можно было судить по проводу, соединенному с лампой-вспышкой в его правой руке.

Разглядев фотографии, я обратился к объемистому, написанному убористым почерком письму и в следующие три часа погрузился в глубины несказанного ужаса. То, о чем в

предыдущем послании Эйкли упомянул лишь вскользь, теперь излагалось во всех деталях. Он приводил обширные цитаты из речей, услышанных им ночью в лесу; он подробно описывал жутких розоватых существ, замеченных им в сумерках, а также поведал ужасающую повесть о космических пришельцах, которую он, пользуясь своими разнообразными учеными познаниями, сложил из обрывков бессвязных речей безумного шпиона-самозванца, позднее покончившего с собой. Я едва не запутался в обилии имен и терминов, слышанных мною когда-то давно в связи со зловещими преданиями: Юггот, Великий Ктулху, Цатоггуа, Йог-Сотот, Р'льех, Ньярлатхотеп, Азатот, Хастур, Йан, Ленг, Озеро Хали, Бетмура, Желтый Знак, Л'мур-Катулос, Бран и *Magnum Innominandum*¹, — и перенесся сквозь безымянные эры и непостижимые измерения в миры древнейшего, потустороннего естества, о чьей природе безумный автор «Некрономикона» мог лишь строить догадки самого смутного свойства. Я узнал о бездонном колодце первобытной жизни, и о струящихся в этой бездне потоках, и, наконец, о вытекающем из одного такого потока крошечном ручейке, которому суждено было дать начало жизни на нашей Земле.

Мой мозг пришел в смятение — если раньше я пытался дать загадочным вещам разумное толкование, то теперь начал верить в самые противоестественные и неправдоподобные чудеса. Я получил массу важнейших свидетельств — многочисленных и ошеломляющих, и хладнокровный научный подход Эйкли — подход, далекий, насколько возможно, от какого бы то ни было безумного фантазирования, истерического фанатизма и экстравагантного философствования, — сильно повлиял на мои мысли и суждения. По прочтении этого жуткого письма я вполне осознал причины обуревавших его страхов и сам уже был готов сделать все, что в моих силах, лишь бы удержать людей от посещения тех пустынь

¹ Великое Неименуемое (лат.).

ных и опасных гор. Даже сейчас, когда время несколько при-
тупило остроту первых впечатлений и заставило меня усом-
ниться в собственной правоте, породив ужасные подозрения,
я сохраняю в тайне некоторые вещи, о которых говорилось в
письме Эйкли и которые я не осмелюсь ни назвать, ни по-
пытаться описать словами. Я даже рад, что и письмо, и вос-
ковой валик с записью, и все фотографии пропали, и лишь
сожалею, по причинам, о которых скажу далее, что новая
планета за орбитой Нептуна все же была недавно открыта.

После прочтения письма Эйкли я перестал участвовать
в публичном обсуждении вермонтского ужаса. Я оставлял
аргументы моих оппонентов без ответа или давал невнятные
обещания оспорить их в будущем, и постепенно наш спор
угас. Весь конец мая и вплоть до 1 июня я переписывался с
Эйкли; правда, время от времени наши письма терялись
при пересылке, поэтому нам приходилось восстанавливать в
памяти их содержание и пересказывать заново. В целом же
мы сопоставили свои заметки, относящиеся к малоизвест-
ным ученым трудам по мифологии, и попытались выявить
более четкую связь между вермонтскими ужасами и общим
корпусом сказаний первобытного мира. Во-первых, мы при-
шли практически к единодушному мнению, что эти твари и
жуткие гималайские Ми-го принадлежат к одной и той же
разновидности чудовищ. Мы также выдвинули ряд предпо-
ложений об их зоологической природе, о чем я горел жела-
нием рассказать профессору Декстеру в своем родном кол-
ледже, но Эйкли настрого запретил мне делиться с кем-либо
нашими открытиями. И если сейчас я готов нарушить его
запрет, так лишь по причине своей уверенности в том, что
предупреждение об опасностях, таящихся в далеких вермонт-
ских горах — как и на тех гималайских пиках, которые от-
важные путешественники с таким азартом планируют по-
корить, — в большей степени способствуют общественной
безопасности, нежели попытки сохранить это в тайне. Од-
ним из важнейших наших совместных достижений обещала

стать расшифровка иероглифов, выбитых на ужасном черном камне, — эта расшифровка, к которой мы приблизились, могла дать нам ключ к тайнам, самым значительным и захватывающим из всех, что ранее были ведомы человечеству.

III

В конце июня я получил фонографическую запись, отправленную экспрессом из Братлборо, поскольку Эйкли не был склонен доверять обычной почтовой службе округа. В последнее время он все отчетливее ощущал слежку за собой, и его опасения только усугубились после утраты нескольких наших писем; он сетовал на вероломство некоторых лиц, считая их агентами затаившихся в горном лесу тварей. Больше всего подозрений у него вызывал неприветливый фермер Уолтер Браун, который жил в одиночестве в обветшалой хижине на опушке густого леса и которого частенько замечали околачивающимся без видимой надобности то в Братлборо, то в Беллоус-Фоллс, то в Ньюфане или Саут-Лондондерри. Эйкли не сомневался, что Браун был одним из участников подслушанной им в ночном лесу жуткой беседы, и как-то раз он обнаружил возле дома Брауна отпечатки лапы или клешни, что счел весьма зловещим знаком, поскольку рядом заметил следы от башмаков самого Брауна, которые вели прямехонько к отпечатку мерзкого чудовища.

Итак, запись была отправлена мне из Братлборо, куда Эйкли добрался на своем «форде» по безлюдным вермонтским проселкам. В сопроводительной записке он признался, что лесные дороги внушают ему страх и теперь он ездит за покупками в Тауншенд исключительно при свете дня. Никому не стоит стараться узнать больше о вермонтском ужасе, снова и снова повторял Эйкли, ну разве лишь тем, кто живет на значительном удалении от этих загадочных необитаемых холмов. Он сам собирался вскоре переехать на постоянное

жительство к сыну в Калифорнию, хотя и признавался, что ему будет тяжело покинуть дом, где многое напоминает о жизни нескольких поколений его семьи.

Прежде чем воспроизвести запись на аппарате, позаимствованном мною в административном здании колледжа, я внимательно перечитал разъяснения Эйкли. Эта запись, по его словам, была сделана около часа ночи 1 мая 1915 года близ заваленного камнем входа в пещеру на лесистом западном склоне Темной горы, у подножия которого раскинулась заболоченная Пустошь Ли. В тех краях местные жители довольно часто слышали странные голоса, что и побудило его отправиться в лес с фонографом, диктофоном и чистым восковым валиком в надежде записать эти голоса. Богатый опыт фольклориста говорил ему, что канун первого мая — ночь ведьмовского шабаша, если верить мрачным европейским поверьям, — вполне подходящая дата, и он не был разочарован. Впрочем, стоит оговориться, с тех пор никаких голосов в том самом месте он ни разу не слышал.

В отличие от большинства других бесед, подслушанных им ранее в лесу, это был своеобразный обряд, в котором участвовал один явно человеческий голос, принадлежность коего Эйкли не смог установить. Голос принадлежал не Брауну, а весьма образованному мужчине. Второй же голос оказался тем, ради чего Эйкли и предпринял свою экспедицию: то было зловещее жужжание, не имевшее ни малейшего сходства с живым человеческим голосом, хотя слова проговаривались четко, фразы строились по правилам английской грамматики, а манера речи напоминала декламацию университетского профессора.

Фонограф и диктофон работали небезупречно, и, конечно, большим неудобством было то, что голоса звучали издали и несколько приглушенно, поэтому восковой валик сохранил лишь фрагменты подслушанного обряда. Эйкли прислал мне транскрипцию произнесенных реплик, и, прежде чем включить аппарат, я пробежал ее глазами. Текст был скорее невнятно-таинственным, нежели откровенно пугаю-

щим, хотя, зная его происхождение и способ получения, я все равно испытал невыразимый страх.

Приведу текст полностью, каким я его запомнил, — причем я вполне уверен, что точно заучил его наизусть благодаря не только чтению транскрипции, но и многократному прослушиванию записи. Да и как такое забудешь!

(Неразборчивые звуки)

(Голос образованного мужчины)

...есть Повелитель Лесов, равный... и дары обитателей Ленга... и так, из кладезей ночи в бездну космоса, и из бездны космоса к кладезям ночи, вечная хвала Великому Ктулху и Цатоггуа и Тому, Кто не может быть Назван по Имени. Да пребудет с Ними вечно слава, да будет изобилие Черному Козлу Лесов. Йа! Шуб-Ниггурат! Козел с Легионом Младых!

(Жужжание, подражающее человеческой речи)

Йа! Шуб-Ниггурат! Черный Козел с Легионом Младых!

(Мужской голос)

И так случилось, что Повелитель Лесов, будучи... семь и девять, вниз по ониксовым ступеням... (вос)славляют Его в Бездне, Азатот, Тот, Кого Ты обучил всем чуде(сам)... на крыльях ночи за пределы бескрайнего космоса, за пределы... Того, чьим последним творением является Юггот, одиноко блуждающий в черном эфире на самом краю...

(Жужжащий голос)

...ходи среди людей и найди свой путь там, что Он в Бездне может знать.

Ньярлатхотепу, Могучему Посланнику, должно поведать обо всем. И Он облечет себя в подобие людей, надев восковую маску и одеяние, что скроет его, и снизойдет из мира Семи Солнц, дабы осмеять...

(Человеческий голос)

(Ньяр)атхотеп, Великий Посланник, несущий странную радость Югготу сквозь пустоту, Отец Миллионов Предпочтимых, Ловец среди...

(Голоса обрываются — конец записи)

Вот что мне предстояло услышать, воспроизведя запись на фонографе. Дрожа от страха, я заставил себя нажать на рычаг; послышался легкий скрип сапфировой иглы звуко-снимателя. Признаюсь, я обрадовался, когда до моего слуха донеслись обрывки первых невнятных слов, произнесенных человеческим голосом — приятным интеллигентным голосом, в котором можно было различить нотки бостонского говора и который, безусловно, не принадлежал уроженцу вермонтской глуши. Вслушиваясь в невнятную запись, я отмечал полное совпадение реплик с транскрипцией Эйкли. Приятный голос с бостонским выговором вещал нараспев... *«Йа! Шуб-Ниггурат! Черный Козел с Легионом Младых!..»*

Но затем я услышал другой голос. До сих пор у меня по коже бегут мурашки, стоит мне вспомнить, как он потряс меня, несмотря на то что после описания Эйкли я был готов услышать что угодно. И все, кому я потом пересказывал содержание этой записи, пытались меня убедить, что это всего лишь дешевое надувательство или речи безумца, но имей они возможность своими ушами услышать те богомерзкие речи или ознакомиться с посланиями Эйкли (особенно с подробнейшим вторым письмом), уверен, они бы отнеслись к этому иначе. Очень жаль, что я в свое время не послушался Эйкли и не продемонстрировал запись своим знакомым — о чем я особенно сожалею теперь, когда все письма пропали. Мне, посвященному в события, на фоне которых была сделана запись, и услышавшему ее собственными ушами, жужжащий голос внушил невыразимый ужас. Жужжание быстро сменяло человеческий голос в ритуальном диалоге, но в моем воображении оно звучало отвратительным эхом, несущимся на крыльях сквозь невообразимые бездны из адовых глубин космоса. Прошло уже два года с тех пор, как я в последний раз запускал этот дьявольский восковой цилиндр, но и сейчас, как и тогда, в моих ушах стоит это слабое, едва различимое зловещее жужжание, и я испытываю тот же самый ужас, что обьял меня при первом прослушивании.

«Йа! Шуб-Ниггурат! Черный Козел с Легионом Младых!»

Но хотя я все еще отчетливо слышу этот голос, мне не хватило духу его проанализировать, чтобы точно описать. Он походил на монотонное гудение омерзительного гигантского насекомого — гудение неземного существа, как бы с усилием преображенного в артикулированную человеческую речь, причем я с полной уверенностью могу утверждать, что органы, производившие эти звуки, ни в малейшей степени не похожи на голосовые связки человека или на голосовой аппарат земных млекопитающих. С учетом ни с чем не сравнимых особенностей тембра, диапазона и обертонов, я не могу поставить это существо в один ряд с человеком или другими земными животными. Его неожиданное звучание в первый момент ошеломило меня, и я дослушал запись до конца, находясь в состоянии отрешенного оцепенения. Когда зазвучал самый продолжительный пассаж этого гудения, ощущение чудовищной безысходности, которое я испытал при прослушивании предыдущего, более короткого фрагмента, усилилось многократно. Запись внезапно обрывалась на середине фразы, которую декламировал с бостонским прононсом высокообразованный мужчина; но после автоматического отключения аппарата я еще долго сидел, бессмысленно уставившись в пустоту.

Вряд ли нужно говорить, что я многократно воспроизводил ту жуткую запись и затем скрупулезно описал и прокомментировал услышанное, сравнивая свои заметки и записи Эйкли. Бесполезно и даже страшно повторять сделанные нами выводы; скажу лишь одно: мы сошлись на том, что нам удалось обнаружить ключ к происхождению ряда наиболее отвратительных древних ритуалов в различных религиях человечества. Мы также уяснили, что в глубочайшей древности возникли весьма сложные связи между таинственными внеземными тварями и некими представителями человеческого рода. Насколько широкое распространение этот альянс получил тогда и насколько он прочен сегодня,

в сравнении с прошлыми эпохами, мы не знали, но, по крайней мере, могли строить на сей счет множество самых страшных предположений. По всей видимости, ужасный союз между человеком и безымянной бесконечностью со времен глубокой древности прошел несколько стадий. Богомерзкие твари, по нашему разумению, пришли на Землю с темной планеты Юггот, расположенной на самом краю Солнечной системы, но и она была лишь одной из колоний страшной межзвездной расы, обитающей далеко за пределами пространственно-временного континуума Эйнштейна, вне известного нам большого космоса.

Между тем мы продолжали обсуждать возможный способ доставки черного камня в Аркхем — причем Эйкли считал нежелательным мой приезд к нему, на место его пугающих ночных открытий. По какой-то неведомой мне причине он опасался отправлять камень обычным маршрутом. В итоге он решил сам привезти его в Беллоус-Фоллс и отправить экспрессом по Бостонско-Мэнской железнодорожной ветке, через Кин, Уинчендон и Фичбург, даже невзирая на то, что для этого ему пришлось сделать большой крюк и ехать по безлюдным лесным и горным дорогам, а не напрямик по главному шоссе в Братлборо. По его словам, отправляя мне ранее посылку с фонографической записью, он заметил около почтового отделения в Братлборо незнакомца, чей внешний вид и поведение показались ему весьма подозрительными. Этот незнакомец о чем-то настойчиво расспрашивал почтовых клерков и сел на тот самый поезд, в котором отправилась посылка с восковым валиком. Эйкли признался, что волновался до последней минуты, пока не получил от меня известия о благополучной доставке записи.

Примерно в это самое время — во вторую неделю июля — в очередной раз затерялось мое письмо, о чем Эйкли сразу же мне сообщил. После этого случая он попросил более не адресовать письма в Тауншенд и направлять всю корреспонденцию до востребования в службу почтовой доставки Братл-

боро, куда он обещал почаще наезжать либо в своем «форде», либо на междугороднем автобусе, который не так давно пришел на смену вечно опаздывающим пассажирским поездам. Я заметил, что в последнее время его беспокойство усилилось, ибо он в мельчайших подробностях описывал участвовавший лай собак безлунными ночами и свежие отпечатки клешней, появлявшиеся по утрам на дороге перед домом и на заднем дворе. Однажды он поведал мне о множестве таких отпечатков рядом с собачьими следами, и в подтверждение своих слов приложил к письму жуткую фотографию. Это случилось сразу после ночи, когда псы особенно надрывно лаяли и выли.

Утром в среду 18 июля я получил от Эйкли посланную из Беллоус-Фоллс телеграмму. Он сообщал, что посылка с черным камнем отправлена по Бостонско-Мэнской ветке поездом № 5508, который уходит из Беллоус-Фоллс в 12:15 по местному времени и прибывает на вокзал Норт-Стейшн в Бостоне в 16:12. По моим расчетам, камень должны были доставить в Аркхем по крайней мере в следующий полдень; соответственно, все утро четверга я пробыл дома в ожидании посылки. Но ни в полдень, ни позднее посылку так и не принесли, а когда я телефонировал в офис экспресс-почты, мне сообщили, что никакого почтового отправления на мое имя к ним не поступало. Тогда, уже встревожившись не на шутку, я заказал междугородний разговор с агентом почтовой службы вокзала Норт-Стейшн в Бостоне и не сильно удивился, узнав, что никакой посылки для меня у них нет. Поезд № 5508 прибыл накануне днем, опоздав всего на 35 минут, но в почтовом багаже ящика на мое имя не обнаружилось. Агент, правда, пообещал навести справки о пропавшей посылке, и вечером того же дня я отправил Эйкли письмо, обрисовав сложившуюся ситуацию.

К моему удивлению, ответ из бостонского офиса не заставил себя долго ждать: уже на следующий день агент экспресс-почты сообщил мне по телефону о результатах своей

проверки. По его словам, клерк, сопровождавший почту в поезде № 5508, вспомнил об инциденте, который мог бы объяснить пропажу: когда поезд во втором часу пополудни местного времени сделал остановку в Кине, штат Нью-Гэмпшир, к нему обратился незнакомец — худой, рыжеволосый, со странным голосом, с виду деревенский. По его словам, он ждал тяжелую посылку и беспокоился из-за того, что в поезде среди ящиков ее не оказалось и даже в книге записей почтовых отправок она не значилась. Парень назвался Стэнли Адамсом, у него был очень необычный, густой, какой-то жужжащий голос, и почтовый клерк, пока его слушал, внезапно почувствовал странное головокружение и сонливость. Чем завершилась их беседа, клерк не помнил, но заверил, что его сонливость как рукой сняло, стоило поезду отойти от платформы. Бостонский почтовый агент добавил, что этот молодой клерк работает в компании достаточно давно и до сих пор не имел никаких нареканий по службе, так что его правдивость и надежность не вызывают сомнений.

Тем же вечером я отправился в Бостон расспросить этого клерка лично, узнав его имя и адрес в офисе. Разговорившись с ним — а он оказался добродушным честным малым, — я сразу понял, что ему нечего добавить к первоначальному изложению событий. Меня, правда, удивило, когда клерк заметил, что, встретить он того незнакомца снова, он вряд ли смог бы его узнать. Я вернулся в Аркхем и просидел до утра за письмами к Эйкли, в почтовую компанию, в полицейское управление и станционному начальству в Кине. Сомнений не было: обладатель странного голоса, который необъяснимым образом словно загипнотизировал клерка, сыграл в этом загадочном происшествии основную роль, и я надеялся, что смогу получить хоть какую-то информацию о том, как таинственный незнакомец ухитрился найти и присвоить мою посылку — либо от сотрудников железнодорожной станции в Кине, либо из регистрационной книги местного телеграфного офиса.

Увы, вынужден признать, что мои розыски ни к чему не привели. Обладателя странного голоса и впрямь видели на станции в Кине утром 18 июля, и один местный житель даже припомнил, что да, вроде бы тот нес тяжеленный ящик; но, вообще-то, его там никто не знал и никогда не видел — ни до, ни после. Он не заходил на телеграф, не получал никаких сообщений, о чем телеграфисты должны были бы знать, равно как и не было обнаружено никаких квитанций, свидетельствовавших о том, что черный камень прибыл с поездом № 5508 и был кем-то получен. Естественно, Эйкли присоединился к моим поискам и даже лично съездил в Кин, чтобы расспросить людей возле станции. Но он отнесся к происшествию куда более фаталистически, чем я: похоже, пропажу посылки он считал зловещим предвестием чего-то неотвратимого и уже не надеялся ее вернуть. Он говорил о несомненных телепатических и гипнотических способностях горных тварей и их агентов, а в одном из писем намекнул, что, по его мнению, камень уже находится далеко от Земли. Я же был в тихом бешенстве, ибо чувствовал, что мы упустили верный, пусть и зыбкий, шанс добыть из полустертых иероглифов на камне удивительные и важные сведения. Чувство досады продолжало бы беречь мою душу, если бы в последующих письмах Эйкли тайна жутких гор не обнаружила новый аспект, который тотчас же целиком завладел моим вниманием.

IV

Неведомые твари, сообщал мне Эйкли в очередном письме, написанном сильно дрожащей рукой, начали осаждать его дом еще более решительно и агрессивно. Лай собак безлунными ночами теперь стал просто невыносимым, и были даже дерзкие попытки напасть на него на безлюдных дорогах в дневное время. Второго августа, когда он поехал в автомобиле в деревню, путь ему преградило упавшее дерево —

как раз в том месте, где шоссе углублялось в лесную чащу. И хотя свирепый лай двух псов, сопровождавших его в поездке, выдал скрытное присутствие богомерзких тварей, как бы все обернулось, не будь с ним собак, он даже не смел предположить. После этого случая, если ему надо было куда-то поехать, он брал с собой по крайней мере двух преданных мохнатых сторожей. Пятого и шестого августа случились новые дорожные происшествия — в первый раз выпущенная кем-то пуля оцарапала кузов «форда», в другой раз собачий лай возвестил о близком присутствии этих тварей в лесной чаще.

Пятнадцатого августа я получил взволнованное письмо, которое немало меня встревожило; прочитав его, я подумал, что пора Эйкли наконец нарушить свой зарок молчания и обратиться за помощью в местную полицию. В ночь с двенадцатого на тринадцатое произошли ужасные события: за стенами его дома гремели выстрелы и свистели пули, и наутро он обнаружил трупы трех из двенадцати сторожевых псов. На дороге нашлось множество отпечатков клешней, среди которых он заметил и следы башмаков Уолтера Брауна. Эйкли телефонировал в Братлборо с намерением приобрести новых собак, но телефонная связь оборвалась прежде, чем он смог произнести первые слова. Тогда он отправился в Братлборо на автомобиле и на телефонной станции узнал тревожную новость: кто-то аккуратно перерезал основной кабель там, где телефонная линия тянулась по безлюдным горам к северу от Ньюфана. Но он вернулся домой с четырьмя новыми волкодавами и несколькими коробками патронов для своего крупнокалиберного охотничьего ружья. Письмо было написано в почтовом отделении Братлборо, и я получил его без задержки.

К этому времени мое отношение к происходящим событиям изменилось — они вызывали у меня теперь не просто научный интерес, но и глубоко личное чувство тревоги. Я тревожился и за Эйкли, осажденного в уединенном доме,

и немного за себя. Ведь теперь я был причастен к тайне странных обитателей вермонтских гор и просто не мог не думать о своей вовлеченности в опасную череду таинственных событий. Затянет ли меня трясина этой тайны, стану ли я ее жертвой? Отвечая на последнее письмо Эйкли, я настоятельно посоветовал ему обратиться за помощью к властям и намекнул, что если он не захочет ничего предпринять, я смогу это сделать сам. Я написал, что готов послушаться его запрета, лично приехать в Вермонт и помочь ему изложить ситуацию представителям закона. В ответ, однако, я получил из Беллоус-Фоллс короткую телеграмму следующего содержания:

БЛАГОДАРИЮ ЗА СОЧУВСТВИЕ НО НИЧЕГО СДЕЛАТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИЧЕГО
МОЖЕТЕ ТОЛЬКО НАВРЕДИТЬ НАМ ОБОИМ ЖДИТЕ
РАЗЪЯСНЕНИЙ ГЕНРИ ЭЙКЛИ

Но опасность стремительно нарастала. Ответив на телеграмму Эйкли, я получил написанное дрожащей рукой письмо с удивительными новостями: оказывается, он не только не отправлял мне никакой телеграммы, но и не получал от меня письма, очевидным ответом на которое я счел эту телеграмму. Он поспешно навел справки в Беллоус-Фоллс и выяснил, что телеграмму отправил худой рыжеволосый парень с необычно густым, как бы жужжащим, голосом. Никаких других подробностей о нем Эйкли выяснить не удалось. Телеграфист показал Эйкли оригинал рукописного текста, но почерк незнакомца был ему совершенно незнаком; правда, он заметил, что имя отправителя написано с ошибкой: ЭЙКЛЕ. Из этого можно было сделать вполне определенные выводы, но, будучи сильно взволнованным, Эйкли не стал о них распространяться в письме. Он сообщил о гибели еще нескольких собак и о покупке новых и о перестрелках, которые теперь случались в каждую безлунную ночь. Он с неотвратимой регулярностью находил среди множества отпечатков клешней на дороге и во дворе позади до-

ма следы Брауна и еще по меньшей мере одной или даже двух пар чьих-то башмаков. Дело, по словам Эйкли, приняло совсем дурной оборот, и он намеревался вскоре перебраться в Калифорнию к сыну, даже вне зависимости от того, удалось бы ему продать старый дом или нет. Ему трудно было покинуть единственное место на земле, которое он считал своим родным, и он тянул время в надежде раз и навсегда отпугнуть непрошенных гостей — в особенности если он бросит свои попытки проникнуть в их тайны.

В ответном письме я вновь предложил Эйкли содействие и повторил, что готов приехать к нему и помочь убедить власти в грозящей его жизни опасности. В очередном письме он, вопреки моим ожиданиям, уже не отказывался столь категорично от предложенного плана, но заявил, что хотел бы еще немного повременить — с тем чтобы привести дела в порядок и свыкнуться с необходимостью навсегда покинуть дорогой его сердцу дом, к которому он был необычайно привязан. Люди всегда косо смотрели на его научные занятия, и было бы разумно обставить внезапный отъезд тихо, не привлекая ничьего внимания и не возбуждая ненужных сомнений в его душевном здоровье. По словам Эйкли, он уже довольно натерпелся за последнее время и хотел бы по возможности капитулировать с достоинством.

Я получил от него письмо 28 августа и тотчас ответил, постаравшись найти как можно более обнадеживающие слова. По-видимому, это подействовало на Эйкли благотворно, ибо в очередном письме он не пустился в ставшие для меня привычными описания ужасов. Правда, он не был и излишне оптимистичным, выражая уверенность, что лишь благодаря полнолунию твари перестали тревожить его по ночам. Он надеялся, что в последующие ночи тучи не скроют яркую луну, и мельком упомянул о намерении снять меблированную комнату в Братлборо, когда луна пойдет на убыль. Я вновь написал ему ободряющее письмо, но 5 сентября получил еще одно послание, отправленное явно ранее моего.

И на это письмо я никак не мог ответить в столь же ободряющем тоне. Ввиду важности сообщения хочу привести его здесь полностью. Итак, вот содержание письма:

Понедельник

Уважаемый Уилмарт,

направляю Вам довольно мрачный P. S. к последнему письму. Прошлой ночью все небо заволокло густыми тучами — но дождь так и не пошел, — и луны не было видно. Ситуация заметно ухудшилась. Думаю, развязка уже близка, как бы мы ни надеялись на лучшее. После полуночи что-то шумно упало на крышу дома, отчего собаки всполошились и выбежали во двор. Я слышал топот их лап и лай, а потом одна ухитрилась запрыгнуть на крышу с пристройки. Там началась ожесточенная схватка, я услышал жуткое жужжание, которого мне никогда не забыть. А потом я почувствовал отвратительную вонь. И в этот самый момент по моим окнам начали стрелять, и я едва увернулся от пуль. Думаю, что основной отряд горных тварей подошел вплотную к дому, выбрав момент, когда часть собачьей стаи отвлек шум на крыше. Что там произошло, я не знаю, но боюсь, что твари теперь приноровились использовать свои гигантские крылья для полетов в воздушном пространстве, а не только в космосе. Я зажег лампу и, воспользовавшись окнами как бойницами, начал палить из ружья, стараясь направлять ствол повыше, чтобы не попасть случайно в собак. Поначалу я решил, что это помогло и опасность миновала. Но наутро я обнаружил во дворе большие лужи крови, а рядом с ними лужи зеленоватого студенистого вещества, отвратительно пахнувшего. Я забрался на крышу и нашел там еще лужи студенистого вещества. Погибло пять собак. Боюсь, одну из них застрелил я сам, когда направил ствол ружья слишком низко, потому что на спине у нее зияла пулевая рана. Сейчас я меняю оконные рамы, поврежденные выстрелами, и собираюсь поехать в Братлборо за новыми собаками. Не удивлюсь, если хозяин собачьего

питомника считает меня сумасшедшим. Чуть позднее черкну еще пару слов. Думаю, буду готов к переезду недели через две, хотя сама мысль об этом меня просто убивает.

Извините, что пишу второпях,

Эйкли.

На следующее утро — то есть 6 сентября — я получил еще одно письмо, нацарапанное дрожащей, точно в лихорадке, рукой. Оно обескуражило меня настолько, что я места себе не мог найти. Постараюсь как можно точнее воспроизвести текст по памяти:

Вторник

Тучи не рассеялись, луны опять нет — и она пошла на убыль. Я бы снова подключил в доме электричество и выставил прожектор, если бы не был уверен, что стоит починить провода, как они их сразу же опять пережгут.

Мне кажется, что я схожу с ума. Возможно, все, о чем я писал Вам ранее, всего лишь дурной сон или плод помраченного рассудка. Раньше было все плохо, но на этот раз хуже уже некуда. Они разговаривали со мной прошлой ночью — мерзкими жужжащими голосами, и то, что мне сказали, я просто не смею повторить. Эти голоса перекрывали собачий лай, но однажды, когда лай их заглушил, заговорил человеческий голос. Не связывайтесь в это, Уилмарт, — все обстоит куда хуже, чем мы с Вами думали. Теперь они не позволяют мне переехать в Калифорнию — они хотят забрать меня живым или в том состоянии, которое можно назвать теоретически или интеллектуально живым, не только на Юггот, но и еще дальше, за пределы галактики, а возможно, и за искривленный окоем космического пространства. Я заявил, что не соглашусь последовать туда, куда они намерены — или предлагают — меня забрать, но боюсь, теперь все бесполезно. Мой дом стоит на отшибе, и они очень скоро придут сюда снова, либо днем, либо ночью. Я потерял еще шесть собак, и я от-

четливо ощущал их присутствие на лесистых участках дороги, когда ехал сегодня в Братлборо. Напрасно я отправил Вам записку и черный камень! Уничтожьте восковой валик, пока не поздно. Черкну Вам еще завтра, если буду жив. Ах, если бы мне удалось снять комнату в Братлборо и перевезти туда свои вещи и книги! Я бы сбежал отсюда, бросив все, если бы мог, но некая внутренняя сила удерживает меня здесь. Конечно, я могу тайком ускользнуть в Братлборо, где я окажусь в безопасности, но я буду чувствовать себя пленником и там, как и здесь, в доме. И похоже, я знаю, что мне не удалось бы спастись от них, даже если бы я все бросил и попытался бежать. Все слишком ужасно — не связывайтесь в это дело!

Ваш Эйкли

Получив это жуткое письмо, я всю ночь не мог сомкнуть глаз, теперь уже вконец усомнившись в душевном здоровье Эйкли. То, что он писал, было полным безумием, хотя манера изложения — принимая во внимание все предшествующие события — отличалась мрачной силой убедительности. Я даже не стал писать ему, сочтя, что теперь самое разумное — дожидаться, когда Эйкли найдет время ответить на мое предыдущее письмо. И на следующий день его ответ пришел, хотя изложенные в нем самые свежие новости затмили все разумные доводы, приведенные мной в предыдущем послании. Вот что я запомнил из того текста, написанного в лихорадочной спешке нетвердым пером со многими пометками.

Среда

У,

получил Ваше письмо, но больше нет смысла что-либо обсуждать. Я сдался. Странно, что мне еще достаёт силы воли сражаться с ними. Мне не спастись, даже если я решу все бросить и сбежать. Они все равно доберутся до меня где угодно.

Вчера получил от них письмо — его принес почтальон, пока я был в Братлборо. Написано и отослано из Беллоус-Фоллс.

Сообщают, что намерены со мной сделать, — но я не могу этого повторить. Вам тоже следует опасаться! Уничтожьте запись! Ночное небо все в тучах, а от луны остался тонкий месяц. Если бы кто-то мне помог! Это могло бы укрепить мою силу воли. Но любой, кто осмелится прийти ко мне на помощь, наверняка назовет меня безумцем, не найдя веских доказательств моей правоты. Мне даже некого попросить приехать ко мне без всякого повода — ведь я ни с кем не поддерживаю связь уже многие годы.

Но Вы еще не знаете самого ужасного, Уилмарт. Соберитесь с духом, чтобы продолжить чтение, ибо Вам предстоит пережить шок. Я говорю правду. Вот она: я видел одну из тварей и дотрагивался до нее — точнее, до ее конечности. Боже, как это ужасно! Разумеется, она была мертва. Ее загрыз один из моих псов, и я нашел ее труп около псарни сегодня утром. Я попробовал сохранить тело в сарае, чтобы показать людям и убедить их в своей правоте, но через несколько часов оно испарилось! От тела ничего не осталось. Вспомните, что мертвых тварей в реках видели только в первое утро наводнения. Но вот самое страшное. Я попытался сфотографировать для Вас мертвую тварь, но когда проявил пленку, там ничего не было видно, кроме сарая. Из чего же она состоит? Я видел ее и трогал ее, и все они оставляют следы на земле. Она явно материального происхождения — но что это за материал? Описать ее форму я затрудняюсь. Вообразите гигантского краба с туловищем из густого студенистого вещества, которое составлено, как пирамида, из множества плотных колец или узлов, покрытых множеством щупальцев в том месте, где у человека находится голова. А зеленое студенистое вещество является их кровью или живительным соком. И таких тварей на Земле с каждой минутой становится все больше и больше.

А Уолтер Браун пропал — никто больше не видел его. Наверное, я подстрелил его из ружья, а эти твари обычно утаскивают с собой своих убитых и раненых.

Доехал до поселка сегодня без приключений. Но боюсь, они просто перестали меня преследовать, ведь они уже не сомневаются в моей покорности. Пишу это письмо на почте в Братлборо. Может быть, это мое прощальное письмо — в таком случае свяжитесь с моим сыном по адресу: Джордж Гуденаф Эйкли, Плезант-стрит, 176, Сан-Диего, штат Калифорния, — но сами сюда не приезжайте! Напишите моему мальчику, если в течение недели от меня не будет никаких известий, и следите за новостями в газетах!

А теперь я намерен выложить свои последние два козыря — если мне хватит на это духу. Во-первых, попробую воздействовать на тварей ядовитым газом (у меня есть все необходимые химикалии, и я смастерил противогазы для себя и для собак), а потом, если и это не подействует, расскажу обо всем нашему шерифу. Меня могут, конечно, поместить в психиатрическую лечебницу, — но так оно будет лучше, чем то, что намереваются сотворить со мной эти чудовища. Возможно, мне удастся уговорить власти обратить пристальное внимание на следы вокруг дома, — они едва заметны, но я нахожу их каждое утро. Впрочем, предполагаю, что полиция скажет, будто это я сам всё подстроил, ведь все считают меня чудаком.

Надо вызвать кого-нибудь из полиции штата и уговорить провести тут ночь, чтобы все увидеть своими глазами, — хотя не исключаю, что твари об этом прознают и именно в эту ночь не станут мне докучать. Ночью они перерезают телефонные провода всякий раз, когда я пытаюсь вызвать подмогу, — на телефонной станции считают все это весьма странным, они могли бы подтвердить мои слова, если бы не подозревали, что я сам и порчу провода. Вот уже целую неделю я даже не пытаюсь вызвать мастера для восстановления телефонной связи.

Я мог бы убедить кое-кого из наших неграмотных стариков засвидетельствовать реальность этих ужасов, но здесь над ними только смеются, и, в любом случае, даже старики

давно уже обходят мой дом стороной, так что им ничего не известно о последних событиях. Вы самого никчемного из этих невежд-фермеров не заставите подойти ближе чем на милю к моему дому! Почтальон рассказывал, как они отзываются обо мне и какие шуточки отпускают на мой счет. Боже! Если бы я мог его убедить в реальности всего этого! Возможно, стоило бы показать ему следы на дороге, но он разносит почту после полудня, а к этому времени следы уже не столь отчетливы. И даже если бы мне удалось сохранить хоть один след, поместив над ним коробку или тазик, он, конечно же, сочтет, что это подлог или шутка.

Можно лишь пожалеть, что я жил таким отшельником и соседи перестали заходить ко мне в гости, как бывало когда-то. Я никому не показывал ни тот черный камень, ни фотоснимки и не проигрывал запись — за исключением лишь малограмотных стариков. Другие сказали бы, что это розыгрыш и подняли бы меня на смех. Надо показать кому-нибудь фотографии. На них отпечатки клешей вышли очень четко, хотя мне не удалось сфотографировать самих тварей. Как досадно, что никто не видел эту мертвую тварь сегодня утром до того, как она обратилась в ничто!

Но теперь мне все равно. После всего, через что я прошел, сумасшедший дом для меня ничем не хуже, чем любое другое место. Доктора помогут мне решиться на продажу дома, а это именно то, что может меня спасти.

Напишите моему сыну Джорджу, если от меня долго не будет вестей. Прощайте, уничтожьте запись и не связывайтесь ни во что.

Ваш Эйкли

Честно говоря, это признание ужаснуло меня несказанно, породив самые мрачные мысли. Я не знал, что ему ответить, но все же нацарапал несколько беспомощных фраз ободрения и отправил письмецо заказной почтой. Помнится, я настоятельно советовал Эйкли немедленно переехать

в Братлборо и обратиться за защитой к местным властям, добавив, что приеду туда с фонографической записью и помогу доказать в суде его вменяемость. И еще я, кажется, написал, что пришло время предупредить людей об опасности, грозящей им с появлением этих тварей. Надо сказать, что в ту минуту сильнейшего волнения моя собственная вера во все, что поведал мне Эйкли, была почти полной и безоговорочной, хотя у меня и промелькнула мысль, что неудачная попытка сфотографировать мертвое чудовище объясняется не столько капризом природы, сколько его собственной оплошностью.

V

А днем в субботу, 8 сентября, по-видимому опередив мою кратенькую записку, от него пришло новое, в высшей степени странное письмо. Аккуратно напечатанное на пишущей машинке, оно было выдержано в совершенно ином — удивительно спокойном и умиротворенном — тоне, причем его автор радушно приглашал меня приехать к нему. Это письмо стало неожиданным поворотным пунктом в развитии всей этой кошмарной драмы в уединенных горах. Я приведу его по памяти и постараюсь, не без причины, передать по возможности как можно точнее особенности его стиля. Судя по штемпелю на конверте, оно было отправлено из Беллоус-Фоллс, и на машинке был отпечатан не только сам текст, но даже и подпись, как это нередко делают люди, только-только овладевшие навыками машинописи. Сам же текст был напечатан без единой опечатки, что необычно для новичка, из чего я заключил, что Эйкли, видимо, когда-то пользовался пишущей машинкой — наверное, в колледже. Честно говоря, я прочитал это письмо с великим облегчением, хотя и не смог до конца избавиться от некоей смутной тревоги. Если Эйкли сохранил здравый рассудок после всех описанных им ужасов, был ли он в здравом рассудке теперь,

после избавления от своих напастей? И упомянутое им «налаживание интеллектуального взаимопонимания»... Это как понимать? Словом, все в этом послании говорило о неожиданной радикальной смене настроения Эйкли. Но вот содержание письма, точно восстановленного по памяти, которой я весьма горжусь.

Таунишенд, штат Вермонт

Четверг, 6 сент. 1928 г.

Дорогой Уилмарт,

с радостью должен успокоить Вас относительно всех тех глупостей, которые я Вам написал. Я говорю «глупости» и под этим подразумеваю свое продиктованное страхом отношение к происходящему, а не описание определенных явлений. Эти явления реальны и чрезвычайно важны; и ошибкой было мое неправильное отношение к ним. Думаю, я упоминал, что мои странные визитеры уже предпринимали попытки вступить в общение со мной, и вот наконец-то прошлой ночью мы впервые установили полноценный контакт. В ответ на определенные звуковые сигналы я принял в доме посланца этих существ — спешу уточнить: человека. Он рассказал много такого, чего ни Вам, ни мне не могло даже в голову прийти, и ясно дал понять, насколько глубоко мы заблуждались относительно Пришлых и насколько неверно истолковали цель нахождения их тайной колонии на нашей планете. Похоже, все злонамеренные небылицы о предложениях, которые они якобы делают людям, и о цели их пребывания на Земле есть целиком и полностью результат невежественного непонимания их аллегорической речи — речи, понятное дело, сформировавшейся на базе культуры и интеллектуальных обычаев, безмерно далеких от самых смелых наших фантазий. Мои собственные умозаключения, признаюсь откровенно, были столь же далеки от истины, как любые догадки нашей невежественной деревенщины и диких индейцев. То, что мне представлялось мрачным, постыдным и бо-

гомерзким, на самом деле вызывает благоговейный восторг, если не сказать восхищение, и расширяет наши представления о мире — и мои прежние оценки были всего лишь проявлением извечной склонности человека ненавидеть, опасаться и сторониться всего, что отличается от привычного.

Теперь я могу лишь сожалеть о том вреде, который я причинил этим удивительным внеземным существам в ходе наших ночных стычек. Как жаль, что с самого начала я не догадался мирно и благоразумно побеседовать с ними. Но они не держат на меня зла. Ибо их эмоциональная организация весьма отличается от нашей. На беду, они выбрали в качестве своих агентов в Вермонте недостойные образчики рода человеческого — каким, к примеру, был ныне покойный Уолтер Браун. Это он заставил их отнестись ко мне с предубеждением. Вообще-то, они никогда сознательно не причиняли людям вреда, но часто сами становились жертвами злонамеренных оговоров и преследований со стороны нас, землян. Существует тайный культ грешников (такой человек, как Вы, обладающий глубокими познаниями в области мистической науки, поймет меня, если я скажу, что этот культ связан с Хастуром и Желтым Знаком), посвятивших себя выслеживанию и уничтожению их ради чудовищных сил, господствующих в иных измерениях. Именно против таких воинственных вырожденков — а вовсе не против нормальных людей — направлены строгие меры предосторожности Пришлых. Случайно я узнал, что многие наши потерянные письма были украдены вовсе не Пришлыми, но эмиссарами жрецов этого греховного культа.

Все, что надо Пришлым от человека, — это мир, невмешательство в их дела и налаженное интеллектуальное взаимопонимание. Это последнее совершенно необходимо теперь, когда новейшие изобретения и механизмы расширяют наше знание и улучшают способы передвижения, что представляет возрастающую угрозу для тайных колоний Пришлых на нашей планете. Внеземные существа хотят, во-первых, луч-

ше изучить человечество и, во-вторых, дать возможность избранным философам и ученым Земли узнать о них как можно больше. Благодаря такому взаимному обмену знаниями все невзгоды уйдут в прошлое и установится благоприятный *modus vivendi*¹. Сама же идея об их стремлении поработить или уничтожить человечество просто смехотворна.

В знак такого улучшения взаимопонимания Пришлые, естественно, выбрали меня — кто обладает уже довольно значительным багажом знаний о них — своим главным посланником на Земле. Многое я узнал прошлой ночью — факты поразительного и многообещающего свойства, — и вскоре мне будет сообщено куда больше — как устно, так и письменно. Меня не призывают прямо сейчас покинуть Землю, хотя в будущем я, возможно, захочу совершить такое путешествие, для чего мне придется прибегнуть к особым средствам и пережить такое, что невозможно вообразить, основываясь только на человеческом опыте. Большие они не будут подвергать мой дом осаде. Все вернулось к нормальному состоянию. И моим собакам больше не надо меня сторожить. Теперь вместо ужаса мне обещаны неисчерпаемые кладези знаний и интеллектуальные приключения, до сих пор изведенные лишь немногими смертными.

Пришлые, вероятно, самые чудесные органические существа во всем космосе и за его пределами; это представители космической расы, в сравнении с которыми все иные формы жизни являются лишь тупиковыми ветвями. Они скорее растительной, нежели животной природы, если только в этих терминах можно описать субстанцию, из коей они созданы, и имеют грибовидную структуру, хотя наличие хлорофиллоподобного вещества и очень необычной пищеварительной системы разительно отличает их от обычных листоватых грибов. В сущности, данный тип существ создан из уникальной разновидности материи, не встречающейся на

¹ Уклад жизни (лат.).

нашем участке космического пространства — и ее электроны имеют совершенно иной коэффициент вибрации. Вот почему эти существа не отображаются на обычной фотопленке или фотопластинке, хотя мы можем их видеть невооруженным глазом. Впрочем, при должном знании любой хороший химик смог бы создать особую фотоэмульсию, с помощью которой можно было бы запечатлеть их изображения.

Эти существа уникальны в своей способности перемещаться в холодном безвоздушном пространстве, сохраняя телесную форму, хотя некоторые их разновидности могут это делать лишь с помощью механических устройств либо подвергнувшись любопытной хирургической операции. Лишь немногие их виды имеют крылья, резистентные к космическому эфиру, что характерно именно для вермонтской разновидности. Существа же, населяющие наиболее удаленные горные пики Старого Света, попали на Землю иначе. Их внешнее сходство со зверями и сходство их структуры с тем, что у нас называется материей, есть результат параллельной эволюции, а не генетического родства. Способности их мозга превосходят способности любой из существующих ныне форм земной жизни, притом что крылатое семейство обитателей здешних гор считается отнюдь не самым высокоразвитым из их видов. Телепатия является их обычным способом общения, хотя они имеют рудиментарные органы речи, и после несложной операции (а все эти существа обладают навыками хирургии, которую они довели до высочайшего совершенства) они могут более или менее точно копировать речь тех разновидностей органической жизни, которые для общения все еще пользуются языком. Основное место их обитания — до сих пор еще не открытая и пребывающая во мраке планета на самом краю нашей Солнечной системы, за орбитой Нептуна. Как мы с Вами и предполагали, эта девятая от Солнца планета в некоторых древних запретных книгах имеет мистическое имя Юггот, и довольно скоро она станет источником концентрированного потока мысли, направлен-

ного на нашу планету с целью налаживания интеллектуального взаимопонимания. Не удивлюсь, если астрономы когда-нибудь смогут зафиксировать эти мыслепотоки и откроют Юггот, когда сами Пришлые этого пожелают. Но Юггот, разумеется, — это только перевалочный пункт. Основная масса существ населяет странно организованные бездны, которые не дано постичь человеческому сознанию. Пространственно-временная сфера, которую мы принимаем за единую космическую сущность, — это лишь атом в бесконечности, где они существуют. И многие глубины этой бесконечности — из тех, что доступны человеческому разуму, — рано или поздно откроются мне точно так же, как они открылись не более чем пяти десяткам выдающихся людей за всю историю человечества.

Вам, Уилмарт, все это поначалу может показаться безумием, но со временем Вы сполна оцените всю значимость дарованного мне феноменального шанса. Я хочу по возможности поделиться этим шансом с Вами, вот почему мне нужно поведать Вам в личной беседе нечто, чего нельзя доверить бумаге. Ранее я настрого запрещал Вам сюда приезжать. Но теперь, обретя полную безопасность, я с радостью отказываюсь от своего запрета и приглашаю Вас к себе.

Вы сможете приехать до начала очередного семестра в колледже? Было бы просто чудесно, если бы Вам это удалось. Захватите с собой фонографический валик с записью и все мои письма, чтобы мы вместе могли восстановить последовательность событий этой грандиозной истории. Привезите также и фотоснимки, так как я в этой суматохе куда-то задевал негативы и свои копии отпечатков. Знали бы Вы, какое обилие новых фактов я могу сейчас прибавить к своим прошлым догадкам и гипотезам — и каким потрясающим устройством я обладаю в дополнение к этим фактам!

Даже не сомневайтесь! Теперь за мной никто не шпионит, и Вы не найдете тут ничего сверхъестественного или пугающего. Просто приезжайте — на вокзале в Братлборо Вас

будет ждать мой автомобиль — и приготовьтесь пробыть у меня столько, сколько пожелаете! Нас ждут многие вечера увлекательных бесед о вещах, не подвластных человеческому пониманию. Но разумеется, никому об этом не рассказывайте, ибо это не должно стать достоянием бестолковой публики.

Железнодорожное сообщение с Братлборо вполне надежно — можете ознакомиться с расписанием поездов в Бостоне. Садитесь на поезд Бостонско-Мэнской ветки до Гринфилда, там сделайте пересадку, после чего нужно будет проехать еще несколько станций. Рекомендую удобный поезд в 16:10 из Бостона. Он прибывает в Гринфилд в 19:35, откуда в 21:19 отправляется поезд на Братлборо, прибывающий туда в 22:01. Это расписание для рабочих дней. Сообщите мне дату Вашего приезда, чтобы автомобиль был готов для встречи Вас на вокзале.

Извините, что печатаю письмо на машинке, но в последнее время, как Вам известно, моя рука стала нетверда, и мне трудно писать длинные тексты. Я приобрел эту «Корону» вчера в Братлборо — похоже, машинка в неплохом состоянии.

Жду от Вас вестей и надеюсь вскоре увидеть Вас лично, и фонографический валик, и все мои письма, и фотоснимки также.

Остаюсь Ваш, в предвкушении встречи,

Генри У. Эйкли.

*АЛЬБЕРТУ Н. УИЛМАРТУ, ЭСК.
МИСКАТОНИКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
АРКХЕМ, МАСС.*

Не могу описать, сколь сложные эмоции нахлынули на меня, когда я читал, перечитывал и обдумывал это в высшей степени удивительное и абсолютно неожиданное письмо. Как уже было сказано, я почувствовал одновременно великое облегчение и тревогу. Но эти слова могут лишь весьма

приблизительно описать сложные нюансы различных и по большей части подсознательных движений души, вызвавших и мое облегчение, и мою тревогу. Начать с того, что сие послание полностью противоречило описанным в предыдущих письмах жутким кошмарам — и ничто не предвещало этой молниеносной и полной перемены настроения: от нескрываемого ужаса к невозмутимому благодушию и даже восторженной экзальтации. Я едва ли мог поверить, что столь мгновенная перемена в душевном состоянии человека, направившего мне нервический отчет о страшных событиях среды, могла произойти всего за один день, какие бы радостные открытия ему ни довелось пережить в ночь на четверг. В какие-то моменты ощущение явной ирреальности рассказа заставляло меня гадать, не было ли его маловразумительное описание космической драмы с участием фантастических существ чем-то вроде галлюцинации, родившейся в моем собственном сознании... Но потом я вспомнил о фонографической записи, и этот факт озадачил меня еще больше.

Я мог ожидать от Эйкли чего угодно, но только не такого аккуратно напечатанного на машинке письма. Проанализировав свои впечатления, я пришел к выводу, что в них можно выделить два момента. Во-первых, допуская, что Эйкли был и остается в здравом уме, произошедшая смена настроения представлялась мне чересчур стремительной и неправдоподобной. А во-вторых, изменения в общем настрое, в отношении к происходящему и даже в стилистике письма были очень уж неестественными и непредсказуемыми. В личности Эйкли, казалось, произошла болезненная мутация — мутация столь глубокая, что обе фазы его изменившегося душевного состояния трудно было примирить, исходя из допущения, что обе они в равной степени демонстрировали душевное здоровье.

Выбор слов, орфография — все было другим! А уж с моим тонким чувством прозаического стиля, приобретенным за долгие годы университетских занятий, мне было легко от-

метить глубокие различия в строении самых простых фраз и в общем ритмическом рисунке письма. Должно быть, он и впрямь пережил сильнейшее эмоциональное потрясение или откровение, которое вызвало столько радикальный переворот в его сознании! С другой же стороны, это вполне соответствовало характеру Эйкли. Все та же тяга к бесконечности — все та же пытливость ученого ума. Я ни на мгновение не мог допустить мысли, что это письмо — фальшивка или злонамеренный розыгрыш. И разве его приглашение — то есть именно желание, чтобы я лично удостоверился в правдивости его слов — не есть доказательство подлинности письма?

Всю ночь субботы я просидел в раздумьях о тайнах и чудесах, маячивших за строками полученного мною письма. Мой разум, утомленный быстрой сменой чудовищных теорий, с которыми он вынужден был столкнуться в последние четыре месяца, анализировал этот удивительный новый материал, чередуя сомнение и согласие, которые сопровождали меня на протяжении всего моего знакомства с этими диковинными событиями. И вот уже ближе к рассвету жгучий интерес и любопытство постепенно преодолели разыгравшуюся в моей душе бурю замешательства и тревоги. Безумец Эйкли или нет, пережил ли он глубокий душевный перелом или просто испытал огромное облегчение, все равно было ясно, что он и впрямь совершенно иначе стал относиться к своим рискованным изысканиям. И эта перемена поборолла ощущение опасности — реальной или воображаемой — и одновременно открыла ему головокружительные просторы космического сверхчеловеческого знания. Моя страсть к неведомому, встретившись с его точно такой же страстью, вспыхнула с новой силой, и я словно заразился его желанием раздвинуть преграды познанного, сбросить с себя отупляющие, сводящие с ума оковы времени, пространства и законов природы, чтобы ощутить связь с безграничным пространством космоса и приблизиться к бездонным тем-

ным тайнам бесконечности и абсолютного знания. Ну конечно, ради этого стоило рискнуть жизнью, душой и рассудком! К тому же, как сказал Эйкли, опасности больше нет — не зря же он пригласил меня приехать к нему, хотя раньше умолял этого не делать. Я трепетал от одной только мысли, что Эйкли собрался поведать мне о неслыханных чудесах, — и ощущал невыразимое волнение, представив, как я окажусь в уединенном фермерском доме, совсем недавно пережившем жуткую осаду пришельцев, и буду вести беседы с человеком, общавшимся с настоящими посланцами космоса; и как мы будем вновь прослушивать ту жуткую запись, и перечитывать письма, в которых Эйкли поделился со мной своими первыми соображениями...

Итак, воскресным утром я телеграфировал Эйкли, что встречу с ним в Братлборо в следующую среду 12 сентября, если его это устраивает. Лишь в одном пункте я не последовал предложенному им плану действий, а именно в выборе поезда. Честно сказать, мне не понравилась перспектива прибыть в мрачную вермонтскую глушь поздним вечером, поэтому я телефонировал на станцию и заказал билеты на другое время. Встав рано утром, я мог доехать до Бостона поездом в 8:07 и успеть на поезд, который отправлялся в 9:25, и прибывал в Гринфилд в 12:22. Далее меня ожидала очень удобная пересадка на поезд, прибывавший в Братлборо в 13:08, что меня устраивало куда больше, чем встреча с Эйкли на вокзале в начале одиннадцатого вечера и долгая поездка под покровом тьмы среди таинственных сумрачных гор.

Я телеграфировал Эйкли свое решение и из ответной телеграммы, которая пришла ближе к вечеру, с радостью узнал, что это вполне согласовывалось с планами моего гостеприимного хозяина.

Его телеграмма гласила:

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ВАРИАНТ УСТРАИВАЕТ ВСТРЕЧУ
ПОЕЗД 8:01 СРЕДУ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПИСЬ ПИСЬМА
И СНИМКИ ЗДЕСЬ ВСЕ ТИХО ЖДИТЕ ВЕЛИКИХ
ОТКРЫТИЙ ЭЙКЛИ

Получив незамедлительный ответ на мою телеграмму, которую ему из Тауншенда либо доставил домой почтальон, либо продиктовали текст по телефону — линию, как я надеялся, уже восстановили, — я окончательно отмел все подсознательные сомнения относительно авторства предыдущего, столь поразившего меня письма. Теперь я был абсолютно спокоен — почему, я и сам вряд ли смог бы объяснить. Но как бы то ни было, все мои сомнения были отброшены. В ту ночь я быстро уснул и крепко проспал до самого утра, а последующие два дня посвятил приготовлениям к поездке.

VI

В среду, как и было уговорено, я отправился на вокзал, захватив с собой саквояж с личными вещами и нашим научным архивом, включавшим фонографическую запись, фотоснимки и папку с полным комплектом писем Эйки. Выполняя его волю, я никому ни словом не обмолвился о том, куда еду, ибо понимал, что это дело требует полной приватности, даже если все обернется благоприятным образом. Сама мысль об интеллектуальном контакте с иноземными существами была слишком ошеломительной даже для моего натренированного и готового ко многим открытиям мозга; можно себе представить, какое воздействие это событие могло бы оказать на мозги ничего не подозревающих обывателей. Сам не знаю, какое из чувств было сильнее — ужас или жажда приключений, — когда после пересадки в Бостоне началось мое долгое путешествие на северо-запад и поезд помчал меня прочь от знакомых мест к городкам, о которых я знал лишь по названиям на географической карте. Уолтхем... Конкорд... Эйер... Фичбург... Гарднер... Эйтол...

Мы прибыли в Гринфилд с семиминутным опозданием, но экспресс в северном направлении, на который мне предстояло пересесть, к счастью, еще не отбыл. Делая пересадку

впопыхах, я ощущал беспричинное волнение, когда смотрел, как освещаемый лучами утреннего солнца поезд направляется в ту часть страны, о которой я много читал, но где еще ни разу не был. Я размышлял о том, что скоро окажусь в ветхозаветной Новой Англии, куда более примитивной, чем механизированные и урбанизированные восточные и южные штаты, в которых прошла вся моя жизнь, — в девственной старомодной стране без иммигрантов и фабричного дыма, без придорожных рекламных щитов и бетонных шоссе, ставших уже привычными элементами современной цивилизации. Я готовился воочию увидеть чудесные проявления неизменного на протяжении веков жизненного уклада, который благодаря глубокой укорененности в местных обычаях дал самобытные всходы, оживляя странные стародавние предания и формируя благодатную почву для мрачных и фантастических суеверий.

Глядя из окна, я видел искрящиеся под полуденным солнцем голубые воды реки Коннектикут, а когда, выехав из Нортфилда, мы пересекли реку по мосту, впереди замаячили поросшие лесами таинственные горы. Я узнал у появившегося в вагоне проводника, что наконец-то мы в Вермонте. По его совету я перевел свой хронометр на час назад, поскольку жители северной части вермонтского высокогорья отказывались подчиниться новомодному установлению о переходе на летнее время. И когда я перевел стрелки часов вспять, мне подумалось, что одновременно я перелистнул календарь на столетие назад.

Железнодорожное полотно бежало вплотную к руслу реки, и на противоположном берегу, в Нью-Гэмпшире, я различил склоны крутых кряжей Вантастикета, о которых сложена не одна старинная легенда. Потом слева по ходу поезда показались улицы, а справа посреди реки мелькнул зеленый островок. Пассажиры встали с мест и потянулись к выходу, и я следом за ними. Поезд остановился — я вышел на крытую платформу вокзала Братлборо.

Увидев на привокзальной площади ряды автомобилей, я принялся искать глазами «форд» Эйкли, но меня опередили. Впрочем, встречавший меня джентльмен, который бросился ко мне с протянутой рукой и вежливо поинтересовался, не я ли мистер Альберт Н. Уилмарт из Аркхема, был явно не Эйкли, так как не имел ни малейшего сходства с седобородым ученым на фотографии. Мужчина выглядел куда моложе, и на его лице виднелись лишь небольшие темные усики; он был модно одет и имел вполне светские манеры. Звучание его хорошо поставленного приятного голоса навеяло некие смутные и отчасти тревожные воспоминания, хотя я никак не мог припомнить, где я его слышал.

Пока я его разглядывал, он представился другом моего будущего хозяина, который поручил ему приехать из Тауншенда встретить меня. Эйкли, добавил он, внезапно слег с жестоким приступом астмы и не может долго находиться на свежем воздухе. Он поспешил заверить меня, что болезнь не слишком серьезная и на моем визите никак не отразится. Навряд ли этот мистер Нойес — так он аттестовал себя — был в курсе научных занятий и открытий Эйкли; судя по его виду и поведению, они познакомились совсем недавно. Правда, вспомнив, каким затворником жил Эйкли, я был несколько удивлен столь неожиданным появлением у него подобного знакомого. Поборов замешательство, я уселся в автомобиль, к которому меня подвел Нойес. Вопреки моим ожиданиям, это был не старенький драндулет, о котором не раз упоминалось в письмах Эйкли, а большой, сверкающий свежей краской автомобиль современной модели — явно принадлежащий Нойесу — с массачусетскими номерными знаками, украшенными забавной эмблемкой «священной трески» — приметой нынешнего года¹. Из этого я заключил, что мой провожатый — один из тех самых дачников, что приезжают в Тауншенд на лето.

¹ Автомобильные номера, выпущенные в Массачусетсе в 1928 году, помимо буквенных и цифровых обозначений включали изображение «священной трески» — символа штата. (Прим. перев.)

Нойес сел за руль и включил зажигание. Я был рад, что он не пустился в дальнейшие разговоры, так как из-за возникшего замешательства я не был склонен к беседам. Освещенный лучами послеполуденного солнца, город выглядел весьма привлекательно. Одолев короткий подъем, автомобиль свернул направо и покатил по главной улице. Это был типичный новоанглийский сонный городишко, какие памятливы нам с детства, и нагромождение черепичных крыш, церковных шпилей, печных труб и кирпичных стен словно коснулось потаенных струн моей души, пробудив давно спящие чувства. Могу сказать, что я очутился в заколдованном краю, в котором скопилась целая груда нетронутых временем сокровищ, — краю, где древние, странные обычаи и привычки получили возможность свободно развиваться и оставаться в неприкосновенности, потому как никто их тут не тревожил.

Когда мы выехали из Братлборо, мое нервное напряжение и мрачные предчувствия только усилились, ибо затерянный в дымке гористый пейзаж с подступающими к шоссе грозными лесными чащами и гранитными утесами смутно намекал на мрачные секреты и древние обычаи, исполненные враждебности к человеку. Теперь шоссе бежало вдоль широкой, но мелководной реки, бравшей начало где-то в северных горах, и я невольно поежился, когда мой спутник сообщил, что это Вест-ривер. А я помнил, что именно в ней, как писали газеты, после наводнения видели останки одного из жутких крабовидных существ.

Постепенно окружающий пейзаж становился все более диким и пустынным. Архаичные крытые мосты, словно суровые стражи седой старины, виднелись в прогалинах между горами, а над заброшенной железнодорожной веткой, что тянулась вдоль речного русла, казалось, витал туманный дух запустения. Я изумлялся поразительной красоте бескрайних долин, утыканных одинокими утесами — знаменитый новоанглийский гранит ядовито-серыми пятнами проглядывал

сквозь венчавшую горные хребты зелень. Я видел ущелья, где своенравные ручьи низвергались с каменистых порогов, неся вниз к реке невообразимые тайны тысяч неприступных пиков. От шоссе то и дело ответвлялись узкие, едва заметные в траве проселки, пробирающиеся сквозь зеленые преграды лесов, где среди древних стволов, наверное, прятались целые сонмы древних духов стихий. Оглядываясь вокруг, я невольно вспоминал страшные рассказы Эйкли о засадах незримых посланцев во время поездок по этому шоссе — и теперь уже не удивлялся, что такое возможно.

Тихая живописная деревня Ньюфан, до которой мы добрались через час пути, была последним связующим звеном с тем миром, который человек мог бы по праву назвать своим, ибо он полновластно господствовал в нем. После Ньюфана мы словно расторгли всякую связь со знакомыми, осязаемыми и подвластными времени предметами и углубились в фантастический мир безмолвной ирреальности, где узкая ленточка дороги то карабкалась вверх, то сбегала вниз, то вилась, точно по чьему-то намеренному капризу, среди пустынных зеленых пиков и пустынных долин. Не считая мерного рокота тракторов и слабых признаков оживления на скотных дворах редких ферм, которые попадались нам по пути, единственным звуком, долетавшим до моего слуха, было торопливое бормотание диковинных вод невидимых родников в лесных чащобах. От вида гор, издалека казавшихся похожими на миниатюрные круглоголовые кексы, вблизи поистине захватывало дух. Крутые скалистые склоны оказались еще более величественными, чем я их себе представлял с чужих слов; ничто в привычном нам прозаическом мире не шло ни в какое сравнение с этими исполинами. Густые леса на недоступных горных склонах, где не ступала нога человека, казалось, скрывали невероятных, неведомых существ, и я чувствовал, что даже очертания здешних гор таили какой-то странный и давным-давно позабытый смысл, словно то были гигантские иероглифы, остав-

ленные нам легендарной расой титанов, чья слава осталась жить лишь в глубоких снах немногих посвященных. Все предания прошлого и все ошеломительные намеки из исповедей Генри Эйкли сконцентрировались в моей памяти, чтобы еще более сгустить тревожную атмосферу напряжения и гнетущего чувства опасности. Мрачная цель моего визита, как и предвкушение открытий сверхъестественного свойства, внезапно вызвала в душе мертвящий холод, порядком умеривший мой исследовательский пыл.

Нойес, должно быть, заметил мое волнение, поскольку по мере того, как дорога, углубляясь в лесную чащу, становилась все более неровной и автомобиль сбавил скорость и запрыгал по рытвинам и ухабам, его редкие вежливые комментарии обратились в нескончаемый поток красноречия. Он с воодушевлением описывал чарующие красоты и прелесть этого края, выказав даже некоторое знакомство с фольклорными изысканиями мистера Эйкли. Из его тактично сформулированных вопросов мне стало ясно, что ему известна научная цель моего приезда, а также то, что я везу с собой некую важную информацию, но, судя по его речам, он едва ли представлял себе всю глубину того страшного знания, которое в конечном счете обрел Эйкли.

Он держался непринужденно, оживленно, даже весело, и его замечания, по-видимому, были призваны успокоить и приободрить меня, но странным образом они лишь разбредили мое волнение, пока машина неслась по ухабистой дороге, забираясь все глубже в безвестную пустынную страну гор и лесов. Временами казалось, что он старается выудить из меня все, что мне известно о чудовищных тайнах этих гор, и с каждой произнесенной фразой в его голосе я все острее угадывал едва уловимые и сбивающие с толку знакомые нотки. Да-да, его голос казался неуловимо знакомым, и, несмотря на всю его неподдельную естественность, это неотступное ощущение, что я его где-то уже слышал, произвело на меня неприятный и какой-то нездоровый эффект.

Я странным образом связал его с давно позабытыми кошмарами и даже боялся, что могу сойти с ума, если узнаю его. Если бы я только мог придумать какую-то вескую отговорку, я бы с радостью вернулся обратно на станцию. Но в данных обстоятельствах уже ничего нельзя было изменить — и мне подумалось, что спокойная научная беседа с Эйкли по приезде на ферму поможет мне вновь обрести присутствие духа.

Кроме того, в первозданной красоте пейзажа, мимо которого бежало шоссе, то взбираясь вверх, то устремляясь вниз, было что-то странно-умиротворяющее. В лабиринтах горной дороги время словно остановилось, и взору представляли воистину сказочные виды и заново обретенная прелесть исчезнувших веков — могучие дубравы, девственные луга с яркими осенними цветами да редкие фермерские уголья, притулившиеся среди огромных деревьев за зарослями душистого можжевельника и высоких трав. Даже солнечный свет здесь обрел неземное величие, точно здешние места были пронизаны некоей фантастической атмосферой или неведомым духом. Ничего подобного я никогда не видывал в своей жизни — за исключением разве что волшебных далей, которые порою можно увидеть на полотнах итальянских живописцев-примитивистов. Содомы и Леонардо умели воссоздавать такие бескрайние пространства, но у них эти просторы виднелись всегда в отдалении, сквозь своды возрожденческих аркад. Мы же теперь буквально продирались сквозь живописный холст, и в этом заколдованном мире я находил то, что неосознанно знал или унаследовал раньше и чего всю жизнь тщетно искал.

Внезапно, обогнув вершину крутого склона, автомобиль затормозил. Слева от меня, на дальнем краю ухоженной лужайки, протянувшейся до самой дороги и огороженной выбеленными валунами, возвышался белый двухэтажный дом с надстройкой, который благодаря размеру и изяществу линий выглядел чужаком в здешней глуши; позади, справа

от него, стояли пристройки — соединенные аркадами сараи, амбары и мельница. Я сразу узнал этот дом по присланной мне фотографии и совсем не удивился, увидев имя Генри Эйкли на оцинкованном почтовом ящике на столбике у дороги. За домом виднелась болотистая равнина с чахлой растительностью, а за ней поросший густым лесом склон, круто убегающий к зубчатой зеленой вершине. Это, как я уже догадался, была вершина Темной горы, на полпути к которой мы остановились.

Выйдя из автомобиля и подхватив мой саквояж, Нойес попросил подождать, пока он сходит в дом и сообщит Эйкли о моем приезде. У него же, добавил он, еще есть одно дело в городе, и он сможет пробыть тут лишь минутку — не более. Он быстро зашагал по дорожке к дому, а я тем временем вылез из автомобиля, чтобы хорошенько размять ноги, прежде чем мы с Эйкли засядем за многочасовую беседу. Мое нервное напряжение вновь усилилось, стоило мне очутиться на месте жутких событий, подробно описанных Эйкли, и я, честно говоря, сильно нервничал по поводу предстоящих дискуссий о далеких и запретных мирах.

Близкие контакты с удивительным зачастую более ужасают, нежели вдохновляют, и меня совсем не радовала мысль, что вот этот клочок проселочной дороги и есть то самое место, где Пришлые оставляли свои следы и где после безлунных ночей, полных страха и смерти, Эйкли обнаружил лужицы зеленоватого студенистого вещества. Я невольно отметил про себя, что не вижу и не слышу собак. Может быть, Эйкли их всех продал, как только Пришлые заключили с ним перемирие? Но лично я, сколько ни старался, не мог уверовать в прочность и искренность этого перемирия, как уверовал в него Эйкли, судя по последнему, такому непохожему на все предыдущие письму. В конце концов, он был довольно простодушен и не имел большого опыта в мирских делах. Уж не тайлся ли за этим мирным соглашением какой-то скрытый зловещий умысел?

Следуя своим мыслям, я опустил глаза на грунтовую дорогу, хранившую некогда страшные свидетельства. В последние несколько дней погода стояла сухая, и, несмотря на безлюдную местность, неровная поверхность дороги была испещрена самыми разнообразными следами. С праздным любопытством я начал изучать очертания некоторых отпечатков, стараясь унять самые зловещие из моих макабрических фантазий, порожденных этим мрачным местом и моими воспоминаниями. В кладбищенской тишине, в приглушенном журчанье лесных ручьев, в громоздящихся вокруг зеленых пиках и поросших темным лесом горных склонах на горизонте мне чудилось что-то угрожающее и тревожное.

И тут в моем сознании возник образ, который заставил эти смутные угрозы и сумрачные фантазии показаться пустыми и незначительными. Я, как было сказано, с праздным любопытством рассматривал различные следы на дороге — но вдруг мое любопытство вмиг смыло волной неподдельного, холодящего ужаса. Ибо хотя неясные следы на песке были плохо различимы и накладывались друг на друга, мой взгляд наткнулся на некоторые детали в том месте, где проезжая дорога смыкалась с ведущей к дому тропой. И я тотчас осознал — без сомнения или надежды — пугающее значение этих деталей. Увы, не зря я часами разглядывал присланные мне Эйкли фотографии с отпечатками клешней Пришлых. Я слишком хорошо помнил следы этих ужасных чудовищ и ту странную неопределенность направления их движения, что отличало их от всех прочих земных существ. И тут не было ни малейшего шанса на спасительную ошибку. Моему взору предстали объективные доказательства: по крайней мере три свежие, оставленные всего несколько часов назад, жуткие отметины, четко видневшиеся среди множества отпечатков башмаков, ведущих к дому и от дома Эйкли. Это были богомерзкие следы мыслящих грибов с Юггота.

Я с трудом сдержал вопль ужаса. В конце концов, разве я не ожидал увидеть здесь нечто подобное, коль скоро я на

самом деле поверил всему, о чем писал мне Эйкли? Он сообщил, что заключил мир с тварями. Тогда стоит ли удивляться, что они навещали его? Но мой ужас был сильнее доводов рассудка. Да и кто из людей смог бы сохранить спокойствие, впервые в жизни воочию увидев реальные следы живых существ, прилетевших на Землю из глубин космоса? И тут я заметил, что Нойес, выйдя из дома, быстро шагает ко мне. Следует, подумал я, сохранять спокойствие, ибо есть вероятность, что этому субъекту ничего не известно о глубоких и страшных погружениях Эйкли в запретные сферы.

Мистер Эйкли, поспешил уведомить меня Нойес, рад моему приезду и готов со мной встретиться, но внезапный приступ астмы не позволит ему в ближайшие день-два в полной мере выполнять функции гостеприимного хозяина. Эти приступы он переносит очень тяжело, и они всегда сопровождаются изнуряющей лихорадкой и общим недомоганием. В такие периоды он чувствует себя неважно и может разговаривать только шепотом, и, кроме того, ему трудно передвигаться по дому. У него распухают суставы на ногах, поэтому ему, точно страдающему подагрой старику, приходится их плотно перебинтовывать жгутами. Сегодня мистер Эйкли совсем плох, поэтому мне придется самому ухаживать за собой, но тем не менее он готов к разговору. Я найду его в кабинете слева от зала. В кабинете плотно затворены жалюзи. Дело в том, что в период обострения болезни мистеру Эйкли необходимо избегать солнечного света, на который его глаза очень болезненно реагируют.

Простившись со мной, Нойес сел в автомобиль и уехал, а я медленно зашагал по дорожке к дому. Дверь была приоткрыта, но прежде чем переступить порог, я внимательно огляделся, пытаюсь найти объяснение овладевшему мной ощущению какой-то неосязаемой странности этой фермы. Сарай и амбары выглядели как обычные сельские постройки, а в просторном открытом гараже я заметил старенький «форд» Эйкли. И тут я постиг секрет не покидавшего меня

странного ощущения. Все дело было в гнетущей тишине. Обыкновенно на ферме всегда присутствует какофония звуков, издаваемых живностью. А тут — ничего! Ни кудахтанья кур, ни лая собак. Эйкли писал, что у него есть несколько коров — ну, коровы могут быть сейчас на пастбище; собак он, должно быть, продал. Но полное отсутствие каких-либо живых звуков вообще — ни птичьих голосов, ни единого писка — было в высшей степени необычно.

Я не стал задерживаться на дорожке, решительно распахнул дверь и, войдя в дом, плотно закрыл ее за собой. Для этого мне пришлось сделать над собой усилие, и теперь, оказавшись в доме за закрытой дверью, я на секунду ощутил сильнейшее желание тотчас отсюда сбежать. Не то чтобы я заметил какие-то зловещие признаки; как раз наоборот, со вкусом обставленный элегантный холл в позднем колониальном стиле радовал глаз, и я не мог не поразиться утонченному вкусу его хозяина. И все же мне хотелось поскорее убраться отсюда из-за чего-то почти неосязаемого и неопределенного. Возможно, дело было в неприятном запахе, который сразу ударил мне в нос, — впрочем, характерный затхлый дух отнюдь не редкость даже в хорошо сохранившихся старых фермерских домах...

VII

Отгоняя от себя смутные сомнения и тревоги, я последовал наставлениям Нойеса, повернул из холла налево, толкнул белую дверь с медной задвижкой и, как и ожидалось, оказался в затемненной комнате. Здесь странный затхлый запах стал еще сильнее. Вместе с тем я ощутил некую легкую, едва ощутимую ритмичную вибрацию в воздухе. В первые мгновения я мало что смог разглядеть в сумраке кабинета: плотно закрытые жалюзи не пропускали дневного света. Но затем до моего слуха донеслись произнесенные свистящим шепотом извинения, и я различил большое кресло в даль-

нем, самом темном, углу комнаты Там, в полутьме, я увидел бледные пятна лица и рук и в следующее мгновение пересек комнату, чтобы поприветствовать человека, пытающегося со мной заговорить. Несмотря на сумрак, я все же признал в нем хозяина фермы. Ведь я долго разглядывал его фотографию и теперь, узнав обветренное, резко очерченное лицо и коротко стриженную седую бороду, отбросил все сомнения.

Но, взглядываясь в это лицо, я невольно опечалился, ибо, несомненно, так мог выглядеть лишь тяжело больной человек. И мне сразу подумалось, что это напряженно-неподвижное, застывшее выражение лица и немигающих, словно остекленевших глаз вызвано причиной куда более серьезной, нежели астма, а в следующий миг я понял, что это зримый результат его пугающих открытий, ужасное бремя которых он взвалил на себя. Не было ли одного этого достаточно, чтобы сломить любого человека — даже куда более молодого и сильного, чем этот смельчак, отважившийся заглянуть в бездну запретного знания? Боюсь, странное и внезапное избавление от страха снизошло на него слишком поздно и уже не могло спасти от сильнейшего нервного истощения. Его безжизненные руки, неподвижно лежащие на коленях, выглядели особенно жалкими. На нем был просторный домашний халат, а голову и верхнюю часть шеи скрывал ярко-желтый шарф или капюшон.

Эйкли продолжил разговор тем же свистящим шепотом, которым он меня приветствовал. Поначалу мне было трудно разобрать слова, тем более что седые усы прикрывали его едва шевелящиеся губы, а тембр его голоса почему-то пробудил во мне тревогу; но, сконцентрировав внимание, я скоро смог вполне сносно его понимать. Говор выдавал явно не деревенского жителя, а сама речь оказалась даже более рафинированной, нежели привычная мне манера его письма.

— Мистер Уилмарт, я полагаю? Простите, что не встаю. Я серьезно болен, о чем мистер Нойес, должно быть, вам со-

общил. Тем не менее я не мог отказать себе в удовольствии принять вас в этом доме. Как я писал в последнем письме, мне надо многое вам рассказать — но это произойдет завтра, когда мне станет немного лучше. Не могу выразить словами, как я счастлив видеть вас лично после нашей столь длительной переписки. Вы, конечно, привезли с собой всю подборку писем? И фотоснимки, и фонографическая запись тоже при вас? Нойес оставил ваш саквояж в холле — полагаю, вы его там заметили. Что же до сегодняшнего вечера, то, боюсь, вам придется поухаживать за собой самому. Вам отведена спальня наверху — прямо над этим кабинетом, — а рядом с ней дверь в ванную комнату. В столовой для вас накрыт стол и приготовлена трапеза — можете пройти туда, когда пожелаете, через дверь по правую руку от вас. Завтра я смогу лучше выполнять обязанности хозяина дома — но сейчас из-за слабости я совершенно беспомощен.

Чувствуйте себя как дома — и будьте добры, прежде чем отнести наверх свой саквояж, выложите письма, фотоснимки и фонографическую запись на стол в центре кабинета. Здесь мы и будем их обсуждать — вы можете видеть мой фонограф на комоде в углу. Спасибо за заботу, но вы ничем не сможете мне помочь. Я уже давно испытываю эти приступы. Просто наведайтесь ко мне ненадолго перед сном, а потом отправляйтесь к себе в спальню, когда сочтете нужным. Я же побуду здесь и, возможно, просплю в этом кресле всю ночь, как я это часто делаю. А утром мне значительно полегчает, и мы сможем целиком посвятить себя нашим делам. Вы осознаете, конечно, всю величайшую важность стоящей перед нами задачи. Нам, как мало кому из живших на Земле, откроются глубины времени и пространства, превосходящие все, что смогла охватить человеческая наука и философия.

Знаете ли вы, что Эйнштейн ошибся и некоторые объекты все же способны перемещаться со скоростью, превосходящей световую? С должной помощью я надеюсь сам пере-

мешаться вперед и вспять во времени и воочию увидеть Землю далекого прошлого и будущего. Вы не можете даже вообразить себе, какого высочайшего уровня развития достигла наука у этих существ! Нет ничего такого, чего бы они не могли сотворить с сознанием и физической оболочкой живых организмов. Я надеюсь посетить иные планеты и даже иные звезды и галактики. Первое мое путешествие будет на Юггот, ближайший к нам мир, полностью населенный внеземными существами. Это таинственная темная планета на самом дальнем краю Солнечной системы, до сих пор неизвестная нашим астрономам. Но я, должно быть, писал вам об этом. Когда придет время, тамошние обитатели направят на нас свои мыслепотоки и позволят землянам себя обнаружить — и, может быть, дадут возможность одному из своих земных союзников указать нашим ученым верный путь.

На Югготе множество огромных городов, где высятся гигантские башни с многослойными террасами, сложенными из черного камня вроде того, что я пытался вам переслать. Этот камень прибыл с Юггота. Солнце там светит не ярче, чем самая далекая звезда, но населяющим планету существам оно и не нужно. У них тонко развиты иные органы чувств, и в их огромных домах и храмах нет окон. Свет вреден для них, он слепит и пугает их, ибо в черном космосе по ту сторону времени и пространства, откуда они происходят, света нет вовсе. Путешествие на Юггот сведет с ума любого слабого человека — и все же я туда собираюсь. Там под таинственными циклопическими мостами — а их возвела некая древняя, вымершая и забытая раса задолго до того, как эти существа прибыли на Юггот из бездн космоса, — текут черные смоляные реки, и любой человек при виде их вдохновится подобно Данте или Эдгару По, если только ему удастся сохранить здоровый рассудок, дабы потом рассказать об увиденном.

Но запомните: этот темный мир грибных садов и безоконных городов вовсе не ужасен. Это нас он приводит в

ужас. Но наверное, столь же ужасным показался наш мир Пришлым, когда они впервые высадились здесь в стародавние времена. Знаете, ведь они появились на Земле задолго до конца легендарной эпохи Ктулху, и они помнят о затонувшем Р'льехе, когда он еще возвышался над водами. Они обитали также в недрах Земли — существует немало тайных входов в пещеры, о которых земляне ничего не знают; некоторые из них расположены здесь, в горах Вермонта, и там, на глубине, скрываются великие миры неизвестной жизни: голубоцветный К'н्यान, красноцветный Йот и мрачный бесцветный Н'кай. Именно из Н'кая пришел страшный Цатоггуа — то самое бесформенное жабовидное божество, что упоминается в Пнакотикских рукописях, и в «Некрономиконе», и в цикле мифов «Коммориом», который сохранил для нас верховный жрец Атлантиды Кларкаш-Тон.

Но мы поговорим об этом позже. Уже, должно быть, четыре или пять часов пополудни. Принесите мне вещи, которые вы привезли, перекусите, а потом возвращайтесь для продолжения нашей приятной беседы...

Я медленно повернулся и, выйдя из комнаты, в точности выполнил просьбу хозяина дома: принес саквояж, выложил из него на стол в центре кабинета все, что он хотел видеть, и, наконец, поднялся в отведенную мне комнату наверх. При воспоминаниях о свежем впечатлении клешни на дороге и о произнесенной шепотом странной тираде Эйкли, а также об упомянутом им неведомом мире грибовидной жизни — запретном Югготе — у меня по коже забегали мурашки. Болезнь Эйкли сильно меня расстроила, но, признаться, его свистящий шепот вызвал у меня скорее омерзение, чем жалость. И что это ему приспичило так бурно восторгаться Югготом и его мрачными тайнами!

Отведенная мне спальня оказалась довольно уютной и изысканно меблированной, причем здесь я не ощущал ни затхлого запаха, ни неприятной вибрации. Оставив свой сак-

вояж, я снова спустился вниз, зашел в кабинет Эйкли пожелать ему доброй ночи и отправился обедать. Столовая располагалась сразу за кабинетом, и я заметил, что кухня находится рядом за стенкой. На столе я обнаружил щедрое изобилие сэндвичей, пирог и сыр, а термос и стоящая рядом чашка с блюдцем свидетельствовали, что мой хозяин не забыл позаботиться о свежем кофе. Сытно поев, я налил себе полную чашку кофе, но с огорчением понял, что кулинарные навыки моего хозяина именно здесь обнаружили небольшой дефект. С первым же глотком я ощутил на языке неприятный едкий привкус, так что дальше дегустировать этот кофе не стал. За обедом я постоянно думал об Эйкли, безмолвно сидящем в огромном кресле в затемненной комнате по соседству.

В какой-то момент я даже встал и, войдя к нему, предложил разделить со мной трапезу, но в ответ он прошептал, что сейчас не в состоянии есть. Чуть попозже, перед сном, добавил Эйкли, он выпьет стакан солодового молока — это все, чем ему можно питаться сегодня. Покончив с едой, я вызвался сам убрать со стола и вымыть посуду на кухне и, воспользовавшись этой уловкой, тихонько вылил в раковину мерзкий кофе, который не пришелся мне по вкусу. Вернувшись в темный кабинет, я придвинул стул к креслу Эйкли и приготовился к продолжению разговора, на который, как я надеялся, он был настроен. Привезенные мною письма, восковой валик и фотоснимки все еще лежали на столе посреди кабинета, но обратиться к ним предстояло, видимо, позднее. И я быстро забыл даже о странном запахе и загадочной вибрации в воздухе.

Как я уже говорил, в ряде писем Эйкли — особенно во втором, наиболее подробном — было сказано немало такого, о чем я бы не посмел не то что рассуждать вслух, но даже пытаться выразить словами на бумаге. Это нежелание безмерно усилилось после новых откровений, озвученных свистящим шепотом из тьмы кабинета в фермерском доме среди

безлюдных гор. Я не могу ни намеком поведать о тех кошмарных космических тварях, которых описывал этот сиплый голос.

По его словам, он и раньше знал о многих страшных вещах, но то, что открылось ему после заключения пакта с Пришлыми, было непосильным бременем для здорового рассудка. Даже в тот момент я отказывался верить в его трактовку устройства предельной бесконечности, о пересечениях измерений, о местоположении известного нам пространственно-временного мира в бесконечной цепи взаимосвязанных космосов-атомов, составляющих некий суперкосмос искривлений, углов и элементов с материальной и полуматериальной электронной структурой.

Никогда еще находящийся в здравом уме человек не подбирался столь близко к сокровенной тайне основной сущности мироздания — никогда еще органический мозг не оказывался на грани полной аннигиляции в хаосе, чуждом всякой формы, энергии и симметрии. Я узнал, откуда происходит Ктулху и почему вспыхнули и угасли мириады звезд в космической истории. Я угадал — но лишь по косвенным намекам, которые даже моего собеседника заставили малодушно умолкнуть, — тайны Магеллановых Облаков и Шаровидной туманности и постиг мрачную правду, спрятанную под покровом древней аллегории о Дао. Мне доходчиво объяснили природу Доэлов и поведали о сущности (но не происхождении) Гончих Псов Тиндала. Легенды об Йиге, Повелителе Змей, утратили для меня метафорический смысл, и я содрогнулся от отвращения, услышав о чудовищном ядерном хаосе по ту сторону угловатого пространства, которое в «Некрономиконе» с милосердной уклончивостью именуется Азатотом. Я испытал подлинный шок, когда самые омерзительные чудовища запретного мифа предстали въяве, обретя конкретные имена, когда мне открылась суть ужасных и отвратительных явлений, превосходящая самые смелые догадки античных и средневековых мистиков. Неотвратимо я

был вынужден поверить, что самые первые сказители, нашептавшие эти проклятые предания, общались, подобно Эйкли, с Пришлыми и, возможно, сами посещали далекие космические области, как это теперь предложили сделать моему собеседнику.

Он рассказал мне про черный камень и про его значение и был несказанно рад, что посылка так и не дошла до меня. Мои догадки относительно иероглифов подтвердились! И все же Эйкли теперь вроде бы примирился с той дьявольской системой, которая ему открылась, и не только примирился, но и был готов проникнуть еще глубже в разверзшуюся перед ним чудовищную бездну. Я мог лишь гадать, с какими существами он побеседовал уже после написания последнего письма и многие ли из них имели человеческий облик, как тот их эмиссар, о котором он упоминал. У меня разболелась голова, и я строил всевозможные предположения, одно безумнее другого, об источнике витающего в воздухе неприятного запаха и еле заметных вибраций в темном кабинете.

Сгустилась ночь, и, вспоминая, что писал мне Эйкли о предшествующих ночах, я с содроганием подумал, что сегодня луна в небе не появится. И меня пугало уединенное расположение этого фермерского дома с подветренной стороны лесистого склона Темной горы, круто взбегавшего вверх к неприступному хребту. С позволения Эйкли я зажег небольшую масляную лампу, прикрутил фитиль и поставил ее на книжную полку около бюстика Мильтона, призрачно белющего во мраке. Но я сразу же пожалел об этом, так как мой хозяин заметно напрягся, и его недвижимое лицо и безвольно лежащие руки поразили меня неестественной, даже трупной, бледностью. Как я заметил, Эйкли едва мог двигаться, лишь время от времени кивал.

Выслушав его рассказ, я даже не мог вообразить, какие еще страшные тайны он приберегает на завтра; но в конце концов выяснилось, что темой следующей беседы станет его

путешествие на Юггот и в глубины космоса — как и мое возможное участие в нем. Полагаю, Эйкли позабавило, с каким нескрываемым ужасом я воспринял предложение сопровождать его в космическом путешествии, потому что, как только мое лицо исказила гримаса страха, его голова сильно затряслась — от беззвучного смеха? Потом он весьма учтиво заговорил о том, как люди могут совершить — а некоторые из них уже совершали — на первый взгляд невообразимые полеты сквозь межзвездную пустоту. По его словам выходило, что живые человеческие тела в действительности не совершали этих путешествий, но недюжинные способности Пришлых в области хирургии, биологии, химии и механики помогли им найти способ перемещать в космосе живой мозг человека независимо от остального тела.

Существует безвредный способ извлечения мозга и сохранения жизнедеятельности тела в его отсутствие. Чистое же мозговое вещество погружалось в периодически обновляемую жидкость, находящуюся в воздухонепроницаемом цилиндре из особого металла, добываемого на Югготе, а погруженные в эту жидкость электроды, подключенные к мозгу, соединялись с высокоточными инструментами, способными дублировать три основные функции мозговой деятельности: зрение, слух и речь. Для крылатых грибоподобных организмов переносить такие мозговые цилиндры через космическое пространство не составляло большого труда. На всех планетах, куда проникла их цивилизация, имелось достаточно функциональных аппаратов, которые можно было подключать к мозгу в цилиндре, и после некоторой наладки путешествующий интеллект обретал способность полноценного — хотя и бестелесного — существования, с применением органов чувств и речи, на каждом этапе путешествия в пространственно-временном континууме и даже за его пределами. Это было не сложнее перевозки воскового валика с записью и ее воспроизведения на любом фонографе нужной модели. В успехе предстоящей миссии Эйкли не сомневал-

ся и никакого страха не испытывал. Ведь подобные путешествия уже не раз блестяще осуществлялись в прошлом. И тут впервые за все время его бессильная рука приподнялась и указала на высокую полку у дальней стены кабинета. Там, аккуратно выстроившись в ряд, стоял десяток или больше цилиндров из неведомого мне металла — эти цилиндры были в фут высотой и чуть меньше фута в диаметре, а спереди, на выпуклой стороне, виднелись три розетки, расположенные в виде равнобедренного треугольника. От двух розеток одного из цилиндров тянулись провода к паре необычных приспособлений в глубине полки. Об их назначении можно было бы даже не спрашивать, и я поежился от охватившего меня озноба. Потом я заметил, что рука Эйкли указывает на ближний угол комнаты, где громоздились замысловатые приборы с проводами и штепселями, причем некоторые из них были точь-в-точь как два приспособления на книжной полке позади металлических цилиндров.

— Здесь вы видите четыре разновидности приборов, Уилмарт, — послышался шепот из тьмы. — Четыре разновидности — и каждый выполняет три функции, итого их тут двенадцать. Смотрите: в металлических цилиндрах на полке представлены четыре вида живых существ: три человеческие особи, шесть грибовидных, не способных телесно перемещаться в пространстве, два существа с Нептуна (Боже! Видели бы вы, в какой телесной оболочке обитает это существо на своей планете!), а остальные существа водятся в глубоких пещерах на удивительных темных звездах за пределами нашей галактики. В главной колонии в недрах Круглого холма можно найти такие же цилиндры и машины — при этом в цилиндрах содержится внекосмический мозг, обладающий неизвестными нам органами чувств — это мозг союзников и исследователей из самых далеких глубин Потустороннего, — а особые машины помогают им получать впечатления извне и выражать свои мысли различными способами, которые подходят одновременно и для них, и для осмыслен-

ного общения с разного рода слушателями. Круглый холм, как и большинство колоний этих существ в разных уголках мироздания, стал пристанищем для самых разнообразных видов. Но разумеется, лишь наиболее распространенные из них были переданы мне для проведения экспериментов.

Прошу вас, возьмите те три машины, на которые я указал, и поставьте их на стол. Вон ту высокую машину с двумя стеклянными линзами спереди... затем ящик с вакуумными трубками и звукоусиливающей коробкой, а теперь тот аппарат с металлическим диском сверху. Так... теперь цилиндр с наклеенной этикеткой В-шестьдесят семь. Встаньте на тот виндзорский стул, чтобы добраться до полки. Тяжело? Не бойтесь. Обратите внимание на номер В-шестьдесят семь. Ни в коем случае не прикасайтесь к новому сверкающему цилиндру с моим именем, подсоединенному к двум контрольным приборам. Поставьте цилиндр В-шестьдесят семь на стол рядом с машинами — и проследите, чтобы поворотные переключатели на всех трех машинах находились в крайнем левом положении.

А теперь присоедините провод от машины с линзами к верхней розетке на цилиндре — вон там! Подключите машину с трубкой к нижней левой розетке, а аппарат с диском — к верхней розетке. Теперь переведите все поворотные переключатели на верхней машине в крайнее правое положение — сначала на машине с линзой, затем на машине с диском и, наконец, на машине с трубкой. Правильно! Должен, кстати, предупредить вас, что это человеческое существо, подобное нам с вами. Завтра я покажу вам кое-что еще!

До сего дня не могу понять, почему я так покорно повиновался указаниям Эйкли и считал я его безумцем или нет. После всего случившегося до того вечера я, вероятно, был готов к чему угодно; но эта нелепая возня с машинами настолько смахивала на причуды обезумевшего изобретателя, что в моей душе вновь зародились сильные сомнения, кото-

рые не возникали даже во время нашей беседы. Все, о чем разглагольствовал этот шептун, выходило за грань человеческого разума — хотя разве иные вещи, еще дальше выходящие за эту грань, не кажутся менее нелепыми только по причине отсутствия конкретных осязаемых доказательств их существования?

Пока эти хаотичные мысли роились в моем мозгу, я обратил внимание на странное урчание и поскрипывание трех машин, которые я подключил к металлическому цилиндру, — но вскоре урчание и поскрипывание стихло и машины стали работать совершенно бесшумно. И что же должно произойти? Услышу ли я человеческий голос? И если так, то как я определю, что это не хитроумный трюк со встроенным радиоприемником и не голос спрятавшегося где-то человека, который тайком наблюдает за всем происходящим в кабинете? Даже и теперь я не могу сказать с полной уверенностью, что за голос я слышал и на самом ли деле имел место феномен, свидетелем которого я стал... Впрочем, нечто и впрямь имело место.

Простору говоря, машина с трубками и со звукоусилителем заговорила, причем столь осмысленно, что у меня не было ни малейшего сомнения, что говорящий присутствует здесь и видит нас. Голос был громкий, монотонный, безжизненный и, судя по тембру и интонациям, абсолютно механический. Он скрежетал, с мертвенной точностью и неспешностью выбирая слова, на одной ноте, не выражая никаких эмоций.

— Мистер Уилмарт, надеюсь, я не испугал вас. Я такой же человек, как и вы, хотя мое тело в настоящий момент пребывает в безопасном месте и получает надлежащие питательные вещества для поддержания его жизнедеятельности в недрах Круглого холма, в полутора милях к востоку отсюда. Я же нахожусь с вами в этой комнате — мой мозг заключен в цилиндре, и я могу видеть, слышать, говорить с помощью электронных вибраторов. Через неделю я отправлюсь

в космическое путешествие, как уже бывало не раз в прошлом, и я надеюсь иметь удовольствие совершить его в обществе мистера Эйкли. Буду рад, если и вы присоединитесь к нам, ибо я знаю вас и вашу репутацию, и я внимательно следил за вашей перепиской с нашим общим другом. Как вы, наверное, уже поняли, я один из тех людей, кто заключил союз с внеземными существами, прибывшими на нашу планету. Сначала я встретил их в Гималаях и оказал им разнообразную помощь. В знак благодарности они даровали мне возможность познать то, что ведомо мало кому из людей.

Вы только представьте себе такое — побывать на тридцати семи небесных телах: планетах, темных звездах и совсем неописуемых объектах, включая восемь космических тел за пределами нашей галактики и два — за пределами искривленного пространственно-временного континуума! И все эти путешествия не нанесли мне ни малейшего вреда. Мой мозг был изъят из моего тела путем клеточной фрагментации, столь тонкой, что было бы несправедливо назвать эту виртуозную операцию хирургическим вмешательством. Пришлые существа обладают методами, благодаря которым такие изъятия просты и почти обыденны. И ваше тело, когда мозг изъят из него, не подвержено процессу старения. Должен сказать, что мозг остается практически бессмертным, сохраняя способность к восприятию окружающего мира посредством механических органов чувств и получая необходимую дозу питательных веществ при каждом обновлении жидкости, в которой он хранится.

Я искренне надеюсь, что вы решитесь отправиться в путешествие вместе со мной и мистером Эйкли. Пришельцы стремятся ближе познакомиться с учеными вроде вас и готовы показать им великие бездны, о которых многие из нас могут лишь грезить в своем неведении. Встреча с ними поначалу может вас озадачить, но я уверен, вы сумеете преодолеть все предубеждения. Думаю, к нам присоединится и мистер Нойес — тот самый, кто привез вас сюда на автомобиле.

Уже многие годы он — один из нас. Я полагаю, вы узнали его голос — это он звучит на фонографической записи, которую вам прислал мистер Эйкли.

Я вздрогнул — и говорящий осекся на мгновение, а затем продолжил:

— Итак, мистер Уилмарт, решение за вами. Мне остается лишь добавить, что такой человек, как вы, с вашей страстью ко всему необычному и с вашей любовью к фольклору, не должен упустить столь редкую возможность. Вам нечего бояться. Все перемещения совершенно безболезненны, а механические органы чувств имеют свои преимущества. При отключении электродов вы просто уснете и будете видеть невероятно яркие и фантастические сны... А теперь, если не возражаете, мы прервем нашу беседу до завтра. Доброй ночи — просто поверните все выключатели в крайнее левое положение, — вы можете проделать это в любом порядке — и не забудьте: последней надо выключить машину с линзой. Доброй ночи, мистер Эйкли, обращайтесь с нашим гостем хорошо! Ну что, вы готовы повернуть выключатели?

На том наше общение закончилось. Я тупо повиновался и повернул все три выключателя. Тем не менее этот странный монолог заставил меня усомниться в реальности происшедшего. Моя голова все еще шла кругом, когда я услышал шепот Эйкли, просившего меня оставить всю аппаратуру на столе. Он никак не прокомментировал то, что произошло, но, по правде сказать, мое воспаленное сознание вряд ли было способно воспринять какой-либо здравый комментарий. Шепотом он попросил меня забрать с собой в спальню масляную лампу, из чего я заключил, что ему хочется побыть в темноте. Наверное, для него настала пора отдыхать, так как его пространная речь, с которой он обратился ко мне днем и вечером, могла бы утомить даже физически крепкого человека. Все еще пребывая в сильном волнении, я пожелал моему хозяину доброй ночи и поднялся наверх с лампой, хотя с собой у меня был мощный карманный фонарик.

Я был рад покинуть наконец кабинет Эйкли, где витал странный затхлый запах и ощущалась легкая вибрация, но, разумеется, не мог избавиться ни от обуявшего меня ужаса, ни от чувства скрытой опасности и чудовищной ненормальности происходящего, когда думал о фермерском доме и о потусторонних силах, с которыми мне пришлось здесь столкнуться. Лесистый склон Темной горы, который почти вплотную подступал к затерянному в безлюдной глухомани Вермонта дому, загадочные следы на дороге, неподвижный больной, шепчущий из тьмы, сатанинские цилиндры и машины и, самое жуткое, приглашение подвергнуться уму непостижимой хирургической операции и отправиться в уму непостижимое путешествие — все эти необычные события столь внезапно обрушились на меня, буквально парализовав мою волю и почти что подорвав мои физические силы.

Особенно сильным потрясением для меня стало известие, что мой провожатый Нойес был участником омерзительного древнего обряда, записанного на восковом валике, хотя я и раньше отметил смутно знакомые нотки в его голосе. Другое сильное потрясение я испытал, проанализировав свое отношение к Эйкли. Ибо если раньше, ведя с ним интенсивную переписку, я инстинктивно испытывал к нему симпатию, то теперь она превратилась в явную неприязнь. Его болезнь должна была бы вызвать во мне жалость; вместо того, она вызвала у меня отвращение. Он был так неподвижен и пассивен, так похож на живой труп — и его нескончаемый шепот был таким мерзостным и... нечеловеческим!

Мне пришло в голову, что этот шепот не похож ни на один из скрипучих сиплых голосов, какие мне доводилось слышать в своей жизни, и что, несмотря на странную неподвижность его губ, прикрытых густыми усами, в шепоте угадывалась скрытая сила и энергия, едва ли присущая жалкому хрипу астматика. Я слышал все им сказанное, стоя в дальнем углу кабинета, и пару раз ловил себя на мысли, что этот тихий голос — признак отнюдь не бессилия, а, напро-

тив, намеренно сдерживаемой силы! Но для чего он старался приглушить голос — это так и осталось для меня загадкой! С самого первого момента, едва услышав шепот из тьмы, его звучание вызвало в моей душе некую необъяснимую тревогу. И теперь, пытаясь вновь все осмыслить, я понял, что меня подсознательно встревожило *знакомое звучание* этого голоса — то же самое показалось мне таким знакомым и смутно зловещим в голосе Нойеса. Но где и когда я встречался с обладателем этого знакомого шепота, я вспомнить не смог.

Одно для меня было несомненно: я проведу здесь только одну ночь, не более. Мой научный азарт улетучился под влиянием страха и отвращения, и меня обуревало лишь одно желание — поскорее высвободиться из жутких силков сверхъестественных откровений. Я узнал достаточно. Возможно, так оно и есть и некая необъяснимая космическая связь существует — но нормальный человек не должен иметь с этим ничего общего.

Богомерзкие силы, казалось, опутали меня своей паутиной и мертвой хваткой вцепились в мой разум. О том, чтобы заснуть в этом доме, решил я, даже думать не стоит; поэтому я просто затушил пламя лампы и, не раздеваясь, упал на кровать. Конечно, это было глупо, но я приготовился к любому развитию событий. Я сжал в правой руке револьвер, который захватил с собой из дома, а в левой — карманный фонарик. Снизу не доносилось ни звука, и я мысленно представил себе Эйкли, сидящего во тьме неподвижно, точно труп.

Где-то в глубине дома тикали часы, и я, сам не зная почему, благодарно вслушивался в этот вполне обычный звук. Он, правда, напомнил мне еще об одной тревожной особенности этой фермы — полного отсутствия здесь живности, столь привычной для сельской местности. И тут я осознал, что не слышу даже ночных звуков диких лесных обитателей. Если не считать зловещего журчания невидимых лесных вод, эта гробовая тишина казалась ненормальной — как в

межпланетном пространстве, — и я стал гадать, под властью какого звезднорожденного неосязаемого заклатья находится это место. Я вспомнил, что, если верить старинным преданиям, собаки и другие животные на дух не выносят Пришлых, и задумался, что бы могли означать те следы на дороге.

VIII

Только не спрашивайте меня, сколько длился внезапно сморивший меня сон и много ли из того, о чем пойдет речь дальше, мне приснилось. Если я вам скажу, что в какой-то момент я пробудился и услышал и увидел нечто, вы сочтете, что я и не просыпался вовсе и что все это было сном равно до того момента, как я выскочил из дома, бросился к сараю, где ранее заметил старенький «форд», и помчался на старом драндулете по лабиринтам лесных дорог среди призрачных гор, пока наконец в финале безумной многочасовой гонки не попал в деревушку, оказавшуюся Тауншендом.

Вы можете, конечно, отмахнуться от всех подробностей в моем рассказе и объявить, что и фотоснимки, и голоса на фонографическом валике, и голос из металлического цилиндра и звуковоспроизводящей машины, как и прочие вещественные доказательства, были лишь элементами грандиозной мистификации, которой подверг меня исчезнувший Генри Эйкли. Вы можете даже предположить, что он подговорил нескольких эксцентричных знакомых принять участие в этом дурацком, но очень ловко разыгранном надувательстве — что он сам устроил похищение посылки из поезда в Кине и сам попросил Нойеса сделать ту пугающую запись на восковом валике. Но странно, однако, что Нойеса так до сих пор и не нашли и что его никто никогда не видел в деревнях по соседству с фермой Эйкли, притом что он, должно быть, частенько наезжал в те места. Жаль, я не удосужился запомнить номер его автомобиля — хотя, с другой стороны, может быть, оно и к лучшему. Ибо независимо от того, что вы ду-

масте обо всем этом, и независимо от того, что я сам об этом думаю, мне точно известно, что мерзкие внеземные силы обитают в малоизведанных вермонтских горах и эти силы имеют своих шпионов и эмиссаров в человеческом мире. И я прошу лишь об одном: в будущем держаться как можно дальше и от этих зловредных сил, и от их эмиссаров.

Выслушав мой взволнованный рассказ о происшествии, местный шериф направил отряд вооруженных людей на ферму Эйкли, но того уже и след простыл. Его поношенный домашний халат, желтый шарф и бинты для ног валялись на полу в кабинете рядом с креслом в углу, и никто не мог сказать, пропала ли вместе с ним еще какая-то его одежда. Ни собак, ни живности на ферме и правда не обнаружили, зато нашли на стенах дырки от пуль — снаружи и внутри; но, помимо этого, ничего необычного не выявилось. Ни металлических цилиндров, ни диковинных машин, ни предметов, которые я привез в саквояже...Пропал мерзкий запах, пропала вибрация, исчезли следы на дороге и те три загадочных предмета, которые привлекли мое внимание напоследок.

После бегства я провел в Братлборо целую неделю, опрашивая местных жителей, знавших Эйкли, и в результате убедился в том, что все приключившееся со мной — не сон и не обман. Эйкли на самом деле многократно покупал собак, ружейные патроны и химикалии, кто-то действительно многократно перерезал ему телефонные провода; при этом все знавшие его — в том числе и его сын в Калифорнии — показали, что он часто упоминал о своих странных исследованиях. Образованная часть местного общества считала его безумцем и без колебаний объявляла все так называемые вещественные доказательства мистификацией, результатом его безумных проделок, в которых, возможно, участвовали его эксцентричные подручные. Зато невежественная деревенщина подтверждала все его заявления до последней мелочи. Эйкли показывал кое-кому из них и фотоснимки, и черный камень, а также проигрывал им жуткие записи; и

все уверяли, что следы клешней на дороге и жужжащий голос один в один похожи на описания этой дьявольщины в старинных поверьях. Старожилы также говорили, что появление подозрительных фигур и голосов вблизи фермы Эйкли участилось после того, как он нашел черный камень, и что в последнее время его ферму обходили стороной все, кроме почтальона и горстки самых отчаянных смельчаков. Всем было известно, что и на Темной горе, и на Круглом холме частенько появляются привидения, но я не мог найти никого, кто бы исследовал те места. Случаи регулярного исчезновения местных жителей за всю историю округа тоже нашли подтверждение, и в число пропавших теперь включали Уолтера Брауна, чье имя упоминалось в письмах Эйкли. Я даже встретил одного фермера, который божился, что лично видел в Вест-ривер во время наводнения тело странного очертания, но его рассказ был слишком сбивчив, чтобы счесть его ценным свидетельством.

Покинув Братлборо, я твердо решил никогда не возвращаться в Вермонт, и я абсолютно уверен, что сдержу данное себе обещание. Эти безлюдные лесистые горы и впрямь являются форпостом ужасающей космической расы, в чем я все меньше сомневаюсь с тех пор, как прочитал об открытии за Нептуном новой, девятой планеты Солнечной системы — в точности, как то и предсказывали жуткие твари. Астрономы, сами о том не подозревая, с пугающей провидческой точностью называли планету Плутон. Я же, безусловно, считаю, что это и есть мрачный Юггот, и с содроганием размышляю о том, почему чудовищные пришельцы пожелаали, чтобы их мир был обнаружен землянами именно сейчас. Я тщетно пытаюсь убедить себя в том, что эти демонические создания не изберут новую политику, вредоносную для Земли и ее обитателей.

Но я должен еще поведать, чем завершилась та ужасная ночь на ферме. Как я уже сказал, в конце концов меня сморил беспокойный сон, и в обрывках сновидений мне приви-

делись страшные картины. Что меня разбудило, я так и не понял, но я точно помню момент своего пробуждения. И помню свое первое смутное впечатление: скрип половиц — в холле за дверью кто-то шел крадучись, а потом я услышал приглушенное звяканье дверной щеколды, которую кто-то неловко пытался открыть. Но эти звуки почти сразу прекратились; и затем я услышал — это я помню совершенно четко — голоса из кабинета на первом этаже. Мне почудилось, что я различаю голоса нескольких собеседников, и подумал, что там о чем-то спорят.

Вслушиваясь в голоса в течение несколько секунд, я окончательно проснулся: при таких звуках было просто смешно думать о сне. Тональности голосов заметным образом различались, и всякий, кто хоть раз слышал ту мерзейшую фонографическую запись, безошибочно смог бы определить природу по крайней мере двух из этих голосов. Ибо, сколь бы пугающей ни была моя догадка, я понял, что нахожусь под одной крышей с безымянными тварями из космических бездн: два собеседника говорили тем самым мерзким жужжащим шепотом, который Пришлые использовали для речевого контакта с людьми. И хотя эти два голоса заметно отличались — и по тембру, и по темпу, и по выговору, — оба принадлежали одному и тому же окаянному виду.

Третий же голос совершенно точно звучал из речевой машины, соединенной с изъятым мозгом в металлическом цилиндре. В этом у меня не было ни малейшего сомнения, ибо этот скрежещающий безжизненный голос, громко произносивший слова с монотонной точностью и неторопливостью, забыть было невозможно. В первый момент я даже не задумался, не является ли этот механический скрежет голосом того самого разума, который вчера вечером вел со мной беседу, а позднее пришел к выводу, что любой мозг способен подавать точно такие же голосовые сигналы, если его соединить с аналогичным механическим источником речи, — не считая, конечно, различий в языке, ритме, темпе и дикции.

Наконец, последними участниками этого сверхъестественного диспута были, несомненно, два человека — один из них, судя по грубоватому выговору, был неизвестный мне деревенский житель, а в другом, обладателе приятного бостонского акцента, я сразу узнал своего загадочного провожатого Нойеса.

Сияясь разобрать слова, приглушаемые старыми толстыми половицами, я, помимо них, отчетливо слышал шарканье, топот и скрежет и не мог избавиться от ощущения, что в кабинете внизу полным-полно живых существ — гораздо больше, чем голосов, которые я смог различить. В точности описать это шарканье и скрежет я вряд ли смогу, ибо мне просто не с чем их сравнить. Но, судя по звукам, в кабинете двигались разумные существа; звук их шагов слегка напоминал легкий цокот, как бывает при соприкосновении с твердой поверхностью изделий из кости или твердой резины. Или, если воспользоваться более наглядным, хотя и менее точным сравнением, как если бы люди, обутые в грубые деревянные башмаки, шаркали по гладкому паркету. Я даже не мог мысленно себе представить, как выглядят существа, производящие при движении столь диковинные звуки.

Вскоре я понял, что уловить сколько-нибудь связный разговор мне не удастся. Отдельные слова — в том числе имя Эйкли и мое собственное — то и дело всплывали в потоке речи, особенно четко их произносила речевая машина; но их истинное значение терялось в отсутствие внятного контекста. Я и сейчас, задним числом, не берусь судить о содержании того разговора, а тогда его устрашающий эффект был результатом скорее моих неосознанных предположений, нежели ясного понимания. Я не сомневался, что внизу подо мной собрался ужасный, противоестественный конклав чудовищ, но какова была кошмарная цель сего собрания, я понятия не имел. Мне стало даже любопытно: почему меня сразу охватило ощущение злонамеренности этого сборища, несмотря на все заверения Эйкли в дружелюбии Пришлых.

Терпеливо вслушиваясь в приглушенные речи, я начал наконец различать отдельные голоса, хотя и не мог уловить смысла произносимых слов. Мне показалось, что я даже угадываю некоторые характерные эмоции, сопровождающие те или иные реплики. Один из жужжащих голосов, например, говорил с очевидными властными интонациями, в то время как механический голос, несмотря на его искусственную громкость и размеренность, выдавал подчиненное положение его носителя и временами звучал даже просительно. А в голосе Нойеса слышались примирительные интонации. Интонации других голосов я и не пытаюсь как-то интерпретировать. Я не слышал знакомого шепота Эйкли, хотя понимал, что столь слабый звук вряд ли проникнет сквозь толстые половицы моей спальни.

Все же постараюсь воспроизвести несколько бессвязных фрагментов фраз и иных звуков и, насколько смогу, соотнесу их с разными собеседниками. Первые внятные фразы, которые я смог уловить, звучали из речевой машины:

(Речевая машина)

«...и возложил на себя... отослал назад письма и запись... этому конец... захвачен... видеть и слышать... проклятие... безличная сила, в конце концов... новый сверкающий цилиндр... Великий Бог...»

(Первый жужжащий голос)

«...раз мы сделали остановку... маленький человеческий... Эйкли... мозг... говорит...»

(Второй жужжащий голос)

«Ньярлатхотеп... Уилмарт... Записи и письма... дешевое надувательство...»

(Нойес)

«...(непроизносимое слово или имя, что-то вроде «Н'гах-Ктун») безвредный... мир... пара недель... слишком театраль-но... говорил же вам об этом раньше...»

(Первый жужжащий голос)

*«...нет смысла... первоначальный план... последствия...
Нойес может наблюдать за Круглым холмом... Новый цилиндр... Автомобиль Нойеса...»*

(Нойес)

«...что ж... к вашим услугам... вот сюда... остальные... на место...»

(Несколько голосов говорят одновременно, неразборчиво)

(Слышен топот многих ног, в том числе странное шарканье или цокот)

(Непонятные хлопки)

(Громкий звук автомобильного двигателя, постепенно затихающего вдали)

(Тишина)

Вот, собственно, конспект того, что я смог расслышать, когда, затаив дыхание, лежал на кровати в зловещем фермерском доме среди демонических гор и холмов, — полностью одетый, с револьвером в правой руке и карманным фонариком в левой. Я, как уже было сказано, окончательно проснулся, но меня словно поразил непонятный паралич, заставив лежать без движения до тех самых пор, пока не стихли последние звуки. Где-то далеко внизу мерно тикали старые коннектикутские часы. И тут до моего слуха донесся прерывистый храп спящего. Это, должно быть, задремал Эйкли, утомленный странным консилиумом, — что ж, его можно было понять.

Я же не знал, что думать и что предпринять. В конце концов, разве я услышал нечто такое, к чему не был уже подготовлен? Разве я не знал, что безымянные Пришлые теперь преспокойно могли разгуливать по фермерскому дому? Хотя, разумеется, Эйкли не мог не удивить их непрошенный визит... И все же что-то в подслушанном бессвязном разговоре меня безмерно напугало, в очередной раз породив жуткие сомнения, — и мне оставалось лишь молить Господа, чтобы я пробудился и понял, что все это было дурным сном.

Думаю, мое подсознательное постигло нечто, чего еще не уразумел мой рассудок. А что Эйкли? Разве он не был моим другом, разве он бы не возмутился, случись со мной что-то ужасное? И его мирное похрапывание словно высмеивало все страхи, внезапно охватившие меня с новой силой.

Возможно ли, что Эйкли стал пассивным инструментом в чьем-то зловещем замысле и его заставили заманить меня в горы вместе со всеми письмами, фотографиями и фонографической записью? И не собирались ли эти твари уничтожить нас обоих, ибо мы узнали о них слишком много? И вновь я задумался о до странности резкой и неестественной смене настроения Эйкли, произошедшей между его предпоследним и самым последним письмом. Я интуитивно чувствовал: что-то тут не так... Все не то, чем кажется... И этот едкий кофе, который я вылил в раковину, — уж не пыталось ли неведомое существо отравить меня? Надо обсудить это с Эйкли тотчас и помочь ему вновь взглянуть на все происходящее трезвым взглядом. Твари затуманили ему голову своими обещаниями космических открытий, но теперь-то он должен прислушаться к голосу разума. Нам нужно выпутаться из этой истории, пока еще не поздно. Если ему не достанет силы воли обрести свободу, я ему помогу. А если мне не удастся убедить его бежать отсюда, то я, по крайней мере, смогу сам спастись бегством. Полагаю, он не откажется одолжить мне свой «форд», который я оставлю потом у кого-нибудь в гараже в Братлборо. Автомобиль стоял в сарае, и теперь, когда все опасности миновали, дверь сарая была распахнута настежь, оставалось надеяться, что машина исправна. Мимолетная неприязнь к Эйкли, которую я ощутил во время нашего общения накануне вечером, уже прошла. Бедняга оказался в том же положении, что и я, поэтому нам следовало держаться вместе. Учитывая, что его беспомощность вызвана болезнью, мне не хотелось будить его в столь поздний час, хотя я понимал, что сделать это придется. В сложившихся обстоятельствах я просто не мог себе позволить оставаться в доме до утра.

Наконец я был готов к решительным действиям. Прежде чем встать с кровати, я несколько раз потянулся, чтобы восстановить подвижность мышц. Стараясь действовать с осторожностью, скорее инстинктивной, нежели осознанной, я надел шляпу, подхватил саквояж и тихонько спустился по лестнице, освещая себе путь фонариком. По-прежнему находясь в сильнейшем нервном напряжении, я не выпускал из правой руки револьвер и ухитрился зажать левой и фонарик, и ручку саквояжа. Зачем я предпринял все эти предосторожности, я и сам не мог понять, так как даже если сейчас я и мог кого-то разбудить в доме, то только его хозяина.

Прокравшись на цыпочках по скрипучим ступеням в холл, я еще отчетливее услышал храп спящего и подумал, что он, вероятно, в комнате слева — в гостиной, куда я еще не заходил. Справа от меня была крошечная тьма кабинета, откуда ранее доносились разбудившие меня голоса. Отворив незапертую дверь гостиной, я осветил фонариком туда, откуда доносился храп, и луч света вырвал из мрака лицо спящего. В следующую же секунду я поспешно отвел фонарик в сторону и медленно, по-кошачьи ретировался назад в холл, — причем теперь меры предосторожности я предпринял по велению не только рассудка, но и инстинкта. Ибо на кушетке спал вовсе не Эйкли, а мой старый знакомец Нойес.

Я терялся в догадках, что бы все это значило. Но здравый смысл мне подсказывал, что самое правильное — как можно больше разузнать самому, прежде чем вызвать подмогу. Вернувшись в холл, я бесшумно затворил и запер дверь в гостиную, чтобы уж наверняка ничем не потревожить сон Нойеса. После этого я осторожно вошел в кабинет, где ожидал увидеть Эйкли — спящим или бодрствующим — в угловом кресле, его излюбленном месте отдыха. Покуда я перемещался по кабинету, луч фонарика осветил большой круглый стол с дьявольским цилиндром, присоединенным

к зрительной и слуховой приставкам и к речевой машине, готовой к работе. По моему разумению, это был извлеченный из тела мозг, который участвовал в ужасном собрании; на какую-то секунду у меня возникло извращенное желание запустить речевую машину и посмотреть, что она мне скажет.

Мозг, думал я, уже осознал мое присутствие, потому что зрительные и слуховые приставки не могли не зафиксировать свет моего фонарика и легкое поскрипывание половиц под моими ногами. Но я так и не осмелился возиться с мерзким приспособлением. Я только заметил на столе новый сверкающий цилиндр с наклейкой, на которой было написано имя Эйкли, — тот самый, который я заметил на полке накануне вечером и к которому хозяин дома попросил меня не прикасаться. Сейчас, думая об этом, могу лишь посетовать на свою робость и пожалеть, что не отважился заставить аппарат заговорить. Одному Богу ведомо, на какие тайны он мог пролить свет, какие ужасные сомнения рассеять! Но с другой стороны, может быть, в том и состояло милосердие Божье, что я к нему не притронулся.

Я отвел луч фонарика от стола и направил его в угол, где, как я думал, сидит Эйкли, но, к своему изумлению, обнаружил, что старое кресло пусто — там не было никого, ни спящего, ни бодрствующего. Знакомый мне поношенный халат валялся на кресле, чуть свешиваясь на пол, а рядом на полу лежал желтый шарф и поразившие меня своими размерами жгуты для ног. Я замер, раздумывая, куда пропал Эйкли и почему он снял облачение больного, и поймал себя на том, что больше не ощущаю в помещении ни мерзкого запаха, ни легкой вибрации. Но что же было их причиной? И тут мне пришло в голову, что и то и другое ощущалось лишь в присутствии Эйкли. Причем сильнее всего — около кресла, где он сидел, а вот в других комнатах и в коридоре и запах, и вибрация пропадали полностью. Я обвел лучом фонарика стены темного кабинета, пытаясь найти объяснение столь разительной перемене.

О господи! Надо было тихо уйти отсюда до того, как луч фонарика вновь упал на пустое кресло! Но как оказалось, мне суждено было покинуть этот дом не тихо, а с воплем ужаса, который, наверное, потревожил, хотя и не разбудил, спящего стража в комнате напротив. Мой вопль и мерный храп Нойеса — вот последние звуки, услышанные мною в ужасном фермерском доме под поросшей темным лесом призрачной горой, в этом обиталище транскосмического кошмара среди уединенных зеленых холмов и угрожающе бормочущих ручьев зачарованного деревенского захолустья.

Удивительно, что во время беспорядочного бегства я не выронил ни фонарик, ни саквояж, ни револьвер. Я умудрился выбежать из кабинета и из дома, не издав ни единого звука, а потом благополучно забросил вещи в старый «форд», стоящий в сарае, сел за руль, завел мотор и помчался под покровом безлунной ночи в поисках безопасного места. Вся последующая поездка была как пьяный бред сродни иным рассказам Эдгара По, или стихам Рембо, или гравюрам Доре, но, как бы то ни было, я добрался до Тауншенда. Вот и все. И если после всех этих приключений я сохранил душевное здоровье, считайте, что мне крупно повезло. Иногда меня посещают страхи относительного того, что ждет всех нас в будущем, особенно если учесть недавнее открытие планеты Плутон.

Итак, обследовав с помощью фонарика стены кабинета, я направил луч на пустое кресло. И только тогда я впервые увидел там предметы, которые ранее не заметил из-за того, что они затерялись в складках поношенного халата. Это были три предмета, которые не обнаружили полицейские дознаватели, позже побывавшие в этом доме. Как я сказал в самом начале, на первый взгляд в них не было ничего ужасного. Ужас заключался в выводах, которые напрашивались при виде этих предметов. Даже сегодня я переживаю мгновения полусознанных сомнений — мгновения, когда я склонен согласиться со скептическими оценками тех, кто при-

писывает все случившееся со мной сновидениям, распатанным нервам или галлюцинациям.

Эти три предмета оказались дьявольски хитроумными конструкциями, снабженными тонкими металлическими зажимами, с помощью которых они, по-видимому, крепились к органическим устройствам, о природе которых я даже не хочу задумываться. Я лишь надеюсь — искренне надеюсь, — что, вопреки моим сокровенным страхам, это были восковые изделия работы изощренного мастера.

Великий Боже! Этот шепчущий из тьмы, с его омерзительным запахом и вибрациями! Чародей, эмиссар, двойник, Пришлый... Это жуткое приглушенное жужжание... выходит, он все время находился в том новеньком сверкающем цилиндре на полке... бедняга!

«Недюжинные способности в области хирургии, биологии, химии и механики...»

Ибо в кресле я увидел микроскопически точно, до последней мельчайшей детали, воспроизведенное подобие — или подлинник — лица и кистей рук Генри Уэнтворта Эйкли.

ТВАРЬ НА ПОРОГЕ

I

Верно, что я всадил шесть пуль в голову своему лучшему другу, но все же надеюсь настоящим заявлением доказать, что я не убийца. Всякий вправе назвать меня безумным, куда более безумным, нежели тот, кого я убил в палате Аркхемской лечебницы. Но по прошествии времени мои читатели взвесят каждый из приведенных мною доводов, соотнесут их с известными фактами и зададутся вопросом: а мог ли я полагать иначе после того, как перед моими глазами предстала кульминация всего этого кошмара — та тварь на пороге.

До той жуткой встречи и я также не мог узреть ничего иного, кроме безумия, в невероятных историях, коих я оказывался участником. Даже и теперь я спрашиваю себя, не обманулся ли я, и точно ли я сам не безумен? Не знаю... но найдется немало охотников рассказать об Эдварде и Асенат Дерби поразительные вещи, и даже невозмутимые полицейские уже довольно поломали голову над объяснением того последнего ужасного визита. Они выдвинули весьма шаткую гипотезу о том, будто эта страшная выходка стала проявлением мести или угрозы изгнанных слуг, хотя в глубине-то души они догадывались, что истина куда более ужасна и невероятна.

Итак, я утверждаю, что Эдварда Дерби я не убивал. Скорее я отомстил за него и тем самым очистил землю от исчадия зла, которое, оставшись невредимым, могло бы наслать неисчислимые ужасы на человечество. Рядом с маршрутами

наших дневных прогулок есть черные зоны мира теней, откуда время от времени прорываются на свет посланники кошмара. Когда же это происходит, посвященный человек должен нанести разящий удар прежде, чем будут иметь место ужасные последствия.

Я был знаком с Эдвардом Пикманом Дерби всю свою жизнь. На восемь лет моложе меня, он был настолько одарен от природы и преуспел в своем развитии, что с той поры, как мне сравнялось шестнадцать, а ему восемь, у нас обнаружилось немало общего. Это был феноменальный ребенок-ученый, каких мне в моей жизни не доводилось встречать, и уже в семь лет он сочинял стихи мрачного, фантастического, почти пугающего свойства, которые безмерно поражали его наставников. Возможно, домашнее образование и уединение обусловили его преждевременный расцвет. Единственный ребенок в семье, он был чрезвычайно слаб физически, чем печалил своих заботливых родителей, и они держали сына в непосредственной близости к себе. Мальчику не позволяли выходить из дому даже с нянькой, и ему редко выдавалась возможность поиграть без присмотра с прочими детьми. Все это, без сомнения, стало причиной его погружения в странную потаенную жизнь души, и для него игра воображения стала единственным способом проявить свободу духа.

Как бы там ни было, его отроческие познания были не по годам обширными и имели характер весьма причудливый, а его детские сочинения поражали мое воображение, невзирая на то что я был много старше его. Примерно в то время у меня проявилась тяга к искусству гротескного свойства, и я обнаружил в этом ребенке редкую родственную душу. Совместную нашу любовь к миру теней и чудес, вне всякого сомнения, выпестовал древний и ветхий, исподволь пугающий городок, в котором мы жили, — проклятый ведьмами, овейный старинными легендами Аркхем, чьи нахохлившиеся одряхлевшие двускатные крыши и выщербленные георгианские балюстрады по соседству с Мискатоникским университетом сонно предавались воспоминаниям о протекших веках.

Время шло, я увлекся архитектурой и оставил свой замысел проиллюстрировать книгу демонических стихов Эдварда, впрочем, наша дружба оттого не пострадала и не стала слабее. Необычный гений молодого Дерби получил удивительное развитие, и на восемнадцатом году жизни он выпустил сборник макабрической лирики под заглавием «Азатот и прочие ужасы», произведший сенсацию. Он состоял в оживленной переписке с печально известным поэтом-бодлеристом Джастином Джеффри, тем самым, кто написал «Людей монолита» и в 1926 году умер, исходя на крик, в сумасшедшем доме, незадолго до того посетив какую-то зловещую и пользующуюся дурной славой деревушку в Венгрии.

В чисто практических же делах и по части самостоятельности, однако, молодой Дерби был совершенно беспомощен, вследствие своего домашнего заточения. Здоровье его улучшилось, но в нем глубоко прижилась с детских лет взлелеянная чересчур заботливыми родителями привычка находиться под чьим-то присмотром, так что он никогда не отправлялся в дорогу один, не принимал самостоятельных решений и не отваживался брать на себя какую-либо ответственность. Уже в раннюю пору жизни стало ясно, что ему не суждено вступить в равную борьбу на поприще бизнеса или в какой-то профессиональной сфере, однако для него этот факт не представлял трагедии, ибо он получил в наследство значительное состояние. Достигнув зрелого возраста, он сохранил обманчиво мальчишеские черты: светловолосый и голубоглазый, с вечно свеженьким детским лицом, на котором лишь с превеликим трудом можно было различить плод его потуг отрастить усы. Голос у него был тихий, и его тело, не знавшее на протяжении жизни физических упражнений, казалось скорее юношески нескладным, нежели преждевременно тучным. Благодаря своему изрядному росту и красивому лицу он вполне мог бы стать завидным женихом, кабы природная робость не приговорила его к вечному уединению за книгами.

Каждое лето родители увозили Дерби за границу, и он быстро усвоил модные поветрия европейской учености и стиля. Природный талант Дерби, имевший сродство с гением Эдгара По, все больше и больше склонял его к декадентству, прочие же художественные стили и интересы оставляли его практически равнодушным. В те дни мы частенько вели с ним продолжительные дискуссии. Я к тому времени уже закончил Гарвард, прошел практику у одного бостонского архитектора, обзавелся семьей и вернулся в Аркхем, чтобы заняться там своим делом, обосновавшись в родительском особняке на Салтонсталл-стрит, ибо мой отец переехал во Флориду для поправления пошатнувшегося здоровья. Эдвард почти каждый вечер навещал меня, так что я вскоре начал воспринимать его как одного из домочадцев. У него была особая манера звонить в дверь или стучать дверным кольцом, и это вскоре стало нашим тайным сигналом, так что каждый вечер после ужина я привычно прислушивался, не раздадутся ли знакомые три коротких звонка или стука, за коими после долгой паузы следовали еще два. Куда реже я отправлялся с визитом к нему и с завистью рассматривал неведомые мне фолианты в его постоянно растущей библиотеке.

Дерби окончил курс в Мискатоникском университете в Аркхеме, поскольку родители ни за что не хотели отпускать его далеко. Он стал студентом в шестнадцать и прошел полный курс в три года, избрав своей специальностью английскую и французскую литературу и получив высокие отметки по всем предметам, кроме математики и других точных наук. С прочими студентами он общался мало, хотя и с некоторой завистью поглядывал в сторону «дерзких» или «богемных» типов, поверхностно-заумный язык и бессмысленно-ироническое позерство которых он пытался имитировать и чье легкомысленное отношение к жизни мечтал перенять.

Сам же он стал фанатичным приверженцем оккультной магической мудрости, чьими книжными памятниками издавна славилась и славится до сей поры Мискатоникская биб-

лиотека. Вечный обитатель царства фантастического и необычайного, теперь он нырнул в пучину настоящих рун и загадок, оставленных легендарной древностью то ли в назидаение, то ли в предостережение потомкам. Он читал такие сочинения, как пугающую «Книгу Эйбона», «Невыразимые культы» фон Юнцта и запретный «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда, о которых ни словом не обмолвился родителям. Эдварду было уже двадцать, когда у меня родился сын, единственный мой ребенок; и мой друг, кажется, был польщен, узнав, что в его честь я дал новорожденному имя Эдвард Дерби Аптон.

Достигнув двадцатипятилетнего возраста, Эдвард Дерби был уже не по годам ученым мужем и довольно-таки известным поэтом и писателем-мистиком, хотя отсутствие связей и опыта общепользных занятий замедлило его литературный рост, обусловив подражательный и слишком книжный характер его сочинений. Я был, возможно, его ближайшим другом, видя в нем неисчерпаемый кладезь живого теоретизирования, в то время как он обращался ко мне за советом в любых делах, в каковые ему не хотелось посвящать родителей. Он продолжал жить в одиночестве — скорее вследствие своей застенчивости, душевной инертности и родительской опеки, нежели по собственной природной склонности, и в обществе появлялся крайне редко и мимолетно. Когда началась война, слабое здоровье и врожденная робость удержали его дома. Я же отправился в тренировочный лагерь в Платтсбург, но за океан так и не попал.

Так прошло еще немало лет. Мать Эдварда умерла, когда ему было тридцать четыре, и на долгие месяцы он оказался недееспособным, пораженный странной душевной болезнью. Отец, однако, увез его в Европу, и там ему удалось избавиться от своего недуга без всяких видимых последствий. Потом же его, похоже, охватывало порой какое-то странно преувеличенное оживление, точно он радовался избавлению своей души от некоего незримого бремени. Он начал вращаться в среде прогрессивных студентов, невзирая на свой уже до-

статочно почтенный возраст, и присутствовал на нескольких весьма вольных мероприятиях — однажды ему пришлось даже уплатить немалую сумму откупа (каковую он занял у меня), дабы известие о его участии в этом прискорбном занятии не дошло до ушей его отца. Некоторые же шепотом распространявшиеся сплетни относительно распутных мискатоникских школяров были весьма удивительны. Ходили даже разговоры о сеансах черной магии и прочих происшествиях, совершенно неправдоподобных.

II

Эдварду было тридцать восемь лет, когда он свел знакомство с Асенат Уэйт. В то время ей исполнилось, как я предполагаю, года двадцать три, и в Мискатоникском университете она посещала специальный курс средневековой метафизики. Дочь моего приятеля познакомилась с ней раньше в школе Холл в Кингспорте и старалась избегать соученицы из-за ее странной репутации. Асенат Уэйт была смугла, невысока ростом, красива лицом, правда, ее несколько портили чересчур уж выпуклые глаза, но людей слишком чувствительных ее внешность почему-то отталкивала. Однако сторониться Асенат более всего заставляли ее происхождение и ее разговоры. Она была из инсмутских Уэйтов, а о полузаброшенном древнем Инсмуте уже на протяжении многих поколений ходили мрачные предания. Рассказывали о каких-то ужасных торговых сделках 1850 года и о диковинных существах «не вполне человеческого облика», рождавшихся в старинных семьях этого пришедшего в упадок портового городка, — лишь старожилы-янки могли сочинять подобные легенды и рассказывать их с должной толикой страшной таинственности.

Дурная репутация Асенат усугублялась тем фактом, что она была дочерью Эфраима Уэйта — ребенком, рожденным этим старцем от никому не известной жены, которая, выходя на улицу, вечно скрывала лицо вуалью. Эфраим жил в вет-

хом особняке на Вашингтон-стрит в Инсмуте, и те, кто видел эту обитель (аркхемские жители по возможности старались как можно реже навещать Инсмут), заявляли, что чердачные окна там всегда закрыты ставнями и с наступлением сумерек из-за них доносятся странные звуки. Старик был в свое время знающим лекарем и, судя по местным преданиям, мог по своей прихоти вызвать или усмирить шторм на море. Я видел его всего лишь один или два раза в юности, когда он приезжал в Аркхем полистать заветные фолианты в университетской библиотеке, и, помню, не мог без содрогания взглянуть на его волчье, демоническое лицо, заросшее спутанной седой бородой. Он умер, полностью потеряв рассудок, — при весьма загадочных обстоятельствах — как раз перед поступлением его дочери в школу Холл (по завещанию ее опекуном был назначен школьный директор); а дочь, надо сказать, была его ревностной ученицей и временами даже выглядела почти так же демонически, как и он.

Когда начали циркулировать слухи о знакомстве Эдварда с Асенат Уэйт, мой приятель, чья дочь знала Асенат по школе, поведал о ней множество прелюбопытных вещей. Асенат в школе изображала из себя чуть ли не волшебницу и вроде бы действительно умела проделывать поразительные чудеса. Она уверяла, что способна вызвать грозу, впрочем, сопутствовавшие ей успехи связывали обычно с ее непостижимым даром предсказания. Животные явно не любили ее, и она почти незаметным движением правой руки могла заставить любую собаку завывать. Временами она выказывала познания в науках и языках совершенно исключительные и даже шокирующие для столь юной девушки; и в такие минуты могла напугать соучениц, ибо в ее глазах по неведомой причине вдруг загорались злобно-плотоядные огоньки, она начинала странно подмигивать и, казалось, относилась к внезапной перемене в себе с некоей вызывающе-непристойной иронией.

Самое необычное, впрочем, заключалось в достоверно подтвержденных случаях ее воздействия на окружающих. Она,

вне всякого сомнения, была настоящим гипнотизером. Устремив странный немигающий взгляд на одноклассницу, она почти неизменно вызывала у последней отчетливое ощущение *взаимообмена душами* — точно ее душа на мгновение переселялась в тело школьной волшебницы и получала способность взглянуть на свое собственное тело со стороны, при этом глаза невольной жертвы начинали сверкать и вылезать из орбит, принимая совершенно чуждое им выражение. Асенат частенько рассуждала о природе сознания и о его независимости от своей физической оболочки. Ее приводил в бешенство самый факт того, что она не мужчина, ибо она считала, что мужской мозг обладает уникальной могучей космической силой. Имей она мужской мозг, заявляла Асенат, она бы могла не то что сравняться, но и превзойти своего отца в способности повелевать неведомыми стихиями.

Эдвард познакомился с Асенат на сборище местной интеллигенции у одного из студентов и, придя ко мне на следующий день, не мог говорить ни о чем другом. Он нашел ее необычайно эрудированной девушкой, с разносторонними интересами, и это его пленило. Вдобавок он был покорен ее красотой. Я же тогда еще не видел этой молодой особы и не мог в точности припомнить отрывочные отзывы о ней, хотя прекрасно знал, кто она такая. Можно было лишь пожалеть о том, что Дерби воспылал к ней страстью, но я ни единым словом не охладил его пыл, ибо любые доводы против лишь раздувают пламя влюбленности. Дерби, по его словам, не намеревался рассказывать отцу о своей новой знакомой.

В последующие несколько недель все беседы молодого Дерби со мной касались исключительно Асенат. Окружающие подметили в Эдварде пробуждение запоздалой галантности, хотя все соглашались, что выглядит он много моложе своих лет и вовсе не кажется недостойным спутником своей диковинной богини. Несмотря на привычную склонность к праздному и малоподвижному образу жизни, он был не более чем слегка полноват и без единой морщины на лице. У Асенат же, напротив, в уголках глаз появились преждевремен-

ные морщинки — обычные признаки частых актов напряжения воли.

Как-то Эдвард пришел ко мне со своею девушкой, и я тотчас заметил, что его влюбленность отнюдь не безответна. Она буквально пожирала его глазами, в которых застыло хищное выражение, и я понял, что их близость не была лишь духовной. Вскоре после того меня посетил старый мистер Дерби, которого я всегда любил и уважал. До него дошли слухи о новом увлечении сына, и он сумел выпытать у мальчика правду. Эдвард намеревался жениться на Асенат и уже присматривал себе дом на окраине. Зная о моем огромном влиянии на сына, отец спросил, не мог бы я каким-то образом расстроить эту пагубную связь. Но я лишь с грустью выразил свои сомнения. На сей раз дело было не в слабоволии Эдварда, но в силе воли юной женщины. Вечный ребенок перенес свою зависимость с отцовского образа на новый, более сильный образ, и тут уж ничего нельзя было поделать.

Свадьба состоялась через месяц — по желанию невесты их сочетал браком мировой судья. Мистер Дерби, следуя моему совету, не препятствовал браку и вместе со мной, моей женой и сыном почтил своим присутствием краткую церемонию — среди прочих приглашенных были и представители бесшабашной студенческой богемы. Асенат купила старый загородный дом Крауниншилдов, в самом конце Хай-стрит, где молодые решили поселиться после короткой поездки в Инсмут, откуда надлежало перевезти на новое место трех домашних слуг, кое-какие книги да скарб. Решение Асенат поселиться в Аркхеме, вместо того чтобы вернуться в отчий дом, было продиктовано не столько, возможно, интересами Эдварда и его отца, сколько ее желанием быть поближе к университету, его библиотеке и «богеме».

Когда Эдвард навестил меня после медового месяца, мне показалось, что он несколько переменился. Асенат заставила его избавиться от жалких усиков, но дело было не только в этом. Он казался более спокойным и задумчивым, и его обычная по-детски капризная насупленность сменилась выраже-

нием едва ли не подлинной печали. Сразу я не мог ответить себе, нравится ли мне произошедшая в нем перемена. И уж конечно, он более, чем прежде, производил впечатление нормально развитого взрослого мужчины. Возможно, женитьба сослужила ему добрую службу, ведь могла же простая смена опекуна дать толчок к полному избавлению от опеки и в конечном итоге привести его к самостоятельности и независимости? Он пришел один, ибо Асенат была занята. Она привезла огромное количество книг и приборов из Инсмута (Дерби содрогнулся, упомянув это название) и заканчивала наводить порядок в крауниншилдовском имении.

Ее дом в том городе оказался, по его словам, довольно-таки мерзким местом, но с помощью некоторых тамошних приборов он сделал для себя немало удивительных открытий. Пользуясь теперь наставлениями Асенат, он быстро овладевал премудростями эзотерики. Совместно с нею он проделал ряд опытов дерзкого, если не запретного свойства — правда, он не чувствовал себя вправе рассказывать мне о них, — полностью доверившись ее дару и намерениям. Трое слуг были весьма странными субъектами: старая-престарая супружеская пара — они всю жизнь прожили со стариком Эфраимом и рассказывали о нем и о покойной матери Асенат какие-то туманные вещи — и здоровая девка с уродливо искаженными чертами лица, от которой, казалось, постоянно воняло рыбой.

III

В следующие два года я виделся с Дерби все реже и реже. Порой проходило две недели, в течение которых я вечерами не слышал знакомого тройного-двойного звонка в дверь. Когда же он приходил — или когда, что случалось все менее регулярно, я сам к нему навещался, — он был мало расположен к разговору о простых житейских вещах. Дерби старался не касаться тех оккультных изысканий, о коих он некогда рассказывал мне так подробно, и предпочитал не упоминать

вовсе о своей жене. Со времени их женитьбы она сильно постарела и теперь, что было весьма странным, казалась много старше его. На ее лице всегда лежала печать сосредоточенной решительности, какую я до тех пор ни у кого не замечал, и вся она, как мне показалось, была преисполнена некой неявной и необъяснимой враждебности. Не только я, но также мои жена и сын заметили это, и мы постепенно перестали звать ее к себе — за что она, как заметил однажды Эдвард со свойственной ему мальчишеской бестактностью, была нам безмерно благодарна. Иногда чета Дерби отправлялась в долгие путешествия, преимущественно в Европу, хотя Эдвард порой намекал и на иные, менее известные маршруты.

Уже после первого года их совместной жизни люди заговорили о происшедших в Эдварде Дерби переменах. Поговаривали об этом как бы между прочим, ибо перемена носила чисто психологический характер, хотя ей сопутствовали некоторые прелюбопытные вещи. Время от времени Эдварда замечали с таким выражением лица и за такими занятиями, которые никак не отвечали его природе. К примеру, теперь его частенько видели за рулем принадлежавшего Асенат «паккарда», мчащегося на полной скорости по пыльной дороге к старому крауниншилдовскому особняку или обратно, причем — хотя раньше он не умел водить автомобиль — Дерби управлялся с ним как заправский шофер, объезжая помехи на дороге со сноровкой и решительностью, совершенно чуждыми его обычному темпераменту. В таких случаях создавалось впечатление, что он только что вернулся из очередной поездки или, напротив, собирается уезжать, — причем оставалось только гадать, что это за поездка, хотя большею частью он выбирал дорогу на Инсмут.

Странное дело: происшедшая с Дерби перемена не казалась безоговорочно благотворной. Люди говорили, что в такие моменты он был очень похож на свою жену, а то и на самого старика Эфраима Уэйта. Впрочем, быть может, такие моменты представлялись из ряда вон выходящими именно

по причине своего нечастого характера. Порой, спустя много часов после стремительного отъезда, он возвращался из путешествия без чувств, распростертый на заднем сиденье авто, которым управлял где-то нанятый им шофер или автомеханик. К тому же, появляясь на людях, что случалось теперь все реже из-за его подчеркнутого нежелания поддерживать отношения со старыми знакомыми (в том числе, должен заметить, и со мной), он явно выказывал свою прежнюю нерешительность, и его безответственное ребячество проявлялось даже в большей степени, нежели в прошлом. По мере того как лицо Асенат старело, на лице Эдварда — за исключением вышеупомянутых редких случаев — точно застыла маска гипертрофированной апатии, и лишь в редкие моменты по нему пробегала тень печали или осмысленности. Все это было весьма загадочно. Тем временем супруги Дерби практически выпали из веселого студенческого кружка — не по собственной воле, но, как нам стало известно, по причине того, что некоторые их новые увлечения и опыты шокировали даже самых отчаянных из декадентствующих умников.

На третий год их брака Эдвард начал открыто намекать мне на посещающие его страхи и разочарование. Раз он обронил замечание о том, что «все это уже зашло слишком далеко», и туманно говорил о необходимости обрести свою личность. Поначалу я пропускал эти замечания мимо ушей, но потом стал задавать ему вопросы напрямую, вспомнив, как отзывалась дочь моего приятеля о способностях Асенат гипнотизировать других девочек в школе — о тех случаях, когда школьницам казалось, будто они переселялись в ее тело и глядели из противоположного угла комнаты на самих себя. Мои вопросы, похоже, тотчас же пробудили в нем одновременно тревогу и благодарность, и однажды он даже пробормотал что-то насчет необходимости очень серьезного разговора — но чуть позже.

В это самое время умер старый мистер Дерби, за что я впоследствии благодарил судьбу. Эдвард тяжело переживал

это событие, хотя оно ни в коей мере не выбило его из колеи. Со времени женитьбы он поразительно мало виделся со своим родителем, ибо Асенат сумела обратить на себя его живую тягу к семейным узам. Кое-кто говорил, что он воспринял утрату родителя с поразительной бесчувственностью — особенно принимая во внимание, что после смерти отца его безумно лихие поездки на автомобиле участились. Теперь ему захотелось переселиться в старый родительский особняк, но Асенат настояла на том, чтобы они остались в крауниншилдовском имении, к которому она, мол, так привыкла.

А вскоре после того моя жена услышала удивительную вещь от подруги — одной из тех немногих, кто не прервал отношений с супругами Дерби. Однажды та отправилась на Хай-стрит навестить их и увидела, как от крауниншилдовского дома стремительно отъехал автомобиль: над рулем застыло лицо Эдварда — с необычным самоуверенным и почти что насмешливым выражением. Она позвонила в дверь, и ей открыла крайне неприветливая девка, заявившая, что Асенат также нет дома. Однако посетительница, уходя, мельком взглянула на окна и в одном из окон библиотеки Эдварда заметила быстро исчезнувшее лицо, на котором было неопишное выражение страдания, отчаяния и жалобной беспомощности. Это было лицо Асенат — во что, впрочем, верилось с трудом, имея в виду ее обычно надменное выражение, но дама готова была поклясться, что в тот момент на нее смотрели затуманенные печалью глаза несчастного Эдварда...

С того дня визиты Эдварда ко мне несколько участились, а его намеки обрели более конкретное содержание. То, о чем он говорил, казалось неправдоподобным даже для овечьих древними легендами Аркхема, но он исповедовался в своей темной учености с такой неподдельной искренностью и убежденностью, что впору было тревожиться за его душевное здоровье. Он рассказывал о страшных встречах в укромных местах, об исполинских руинах в чаще мэнских лесов, в чьих подземельях бесконечные ступени спускались в бездны мрач-

ных тайн, о нескончаемых лабиринтах в незримых стенах, позволявших вторгаться в иные измерения времени и пространства, и о пугающих сеансах взаимообмена душами, что и позволяло исследовать дальние и потаенные уголки других миров, в иных пространственно-временных континуумах.

Иногда в подтверждение своих горячечных исповедей он демонстрировал предметы, которые повергали меня в полное замешательство, — предметы бледной окраски и поразительной структуры, каких не встретишь на нашей Земле и чьи не подвластные разуму формы и грани не отвечали никакому известному назначению и нарушали все разумные геометрические законы. Эти предметы, по его словам, прибыли сюда «из потустороннего мира», и только его жена знала, как их можно добыть. Порой — и всегда лишь шепотом, испуганно и сбивчиво — он говорил о старом Эфраиме Уэйте, которого когда-то давно встречал в университетской библиотеке. Эти упоминания не относились ни к чему конкретному, но, похоже, имели касательство к посещавшим его ужасным сомнениям насчет того, точно ли мудрый старец умер — как в духовном, так и в физическом смысле.

Временами Дерби внезапно обрывал свои откровения, и я даже подумывал, не обладала ли Асенат властью над его речью на расстоянии и не она ли заставляла его умолкать с помощью некоего телепатического месмеризма — дара того рода, каковой она выказывала еще в школе. Безусловно, она подозревала, что он мне исповедовался, ибо в течение долгого времени пыталась воспрепятствовать его визитам ко мне словами и взглядами необъяснимой силы. Ему стоило очень больших усилий навещать меня: хоть он и делал вид, будто идет куда-то в другое место, но некая незримая сила препятствовала его движению или заставляла его на какое-то время позабыть цель прогулки. Обыкновенно он являлся ко мне, когда Асенат уходила — покидала тело, как он однажды выразился. Но потом она всегда обо всем узнавала — ибо слуги следили за каждым его шагом, — но, очевидно, считала пока нецелесообразным предпринимать решительные меры.

IV

В тот августовский день, когда я получил телеграмму из Мэна, шел уже четвертый год супружеской жизни Эдварда. Мы не виделись два месяца, но я знал, что он уехал «по делу». Асенат вроде бы его сопровождала, хотя глазастые горожане судачили, что за двойными портьерами в окнах их дома видели чью-то тень. Подозрения подкреплялись и покупки, делавшимися слугами в городских лавках. И вот теперь судебный исполнитель Чесанкука телеграфировал мне о безумце, который выбежал из ближнего леса, оглашая округу бредовыми выкриками и призывая меня на помощь. Это был Эдвард, который смог вспомнить лишь свое имя да адрес.

Чесанкук стоит рядом с обширным, густым и диким лесным массивом в Мэне, и у меня ушел целый день лихорадочной гонки на автомобиле по мрачной и малопривлекательной глуши, чтобы добраться до места. Я нашел Дерби в подвальной камерке городской фермы в состоянии экзальтации, сменяемой приступами полной апатии. Он сразу меня узнал и изверг невразумительный и большею частью бессвязный поток слов:

— Дэн, ради Всевышнего! Омут шогготов! Шесть тысяч ступеней вниз... О мерзость! Мерзость!.. Я бы ни за что не позволил ей взять меня с собой... и вот я здесь... Йа! Шуб-Ниггурат! Фигура восстала из алтаря, и было там пять сотен воющих... Тварь в клубке блеяла: «Камог! Камог!» Это было тайное имя старика Эфраима на том ведьмовском шабаше... я был там, куда она обещала меня не брать... Все случилось за минуту до того, как меня заперли в библиотеке, там, куда она ушла с моим телом, — там, в богомерзкой обители, в мерзопакостном омуте, где начинается черная мгла и чьи врата охраняют сторожа. Я видел шоггота — он менял свое обличье... я этого не вынесу, я убью ее, если она хоть раз еще отправит меня туда, я убью это отродье! — ее, его, это, — я убью! Убью своими собственными руками!

Мне потребовалось не меньше часа на то, чтобы его успокоить, и наконец он затих. На следующий день я купил для

него в поселке приличную одежду и отправился с ним в Аркхем. Приступ истерики прошел, и он погрузился в молчание, хотя вдруг начал бормотать нечто невнятное себе под нос, когда автомобиль проезжал по улицам Огасты, — точно вид города пробудил в нем какие-то неприятные воспоминания. Было ясно, что возвращаться домой ему не хочется, и, предвкушая фантастические откровения о его жене, которыми он, похоже, собирался со мной поделиться, — откровения, безусловно, порожденные неким действительно случившимся с ним гипнотическим испытанием, коему он был подвергнут, — я тоже посчитал, что ему лучше туда не возвращаться. Я решил на время разместить его у себя в доме, сколь бы тягостным ни было неминуемое разбирательство с Асенат по этом поводу. Потом я бы помог ему получить развод, ибо, вне всякого сомнения, тут о себе давали знать некие психические факторы, которые делали этот брак для него просто самоубийственным. Когда же мы очутились в открытом поле, Дерби перестал бредить и, кляня носом, задремал рядом со мной в машине.

Когда мы в предзакатный час ехали через Портленд, он снова забормотал, на сей раз более членораздельно, и, слушая его речь, я различил совершенно безумные откровения об Асенат. Было ясно, что она совершенно расшатала нервы Эдварда, ибо он сплел диковинный клубок небылиц. Его нынешнее состояние, как можно было судить по его отрывочным фразам, не было из ряда вон выходящим. Она завладела им, и он знал, что настанет день, когда она его уже не отпустит на волю. Даже сейчас она, возможно, вынуждена была дать ему свободу только лишь потому, что ее власть над ним была ограничена во времени. Она постоянно забирала его тело и удалялась в неведомые края для совершения неведомых обрядов, а его оставляла в своем собственном теле и запирала наверху в доме, — но иногда ей не доставало сил удерживаться в нем, и он внезапно обнаруживал себя в своем теле, но где-то в далеком и жутком месте. Бывало, ей вновь удавалось завладеть им, но это случалось не всегда. Часто он оказывался один

в незнакомом месте, вроде того, где я его нашел, и ему пришлось искать дорогу домой, покрывая огромные расстояния и умоляя кого-нибудь подвезти его, если подворачивался такой случай.

Самым ужасным было то, что постепенно Асенат научилась все дольше и дольше сохранять над ним свою власть. Она мечтала стать мужчиной — человеком в полном смысле слова, — вот почему она и нуждалась в нем. Тем более что она разгадала в нем сочетание изощренного интеллекта и слабой воли. Рано или поздно ей удалось бы изгнать его душу из физической оправы и исчезнуть в его теле — и она стала бы великим магом, как и ее отец, а его бросила бы обезображенным в женской оболочке, которая не была даже вполне человеческой. Теперь-то он постиг правду об инсмутском роде. В старину у тамошних жителей были какие-то темные сношения с морскими тварями — и это было ужасно... Эфраим знал эту тайну и, состарившись, совершил чудовищную вещь, чтобы остаться в живых — а он мечтал жить вечно. Его примеру следовала Асенат, благо одно удачное перевоплощение уже свершилось.

Слушая бормотанье Дерби, я пристально взглянул на него, чтобы проверить свое первоначальное впечатление от происшедшей в нем перемены. Но парадоксальным образом он казался в лучшей форме, чем обычно, — более сильным и нормально развитым, без малейшего намека на болезненную немощь, вызванную его привычками. Создавалось впечатление, что впервые за всю свою затворническую жизнь он был по-настоящему активен, а его тело должным образом натренировано, отчего я сделал вывод, что энергия Асенат направила его силы и волю в непривычную для него колею. Но в данную минуту его разум находился в плачевном состоянии, ибо он бубнил совершеннейшую чушь про свою жену, про черную магию, про старика Эфраима и про всяческие доказательства, которые должны были рассеять даже мои сомнения. Он повторял имена, которые я помнил из давным-давно прочитанных запретных сочинений, а временами заставлял меня

содрогаться от осознания стройности его мифических измышлений — или их убедительной логичности. Он часто делал паузы, словно для того, чтобы набраться мужества для некоего последнего и наиболее ужасного признания.

— Дэн, Дэн, ты разве не помнишь его: дикие глаза, растрепанная борода — она так и не поседела полностью? Однажды он метнул на меня взгляд, который я никогда не забуду. Теперь вот она смотрит на меня *тем же* взглядом! И я знаю почему! Он нашел ее в «Некрономиконе», эту формулу! Я не смею пока назвать тебе точную страницу, но, когда смогу, ты сам прочитаешь и поймешь. И тогда ты узнаешь, что меня поработило. Дальше, дальше, меняя тело за телом — он не собирается умирать! Жизненный огонь — он умеет разорвать связующее звено... Огонь этот может теплиться даже в мертвом теле. Я подскажу тебе намеком, и, может быть, ты догадаешься. Послушай, Дэн, знаешь, отчего моя жена прилагает столько усилий, чтобы так по-дурацки писать задом наперед? Ты когда-нибудь видел рукописи старика Эфраима? Хочешь знать, почему меня пробрала дрожь, когда я увидел однажды сделанные Асенат второпях записи? Асенат... *да человек ли это вообще?* Отчего подозревают, что у старика Эфраима в желудке был яд? Почему это Гилманы шепчутся о том, как он орал, точно перепутанный до смерти ребенок, когда сошел с ума, а Асенат заперла его в глухом чердаке, где и тот, другой, тоже находился? *Душа ли это старика Эфраима была там заперта? И кто же кого запер?* И почему он много месяцев искал кого-нибудь с ясным умом и слабой волей? Почему он проклинал все на свете из-за того, что у него родился не сын, а дочь? Скажи мне, Дэниел Аптон, *что за сатанинский обмен совершился в доме ужаса, где этот богопротивный монстр по своей прихоти распоряжался доверчивым, слабовольным и получеловеческим дитем?* И не сотворил ли он то же, что она хочет в итоге сотворить со мной? Скажи мне, почему эта тварь, что называет себя Асенат, оставшись одна, пишет совсем по-другому, *так что ее почерк и не отличишь от...*

И вот тогда произошло нечто ужасное. Голос Дерби в продолжение его горячечной тирады перешел на визг, как вдруг он осекся и с почти что механическим щелчком умолк. Я вспомнил наши прежние беседы у меня дома, когда его излияния внезапно резко обрывались и когда я почти воочию видел вторжение неуловимой телепатической силы Асенат, лишавшей его дара речи. Но на сей раз все было иначе — и я ощутил нечто несравненно более жуткое. Его лицо на мгновение неузнаваемо исказила гримаса, а тело сильно содрогнулось — точно все кости, внутренние органы, мышцы, нервы и железы приспособлялись к совершенно другому вместилищу, к новой психической конституции и личности.

Я не смогу толком объяснить, в чем заключался кошмар, и все же меня захлестнула неодолимая волна отвращения и тошноты, а сковавшее меня ощущение неестественности и ужаса происходящего было настолько сильным, что я едва не выпустил руль из рук. Тот, кто сидел рядом со мной, не имел сейчас ничего общего с моим другом детства, а был похож скорее на некоего чудовищного гостя из потустороннего мира, на дьявольское средоточие неведомых космических сил зла.

Я потерял самообладание всего лишь на одно мгновенье, но и его хватило на то, чтобы мой спутник схватился за руль и заставил меня поменяться с ним местами. Сгустились сумерки, и огни Портленда остались далеко позади, так что я уже почти не различал его лица, но тем не менее увидел, как его глаза запылали нездешним огнем, и понял, что он пришел в то странно возбужденное состояние — столь не свойственное его истинному темпераменту, — в каком его уже не раз замечали сторонние наблюдатели. Это было необъяснимо: робкий Эдвард Дерби, который никогда не умел настоять на своем и так и не выучился толком водить автомобиль, приказал мне уступить водительское кресло и взялся вести мою машину... Но именно так и произошло. Некоторое время он хранил молчание, и я, охваченный необъяснимым ужасом, был этому даже рад.

При свете уличных фонарей Биддфорда и Сейко я различил его плотно сжатый рот и поежился от блеска его глаз. Люди были правы: в таком расположении духа он дьявольски походил на свою жену и на старика Эфраима. И меня уже не удивляло, почему он отталкивал людей, находясь в таком состоянии, — сейчас в нем и впрямь было что-то сверхъестественное, и я остро осознавал весь зловещий смысл происходящего, ибо только что выслушал его сбивчивую исповедь. Сидящий рядом со мной человек — а ведь я с детства очень хорошо знал Эдварда Пикмана Дерби — был незнакомцем, пришельцем из неведомой черной бездны.

Он не раскрывал рта до тех пор, пока мы снова не оказались на неосвещенном участке шоссе, а когда заговорил, его голос звучал иначе, чем обычно, — более глубоко, более твердо и более решительно, даже его выговор и произношение переменились, — впрочем, что-то смутно и тревожно знакомое я все же в нем различил. Как мне показалось, я угадал скрытую и неподдельную иронию — не ту мимолетную и бессмысленно дерзкую псевдоиронию грубоватых «умников», которую Дерби перенял у своих университетских знакомцев, но некую врожденную, всепроникающую и в глубине своей злонамеренную насмешливость. Меня несказанно поразило обретенное им самообладание, столь быстро сменившее приступ панического словоблудия.

— Надеюсь, ты забудешь о моей истерике, Аптон, — говорил он. — Ты же знаешь, как у меня взвинчены нервы, и полагаю, меня простишь. Я, разумеется, очень благодарен тебе за то, что ты согласился доставить меня домой. И забудь все те безумные глупости, которые я наговорил тебе про свою жену и вообще обо всем. Это из-за чрезмерного переутомления. В голове у меня рождаются самые диковинные гипотезы, и, когда мозг утомлен, он порождает всякого рода фантастические измышления. Мне надо немного от всего этого отдохнуть — ты, возможно, некоторое время меня не увидишь, — и не стоит за это корить Асенат. Конечно, моя поездка может показаться тебе весьма странной. Но на самом деле все очень

просто объясняется. В северных лесах сохранилось множество древних индейских поселений — священные камни и прочее, — которые имеют огромное значение в фольклоре, и мы с Асенат занимаемся их изучением. Мы предприняли столь интенсивные поиски, что у меня, кажется, ум за разум зашел. Когда вернемся домой, надо будет кого-нибудь послать за моей машиной. Месяц покоя поставит меня на ноги.

Не помню, что я отвечал моему спутнику, ибо все мои мысли были сосредоточены на пугающей потусторонности его облика. С каждой минутой мое ощущение неясного космического ужаса усиливалось, пока наконец меня не охватило маниакальное желание поскорее распрощаться с другом. Дерби не предложил мне снова сесть за руль, и я только радовался, когда мы на бешеной скорости миновали Портсмут и Ньюберипорт.

На перекрестке, где главное шоссе уходит в глубь материка и огибает Инсмут, я испугался, как бы мой водитель не свернул на пустынную прибрежную дорогу, что идет через проклятый город. Но он этого не сделал, а стремительно поехал мимо Роули и Ипсвича к пункту нашего назначения. Мы прибыли в Аркхем до полуночи и увидели, что окна старого крауниншилдовского дома все еще освещены. Дерби вышел из машины, без усталости повторяя слова благодарности, а я поехал домой и, оставшись один, почувствовал безмерное облегчение. Это было ужасное путешествие — тем более ужасное, что я не мог понять причины посетившего меня ужаса, и я ничуть не опечалился словам Дерби о предстоящей нам долгой разлуке.

V

На протяжении последующих двух месяцев в городе мусировались разные слухи. Люди говорили о том, что Дерби все чаще видели в состоянии крайнего возбуждения, а Асенат почти не показывалась даже навещавшим ее знакомым. Эдвард посетил меня лишь раз, ненадолго заехав в автомо-

биле Асенат — ему таки доставили автомобиль из Мэна, — забрать кое-какие книги, которые он давал мне почитать. Он находился в своем *новом* настроении и за время своего недолгого визита успел лишь обронить несколько малозначащих учтивых реплик. Было видно, что в этом состоянии он не был расположен что-либо обсуждать со мной, и я заметил, что он даже не удосужился подать наш условный сигнал: три и два раза позвонить в дверь. Как и тогда в автомобиле, я испытал тупой и необъяснимый животный ужас и его скорый уход воспринял с нескрываемым облегчением.

В середине сентября Дерби на неделю исчез, и кое-кто из декадентствующих студентов со знанием дела уверяли, что им известно куда, намекая на встречу с печально знаменитым сектантом-окультистом, который после изгнания из Англии обосновался в Нью-Йорке. Я же никак не мог выбросить из головы ту странную поездку в Мэн. Преображение, свидетелем которого я стал, несказанно поразило меня, и я неоднократно ловил себя на мысли, что пытаюсь дать какое-то объяснение этой метаморфозе — и отчаянному ужасу, который она во мне вызвала.

Но самые невероятные слухи распространялись о странных рыданиях, доносившихся из старого крауниншилдовского дома. Голос вроде бы принадлежал женщине; и кое-кто из молодежи считал, что плакала Асенат. Рыдания слышались изредка и всякий раз прерывались, точно заглушенные некоей внешней силой. Стали даже поговаривать о желательности полицейского расследования, но все слухи развеялись, когда Асенат появилась на улицах города и как ни в чем не бывало пошла повидаться со своими знакомыми, извиняясь за свое недавнее отсутствие и между делом упоминая о нервном расстройстве и истерике, которая случилась с ее гостьей из Бостона. Гостью, правда, никто не видел, но появление Асенат сразу же погасило все кривотолки. Однако позднее кто-то возбудил еще большие подозрения, заявив, что раз или два из дома слышались мужские рыдания.

Однажды вечером в середине октября, услышав знакомые три и два звонка в дверь, я открыл сам и, увидев на пороге Эдварда, тотчас отметил, что передо мной стоит прежний мой друг, каким я видел его последний раз в день нашей ужасной поездки из Чесанкука. На его лице лежала печать бурных эмоций, из которых, похоже, преобладали страх и торжество, и, когда я закрывал за ним дверь, он бросил испуганный взгляд через плечо.

Неуклюже прошагав за мной в кабинет, он попросил виски, чтобы немного успокоиться. Я сгорал от нетерпения задать ему множество вопросов, но решил подождать, пока он сам не расскажет о том, с чем пришел. Наконец срывающимся голосом он заговорил:

— Асенат пропала, Дэн. Вчера вечером, когда слуги ушли, мы с ней имели долгую беседу, и я получил от нее обещание перестать меня мучить. Конечно, у меня были некоторые... оккультные средства защиты, о которых я тебе никогда не рассказывал. И ей пришлось уступить, но она была страшно разгневана. Она собрала вещи и уехала в Нью-Йорк — видимо, успела на бостонский поезд в восемь двадцать. Теперь, конечно, по городу пойдут сплетни, но что поделаешь... Ты только, пожалуйста, не упоминай о нашей размолвке — просто говори, что она уехала в длительную научную экспедицию. Скорее всего, она будет жить с кем-то из ее жутких сектантов. Надеюсь, она поедет на запад и там подаст на развод — как бы то ни было, я взял с нее обещание держаться отсюда подальше и оставить меня в покое. Это было ужасно, Дэн, она же выкрадывала мое тело, извлекала из него мою душу, делая меня своим узником. Я молчал и притворялся, что готов на все, но мне надо было все время быть начеку. Будучи достаточно осторожным, я мог тщательно продумать план действий, ведь она же не умела буквально читать все мои мысли. Из моих тайных замыслов она только и узнала о моей решимости ей противостоять, но она всегда считала, что я беспомощен. Я уж и не рассчитывал ее победить... но мне известно одно или два заклятья — и они успешно подействовали!

Дерби снова оглянулся, отпил виски и продолжил:

— Утром, когда эти проклятые слуги вернулись, я дал им расчет. Им это страшно не понравилось, они начали задавать вопросы, но все-таки ушли. Они похожи на нее — эти инсмутские... Одного поля ягоды. Надеюсь, они оставят меня в покое. Очень мне не понравился их прощальный смех. Надо бы мне снова нанять папиных слуг. Я ведь переезжаю обратно в наш дом. Наверное, ты считаешь меня сумасшедшим, Дэн. Но в истории Аркхема можно найти массу подтверждений того, что я тебе рассказал и что еще собираюсь рассказать. Ты же видел одно из моих преображений — тогда в автомобиле, после того как я по дороге домой из Мэна рассказывал тебе про Асенат. Это когда она мной завладела и изгнала меня из моего тела. Последнее, что помню, это как я набрался решимости рассказать тебе, *что это за дьяволица*. Вот тогда-то она мной и овладела, и в мгновение ока я оказался дома в библиотеке, где меня заперли ее проклятые слуги, в ее сатанинском теле, которое даже и человеческим-то не назовешь... Ты хоть понимаешь, что это ее ты вез — эту хищную волчицу в моем обличье, — ты же не мог не ощутить разницу!

Дерби умолк, а меня пробрала дрожь. Ну конечно, я *ощутил* разницу, но мог ли я принять на веру столь безумное объяснение? Однако мой взвинченный гость продолжал изливать на меня поток еще более диких фантазий.

— Мне надо было спасти себя — просто необходимо, Дэн! Она бы навечно мной завладела в День всех святых, когда они под Чесанкуком устраивают шабаш, и обряд жертвоприношения должен был поставить последнюю точку в моей судьбе. Она бы завладела мной навечно — стала бы мной, а я ею навсегда... слишком поздно. Мое тело навсегда стало бы ее телом, она стала бы мужчиной, в полной мере человеком, как ей того и хотелось... я подозреваю, что она хотела убрать меня со своего пути... убить свое бывшее тело со мной внутри, будь она проклята, *как она уже делала это раньше*, как проделывала это она или оно...

Лицо Эдварда теперь исказилось до неузнаваемости, и он приблизил его ко мне вплотную, понизив голос до шепота.

— Ты должен понять то, о чем я намекнул тебе в машине: что *она вовсе не Асенат, а никто иной, как старик Эфраим*. Это подозрение посетило меня полтора года назад, а теперь я знаю наверняка. Об этом свидетельствует ее почерк, когда она теряет контроль над собой, — порой она делает какую-нибудь пометку точь-в-точь таким же почерком, каким написаны рукописи ее папаша, вплоть до каждой черточка в букве, — а иногда говорит такие вещи, какие никто, кроме старика Эфраима, сказать не смог бы. Он обменялся с ней телом, почувствовав приближение смерти, — она ведь была единственная, кого он смог найти, с нужным ему складом ума и достаточно слабой волей, — и он завладел ее телом навсегда, точно так же, как она уже почти завладела моим, а потом отравил старое тело, в которое он ее переселил. Ты же десятки раз видел душу старика Эфраима, выглядывающую из ее дьявольских глаз — и из моих, когда она вселялась в мое тело!

Он задохнулся и замолчал, чтобы перевести дух. Я ждал. После недолгой паузы его голос зазвучал спокойнее и ровнее. Вот тогда я и подумал, что он кандидат в психиатрическую лечебницу, но не мне его туда отправлять. Возможно, время и свобода от Асенат окажут на него благотворное воздействие. Я понимал, что ему уже ни за что не захочется вновь погрузиться в мрачные пучины оккультной мудрости.

— Потом я тебе расскажу больше, а теперь мне нужен отдых. Я расскажу тебе о несказанных ужасах, в которые она меня ввергала, — кое-что о стародавних кошмарах, что и поныне прячутся в потаенных уголках мира под покровительством чудовищных жрецов, поддерживающих в них жизнь и хранящих знание о них. Некоторым людям ведомы такие вещи о мироздании, каких смертные знать не должны, и они способны проделывать то, что никому не следует делать. Я завяз в этом по уши, но теперь хватит! Будь я хранителем библиотеки Мискатоникского университета, я бы спалил и прокля-

тый «Некрономикон», и все прочие книги. Но теперь ей до меня не добраться. Я должен поскорее съехать из этого проклятого дома. И я уверен, что, если мне понадобится помощь, ты мне поможешь. Ну, в том, что касается ее дьявольских слуг, и еще если люди начнут интересоваться исчезновением Асенат... Понимаешь, я же не могу им сказать, куда она уехала... К тому же есть еще сообщества оккультистов, разные секты, понимаешь... которые могут не так истолковать наш разрыв... У многих из них просто чудовищные взгляды и методы. Я знаю, если что-то случится, ты будешь рядом со мной. Даже если мне придется рассказать тебе нечто совершенно жуткое...

В ту ночь я оставил Эдварда ночевать в одной из гостевых комнат, а утром он, похоже, уже совсем успокоился. Мы обсудили с ним некоторые детали его будущего переезда в семейный особняк Дерби, и я надеялся, что он, не теряя времени, изменит свой образ жизни. На следующий вечер он не пришел, но в последующие недели мы виделись довольно часто, правда, старались не касаться малоприятных и странных тем и в основном обсуждали предстоящий ремонт в старинном доме Дерби и путешествия, в которые Эдвард обещал отправиться летом вместе со мной и моим сыном.

Об Асенат мы практически не упоминали, ибо я видел, что эта тема действовала на него чересчур угнетающе. Слухов же в городе, конечно, было предостаточно, но это и неудивительно, учитывая странные происшествия в старом краунингшилдском особняке. Мне, правда, не понравилось то, о чем как-то, не в меру разоткровенничавшись, проговорился в Мискатоникском клубе банкир Дерби, — о чеках, которые Эдвард регулярно посылал неким Моисею и Абигайл Сарджент и некоей Юнис Бабсон в Инсмут. Похоже было, что мерзкие слуги тянули из него выкуп — хотя он и не упоминал об этом в беседах со мной.

Я с нетерпением ждал прихода лета — пору каникул моего сына, студента Гарварда, — чтобы нам вместе с Эдвардом отправиться в Европу. Но я замечал, что он поправлялся не

столь быстро, как мне бы того хотелось, ибо в его временами случавшихся приступах оживления и веселости проскальзывало что-то истерическое, а вот подавленность и депрессия охватывали его все чаще. Ремонт в старом особняке Дерби был закончен к декабрю, но Эдвард все оттягивал свой переезд. Хотя он терпеть не мог крауниншилдовского дома и явно его страшился, он в то же время был точно поработан им. Очевидно, ему все никак не удавалось собраться с духом и начать укладывать вещи, и он придумывал любой предлог, лишь бы оттянуть этот момент. Когда же я ему об этом прямо сказал, он вдруг без видимой причины перепугался. Старый дворецкий его отца — он вернулся в дом вместе с прежними слугами — сообщил мне однажды, что его крайне изумляют бесцельные блуждания Эдварда по дому, и особенно — частые посещения погреба. Я поинтересовался, не пишет ли ему Асенат угрожающие письма, но дворецкий сказал, что от нее нет никаких известий.

VI

Однажды вечером накануне Рождества, зайдя ко мне в гости, Дерби вдруг совсем расклеился. Я осторожно подводил нашу беседу к совместному путешествию будущим летом, как он вдруг завизжал и буквально выпрыгнул из кресла с выражением неопишуемого и неконтролируемого ужаса на лице — им овладел такой панический страх, какой, наверное, могли бы внушить здравомыслящему смертному лишь разверзшиеся недра преисподней.

— Мой мозг! Мой мозг! Боже, Дэн, как давит! Откуда-то извне стучится, царапается эта дьяволица! Даже сейчас — Эфраим! Камог! Камог! Омут шогготов — Йа! Шуб-Ниггурат! Козел с Легионом Младых!.. Пламя — пламя по ту сторону тела, по ту сторону жизни... внутри земли — о боже!

Я усадил его обратно в кресло и, когда его истерика сменилась апатией, влил ему в рот немного вина. Он не сопротивлялся, но губы его двигались, точно он разговаривал сам

с собой. Потом я понял, что он пытается привлечь мое внимание, и приблизил ухо к его рту, чтобы уловить едва слышные слова.

— Вот опять... Опять она пытается... Я мог бы догадаться... ничто ее не остановит... ни расстояния, ни магия, ни смерть... она приходит — и приходит, как правило, ночью, я не могу уйти от нее, это ужасно... о боже, Дэн, *если бы ты только мог себе представить, как это ужасно...*

Когда же он снова впал в апатию, я подложил ему под голову подушки и дал спокойно заснуть. Врача вызывать я не стал, ибо догадывался, что услышу относительно душевного здоровья своего друга, и решил по возможности лишь уповать на природу. Около полуночи он пробудился, и я отвел его наверх в постель, но утром он ушел. Он бесшумно выскользнул из дома, и его дворецкий, которому я позвонил, сообщил, что он дома и в волнении расхаживает по библиотеке.

После этого случая состояние рассудка Эдварда быстро ухудшалось. Больше он ко мне не приходил, зато я ежедневно его навещал. Он неизменно сидел в своей библиотеке, уставясь в пустоту с таким видом, будто вслушивался во что-то, ведомое лишь ему. Иногда он заводил со мной вполне разумный разговор — но на банальные бытовые темы. Всякое упоминание о его несчастье, или о планах на будущее, или об Асенат приводило его в состояние буйного помешательства. Дворецкий поведал мне, что ночью с ним часто случаются пугающие припадки, во время которых он способен нанести себе увечья.

Я имел продолжительные беседы с его врачом, банкиром и адвокатом и в конце концов созвал к Эдварду консилиум в составе врача-терапевта и двух его коллег-психиатров. Реакция на первые же заданные ему вопросы была яростной и удручающей, и тем же вечером его, отчаянно сопротивляющегося и извивающегося всем телом, увезли в закрытом автомобиле в Аркхемскую лечебницу для душевнобольных. Я сделался его добрым опекуном и дважды в неделю навещал,

чуть не со слезами на глазах выслушивая его безумные вопли и страшным шепотом монотонно повторяющиеся одни и те же фразы вроде:

— Я должен был сделать это... Я должен был сделать... оно мной завладеет! Вон оно там во тьме... Мама! Мама! Дэн! Спаси меня... спаси меня!

Никто не мог сказать, есть ли надежда на его выздоровление, но я старался изо всех сил сохранять оптимизм. В любом случае у Эдварда должна была быть своя крыша над головой, и я перевез его слуг в особняк Дерби, где он, безусловно, должен был поселиться после выхода из лечебницы. Но я ума не мог приложить, что же делать с крауниншилдовским домом, со всей этой кучей сложных приборов и собранием каких-то диковинных вещей, поэтому просто оставил там все как было, попросив слуг Дерби раз в неделю туда наведываться и прибираться в больших комнатах, а истопнику наказав в эти дни затапливать печь.

Последний кошмар приключился в канун Сретения — о чем, по жестокой иронии судьбы, возвестил проблеск ложной надежды. Как-то утром в конце января мне позвонили из лечебницы и сообщили, что к Эдварду внезапно вернулся рассудок. Его по-прежнему преследовали провалы в памяти, сказали мне, однако ясность ума бесспорно восстановилась. Разумеется, ему надлежало еще немного побыть под присмотром врачей, но благоприятный исход дела сомнений не вызывал. И если все будет хорошо, через неделю его можно выписывать.

Вне себя от радости я поспешил к Эдварду, но, когда сиделка привела меня в палату, я буквально остолбенел на пороге. Больной встал с постели поприветствовать меня и с вежливой улыбкой протянул мне руку. В то же мгновение я увидел, что он находится в том странно возбужденном состоянии, какое было совершенно чуждо его природе, — передо мной стоял когда-то ужасно напугавший меня самоуверенный субъект, который, как сам Эдвард признался мне однажды, был не кем иным, как вторгшимся в его тело иновоплощением

Асенат. Я увидел тот же пылающий взгляд — столь похожий на взгляд Асенат и старика Эфраима, тот же плотно сжатый рот, и, когда он заговорил, я смог различить в его голосе ту же угрюмую, всепроникающую злобную иронию. Это была та самая тварь, что сидела за рулем моего автомобиля пять месяцев назад, — человек, которого я не видел с того самого дня, когда он почему-то забыл позвонить в дверь нашим условным сигналом и породил во мне смутный страх, — и вот теперь он вновь вызвал во мне то же невятное ощущение богомерзкой потусторонности и космического ужаса.

Он говорил о необходимых приготовлениях перед выпиской — и мне ничего не оставалось, как соглашаться с ним, невзирая на удивительные провалы в его воспоминаниях о недавних событиях. Я чувствовал, что происходит нечто ужасное, ненормальное. Это существо вызывало у меня совершенно непостижимый ужас. Теперь он был в здравом уме, но точно ли это был тот Эдвард Дерби, которого я знал? Если нет, то кто или что это было, — и куда делся Эдвард? Надо ли было выпускать эту тварь на свободу или держать под замком? Или, может быть, следовало стереть его с лица земли? В каждом слове, изрекаемом этой тварью, было нечто сатанински-сардоническое — а взгляд, в котором угадывался взгляд Асенат, придавал некую особенно омерзительную насмешливость его словам о близкой свободе, завоеванной ценой *заточения в слишком тесном узнице*. Должно быть, я не сумел скрыть своего, мягко говоря, замешательства и пошел за благо побыстрее ретироваться.

Весь этот день и весь следующий я ломал голову над этой проблемой. Что же случилось? Чья душа глядела на меня из чужих глаз Эдварда? Я ни о чем другом не мог думать, кроме как об этой ужасной загадке, и оставил все попытки заниматься своей обычной работой. На второй день из лечебницы позвонили и сообщили, что состояние выздоравливающего пациента не изменилось, и к вечеру я уже находился на грани нервного припадка — это я могу откровенно признать, хотя

окружающие потом будут утверждать, что именно мое тогдашнее состояние и повлияло впоследствии на мое поведение. На этот счет мне сказать нечего. Кроме того, невозможно ведь объяснить только моим помрачением ума все затем происшедшее.

VII

Ночью — после того второго вечера — мною овладел неодолимый ужас, от которого я никак не мог избавиться. Все началось с телефонного звонка около полуночи. Я был в доме один, мне не спалось. Я сонно взял трубку в библиотеке. На другом конце линии, похоже, никого не было, и я уже собрался положить трубку и отправиться в постель, как мое ухо различило тончайший звук вдалеке. По-видимому, кто-то с превеликим трудом пытался со мной заговорить. Вслушавшись в звенящую тишину, я вроде бы услышал булькающий звук, какой издают падающие капли воды, — буль-буль-буль, — и в нем я с удивлением распознал намек на невнятные произносимые слова и отдельные слоги. Я спросил:

— Кто это?

Но в ответ раздавалось лишь «буль... буль... буль...». Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что звук был каким-то механическим; вообразив себе, что это мог быть некий сломанный аппарат, способный лишь улавливать, но не передавать звуки, я добавил:

— Вас не слышно. Повесьте трубку и свяжитесь с городской справочной.

И тут же я услышал, как трубку положили.

Это, как я уже сказал, произошло около полуночи. Когда же потом стали выяснять, откуда поступил звонок, оказалось, что мне звонили из крауниншилдовского дома — хотя до очередного посещения его слугами оставалась еще добрая неделя. Позднее в доме обнаружили какие-то следы, страшный беспорядок в дальней кладовой-погребе, повсюду грязь, то-

ропливо перерытый комод, странные отпечатки на телефонной трубке, разбросанные листы писчей бумаги и, наконец, стоявшую повсюду отвратительную вонь. Полицейские, бедолаги, высказали свои глупые гипотезы и до сих пор занимаются розысками злодеев-слуг — которым в нынешней суматохе удалось скрыться с глаз долой. Поговаривают об их мести за то, что с ними так бесцеремонно обошлись, и говорят, будто я тоже выбран в число их жертв, будучи ближайшим другом и советчиком Эдварда.

Идиоты! Неужто они вообразили, что эти мерзкие ловкачи могли подделать ее почерк? Неужто они считают, что они могли учинить все то, что впоследствии далее? Неужели они настолько слепы, что не заметили физических перемен в Эдварде? Что же до меня, я *теперь верю всему, что мне рассказал Эдвард*. Есть ужасы за гранью жизни, о которых мы даже не подозреваем, и время от времени человеческие злодеяния вызывают их из бездны и позволяют вторгнуться в наши земные дела. Эфраим — Асенат — сие сатанинское отродье призвало их, и они поглотили Эдварда так же, как сейчас пытаются поглотить меня. Могу ли я быть уверенным в своей безопасности? Ведь эти силы способны пережить сколь угодно живучее физическое тело. На следующий день после полудня, когда я вышел из прострации и вновь обрел способность связно говорить и контролировать свое тело, я отправился в сумасшедший дом и застрелил *его* ради Эдварда и ради всего человечества, но я ни в чем не могу быть уверен, пока его не кремировали! Тело сохраняют для какого-то дурацкого вскрытия, которое препоручили нескольким врачам — но я утверждаю: его необходимо кремировать. *Его необходимо сжечь — того, кто вовсе не был Эдвардом Дерби, когда я в него стрелял*. Я сойду с ума, если этого не сделают, ибо, возможно, я следующий! Но у меня сильная воля, и я не позволю подорвать ее теми кошмарами, которые, я знаю, роятся вокруг. Одна жизнь — Эфраим, Асенат, Эдвард — кто следующий? Я не дам изгнать себя из собственного тела!

Я не поменяюсь душой с изрешеченным пулями исчадием ада, что осталось там, в психушке!

Но позвольте мне по возможности связно рассказать о последнем кошмаре, которому я стал свидетелем. Я не стану распространяться о том, на что полиция упрямо не обращала внимания, — о рассказах про жуткого зловонного уродца, которого видели как минимум трое прохожих на Хай-стрит около двух часов ночи, и о необычных отпечатках ног, замеченных в нескольких местах. Я расскажу вам только о том, что около двух меня разбудил звонок и стук в дверь — звонили и кольцом стучали попеременно и как бы с опаской, в тихом отчаянии, причем тот, кто звонил и стучал, *пытался воспроизвести наш с Эдвардом условный сигнал — три-пауза-два*.

Вырванный из крепкого сна, мой мозг всполошился. Дербби у меня под дверью и он вспомнил наш старый код? Но ведь тот новый человек его не знал!.. Или душа Эдварда вдруг вернулась к нему? Но почему он пришел ко мне в такой спешке, в таком возбуждении? Или его выписали до срока, а может быть, он сбежал? Наверное, думал я, накидывая халат и спускаясь по лестнице вниз, обретение им своего прежнего «я» сопровождалось приступами бреда и физических страданий, подвигших его к отчаянному побегу на свободу. Что бы ни случилось, он снова был старым добрым Эдвардом и я должен был ему помочь!

Когда я распахнул дверь во тьму вязовой аллеи, меня обдало невыносимым зловонием, от которого я едва не потерял сознание. Но я сумел подавить приступ тошноты и через секунду с трудом различил согбенную маленькую фигурку на ступенях крыльца. Меня призвал к себе Эдвард, но тогда кто этот мерзкий смердящий шарж на человека? И куда это так внезапно исчез Эдвард? Ведь он звонил в дверь за секунду до того, как я ее открыл.

На прищельце было надето пальто Эдварда, его полы почти волочились по земле, а рукава, хотя и были завернуты, все равно закрывали кисти рук. На голову была нахлобучена

широкополая фетровая шляпа, нижнюю часть лица скрывал черный шелковый шарф. Когда я сделал неверный шаг вперед, фигурка издала хлюпающий звук, как тот, что я слышал по телефону: «буль... буль...» Его рука протянула мне на кончике длинного карандаша большой плотно исписанный лист бумаги. Все еще не придя в себя от нестерпимого зловония, я схватил бумагу и попытался прочитать ее при свете, струящемся из дверного проема.

Вне всякого сомнения, это был почерк Эдварда. Но зачем ему понадобилось писать мне, когда он только что был у меня под дверью? И почему это все буквы были вкривь и вкось, точно выписанные нетвердой трясущейся рукой? При тусклом освещении я не смог ничего разобрать и поэтому отступил в холл, а карлик без приглашения засеменил за мной, лишь чуть замешкавшись на пороге. От этого диковинного ночного гостя исходил чудовищный смрад, и я надеялся (к счастью, не напрасно), что моя жена не проснется и не увидит это чудовище.

Потом, приступив к чтению, я почувствовал, как у меня подогнулись колени и потемнело в глазах. Придя в себя, я увидел, что лежу на полу, а этот проклятый листок бумаги все еще зажат в моей сведенной судорогой руке. Вот что там было написано.

Дэн, иди в лечебницу и убей это. Уничтожь. Это больше не Эдвард Дерби. Она — Асенат — завладела мной, хотя сама она уже три с половиной месяца как мертва. Я солгал тебе, сказав, что она уехала. Я убил ее. Мне надо было так поступить. Все произошло неожиданно, но мы были одни, а я находился в своем теле. Мне подвернулся под руку подсвечник, и я пробил ей голову. Она собиралась завладеть мной навсегда в День всех святых.

Я похоронил ее в погребе под какими-то старыми ящиками и стер все следы. У слуг на следующее же утро зародились подозрения на мой счет, но у них самих есть такие секреты,

о которых они не смеют сообщить полиции. Я отослал их прочь из дома, но лишь одному Богу известно, что они и прочие члены их секты способны вытворить.

Какое-то время мне казалось, что я в полном порядке, но потом я стал ощущать, как что-то давит мне на мозг. Я понял, что это, — как же я мог забыть! Душа ее — или Эфраима — не покидает земной мир и продолжает витать тут и после смерти, пока не истлеет прежнее тело. Вот она и преследовала меня, заставляя обмениваться с ней телом, — она выкрадывала мое тело, а меня загоняла в свой труп, похороненный в погребке.

Я знал, что меня ждет, вот почему мне пришлось отправиться в лечебницу. И потом это произошло — запертый в разлагающемся трупе Асенат, я стал задыхаться во тьме, в погребке, под ящиками, где я закопал ее тело. И я знал, что она окажется в моем теле в лечебнице навсегда, ибо День всех святых уже прошел, и жертвоприношение должно было сделать свое дело даже и без нее — она переселится в мое тело, готовая обрести свободу и стать угрозой для всего человечества. Я был в отчаянии, но тем не менее смог выбраться наружу, ногтями прорыв себе лаз.

Все это уже зашло слишком далеко, и я теперь не в силах говорить — как не смог поговорить с тобой по телефону, — но я все еще способен писать. Сейчас я соберусь с последними силами и принесу тебе свое последнее слово и предупреждение. Убей эту гадину, если тебе дорого спокойствие и благо мира. И проследи, чтобы эту тварь сожгли. В противном случае она будет продолжать жить, вечно переходя из тела в тело, и я даже не могу теперь предсказать, на что это еще способно. И держись подальше от черной магии, Дэн, это сатанинское занятие. Прощай — ты был верным другом. Расскажи полицейским что-нибудь правдоподобное. Я ужасно сожалею, что втянул тебя во все это. Скоро я обрету покой — это тело долго не протянет. Надеюсь, ты сможешь это прочитать. И убей эту тварь — убей ее!

Твой Эд

Лишь много позже я смог прочитать вторую половину письма, ибо, едва дочитав третий абзац, упал в обморок. Я вновь лишился чувств, когда увидел зловонное существо, комочком свернувшееся на моем пороге. Ночной пришелец более не шевелился и не пришел в сознание.

Мой дворецкий, у которого нервы оказались более крепкими, чем у меня, не упал в обморок, явившись утром. Напротив, он тут же позвонил в полицию. Когда они приехали, меня перенесли наверх и уложили в кровать, а это — это существо — так и осталось лежать на том же месте. Полицейские, проходя мимо него, только закрывали носы рукавами.

В ворохе одежды Эдварда они обнаружили нечто совершенно отвратительное — скелет и пробитый череп. Осмотр зубов позволил идентифицировать череп как принадлежавший Асенат.

КОШМАР В РЕД-ХУКЕ

В каждом из нас тяга к добру уживается со склонностью к злу, и, по моему глубокому убеждению, мы живем в неизвестном нам мире — мире, исполненном провалов, теней и сумеречных созданий. Неизвестно, вернется ли когда-нибудь человечество на тропу эволюции, но в том, что изначальное ужасное знание до сих пор не изжито, сомневаться не приходится

Артур Мейчен

I

Пару недель тому назад внимание зевак, собравшихся на углу одной из улиц Паскоуга, небольшой деревушки на Род-Айленде, было привлечено необычным поведением высоко-го, крепко сложенного, цветущего вида человека, спустившегося с холма по дороге из Чепачета и направлявшегося по главной улице в центральный квартал, образуемый несколькими ничем не примечательными кирпичными строениями — главным образом лавками и складами, — которые одни только и придавали поселению оттенок урбанистичности. Именно в этом месте, без всякой видимой причины, с незнакомцем и случился странный припадок: пристально взглядевшись в самое высокое из зданий, он на секунду-другую застыл как вкопанный, а затем, издав серию пронзительных истерических воплей, бросился бежать, словно за ним гнались все демоны ада, но на ближайшем перекрестке споткнулся и грохнулся оземь. Когда заботливые руки помогли ему подняться и отряхнуть от пыли костюм, выяснилось, что он находился в здравом уме и, если не считать легких ушибов, полностью оправился от нервного срыва. Смущенно пробормотав несколько фраз, из которых явствовало, что в недавнем прошлом он перенес глубокую душевную травму, незнакомец повернулся и, не оглядываясь, зашагал обратно по чепачетской дороге. Когда он скрылся из глаз, все свидетели этого маленького происшествия сошлись во мнении, что подобного

рода припадков меньше всего приходится ожидать от таких крупных, сильных и энергичных мужчин, каким, без сомнения, был давешний пострадавший. Всеобщее удивление ничуть не уменьшилось от того, что один из стоявших поблизости зевак сказал, что признал в нем постояльца известного в округе молочника, жившего на окраине Чепачета.

Как вскоре выяснилось, человек этот был нью-йоркским детективом Томасом Ф. Мелоуном, находящимся ныне в длительном отпуске по состоянию здоровья, подорванного в результате непомерного объема работы, взваленного им на свои плечи во время расследования одного жутковатого дела, которому несчастная случайность придала весьма трагическое завершение. Во время облавы, в которой он принимал участие, рухнуло несколько старых кирпичных домов, под обломками которых погибли как преследуемые, так и товарищи Мелоуна по службе. Обстоятельства катастрофы столь потрясли детектива, что с тех пор он испытывал необъяснимый ужас при одном виде строений, хотя бы отдаленно напоминающих обрушившиеся, и в конце концов специалисты по умственным расстройствам посоветовали ему уехать из города на неопределенный срок. Полицейский хирург, у которого были родственники в Чепачете, предложил эту деревеньку, состоявшую из двух десятков домов в колониальном стиле, как идеальное место для исцеления душевных ран. Недолго думая, больной отправился в путь, пообещав держаться подальше от главных улиц более крупных поселений до тех пор, пока на то не будет особого разрешения вунсокетского психиатра, под наблюдение которого он поступал. Прогулка в Паскоуг за свежими журналами была явной ошибкой, и несчастный пациент заплатил за свое ослушание испугом, сияками и стыдом.

Это было все, что удалось выведать сплетникам из Чепачета и Паскоуга; ровно столько же знали и занимавшиеся Мелоуном специалисты с самыми высокими научными степенями. Однако последним детектив пытался рассказать гораздо больше, и лишь откровенное недоверие, с каким вос-

принимались его слова, заставило его замолчать. С тех пор он носил пережитое в душе и ни единым словом не выразил несогласия с единодушным мнением окружающих, винивших в нарушении его психического равновесия внезапный обвал нескольких дряхлых кирпичных домов в бруклинском Ред-Хуке и последовавшую в результате смерть доблестных блюстителей закона. Он потратил слишком много сил, говорили ему, чтобы разорить это гнездо порока и преступности; по совести говоря, там было много такого, от чего может содрогнуться даже самый мужественный человек, а неожиданная трагедия явилась всего лишь последним ударом. Это простое объяснение было доступно каждому, а потому как Мелоун был отнюдь не прост, он решил в своих же интересах им и ограничиться. Ибо намекать лишенным воображения людям на ужас, выходящий за рамки всех человеческих представлений, — ужас, со времени прежних эпох поглощающий и переваривающий древние дома, кварталы и города, — означало, что вместо оздоровительного отдыха в деревне он бы напрямую отправился в войлочную камеру психиатрической лечебницы, но для этого он был слишком разумным человеком, если, конечно, не считать некоторой склонности к мистицизму. Его отличало чисто кельтское видение страшных и потаенных сторон бытия и одновременно присущая логикам способность замечать внешне неубедительные вещи — сочетание, которое послужило причиной тому, что в свои сорок два года он оказался далеко от родного дома и занялся делом, не подобающим выпускнику Дублинского университета, появившемуся на свет на георгианской вилле поблизости от Феникс-парка.

А потому сейчас, перебирая мысленным взором вещи, которые ему довелось видеть, слышать или только смутно прозревать, Мелоун был даже рад тому, что он остался единственным хранителем тайны, способной превратить бесстрашного бойца во вздрагивающего от каждого шороха психопата, а кирпичные ущелья трущоб, высящиеся посреди моря смуглых, не отличимых друг от друга лиц прохожих, — в жуткое

напоминание о вечно стерегущем нас кошмаре. Это был не первый случай, когда Мелоуну приходилось скрывать свои чувства, ибо знавшие детектива люди считали его добровольное погружение в многоязычную бездну нью-йоркского дна чем-то вроде внезапного и необъяснимого каприза. Но как мог поведать он добропорядочным горожанам о древних колдовских обрядах и уродливых культах, следы которых представали его чуткому взору в этом бурлящем котле вековой нечисти, куда самые низкие подонки минувших развращенных эпох влили свою долю отравы и непреходящего ужаса? Он видел отсветы зеленоватого адского пламени, возжигаемого при помощи потаенного знания в самом сердце этого крикливого, пестрого людского хаоса, личиной которого была алчность, а душой — богохульное зло, и только чуть заметно улыбался в ответ на сыпавшиеся со всех сторон насмешки по поводу его нововведений в полицейскую практику. Доказывая Мелоуну бесплодность погони за фантастическими призраками и непостижимыми загадками, друзья-острословы цинично уверяли его, что в наши времена в Нью-Йорке не осталось ничего, кроме пошлости и ханжества, а один из них даже готов был биться об заклад на крупную сумму, что, несмотря на свои прежние острые публикации в «Дублинском обозрении», детективу не удастся написать по-настоящему интересной статьи о жизни городских трущоб. Сейчас, вспоминая те времена, Мелоун не мог не удивляться заложенной в основу нашего мироздания иронии, которая обратила в явь слова насмешливого пророка, хотя и вразрез с изначально заложенным в них смыслом. Ужас, навсегда отпечатавшийся в его сознании, не мог быть описан, потому что, наподобие немецкой книги, упомянутой однажды Эдгаром По, «es lässt sich nicht lesen» — он не позволял себя прочесть.

II

Ощущение скрытой тайны бытия постоянно преследовало Мелоуна. В юности он находил в самых обыкновенных вещах недоступную другим красоту и высокий смысл, что

служило ему источником поэтического вдохновения, однако нужда, страдания и вынужденные скитания заставили его обратить взор в другую сторону, и он содрогнулся при виде многообразия ликов зла, таящихся в окружающем мире. С этого момента жизнь его превратилась в фантасмагорический театр теней, в котором одни персонажи быстро сменялись другими, и на сцене являлись то резко очерченные, исполненные угрозы образы в духе лучших работ Бердслея, то самые невинные фигуры и предметы, за которыми лишь смутно угадывались контуры ужасающих созданий, наподобие тех, что воплощены на гравюрах более тонкого и изощренного Гюстава Доре. Ему часто приходило в голову, что насмешливое отношение людей, обладающих высоким интеллектом, ко всякого рода сокровенным знаниям является счастьем для остального человечества, ибо стоит им хоть раз вплотную заняться изучением секретов, на протяжении многих веков сберегаемых в рамках колдовских культов, как результаты их деятельности не только разрушат наш мир, но и поставят под вопрос существование всей вселенной. Без сомнения, подобного рода размышления накладывали несколько мрачноватый оттенок на мелоунский склад ума, однако мрачность эта с лихвой компенсировалась врожденными логическими способностями и тонким чувством юмора. Его вполне устраивало, что эти неясные, запретные видения оставались всего лишь объектом абстрактных умозаключений, и только когда исполнение служебного долга привело его к столкновению со слишком неожиданным и ужасающим откровением, этот баланс нарушился и наступила истерия.

Ред-Хукское дело впервые привлекло внимание детектива, когда он работал в полицейском участке на бруклинской Батлер-стрит, куда его временно прикомандировали для оказания помощи тамошним сотрудникам. Ред-Хук представляет собой грязный людской муравейник, образовавшийся на месте старых портовых кварталов напротив Гавернерз-Айленд, сгрудившихся вдоль нескольких неухоженных улиц, что берут начало от доков и бегут вверх по холму, чтобы в конце

концов соединиться с некогда оживленнейшими, а теперь почти не используемыми Клинтон- и Корт-стрит, ведущими в направлении Боро-Холл. В районе преобладают кирпичные строения, возведенные между первой четвертью и серединой прошлого столетия, а потому некоторые наиболее темные улочки и переулки до сих пор сохранили тот своеобразный мрачный колорит, который литературная традиция определяет не иначе как «диккенсовский». Состав населения Ред-Хука остается неразрешимой головоломкой для многих поколений статистиков: сирийские, испанские, итальянские и негритянские корни слились здесь воедино и, щедро посыпанные американским и скандинавским навозом, явили свету свои буйные ростки. Весьма странные крики вырываются порою из недр этого шумного столпотворения и вплетаются в чудовищную органную литанию паровозных гудков, исполняемую под аккомпанемент равномерного биения покрытых мазутной пленкой волн о мрачные причалы. Однако в давние времена Ред-Хук был совсем иным: на нижних улицах жили честные трудяги-моряки, а повыше, в изящных резиденциях на склонах холма, селились состоятельные коммерсанты. Следы былого благополучия можно различить и в основательной архитектуре старых домов, и в редкой красоте немногочисленных сохранившихся церквей, и в некоторых других разбросанных там и сям деталях — прогнивших балясинах лестничных проемов, покосившихся, а порою и сорванных с петель массивных дверях, изъеденных червями декоративных пилястрах или безжалостно вытопанных лужайках с поваленным ржавым ограждением. А иногда посреди плотно примыкающих друг к другу строений можно встретить легкий остекленный купол, в котором в стародавние времена собиралась семья капитана, чтобы часами наблюдать за океаном и ждать, когда на горизонте появится знакомый крылатый силуэт.

Отсюда, из этой морально и физически разлагающейся клоаки, к небу несутся самые изощренные проклятия на более чем сотне различных языков и диалектов. Бранясь на все лады и горлая грязные куплеты, по улицам шастают толпы

подозрительного вида бродяг, а стоит случайно забредшему сюда прохожему скользнуть взглядом по окнам домов, как в них тут же гаснет свет и видневшиеся за стеклами смуглые, отмеченные печатью порока лица торопливо скрываются за плотными занавесками. Полиция давно уже отчаялась навести здесь хотя бы видимость порядка и заботится лишь о том, чтобы скверна не выходила за границы района и не заражала внешний мир. При появлении патруля на улицах воцаряется мрачное, напряженное молчание, и таким же молчанием отвечают на все вопросы следователей задержанные в Ред-Хуке правонарушители. По своей пестроте состав преступлений здесь не уступает этносу — в посвященном этому району разделе полицейского архива можно найти все виды беззакония, начиная от контрабанды спиртным и «белой костью» и кончая самыми отвратительными случаями убийства и членовредительства. И если статистический уровень преступности в Ред-Хуке не выше, чем в остальных примыкающих к нему районах, то в этом заслуга отнюдь не полиции, но ловкости, с какой здесь умеют скрывать грязные дела. Достаточно заметить, что далеко не все люди, посещающие Ред-Хук, возвращаются обратно — обычно это удается только умеющим держать язык за зубами.

В настоящем положении дел Мелоун обнаружил едва уловимые признаки некой тщательно оберегаемой ужасной тайны, не сравнимой ни с одним из самых тяжких общественных пороков, о которых столь отчаянно вопиют добропорядочные граждане и которые столь охотно бросаются исцелять священники и филантропы. Ему, совмещавшему в себе пылкое воображение со строгим научным подходом, как никому другому было ясно, что современный человек, поставленный в условия беззакония, неумолимо скатывается до того, что в своей повседневной и религиозной практике начинает следовать не указаниям разума, а темным инстинктам, сохранившимся у него с доисторических времен, когда он еще мало чем отличался от обезьяны. Именно поэтому горланившие и сыплющие ругательствами процессии молодых людей с не-

видящими глазами и помеченными оспой лицами, попадавшие детективу в предрассветные часы на замусоренных улицах Ред-Хука, заставляли его всякий раз вздрагивать от отвращения чисто антропологического свойства. Группки этих молодых людей можно было увидеть повсюду: то они приставали к прохожим на перекрестках, то, развалившись в дверных проемах, наигрывали на примитивных музыкальных инструментах какие-то непостижимые мелодии, то пьянствовали или пичкали друг друга грязными историями у столиков пивнушек в Боро-Холл, а то заговорщицки шептались о чем-то, столпившись вокруг заляпанного грязью такси, припаркованного у высокого крыльца одного из полуразвалившихся домов с заколоченными окнами. При всей своей омерзительности они интересовали Мелоуна гораздо больше, чем он мог признаться своим товарищам по службе, ибо за ними скрывалась некая чудовищная сила, берущая начало в неведомых глубинах времени, некое враждебное, непостижимое и бесконечно древнее социальное существо, в своих проявлениях не имеющее ничего общего с бесконечными списками деяний, повадок и притонов преступного мира, с таким тщанием составляемыми в полицейских архивах. В нем зрело убеждение, что эти молодые подонки являются носителями какой-то жуткой доисторической традиции, хранителями беспорядочных, разрозненных обломков культов и обрядов, возраст которых превосходит возраст человечества. Слишком уж сплоченными и осмысленными были их действия, и слишком уж строгий порядок чувствовался за их внешней безалаберностью и неряшливостью. Мелоуну не доводилось попусту тратить время на чтение таких книжонок, как принадлежащие перу мисс Мюррей «Колдовские культы Западной Европы», а потому ему и в голову не приходило усомниться в том, что среди крестьян и некоторых других слоев населения издревле существует обычай устраивать нечестивые тайные сборища и оргии, восходящий к темным религиозным системам доарийского периода и запечатленный в народных преданиях как «черная месса» или «ведьмовской шабаш».

Он ничуть не сомневался и в том, что зловещие порождения урало-алтайского шаманства и азиатских культов плодородия дожили до наших дней, и лишь иногда содрогался, пытаясь представить себе, насколько древнее и ужаснее должны они быть в реальности, даже по сравнению со своими самыми древними и самыми ужасными описаниями.

III

Заняться серьезным изучением Ред-Хука Мелоуна заставило дело Роберта Сейдема. Сейдем, ученый потомок древнего голландского рода, после смерти родителей унаследовал ровно такое количество денег, которое позволяло ему не гнуть спину ради хлеба насущного, и с тех пор жил отшельником в просторном, но изрядно пострадавшем от времени особняке, что его дед своими руками построил во Флэтбуше во времена, когда эта деревушка представляла собой не более чем живописную группу коттеджей в колониальном стиле, притулившихся к островерхой, увитой плющом протестантской церквушке с небольшим голландским кладбищем за чугунной оградой. В этом уединенном жилище, возвышающемся в окружении почтенного возраста деревьев, Сейдем провел за книгами и размышлениями без малого шестьдесят лет, отлучившись лишь однажды, лет сорок тому назад, к берегам Старого Света, где провел, занимаясь неизвестно чем, полных восемь лет. Он не держал слуг и мало кому позволял нарушать свое добровольное затворничество. Близких друзей он не заводил, а немногочисленных знакомых, с кем еще поддерживал отношения, принимал в библиотеке — единственной из трех комнат первого этажа, которая содержалась в относительно хорошем порядке и была заставлена по стенам высоченными — от пола до потолка — стеллажами с рядами пухлых, замшелых от древности и отталкивающих с виду томов. Расширение городских пределов и последовавшее вслед за этим поглощение Флэтбуша Бруклином прошло для Сейдема абсолютно незамеченным, да и город постепенно перестал замечать его.

Если пожилые люди при редких встречах на улице еще узнавали его, то для молодого поколения он был не более чем забавным толстым старикашкой, чей несуразный облик, включавший в себя нечесаную седую шевелюру, всклокоченную бороду, потертую до блеска черную пиджачную пару и старомодную трость с позолоченным набалдашником, неизменно служил поводом для улыбок. До тех пор пока этого не потребовала служебная необходимость, Мелону не доводилось лично встречаться с Сейдемом, однако ему не раз рекомендовали голландца как крупнейшего специалиста в области средневекового оккультизма, и однажды он даже собрался было взглянуть на принадлежащую его перу монографию, посвященную влиянию каббалы на легенду о докторе Фаусте, — труд, который один из друзей детектива взмахом цитировал наизусть.

Сейдем стал представлять из себя «дело» после того, как какие-то его отдаленные и чуть ли не единственные родственники потребовали вынесения судебного определения о его невменяемости. Требование это, каким бы неожиданным оно ни показалось людям несведущим, явилось результатом длительных наблюдений и ожесточенных споров внутри семьи. Основанием для него послужили участвовавшие в последнее время странные высказывания и поступки патриарха: к первым можно было отнести постоянные упоминания каких-то чудесных перемен, которые вот-вот должны явиться миру, к последним — недостойное пристрастие к самым грязным и подозрительным притонам Бруклина. С годами он обращал все меньше внимания на свой внешний вид, и теперь его можно было принять за заправского нищего, что, кстати, не раз случалось с друзьями семьи, которые, к своему стыду и ужасу, замечали знакомые черты в опустившемся бродяге, доверительно шепчущимся со стайками смуглых, бандитского вида обитателей трущоб на станции подземки или на скамейке возле Боро-Холл. Все разговоры с ним сводились к тому, что, загадочно улыбаясь и через каждое слово вставляя мифологемы типа «Сфирот», «Асмодей» и «Самаэль», он пускался

в рассуждения о каких-то могущественных силах, которые ему уже почти удалось подчинить своей власти. Судебное дознание установило, что почти весь свой годовой доход и основной капитал Сейдем тратил на приобретение старинных фолиантов, которые ему доставляли из Лондона и Парижа, да на содержание убогой квартиры, снятой им в цокольном этаже одного из домов в Ред-Хуке. В этой квартире он проводил чуть ли не каждую ночь, принимая странные делегации, состоящие из экзотического вида иностранных и отечественных подонков всех мастей, и проводя за ее наглухо зашторенными окнами нечто вроде церковных служб и священнодействий. Сопровождавшие его по пятам агенты докладывали о странных воплях и песнопениях, что доносились до них сквозь громовой топот, служивший аккомпанементом этим ночным сборищам, и невольно поеживались, вспоминая их нечестивую, неслыханную даже для такого давно уже привыкшего к самым жутким оргиям района, как Ред-Хук, экзатичность и разнузданность. Однако, когда началось слушание дела, Сейдему удалось сохранить свободу. В зале суда манеры его снова стали изящными, а речи — ясными и убедительными. Ему не составило труда объяснить странности своего поведения и экстравагантность языка всецелой погруженностью в особого рода научное исследование. Он сказал, что все последнее время посвящал детальному изучению некоторых явлений европейской культуры, что неизбежно требовало тесного соприкосновения с представителями различных национальностей, а также непосредственного знакомства с народными песнями и танцами. Что же касается абсолютно нелепого предположения о том, что на его деньги содержится некая секретная преступная организация, так оно лишь еще раз подчеркивает то непонимание, с каким, как ни прискорбно, зачастую приходится сталкиваться настоящему ученому в своей работе. Закончив эту блистательно составленную и хладнокровно произнесенную речь, он дождался вынесения вердикта, предоставлявшего ему полную свободу действий, и удалился восвояси, исполненный гор-

дости и достоинства, — чего нельзя было сказать о пристыженных частных детективах, нанятых на деньги Сейдемов, Корлеаров и Ван Брунгов.

Именно на этой стадии к делу подключились федеральные агенты и полицейские детективы, в числе последних и Мелоун. Блюстители порядка присматривались к действиям Сейдема со все нараставшим интересом и довольно часто приходили на помощь частным детективам. В результате этой совместной работы было выявлено, что новые знакомые Сейдема принадлежали к числу самых отъявленных и закоренелых преступников, которых только можно было сыскать по темным закоулкам Ред-Хука, и что по крайней мере треть из них неоднократно привлекалась к ответственности за воровство, хулиганство и незаконный ввоз эмигрантов. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что круг лиц, в котором вращался престарелый мистик, почти целиком включал в себя одну из самых опасных преступных банд, издавна промышлявшую на побережье контрабандой живого товара — в основном, всякого безымянного и безродного азиатского отребья, которое благоразумно заворачивали назад на Эллис-Айленде. В перенаселенных трущобах квартала, известного в те времена как Паркер-плейс, где Сейдем содержал свои полуподвальные апартаменты, постепенно выросла весьма необычная колония никому неведомого узкоглазого народца, при письме пользовавшегося арабским алфавитом, родство с которым в самых энергичных выражениях отрицали все выходцы из Передней Азии, жившие по обе стороны Атлантик-авеню. За отсутствием паспортов или каких-либо иных удостоверений личности они, конечно, подлежали немедленной депортации, однако шестерни механизма, именуемого исполнительной властью, порою раскручиваются очень медленно, да и вообще, редко кто отваживался тревожить Ред-Хук, если его к тому не принуждало общественное мнение.

Все эти жалкие создания собирались в полуразвалившейся каменной церкви, по средам используемой в качестве танцевального зала, которая возносила к небу свои готические

контрфорсы в беднейшей части портового квартала. Номинально она считалась католической, но в действительности во всем Бруклине не нашлось ни одного святого отца, который бы не отрицал ее принадлежность к своей конгрегации, чему охотно верили полицейские агенты, дежурившие около нее по ночам и слышавшие доносящиеся из ее недр странные звуки. Им становилось не по себе от воплей и барабанного боя, сопровождавших таинственные службы; что же касается Мелоуна, так он гораздо больше страшился зловещих отголосков каких-то диких мелодий (исходящих, казалось, из установленного в потайном подземном помещении расстроенного органа), которые достигали его слуха в моменты, когда церковь была пуста и не освещена. Дававший по этому поводу объяснения в суде Сейдем заявил, что, по его мнению, этот действительно не совсем обычный ритуал представлял собой смесь обрядов несторианской церкви и тибетского шаманства. Как он полагал, большинство участников этих сборищ относились к монголоидной расе и происходили из малоизученных областей Курдистана (при этих словах у Мелоуна захолонуло в груди, ибо он вспомнил, что Курдистан является местом обитания йезидов, последних уцелевших приверженцев персидского культа почитания дьявола). Однако чем бы ни кончилось слушание дела Сейдема, оно пролило свет на постоянно растущую волну нелегальных иммигрантов, при активном содействии контрабандистов и по недосмотру таможенников и портовой полиции захлестывающую Ред-Хук от Паркер-плейс до верхних кварталов, где, подчиняясь законам взаимовыручки, вновь прибывших азиатов приветствовали их уже успевшие обжиться в новых условиях братья. Их приземистые фигуры и характерные узкоглазые физиономии, странным образом контрастирующие с надетыми на них крикливыми американскими нарядами, все чаще можно было увидеть в полицейских участках среди взятых с поличным на Боро-Холл воришек и мелких гангстеров, и в конце концов было решено произвести их перепись, установить, откуда они берутся и чем занимаются,

а потом передать в ведение иммиграционной службы. По соглашению между федеральными и городскими властями, дело это было поручено Мелоуну, и вот тогда-то, едва начав свое скитание по выгребным ямам Ред-Хука, он и оказался в положении человека, балансирующего на лезвии ножа над пропастью, имя которой было ужас и в самой глубине которой замаячила с виду жалкая фигурка Роберта Сейдема, как главного злодея и противника.

IV

Методы работы полиции отличаются широтой и разнообразием. За время своих блужданий по району Мелоуну удалось узнать немало разрозненных фактов, касающихся организации, чьи нелицеприятные контуры начали вырисовываться в голове детектива после разговоров с тщательно отслеженными «случайными знакомыми» — благодаря вовремя предложенной фляжке с дешевым пойлом, неизменно присутствовавшей в его заднем кармане, а иногда и суровым допросам перепуганных заключенных. Иммигранты действительно оказались курдами, однако говорили они на неведомом современной лингвистической науке диалекте. Те немногие из них, что добывали себе пропитание честным трудом, в основном работали на подхвате в доках или спекулировали всякой мелочью, хотя некоторых из них можно было увидеть и за плитой греческого ресторанчика, и за стойкой газетного киоска. Однако подавляющая их часть не имела видимых средств к существованию и специализировалась по различным уголовным профессиям, самыми безобидными из которых были контрабанда и бутлегерство. Все они прибывали на трамповых сухогрузах и темными, безлунными ночами переправлялись в шлюпках к какой-то пристани, соединенной потайным каналом с небольшим подземным озером, расположенным под одним из домов на Паркер-плейс. Что это были за пристань, канал и дом, Мелоуну узнать не удалось, поскольку все его собеседники сохранили лишь самые смутные вос-

поминания о своем прибытии, к тому же излагали они их на столь ужасном наречии, что полностью расшифровать его было не под силу самым способным переводчикам. Неясной оставалась и цель, с которой все новые и новые партии курдов завозились в Ред-Хук. На все расспросы относительно их прежнего места жительства, равно как и агентства, предложившего им переехать за океан, они отвечали молчанием, однако было замечено, что едва лишь речь заходила о причине, побудившей их поселиться здесь, на их лицах появлялось выражение неприкрытого ужаса. В равной степени неразговорчивы оказались и гангстеры других национальностей; и все сведения, которые в конце концов удалось собрать, ограничивались лишь смутными упоминаниями о каком-то боге или великом жреце, пообещавшем курдам неслыханное доселе могущество, власть и неземные наслаждения, которые они обретут в далекой стране.

Вновь прибывшие иммигранты и бывалые гангстеры продолжали с завидной регулярностью посещать строго охраняемые ночные бдения Сейдема, а вскоре полиция установила, что бывший затворник снял еще несколько квартир, куда можно было войти, только зная определенный пароль. В целом эти конспиративные жилища занимали три отдельных дома, которые и стали постоянным пристанищем для сейдемовских странных сообщников. Сам он теперь почти не появлялся во Флэтбуше, изредка забегая туда лишь затем, чтобы взять или положить обратно какую-нибудь книгу. Внешний облик старого голландца продолжал медленно, но неуклонно меняться — теперь в чертах его лица, равно как и в поведении, сквозила некая неизвестно откуда взявшаяся диковатость. Дважды Мелоун пытался заговорить с ним, но оба раза разговор кончался тем, что ему было велено убираться восвояси. Сейдем заявил, что он знать ничего не знает ни о каких заговорах и организациях и понятия не имеет о том, откуда в Ред-Хуке берутся курды и чего они хотят. Его забота — изучать, по возможности в спокойной обстановке, фольклор всех иммигрантов района, а забота полицейских — охра-

нять правопорядок, по возможности не суя нос в чужие дела. Мелоун не забыл упомянуть о своем восхищении, которое вызвала в нем монография Сейдема, посвященная каббале и древним европейским мифам, но смягчить старика ему не удалось. Почувствовав подвох, последний весьма недвусмысленно посоветовал детективу катиться куда подальше, что тот и сделал, решив отныне прибегать к иным источникам информации.

Что еще удалось бы раскопать Мелоуну, продолжай он постоянно работать над этим делом, мы теперь никогда не узнаем. Случилось так, что идиотская распря между городскими и федеральными властями на долгие месяцы затормозила расследование, и Мелоуну пришлось заняться другими делами. Но он ни на секунду не забывал о Ред-Хуке и потому был удивлен чуть ли не больше других, когда с Робертом Сейдемом начали происходить удивительные перемены. Как раз в то время, когда весь Нью-Йорк был взбудоражен прокатившейся по городу волной похищений и таинственных исчезновений детей, старый неряха-ученый претерпевал метаморфозы весьма загадочного и в равной степени абсурдного характера. Однажды он появился в Боро-Холл с чисто выбритым лицом, аккуратно подстриженными волосами и в безупречном костюме. С тех пор каждый новый день добавлял к его облику все новые черты светскости, и вскоре он уже мало чем отличался от самых утонченных щеголей, поражая знакомых несвойственными ему ранее блеском глаз, живостью речи и стройностью некогда грузной фигуры. Теперь, снова обретя упругую походку, бойкость манер и (как ни странно!) природный цвет волос, он выглядел гораздо моложе своих лет. С течением времени он начал одеваться все менее консервативно и в конце концов окончательно сразил своих знакомых серией многолюдных приемов, устроенных в его заново переоборудованном флэтбушском доме, куда он пригласил не только всех, кого мог припомнить, но и своих полностью прощенных родственников, которые еще совсем недавно яростно добивались его изоляции. Некоторые из гостей приезжали

ради любопытства, другие — из чувства долга, но и те и другие не могли скрыть приятного удивления, вызванного умом и обворожительными манерами бывшего отшельника. Он заявил, что в основном закончил работу всей своей жизни, и теперь, после получения кстати пришедшегося наследства, завещанного ему одним полузабытым другом из Европы, он собирается потратить остаток своих дней на удовольствия, которые обещает ему вторая юность, ставшая возможной благодаря покою, диете и тщательному уходу за собой. Все реже и реже можно было увидеть его в Ред-Хуке, и все чаще появлялся он в обществе, для которого был предназначен от рождения. Полицейские отметили, что гангстеры, ранее собиравшиеся в цокольном помещении на Паркер-плейс, теперь зачастили в старую каменную церковь, используемую по средам в качестве танцевального зала, но и прежние, все еще принадлежащие Сейдему квартиры не были забыты, и там по-прежнему селилась вся районная нечисть.

Затем произошли два на первый взгляд ничем не связанных между собой, но в равной степени важных для Мелоуна события. Первым из них явилось короткое объявление в «Орле», извещающее о помолвке Роберта Сейдема и юной мисс Корнелии Герристен, дальней родственницы новоиспеченного жениха, проживавшей в Бейсайде и прекрасно зарекомендовавшей себя в высших слоях общества. Вторым — обыск, проведенный городской полицией в старой церкви после того, как какой-то насмерть перепуганный горожанин доложил, что в одном из полуподвальных окон здания ему на секунду померещилось лицо ребенка. Мелоун, принимавший участие в облаве, воспользовался случаем и с особым тщанием исследовал каждую деталь интерьера. Полиция не нашла ровным счетом ничего — более того, это место выглядело совершенно заброшенным, — но обостренное кельтское восприятие Мелоуна не могло пройти мимо некоторых очень подозрительных, очень неуместных в церкви вещей. Чего стоили хотя бы фрески, грубо намалеванные на стенах! Фрески, на которых лицам святых были приданы такие сардониче-

ские выражения и такие вольные позы, что, пожалуй, их не одобрил бы и самый заядлый атеист. Да и греческая надпись, что шла поверх кафедры, пробудила в нем отнюдь не самые приятные ассоциации, ибо бывший студент Тринити-колледжа не мог не узнать в ней древнее колдовское заклинание, на которое он однажды наткнулся, перебирая пыльные рукописи в университетской библиотеке, и которое буквально гласило следующее:

«О друг и возлюбленный ночи, ты, кому по душе собачий лай и льющаяся кровь, ты, что крадешься в тени надгробий, ты, что приносишь смертным ужас и взамен берешь кровь, Горго, Мормо, тысячеликая луна, благоволи принять наши скромные подношения!»

При виде этой надписи, странным образом пробудившей у него в памяти отголоски диких органных мелодий, что во время его ночных бдений у стен церкви доносились, казалось, откуда-то из-под земли, Мелуна охватила невольная дрожь. Ему пришлось содрогнуться еще раз, когда, обследуя алтарь, он обнаружил металлическую вазу, по краям которой шла темная, похожая на ржавчину полоска, а удушливая волна смрада, внезапно налетевшая невесть откуда и ударившая ему в нос, заставила его на минуту-другую застыть на месте от ужаса и отвращения. Память о варварских органных наигрышах не давала ему покоя, и, прежде чем уйти, он тщательно обшарил все подвальные помещения, но так ничего и не нашел. Каким бы подозрительным ни казалось ему это место, он ничего не смог бы доказать, а все его интуитивные догадки относительно богохульственных фресок и надписей могли быть легко опровергнуты предположением, что они являются всего лишь плодом невежества и неискусности церковного художника.

Ко времени сейдемовской свадьбы похищения детей, вылившиеся в настоящую эпидемию, стали привычной темой газетных пересудов. Подавляющее большинство жертв этих странных преступлений происходили из семей самого низ-

кого пошиба, однако все увеличивающееся число исчезновений вызвало у общественности настоящую бурю эмоций. Заголовки газетных статей призывали полицию положить конец беспрецедентной вспышке насилия, и властям не оставалось ничего иного, как вновь послать детективов из полицейского участка на Батлер-стрит искать в Ред-Хуке возможные улики, новые обстоятельства и потенциальных преступников. Мелоун обрадовался возможности снова пойти по старому следу и с готовностью принял участие в облаве, проведенной в одном из домов Сейдема на Паркер-плейс. Несмотря на поступившие сообщения о доносившихся из дома криках, полиция не обнаружила внутри никаких следов похищенных детей, за исключением найденной на заднем дворе окровавленной ленточки — из тех, что маленьким девочкам вплетают в волосы. Однако чудовищные рисунки и надписи, выцарапанные на облупившихся стенах почти во всех комнатах, а также примитивная химическая лаборатория, оборудованная на чердаке, утвердили Мелоуна во мнении, что за всем этим скрывается какая-то поистине ужасная тайна. Рисунки были на редкость отталкивающими — никогда ранее детективу не доводилось видеть такого количества чудищ всех мастей и размеров. Многочисленные надписи были выполнены каким-то красным веществом и являли собою смешение арабского, греческого, латинского и древнееврейского алфавитов. Мелоун не смог толком прочесть ни одной из них, однако и того, что ему удалось расшифровать, хватило, чтобы остановить кровь в его жилах. Ибо одна из наиболее часто повторявшихся инскрипций, нацарапанная на эллинистическом варианте древнегреческого языка, изрядно сдобренного ивритом, носила очевидное сходство с самыми жуткими заклинаниями, которыми когда-либо вызывали дьявола под крышами безбожной Александрии:

HEL . HELOYM . SOTHER . EMMANVEL . SABAOTH . AGLA .
TETRAGRAMMATON . AGYROS . OTHEOS . ISCHIRO . ATHANATOS .
IENOVA . VA . ADONAI . SADAY . HOMOVSION . MESSIAS .
ESCHEREHEYE

Встречавшиеся на каждом шагу магические круги и пентаграммы весьма недвусмысленно указывали на предмет религиозного поклонения обитателей этого весьма обшарпанного жилища, прозябавших в нищете и убожестве. Последнее обстоятельство было тем более странно, если учесть, что в погребке полицейские обнаружили совершенно невообразимую вещь — небрежно прикрытую куском старой мешковины груду полновесных золотых слитков, на сияющей поверхности которых присутствовали все те же загадочные иероглифы, что и на стенах верхних помещений! Во время облавы полицейским не пришлось столкнуться со сколько-нибудь организованным сопротивлением — узкоглазые азиаты, высыпавшие из каждой двери в неисчислимом количестве, позволяли делать с собою, что угодно. Не найдя ничего существенного, представители власти убрались восвояси, но возглавлявший отряд капитан позднее послал Сейдему записку, в которой рекомендовал последнему быть более разборчивым в отношении своих жильцов и протезе ввиду сложившегося вокруг них неблагоприятного общественного мнения.

V

А потом наступил июнь, и Сейдем отпраздновал свадьбу, которая надолго запомнилась местным обывателям. Ни одно событие на их памяти не могло сравниться по своему великолепию с этим празднеством, которое Сейдемы и Герристы устроили им на удивление. Начиная с полудня, весь Флэтбуш был запружен роскошными автомобилями, чьи разноцветные флажки весело развевались на ветру, а имена многочисленных приглашенных, сопровождавших новобрачных на пристань Кунард-Пиэр, если и не составляли украшение нью-йоркских светских хроник, то, по крайней мере, регулярно фигурировали в них. В пять часов прозвучали последние слова прощания; огромный трансатлантический лайнер отвалил от длинного причала и, медленно развернувшись носом на восток и отдав буксирные концы, величественно направился в без-

брежные водные просторы, за которыми лежали все чудеса и соблазны Старого Света. К наступлению сумерек лайнер вышел за пределы внешней гавани Нью-Йорка, и припозднившиеся на прогулочной палубе пассажиры получили возможность вволю полюбоваться отражением звезд в незамутненных водах океана.

Сейчас уже никто не может сказать, что именно — гудок следовавшего встречным курсом парового сухогруза или жуткий вопль, донесшийся с нижней палубы, — первым нарушило мирное течение жизни на судне. Возможно, оба прозвучали одновременно, но сейчас это уже не имеет никакого значения. Кричали в каюте Сейдема, и вполне вероятно, что если бы матросу, взломавшему дверь и поспешившему на помощь молодоженам, удалось сохранить рассудок, он мог бы порассказать немало странных и ужасных вещей о том, что он там увидел. Однако этого ему не удалось — издав душевраздирающий крик, по громкости превосходивший вопли первых жертв, он выскочил из каюты и принялся, завывая, носиться по всему кораблю. Потребовалось немало труда, чтобы изловить его и заковать в железо. Корабельный врач, минуто спустя вошедший в покои новобрачных, избежал сей жалкой участи, но все последующие годы хранил гробовое молчание относительно того, что предстало его взору в то роковое мгновение. Исключением послужило одно-единственное письмо, которое он отправил Мелону в Чепачет. В нем он подтвердил, что кошмарное происшествие было запротоколировано как убийство, однако, естественно, ни в одном полицейском протоколе не были засвидетельствованы такие мелочи, как, например, глубокие царапины на шее миссис Сейдем, которые не могли быть оставлены рукой ее супруга, да и вообще любой другой человеческой рукой, или кроваво-красная надпись, некоторое время зловеще мерцавшая на стене каюты и позднее восстановленная доктором по памяти как халдейское «ЛИЛИТ». Стоило ли обращать внимание на подобные вещи, которые к тому же через несколько минут пропали без следа? Что же касается тела Сейдема, то врачу по-

требовалось сделать над собой изрядное усилие, прежде чем он смог приступить к осмотру омерзительных останков. В своем послании к Мелоуну доктор сделал особый упор на то, что ему не довелось лицезреть саму *Тварь*. За секунду до того, как он включил свет, за открытым иллюминатором каюты промелькнула какая-то фосфоресцирующая тень и в воздухе прозвучал слабый отголосок дьявольского смеха, но ничего более определенного ему явлено не было. Доказательством этому, утверждал доктор, может послужить тот факт, что он все еще находится в здравом уме.

Несколько минут спустя внимание экипажа целиком переключилось на подошедший вплотную к ним сухогруз. С парохода была спущена шлюпка, и вскоре толпа смуглых, вызывающего вида оборванцев, облаченных в потрепанную форму береговой полиции, уже карабкалась на борт лайнера, который ввиду всех этих весьма необычных обстоятельств временно застопорил машины. Вновь прибывшие тут же потребовали выдать им Сейдема или его тело — как видно, они знали не только о том, что он находится на борту, но и каким-то непостижимым образом уже пронюхали о его смерти. В тот момент на капитанском мостике воцарилось настоящее столпотворение, ибо два таких события, как доклад перепуганного доктора об увиденном им в каюте и последовавшее непосредственно за ним дикое требование неведь откуда взявшихся полицейских, могли поставить в тупик и мудрейшего из мудрецов, а не то что простого служаку-морьяка. Капитан все еще колебался, не зная, как ему поступить, когда предводитель назойливых визитеров, темнокожий араб с пухлыми губами, свидетельствовавшими о том, что в его жилах течет негритянская кровь, протянул ему порядком помятый и замызганный листок бумаги. Он был подписан Робертом Сейдемом и содержал следующее странноватое сообщение:

В случае если мне суждено стать жертвой внезапного, равно как и необъяснимого, несчастного случая и буде он приведет к моей смерти, прошу вас незамедлительно и беспреко-

словно передать мое тело в руки подателя сего послания и его помощников. От вашей сговорчивости целиком и полностью зависит как моя собственная, так и, вполне возможно, ваша дальнейшая судьба. Все объяснения будут представлены позднее — исполните лишь то, о чем я вас прошу сейчас!

Роберт Сейдем

Капитан и доктор обменялись удивленными взглядами, после чего последний прошептал что-то на ухо первому. В конце концов оба беспомощно пожали плечами и повели непрошенных гостей к апартаментам Сейдема. Когда они отпирали дверь каюты, доктор посоветовал капитану не смотреть внутрь. Все последующее время, пока пришельцы находились внутри, он провел как на иголках, немного успокоившись только после того, как вся эта разношерстная толпа повалила наружу, унося на плечах свою плотно завернутую в простыню ношу. Он возблагодарил Бога за то, что сверток оказался достаточно тугим для того, чтобы не выдавать очертаний сокрытого внутри предмета, и что у носильщиков хватило ловкости не уронить его по дороге к ожидавшей их у правого борта шлюпке. Лайнер возобновил свой путь, а доктор и корабельный гробовщик вновь отправились в злосчастную каюту, чтобы оказать последние услуги остававшейся в ней мертвой женщине. Там врачу пришлось пережить очередное ужасное откровение, еще более усугубившее его скрытность и даже принудившее к намеренному искажению истины. Ибо когда гробовщик спросил, зачем доктору понадобилось выпускать всю до последней капли кровь из тела миссис Сейдем, у него не хватило смелости признаться, что он не имел к этому злодеянию ни малейшего отношения. Равно как не стал он обращать внимание своего спутника на пустые ячейки в сетке для бутылок и на резкий запах спиртного, доносившийся из водослива, куда, несомненно, и было вылито их изначальное содержимое. Только тут он вспомнил, что карманы темнокожих моряков — если, конечно, они были моряками и вообще людьми — сильно оттопыривались, когда они возвращались

к своей шляпке. Как бы то ни было, но два часа спустя на берег была послана радиограмма, и мир узнал все, что ему полагалось знать об этой трагедии.

VI

Тем же самым июньским вечером ничего не подозревавший о случившемся на судне Мелоун носился по узким улочкам Ред-Хука в состоянии крайнего возбуждения. Район бурлил, как потревоженный муравейник, а таинственные азиаты — все как на подбор старые знакомцы детектива, — словно оповещенные каким-то неведомым сигналом, в огромном количестве собирались и, казалось, ожидали чего-то возле старой церкви и сейдемовских квартир на Паркер-плейс. Только что стало известно о трех новых похищениях — на этот раз жертвами стали белокурые, голубоглазые отпрыски норвежцев, населявших соседний Гауэнес, — и до полиции дошли слухи, что взбешенные потомки викингов формируют ополчение, призванное навести порядок в Ред-Хуке и наказать виновных средствами самосуда. Мелоун, который уже несколько недель убеждал начальство произвести всеобъемлющую чистку в этом районе, наконец преуспел в своих попытках — под давлением обстоятельств, более понятных трезвому рассудку, чем домыслы дублинского мечтателя, руководство городской полицией все-таки решилось нанести сокрушительный удар по гнезду порока. Накаленная обстановка, сложившаяся в районе в тот вечер, только ускорила дело, и около полуночи сводные силы трех близлежащих полицейских участков ворвались на площадь Паркер-плейс и прилегающие к ней улицы, арестовывая всех, кто только ни подворачивался под руку. Когда были взломаны двери конспиративных жилищ, из полутемных, освещаемых только чадящими канделябрами комнат наружу хлынули неописуемые орды азиатов, среди которых попадалось немало таких, что имели на себе митры, пестрые узорчатые халаты и другие ритуальные параферналии, о значении которых можно было только до-

гадиваться. Большинство улик было утрачено в суматохе, ибо арестованные умудрялись выбрасывать какие-то предметы в узкие колодцы, о существовании которых полиция ранее не подозревала и которые вели, казалось, к самому центру Земли. Густой аромат поспешно воскуренного благовония скрыл все подозрительные запахи, но кровь — кровь была повсюду, и Мелоун содрогался от отвращения всякий раз, как взгляд его натыкался на очередной алтарь с еще дымящейся на нем жаровней.

Мелоун разрывался на части от желания попасть всюду разом, и наконец, после того как ему сообщили, что старинная церковь на Паркер-плейс полностью очищена от злоумышленников и что там не осталось ни одного необследованного уголка, остановил свой выбор на полуподвальной квартире Сейдема. Он полагал, что именно там спрятана отмычка, которая позволит ему проникнуть в самое сердце таинственного культа, центральной фигурой которого — теперь уже без всякого сомнения — являлся пожилой ученый-мистик. Поэтому понятно то рвение, с каким он рылся в пыльных, пахнущих сыростью и могилой комнатах, перелистывая диковинные древние книги и изучая невиданные приборы, золотые слитки и небрежно разбросанные там и сям пузырьки, запечатанные стеклянными пробками. Один раз он едва не споткнулся о тощего, черного с белыми пятнами кота, который скользнул у него между ног, попутно опрокинув стоящую на полу склянку с какой-то темно-красной жидкостью. Он здорово испугался, но отнюдь не от неожиданности. И по сей день детектив толком не может сказать, что ему померещилось тогда; однако с тех пор этот кот каждую ночь является ему во сне, и он снова и снова видит, как тот поспешно уносится прочь, претерпевая на ходу чудовищные превращения. Потом он наткнулся на эту ужасную подвальную дверь и долго искал, чем бы ее выбить. Под руки ему попало старинное тяжелое кресло, сиденьем которого можно было сокрушить порядочной толщины кирпичную стену, не то что трухлявые от вре-

мени доски двери, и он принялся за работу. Несколько уда-
ров оказалось достаточно, чтобы дверь затрещала, закрипела
и наконец рухнула целиком — но под давлением с *другой* сто-
роны! Оттуда, из зияющей черноты проема, с ревом вырва-
лась струя ледяного воздуха, в котором, казалось, смешались
все самые отвратительные миазмы ада. Оттуда же, из неведо-
мых на земле и на небесах областей, пришла неодолимая за-
тягивающая сила, которая сомкнула свои щупальца вокруг
парализованного ужасом детектива и потащила его вниз —
сквозь дверной проем и дальше, через необъятные сумереч-
ные пространства, исполненные шепотов и криков и раскатов
громового хохота.

Конечно, то был всего лишь сон. Так сказали врачи, и ему
нечего было им возразить. Пожалуй, для него самого было
бы лучше принять все случившееся за сон — тогда старые
кирпичные трущобы и смуглые лица иноземцев не повергали
бы его в такой ужас. Но сны не врезаются в память настолько,
что никакая сила на свете не может потом вытравить из нее
мрачные подземные склепы, гигантские аркады и бесформен-
ные тени адских созданий, что чередой проходят мимо, сжи-
мая в когтях полуобглоданные, но все еще живые тела жертв,
вопиющих о пощаде или заходящихся безумным смехом. Там,
внизу, дым благовоний смешивался с запахом тлена, и в обла-
ках этих тошнотворных ароматов, проплывавших в ледяных
воздушных струях, копошились глазастые, похожие на амеб
создания. Темные, маслянистые волны бились об ониковую
набережную, и один раз в их мерный шум вплелись пронзи-
тельные, дребезжащие звуки серебряных колокольчиков, при-
ветствовавших появление обнаженной фосфоресцирующей
твари (ее нельзя было назвать женщиной), которая, идиотски
хихикая, выплыла из клубившегося над водой тумана, выбра-
лась на берег и взгромодилась на стоящий неподалеку рез-
ной позолоченный пьедестал, где и уселась на корточки, ухмы-
ляясь и оглядываясь по сторонам.

Во все стороны от озера расходились темные туннели,
и могло показаться, что в этом месте находится источник

смертельной заразы, которой в назначенный час предстоит расползтись по всему свету и затопить города и целые нации зловонною волною поветрия, пред которым побледнеют все ужасы чумы. Здесь веками назревал чудовищный гнойник Вселенной, и сейчас, когда его разбередили нечестивыми ритуалами, он готовился начать пляску смерти, цель которой состояла в том, чтобы обратить всех живущих на земле во вздутые пористые свертки гниющей плоти и крошащихся костей, слишком мерзостные даже для могилы. Сатана правил здесь свой Вавилонский бал, и светящиеся, покрытые пятнами разложения руки Лилит были омыты кровью невинных младенцев. Инкубы и суккубы возносили хвалу Великой матери Гекате, им вторило придурочное бляенье безголовых уродов. Козлы плясали под разнузданный пересвист флейт, а эгипяны, оседлав прыгавшие подобно огромным лягушкам валуны, гонялись за уродливыми фавнами. Естественно, не обошлось и без Молоха и Астарты — ибо посреди этой квинтэссенции дьяволизма границы человеческого сознания рушились, и его взору представляли все ипостаси царства зла и все его запретные измерения, когда-либо являвшиеся или прозревавшие на земле. Ни созданный человеком мир, ни сама Природа не смогли бы противостоять натиску этих порождений тьмы, освобожденных от своих сумрачных узилищ, равно как ни крест, ни молитва не смогли бы обуздать вальпургиеву пляску ужаса, развязанную тщеславным схоластом, подобравшим ключ к наполненному дьявольским знанием сундуку, который ему принесла невежественная азиатская орда.

Внезапно эту исполненную фантазмов тьму прорезал яркий луч света, и посреди адского гвалта, поднятого богопротивными тварями, Мелоун расслышал плеск весел. Он становился все громче, и вскоре на мутной поверхности озера появилась большая лодка, на носу которой был установлен зажженный фонарь. Она пришвартовалась у массивного, вделанного в осклизлый булыжник набережной кольца и изверг-

ла из своих недр толпу смуглых, странной наружности людей, тащивших на плечах тяжелый, завернутый в простыни куль. Они бросили его к ногам обнаженной фосфоресцирующей твари, что восседала на резном золотом пьедестале, и та довольно захихикала и похлопала по нему рукой. Затем вновь прибывшие развернули куль и извлекли из него полуразложившийся труп дородного старика со щетинистой бородой и всклоченными седыми волосами, который тут же и прислонили стоймя к пьедесталу. Фосфоресцирующая тварь издала еще один идиотский смешок, после чего люди с лодки достали из карманов какие-то бутылки и, окропив ноги мертвеца наполнявшей их красной жидкостью, передали их твари. Она принялась жадно пить.

В то же самое мгновение в одном из бесконечных сводчатых туннелей раздались треск и тяжелое сопение раздуваемых органных мехов, и через секунду из его темного зева вырвались низкие надтреснутые звуки нечестивой мелодии, дьявольским образом пародирующей святыи гимны. Все вокруг пришло в движение: козлы, сатиры, эгипяны, инкубы, суккубы, лемуры, амёбы, кособокие лягушки, ревуны с собачьими мордами и просто безмолвные тени — все это кошмарное сборище образовало своего рода процессию и под предводительством отвратительной фосфоресцирующей твари, что до того, хихикая, сидела на золотом троне, а теперь важно выступала, сжимая в руках окоченевший труп дородного старика, направилось туда, откуда доносились холодающие душу звуки. Участники процессии скакали и кривлялись в приступе вакхического безумия, им вторили танцующие в хвосте колонны странные люди с лодки. Ослепленный, растерянный, потерявший уверенность в своем земном или каком-либо ином существовании, Мелоун автоматически сделал было несколько неуверенных шагов вслед удалявшемуся шествию, но тут же пошатнулся и, хватая руками воздух, повалился на мокрый холодный булыжник набережной, где и лежал, задыхаясь и дрожа всем телом, в то время как

нарастающие звуки демонического органа постепенно поглощали издаваемые процессией визг и вой и барабанный бой.

До его притупленного ужасом слуха доносились обрывки непристойных песнопений и отдаленные отзвуки невнятных квакающих голосов. Пару раз он слышал, как вся компания принималась выть и стенать в богохульственном экстазе. Однако вскоре все эти звуки сменились мощным, изрыгаемым тысячами глоток речитативом, в котором Мелуун узнал ужасную греческую надпись-заклинание, что ему довелось прочесть однажды над кафедрой старой, служащей ныне танцевальным залом церкви.

«О друг и возлюбленный ночи, ты, кому по душе собачий лай (в этом месте адское сборище испустило отвратительный вой) и льющаяся кровь (здесь последовали душераздирающие вопли вперемешку со звуками, которым нет названия на земле), ты, что крадешься в тени надгробий (затем, после глубокого свистящего выдоха), ты, что приносишь смертным ужас и взамен берешь кровь (далее, вслед за короткими, сдавленными воплями, исторгнутыми неисчислимым множеством глоток), Горго (и эхом повторенное), Мормо (и затем в иступлении экстаза), тысячеликая луна (и на выдохе, в сопровождении флейт), благоволи принять наши скромные подношения!»

Завершив песнопение, вся компания разразилась всеобщим воплем, к которому примешивались странные свистящие звуки, похожие на змеиное шипение, и на секунду за общим гвалтом не стало слышно даже органа, который на протяжении всей церемонии не переставал оглашать воздух своим басовитым дребезжанием. Затем из бесчисленных глоток вырвался возглас восхищенного изумления, и стены туннеля затряслись от оглушительных криков, лая и блеяния, общий смысл которых сводился к бесконечному повтору пяти жутких слов: «Лилит, о Великая Лилит! Воззри на своего Жениха!» Новые вопли, шум борьбы — и из туннеля донеслись

быстрые влажные шлепки, как если бы кто-то бежал босиком по мокрому камню. Звуки эти явственно приближались, и Мелоун приподнялся на локте, чтобы лицом к лицу встретить этот новый вызов.

Окуtywавший подземелье полумрак немного рассеялся, и в исходившем от стен призрачном свечении взору Мелоуна предстал неясный силуэт бегущего по туннелю существа, которое по всем законам божьего мира не могло ни бегать, ни дышать, ни даже собственно существовать. То был полуразложившийся труп старика, оживленный дьявольскими чарами только что завершившегося ритуала. За ним гналась обнаженная фосфоресцирующая тварь, сошедшая с резного пьедестала, а у нее за спиной неслись, пыхтя от усердия, смуглые люди с лодки и вся остальная омерзительная компания. Напрягая каждый полуистлевший мускул, мертвец начал понемногу отрываться от своих преследователей — он явно держал курс на позолоченный резной пьедестал, очевидно являвшийся призом в этой жуткой гонке. Еще мгновение — и он достиг своей цели, при виде чего отвратительная толпа у него за спиной взвыла и наддала скорости. Но было уже поздно. Ибо, собрав последние силы, труп того, кто был некогда Робертом Сейдемом, одним прыжком одолел последние несколько метров, отделявшие его от пьедестала и со всего размаха налетел на предмет своего вождения. Сила удара была столь чудовищна, что не выдержали и с треском лопнули мускулы богомерзкого создания и его растерзанное тело бесформенной массой стекло к подножию пьедестала, который, в свою очередь, покачнулся, наклонился и, немного побалансировав на краю набережной, соскользнул со своего ониксового основания в мутные воды озера, скрывавшие под собой немыслимые бездны Тартара. В следующий момент милосердная тьма сокрыла от взора Мелоуна окружавший его кошмар, и он без чувств повалился на землю посреди ужасающего грохота, с которым, как ему показалось, обрушилось на него подземное царство тьмы.

VII

Рассказ ничего не подозревавшего о смерти Сейдема детектива о том, что ему довелось пережить в адском подземелье, странным образом подтверждается несколькими весьма красноречивыми уликами и совпадениями, выявленными в ходе расследования, — однако это еще не является основанием для того, чтобы принимать его всерьез. Во время облавы без всякой видимой причины обрушились три старых, изъеденных временем и плесенью дома на Паркер-плейс, погребя под собой половину полицейских и большую часть задержанных, — причем за редким исключением и те и другие были убиты на месте. Спасти удалось лишь тем, кто в этот момент находился в подвалах и цокольных этажах. В числе счастливиц оказался и Мелоун, которого обнаружили в состоянии глубокого обморока на берегу черного озера, раскинувшегося глубоко под домом Роберта Сейдема, чье обезображенное тело, представлявшее из себя равномерную массу гниющей плоти и перемолотых костей и идентифицированное лишь по пломбам и коронкам на верхней челюсти, лежало в двух шагах от бесчувственного детектива. Дело представлялось властям совершенно ясным: подземелье было соединено с побережьем узким каналом, по которому остановившие лайнер смуглые псевдотаможенники и доставили Сейдема домой. Их, кстати, так никогда и не нашли — во всяком случае, среди трупов, извлеченных из-под обломков, не нашлось никого, кто хотя бы отдаленно подходил под описание, предоставленное корабельным врачом, до сих пор не разделяющим уверенности полиции в столь простой природе этого таинственного дела.

Очевидно, Сейдем возглавлял обширную организацию контрабандистов, так как ведущий к его дому канал был лишь частью разветвленной сети подземных каналов и туннелей, опутывавшей всю округу. Один из таких туннелей соединял его дом с огромным пустым пространством под старой церковью, куда из последней можно было попасть лишь через

узкий потайной проход, имевшийся в северной стене здания. В этом подземелье были обнаружены весьма необычные и страшные вещи, в том числе расстроенный орган, установленный посреди просторной молельни с длинными рядами скамеек и отталкивающего вида алтарем. Стены молельни были испещрены темными отверстиями, ведущими к невероятно узким и тесным камерам, в семнадцати из которых были обнаружены скованные по рукам и ногам узники, пребывавшие в состоянии тихого и абсолютно неизлечимого умопомешательства. Страшно сказать, но среди них оказались четыре женщины с новорожденными младенцами на руках, и младенцы эти мало напоминали сынов человеческих. Все они умерли вскоре после того, как их вынесли на свет, и полицейские врачи сошлись во мнении, что это был для них самый лучший исход. Однако ни у одного из осматривавших этих странных выродков специалистов не всплыл в памяти мрачный вопрос старика Дельрио: «*An sint unquam daemones incubi et succubae, et an ex tali congressu proles nasci queat?*»¹ Ни у одного, кроме Мелоуна.

Прежде чем подземные каналы были засыпаны, их осушили и тщательно обследовали дно. В результате было обнаружено огромное количество костных обломков различной величины. После того всем стало ясно, что именно отсюда исходила злоедающая эпидемия киднеппинга, что в последнее время будоражила весь город. Однако из оставшихся в живых задержанных только двоих удалось притянуть к ответу, да и то они отделались всего лишь тюремным заключением, ибо прямых доказательств их участия в кошмарных убийствах так и не было найдено. Что же касается позолоченного резного пьедестала, который, по словам Мелоуна, представлял из себя предмет первостепенной важности для членов мерзкой секты убийц, то все поиски его оказались безрезультатными. Возможно, конечно, что он угодил в бездонную впадину, что

¹ «Если не демонами инкубами и суккубами, то кем еще могли быть произведены на свет эти отродья?» (лат.)

находилась непосредственно под домом Сейдема и была слишком глубока для осушения. В конце концов жерло ее окружили стеной и сверху залили бетоном, чтобы она не мешала закладке фундаментов новых домов, но Мелоун так и не смог заставить себя забыть о ее страшном содержимом. Удовлетворенные успешным завершением операции по разгрому опасной банды религиозных маньяков и контрабандистов, полицейские чиновники передали тех курдов, что оказались непричастными к ее преступным деяниям, федеральным властям. Последние тут же депортировали из страны нежелательных азиатов, попутно установив, что они и в самом деле являются йезидами-дьяволопоклонниками. Сухогруз и его смуглокожая команда так и остались зловещей загадкой для всех, хотя иные отчаянные детективы громогласно утверждали, что в любой момент готовы оказать самый достойный прием этой своре контрабандистов и бутлегеров, стоит им лишь появиться вместе во своим кораблем в здешних водах. На эти хвастливые утверждения Мелоун лишь печально покачивал головой, удивляясь про себя безнадежной ограниченности блюстителей закона, которая не позволяет им обратить внимание как на тысячи лежащих перед их носом необъяснимых улик, так и на темную природу этого дела в целом; в равной степени сетует он и на газеты, помещающие на своих страницах лишь отдельные сенсационные подробности ред-хукского кошмара и в то же время принимающие за не заслуживающую публичного освещения секту маньяков-садистов то, что является манифестацией вселенского ужаса на Земле. Однако ему не остается ничего другого, как мирно сидеть в Чепачете, залечивая расшатанную нервную систему и моля Бога о том, чтобы все пережитое им за последние месяцы перешло из сферы реальной жизни в область причудливого, невероятного вымысла.

Роберт Сейдем покоится рядом со своей невестой на Гринвудском кладбище. Его омерзительные останки зарыли в землю без обычной в таких случаях церемонии, а многочисленные родственники молодоженов смогли облегченно вздох-

нуть лишь после того, как ужасное происшествие поросло наконец быльем. Соучастие пожилого ученого в кошмарных ред-хукских убийствах так и не было доказано юридически, поскольку смерть помогла ему избежать дознания, которому, в противном случае, он бы неминуемо подвергся. Даже обстоятельства его смерти не получили широкой огласки, а потому у клана Сейдемов есть все основания надеяться, что последующие поколения запомнят его лишь как тихого затворника, питавшего безобидную страсть к изучению магии и фольклора.

Что же до Ред-Хука, то он ничуть не изменился. Сейдем пришел и ушел — так же мимолетен был сопровождавший его ужас. Но зловещее дыхание тьмы и разложения по-прежнему овевает эти скопища старых кирпичных домов, а стайки молодых подонков продолжают сновать по своим неведомым делам под окнами, в которых время от времени мелькают странные огни и перекошенные лица. Переживший века ужас неистребим, как тысячеголовая гидра, а сопровождающие его культы берут свои истоки в святотатственных безднах, что будут поглубже Демокритова колодца. Дух Зверя вездесущ и всемогущ, а потому горланиющие и сыплющие ругательствами процессии молодых людей с невидящими глазами и отмеченными оспой лицами будут продолжать слоняться по Ред-Хуку, который является для них некой перевалочной базой, где они ненадолго останавливаются на пути из одной неведомой бездны в другую — на пути, куда их толкают бездушные биологические законы, которые они сами вряд ли понимают. Как и прежде, сегодня в Ред-Хук прибывает больше людей, чем возвращается обратно, и среди местных жителей уже поползли слухи о новых подземных каналах, прорытых контрабандистами и ведущих к тайным центрам торговли спиртным и другими, гораздо более предосудительными вещами.

В старой церкви, что ранее использовалась как танцевальный зал только по средам, теперь каждую ночь устраиваются весьма странные увеселения, а редкие прохожие не раз виде-

ли в подвальных окнах искаженные ужасом и страданием лица. А совсем недавно один полицейский ни с того ни с сего заявил, что засыпанное подземное озеро, то самое, с зацементированным жерлом глубоководной впадины, было разрыто опять — но кем и с какой целью, он не мог даже предположить.

Кто мы такие, чтобы противостоять Злу, появившемуся на Земле во времена, когда не существовало еще ни человеческой истории, ни самого человечества? Чтобы умиловить это Зло, наши обезьяноподобные азиатские предки совершали ритуалы, которые и сейчас, подобно раковой опухоли, пожирают все новые и новые кварталы древних кирпичных домов.

Мелоунские страхи отнюдь не лишены оснований — всего лишь два дня тому назад патрулировавший по Ред-Хуку полицейский услышал, как в одной темной подворотне смуглая узкоглазая старуха учила крохотную девочку какому-то малопонятному заклинанию. Заинтересовавшись происходящим, он остановился и напряг слух. И вот что он услышал:

«О друг и возлюбленный ночи, ты, кому по душе собачий лай и льющаяся кровь, ты, что крадешься в тени надгробий, ты, что приносишь смертным ужас и взамен берешь кровь, Горго, Мормо, тысячеликая луна, благоволи принять наши скромные подношения!»

ХРЕБТЫ БЕЗУМИЯ

I

Нижеследующий рассказ я публикую вынужденно, поскольку представители науки отвергли мой совет, сочтя его бездоказательным. Я решительно предпочел бы умолчать о причинах, заставляющих меня противиться грядущему вторжению в Антарктику с его последствиями: безудержной охотой за окаменелостями, бурением множества скважин, растапливанием полярных льдов, — тем более что к моим словам, возможно, никто не прислушается. Факты, о которых я должен поведать, неизбежно будут встречены с недоверием, но если выпустить из рассказа все необычное и невероятное, останется одно пустое место. Подкреплением им послужат прежде не публиковавшиеся фотографии, сделанные как на земле, так и с воздуха, — на редкость четкие и наглядные. Критики, однако, усомнятся и здесь, объявив снимки искусным фотомонтажом. Чернильные зарисовки уж точно никого не убедят, а вызовут лишь ухмылки, притом что над их необычным характером стоило бы задуматься искусствоведам.

В итоге мне остается положиться на проницательность и авторитет тех немногих выдающихся ученых, кто, с одной стороны, мыслит достаточно независимо, чтобы оценить, сколь несокрушимо убедительны сами по себе представленные мною данные, или же сопоставить их с некоторыми древнейшими и весьма загадочными мифологическими циклами; с другой же стороны, эти ученые должны быть достаточно влиятельны, дабы удержать исследователей от чересчур по-

спешных и опрометчивых предприятий в регионе «хребтов безумия». К несчастью, когда речь идет о предметах столь противоречивых и далеко выходящих за рамки обыденного, безвестным сотрудникам заштатного университета, каковыми являемся мы с коллегами, едва ли можно надеяться на внимание научных кругов.

И дополнительный фактор, нам не благоприятствующий: мы не являемся в строгом смысле специалистами непосредственно в тех научных областях, которые в данном случае более всего затронуты. Передо мной, как геологом и руководителем экспедиции Мискатоникского университета, была поставлена задача добыть в разных точках антарктического континента образцы пород глубокого залегания, для чего предполагалось воспользоваться замечательным буром, который был сконструирован профессором Фрэнком Пейбоди, сотрудником нашего технического факультета. На роль первопроходца в каких-либо иных областях я не претендовал; надежды мои ограничивались тем, чтобы, не удаляясь от ранее исследованных путей, при помощи упомянутого механического устройства отобрать в ряде пунктов образцы, прежде, до изобретения нового метода, недоступные. Буровая установка Пейбоди, как уже знает публика из наших сообщений, превосходит все аналоги по таким качествам, как легкость и компактность, а эффективное сочетание принципов вращательного и ударного бурения позволяет ей легко справляться с породами различной твердости. Стальная насадка, буровые штанги, бензиновый двигатель, разборная деревянная вышка, принадлежности для взрывных работ, такелаж, шнек, составная бурильная колонна диаметром пять дюймов и общей глубиной до 1000 футов — все это, с дополнительными принадлежностями, помещалось на трех санях, по семь собак в упряжке, благо большая часть металлических конструкций была изготовлена из легких алюминиевых сплавов. Имелись четыре больших самолета Дорнье, специально спроектированных для полетов на огромной высоте (поскольку летать

предстояло над антарктическими плоскогорьями) и дополнительных устройствами для подогрева горячего и ускоренного запуска двигателя (разработки того же Пейбоди). Эти машины предназначались для доставки участников экспедиции из базы на краю большого ледяного барьера к различным точкам в глубине материка, а дальше можно было перемещаться на собаках, которые имелись в достаточном количестве.

Мы рассчитывали проработать один антарктический сезон (при крайней необходимости и дольше) и исследовать за это время как можно большую область преимущественно в горах и на плоскогорье к югу от моря Росса, то есть в регионах, в той или иной степени изученных Шеклтоном, Амундсеном, Скоттом и Бэрдом. Часто меняя лагерь, достигая с помощью самолетов отдаленных друг от друга и различных по геологии областей, мы рассчитывали собрать беспрецедентно обширный научный материал — особенно в докембрийских слоях, антарктические образцы которых в распоряжении ученых были наперечет. Предполагалось также собрать коллекцию самых разнообразных поверхностных пород с окаменелостями: знание древней истории этих безжизненных льдистых пределов послужило бы солидным подспорьем при изучении прошлого всей нашей планеты. Уже ни для кого не секрет, что в незапамятные времена на антарктическом континенте царил умеренный и даже жаркий климат, процветала разнообразная флора и фауна, от которой в наши дни уцелели только лишайники, морские животные, паукообразные и пингвины, да и те лишь на северной кромке материка; мы же надеялись существенно пополнить и уточнить эти сведения. Если обнаружатся признаки окаменелостей, мы планировали перейти к буровзрывным работам, чтобы добыть образцы нужного размера и качества.

Поскольку в низинах толщина ледяного панциря составляла от мили до двух, мы решили ограничиться голыми — или почти голыми — склонами и вершинами гор, выявлять многообещающие участки и там бурить на разную глубину.

Мы не могли себе позволить проходку большой ледовой толщи, хотя Пейбоди придумал просверливать частые отверстия, опускать туда медные электроды и, запитывая их от работающей на бензине динамо-машины, растапливать таким образом участок льда. Именно этот метод (проверить его можно было только в ходе такой экспедиции, как наша) намереваются применить участники будущей экспедиции Старкуэзера-Мура; ко мне они не прислушиваются, хотя я после возвращения из Антарктики неоднократно уже выступал в печати с предостережениями.

О Мискатоникской экспедиции публика осведомлена благодаря нашим частым радиограммам в газету «Аркхем эдвертайзер» и агентство «Ассошиэйтед пресс», а также позднейшим заметкам, которые публиковали мы с Пейбоди. В составе ее были четверо сотрудников университета: Пейбоди, Лейк с биологического факультета, Этвуд с физического (он же был нашим метеорологом) и я — представитель геологической науки и номинальный глава экспедиции, — а также шестнадцать ассистентов: семеро аспирантов и девять мастеров-механиков. Двенадцать человек из названных шестнадцати были квалифицированными пилотами, и все, за исключением двоих, умели обращаться с радиопередатчиком. Восемь ассистентов, а также мы с Пейбоди и Этвудом, разбирались в навигации и умели обращаться с компасом и секстантом. Добавьте сюда два бывших китобойных судна (с усиленным, для плавания среди льдов, деревянным корпусом и вспомогательным паровым двигателем) и их полностью укомплектованные экипажи. Экспедицию финансировал Фонд Натаниэля Дерби Пикмана, было сделано и несколько дополнительных пожертвований, поэтому даже в отсутствие особой огласки подготовка была проведена самая основательная. В Бостон для погрузки на суда были доставлены собаки, сани, механизмы, лагерное оборудование и припасы, а также, в разобранном виде, наши пять самолетов. Мы обеспечили себя всем необходимым для достижения своих целей, и во всем, что касается припасов и экипировки, организационных

вопросов, перевозки, оборудования лагеря, был использован ценнейший опыт наших недавних — и блестящих — предшественников. Именно потому, что их было много и их достижения широко обсуждались, наша экспедиция, при всех ее масштабах и значимости, прошла относительно незамеченной.

Как сообщалось в газетах, мы отплыли из Бостонской бухты 2 сентября 1930 года, взяли курс вдоль берега на юг, прошли Панамский канал, сделали остановку на островах Самоа и далее в Хобарте, на острове Тасмания, где взяли на борт последнюю партию припасов. Никто из тех, кто готовился заниматься научными исследованиями, не бывал прежде в полярных широтах, поэтому нам оставалось только положиться на опыт капитана брига «Аркхем» Дж. Б. Дагласа (он командовал морским этапом экспедиции), а также капитана барка «Мискатоник» Георга Торфиннссена; оба они долгое время промышляли в Антарктике китов. Обитаемые земли остались позади, солнце с каждым днем все ниже и все дольше висело над северным горизонтом. Приблизительно на 62° южной широты мы впервые видели айсберги, плоские, как стол, с отвесными стенками, а незадолго до 20 октября, когда с надлежащими, весьма причудливыми церемониями состоялось пересечение полярного круга, впервые натолкнулись на труднопроходимые ледовые поля. После долгого плавания в тропиках я никак не мог приспособиться к низким температурам, однако приходилось держаться, поскольку главные испытания были еще впереди. Частенько я, восхищенный и зачарованный, наблюдал необычные атмосферные явления; однажды это был поразительно правдоподобный мираж (первый в моей жизни): отдаленные айсберги вдруг обратились укреплениями грандиозных, немыслимых замков.

Пробившись через льды (к счастью, не очень протяженные и плотные), мы на 67° южной широты и 175° восточной долготы достигли открытого водного участка. Утром 26 октября на южном горизонте показался желтоватый отблеск — знак, что близок снежный берег, и еще до полудня мы с трепетом завидели впереди могучую, одетую снегом горную

цепь, заступавшую весь горизонт. Это был долгожданный аванпост обширного неисследованного континента, загадочного мертвого царства мороза. Перед нами, очевидно, простиралась Адмиралтейская гряда, открытая Россом, и теперь нам нужно было обогнуть мыс Адэр и вдоль восточного побережья Земли Виктории следовать до места, где мы планировали устроить базу: на берегу пролива Мак-Мердо, у подножия вулкана Эребус, 77° 9' южной широты.

Заключительный отрезок пути поражал воображение: на западе теснились таинственные нагие пики, солнце (полуденное — низко над северным горизонтом, полуночное — и того ниже над южным) бросало бледно-розовые лучи на белый снег, голубоватый лед, разводя, черный гранит крутых склонов. На пустынные вершины порывами налетал жуткий антарктический ветер, в его завываниях чудились иной раз живые ноты отчаяния; затрагивая какие-то подсознательные воспоминания, этот разноголосый плач будил во мне смутные страхи. Чем-то этот пейзаж напоминал странные, тревожные азиатские полотна Николая Рериха и даже еще более странное и тревожное описание зловещего плоскогорья Ленг из «Некрономикона», написанного безумным арабом Абдулом Альхазредом. Позднее мне пришлось пожалеть о том, что я вообще ознакомился в библиотеке колледжа с этой чудовищной книгой.

Седьмого ноября мы, временно потеряв из виду горную гряду на западе, миновали остров Франклина, а на следующий день перед нами показались, на фоне длинной цепи гор Парри, конические вершины вулканов Эребус и Террор на острове Росса. К востоку простирался белой линией большой ледовый барьер; он вставал из воды перпендикулярно, похожий на скалистые утесы Квебека: водный путь к югу здесь кончался. После полудня мы вошли в пролив Мак-Мердо и пристали к берегу с подветренной стороны от курящегося Эребуса. Вулканический пик, высотой 12 700 футов, громоздился к востоку, похожий на японскую гравюру со священной горой Фудзияма; на заднем плане виднелся Террор —

потухший вулкан высотой 10 900 футов. Время от времени Эребус выпускал клубы дыма; один из аспирантов, очень способный молодой человек по фамилии Данфорт, указал нам на потеки лавы на снежном склоне и заметил, что эта гора, открытая в 1840 году, несомненно, рисовалась воображению Эдгара По, написавшего семью годами позже:

Словно лава катилась огнем,
Словно серные реки, что Яник
Льет у полюса в сне ледяном,
Что на северном полюсе Яник
Со стоном льет подо льдом¹.

Данфорт увлекался фантастической литературой, и По не сходил у него с языка. Я и сам им интересовался — из-за его единственного романа: пугающего, загадочного «Артура Гордона Пима», где действие происходит в Антарктике. И на пустынном берегу, и на мощном ледяном барьере поодаль забавно кричали и хлопали ластами бесчисленные пингвины, в воде и на медленно несомых течением льдинах виднелось множество упитанных тюленей.

9-го числа, вскоре после полуночи, мы на шлюпках не без труда высадились на остров Росса; с собой мы везли канаты: по ним, в люльках, мы предполагали доставить с кораблей груз. Впервые ступая на землю Антарктиды, пусть даже вслед за Скоттом и Шеклтоном, мы немало волновались. Лагерь на мерзлом берегу у склона вулкана предназначался исключительно для хранения запасов — штаб-квартира оставалась на «Аркхеме». Мы сгрузили на сушу буровую установку, собак, сани, палатки, провизию, цистерны с бензином, экспериментальное оборудование для растапливания льда, фотоаппараты и аэрофотокамеры, детали разобранных самолетов и другие принадлежности, в том числе три переносных рации (помимо тех, что имелись на самолетах), чтобы, в какую бы точку антарктического континента мы ни забрались, с их помощью

¹ Э. А. По «Улялюм» (1847). Перевод Валерия Брюсова.

держат связь с большим приемопередатчиком на «Аркхеме». Последний, в свою очередь, обеспечивал сообщение с внешним миром и должен был передавать наши репортажи на мощную радиостанцию в Кингспорт-Хеде, штат Массачусетс, принадлежащую газете «Аркхем эдвертайзер». Мы надеялись уложиться с нашими планами в одно антарктическое лето, но, если не справимся, не исключали и зимовку на «Аркхеме»; «Мискатоник» в таком случае, прежде чем установится лед, привез бы запасы для нового сезона.

Сообщения о начальных этапах нашей работы уже появлялись в газетах, поэтому нет нужды вновь рассказывать о нашем восхождении на гору Эребус, об успешном поиске минералогических образцов в различных пунктах острова Росса, о необычно скоростной работе установки Пейбоди, с легкостью одолевавшей самые твердые породы, об испытании оборудования для точечного растапливания льда, об опасном подъеме, с санями и припасами, на ледяной барьер и, наконец, о сборке в лагере пяти громадных самолетов. Никто из высадившихся на землю (а это были двадцать человек и пятьдесят пять аляскинских ездовых собак) не заболел — впрочем, мы не сталкивались до сих пор ни с сильными морозами, ни с бурями. Температура не опускалась ниже 20–25°, а для жителей Новой Англии это не особенно суровая погода. Лагерь на барьере был предназначен для складирования горючего, провизии, динамита и других запасов. Для переброски исследовательского оборудования мы собирались задействовать четыре самолета, тогда как пятый, с пилотом и двумя моряками, оставался в резерве, чтобы эвакуировать нас, если весь прочий воздушный транспорт выйдет из строя. Позднее, когда один или два самолета бывали свободны, мы использовали их, чтобы доставлять грузы со склада на вторую постоянную базу; она располагалась в 600–700 милях южнее, на большом плоскогорье за ледником Бирдмора. Наши путешественники единодушно сообщали об ураганных ветрах, дующих оттуда, однако мы решили, что экономней и вообще рациональней будет не устраивать промежуточных баз.

В радиосообщениях рассказывалось о головокружительном четырехчасовом перелете нашей эскадрильи над мощными шельфовыми льдами (это было 21 ноября), о гигантских пиках на западе, о бездонной тишине, гулким эхом откликавшейся на шум наших двигателей. Ветра нас не особенно беспокоили; однажды мы попали в непроницаемый туман, однако сориентировались при помощи радиокompаса. Между 83° и 84° широты перед нами вырос обширный подъем: самый большой долинный ледник в мире, ледник Бирдмора; скованное льдом море уступило место хмурому гористому берегу. Наконец мы по-настоящему вступили в белый, охваченный вековечным сном мир крайнего юга и, едва это осознав, разглядели в отдалении, на востоке, вершину горы Нансена, высотой почти 15 000 футов.

Как мы благополучно оборудовали на леднике, в точке с координатами 86° 7' широты и 174° 23' восточной долготы, южную базу, как добирались на санях или самолетом в различные близлежащие районы, как успешно, с феноменальной скоростью проводили там буровые и взрывные работы — все это осталось в истории, равно как и нелегкое, но триумфальное восхождение Пейбоди с двумя аспирантами, Гедни и Кэрроллом, на гору Нансена, состоявшееся 13–15 декабря. Мы находились на высоте 8500 футов над уровнем моря, и когда пробное бурение показывало, что в данной точке нас отделяет от твердой земли не более двенадцати футов снега и льда, шла в ход установка для точечного растапливания льда, а затем — буры и динамит. В результате мы получили минералогические образцы в таких местах, где и не мечталось прежним исследователям. Полученные таким образом докембрийские граниты и песчаники серии «Бикон» подтвердили наше мнение, что данное плато сходно по геологическому строению с обширным континентальным массивом на западе, однако несколько отлично от областей, расположенных восточнее, ближе к Южной Америке. В ту пору мы предполагали, что эти области образуют другой, меньший континент, отделенный от

основного замерзшим протоком между морями Росса и Уэдделла, однако впоследствии Бэрд эту гипотезу опроверг.

В ряде случаев бурение показывало, что данный песчаник заслуживает более внимательного исследования. Добыв при помощи динамита и зубила образцы, мы обнаружили интересные следы и фрагменты ископаемых организмов, прежде всего папоротниковых, морских водорослей, трилобитов, криноидов, а также плеченогих и брюхоногих моллюсков. Все эти находки представляют большую ценность для изучения ранней истории антарктического региона. Среди прочего Лейк обнаружил странный бороздчатый треугольник, размером в фут по большей стороне, который он сложил из трех сланцевых фрагментов, взятых из взрывной воронки. Работа велась на западе, вблизи хребта Королевы Александры, и Лейк, как биолог, признал отпечаток весьма странным и наводящим на размышления, хотя мой взгляд геолога увидел в этой ряби довольно обычную для осадочных пород картину. Поскольку сланец представляет собой не более чем метаморфическую формацию, содержащую спрессованный осадочный слой, и поскольку давление само по себе причудливо искажает любые формы, бороздчатый треугольник не вызвал у меня никаких вопросов.

6 января 1931 года мы — Лейк, Пейбоди, Дэниэлс, все шестеро студентов, четверо механиков и я — пролетели на двух больших самолетах над самым Южным полюсом. Однажды поднялся ветер, и нам пришлось совершить вынужденную посадку, но ураганной силы он, по счастью, не достиг. Это был, как указывалось в газетах, один из наблюдательных полетов; во время прочих мы пытались изучить топографические особенности тех мест, куда не проникали прежние исследователи. В этом плане первые полеты нас разочаровали, хотя нам посчастливилось наблюдать обманчивое великолепие полярных миражей, о которых мы уже получили некоторое представление на море. В воздухе проплывали отдаленные горы, подобные зачарованным городам; белизна окружающего мира нередко расцвечивалась яркими красками

фантазий лорда Дансени: золотой, серебряной, алой; магический свет низкого полуночного солнца будил ожидание чуда. В облачные дни пилотировать самолет бывало нелегко: заснеженная земля и небо сливались в сплошную молочно-опаловую пустоту, где невозможно было различить разделяющую их полосу горизонта.

Наконец мы решили вернуться к нашему первоначальному плану, то есть на всех четырех исследовательских самолетах вылететь на восток и на расстоянии 500 миль устроить новую промежуточную базу в точке, принадлежащей (как мы ошибочно предполагали) к соседнему отдельному участку суши. Будет интересно, думали мы, сравнить добытые там геологические образцы с прочими. Здоровье всех участников до сих пор ничуть не пострадало: сок лайма служил удачным дополнением к нашему постоянному рациону — консервированным и соленым продуктам, температура воздуха обычно не опускалась ниже нуля, так что самая теплая меховая одежда не пошла еще в ход. Наступила середина лета, и мы рассчитывали, работая споро и старательно, завершить наши труды к марту, чтобы избежать томительной зимовки в условиях долгой антарктической ночи. С запада несколько раз налетали жестокие штормовые ветра, но благодаря изобретательности Этвуда они не нанесли нам ущерба: он придумал простейшие укрытия для самолетов, ветроломы из тяжелых снежных блоков, а также укрепил лагерные строения при помощи того же снега. Все шло на удивление гладко.

Внешний мир, конечно, был осведомлен о нашей исследовательской программе; не было секретом и странное упорство Лейка, непременно желавшего до переезда на новую базу совершить вылазку на запад, а вернее — на северо-запад. Похоже, он немало размышлял о сланцевом бороздчатом треугольнике и строил пугающе дерзкие предположения. Он усмотрел в загадочном образце несоответствие природе и геологии данного периода, и это так раззадорило его любопытство, что он спал и видел, как бы добыть новые материалы на западе, где простиралась формация, к которой, по всей види-

мости, принадлежали заинтересовавшие его сланцы. Непонятно, почему он убедил себя, будто имеет дело с отпечатком некоего не известного науке крупного организма — не поддающегося классификации, однако весьма сложного, притом что порода, в которой он был обнаружен, относилась к древнему — кембрийскому, а то и докембрийскому — периоду, когда сложных организмов не существовало вообще и вся фауна сводилась к одноклеточным — самое большее, к трилобитам. Возраст фрагментов со странным отпечатком составлял порядка 500 миллионов, а то и весь миллиард лет.

II

Надо полагать, публику немало поразили наши радиосводки об экспедиции Лейка на северо-запад, в области, где еще не бывал — и даже не мыслил побывать — человек, хотя о безумных надеждах Лейка произвести переворот в биологической и геологической науках мы не упоминали. 11–18 января он совершил предварительную вылазку на санях, с участием Пейбоди и еще пятерых человек (утомительную экспедицию омрачило происшествие: преодолевая нагромождение торосов, сани перевернулись и погибли две собаки), и привез новые образцы архейских сланцев. Обилие ископаемых организмов в невероятно древних слоях заинтересовало уже и меня. Ничего столь уж невероятного я в них, впрочем, не усмотрел: это были весьма примитивные формы жизни; удивляться можно было только тому, что в докембрийских, по всей видимости, слоях вообще обнаружились признаки живых существ. Я все еще не видел смысла в требовании Лейка отступить от нашей, сжатой по времени, программы, тем более что для этого требовались все четыре самолета, много участников и все научное оборудование. И все же, поразмыслив, я не отверг план Лейка, хотя сам не прислушался к его доводам, что ему необходимы советы геолога, и остался на базе. Они улетели, а мы с Пейбоди и еще пятью сотрудниками

ми стали обсуждать подробности запланированного перемещения на восток. Подготовка уже шла: один из самолетов начал перевозить с пролива Мак-Мердо изрядный запас горючего — но с этим можно было подождать. Я оставил на базе сани и девять собак: в абсолютно безлюдном мире векового сна нужно иметь при себе на всякий случай хоть какой-то транспорт.

Как всем известно, участники экспедиции Лейка в неведомое и сами посылали сообщения с помощью коротковолновых передатчиков на самолетах; сигналы принимались одновременно нами на южной базе и «Аркхемом» в проливе Мак-Мердо, откуда на волне пятьдесят метров сводки передавались во внешний мир. Экспедиция отправилась 22 января, в 4 часа утра, а первое сообщение поступило к нам только через два часа: Лейк сказал, что они приземлились в 300 милях от базы и начали пробное растапливание льда и бурение. Через шесть часов пришла вторая радиограмма, тон ее был очень взволнованный: работа кипела вовсю, был пробит неглубокий шахтный ствол и подорван заряд. Труды увенчались находкой: фрагментами шлака с отпечатками, похожими на прежний, так поразивший Лейка.

Еще через три часа поступила краткая сводка: несмотря на сырость и пронизывающий ветер, самолеты поднялись в воздух. Я ответил, что возражаю против дальнейших рискованных шагов, Лейк отозвался кратко: риск, мол, оправдан, полученные образцы того стоят. Стало понятно: Лейк взвинчен настолько, что не остановится перед открытым неповиновением, и я бессилён предотвратить дерзкую затею, угрожавшую погубить всю экспедицию. Притом пугала мысль, что Лейк все больше углубляется в предательскую, мрачную белую необъятность, обитель бурь и непостижимых тайн, простирающуюся на 1500 миль в сторону малоизученного побережья Земли Королевы Мэри и берега Нокса.

Миновало полтора часа, и поступило новое, еще более взволнованное послание с борта самолета Лейка. И тут я едва не пожалел, что не участвую в вылазке.

«10.05. С борта. После бурана разглядел впереди горный хребет, таких высоких мы еще не видели. Если добавить высоту плато, сравнится, пожалуй, с Гималаями. Вероятные координаты — $76^{\circ} 15'$ широты и $113^{\circ} 10'$ восточной долготы. Ни с той, ни с другой стороны конца не видно. Два конуса вроде бы курятся. Все пики черные, без снега. Порывы ветра с гор мешают навигации».

Пейбоди, я, остальные затаили дыхание перед радиоприемником. При мысли о титаническом горном хребте, вздымающемся в 700 милях от базы, в нас взыграл дух авантюризма; оставалось радоваться, что если не мы сами, то наши сотрудники совершили это открытие. Через полчаса Лейк снова вышел на связь.

«Самолет Моултона совершил аварийную посадку на плато в предгорье, однако никто не пострадал, и машину, возможно, удастся починить. Трех оставшихся самолетов вполне достаточно для перевозки людей и самых ценных грузов обратно на базу или в другое место, но пока в этом нет необходимости. Размеры гор просто невообразимы. Я собираюсь разгрузить самолет Кэрролла и совершить на нем разведывательный полет. Ничего подобного вы себе даже не представляете. Самые мощные пики превышают, должно быть, 35 000 футов. Эверест им не соперник. За Этвудом — измерить теодолитом их высоту, пока мы с Кэрроллом исследуем вершину. Похоже, был неправ относительно конусов: формация по виду слоистая. Возможно, это докембрийские сланцы с инородными прослойками. Необычно выглядит профиль гор: на самых высоких пиках — правильной формы наросты, состоящие из кубов. В рыжих лучах низкого солнца — поразительное зрелище. Словно таинственная страна из сна или врата заповедного царства чудес. Жаль, что вы не с нами».

Наступило время сна, но никто не думал о том, чтобы удалиться на покой. Похожее настроение царило и в проливе Мак-Мердо, где на «Археме» и на складе тоже принимали

радиограммы. Капитан Даглас поздравил всех по радио с важным открытием, и Шерман, радист со склада, к нему присоединился. Мы огорчились, конечно, из-за поломки самолета, но надеялись, что его удастся быстро починить. В 11 вечера поступило новое сообщение от Лейка.

«Летим с Кэрроллом над высокими предгорьями. На настоящие вершины пока, из-за погоды, не замахиваюсь, отложил на потом. На такой высоте полет идет непросто, но оно того стоит. Хребет плотный, ни одного просвета, на ту сторону не заглянешь. Главные вершины превосходят Гималаи, впечатление очень странное. Массив, похоже, сложен из докембрийских сланцев, с явными следами других смещенных пластов. Насчет вулканизма я ошибался. Протяженность в обе стороны необозримая. Выше 21 000 футов вершины голые. На склонах самых высоких гор — непонятные образования. Большие блоки с вертикальными гранями, низкие и протяженные, правильной прямоугольной формы — похоже на картины Рериха, где древние азиатские замки лепятся к крутым склонам. Смотришь с расстояния — дух захватывает. Мы подлетали поближе, и Кэрроллу показалось, что блоки составные, но это, наверное, просто следы выветривания. Углы искрошились, сгладились, словно не один миллион лет подвергались действию непогоды. Камень, особенно в верхних частях, светлее, чем обнажения на склонах, структура его явно кристаллическая. При полете обнаружили множество пещер, входные отверстия у иных удивительно правильные, прямоугольные или полукруглые. Нужно бы вам посмотреть самим. Вроде бы вижу такое образование прямо на вершущке одного из пиков. Высота там тысяч тридцать — тридцать пять. Сам я на высоте 21 500 футов, холод пронизывающий. По перевалам гуляет ветер, так и свищет в пещерах, но для самолета опасности нет».

Следующие полчаса Лейк непрерывно сыпал новостями и заявил, что намерен пешком взобраться на какой-нибудь пик. Я ответил, что присоединюсь к нему, как только он вы-

шлет самолет, и что мы с Пейбоди, ввиду нового поворота событий, разработаем план, как лучше распорядиться запасами горючего — где и как их разместить. Было очевидно, что Лейку для бурения, а также для воздушной разведки потребуется много ресурсов, которые нужно будет переместить на другую базу у подножия новооткрытых гор. Не исключалось, что полет на восток в этом сезоне придется отменить. В связи со всем этим я вызвал по радиции капитана Дагласа и попросил его перевезти как можно больше запасов с кораблей на склад на ледовом барьере, где должна была находиться и единственная оставленная собачья упряжка. Что нам сейчас требовалось, это установить прямое сообщение через неизученную область между лагерем Лейка и проливом Мак-Мердо.

Позднее Лейк вызвал меня, чтобы сообщить: он решил устроить лагерь в том месте, где приземлился самолет Моултона, который уже начали ремонтировать. Слой льда там был очень тонок, местами виднелась обнаженная порода, и Лейк собирался исследовать ее с помощью буров и динамита, а уж потом совершить санные и пешие вылазки. Он говорил о том, как невыразимо величественна наблюдаемая им картина, какие необычные чувства овладевают человеком под сенью могучих безмолвных вершин, которые стоят, упираясь в небо, на самом краю земли. Согласно теодолиту Этвуда, пять главных пиков достигали высоты от 30 000 до 34 000 футов. Лейка явно беспокоили следы разрушительной деятельности ветра: они свидетельствовали о том, что в этой местности случаются ураганы, каких мы до сих пор не видавали. Его лагерь находился в пяти с небольшим милях от ближайшего крутого подъема. В его голосе, преодолевшем 700 миль холодной пустоты, я уловил нотку подсознательной тревоги; Лейк призывал нас поторопиться, чтобы как можно скорее разобраться с загадками этого доселе неведомого людям региона Антарктики. Сейчас он собирался пойти спать, поскольку день выдался необычайно трудный и насыщенный.

Утром у меня состоялись переговоры по беспроводной связи сразу с двумя разнесенными на большое расстояние базами: Лейка и капитана Дагласа. Было решено, что один из самолетов Лейка доставит к нему Пейбоди, еще пятерых человек и меня, а также столько топлива, сколько сможет взять на борт. Что делать с остальным топливом, зависело от судьбы восточной экспедиции; с решением можно было несколько дней потянуть, так как Лейку пока хватало горючего и для отопления, и для буровых работ. На старой южной базе следовало бы пополнить запасы, но только в случае, если экспедиция на восток не будет отложена до следующего лета, а Лейку тем временем нужно было отправить самолет на прокладку прямого пути от новооткрытых гор до пролива Мак-Мердо.

Мы с Пейбоди приготовились законсервировать нашу базу — только вот на какой период? Если нам предстоит зимовка в Антарктике, то, скорее всего, будет налажено прямое сообщение между базой Лейка и «Аркхемом» и старая база пока не понадобится. Мы уже успели укрепить часть наших конических палаток блоками из спрессованного снега и теперь задумали довести эту работу до конца, построив подобие эскимосской деревни. Запас палаток у нас был немаленький, и тех, что взял с собой Лейк, должно было хватить на всю группу даже после нашего прибытия. Я известил его по радио, что нам с Пейбоди потребуется еще один рабочий день и утром, выспавшись, мы будем готовы к перелету на северо-запад.

Однако с четырех дня о нормальной работе пришлось забыть: от Лейка одно за другим посыпались поразительные, взволнованные сообщения. Работа у него с утра не заладилась; когда исследовали с воздуха обнажения на ближайших склонах, не выявилось нужных ему архейских и первобытных пластов, из которых в основном были сформированы колоссальные пики, видневшиеся на искусительно близком расстоянии от лагеря. Большая часть горной породы принадлежала, вероятно, к юрским и команчским песчаникам, а также

пермским и триасовым аспидным сланцам, а отдельные глянцево-черные вкрапления состояли, по всей видимости, из антрацита. Лейк, собиравшийся откопать образцы на пятьсот с лишним миллионов лет древнее, был разочарован. Он понял: в предгорьях сланцевый пласт с теми самыми отпечатками не найдешь, нужно отправиться на санях к крутым склонам гигантских пиков.

Тем не менее Лейк решил, следуя общей программе экспедиции, провести на месте буровую разведку. Этим занялось пять человек, остальные продолжили устройство лагеря и починку поврежденного самолета. Для начала была выбрана самая мягкая из видимых пород — песчаник приблизительно в четверти мили от лагеря; бур пошел очень легко, прибегать к динамиту почти не требовалось. Лишь через три часа был сделан первый крупный взрыв, тут же слышались крики бурильщиков, и юный Гедни — руководитель работ — сломя голову прибежал в лагерь и сообщил ошеломляющую новость.

Исследователи наткнулись на полость. В самом начале песчаник уступил место пласту команчского известняка с множеством мелких окаменелостей: цефалоподов, кораллов, морских ежей, спириферид; иные находки напоминали кремневых губок и кости морских позвоночных — вероятно, это были телеосты, акулы и ганоиды. Это само по себе было радостно: ископаемых беспозвоночных нам прежде не попадалось, однако вскоре бурильная головка, пройдя слой камня, провалилась в пустоту, и тут участники работ возликовали вдвойне. Удачный взрыв разоблачил тайну подземелья, и теперь через отверстие с рваными краями (около пяти футов в поперечнике и глубиной три фута) жадному взгляду исследователей открылась неглубокая полость, которую пятьдесят миллионов лет назад проточили в известняке грунтовые воды былого тропического мира.

Размытый слой был не более семи-восьми футов толщины, но границ его нигде не просматривалось, и внутри циркулировал свежий воздух — значит, там существовала протя-

женная подземная система. Пол и потолок ее изобиловали сталактитами и сталагмитами, некоторые из которых срослись в колонны, но главным были обширные отложения раковин и костей — местами они даже загромождали проход. В скопище костей, вымытом из неведомых джунглей, с мезозойскими древовидными папоротниками и грибами, кайнозойскими саговниками, веерными пальмами и первобытными покрытосеянными растениями, содержалось столько окаменелых останков (мелового периода, эоцена и других эпох), сколько самому знающему палеонтологу не сосчитать и не расклассифицировать и за год. Моллюски, панцири ракообразных, рыбы, амфибии, пресмыкающиеся, птицы, древние млекопитающие — большие и мелкие, известные и неизвестные. Само собой, Гедни с воплем бросился с лагерь, и само собой — все остальные побросали работу и сломя голову, по трескучему морозу бросились туда, где высокой буровой вышкой были отмечены только что обнаруженные врата в тайны земных недр и былых эпох.

Удовлетворив, для начала поверхностно, свое любопытство, Лейк набросал в тетрадке послание и отправил юного Моултона бегом в лагерь — передать радиограмму. Так я впервые узнал об открытии, о том, что идентифицированы древние раковины, кости ганоидов и плакодерм, остатки лабиринтодонтов и текодонтов, фрагменты черепа большого мозазавра, позвоночный столб и панцирь динозавра, зубы и кости крыла птеродактиля, остатки археоптерикса, акульи зубы эпохи миоцена, черепа первобытных птиц, черепа, позвоночники и другие кости древних млекопитающих, таких как палеотерий, диноцерат, эогиппус, ореодонт и титанотерий. Недавней фауны — мастодонов, слонов, верблюдов, оленей или быков — обнаружено не было, и Лейк заключил, что самые поздние отложения относятся к олигоцену и что пещера оставалась законсервированной в ее нынешнем сухом состоянии как минимум тридцать миллионов лет.

С другой стороны, можно было только удивляться тому, что среди окаменелостей преобладали весьма древние фор-

мы жизни. Известняковая формация, судя по таким типичным окаменелостям, как губки, относилась, несомненно, к команчскому периоду, находки же из пещеры содержали на удивление большую долю организмов значительно более древних — вплоть до первобытных рыб, моллюсков и кораллов силурийского или ордовикского периодов. Отсюда неизбежно следовало, что в данном регионе Земли существовала уникальная устойчивость форм жизни, охватившая временной промежуток от трехсот до тридцати миллионов лет назад. Продлилось ли существование древних видов за эпоху олигоцена, когда в пещере завалило вход, оставалось гадать. Так или иначе, 500 тысяч лет назад (принимая во внимание возраст пещеры, можно сказать «вчера») произошло страшное плейстоценовое оледенение, и все древние организмы, пережившие в этом месте свой срок, вымерли.

Не дождавшись возвращения Моултона, Лейк отправил в лагерь гонца с новой сводкой. После этого Моултон не отходил от самолетного передатчика, отправляя мне, а также на «Аркхем», для сообщения во внешний мир, многочисленные постскриптумы, доставлявшиеся порученцами Лейка. Те, кто следил за газетами, вспомнят, какое волнение вызвали в мире науки эти репортажи — в конечном счете из-за них и стали готовить ту самую экспедицию Старкуззера-Мура, на планы которой, как я не устаю повторять, должен быть наложен запрет. Лучше я приведу послания Лейка дословно, как их расшифровал по своим карандашным стенографическим записям наш радист Мактай.

«Исследуя обломки взорванных песчаников и известняков, Фаулер совершил важнейшее открытие. Несколько треугольных бороздчатых отпечатков, таких же как в архейских сланцах, неопровержимо свидетельствуют о том, что исходный организм просуществовал в промежутке от шестисот миллионов лет назад до команчского периода без существенных морфологических изменений, при тех же средних размерах. Команчские отпечатки по сравнению с древними вы-

глядят упрощенными или хуже сохранившимися. Подчеркните для газетчиков важность этого открытия. Для биологии оно значит то же, что теория Эйнштейна — для математики и физики. Оно полностью согласуется с моими прежними данными и заключениями. Как я предполагал и раньше, находки указывают, что известному нам циклу органической жизни, начавшемуся с археозойских одноклеточных, предшествовал другой — а может, и другие. Цикл этот начал разворачиваться не позднее чем миллиард лет назад, когда планета была молода и любые формы жизни, а также нормальные протоплазменные структуры на ней отсутствовали. Встает вопрос: когда, где и как началось это развитие».

«Позднее. Когда я изучал фрагменты скелетов крупных наземных и морских ящеров и примитивных млекопитающих, мне бросились в глаза странные повреждения костной структуры — их невозможно приписать ни одному известному хищному или плотоядному животному того периода. Они встречаются в двух видах: ровные углубления и зазубрины. В одном или двух случаях кости аккуратно разрублены. Подобных образцов немного. Посылаю в лагерь за электрическими фонарями. Будем рубить сталактиты и продвигаться дальше».

«Еще позднее. Нашел странный осколок стеатита, шесть дюймов в поперечнике и полтора толщиной. Существенно отличается от всех местных формаций, какие нам до сих пор попадались. Зеленоватый, но признаки, указывающие на возраст, отсутствуют. Удивительно гладкий, правильной формы. Напоминает пятиконечную звезду с отломанными кончиками, сколы еще и по внутренним углам и в середине. В центре нетронутой поверхности — небольшое гладкое углубление. Любопытно, откуда он взялся и какому подвергся воздействию. Возможно, это потрудились вода. Кэрролл, вооружившись лупой, ищет какие-нибудь еще геологические признаки. Местами точки, образующие правильный рисунок. Собаки все больше беспокоятся: похоже, камень им не по душе. На-

до выяснить, нет ли у него специфического запаха. Новый отчет пошлю, когда Миллз вернется с фонарями и мы углубимся под землю».

«10.15 вечера. Важное открытие. В 9.45 Оррендорф и Уоткинс, работая под землей при свете фонарей, обнаружили громадный окаменелый предмет в форме бочонка, совершенно непонятного происхождения — то ли это растение, то ли заросший экземпляр какого-то неизвестного науке лучистого морского животного. Ткани не разложились, вероятно благодаря соленой воде. Прочные, как кожа, но местами сохранившие удивительную упругость. На концах и по бокам следы обрывов. Длина шесть футов, диаметр в середине три с половиной, на концах — по футу. Имеет пять выпуклых секций, похожих на бочарные клепки. По окружности в самом широком месте расположены боковые обрывы, похожи на остатки тоненьких ножек. В бороздках между секциями — странные наросты. Это гребни или крылья, которые разворачиваются веером. Все с большими повреждениями, но одно целое, размахом почти семь футов. Вся конструкция вызывает в памяти чудовищ из древних мифов, в особенности существ Старой Расы, упоминаемых в „Некрономиконе“. Крылья перепончатые, с каркасом из трубок железистой структуры. На концах трубок просматриваются мельчайшие отверстия. Края ссохлись, что находится внутри, что было оторвано — не разберешь. Когда вернемся в лагерь, нужно будет вскрыть. Не могу даже определить, растение это или животное. Многие черты указывают на то, что это невероятно примитивный организм. Распорядился, чтобы все рубили сталактиты и искали еще образцы. Найдены опять кости с рубцами, но они подождут. От собак нет житья. Взъелись на этот образец, только подпусти — разорвали бы в клочья».

«11.30 вечера. Внимание — Дайер, Пейбоди, Даглас. Дело высочайшей — я бы сказал, исключительной — важности. „Аркхему“ нужно сейчас же сообщить на главную станцию

в Кингспорте. Странный бочкообразный организм относится к архейской эре, и это он оставил отпечатки на камнях. Миллз, Будро и Фаулер обнаружили под землей, в сорока футах от дыры, целое скопище — тринадцать штук. Там же необычные округлые стеатиты, мельче первого, формы звездчатой, но обломов не заметно, разве что иной раз на кончиках. Что касается органических образцов, восемь из них как будто в идеальном состоянии, со всеми придатками. Извлекли их на поверхность, собак отвели подальше. Они на этих тварей так и кидаются. Отнеситесь внимательно к описанию, повторите для надежности. Нельзя, чтобы в газеты проникли неточности.

Длина объектов — восемь футов. Тело бочкообразное, из пяти секций, длина — шесть футов, диаметр в средней части — три с половиной, а на концах — один фут. Темно-серый, эластичный, очень твердый. В бороздках вдоль тела обнаружены сложенные крылья, длиной семь футов, перепончатые. Каркас крыльев трубчатый, железистой структуры, цвет — тоже серый, но светлее, на концах — микроотверстия. Если крылья расправить, обнаруживаются зазубренные края. По средней линии „бочонка“, на каждой из пяти вертикальных, похожих на клепки, секций имеются разветвленные эластичные отростки или щупальца светло-серого цвета. Напоминают руки примитивных криноидов. Отдельные отростки имеют диаметр три дюйма; на расстоянии шесть дюймов от основания разветвляются на пять добавочных отростков, а те, на расстоянии восемь дюймов, на пять мелких конусообразных щупалец или усиков. Таким образом, каждый отросток венчается двадцатью пятью щупальцами.

Туловище переходит в светло-серую вздутую шею с намеком на жабры, а „голова“ представляет собой желтоватое пятиконечное подобие морской звезды, покрытое жесткими ресничками всех цветов радуги. Голова толстая, пухлая, размер от кончика до кончика — около двух футов, на кончиках желтоватые гибкие трубочки длиной три дюйма. Щель в верхней части головы, в самом ее центре, предназначена, ве-

роятно, для дыхания. На конце каждой трубочки имеется сферическое утолщение под желтоватой пленкой; если ее отодвинуть, показывается стекловидный шарик в красной оболочке — вероятно, глаз. Из внутренних углов звездообразной головы тянутся красноватые трубки, длиной чуть больше желтоватых. Они кончаются кистообразными утолщениями, в которых при нажатии открываются отверстия колокольной формы, максимального диаметра два дюйма. По их контуру расположены острые белые выступы, похожие на зубы. Вероятно, это рты. Все эти трубки, реснички, окончания звезд, заменяющей голову, найдены плотно сложенными; трубки и окончания лучей лепились к шее и корпусу. Ткани прочные и при этом удивительно гибкие.

В нижнем конце корпуса органы, в целом подобные голове, но с совершенно иными функциями. Вздутая псевдошея, без жабр, а далее — еще одна пятиконечная „морская звезда“, зеленоватая. Прочные мускулистые отростки длиной четыре фута, диаметр у основания — семь дюймов, на конце — около двух с половиной. На каждом конце — небольшая опора, представляющая собой зеленоватый треугольник, перепончатый, на пяти прожилках, длиной восемь дюймов и шириной шесть дюймов с дальнего конца. Именно этот ласт, или плавник, или псевдонога оставила отпечатки в камне, давность которых от миллиарда и до пятидесяти — шестидесяти миллионов лет. Из внутренних углов звезды торчат красноватые трубки длиной два фута, сходящие на конус, диаметром у основания — три дюйма, в конце — один. На кончиках — миниатюрные отверстия. Ткани всюду чрезвычайно прочные, кожистые, но весьма гибкие. Четырехфутовые отростки с лапами предназначались, несомненно, для передвижения, в воде или по суше — неизвестно. При касании обнаруживается развитая мускулатура. Все эти нижние органы, как и верхние, плотно прижаты к псевдошее и низу туловища.

Не могу положительно утверждать, что находка принадлежит не к растительному, а к животному царству, но скорее

всего это так. Вероятно, это поразительно эволюционировавший представитель лучистых, сохранивший притом ряд первоначальных особенностей. Несмотря на некоторые отличия, сходство с иглокожими неоспоримо. Нехарактерен для морских обитателей орган, похожий на крыло, но он, вероятно, использовался в воде как руль. Примечательна симметрия, присущая растительным организмам с их вертикальной структурой, а не животным — со структурой продольной. Поскольку мы имеем дело с невероятно ранней точкой эволюционного процесса, когда, согласно прежним представлениям, не существовало даже самых примитивных одноклеточных, гадать о происхождении находки чрезвычайно затруднительно.

Полностью сохранившиеся образцы обнаруживают столь поразительное сходство с некоторыми мифическими тварями, что поневоле возникают мысли о том, что в незапамятной древности эти существа обитали и вне Антарктики. Дайер с Пейбоди читали „Некрономикон“ и знакомы с кошмарными картинками, написанными Кларком Эштоном Смитом по мотивам этой книги; значит, они поймут, если я упомяну Старую Расу, то ли ради шутки, то ли по недоразумению якобы создавшую жизнь на Земле. Ученые всегда полагали, что прообразом этих существ послужил какой-то древний обитатель тропических вод из категории лучистых, над которым основательно поработало большое воображение. Есть сходство и с доисторическими существами из фольклора, о которых писал Уилмарт, — относящимися к культу Ктулху и пр.

Поле для исследований открывается необъятное. Судя по сопутствующим образцам, отложения относятся, вероятно, к позднему мелу или раннему эоцену. Сверху выросли мощные сталагмиты. Скалывать их очень трудно, но будь они хрупкими, отложения могли бы пострадать. Сохранность находок поразительная — потому, наверное, что вокруг известняк. Новых образчиков пока не нашли, но поищем позднее. Теперь предстоит непростая задача: доставить эти четырнадцать объ-

емистых находок в лагерь, при том что собак к ним не подпустишь — лают как бешеные. Несмотря на сильный ветер, мы все же надеемся вдевятером управиться с тремя санями (троих человек оставляем присматривать за собаками). Нужно установить воздушное сообщение с проливом Мак-Мердо и начать переправку материалов. Но прежде чем лечь спать, я должен вскрыть одну из этих тварей. Вот бы сюда настоящую лабораторию! Пусть теперь Дайер краснеет, вспоминая, как не хотел отпускать меня на запад. Сперва самые высокие на земле горы, а теперь вот это. Ну чем не главное достижение экспедиции? Громкий успех в научном мире нам обеспечен. Bravo, Пейбоди, без вашего бура мы не вскрыли бы пещеру. А теперь, на „Аркхеме“, не повторите ли описание?»

Трудно выразить, что почувствовали мы с Пейбоди, получив эти сообщения, и наши спутники радовались едва ли меньше нас. Мактай, слушая гудящий приемник, наскоро расшифровал по ходу дела несколько главных фраз, а по завершении радиогаммы мы очень скоро получили от него ее полное содержание, восстановленное по стенограмме. Все оценили эпохальную важность открытия, и я, дождавшись, пока радист «Аркхема» повторит по просьбе Лейка научные описания, тут же его поздравил. Шерман со склада в проливе Мак-Мердо и капитан Даглас с «Аркхема» последовали моему примеру. Позднее я, как глава экспедиции, добавил несколько замечаний для передачи через «Аркхем» во внешний мир. Разумеется, в подобной обстановке о сне даже думать не приходилось; я желал лишь одного: как можно скорее попасть в лагерь Лейка. Досадно было услышать от него, что в горах началась буря и ранним утром полет будет невозможен.

Правда, через полтора часа я забыл о досаде, настолько заинтересовали меня новые сообщения Лейка. Он рассказывал о том, что четырнадцать крупных образцов были благополучно доставлены в лагерь. Они оказались удивительно тя-

желыми, тащить их было нелегко, но девять человек успешно справились с задачей. На безопасном расстоянии от лагеря начали спешно сооружать снежный загон для собак. Образцы устроили на твердом снегу вблизи лагеря, один из них взял Лейк, чтобы сделать предварительное вскрытие.

Против ожидания, ему пришлось серьезно потрудиться: даже при высокой температуре (в только что устроенной лабораторной палатке работала бензиновая печка) обманчиво гибкие ткани образца, хорошо развитого и полностью сохранившегося, остались твердыми, прочнее обычной кожи. Лейк задумался, как сделать необходимый разрез и не повредить при этом внутреннюю структуру. Правда, в его распоряжении имелось еще семь безупречных образцов, и все же они представляли собой редкость и требовали крайне осторожного обращения, разве что в недрах пещеры обнаружатся в большом числе новые особи. И потому Лейк присоединил этот экземпляр к остальным и притащил в лабораторию другой, частично сохранивший с обоих концов звездообразные органы, но сильно помятый и с разрывом вдоль одной из борозд на корпусе.

Результаты, тут же сообщенные мне по радио, были ошеломляющими. О точности и аккуратности разреза нечего было говорить — инструменты не подходили для работы со столь необычными тканями, — однако от того, что удалось узнать, голова шла кругом. Назревал настоящий переворот в нашей биологической науке, основанной на учении о клетках, ибо она в данном случае оказалась несостоятельной. Сколько-нибудь существенной минерализации органических тканей не обнаружилось, и внутренние органы за сорок миллионов лет ничуть не разрушились. Плотность, неподверженность гниению и едва ли не абсолютная прочность — качества, неотъемлемо присущие данной форме живой материи, и относятся они к некоему палеогеновому циклу эволюции беспозвоночных, познать который мы бессильны. Вначале ткань, с которой имел дело Лейк, была сухой, но потом под воздей-

ствием тепла размягчилась, и с неповрежденной стороны обнаружилось скопление органической жидкости с отвратительным, едким запахом. Это была не кровь, но густая темно-зеленая жижа, которая, очевидно, ее заменяла. К тому времени все 37 собак уже находились в недостроенном загоне вблизи лагеря, но даже на расстоянии они учуяли резкий запах и, бегая кругами, зашлись в отчаянном лае.

Предварительное вскрытие не только не помогло классифицировать этот странный организм, но, напротив, породило еще больше загадок. Что касается его внешнего строения, все догадки оказались верными, и, соответственно, можно было не колеблясь отнести это существо к животным, однако внутри обнаружилось столь много растительных признаков, что Лейк очутился в безнадежном тупике. Существо обладало органами пищеварения и кровообращения, а также выделительной системой в виде красноватых трубок в его звездчатом основании. Поверхностный осмотр убеждал в том, что дыхательный аппарат этой твари обрабатывал скорее кислород, чем двуокись углерода; притом некоторые признаки указывали на наличие полостей, где скапливается воздух, а также использование альтернативных методов дыхания: помимо внешней щели, через жабры и поры, причем две последние системы были вполне развиты. Несомненно, тварь была амфибией, к тому же приспособленной к длительной зимовке без воздуха. Имелись, судя по всему, и голосовые органы, связанные с главной дыхательной системой, но в них обнаружился ряд аномалий, которые было непросто объяснить. Едва ли они были приспособлены для членораздельной речи, но вполне могли издавать разнообразные музыкальные звуки вроде свиста, перекрывающие большой диапазон частот. Мышечная система была развита настолько, что ей не находилось аналогов.

Нервная система оказалась такой сложной и высокоразвитой, что Лейк не переставал поражаться. В некоторых отнoшениях чрезвычайно примитивное, это существо обладало

системой нервных узлов и волокон, достигшей едва ли не предельного специфического развития. Мозг, состоящий из пяти долей, удивлял своей сложностью. По ряду признаков можно было предположить, что органы чувств у этой твари устроены особым образом и во многом не сходны с органами чувств всех прочих земных организмов. К этим органам относились, в частности, жесткие реснички на голове. Возможно, у твари было не пять чувств, а больше, — в таком случае ее способ существования не укладывался ни в какие известные нам стереотипы. Лейк полагал, что для обитателей первобытного мира эти твари обладали очень высокой чувствительностью при четком разделении функций между особями, подобно нынешним муравьям и пчелам. Размножались они как споровые растения вроде папоротников; на концах крылышек имелись спорангии, и развивались особи из заростков или гаметофитов.

Попытка произвести классификацию на данном этапе исследования была бы просто нелепой. Выглядели они как лучшие животные, но, очевидно, в эту группу не укладывались. Отчасти принадлежали к растительному миру, но три четверти признаков роднили их с миром животным. Симметричное строение и некоторые другие особенности ясно указывали на то, что это выходцы из моря, но к каким условиям они адаптировались в дальнейшем, сказать было трудно. Крылья, во всяком случае, недвусмысленно говорили о полетах. Но чтобы существа, оставившие отпечатки в архейских камнях, сумели в пору младенчества нашей планеты проделать такую огромную, сложную эволюцию? Это было настолько непостижимо, что Лейку не раз, по странной причуде памяти, приходили на ум древние мифы о Старой Расе, которая спустилась со звезд и то ли в шутку, то ли по ошибке зародила на Земле жизнь, а также странные рассказы одного коллеги, фольклориста с кафедры английского языка Мискатоникского университета, о космических пришельцах, якобы обитавших на пустынном взгорье.

Разумеется, он подумал о том, что докембрийские отпечатки могли быть оставлены не теми существами, с которыми он имел дело, а их примитивными предками, однако тут же отказался от этой, чересчур упрощающей теории, поскольку более древняя окаменелость обладала продвинутым, сравнительно с поздней, строением. Последняя представлялась результатом скорее упадка, чем эволюции. Псевдонога сократилась в размерах, вся морфология сделалась проще и грубее. Более того, нервы и изученные Лейком органы носили странные следы регресса, упрощения сложных форм. Удивляло обилие атрофированных и рудиментарных органов. В целом едва ли не все загадки остались неразгаданными, и Лейк, в поисках временного названия вновь обратившись к мифологии, шутливо окрестил свои находки Старцами.

Приблизительно в половине третьего ночи, решив, что пора наконец прервать работу и удалиться на покой, он прикрыл рассеченный образец брезентом, вышел из лабораторной палатки и с новым интересом всмотрелся в целые экземпляры. Незаходящее антарктическое солнце успело слегка размягчить ткани, так что у двух-трех особей кончики лучей на голове и трубки начали разворачиваться, но Лейк считал, что при температуре, близкой к нулю, немедленное разложение им не грозит. Тем не менее он сложил вместе целые образцы и накинул на них запасную палатку, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей. Еще он рассчитал, что так от образцов будет меньше пахнуть, а то с собаками была просто беда, пусть даже их держали на значительном расстоянии за стенкой из снега (ее спешно достраивали в высоту прежние работники и еще несколько дополнительных). Похоже было, что с исполинских гор вот-вот обрушатся суровые порывы ветра, поэтому Лейк закрепил углы палатки тяжелыми снежными блоками. Ожил прежний страх внезапных антарктических бурь, и участники экспедиции, под руководством Этвуда, принялись укреплять снегом палатки, новый загон для собак и примитивные укрытия для самолетов. Последние

сооружались в свободные минуты из твердых снежных блоков и далеко еще не были доведены до нужной высоты, поэтому Лейк в конце концов направил на их достройку всех работников, освободив их от других заданий.

Лишь в пятом часу Лейк наконец собрался уходить из эфира, напоследок сообщив, что его группа еще немного нарастит стенки укрытия и отправится на покой, и посоветовав нам сделать то же самое. Он обменялся парой фраз с Пейбоди, вновь похвалив его чудесные буры, без которых открытие бы не состоялось. Этвуд послал приветствие и тоже похвалил буры. Я от души поздравил Лейка, добавив, что он был прав относительно экспедиции на запад, и все назначили следующий сеанс связи на десять часов утра. Если ветер к тому времени утихнет, Лейк собирался послать за нами на базу самолет. Перед концом связи я отправил на «Аркхем» заключительные инструкции, как скорректировать дневную сводку для передачи во внешний мир: не следовало сразу выкладывать всю ошеломляющую правду, ибо никто не поверил бы ей без веских доказательств.

III

Едва ли нашлись среди нас такие, кто спал в то утро безмятежным сном: слишком волновало всех открытие Лейка и тревожили завывания бури. Даже у нас на базе буря свирепствовала вовсю, и мы гадали, что делается в лагере Лейка, непосредственно у подножия гор, где зарождался ветер. Мактай поднялся в десять и попытался, как было условлено, связаться с Лейком, но не сумел — видимо, из-за каких-то электрических явлений в беспокойной атмосфере. Однако с «Аркхемом» связь состоялась, и Даглас рассказал, что тоже безуспешно вызывал Лейка. О ветре он не имел понятия: пока у нас бушевал ураган, в проливе Мак-Мердо стояла тишина.

Весь день мы толпились вокруг приемника и снова и снова вызывали Лейка, но не получали ответа. К полудню по-

рывы ветра с запада достигли поистине бешеной силы и нам стало беспокойно за лагерь, однако постепенно они стихли, и только в два ветер задул снова, но уже не так сильно. После трех установилась тишина, мы только и делали, что вызывали Лейка. В его распоряжении находилось четыре самолета, на каждом — превосходный коротковолновый приемопередатчик — трудно было себе представить, чтобы все они вышли из строя. Тем не менее непроницаемое молчание длилось и длилось, и, думая о невероятной силы урагане, обрушившемся на лагерь, мы невольно строили самые мрачные предположения.

К шести стало ясно, что страхи наши не беспочвенны, и после переговоров по радио с Дагласом и Торфиннссоном я решил, что пора отправляться на разведку. Пятый самолет, оставленный с Шерманом и двумя моряками на складе в проливе Мак-Мердо, находился в отличном состоянии, и в крайнем случае им можно было воспользоваться, а что случай тот самый, сомневаться не приходилось. Связавшись по радио с Шерманом, я приказал ему как можно скорее взять двоих моряков и вылететь ко мне на южную базу; погодные условия вполне благоприятствовали перелету. Затем мы стали обсуждать, кто войдет в разведывательную партию, и решили, что понадобятся все, а также сани и собаки, которых я оставил при себе. Груз получился большой, но не чрезмерный для одного из громадных аэропланов, построенных специально для транспортировки тяжелого оборудования. Время от времени я снова пытался вызвать Лейка, но не дождался ответа.

Шерман, с моряками Гуннарссоном и Ларсеном, поднялся в воздух в половине восьмого и несколько раз сообщал с борта, что полет проходит спокойно. На базу они прибыли в полночь, и все вместе мы стали обсуждать, что делать дальше. Путешествовать по Антарктике на одном-единственном самолете, не имея цепочки баз, дело рискованное, но все признали, что это необходимо, и приготовились лететь. В два ча-

са ночи, погрузив в самолет часть вещей, мы сделали небольшой перерыв для сна, но спустя четыре часа встали и снова взялись за погрузку и упаковку.

25 января, в четверть восьмого утра, мы вылетели в северо-восточном направлении, имея на борту десять человек, семь собак, сани, топливо, запас пищи и прочие вещи, включая оборудование для беспроводной связи. За штурвалом сидел Мактай. Погода стояла ясная, не ветреная, относительно теплая, и мы не сомневались, что без особых трудностей достигнем точки с названными Лейком координатами. Опасались мы того, что обнаружим — или не обнаружим — в конце перелета: лагерь по-прежнему не отвечал на наши радиосигналы.

Мне врезались в память все подробности этого четырех с половиной часового перелета, ведь это были судьбоносные часы моей жизни. В возрасте пятидесяти четырех лет я разом утратил душевное спокойствие и уравновешенность, свойственные нормальному человеку, привыкшему, что мироздание подчиняется определенным законам. С этого времени всей нашей десятке — но прежде всего студенту Данфорду и мне — предстояла встреча с миром чудовищных пропорций и затаившихся ужасов, миром, который никогда не изгладится из сознания, но который мы хотели бы сохранить в тайне от человечества. Газеты печатали бюллетени с борта самолета; в них рассказывалось, как проходил наш беспосадочный перелет, как дважды нам пришлось сражаться с коварным штормовым ветром в высоких слоях атмосферы, как мы увидели следы буровзрывных работ, проводившихся Лейком три дня назад на полпути к горам, и о загадочных цилиндрических образованиях из снежной пыли, гонимых ветром по бесконечным просторам мерзлого плоскогорья, — о них также писали Амундсен и Берд. Но с определенного момента мы не смогли уже описывать наши ощущения понятными для прессы словами, а позднее нам пришлось наложить на себя самые настоящие цензурные ограничения, причем строжайшие.

Когда на горизонте возник зубчатый силуэт овсянных магией пиков, первым его заметил моряк Ларсен; на его крики все бросились к окнам. Мы двигались с большой скоростью, однако силуэт вырастал совсем незаметно, из чего можно было заключить, что горы находятся в огромном отдалении и видны только потому, что необычайно высоки. Но мало-помалу они грозно поднимались на западном небосклоне, и мы смогли разглядеть в отдельности их голые черные вершины и испытать удивительное ощущение нереальности при виде этой картины: залитые розоватым антарктическим светом горы на фоне переливающихся всеми цветами радуги облаков снежной пыли. Во всем этом постоянно и упорно чудилась некая ошеломляющая тайна, обещание будущих открытий, словно между кошмарных нагих шпилей открывались зловещие врата в заповедное царство снов, где мрачные бездны таили в себе отдаленные времена, пространства, иные измерения. Было трудно отделаться от чувства, что встретился с некой злой силой — хребтами безумия, дальние склоны которых обрываются в проклятую бездну, край земли. Бурливый, слабо светящийся фон из облаков казался чуждым земным пространствам, тая в себе невыразимый словами намек на некую расплывчатую, бесплотную *потусторонность* и жуткое напоминание о полном одиночестве, пустоте и обособленности, о вековом мертвом сне этого нехоженого и непознанного южного мира.

Юный Данфорт первым из нас отметил одну повторяющуюся особенность в силуэте высочайших гор: к ним лепились правильной формы кубы, которые описывал еще Лейк, закономерно вспоминая при этом странные, утонченные картины Рериха с призрачными контурами, похожими на руины древних храмов на туманных вершинах азиатских гор. Да и весь этот инопланетный континент горных тайн словно бы сошел с полотен Рериха. Я ощутил это еще в октябре, впервые увидев Землю Виктории, а теперь почувствовал снова. Уже в который раз меня встревожило поразительное сходство с древними мифами — настолько явственными были чер-

ты подобия между этим царством смерти и зловещим плоскогорьем Ленг из старинных записей. Исследователи мифов поместили это плоскогорье в Центральную Азию, однако родовая память человека — или его предшественников — охватывает гигантский период, и может оказаться, что некоторые из рассказов связаны с землями, горами и храмами ужаса более древними, чем азиатские, более древними, чем все известные нам человеческие сообщества. Иные наиболее дерзкие мистики намекали, что сохранившиеся фрагменты Пнакотикских манускриптов относятся к временам до плейстоцена, а также что поклонники Цаотгуа так же чужды роду человеческому, как и сам их кумир. Ленг, к какому бы пункту в пространстве и времени его ни относить, отнюдь не был тем местом, куда меня особенно тянуло; столь же мало радости доставляли мне мысли о близости мира, породившего непонятных древних чудовищ, о которых сообщал Лейк. Теперь я пожалел о том, что вообще читал этот мерзкий «Некрономикон» и не однажды беседовал в университете с фольклористом Уилмартом, эрудитом, чьи познания были сосредоточены в области, далекой от приятного.

При таком настрое я особенно болезненно воспринял причудливый мираж, который разом возник в наливавшемся переливчатой белизной небе, когда мы приблизились к хребту и уже различали волнистые очертания предгорий. За предыдущие недели я успел навидаться полярных миражей; некоторые из них были не менее жуткие и удивительно правдоподобные, однако этот отличался от них тем, что символизировал неведомую опасность, и я содрогнулся при виде безумного лабиринта сказочных стен, башен и шпилей, который воздвигся у нас над головами в подвижных испарениях льда.

Картина напоминала циклопический город мало что невиданной — невообразимой архитектуры, где обширные скопления черных как ночь каменных построек являли чудовищное надругательство над законами геометрии, гротескные крайности мрачной фантазии. На усеченных конусах, то ступенчатых, то желобчатых, громоздились высокие цилиндри-

ческие столбы, иные из которых имели луковичный контур и многие венчались зазубренными дисками; множество плит — где прямоугольных, где круглых, где пятиконечных звездчатых — складывались, бóльшая поверх меньшей, в странные, расширявшиеся снизу вверх конструкции. Составные конусы и пирамиды стояли сами по себе или на цилиндрах, кубах, низких усеченных конусах и пирамидах; игольчатые шпильки встречались странными пучками по пять штук. И все эти бредовые конструкции соединяла воедино сеть трубчатых мостов, тянувшихся то здесь, то там на головокружительной высоте. Масштаб всего целого казался запредельным, и уже одним этим оно страшило и угнетало. Общий вид миража был не лишен сходства с самыми причудливыми из зарисовок, которые китобой Скорсби сделал в 1820 году в Арктике, однако небо перед нами заслоняли темные неведомые пики, мысли занимал недавно открытый, чуждый известным природным законам мир древности, судьба большей части членов экспедиции находилась под вопросом — в общем, время и место располагали к тому, чтобы усмотреть в небесной картине некую затаившуюся угрозу, самые черные предзнаменования.

Я был рад, когда мираж начал разрушаться, хотя искаженные промежуточные формы кошмарных башенок и конусов иной раз превосходили уродливостью первоначальные. Когда иллюзия рассеялась в опалесцирующей белизне, мы снова обратили взгляды к земле и убедились, что конец путешествия близок. Неизвестные горы впереди тянулись в головокружительную высоту, как грозный бастион замка исполинов; удивительные наросты на них были видны очень отчетливо даже без бинокля. Под нами завиднелись уже предгорья, и, найдя между снегов, льдов и голого камня два темных пятна, мы поняли, что это лагерь Лейка и след бурения. Более высокое предгорье находилось милях в пяти-шести, оно вздымалось отдельным хребтом на фоне «гималайских» пиков. Наконец Роупс (студент, сменивший Мактая за штурва-

лом) начал снижаться, направляясь к левому темному пятну, размеры которого позволяли предположить, что это лагерь. Тем временем Мактай отправил радиogramму — она стала последней, которая вещала миру не подвергшуюся цензуре истину.

Каждому, разумеется, знакомы сжатые и неубедительные бюллетени, рассказывавшие о заключительной фазе нашей экспедиции в Антарктику. Через несколько часов после приземления был послан сдержанный отчет о произошедшей трагедии: с трудом находя слова, мы объявили о том, что то ли накануне днем, то ли предшествующей ночью вся группа Лейка пала жертвой урагана. Одиннадцать человек были найдены мертвыми, юный Гедни пропал без вести. Поскольку мы были потрясены, публика простила нам отсутствие подробностей, поверив заодно и утверждению, будто ветер так изувечил все тела, что доставить их обратно не представляется возможным. К чести своей могу сказать, что, убитые горем, растерявшиеся, безумно напуганные, мы не сказали все же ни единого слова неправды. Дело не в том, что было сказано, а в том, чего мы сказать не осмелились — о чем я молчал бы и сегодня, если бы не обязанность поведать другим ученым, какими ужасами грозит им Антарктида.

Верно, ветер перевернул вверх дном весь лагерь. Можно ли было выжить в ураган, даже если бы не случилось ничего другого, остается только гадать. Подобного ветра, с бешеной яростью стремящего ледяное крошево, мы себе даже не представляли. Одно из самолетных укрытий — видимо, недостаточно укрепленных — было разнесено буквально в пыль; от буровой вышки, расположенной в стороне, остались одни обломки. Подвергшийся действию ледяного вихря металл самолетов и бурового оборудования сиял, как отполированный; две небольшие палатки, несмотря на снежное ограждение, были повалены. Деревянные поверхности были выщерблены, краска с них ободрана, от протоптанных в снегу дорожек не осталось и следа. Верно и то, что из древних биологиче-

ских объектов целым не сохранился ни один. Мы выбрали из большой беспорядочной кучи несколько образчиков минералов, в их числе и зеленоватые стеатиты скругленной пятиугольной формы со странными отпечатками из сгруппированных точек, которые вызвали у нас немало недоуменных вопросов, и также окаменевшие кости, среди них — наиболее типичные из тех самых, со странными повреждениями.

Из собак не выжила ни одна, их наскоро возведенное снежное убежище вблизи лагеря развалилось почти полностью. Возможно, это сделал ветер, хотя большая пробоина в стене со стороны лагеря, то есть с наветренной, позволяла предположить, что обезумевшие животные сами выбрались наружу. Все трое саней исчезли — мы попытались объяснить это тем, что их унесло ветром незнамо куда. Оборудование для бурения и растапливания льда было разрушено и ремонту не подлежало; мы завалили им вскрытые Лейком ворота в прошлое: один вид их внушал тревогу. Два наиболее потрепанных самолета пришлось оставить в лагере: в команде спасателей было только четыре пилота — Шерман, Данфорт, Мактай и Роупс, причем Данфорт совсем расклеился и не мог сесть за штурвал. Мы забрали с собой все книги, научное оборудование и прочие мелочи, какие нашлись, хотя многое — все тем же непонятным образом — унес ветер. Из запасных палаток и меховой одежды что-то исчезло, а что-то пришло в полную негодность.

Приблизительно в 4 часа дня, покружив над территорией и убедившись, что Гедни пропал бесследно, мы послали на «Аркхем» для трансляции во внешний мир радиogramму, составленную в немногих осторожных словах. Думаю, мы были правы, когда сдерживали свои чувства и помалкивали. Подробнее всего мы описали беспокойное поведение наших собак, но после отчетов Лейка никто не удивился, когда вблизи биологических образцов их охватило бешенство. Помнится, однако, мы не упомянули о том, что те же признаки бес-

покойства вызвали у них и зеленоватые стеатиты, и некоторые другие предметы в разоренной окрестности, в том числе научные приборы, самолеты, оборудование как в лагере, так и при буровой вышке — все это было сдвинуто, разворочено, так или иначе повреждено ветром, казалось, проявившим непонятное любопытство и исследовательский пыл.

Что касается четырнадцати биологических образцов, то тут — и это простительно — мы прибегли к самым неопределенным выражениям. Среди найденных образцов, сказали мы, неповрежденных нет, однако материала хватило, чтобы убедиться: описание Лейка поразительно точное. Нам стоило немалого труда сдерживать свои чувства, и еще мы умолчали, сколько нашли образцов и каким образом. Мы успели договориться о том, что сохраним в тайне факты, ставящие под сомнение умственное здоровье сотрудников Лейка, а о чем, как не о сумасшествии, могли мы подумать, когда нашли шесть чудовищных существ (все попорченные) аккуратно похороненными стоймя в девятифутовых ямах в снегу, причем над каждой могилой возвышался холмик в форме пятиконечной звезды с таким же узором из точек, как на зеленоватых стеатитах, отрытых в мезозойском или третичном слое. Восемь сохраненных экземпляров, упомянутых Лейком, ветер сдул бесследно.

Дабы не будоражить общественность, мы с Данфортом едва обмолвились о злополучном путешествии в горы, состоявшемся на следующий день. Для полета над хребтом, на невероятной высоте, самолет нужно было максимально разгрузить, и в команду разведчиков, к счастью, вошли только мы двое. В час дня, когда мы вернулись, Данфорт был близок к истерике, хотя сумел себя не выдать. Без долгих уговоров он пообещал никому не показывать зарисовки и прочее, что было у нас в карманах, а также в разговорах с членами экспедиции ограничиться теми сведениями, которыми мы собирались поделиться с внешним миром. Еще мы условились спрятать отснятую пленку, чтобы проявить ее позднее, в одиночестве.

Итак, дальнейший рассказ станет новостью не только для широкой публики, но и для Пейбоди, Мактая, Роупса, Шермана и остальных. Собственно, Данфорт повесил себе на рот двойной замок: он видел — или ему померещилось — нечто, о чем он не поведал даже мне.

Как всем известно, в своем отчете мы рассказали о трудностях подъема, согласились с мнением Лейка, что высокие пики сложены из архейских сланцев, а также других весьма древних, смятых в складки слоев, которые не подвергались изменениям с середины команчского периода, если не дольше; мы в нейтральных выражениях упомянули о лепящихся к склонам кубических структурах и подобиях бастионов, сделали вывод, что отверстия пещер возникли на месте растворенной известковой породы, заключили, что иные склоны и перевалы вполне поддались бы бывалым альпинистам, сообщили, что на таинственной противоположной стороне находится мощное и необъятное плато, столь же древнее и неизменное, как сами горы, высотой 20 000 футов, где из-под тонкого слоя льда вздымаются причудливые скалы, а переход между основным плато и отвесными обрывами высочайших пиков образует плавно повышающееся предгорье.

Приведенные нами цифры во всех отношениях верны — они полностью удовлетворили людей из лагеря. Отсутствовали мы шестнадцать часов — дольше, чем требовалось, чтобы долететь, приземлиться, осмотреться и собрать образцы породы, зачем и была затеяна вылазка. Чтобы оправдаться, мы сплели длинную басню о неблагоприятном ветре, дополнив ею скупой и прозаичный рассказ о действительно состоявшемся приземлении на дальнем предгорье. К счастью, все это выглядело вполне правдоподобным, и никому не пришло в голову пойти по нашим стопам. Если бы кто-нибудь возымел такое намерение, я вылез бы из кожи, чтобы его остановить, и Данфорт тоже сделал бы все возможное и невозможное. Пока нас не было, Пейбоди, Шерман, Роупс, Мактай и Уильямсон трудились как проклятые, восстанавливая два

лучших самолета Лейка, в которых по неизвестной причине разладился механизм управления.

Мы решили следующим утром нагрузить самолеты и как можно скорее вылететь на нашу старую базу. Этот кружной путь к проливу Мак-Мердо представлялся более надежным, чем перелет напрямик над неисследованными пространствами скованного вековечным сном континента, где нас могло подстергать много неожиданностей. Состав экспедиции трагически поредел, было потеряно к тому же и буровое оборудование — о продолжении работы думать не приходилось; мучимые сомнениями, окруженные тайнами, о которых приходилось молчать, мы желали только одного: поскорее покинуть эту южную область, на пустынных просторах которой подстерегало безумие.

Наш обратный путь, как известно публике, обошелся без новых несчастий. На следующий день, 27 января, после стремительного беспосадочного перелета все самолеты достигли старой базы, а 28-го мы уже были в проливе Мак-Мердо, сделав в пути одну очень краткую вынужденную посадку: уже не над плато, а над шельфовым ледником при яростном ветре у нас заклинило руль направления. Еще через пять дней «Аркхем» и «Мискатоник», со всеми людьми и оснащением на борту, разгоняли густеющие льдины в море Росса; с запада, где беспокойно хмурилось антарктическое небо, посылали нам насмешливые взгляды горы Земли Виктории; вой ветра расщеплялся среди вершин на множество мелодий, и от этих звуков сердце стыло у меня в груди. Менее чем через две недели мы окончательно оставили позади полярную область и возблагодарили небеса, выбравшись из окаянных призрачных пределов, где в неведомую эпоху (далеко ли ушедшую от той, когда на едва остывшей поверхности нашей планеты зарождались первые моря и горы?) вершились темные, кощунственные альянсы между жизнью и смертью, пространством и временем.

Вернувшись домой, мы не жалели усилий, дабы остановить дальнейшие исследования Антарктики, но все как один,

верные слову, хранили в тайне свои сомнения и догадки. Даже юный Данфорт, с нервным срывом, не проболтался докторам — да и со мной он не желает делиться чем-то, что видел, как ему кажется, он один, хотя откровенная беседа наверняка пошла бы на пользу его психике. Она многое бы прояснила, хотя не исключаю, что у него просто была галлюцинация после перенесенного шока. Именно это я предполагаю, основываясь на отрывочных словах, которые он роняет изредка, когда не владеет собой; позднее, опомнившись, он каждый раз яростно от них отрекается.

Нелегко будет уговорить ученых, чтобы они держались подальше от громадного белого континента; иной раз сами уговоры ведут к противоположному результату, привлекая к нему внимание пытливых умов. Нужно было понимать с самого начала, что любознательность человеческая неистребима и обнародованные итоги экспедиции только подстегнут желающих принять участие в вековой погоне за неизвестным. Сообщения Лейка о найденных им чудовищных формах жизни произвели сенсацию среди натуралистов и палеонтологов, хотя нам хватило осмотрительности никому не показывать фрагменты, которые мы отделили от захороненных образцов, а также фотографии захоронения. Не были предъявлены научной общественности также самые непонятные из поврежденных костей и зеленоватые стеатиты; мы с Данфортом держали строго под замком фотографии и рисунки, сделанные на плато за горным хребтом, и некоторые наши находки — мы выбрали их в смятом виде, расправили, рассмотрели, ужаснулись и запихнули в карманы. Но теперь готовится экспедиция Старкуэзера-Мура, причем готовится еще тщательнее, с куда большим размахом, чем наша. Если их не разубедить, они проникнут в самое сердце Антарктики и станут бурить и плавить, пока не извлекут на свет божий нечто такое, что погубит земной мир, каким мы его знаем. И потому я не намерен больше таиться и расскажу обо всем, в том числе о самом невероятном, что мы обнаружили по ту сторону Хребтов Безумия.

IV

С трудом преодолеваю я сомнения и неохоту, которые мешают мне вернуться мысленно в лагерь Лейка, к тому, что мы на самом деле обнаружили там, а затем и по другую сторону жуткой стены гор. На каждом шагу меня так и подмывает опустить подробности, ограничиться намеком, не раскрывая подлинные факты или не высказывая неизбежные предположения. Надеюсь, прежний рассказ был достаточно подробным и теперь требуется лишь отдельными штрихами дорисовать картину ужасов, открывшуюся нам в лагере. Я упоминал уже об опустошениях, причиненных ветром, о поломанных укрытиях и механизмах, о тревожном поведении наших собак, об исчезновении саней и других предметов, о погибших людях и собаках, о пропаже Гедни и о погребенных каким-то безумцем шести биологических образцах — поврежденных, но в целом на удивление хорошо сохранившихся, а ведь мир, к которому они принадлежали, не существовал уже сорок миллионов лет. Не помню, говорил ли я о том, что, осматривая трупы собак, мы одной недосчитались. Впоследствии мы не особенно об этом задумывались; собственно, все, кроме нас с Данфортом, выбросили это из головы.

Главные факты, о которых я умолчал, относятся к телам погибших и к нескольким неопределенным подсказкам, которые, под большим вопросом, позволяли проследить в кажущемся хаосе некую — пусть чудовищную и невероятную — связующую нить. Прежде я пытался отвлечь своих товарищей от таких мыслей; куда более простым — и здравым — выглядело предположение, что кто-то из группы Лейка лишился рассудка. Да и то, как не сойти с ума при этом дьявольском горном ветре, когда вокруг беспредельная пустыня, а рядом — средоточие всех земных тайн.

Самым загадочным, разумеется, было то, в каком состоянии мы обнаружили тела и людей, и собак. Все они словно бы пали жертвами какой-то чудовищной схватки: тела были искалечены так, что этому не находилось объяснения. На-

сколько мы могли судить, часть была задушена, часть растерзана. Беспорядки, очевидно, начались с собак: в их наскоро возведенном загоне была пробита изнутри дыра. Загон находился в стороне от лагеря, поскольку собаки люто возненавидели чудовищных выходцев из архейской эпохи, однако меры предосторожности, судя по всему, не помогли. Разбушевался ветер, стена была недостаточно высокая и прочная, и собак — то ли из-за самого ветра, то ли из-за слабого, но набравшего силу запаха кошмарных созданий — охватила паника. Правда, образцы были укрыты палаточным брезентом, но его постоянно подогревало низкое антарктическое солнце, и Лейк упоминал, что под действием тепла ткани загадочных организмов, на удивление здоровые и плотные, стали расслабляться и расправляться. Может, ветер сорвал брезент и разворошил древние останки, в результате чего источаемый ими резкий запах усилился.

Что бы ни случилось, это было страшно и омерзительно. Но пора мне, наверное, сделать над собой усилие и перейти к рассказу о самом худшем — но прежде заявить категорически (основываясь на свидетельстве собственных глаз и на наших с Данфортом умозаключениях), что пропавший Гедни никоим образом не был повинен в тех ужасах, следы которых мы обнаружили. Как я уже говорил, тела были жутко искалечены. Теперь должен добавить, что плоть была самым непонятным, хладнокровным и бесчеловечным образом искромсана и частично отсутствовала. Это было проделано и с людьми, и с собаками. Из самых здоровых и упитанных экземпляров, как двуногих, так и четвероногих, были вырезаны и удалены большие куски мягких тканей, словно здесь поорудовал умелый мясник. Вокруг искрилась соль, взятая из опустошенных самолетных сундуков с провизией, и это наводило на самые страшные догадки. Все это произошло в одном из самолетных укрытий, откуда был вытасчен самолет; ветер стер все следы, которые могли бы хоть что-то прояснить. Куски одежды с искромсанных тел тоже ничего не подсказывали. В укрытом от ветра углу разрушенного сооружения мы заметили

подобие слабых отпечатков, но о них говорить не приходится, потому что это были не человеческие следы; подобные неоднократно упоминал бедняга Лейк, расписывая найденные отпечатки окаменелостей. Под сенью Хребтов Безумия остерегайтесь давать волю своему воображению.

Как я уже указывал, когда все кончилось, мы недосчитались Гедни и одной собаки. На месте жуткой трагедии, в самолетном укрытии, мы не нашли двух собак и двоих человек, но в практически нетронутой лабораторной палатке, куда мы направились после осмотра чудовищных захоронений, кое-что обнаружилось. После Лейка там произошли изменения: анатомированные остатки древнего чудовищного создания исчезли с импровизированного лабораторного стола. Но мы уже и раньше сообразили, что один из шести найденных в безумном захоронении дефектных экземпляров, а именно тот, что испускал особенно мерзкий запах, был собран из кусков, взятых со стола Лейка. На столе и вокруг него валялись другие образцы — и нам не пришлось долго думать, чтобы узнать в них причудливо и неумело анатомированные останки одного человека и одной собаки. Щадя чувства живых, не скажу, кто был этот человек. Анатомические инструменты Лейка отсутствовали, но следы говорили о том, что их тщательно очистили. Исчезла и бензиновая печка, хотя вокруг того места, где она стояла, были разбросаны спички. Останки человека мы похоронили вместе с другими десятью; отдельно, с еще 35 собаками, закопали ту, что нашли в палатке. Что касается диковинных пятен на лабораторном столе и на сваленных в кучу иллюстрированных книгах, о них мы даже не взялись гадать.

Это было самое ужасное из того, что мы обнаружили в лагере, однако необъяснимых фактов имелось еще множество. Было абсолютно непонятно, куда исчезли Гедни, одна из собак, восемь цельных биологических образцов, трое саней, часть инструментов, иллюстрированные научные и технические книги, принадлежности для письма, электрические фонари и батареи, продовольствие и топливо, обогреватель, за-

пасные палатки, меховая одежда и прочее подобное. А листы бумаги, все в чернильных пятнах, а следы загадочных манипуляций с самолетами и оборудованием в лагере и на месте бурения — их словно бы изучал кто-то любопытный? Собаки шарахались от этих странным образом разлаженных механизмов. А еще была разорена кладовая для мяса, исчезло кое-какое сырье, консервные жестянки высились нелепой кучей, вскрытые самыми неподходящими способами и в неподходящих местах. Удивляло также обилие разбросанных спичек, целых, ломаных и использованных; на двух-трех палатках и нескольких меховых куртках появились нелепые разрезы, словно кто-то неловко приспособливал их для непостижимых уму надобностей. Надругательство над трупами людей и собак, а с другой стороны, безумное захоронение дефектных образцов архейских чудовищ, бессмысленная, на первый взгляд, разрушительная деятельность — одно с другим было связано. Как раз ради такого случая, как нынешний, мы старательно запечатлели на фото пленке главные свидетельства безумного разгрома лагеря; теперь фотографии будут использованы как довод против планируемой экспедиции Старкуэзера-Мура.

Обнаружив трупы в самолетном укрытии, мы первым делом сфотографировали и вскрыли ряд безумных захоронений с пятиконечными снежными насыпями наверху. Разумеется, нам бросилось в глаза сходство этих насыпей с точечным рисунком на необычных стеатитах, который описал бедняга Лейк; когда мы отрыли в большой куче камней те самые стеатиты, то убедились, что рисунки действительно весьма близки. И — следует отметить — они сильно напоминали пятиконечные головы архейских существ, из чего мы заключили, что это сходство могло пагубным образом воздействовать на взбудораженные, особенно восприимчивые от усталости умы сотоварищей Лейка. Впервые увидев воочию погребенных чудовищ, мы с Пейбоди ужаснулись и тотчас вспомнили жуткие древние мифы, которые читали и о которых слышали. Мы все сошлись на том, что один вид подоб-

ных тварей, одно длительное соседство с ними могли свести с ума сотрудников Лейка, а тут еще гнетущее полярное одиночество и дьявольский ветер с гор.

Ибо именно безумием, поразившим Гедни — ведь никто больше не выжил, — не сговариваясь объяснили мы происшедшее, то есть объяснили вслух, в голове же у каждого (я не настолько наивен, чтобы это отрицать) зароились дикие предположения, настолько несовместимые со здравым смыслом, что едва ли кто решился додумать их до конца. После полудня Шерман, Пейбоди и Мактай утомительно долго кружили над окрестностями и высматривали в бинокли Гедни и пропавшее снаряжение, но ничего не нашли. После разведки они доложили, что исполинский хребет бесконечно далеко простирается в обе стороны, причем ни строение его, ни высота не меняются. Разве что на некоторых пиках правильные кубы и выступы вырисовывались более четко, что усиливало их удивительное сходство с азиатскими горными руинами, изображенными Рерихом. Распределение же загадочных пещерных входов было повсюду примерно одинаковым.

Несмотря на пережитый кошмар, мы сохранили в себе достаточно научной любознательности и авантюризма, чтобы задумываться о таинственной области по ту сторону гор. Как сообщалось в наших усеченных сводках, обследовав лагерь с его ужасами и загадками, мы удалились на покой в полночь; до этого, однако, мы запланировали на следующее утро один или несколько разведывательных полетов на облегченном самолете над горным хребтом, с аэрофотокамерой и геологическим снаряжением. Было решено, что первыми отправимся мы с Данфортом, и в семь мы встали и приготовились, но из-за сильного ветра (о нем мы упомянули в бюллетене) вылет пришлось отложить до девяти.

Я уже пересказывал уклончивый отчет, который мы дали по возвращении, через шестнадцать часов, своим сотоварищам в лагере и отправили по радио. Теперь передо мной стоит тягостный долг: заполнить лакуны в отчете хотя бы намеками на то, что мы действительно увидели в тайной, упрямой

за горами стране — намеками на откровения, которые вывали у Данфорта нервный срыв. Мне бы хотелось, чтобы он честно поведал, что он видел такого, чего не видел я, пусть даже это была иллюзия, следствие расстроенных нервов; полагаю, именно это зрелище окончательно его сломало. Но нет, его не уговорить. Я могу единственно повторить его бесвязный лепет — он попытался объяснить мне, что послужило причиной его истерических воплей на обратном пути, когда после всех — в том числе пережитых нами совместно — потрясений мы пролетали над перевалом, где никогда не утихают ветра. К этим отрывочным фразам я еще вернусь в самом конце. И если моего рассказа, ясно свидетельствующего о древних ужасах, доживших до наших дней, окажется недостаточно, чтобы удержать других исследователей от вторжения в сердце Антарктики или, по крайней мере, в недра этого последнего скопища запретных тайн, издревле проклятого и заброшенного, — если моего рассказа окажется недостаточно, что ж, ответственность за неописуемые — и, быть может, безмерные — беды, которые за этим воспоследуют, будет лежать не на мне.

Изучая заметки, сделанные Пейбоди во время недавнего полета, и справляясь с секстантом, мы с Данфортом вычислили, что самый невысокий из близлежащих перевалов находится справа, в виду лагеря, на высоте 23 000–24 000 футов над уровнем моря. Именно туда мы и направили самолет, когда полетели на разведку. Сам лагерь находился в предгорье, а оно, в свою очередь, на высоком континентальном плато, поэтому стартовали мы с высоты 12 000 футов и подъем предстоял не такой значительный, как может показаться. И тем не менее мы ощущали в полете и нехватку кислорода, и жгучий мороз: окна кабины пришлось открыть, чтобы было лучше видно. Разумеется, мы были по уши укутаны в меха.

Вблизи грозных пиков, мрачной громадой выраставших из рваной линии снега и ледников, нам все чаще бросались

в глаза удивительные, правильной формы выступы на склонах, вызывавшие в памяти все те же причудливые азиатские картины Николая Рериха. Вид горной породы, древней и выветрившейся, полностью подтверждал правоту Лейка: эти седые вершины точно так же буравили небо и на заре земной истории — может, более пятидесяти миллионов лет назад. Насколько выше они тогда были, гадать бесполезно; все в этом загадочном регионе указывало на наличие непонятных атмосферных факторов, тормозящих любые климатические процессы, в том числе и обычное выветривание горных пород.

Но больше всего нас поражали и смущали бесконечные правильные кубы, выступы и отверстия пещер по склонам. Пока Данфорт вел самолет, я рассматривал их в полевой бинокль и сделал несколько фотографий; хотя пилот я далеко не профессиональный, временами я сменял Данфорта за штурвалом, чтобы и он мог воспользоваться биноклем. Нам было видно, что эти образования, в отличие от прочих обширных поверхностей, состояли из светлого архейского кварцита; бедняга Лейк говорил о неестественной, пугающей правильности их очертаний, и все же к такому мы были не готовы.

Как уже было сказано, края их под действием непогоды осыпались и потеряли четкость, но невероятно прочный материал не поддавался разрушению. Отчасти эти странные конструкции, особенно там, где они примыкали к склонам, стояли, похоже, из того же камня, что и окружающие горы. Все это в целом напоминало руины Мачу-Пикчу в Андах или древние стены Киша, раскопанные в 1929 году экспедицией музея Оксфордского университета и музея Филда. Лейк, обращаясь к своему напарнику по полету, Кэрроллу, употребил выражение «отдельные циклопические блоки» — и мы с Данфортом с ним согласились. Откуда они взялись в таком месте, я искренне не понимал, и это унижало мое профессиональное достоинство геолога. Правильные структуры не редкость в вулканических формациях (пример — знаменитая Дорога Гигантов в Ирландии), однако Лейк при первом взгляде

обманулся: судя по всему, происхождение этих гор было никоим образом не вулканическое.

Не столь удивительной, но все же загадкой были странные пещеры, рядом с которыми особенно изобиловали те самые выступы — их входы тоже поражали правильностью формы. Как сообщал прежде Лейк, они были близки к прямоугольнику или полукругу, словно природное отверстие было расширено и выправлено рукой волшебника. Бросалось в глаза, что их много и разбросаны они повсюду; предположительно, известняковые слои сплошь были изрыты туннелями, образовавшимися в результате растворения породы. В самую глубь пещер мы заглянуть не могли, но вроде бы сталактитов и сталагмитов там не было. Склоны вокруг отверстий были сплошь ровные и гладкие, и Данфорту показалось, что мелкие щербины и трещины на них складываются в необычные узоры. Его так потрясла ужасная картина, которую мы застали в лагере, что он усмотрел в них сходство с рисунком точек на зеленоватых стеатитах и его чудовищным, безумным повторением на снежных надгробиях шести похороненных монстров.

Постепенно набирая высоту, мы миновали предгорья и устремились к заранее намеченному, сравнительно низкому перевалу. Время от времени мы всматривались в снежно-ледовую дорогу, любопытствуя, возможно ли преодолеть этот маршрут без самолета. Сами того не ожидая, мы убедились в том, что это было вполне осуществимо; попадались, правда, трещины и прочие препятствия, и все же сани Скотта, Шеклтона или Амундсена вполне бы здесь прошли. Иные из ледников вели к необычайно длинным, продуваемым ветрами перевалам; добравшись до нужного нам горного прохода, мы поняли, что и он не составляет исключения.

Трудно описать, что мы испытывали, когда вершина была близка и перед нами вот-вот должен был открыться неведомый мир по ту сторону; едва ли нас ожидало нечто совершенно новое, и все же мы изнывали от нетерпения. В сплошной

стене гор, в просветах между вершинами, заполненных опаловым воздушным океаном, витала некая зловещая тайна, слишком неуловимая, чтобы объяснить ее словами. Скорее речь шла о смутных психологических символах, эстетических ассоциациях, чувстве, замешанном на причудливых стихах и картинах, на архаических мифах, тайных под обложками запретных книг. Даже в упорстве ветра чудилась сознательная злоба, и мне послышалось на мгновение, что к его многоголосому вою, вырывавшемуся из гулких пещер, примешивается дикий музыка разнообразных духовых инструментов. Сложный и неопределенный, как все гнетущие впечатления, звук этот будил в памяти какие-то туманные отталкивающие образы.

После медленного подъема мы находились, согласно анекдоту, на высоте 23 570 футов; пояс снегов остался внизу. Вверху лишь чернели голые склоны и виднелось начало ледника с рваными краями, однако дразнящие любопытство кубы, выступы и устья гулких пещер делали всю картину нереальной, похожей на сон. Оглядывая ряд высоких пиков, я заметил, предположительно, тот самый, который упоминал бедняга Лейк, — с выступом на самой вершине. Он еле виднелся, окутанный странной антарктической дымкой; наверное, именно ее Лейк принял вначале за признак вулканической деятельности. Перевал находился прямо перед нами, выглаженный и оголенный ветром, меж зубчатых, грозно насупленных пилонов. В небе за ним клубилась дымка, освещенная низким полярным солнцем, — то было небо таинственного запредельного царства, которого, судя по всему, не видел еще ни один человек.

Еще несколько футов подъема, и это царство нам откроется. Мы с Данфортом обменялись красноречивыми взглядами: переговариваться мы могли только криком из-за бешеного свиста ветра, к которому добавлялся шум мотора. Добрав эти последние футы, мы и в самом деле устремили взор за разделительную черту: по ту сторону простиралась древняя и бесконечно чуждая земля с ее немислимыми тайнами.

V

За перевалом, окинув взглядом пространство, мы оба вскрикнули от изумления, испуга, невозможности поверить собственным глазам. Разумеется, каждый ради самоуспокоения тут же стал подыскивать какую-нибудь теорию, объясняющую увиденное естественными законами природы. Вероятно, нам вспомнились затейливо выветрившиеся камни Сада Богов в Колорадо, симметричные формы обработанных ветром скал Аризонской пустыни. Быть может, в головах мелькнула мысль о мираже, который мы наблюдали утром на подлете к Хребтам Безумия. Нельзя было не искать опоры в какой-нибудь рациональной идее, когда, разглядывая безграничное, израненное бурями плато, обнаруживаешь там длиннейший лабиринт из колоссальных, геометрически правильных, ритмично выстроенных каменных масс, искрошенные вершины которых вздымались над ледовым пластом толщиной максимум сорок — пятьдесят футов, а местами и заметно меньше.

Не подберу слов, чтобы описать воздействие этого чудовищного зрелища: в нем явственно виделось нечто дьявольское, нарушавшее известные законы природы. Плоскогорье перед нами, высотой все 20 000 футов, относилось к временам седой древности, и климат здесь сделался непригодным для жизни не менее 500 тысяч лет назад, когда человека еще не существовало; между тем, насколько хватало глаз, в даль простиралась путаница каменных построек — лишь тот, кто отчаянно пытается оборонить свою привычную картину мира, стал бы отрицать, что они — результат чьих-то сознательных трудов. Прежде мы не задумывались серьезно о том, что кубы и выступы на горных склонах могут быть сотворены отнюдь не природой. Но кто же их создал, если в ту пору, когда антарктическая область превратилась в сплошное ледяное царство смерти, человек в своем развитии еще недалеко ушел от крупной обезьяны?

Ныне же власти разума безвозвратно пришел конец, циклопический лабиринт из прямоугольных, скругленных и фигурных блоков исключал возможность сколько-нибудь приемлемого объяснения. Совершенно очевидно, это был тот самый нечестивый город из миража, но только подлинный, неколебимый в своей реальности. Отвратительное видение основывалось на материальной причине: в верхних слоях атмосферы образовался горизонтальный слой ледяной пыли, в котором и отразился, согласно простейшим законам оптики, этот поразительный каменный город, переживший неисчислимые века. Конечно, детали картины были искажены и преувеличены, включая отдельные элементы, каких не было в действительности, но теперь, наблюдая оригинал, мы убедились, что он внушает даже большую жуть, чем его отдаленный фантом.

Если за сотни тысячелетий или даже миллионы лет гигантские башни и бастионы не пали под напором ураганов, беспрерывно терзавших это унылое плоскогорье, то объяснялось это единственно их невероятной прочностью и массивностью. «Corona Mundi... Крыша Мира...» Какие только фантастические фразы не просились на язык, пока мы, ошеломленные, оглядывали с высоты эту невероятную картину. Мне вновь вспомнились леденящие душу древние мифы, которые не выходили у меня из головы с того часа, когда я впервые увидел это мертвое антарктическое царство: о демоническом плато Ленг, о Ми-Го — мерзких снежных людях с Гималаев, о Пнакотикских манускриптах, относимых ко временам, когда не возник еще человеческий род, о культе Ктулху, о «Некрономиконе», о гиперборейских легендах про бесформенного Цаотгуа и связанное с этим половинчатым существом хуже чем бесформенное племя со звезд.

Постройки продолжались на мили и мили во всех направлениях, почти вплотную примыкая одна к другой. Поглядев вправо и влево, вдоль череды низких холмов, составлявших предгорье, мы убедились, что они расположены повсюду

одинаково плотно, и только левее перевала, откуда мы прилетели, виднелся просвет. По сути, мы случайно наткнулись на всего лишь малую часть необозримого целого. Холмы были также усеяны диковинными каменными сооружениями, хотя и не так плотно, что указывало на связь жуткого города с уже знакомыми кубами и выступами, составлявшими, очевидно, его горный аванпост. Эти постройки, а также странные устья пещер встречались с внутренней стороны хребта так же часто, как с внешней.

Безумянный каменный лабиринт состоял по большей части из стен высотой от 10 до 150 футов (я имею в виду то, что торчало надо льдом) и толщиной от пяти до десяти. Они были сложены преимущественно из сланцевых и песчаниковых блоков размером примерно $4 \times 6 \times 8$ футов, хотя в отдельных местах помещения были вырублены непосредственно в коренной породе — докембрийском сланце. Размеры строений существенно разнились; где-то тянулись на громадное расстояние ряды, похожие на соты, где-то стояли отдельные здания помельче. Преобладали конические, пирамидальные, а также уступчатые формы, хотя немало было и правильных цилиндров, кубов, комбинаций из кубов, других прямоугольных форм; а в одном месте мы заметили несколько причудливых остроугольных построек — пятиконечные в плане, они немного напоминали современные фортификационные сооружения. Неведомые строители умели возводить арки и часто пользовались этим искусством, а в эпоху расцвета, вероятно, в городе встречались и купола.

Вся эта путаница зданий пострадала от времени и непогоды; ледовая поверхность, из которой торчали башни, была усеяна выпавшими камнями и прочими обломками. В местах, где лед был прозрачный, виднелись нижние части гигантских построек, и мы заметили сохранившиеся под его покровом каменные мосты, которые связывали на разной высоте соседние башни. На стенах, не укрытых льдом, виднелись сколы — здесь тоже располагались в свое время мосты. Присмотревшись, мы обнаружили бесчисленные, довольно большие

окна; немногие были прикрыты ставнями — первоначально деревянными, но окаменевшими, — а другие угрожающе и мрачно зияли пустотой. Крыши по большей части отсутствовали, неровные верхние края стен были сглажены ветром. Но иные постройки, конические, либо пирамидальные, либо защищенные соседним высоким зданием сохранили свои изначальные контуры, хотя и пострадали от стихий. Через бинокль были видны даже ленты рельефов, украшавшие стены, на которых часто повторялся рисунок из точек, тот же, что на стеатитах из лагеря, — теперь он приобрел в наших глазах неизмеримо большее значение.

Местами здания были до основания разрушены и лед разломан, что было вызвано, скорее всего, разными геологическими причинами. В других местах не оставалось ничего от надледной части стен. Слева, примерно в миле от перевала, над которым мы летели, тянулась широкая полоса, где зданий не было, — начиналась она на плато и заканчивалась у расщелины среди холмов. Мы предположили, что миллионы лет назад, в кайнозойскую эру, город пересекала большая река, которая затем низвергалась под землю — в бездну, таившуюся под скальным барьером. Несомненно, эта область изобиловала пещерами, пропастями и недоступными людям подземными тайнами.

Вспоминая, что мы испытали, как оцепенели при виде чудовищного наследия далекой эры, предшествующей появлению человека, я удивляюсь тому, что мы хоть в малой мере сохранили присутствие духа. Безусловно, мы понимали: что-то катастрофически разладилось то ли в хронологии, то ли в научной теории, то ли в нашем собственном сознании. Однако нам хватило самообладания, чтобы пилотировать самолет, многое подмечать и аккуратно фотографировать, что еще должно сослужить нам и всему миру хорошую службу. В моем случае помогла укоренившаяся привычка к научному наблюдению — как бы я ни был растерян и испуган, мною руководила прежде всего любознательность, желание проникнуть в древние тайны, узнать, что за существа строили

этот необозримый город и жили в нем и как этот уникальный конгломерат — в эпоху своего расцвета или в другие времена — взаимодействовал с остальным миром.

Ибо это был не просто город. Именно в этом центре разворачивалась древняя, непостижимая глава земной истории; ее внешние отголоски, оставившие по себе смутную память в темных, запутанных мифах, заглохли в хаосе земных конвульсий задолго до того, как человечество вышло косолапой походкой из своего обезьяньего прошлого. Перед нами лежал мегаполис столь древний, что в сравнении с ним легендарные Атлантида, Лемурия, Коммориом, Узулдарум или Олатоэ в стране Ломар существовали даже не вчера, а сегодня; мегаполис, имя которого надо поставить в один ряд с такими кощунственными доисторическими именами, как Валузия, Р'льех, Иб в земле Мнар и Безымянный город в Аравийской пустыне. Пока мы летели над скоплениями колоссальных башен, я не обуздывал свое воображение, позволяя ему блуждать в сфере фантастических ассоциаций — и даже связывать этот затерянный мир с самыми бредовыми догадками относительно ужасов, которые мы застали в лагере.

Чтобы облегчить самолет, мы залили неполные баки, поэтому на дальнюю разведку рассчитывать не приходилось. Тем не менее, снизившись до высоты, на которой практически отсутствовал ветер, мы сумели покрыть изрядное расстояние. Горному хребту не просматривалось конца, жуткому каменному городу, протянувшемуся вдоль предгорий, — тоже. Мы летали в ту и другую сторону, покрывая по пятьдесят миль, но всюду видели неизменный лабиринт скал и каменной кладки, подобный труп, целиком, за исключением скрюченных рук, вмерзшему в лед. Обнаружились, однако, и весьма захватывающие особенности, такие как резные изображения в каньоне, где некогда большая река пересекала предгорье и исчезала под стеной гор. Утесы, обрамлявшие ее выход на простор предгорий, были превращены неведомыми дерзновенными ваятелями в резные циклопические пилоны с остроконечными и бочонкообразными фигурами, при виде кото-

рых в нас с Данфортом зашевелились смутные тошнотворные воспоминания.

Временами нам попадались открытые пространства в форме звезды — очевидно, площади, а также различные неровности на поверхности земли. В крутых холмах, как правило, вырубали полости, превращая их в подобие беспорядочно разбросанных каменных зданий, но попадались и исключения — по крайней мере, два. В одном случае холм был сильно разрушен, и чем венчалась его верхушка, определить было невозможно, тогда как второй холм нес на себе причудливый конический монумент, высеченный из каменного массива и напоминавший известную Змеиную Гробницу в древней долине Петры.

Удаляясь от гор, мы установили, что в ширину город был отнюдь не беспределен, хотя в длину он тянулся сколько хватало глаз. За тридцатимильной полосой гротескные каменные постройки стали попадаться все реже, а еще через десять миль под нами оказалась нетронутая пустыня без всяких следов деятельности разумных существ. Русло реки за городом было отмечено широкой впадиной; поверхность плато сделалась более расчлененной, с плавным подъемом к теряющемуся в дымке западу.

Пока мы ни разу не приземлялись, но разве можно было покинуть плато, не попытавшись проникнуть в некоторые из этих циклопических сооружений? Мы решили вернуться к перевалу, отыскать в предгорье какое-нибудь ровное место и, посадив самолет, предпринять пешую вылазку. Пологие склоны также изобиловали руинами, но, снизившись, мы убедились, что мест для посадки найдется сколько угодно. Выбрав ближайшее к перевалу (поскольку отсюда намеревались напрямик лететь в лагерь), мы в половине первого удачно сели на ровный и твердый наст, где не было никаких препятствий к последующему быстрому взлету.

Для такой краткой стоянки защищать самолет снежной насыпью казалось нецелесообразным, тем более что сильных ветров внизу не было; поэтому мы только посмотрели, чтобы

лыжные шасси стояли надежно, и прикрыли кожухами жизненно важные детали механизма. Для пешей вылазки мы сняли с себя часть тяжелой меховой амуниции и приготовили простейшее снаряжение: карманный компас, фотоаппарат, немного провизии, толстые блокноты и листы бумаги, геологический молоток и зубило, мешки для образцов, моток альпинистской веревки и мощные фонари с запасными батарейками. Все это мы взяли в самолет на тот случай, если сумеем приземлиться и получим возможность на месте фотографировать, делать зарисовки и топографические чертежи, а также откалывать образцы породы со скал или пещерных стен. По счастью, у нас имелась в запасе бумага: можно было нарвать ее клочками, поместить в пустой мешок для образцов и, следуя известному принципу, отмечать свой путь в лабиринте, если случится забраться в таковой. Разумеется, данный метод годен только в отсутствие сильного ветра, иначе пришлось бы прибегнуть к другому, не столь простому и быстрому: отмечать дорогу зарубками.

Осторожно спускаясь по снежной корке туда, где громоздился на фоне жемчужно-дымчатого западного небосклона невероятный лабиринт, мы ощущали близость чуда не менее остро, чем четыре часа назад, над горным перевалом. Да, нашим глазам уже открылись немыслимые тайны, спрятанные по ту сторону хребта, однако новое приключение внушало не меньший благоговейный страх и даже ужас, поскольку означало гигантский переворот в наших воззрениях на мир: нам предстояло ступить внутрь древних стен, возведенных некими разумными существами, наверное, миллионы лет назад — когда еще не существовало известных нам человеческих племен. На большой высоте, в разреженном воздухе, двигаться было труднее обычного, но мы с Данфортом держались очень бодро, и никакие физические усилия нас не пугали. Едва пройдя несколько шагов, мы наткнулись на бесформенные развалины, не поднимавшиеся выше уровня снега, а совсем неподалеку виднелись стены гигантской башни без крыши, поверху неровные, довольно четких пятиугольных очертаний,

высотой десять-одиннадцать футов. Туда мы и направились и, впервые коснувшись пальцами выщербленных циклопических блоков, ощутили, будто вступаем в беспрецедентную, едва ли не кощунственную связь с забытыми эпохами, к которым род человеческий не должен приближаться.

Башня имела форму звезды, расстояние между ее концами составляло футов триста, на постройку пошел песчаник юрского периода, блоки разнились по величине, средний размер составлял 6 × 8 футов. Футах в четырех от поверхности льда шел ряд арочных проемов или окон, шириной в четыре фута и высотой пять; они располагались симметрично по лучам звезды и во внутренних углах. Заглянув туда, мы обнаружили, что толщина кладки составляет не меньше пяти футов, перегородки не сохранились, а на внутренних стенах имеются следы ленточной резьбы или рельефов, чему мы не особенно удивились, поскольку уже наблюдали с низкого полета эту башню и другие подобные. Под видимой частью существовало, конечно, и основание, но оно было скрыто глубоким слоем льда и снега.

Забравшись через одно из окон, мы тщетно попытались определить, что изображает едва ли не полностью стертый стеной орнамент, но изучить то, что лежало под ледяным полом, даже не пробовали. Воздушная разведка показала, что многие здания в самом городе не так заросли льдом и если найти какое-нибудь с крышей, то можно будет, вероятно, обнаружить там уцелевшие интерьеры и даже спуститься до самого основания. Перед уходом мы тщательно сфотографировали башню и, не переставая удивляться, рассмотрели вблизи циклопическую кладку, возведенную без строительного раствора. Хотелось, чтобы рядом был Пейбоди: как знающий инженер, он мог бы предположить, каким образом в те отдаленные века, когда строились город и окрестные здания, были уложены эти колоссальные блоки.

В моей памяти прочно запечатлелись все мельчайшие подробности нашего спуска к расположенному в полумиле городу, когда на заоблачных вершинах у нас за спиной тщетно

ярился, завывая, ветер. Если хоть один человек, кроме Данфорта и меня, наблюдал когда-нибудь подобные зрительные образы, то разве что в кошмарном сне. Пространство между нами и клубящейся дымкой на западном небосклоне было занято чудовищным скоплением башен из темного камня; стоило поменять угол зрения, и у тебя снова захватывало дух от их эксцентричных, невероятных форм. Это был мираж, воплотившийся в камень, и, если бы не фотографии, я бы усомнился, что он существовал в действительности. Тип кладки был тот же, что в первой башне, однако какие же причудливые конфигурации придали неведомые зодчие городским строениям!

Даже фотографии не передают всей их фантастичности, бесконечного разнообразия, неестественной массивности и решительного расхождения с привычными формами. Иным фигурам едва ли подобрал бы название и Евклид: усеченные конусы со всевозможными нарушениями симметрии, вызывающе непропорциональные балконы, раздутые, криволинейные опоры, диковинные пучки обломанных колонн, звездчатые и пятигранные архитектурные комбинации, самые дикие и несообразные. Кое-где лед был прозрачный, и вблизи можно было рассмотреть трубчатые мостики, которые связывали на разной высоте эти беспорядочно разбросанные строения. Улицы как таковые отсутствовали, единственная свободная полоса, простиравшаяся слева, в миле от нас, представляла собой мертвое русло реки, которая текла когда-то через город и терялась в горах.

В бинокли мы видели стертые почти до основания рельефы и орнаменты из точек, во множестве украшавшие стены, и, хотя здания в большинстве утратили крыши и шпили, перед нашими глазами возникла картина города, каким он был в эпоху расцвета. В целом он представлял собой путаницу извилистых ходов и переулков; все они были сравнимы с глубокими каньонами, а иные чуть ли не с туннелями, настолько их затеняли каменные выступы и мостики. Теперь, простертый перед нами, город казался порождением сна, гро-

моздившимся на фоне туманного западного небосклона, на северном краю которого пробивались лучи низкого, красноватого антарктического солнца, лишь недавно покинувшего зенит. Когда на миг солнце скрылось в плотном тумане, вся картина погрузилась в тень и приняла угрожающий вид, описать который я попросту бессилён. И даже ветер, гулявший в горных перевалах и нас не трогавший, завыл и засвистел вдали с какой-то дикой, осмысленной злобой. Под конец спуск в город сделался крутым и обрывистым, а поскольку на переделах выступал обнаженный камень, мы решили, что здесь некогда существовала искусственная терраса и под слоем льда и сейчас скрываются ступени или иной удобный спуск.

Когда мы наконец нырнули в каменный лабиринт города и, пугаясь гнетущей близости этих выщербленных стен и чувствуя себя карликами у их подножия, принялись карабкаться по грудам камней, нас снова бросило в дрожь, и если мы сохранили толику самообладания, то это следует признать чудом. У Данфорта сдали нервы, и он начал высказывать самые дикие и неуместные предположения о случившемся в лагере. При виде мрачного наследия немыслимо далеких эпох у меня самого невольно возникали подобные же мысли, и оттого я тем яростней их отвергал. А у Данфорта все больше разыгрывалось воображение: в одном из закоулков, где полузасыпанный обломками проход резко сворачивал, ему причудились подозрительные следы; еще где-то он встал как вкопанный, ловя слухом какие-то слабые звуки — по его словам, это было приглушенное, доносившееся неведомо откуда посвистывание, похожее на свист ветра в горных пещерах, но все же отличное от него. Бесконечно повторявшийся в архитектуре и на немногих сохранившихся настенных орнаментах *звездчатый* рисунок не мог не навести нас на мрачные аналогии, и подсознательно мы уже почти не сомневались в том, каков был облик первобытных существ, строивших и населявших это проклятое место.

Тем не менее научное любопытство и азарт первооткрывателей еще не совсем в нас угасли; мы машинально продол-

жали, согласно своим планам, собирать образцы всех пород, какие попадались в кладке. Желательно было собрать полную коллекцию, чтобы увереннее определить возраст города. В мощных наружных стенах ничто не указывало на время более позднее, чем юрский и команчский период, да и в других местах самые недавние камни относились к плиоцену. С большой определенностью можно было заключить, что город, по которому мы блуждали, превратился в царство смерти примерно пятьсот тысяч лет назад, а то и больше.

Пробираясь по сумеречным ходам каменного лабиринта, мы заглядывали во все попадавшиеся по пути проемы, осматривали помещения и определяли, можно ли туда проникнуть. Некоторые отверстия находились слишком высоко, за другими виднелись одни только обледеневшие развалины, как в лишенной крыши башне на холме. В одной комнате, просторной и не столь разрушенной, зияла в полу бездонная пропасть, куда, по всей видимости, не было спуска. Не раз нам выпадала возможность изучить уцелевшие ставни, и мы поражались, различая текстуру окаменевшего дерева — реликта столь далекой эпохи. Это были мезозойские голосемянные и хвойные — прежде всего саговники мелового периода, а также веерные пальмы и ранние покрытосемянные третичного периода. Позднее плиоцена ничего не обнаруживалось. Располагались ставни по-разному: иные с внешней, иные с внутренней стороны глубоких амбразур; на краях имелись следы необычных петель — последние, впрочем, давно обратились в прах. Утратив прежние — вероятно, металлические — крепления, ставни держались за счет того, что застряли в пазах.

В конце концов мы набрали на ряд окон в пяти округлых выступах колоссального конуса, вершина которого осталась нетронутой; за ними была обширная, хорошо сохранившаяся комната с каменным полом, но спуститься туда из окна возможно было только по веревке. Таковая у нас имелась, но мы не хотели без особой необходимости карабкаться по ней целых двадцать футов, тем более что в разреженном горном возду-

хе это упражнение отняло бы очень много сил. Громадная комната служила, вероятно, чем-то вроде зала или вестибюля; в свете электрических фонарей был виден четкий и, надо полагать, выразительный скульптурный рельеф, который располагался вдоль стен широкими горизонтальными лентами, чередуясь с такими же широкими полосами, заполненными абстрактным орнаментом. Мы взяли это место на заметку, чтобы вернуться сюда, если не найдем помещение с более удобным доступом.

Но вот нам попался как раз такой вход, какой мы искали: арочный проем, шести футов в ширину и десяти в высоту, на месте, куда подходил прежде воздушный мостик, пересекавший переулок в пяти футах над нынешней поверхностью льда. Такие проемы, разумеется, находились на одном уровне с полом верхнего этажа, и в данном случае пол был на месте. Само здание, обращенное фасадом к западу, находилось слева от нас и состояло из ряда одинаковых прямоугольных элементов. Здание напротив, где зиял ответный арочный проем, сохранилось плохо. Это был цилиндр без окон, со странным округлым выступом в десяти футах над отверстием. Внутри царил непроглядная тьма, а за проходом, судя по всему, открывался бездонный пустой провал.

Вскарабкавшись на кучу обломков, мы подобрались к левому зданию еще легче, чем рассчитывали, но, прежде чем воспользоваться желанной возможностью, на мгновение заколебались. Пусть мы уже нарушили границу, отделявшую нас от хитросплетения древних тайн, но чтобы ступить внутрь уцелевшего здания, нетронутого уголка баснословного мира, чудовищная природа которого становилась нам все яснее и яснее, — для этого требовалось заново набраться решимости. И все же мы перешагнули край отверстия. За ним находилось что-то вроде длинного и высокого коридора с рельефами на стенах, пол был выложен большими сланцевыми плитами.

Заметив множество арочных проемов по обеим сторонам коридора, мы поняли, что за ними находится разветвленная

сеть помещений: настала пора прибегнуть к нашей системе пометок. До сих пор нам хватало компасов, да и горный хребет, видневшийся между башен, служил надежным ориентиром. Теперь же требовалось нечто иное. Мы нарвали запасную бумагу на подходящего размера клочки и сложили их в мешок, который взял Данфорт. Использовать их предполагалось по возможности экономно. Поскольку в этих древних стенах не гуляли сколько-нибудь заметные сквозняки, нам не грозило заблудиться. На тот случай, если ветерок все же задует или запас бумаги истощится, был предусмотрен другой, правда, медленный и трудоемкий способ: делать на стенах зарубки.

Но чтобы судить о размерах этого лабиринта, нужно было сначала его осмотреть. Дома были расположены очень близко друг к другу и связаны большим числом переходов — не заметишь, как по подледному мостику забредешь в соседний. Помешать могли только локальные обвалы и геологические сдвиги, поскольку оледенение мало затронуло внутренности этой массивной конструкции. Замечая под прозрачным льдом окна, мы каждый раз убеждались, что они плотно закрыты ставнями, словно все дома были оставлены в одинаковом виде до той поры, пока нижние этажи не скрылись под толщей льда. Трудно было избавиться от впечатления, будто в стародавнюю, покрытую мраком эпоху дома были намеренно заперты и покинуты — не разрушенные никакой внезапной катастрофой и даже не обветшавшие. Быть может, неведомые горожане предвидели грядущее оледенение и покинули город все вместе, чтобы найти менее уязвимое убежище? Какие точно физиографические условия сопровождали образование в этих краях ледяной корки, еще предстояло определить. Постепенное наступление льда, очевидно, исключалось. Вероятно, скопившийся снег превратился в лед под собственной тяжестью, а может, разлилась река или где-то в горах провало ледяную дамбу, что и привело к ситуации, которую мы теперь наблюдали. В этих местах ничто не казалось невероятным.

VI

Не возьму на себя труд детально и последовательно описать наши блуждания по замысловатой сети похожих на пещеры помещений, по этому чудовищному склепу, полному старинных тайн, никогда не слышавшему эха человеческих шагов. Достаточно будет сказать, что одни только вездесущие стенные рельефы содержали в себе множество открытий самого драматического свойства. Мы сделали фотографии со вспышкой, они подтвердят правдивость того, что будет рассказано дальше. Жаль, у нас было с собой слишком мало пленки. Используя ее всю, мы стали схематически зарисовывать самые поразительные изображения.

Здание, куда мы проникли, было из числа самых крупных и тщательно отделанных; осмотр его помог нам составить представление обо всей немыслимо древней архитектуре города. Внутренние стены были тоньше внешних, но на нижних этажах прекрасно сохранились. Похожая на лабиринт постройка поражала сложностью и причудливостью — в частности, сменой уровней пола; если бы не разбросанные клочки бумаги, мы заплутали бы у самого входа. Первым делом мы решили исследовать верхнюю часть, не столь сохрannую, как нижняя. Извилистыми ходами мы прошли футов сто до верхнего ряда комнат — засыпанные снегом и обломками, они смотрели прямо в открытое полярное небо. Лестниц не было, их заменяли пандусы: где плавные, а где крутые, из ребристого камня. Комнаты нам встречались самых различных форм и пропорций, от звездчатых до треугольных и квадратных. Средний их размер составлял, пожалуй, 30 × 30 футов, высота — 20 футов, но много было и более просторных. Тщательно осмотрев все, что находилось выше уровня льда, мы спустились в подледные этажи и вскоре убедились, что бесконечное переплетение комнат и коридоров выведет нас, наверное, далеко за пределы данного здания. Нас угнетали циклопические габариты и массивность всего, что встречалось по пути; в очертаниях, размерах, пропорциях, убранстве и конструктивных

особенностях этого сооружения, сама древность которого воспринималась как кощунство, угадывалось нечто глубоко чуждое человеческому роду. Изучая резные рисунки, мы вскоре поняли, что они говорят об истории, растянувшейся на много миллионов лет.

Для нас еще оставалось загадкой, на каких инженерных принципах основывались строители, укладывая и балансируя огромные массы камня, хотя ясно было, что они широко использовали принцип арки. В комнатах, которые мы посетили, не было никаких вещей или предметов обстановки, — это подтвердило наше предположение, что обитатели покидали город обдуманно и без особой спешки. Главным и повсеместным украшением была скульптурная отделка стен, построенная по одной и той же схеме: с пола до потолка чередовались горизонтальные полосы рельефа шириной три фута с полосами той же ширины, заполненными геометрическим орнаментом. Попадались и исключения из этого правила, но в подавляющем большинстве случаев оно соблюдалось. В орнаментальных полосах нередко встречались гладкие картуши с причудливым точечным рисунком.

Техника исполнения, как мы скоро установили, отличалась зрелостью и совершенством; она достигла предельной изощренности, хотя ни в одном аспекте не совпадала с традициями человеческого искусства. Я в жизни не видел скульптуры столь утонченной. Подробнейше проработанные изображения флоры и фауны отличались удивительной живостью, хотя на рельефе их было великое множество; абстрактный орнамент поражал виртуозной сложностью. В арабесках, с начала до конца построенных на математических принципах, симметрично сплетались кривые и ломаные линии, причем повсюду превалировало число пять. Создатели ленточных рельефов следовали строгим формальным требованиям и практиковали очень необычную трактовку перспективы, однако сила их искусства произвела на нас глубокое впечатление, несмотря на то что художников и зрителей разделяли целые геологи-

ческие периоды. Их композиционный метод основывался на странном сочетании плоскостных и двухмерных объектов и воплощал в себе глубочайший психологический анализ, не свойственный ни одному древнему народу. Бесплезно искать что-нибудь подобное этому искусству в наших музеях. Те, кто ознакомится с фотографиями, усмотрят в них некоторую аналогию разве что с самыми гротескными идеями наиболее дерзких футуристов.

Орнамент был выполнен в технике выемчатой резьбы, глубина его — там, где стены не очень пострадали от времени, — составляла от одного до двух дюймов. Что касается картушей с точками (очевидно, это были надписи на каком-то неизвестном древнем языке с использованием неизвестного древнего алфавита), то гладкая поверхность была заглублена в стену примерно на полтора дюйма, а точки — еще на полдюйма. Лента с фигурами представляла собой рельеф, фон которого был утоплен в стену дюйма на два. Кое-где виднелись следы краски, но за бесчисленные тысячелетия она почти вся разложилась и слезла. Чем пристальней мы изучали удивительную технику, тем больше ею восхищались. Сугубо условный рисунок выдавал тем не менее наблюдательность скульптора и точность его руки; да и в самих художественных условностях отражалась истинная природа объектов, подчеркивались жизненно важные различия между ними. Чувствовалось также, что помимо очевидных достоинств имеются и другие, недоступные нашему восприятию. В некоторых деталях содержались, как можно было догадаться, тайные знаки и символы, которые были бы для нас чрезвычайно важны, но чтобы понять их, требовались иной способ мышления, иная эмоциональная сфера, а также иные — или же дополнительные — органы чувств.

Сюжеты рельефов отражали, судя по всему, повседневную жизнь в эпоху их создания; нередко речь в них шла об исторических событиях. Это первобытное племя сверх всякой меры интересовалось историей — случайное обстоятель-

ство, которому мы могли только радоваться, поскольку в их резных рисунках обнаружилась масса ценной информации. Потому-то мы прежде всего и занялись их фотографированием и зарисовкой. В некоторых помещениях стены были оформлены иначе: крупномасштабными картами, астрономическими схемами и прочими изображениями, относящимися к науке; они напрямую подтверждали все то, о чем рассказывали фигурные фризy и панели. Вкратце описывая наши впечатления и догадки, я надеюсь, что те, кто мне поверит, не увлекутся настолько, чтобы забыть о разумной осторожности. Будет настоящей трагедией, если мой рассказ, задуманный как предостережение, вызовет у кого-либо желание отправиться в это царство смерти и ужаса.

Изукрашенные скульптурой стены были прорезаны высокими окнами и массивными двенадцатифутовыми дверьми; сохранившиеся кое-где ставни и дверное полотно были сделаны из деревянных планок, искусно вырезанных и отполированных, а ныне обратившихся в окаменелость. От металлических креплений, конечно же, давно ничего не осталось, но некоторые двери еще держались в рамах, и нам нелегко было отворять их, переходя из комнаты в комнату. Кое-где попадались и оконные рамы со странными прозрачными панелями, преимущественно эллиптической формы, но их было немного. Часто встречались большие ниши, как правило пустые, но в иных случаях с непонятными изделиями, вырезанными из зеленого стеатита: видно, они были сломаны или не представляли особой ценности и хозяева не взяли их с собой, когда покидали дом. Имелись и отверстия, связанные в свое время с различными инженерными устройствами, дающими тепло, свет и прочее, — это нам подсказали резные рисунки. Потолки по большей части не имели отделки, но иногда их украшала плитка из зеленого стеатита или другого материала, от которой мало что осталось на месте. Подобной же плиткой бывали выстелены полы, однако преобладали простые каменные плиты.

Как уже было сказано, мебель и все, что можно было унести, отсутствовало, однако скульптурные картины позволяли ясно представить себе, что за странные предметы наполняли в свое время эти гулкие, похожие на гробницы комнаты. На надледных этажах полы скрывал едва ли не сплошной слой обломков и сора, однако внизу дело обстояло иначе. В одних комнатах и коридорах мы обнаружили лишь немного песка и вековой грязи, в других царила пугающая чистота, словно их недавно подмели. Но и внизу, там, где случались сдвиги и обрушения, не обходилось без гор обломков. Помещения, расположенные в глубине дома, освещались через внутренний дворик (такие мы неоднократно наблюдали из самолета), поэтому в верхних этажах мы пользовались фонарями, только когда изучали детали скульптурной отделки. Под толщей льда, однако, царили потемки, а в путанице комнат нижнего этажа и вовсе стояла непроглядная чернота.

О чем мы думали, что чувствовали, углубляясь в этот созданный неведомыми строителями каменный лабиринт, нарушая тишину, длившуюся неисчислимые тысячелетия? Чтобы дать об этом хотя бы самое приблизительное представление, необходимо как-то разобраться в диком хаосе одолевавших нас мимолетных чувств, воспоминаний, впечатлений. Человеку чувствительному хватило бы и ужаса, каким веяло от этих реликвий седой древности, заброшенных и погруженных в летаргический сон, а тут еще и необъяснимая трагедия в лагере, и эти жуткие настенные рельефы, на многое открывшие нам глаза. Нам достаточно было набрести на превосходно сохранившийся, трактуемый вполне однозначно фрагмент и немного к нему присмотреться, чтобы осознать страшную истину. Наивно было бы отрицать, что и у Данфорта, и у меня уже мелькали в голове подобные догадки, но в разговорах мы всячески избегали даже намеков на них. Теперь же не осталось места для благодетельных сомнений по поводу природы существ, построивших и заселивших этот чудовищный мертвый город в ту отдаленную эпоху, когда ближайшими пред-

ками человека были примитивные древние млекопитающие, а в тропических степях Европы и Азии бродили гигантские динозавры.

Прежде каждый из нас втайне от другого отчаянно цеплялся за иное объяснение излюбленного мотива местного искусства — пятиконечной звезды. Нам думалось, что существовал художественный или религиозный культ некоего представителя архейской флоры или фауны, воплощавшего в себе эту форму; подобным же образом возникли и получили распространение многие декоративные мотивы: священный бык на Крите в минойский период, скарабей в Египте, волчица и орел в Риме, тотемные животные различных диких племен. Но теперь последняя лазейка была у нас отнята, и оставалось только осознать безумную истину, о которой, несомненно, уже догадывались читатели этих строк. Мне даже сейчас претит излагать ее на бумаге, хотя, возможно, в этом не будет необходимости.

Твари, которые в эпоху динозавров возвели эти страшные каменные строения, чтобы в них поселиться, сами не являлись динозаврами — куда там. Племя динозавров было молодым и безмозглым, а строители города уже тогда были стары и мудры. Они оставили свои следы на камнях, уложенных в стены еще миллиардом лет ранее, когда жизнь на Земле была представлена способными к адаптации группами клеток... когда никакой жизни здесь еще не существовало. Они были творцами и повелителями этой самой жизни, и именно о них повествуют древние сатанинские мифы, на которые боязливо ссылаются авторы Пнакотикских манускриптов и «Некрономикона». Это они были теми самыми Великими Старцами — той Старой Расой, что в эпоху юности Земли прилетела сюда со звезд, — существами, сформированными чуждой нам эволюцией и наделенными мощью, нашей планете неизвестной. Подумать только: всего лишь днем ранее мы с Данфортом осматривали ископаемые фрагменты этих существ... а бедняга Лейк с коллегами видел их целыми и неповрежденными...

Разумеется, не возьмусь изложить, в каком именно порядке открывались нам факты, относящиеся к долгой главе земной истории, что предшествовала появлению человека. После первого открытия мы приостановились, дабы прийти в себя, и лишь в три часа пополудни возобновили систематические научные поиски. Скульптурное убранство здания, куда мы вошли, относилось к сравнительно позднему времени — около двух миллионов лет назад (мы определили это, исходя из признаков геологических, биологических и астрономических). Это был период упадка в искусстве, что стало ясно, когда мы ознакомились с рельефами в более ранних зданиях — туда мы проникли по подледным мостам. Одно из них было высечено из массива скалы добрых сорок или пятьдесят миллионов лет назад, то есть относилось к нижнему эоцену или меловому периоду, и рельефы, его украшавшие, превосходили по мастерству все, что мы видели, за одним лишь исключением. Впоследствии мы сошлись на том, что это здание было самым старым из всех нами осмотренных.

Если бы не необходимость прокомментировать фотографии, которые вскоре будут опубликованы, я предпочел бы промолчать о наших наблюдениях и выводах из опасения оказаться в сумасшедшем доме. Разумеется, первые главы моего мозаичного повествования, где говорится о доземной жизни этих звездчатых тварей на других планетах, в других галактиках и других вселенных, можно счесть их собственной фантастической мифологией; однако относящиеся к этим главам рисунки и диаграммы иной раз обнаруживали столь тесную связь с новейшими математическими и астрофизическими открытиями, что я не знаю, как к ним отнестись. Я опубликую фотографии, а другие пусть судят.

Естественно, рельефы, что нам попадались, содержали в себе лишь отдельные фрагменты истории Старцев, так что мы изучали ее не в хронологическом порядке. В некоторых обширных комнатах были запечатлены на стенах отдельные главы, из нее выхваченные, но бывало и так, что соседние комнаты и коридоры несли на себе целую последовательную

хронику. Самые лучшие карты и диаграммы помещались на стенах жуткого подземелья, расположенного под тогдашним цокольным этажом. Эта пещера, в 200 футов в поперечнике и высотой 60 футов, использовалась, несомненно, в качестве своеобразного учебного центра. Иногда мы с досадой обнаруживали, что уже известные сведения повторяются в другой комнате или другом здании: декораторы или жильцы, очевидно, питали особое пристрастие к тем или иным сюжетам, страницам истории. Но временами различные версии одной и той же темы помогали нам разрешить спорный вопрос или заполнить пробел.

Не перестаю удивляться, как нам удалось за такое короткое время узнать столь многое. Разумеется, мы и сейчас располагаем лишь самыми схематическими познаниями, причем многие заключения вывели позднее, когда изучали фотографии и зарисовки. Может быть, эти занятия и спровоцировали нынешний нервный срыв Данфорта: сыграли свою роль ожившие воспоминания и смутные догадки, потрясшие его чувствительную натуру и дополненные неким ужасным зрелищем, суть которого он скрывает даже от меня. Но заняться этим следовало непременно, поскольку предостережению, с которым мы собираемся выступить, не будет веры, если не сопроводить его самой полной информацией, меж тем как предостеречь человечество мы просто обязаны. Антарктические исследования должны быть остановлены: в этом непознанном мире смещенного времени и чуждых нашей планете природных законов таятся силы, которые грозят бедой.

VII

Полная история, насколько в ней удалось разобраться, будет вскоре опубликована в официальном бюллетене Мискатоникского университета. Здесь же я коснусь только самого основного, причем довольно бессистемно. Был ли то миф или историческое событие, но скульптуры повествовали о том, как прибыли из космоса на едва народившуюся, лишен-

ную обитателей Землю звездоголовые пришельцы, и не только они, но и многие другие чужаки, к тому времени уже освоившие космические полеты. Похоже, что межзвездное пространство они пересекали на гигантских перепончатых крыльях, что странным образом подтвердило любопытное предание, ходившее среди горных обитателей и пересказанное мне давным-давно одним коллегой-антикваром. Долгое время они жили в море, строили фантастические города и вели свирепые битвы со своими безымянными противниками, пользуясь при этом сложными устройствами, основанными на неизвестных нам принципах получения энергии. Несомненно, по своим научным и инженерным знаниям они далеко превосходили современного человека, но своей совершенной техникой пользовались только при необходимости. Как можно было понять из рельефов, обитая на других планетах, Старцы пережили стадию техногенной цивилизации, однако отказались от нее как от неадекватной эмоционально. Благодаря своему стойкому организму и несложным естественным потребностям, они могли вести цивилизованное существование, обходясь лишь немногими искусственными изделиями; даже одежда требовалась им только время от времени, для защиты от стихии.

Обитая в воде, они и создали впервые на планете — сначала чтобы питаться, а потом для других целей — органическую жизнь, для чего воспользовались доступными материалами и давно проверенными методами. К более изощренным экспериментам Старцы перешли, когда покончили со своими многочисленными космическими врагами. То же самое они делали и на других планетах; причем создавали для себя не только пищу, но и многоклеточную протоплазменную массу, способную под гипнозом формировать из своего состава всевозможные временные органы. Таким образом получались идеальные рабы, которые выполняли для сообщества всю тяжелую работу. Эти вязкие организмы можно без сомнения отождествить с «шогготами», которых осторожно упоминает в своем страшном «Некрономиконе» Абдул Альхазред, хотя

даже у этого безумного араба не встретишь намека на то, что подобные создания существовали наяву, а не только в сновидениях людей, жевавших богатые алкалоидами растения. Когда звездоголовые Старцы синтезировали на нашей планете простейшие съедобные организмы и запаслись шогготами, они позволили прочим многоклеточным свободно развиваться, образуя новые виды флоры и фауны, пригодные для различных целей. Уничтожались только те из них, что оказывались так или иначе вредны.

С помощью шогготов, способных перемещать огромные тяжести, подводные города, вначале маленькие и невысокие, превратились в обширные, внушительные каменные лабиринты, сходные с теми, которые впоследствии выросли на суше. Надо сказать, в прежнее время на других планетах Старцы, с их высокой способностью к адаптации, обитали и на суше и, вероятно, не утратили соответствующих строительных традиций и на Земле. Изучая архитектуру городов, изображенных на рельефах, а также и того, что окружало нас сейчас, мы заинтересовались любопытным совпадением, которое пока не пытались объяснить даже для себя. Вершины зданий в реальном городе давно превратились в бесформенные руины, но в рельефах сохранились четкие изображения. Там были громадные скопления игольчатых шпилей, нарядные, тонкой работы навершия конусов и пирамид, плоские фестончатые диски, собранные в столбик на цилиндрических опорах. Именно этот мертвый город отображался в зловещем мираже, который возник перед нашими глазами по ту сторону непостижимых Хребтов Безумия, когда мы приближались к злосчастному лагерю Лейка. Меж тем уже тысячи, десятки тысяч лет этого силуэта не существовало в реальности.

О жизни Старцев, как под водой, так и в дальнейшем, когда часть из них переселилась на сушу, можно написать многие тома. Жившие на мелководье продолжали пользоваться глазами, которые размещались у них на концах пяти основных головных щупалец; они практиковали скульптуру и са-

мое обычное письмо, для чего использовали остроконечные палочки и вощенные, стойкие к воде поверхности. Те же, кто обитал в океанских глубинах, применяли для освещения какой-то необычный фосфоресцирующий организм, но, главное, использовали при ориентации особые, неизвестные нам органы чувств, сосредоточенные в призматических ресничках на голове. Благодаря этим органам Старцы в случае необходимости могли довольствоваться минимумом света. Скульптура и письмо у глубоководных обитателей подверглись любопытным изменениям: поверхности стали покрывать особым химическим составом — вероятно, фосфоресцирующим, хотя что это был за состав, рельефы подсказать не могли. В воде эти существа передвигались, отчасти загребая верхними конечностями, похожими на руки криноидов, отчасти извивая нижний ряд щупалец с псевдоногами. Время от времени они совершали длинные броски, для чего пускали в ход пару — или более — перепончатых крыльев. На суше они пользовались псевдоногами, но, чтобы преодолеть большое расстояние или забраться на большую высоту, поднимались на крыльях в воздух. Их криноидные руки, разветвлявшиеся на множество тонких щупалец, обладали высокой чувствительностью, гибкостью, силой и четкой координацией движений; этим объяснялись высокое художественное мастерство Старцев и ловкость при ручных работах.

Прочность тканей их организмов просто поражала. Даже страшное давление на морских глубинах было им нипочем. Похоже, случаи ненасильственной смерти среди них были крайне редки; мест захоронения существовало немного. Мертвых погребали стоймя, сверху устраивали пятиконечный холмик с надписями — установив это, мы с Данфортом должны были сделать новую паузу, чтобы основательно поразмыслить. Размножались эти существа при помощи спор, подобно папоротниковым растениям (Лейк это предполагал), однако ввиду их чрезвычайной живучести восполнять численность, как правило, не требовалось, и развитие заростков обычно огра-

ничивалось, разве что предстояло заселить новые территории. Молодые организмы быстро достигали зрелости; образование, которое они получали, превосходит все мыслимые стандарты. Интеллект, творческие способности достигали больших высот; вследствие этого укоренился целый ряд обычаев и традиций, которые я опишу более полно в своей будущей монографии. Традиции морских и наземных обитателей слегка различались в частности, но совпадали в своей основе.

Подобно растениям, Старцы могли питаться неорганическими веществами, однако предпочитали органическую, и прежде всего животную пищу. Подводные жители потребляли сырые морские продукты, однако наземные подвергали мясо обработке. Они охотились, занимались мясным скотоводством; скот забивали острыми орудиями, странные следы которых на окаменевших костях были обнаружены нашей экспедицией. Старцы были удивительно устойчивы ко всем обычным на земле температурам; вода, близкая к замерзанию, являлась для них вполне приемлемой средой. Однако около миллиона лет назад, в эпоху плейстоцена, когда наступило великое оледенение, жителям суши пришлось прибегнуть к искусственным средствам, в том числе к отоплению. Кончилось тем, что холода загнали их обратно в море. Согласно легенде, перед своими доисторическими перелетами через космическое пространство Старцы употребляли некие химикалии, которые помогали им обходиться без пищи и кислорода, а также выдерживать экстремальные температуры, однако ко времени великого оледенения они забыли этот метод. Во всяком случае, это искусственное состояние нельзя было поддерживать бесконечно.

Размножаясь неполовым путем и будучи отчасти растениями, Старцы не имели биологических основ для образования семейных пар, как у млекопитающих, однако объединялись в сообщества, основанные на удобстве совместного проживания и духовном родстве (это заключение мы вывели из картин, изображающих групповые занятия и развлечения

ния). Обустривая свои обширные комнаты, они помещали все необходимое в центр, а стены оставляли свободными, чтобы изукрасить их скульптурной отделкой. Для освещения в наземных жилищах использовался прибор, основанный, вероятно, на электрохимических принципах. В качестве столов и стульев в наземных и подводных домах использовались весьма необычные конструкции, спальные места представляли собой цилиндрические каркасы (отдыхали и спали Старцы стоя, сложив щупальца), на полках хранились книги в виде скрепленных петлями табличек, надписи состояли из комбинаций точек.

В основе сложной системы правления лежали, очевидно, социалистические принципы, хотя по скульптурам об этом было трудно судить. Существовал интенсивный торговый обмен, как внутренний, так и между городами; деньгами служили плоские звездчатые фишечки с надписями. Вероятно, самые мелкие из зеленоватых стеатитов, найденных экспедицией, и были такими монетами. Хотя это была в основном урбанистическая цивилизация, существовали также земледелие и животноводство. Добывались полезные ископаемые, имелось, в ограниченных масштабах, и фабричное производство. Старцы много путешествовали, однако мигрировали относительно нечасто; исключение составляли случаи колонизации, когда их раса, осваивая новые территории, умножалась в числе. Индивиды не нуждались в дополнительных средствах передвижения: пространства суши, воздуха и воды были им одинаково подвластны. Грузы, однако, перемещали тягловые животные; под водой это были шогготы, а на земле, уже в поздний период, некоторые примитивные виды позвоночных.

И эти позвоночные, и великое множество других организмов — животных и растительных, обитающих на земле, в море и в воздухе, — были продуктами свободной эволюции клеток; Старцы их создали, но дальнейшее развитие уже не контролировали. Флоре и фауне было позволено развиваться до тех пор, пока они ничем не угрожали доминантной расе. Если

появлялись вредоносные формы, они, разумеется, немедленно уничтожались. Нас заинтересовали некоторые из самых поздних скульптур, уже отмеченных признаками художественного упадка, — изображения неуклюжих первобытных млекопитающих; наземные обитатели иногда употребляли их в пищу, а иногда держали для забавы в качестве домашних животных. В этих существах прослеживалось слабое, однако безошибочное сходство с обезьяной и с человеком. При строительстве наземных городов, для подъема на высокие башни гигантских каменных блоков, Старцам служили птеродактили с громадными крыльями — вид, ранее неизвестный палеонтологам.

Живучесть Старцев, выдержавших многие геологические катаклизмы и смещения земной коры, граничит с чудом. Хотя все, или почти все, их ранние города пришли в запустение еще до конца архейской эры, сама их цивилизация существовала непрерывно, как непрерывно велись и записи. Впервые прибыв на нашу планету, они высадились в Антарктическом океане, и произошло это вскоре после того, как из соседнего Тихого океана была выброшена на орбиту масса вещества, позднее сформировавшего Луну. Согласно одной из рельефных карт, весь земной шар был покрыт тогда толщей воды, и с течением времени каменные города множились, все более удаляясь от Антарктики. На следующей карте было показано обширное пространство суши вокруг Южного полюса; очевидно, кое-кто из Старцев устроил там пробные поселения, тогда как главные центры их цивилизации переместились в близлежащие районы морского дна. Позднейшие карты отразили дробление и перемещение этих участков суши: некоторые из них сдвинулись к северу, удивительным образом подтверждая недавнюю теорию Тейлора, Вегенера и Джоли о дрейфе материков.

Поднятие земной коры на юге Тихого океана положило начало гигантским катаклизмам. Некоторые морские города прекратили существование, но это было еще не самое худшее. Вскоре из космических далей начали проникать сухо-

путные существа, внешне напоминавшие осьминогов (быть может, именно их имеют в виду древние мифы, говоря о потомстве Ктулху), и в результате жесточайшей войны Старцы были загнаны обратно в океан — колоссальный удар, ведь они уже интенсивно осваивали сушу. Позднее был заключен мир и новые земли были отданы потомкам Ктулху, а Старцам остались моря и их старые сухопутные владения. На суше они основали новые города, самые большие — в Антарктике, ибо это была священная область, куда впервые прибыли поселенцы. С тех пор за Антарктикой закрепилась ее прежняя роль центра цивилизации Старцев, а от поселений, основанных там потомками Ктулху, не осталось и следа. Затем внезапно земли в Тихом океане вновь опустились на дно, а с ними канули в пучину мрачный каменный город Р'льех и все племя космических осьминогов. Старцы вернули себе владычество над планетой, омрачавшееся только тайными опасениями, о которых они не любили упоминать. Позднее их города усеяли весь земной шар — и землю, и морское дно; в будущей монографии я порекомендую археологам провести систематические буровые исследования в определенных, отдаленных друг от друга регионах, воспользовавшись оборудованием типа аппарата Пейбоди.

Все больше Старцев переселялось из морей на сушу, тем более что площадь ее увеличивалась благодаря поднятию материков, хотя часть жителей оставалась и в океанских городах. Имелась еще одна веская причина для переселения на сушу: чтобы жить под водой, требовались шогготы, а выращивать их и управлять ими сделалось трудней. Со временем (о том с сожалением свидетельствуют скульптуры) искусство создавать жизнь из неорганической материи было утеряно, и Старцам пришлось обходиться существующими формами, приспособлявая их к своим нуждам. На суше весьма пригодными для этого оказались крупные рептилии, но вот морские шогготы (размножавшиеся делением и достигавшие иной раз опасно высокого умственного развития) причиняли с некоторых пор очень большое беспокойство.

Старцы всегда управляли ими при помощи гипноза, по мере надобности формируя из их плотных пластичных тканей временные конечности и органы. Теперь все чаще наблюдались случаи само моделирования, когда спонтанно возникали различные подражательные формы, усвоенные шогготами из прежних программ. У них, похоже, развился отчасти стабильный мозг, обладавший самостоятельной и временами непокорной волей, которая откликалась на желания Старцев, но не всегда им следовала. Скульптурные изображения шогготов заставили нас с Данфортом содрогнуться. В обычном состоянии они представляли собой бесформенную студенистую массу, что-то вроде скопления пузырьков; в виде шара они достигали среднего диаметра в пятнадцать футов. Правда, форма их и объем постоянно менялись — самостоятельно или по приказу, — образуя временные отростки и, в подражание хозяевам, ложные органы зрения, слуха и даже речи.

Примерно 150 миллионов лет назад, в середине пермского периода, шогготы, похоже, окончательно вышли из повиновения; чтобы вновь подчинить их себе, понадобилась настоящая война. Картины этой войны, пусть и отдаленной от нас пропастью во многие тысячелетия, вызывали дрожь: шогготы оставляли свои жертвы безголовыми, покрытыми слизью. Используя против взбунтовавшихся шогготов необычное оружие, которое нарушало их молекулярное строение, Старцы в конце концов одержали полную победу. На рельефах, иллюстрирующих следующий период истории, шогготы показаны сломленными и укрощенными, как были укрощены ковбоями мустанги американского Запада. Картины бунта свидетельствовали, что шогготы были способны обитать и на суше, однако переселять их туда Старцы не собирались: возможная польза не оправдала бы трудностей, связанных с управлением этими опасными тварями.

В юрский период у Старцев появился новый противник: из космоса, с планеты, которую, вероятно, следует отождествить с недавно открытым далеким Плутонем, на Землю вторглись

существа, соединявшие в себе черты грибов и ракообразных, — несомненно, те самые, о которых повествуют легенды, передававшиеся шепотом на северных взгорьях. В Гималаях эти существа известны под именем Ми-Го или снежного человека. В борьбе с агрессорами Старцы, впервые за все время своей жизни на Земле, решились на вылазку в межпланетное пространство, однако, осуществив в точности все традиционные приготовления, убедились, что не способны более покидать земную атмосферу. В чем бы ни заключался секрет межзвездных путешествий, он был для Старцев окончательно утерян. В конце концов Ми-Го вытеснили Старую Расу со всех земель в северном полушарии, но в море ее позиции оставались неколебимы. Шаг за шагом началось медленное отступление более древнего племени в их прежнюю зону обитания, в Антарктику.

Изучая рельефы, изображавшие битвы Старцев с инопланетными пришельцами, мы заметили любопытное обстоятельство: по составу тканей тела потомки Ктулху и Ми-Го еще значительней отличались от известных нам организмов, чем тела Старцев. Не в пример последним, потомки Ктулху и Ми-Го умели преобразаться и возвращаться в прежнее состояние, из чего, похоже, следует вывод, что они происходили из более отдаленных глубин космоса. Старцы, при всей их поразительной прочности тканей и живучести, были созданиями вполне материальными, а значит, появились на свет в пределах известного нам пространственно-временного континуума; что же до прочих тварей, то об их первоисточках остается лишь робко гадать. Все это, разумеется, верно только в том случае, если приписываемые врагу необычные особенности и связи с внеземными цивилизациями не являются всего лишь мифом. Не исключено, что Старцы сочинили этот космический антураж, дабы оправдать свои поражения, ведь в их психологии первостепенными чертами являлись интерес к истории и гордость за свой род. Неспроста в их анналах вовсе не упоминаются многие высокоразвитые

и могущественные расы, которые фигурируют в иных из наших темных преданий как создатели великих культур и грандиозных городов.

На многочисленных рельефных картах и рисунках с поразительной живостью были изображены перемены, свершавшиеся с миром за долгие геологические периоды. Во многих случаях нам придется пересмотреть принятые научные взгляды, в других же — получают подтверждение некоторые самые смелые гипотезы. Я говорил уже, как мы нашли на этих мрачных камнях свидетельства в пользу правоты Тейлора, Вегенера и Джоли, предположивших, что все материки земли являются осколками первичного антарктического массива суши, которые образовались в результате его раскалывания под действием центробежных сил и, дрейфуя по вязкому слою магмы, разошлись в разные стороны. Авторы пришли к этой мысли, обратив внимание на повторяющиеся друг друга контуры побережий Африки и Южной Америки, а также на складки основных горных цепей.

На картах, рисующих, судя по всему, мир каменноугольного периода, давностью в сто или более миллионов лет, видны значительные разломы и трещины, которые позднее отделят Африку от некогда единых Европы (Валузии старинных легенд), Азии, Америки и антарктического материка. Другие карты и схемы (а главное, та, что имела отношение к основанию пятьдесят миллионов лет назад гигантского мертвого города, который нас окружал) фиксировали четкий раздел между всеми нынешними материками. На самом позднем из обнаруженных нами образцов (я бы датировал его эпохой плиоцена) картина мира была уже явственно близка к современной, несмотря на связь Аляски с Сибирью, Северной Америки через Гренландию с Европой и Южной Америки через Землю Грейама с Антарктидой. Если на карте каменноугольного периода символы крупных каменных городов Старцев были разбросаны по всему земному шару — на океанском дне и на расчлененном массиве суши, — то последующие карты очевидно свидетельствуют об их отступлении в сторону Ан-

тарктики. На самой поздней, времен плиоцена, наземные города были отмечены только в Антарктиде и на оконечности Южной Америки, подводные же — лишь к югу от пятидесятого градуса южной широты. Похоже, Старцы утратили как знания о северных регионах, так и интерес к ним и ограничились изучением прибрежной полосы, для чего пускались в долгие воздушные экспедиции на своих веерообразных перепончатых крыльях.

Каменные летописи постоянно сообщали о гибели городов в ходе разнообразных естественных катаклизмов: горообразования, дробления материков под действием центробежных сил, сейсмических колебаний суши и морского дна; и, что любопытно, с ходом веков Старцы все реже отстраивали свои города на новом месте. Гигантский мертвый мегаполис, что простирался вокруг, был, наверное, последним центром их цивилизации; возвели его в начале мелового периода, недалеко от прежнего, еще более обширного города, когда тот был разрушен в результате мощной деформации земной коры. Похоже, именно эта область считалась самым священным местом, где поселились на тогдашнем морском дне Старцы, первыми прибывшие на Землю. На рельефах мы узнавали немало знакомых построек, но помимо той части города, что мы изучили с самолета, существовала и неизученная, простиравшаяся вдоль горного хребта еще на сотню миль в обе стороны. В этом новом городе будто бы сохранились священные камни из первого подводного поселения, которые, спустя долгие тысячелетия, были вытеснены на поверхность процессами складчатости.

VIII

Естественно, мы с особым интересом и не без душевного трепета рассматривали все, что относилось непосредственно к тому месту, где мы находились. Соответствующие материалы, само собой, имелись в изобилии; кроме того, нам посчастливилось в запутанных лабиринтах нижних этажей набре-

сти на здание очень поздней постройки. Вблизи проходил разлом, и стены кое-где пострадали, но сохранившееся скульптурное убранство (исполненное в декадентском стиле поздних мастеров) рассказало нам о длительном этапе истории, не отраженном на карте эпохи плиоцена — самой свежей из тех, с которыми нам довелось ознакомиться. Это был последний дом, осмотренный нами досконально, потому что мы сделали там находку, после которой у нас появились другие задачи.

Безусловно, мы очутились в одном из самых необычных, мрачных и пугающих уголков Земли. Эта страна была много древнее всех прочих, и мы все больше убеждались, что находимся на том самом кошмарном плато Ленг, которое старался лишний раз не упоминать даже безумный автор «Некрономикона». Мощная горная цепь тянулась на необозримое расстояние, начинаясь невысоким хребтом на Земле Луитпольда у моря Уэдделла и пересекая затем практически весь континент. Последующая, высотная часть изгибалась могучей дугой с начальными координатами 82° широты и 60° восточной долготы и конечными — 70° широты и 115° восточной долготы; ее вогнутая сторона была обращена к нашему лагерю, а один из концов достигал длинного, закованного во льды холмистого побережья, которое видели у полярного круга Уилкс и Моусон.

Однако нас ждало еще одно чудовищное открытие, бросающее вызов самой природе. Я говорил уже, что эти пики превосходят высотой Гималаи, но не назову их величайшими на Земле, потому что настенная скульптура свидетельствует об ином. Несомненно, эта зловещая часть сохранялась за иными горами — многие скульпторы предпочитали умолчать о них в своих каменных повествованиях, другие же упоминали с явным нежеланием и страхом. По-видимому, некую часть этих древних земель (она первой восстала из моря после того, как от Земли отделилась Луна и прибыли со звезд Старцы) обитатели города начали избегать, видя в ней источник смутного и непонятного зла. Построенные там города раньше времени разрушились, их по непонятной причине внезапно

покинули жители. В команчский период, когда происходили мощные тектонические сдвиги, среди кошмарного хаоса и грома там внезапно поднялась к небесам горная цепь, пре-восходившая в своем жутком величии все существующее на Земле.

Если верить масштабу рельефов, высота этих внушающих ужас исполинов намного превышала 40 тысяч футов — в сравнении с ними Хребты Безумия, которые мы пересекли, выглядели карликами. Цепь тянулась, по-видимому, от 77° широты и 70° восточной долготы до 70° широты и 100° восточной долготы, то есть на расстоянии менее трехсот миль от мертвого города, так что, если бы не мерцающая дымка, мы разглядели бы ее грозные вершины. А северная оконечность этих гор точно так же должна была виднеться с побережья Земли Королевы Мэри, что вблизи полярного круга.

В дни упадка, о которых идет речь, кое-кто из Старцев возносил этим горам странные молитвы, но никто не смел к ним приближаться или гадать, что скрывается по ту сторону. Ни разу их не коснулся человеческий взгляд, и, догадываясь о чувствах, выраженных в каменной резьбе, могу только надеяться, что этого не случится никогда. За теми горами, вдоль побережья Земли Королевы Мэри и Земли Вильгельма II, тянется цепь холмов, и я благодарю небеса, что никому до сих пор не удалось там высадиться и взобраться на эти холмы. Я уже не так скептически, как прежде, отношусь к старым поверьям и страхам и не стану посмеиваться над верой древнего скульптора в то, что над этими заступающими небосклон вершинами будто бы застывают иной раз молнии, а один из грозных пиков всю долгую полярную ночь светится непостижимым светом. Кто знает, не скрывается ли чудовищная правда за туманными рассказами Пнакотикских манускриптов о Кадате в холодной пустыне?

Однако близлежащая местность, хоть и не несла на себе этого неведомого проклятия, заслуживала не меньшего удивления. Вскоре после основания города на склонах хребтов были возведены главные храмы; судя по рельефам, нынеш-

ние странные кубы и выступы завершались тогда фантастическими башнями, вонзавшимися в небеса. Со временем возникли пещеры, и из них сделали продолжения храмов. В позднейшие тысячелетия грунтовые воды размыли все известняковые жилы, так что горы, предгорья, а также равнины у их подножия оказались пронизаны сетью связанных ходами пещер. Скульптурные рисунки рассказывали о подземных исследованиях, о том, как было обнаружено дремлющее в недрах земли стигийское озеро, которого никогда не касались лучи солнца.

Этот обширный темный водоем был, несомненно, прорыт большой рекой, которая текла с запада, с безымянных гор ужаса; в свое время она поворачивала у хребта Старцев к Индийскому океану и после долгого пути впадала туда через Землю Уилкса, между Берегом Бадда и Землей Тоттена. Мало-помалу она подрывала основание известнякового холма на излучине, ответвления ее слились с грунтовыми водами, и подземные пещеры под удвоенным напором превратились в бездонную пропасть. Наконец вся речная вода повернула в недра холмов, а прежнее русло, уходившее к океану, высохло и затем было по большей части застроено. Старцы понимали суть происшедшего, и их неизменно острое художественное чутье подсказало идею: на каменистых склонах по обе стороны нырявшего в вечную тьму потока высечь резные пилоны.

В этой реке, пересеченной некогда красивыми мостами, мы узнали то самое сухое русло, которое проследили с самолета. Река помогала нам ориентироваться, когда мы рассматривали резные изображения, относившиеся к различным периодам долгой и давней истории города; мы даже поспешно, однако довольно старательно, набросали обобщенный план города с основными площадями, зданиями и прочим, чтобы руководствоваться им в дальнейших исследованиях. Вскоре мы уже воссоздавали в воображении ошеломляющую картину, которую можно было застать здесь миллион, десять миллионов, пятьдесят миллионов лет назад, — рельефы поведения нам в точности, как выглядели дома, горы, площади, предместья, какой ландшафт их окружал и какая растительность

буйно процветала здесь в третичный период. Наверное, наяву это зрелище было исполнено величия и мистической красоты, и, думая о нем, я даже забывал о страхе и унынии, угнетавших мой дух среди этих нечеловечески древних стен — тяжеловесных, мертвых, чуждых, погруженных в ледяной сумрак. Впрочем, согласно иным рельефам, здешним обитателям тоже был известен этот гнетущий страх: нам часто попадались на глаза мрачные сцены, когда Старцы испуганно отшатывались от какого-то непонятного предмета (скульпторы ни разу его не изобразили), найденного в большой реке. Все указывало на то, что поток, укрытый подвижной сенью саговников и выющихся растений, принес его с тех самых, страшных западных гор.

Лишь в одном доме относительно поздней, периода ху дожественного упадка постройки мы получили некоторые сведения о надвигавшейся катастрофе, в результате которой город опустел. Скульптурные изображения той же давности наверняка отыскивались бы и в других местах, хотя то смутное время отнюдь не располагало к вдохновенному творчеству; да, собственно, вскоре мы и убедились, что таковые существуют. Однако это был первый и единственный рельеф подобного рода, с которым нам удалось ознакомиться воочию. Мы думали продолжить исследования, но, как уже было сказано, обстоятельства вынудили нас поменять планы. Впрочем, эти рельефы были, наверное, одними из последних: предвидя, что город придется оставить, Старцы едва ли продолжали украшать его настенной скульптурой. Последним ударом, разумеется, стало наступление ледникового периода, сковавшего холодом почти всю планету, злосчастные полюса которой и теперь остаются подо льдом. Это же оледенение на другом конце Земли погубило легендарные страны Ломар и Гиперборею.

Трудно указать точные годы, когда похолодание охватило Антарктику. Сегодня мы считаем, что ледниковые периоды начались 500 тысяч лет назад, но, возможно, полюса это бедствие посетило еще раньше. Все численные оценки отчасти

гадательны, однако похоже, что позднейшим упадочническим рельефам менее миллиона лет и что город опустел намного ранее, чем 500 тысяч лет назад, то есть еще до начала плейстоцена.

В поздних рельефах заметно, как поредела повсюду растительность, как жизнь все больше сосредоточивается в городской черте. В домах появляются отопительные приборы, путники зимой кутаются в ткани. Затем мы заметили серию картушей (ими часто прерывался ленточный рисунок поздних рельефов), изображавших, как ширилась миграция Старцев в ближайшие более теплые убежища: в подводные города за дальним берегом, в полые холмы, откуда сеть известняковых пещер вела к соседней черной пучине подземных вод.

Под конец, видимо, основная масса колонистов устремилась в подземную пучину. Несомненно, отчасти это объяснялось тем, что данная область по традиции считалась священной, однако решающую роль, по-видимому, сыграли другие причины: здесь Старцы могли посещать храмы, которыми были усеяны горы, и пользоваться городскими постройками как летним жильем, а также как базой для тех, кто работал в копиях. Чтобы наладить связь между новыми и старыми жилищами, были усовершенствованы дороги, в том числе пробито в горах множество туннелей, спрямивших путь от древней метрополии к черной пучине; их входы, за которыми всегда следовал крутой спуск, мы со всем тщанием нанесли на составленный нами схематический план города. Обнаружилось, что по крайней мере два из этих туннелей были расположены не столь далеко от нас, на границе города и гор: один — в четверти мили по направлению к высохшему речному руслу, другой — в полумиле в противоположной стороне.

Пучину, похоже, кое-где обрамляли берега, но Старцы построили свой новый город под водой — явно из расчета, что там температура стабильней и выше. Дно подземного моря находилось на очень большой глубине и обогревалось за счет тепла земных недр, и жить там можно было бесконечно дол-

го. Опять же согласно нашим предположениям, звездоголовые легко приспособились к эпизодической или даже постоянной жизни под водой, предусмотрительно позаботившись о том, чтобы их жабры не атрофировались. На многих картинах показывалось, как они навешают своих подводных родственников, как ныряют на глубокое дно главной реки. Тьма в пещерах их тоже не смущала, ибо они привыкли к долгой антарктической ночи.

Несмотря на упадок художественного мастерства, их поздние рельефы производят большое впечатление: это настоящий эпос, повествующий о строительстве нового города на дне подземного моря. Старцы подошли к этой задаче научно: в недрах гор добывали нерастворимую породу, из ближайшего океанского города пригласили опытных мастеров подводного строительства. Эти мастера доставили все необходимое для нового предприятия: клеточную ткань для выращивания шогготов, которым предстояло поднимать грузы и затем служить в пещерном городе тягловым скотом, и протоплазменную массу для получения фосфоресцирующих организмов.

В конечном счете на дне стигийского моря вырос величественный мегаполис, архитектурой очень схожий с верхним городом, причем мастерства его строителей почти не коснулся упадок, потому что в основе их действий лежали строгие математические расчеты. Свежевыведенные шогготы достигли гигантских размеров при достаточно высоком уровне интеллекта: рельефы свидетельствовали о том, что они с поразительной быстротой понимали и исполняли команды. Они, по-видимому, переговаривались со Старцами, подражая их голосам, которые — если прав был бедняга Лейк, производивший вскрытие, — перекрывали большой диапазон частот и походили на музыкальный свист; управляли шогготами большей частью посредством устных приказов, не прибегая, как в прежние времена, к гипнотическому внушению. Тем не менее шогготов держали под жестким контролем. Фосфорес-

цирующие организмы удовлетворяли потребности в свете, успешно заменяя привычное полярное сияние.

Традиции искусства и украшения жилищ поддерживались, пусть на невысоком уровне. Похоже, Старцы и сами замечали эту деградацию; во многих случаях они переносили в новые жилища особенно красивые образцы древней резьбы, предвосхищая тем самым образ действий Константина Великого, который также жил во времена упадка и, дабы придать блеск новой византийской столице, заимствовал сокровища искусства в Греции и странах Азии, поскольку его собственные ремесленники ничего подобного создать не могли. Город мог бы лишиться гораздо большей части своего убранства, но, как было сказано, Старцы покинули его не сразу, а постепенно. К тому времени, когда он совсем опустел (а это случилось не раньше, чем полярный плейстоцен уже полностью вступил в свои права), Старцы привыкли довольствоваться современным им упадочным искусством или же попросту разучились ценить достоинства старинной резьбы. Как бы то ни было, окружавшие нас немые памятники древности не утратили полностью своих скульптурных украшений, хотя их лучшие фрагменты, а равно все прочее, поддающееся транспортировке, было унесено.

Как было сказано, картуши и скульптурные панели периода упадка, рассказавшие нам эту историю, были последними, с которыми мы успели ознакомиться за ограниченное время поисков. В целом у нас составила следующая картина: Старцы жили попеременно в наземном городе (летом) и под водой в пещерах (зимой), время от времени торгуя с обитателями морских городов у побережья Антарктиды. Уже стало ясно, что наземный город обречен: в скульптуре отражено губительное действие холодов. Растительность редет, глубокие зимние сугробы не тают даже среди лета. Ящеры, используемые в качестве домашнего скота, практически вымерли, млекопитающие тоже на грани вымирания. Чтобы продолжать работы наверху, нужно было приспособить к жизни

на суше шогготов, аморфных и удивительно стойких к холодам, — в прежние времена Старцы избегали это делать. Жизнь по берегам большой реки замерла; из обитателей приполярных областей океана мало кто уцелел, кроме тюленей и китов. Птицы улетели, остались только большие неуклюжие пингвины.

О том, что происходило потом, можно только гадать. Как долго просуществовал новый город в подземных водах? Что, если он до сих пор стоит — мертвым истуканом среди вечной тьмы? Сковало ли подземные воды льдом? Какая судьба постигла наружные, возведенные на океанском дне города? Бежал ли кто-нибудь из Старцев от наступающего оледенения на север? Геологической науке их следы неизвестны. А страшные Ми-Го — они все так же угрожали наземным обитателям севера? Кто знает, что таится и в наши дни в недрах подземных пещер, на дне глубочайших в мире водоемов? Похоже, эти твари выдерживали любое давление... а ведь какие только странные предметы не попадают порой в рыбацкие сети? А загадочные жестокие шрамы, которые несколько десятков лет назад обнаружил Борхгревинк у антарктических тюленей, — правомерно ли их списывать на кита-убийцу?

Образцов, найденных беднягой Лейком, все эти вопросы не касаются: их геологическое окружение показывает, что они жили раньше, в предшествующий период истории наземного города. Их возраст, как показывает место находки, составляет не меньше тридцати миллионов лет, и, как мы поняли, в их дни не существовало не только подземного города, но даже и самих пещер. Им были знакомы картины более древние: пышный растительный покров третичного периода, оживленный город, где процветают искусство и ремесла, большая река, что несет свои воды мимо подножий могучих гор на север, к далекому тропическому океану.

И все же мы не могли не вспоминать об этих образцах, особенно о восьми неповрежденных, которых не нашли в разоренном лагере Лейка. Во всей этой истории было нечто неесте-

ственное... странности, которые мы упорно пытались объяснить чьим-то безумием... Эти жуткие могилы... обилие и *характер* пропаж... Гедни... запредельная прочность этих архаических монстров и их причудливый образ жизни, о котором нам поведала скульптура... Мы с Данфортом немало навидались за последние несколько часов и готовы были принять на веру и сохранить в тайне множество ужасных и невероятных секретов первобытной природы.

IX

Я говорил уже, что, изучая несовершенную позднюю скульптуру Старцев, мы поменяли свои ближайшие планы. Речь идет, разумеется, о проделанных Старцами ходах в темный подземный мир, узнав про которые мы загорелись желанием найти их и обследовать. Прикинув по резным рисункам масштаб, мы вычислили, что крутой спуск длиной в милю по любому из ближайших туннелей должен привести нас на край головокружительного обрыва, откуда по тропам, проложенным Старцами, можно выйти на берег тайного океана, никогда не знавшего дневного света. Мы не могли противиться соблазну воочию увидеть этот фантастический подземный мир, однако нужно было либо поспешить, либо отложить осмотр на следующий раз.

Было уже восемь часов вечера, и батарейки в наших фонарях уже изрядно подсели. Рассматривая и копируя рисунки в подледных помещениях, мы не выключали фонари в течение пяти часов, а значит, батарей — пусть даже новейших, «сухих» — могло хватить еще от силы на четыре часа. Правда, если в местах безопасных и менее интересных обходить только одним фонарем, можно будет выиграть еще какое-то время. В циклопических катакомбах без фонарей не обойтись, соответственно, ради спуска приходилось пожертвовать дальнейшей расшифровкой каменных анналов. Конечно, мы намеревались вернуться в город и не один день — а может, и не одну неделю — посвятить его тщательному изучению

и фотографированию (любопытство давно победило страх), но теперь медлить было нельзя. Запас бумаги, чтобы пометать путь, был далеко не безграничен, а жертвовать блокнотами или бумагой для рисования не хотелось, но все же один большой блокнот мы изорвали. В самом худшем случае можно будет делать зарубки, а кроме того, если хватит времени на пробы и ошибки, — выбраться на дневной свет по какому-нибудь из водостоков. Все обдумав, мы решительно направились к ближайшему туннелю.

Согласно рельефам и составленной по ним карте нужный вход в туннель находился не более чем в четверти мили от нас; по пути мы миновали неплохо сохранившиеся постройки, где, вероятно, имелся доступ и в подледные этажи. Вход в туннель нужно было искать в ближайшем к холмам углу цокольного этажа огромного звездчатого здания, предназначавшегося, очевидно, для каких-то общественных или церемониальных целей. Мы попытались, но так и не смогли припомнить, видели ли мы нечто подобное во время воздушной разведки, и пришли к заключению, что либо верхняя часть здания была основательно разрушена, либо оно целиком пострадало, когда во льду образовалась замеченная нами расщелина. В последнем случае туннель мог быть заблокирован, и нам пришлось бы попытаться счастья со следующим — менее чем в миле к северу. Туннели к югу мы в этот раз проверить не могли, поскольку они находились по ту сторону речного русла. Если бы оба ближайших туннеля оказались перекрыты, то со следующим, расположенным еще на милю дальше, тоже вряд ли бы что-нибудь вышло из-за наших подсевших фонарей.

Пока мы прокладывали в потемках путь по лабиринту с помощью карты и компаса, пересекали целые и разрушенные комнаты и коридоры, карабкались по пандусам, перебирались по верхним этажам и мостам, вновь спускались под лед, натыкались на заблокированные двери и кучи обломков, в спешке порой проходя мимо на удивление чистых и как будто не тронутых временем помещений, выбирали неправиль-

ную дорогу и возвращались назад (в таких случаях мы поднимали с пола свои бумажные метки), обнаруживали там и сям у себя над головами сквозные отверстия, через которые струился — или просачивался тонкими лучиками — дневной свет, нас то и дело тянуло задержаться у стен с рельефами. На многих из них были отражены важные страницы истории, но мы не останавливались, утешая себя тем, что непременно вернемся сюда впоследствии. Бывало, мы замедляли шаги и включали второй фонарь. Если бы у нас было больше пленки, мы бы немного задержались, чтобы сфотографировать некоторые рельефы, но пленка кончилась, а о зарисовках нечего было и думать.

И снова мне предстоит коснуться обстоятельств, которые я предпочел бы вовсе замолчать или обрисовать намеком. Однако я должен раскрыть все до конца, дабы читатели поняли, отчего я призываю поставить крест на дальнейших исследованиях Антарктики. Мы уже проложили себе дорогу к месту, где, согласно расчетам, должен был находиться вход в туннель, для чего нам пришлось по мостику на уровне второго этажа перейти прямо на вершину сходящихся под углом стен и спуститься в коридор, особенно богато украшенный излишне затейливой поздней скульптурой (видимо, ритуального назначения), и тут, приблизительно в половине девятого вечера, Данфорт, благодаря своему обостренному по молодости лет обонянию, впервые учуял что-то необычное. Будь с нами собака, она бы, вероятно, предупредила нас еще раньше. Сперва мы не могли понять, что такое сделалось с воздухом, прежде чистым и свежим, но вскоре вспомнили нечто вполне определенное. Попытаюсь объяснить без обиняков. Нам в ноздри проник запах — едва-едва слышный, но, несомненно, схожий с тем, от которого нас тошнило, когда мы раскапывали нелепую гробницу монстра, которого анатомировал бедняга Лейк.

Разумеется, тогда мы не понимали этого так ясно, как сейчас. Объяснений напрашивалось несколько, и мы, застыв в нерешительности, стали шепотом совещаться. Самое главное,

мы вознамерились не отступать, поскольку зашли уже слишком далеко и остановить нас могла только какая-нибудь очевидная опасность. Как бы то ни было, возникшие у нас подозрения были чересчур дикими, чтобы в них поверить. В нормальном мире такого не случается. Чисто инстинктивно мы притушили свой единственный фонарь, перестали обращать внимание на мрачные упадочные скульптуры, грозно глядевшие со стен, и на цыпочках, крадучись, двинулись дальше по замусоренному полу и кучам обломков.

Не только обоняние, но и зрение оказалось у Данфорта лучше моего: когда мы миновали в цокольном этаже немало арочных проходов, ведущих в другие комнаты и коридоры, а теперь наполовину заваленных обломками, он первый заметил, что завалы выглядят как-то не так. После многих тысяч лет запустения картина должна была образоваться несколько иная. Осторожно добавив света, мы обнаружили, что через обломки проложено подобие тропы, причем недавно. В этой разнородной куче было трудно различить следы, но там, где поверхность была ровнее, сохранились полосы, словно кто-то волок по полу тяжелые предметы. Однажды нам даже почудились следы полозьев, отчего мы снова застыли на месте.

Во время этой остановки мы — на сей раз оба одновременно — уловили другой запах. Странно, однако он испугал нас и больше, и меньше, чем первый. По сути он был не так страшен, но в подобном месте... при подобных обстоятельствах... разве что, конечно, Гедни... Пахло не чем иным, как бензином — самым что ни на есть обыкновенным бензином.

Наше дальнейшее поведение я предлагаю объяснить психологам. Мы понимали, что в этот сумрачный тайник былых эпох проникло нечто жуткое, проник виновник кровавого разгрома в лагере, и он таится — либо побывал совсем недавно — там, куда мы направлялись. Не знаю, что толкнуло нас вперед: отчаянное любопытство, страх, самогипноз, слабая надежда помочь Гедни. Данфорт шепотом напомнил о следе, который он заметил якобы в проулке надледного города,

и о слабых свистящих звуках — они походили, конечно, на свист ветра в горных пещерах, но могли означать и что-то очень важное, ведь Лейк сообщал в отчете о вскрытии, что слышал подобные звуки и они доносились вроде бы из неведомых глубин земли. Я, в свою очередь, шепотом напомнил ему о том, в каком виде мы застали лагерь и чего там не обнаружили, и предположил: быть может, единственный выживший сотрудник Лейка, впав в безумие, совершил немислимое — преодолел чудовищный горный хребет и спустился в лабиринты загадочного каменного города.

Но ни один из нас так и не придумал никакого по-настоящему убедительного объяснения даже для себя самого, не говоря уже о том, чтобы убедить партнера. Остановившись, мы затушили фонарь и обнаружили, что тьма вокруг не была беспросветной: ее рассеивал слабенький дневной свет, сочившийся сверху. Впоследствии по ходу движения мы включали фонарь лишь время от времени, чтобы сориентироваться. Из головы не выходили следы среди обломков, а запах бензина меж тем становился сильнее. Руины попадались все чаще и все больше мешали проходу; скоро мы убедились, что дальше пути не будет. Оправдывались наши пессимистические предположения относительно трещины, замеченной с самолета. Разыскивая туннель, мы забрели в тупик: нам было не пробраться даже в цокольный этаж, откуда начинался ход.

Осматривая во вспышках фонаря резные стены заблокированного коридора, мы нашли несколько дверных проемов, как обрушенных, так и относительно целых; из одного явно тянуло бензином, теперь уже полностью заглушавшим другой запах. Присмотревшись, мы установили, что совсем недавно кто-то наспех расчистил вход. Какие бы ужасы там ни таились, ничто не препятствовало нам туда заглянуть. Думаю, нет ничего удивительного в том, что, прежде чем сделать первый шаг, мы выдержали немалую паузу.

И однако, когда мы осмелились ступить под темную арку, у нас отлегло от сердца. В отделанном скульптурой подобии склепа (правильной кубической формы, со сторонами в два-

дцать футов) не видно было никаких посторонних предметов, одни мелкие обломки. Инстинктивно мы стали разыскивать взглядом еще одну дверь, но не нашли. И тут же остроглазый Данфорт разглядел, что в одном углу кто-то сдвинул обломки с места, и мы включили фонари и направили их туда. В том, что мы там увидели, не было ничего из ряда вон выходящего, и тем не менее, будь моя воля, я сделал бы в рассказе купюру, ибо это зрелище наводило на страшные догадки. Суть не в самих предметах, а в том, как они тут оказались. Это были разные мелочи; они валялись на небрежно разровненной куче обломков, рядом с которой кто-то пролил изрядное количество бензина. Сделал он это недавно: в сильно разреженном воздухе плато все еще стоял резкий запах. Иными словами, мы наткнулись на место привала; наши предшественники, устроившие его, тоже убедились, что вход в туннель перекрыт, и повернули обратно.

Скажу кратко: все разбросанные предметы в том или ином виде попали сюда из лагеря Лейка. Здесь были жестянки, вскрытые таким же нелепым и замысловатым способом, что и в разграбленном лагере; большое количество горелых спичек; три иллюстрированных книги с непонятными пятнами; пустая чернильница и картонная упаковка с рисунком и текстом; сломанная авторучка; непонятные обрезки меха и палаточного брезента; использованная электрическая батарея с руководством к ней; рекламный проспект к нашему обогревателю и несколько смятых бумажек. От одного этого душа у нас ушла в пятки, но самое худшее случилось, когда мы разглядели бумажки и стали их рассматривать. Мы уже видели в лагере испещренные пятнами клочки бумаги и могли бы отнестись к новой находке спокойней, если бы не окружение — доисторическое подполье города кошмаров.

Потеряв рассудок, Гедни мог симитировать группы точек на зеленоватых стеатитах, — и это объяснило бы, откуда взялись дикие могильные холмики в форме пятиконечной звезды; он также мог набросать более или менее примитивные схемки, на которых были обозначены ближайшие городские

строения и нанесен путь к звездчатой громаде, где мы находились, и туннелю в ней, — путь, в отличие от нашего, начавшийся с какой-то круглой структуры (мы узнали в ней большую цилиндрическую башню с рельефов, при взгляде из окна самолета представшую нам как обширный круглый провал). Повторяю: Гедни мог бы нарисовать такие схемы — ведь те, что мы держали в руках, как и наша собственная карта, основывались, очевидно, на поздних настенных рельефах из подледного лабиринта, хотя и не обязательно тех самых, которыми воспользовались мы. Но чего никак не мог сделать человек, не имеющий ни малейшего отношения к искусству, так это выполнить наброски в особой четкой и уверенной манере, которая при всей небрежности рисунка решительно превосходила свои образцы — позднейшую упадочную резьбу; в манере, присущей исключительно самим Старцам и относящейся к эпохе расцвета их ныне мертвого города.

Иные из читателей, разумеется, назовут нас с Данфортом безумцами из-за того, что мы тотчас же не ударились в бегство; ведь выводы, при всей их дикости, напрашивались сами, а какие — любой, кто ознакомился с моим рассказом, поймет без труда. Возможно, мы и были безумцами: разве я не говорил об этих чудовищных пиках как о Хребтах Безумия? Но, думаю, мы такие не одни: любители природы, которые, вооружившись биноклем или фотоаппаратом, преследуют в джунглях Африки смертельно опасных животных, не многим от нас отличаются. В нас, полупарализованных страхом, разгорелось любопытство, и в конце концов оно восторжествовало.

Конечно, мы не собирались встречаться с тем — или теми, — кто здесь побывал, но нам казалось, что они уже не вернуться. Наверное, рассуждали мы, они уже нашли соседний вход в подземные глубины и спустились туда, где в последнем, не виданном ими прибежище могли сохраниться темные остатки прошлого. А если этот вход тоже завален, они отправятся на север искать следующий. Мы помнили: они способны обходиться минимумом света.

Возвращаясь в мыслях назад, я с трудом вспоминаю, что за чувства пришли на смену прежним, какие новые устремления заставили нас, сгорая от любопытства, ждать дальнейших событий. Мы безусловно не желали столкнуться лицом к лицу с тем, чего так опасались, но — допускаю — могли подспудно надеяться, что сумеем спрятаться и понаблюдаем за ними из укрытия. Вероятно, мы по-прежнему думали проникнуть в подземелье, хотя путь туда лежал теперь через большую круглую площадку, обозначенную на мятых бумажках, которые мы нашли. Мы сразу узнали в ней чудовищную цилиндрическую башню с самых ранних рельефов, теперь, с самолета, выглядевшую как гигантская круглая дыра. Даже в набросанных наскоро схемах она была изображена особо выразительно, и мы подумали, что в ее подледных этажах скрыто, быть может, что-то очень важное. Что, если там мы встретим чудеса архитектуры, каких не видели прежде? Судя по рельефам, башня была невероятно старой и относилась к первым постройкам в этом городе. Если там сохранились настенные изображения, из них можно будет извлечь много ценных сведений. Более того, башня могла удобно сообщаться с верхним, надледным миром — путем более коротким, чем тот, что мы так тщательно помечали бумажными клочками. Не этим ли путем проникли сюда и те, другие?

Как бы то ни было, мы изучили пугающие наброски, которые во многом совпадали с нашими собственными, и двинулись по указанному там курсу к круглой площадке — наши предшественники, вероятно, прошли этим путем дважды. Там открывался следующий ближайший ход в подземелье. Не стану рассказывать о том, как мы шли, оставляя за собой экономный бумажный след: до тупика мы добирались точно таким же образом. Единственное отличие состояло в том, что новый путь пролегал ниже, спускаясь иной раз в полуподвальные коридоры. Там и сям мы замечали у себя под ногами подозрительные следы на скопищах мусора и обломков, а удалившись от бензиновой вони, стали ощущать временами другой запах, едва заметный, но достаточно стойкий. Когда мы свер-

нули в сторону со своего предыдущего пути, мы начали кое-где обшаривать стены лучом фонаря и всюду встречали неизменную скульптуру — главный, судя по всему, вид искусства у Старцев.

Приблизительно в половине десятого, следуя сводчатым коридором (потолок его все время снижался, а на полу, расположенном как будто ниже уровня земли, встречалось все больше льда), мы завидели впереди дневной свет и выключили фонарь. Мы предположили, что круглая площадка уже недалеко и скоро мы выйдем на поверхность. Коридор заканчивался удивительно низкой для мегалитического сооружения аркой, за которой нам открылась площадка в форме правильного круга, диаметром в добрых 200 футов, усеянная обломками и окруженная множеством таких, как наш, но только заблокированных арочных ходов. По стенам — всюду, где они оставались на виду, — вилась спиралью громадная рельефная лента; на открытом воздухе она сильно пострадала от времени и непогоды, и все же мы разглядели, что подобных шедевров не встречали еще ни разу. Засыпанный обломками пол состоял из льда, и можно было предположить, что настоящее дно расположено много ниже.

Но прежде всего обращал на себя внимание исполинский каменный пандус, который вился по стене цилиндра не снаружи, как пандусы древневавилонских башен-зиккуратов, а внутри. Арок он не заслонял, круто уходя от них в центр круга. Только скорость полета и большое расстояние помешали нам отличить пандус от внутренней стены башни, а то бы мы не искали другого спуска в подледный уровень. Пейбоди, наверное, мог бы сказать, благодаря каким инженерным ухищрениям эта конструкция сохраняла устойчивость, нам же с Данфортом оставалось только смотреть и восхищаться. Тут и там виднелись мощные каменные кронштейны и столбы, и все же как они удерживают это гигантское сооружение, было загадкой. Пандус превосходно сохранился — он доходил до нынешнего верха башни, и это было тем более поразительно, что стоял он на открытом воздухе. Под его защитой

уцелели отчасти и причудливые, смущающие ум рельефы на стене.

Шагнув на погруженное в жутковатую полутьму дно гигантского цилиндра (это сооружение простояло пятьдесят миллионов лет, то есть было самым старым из всех когда-либо нами виденных), мы скользнули взглядом по стене с пандусом — она поднималась на головокружительную высоту не менее шестидесяти футов. Помня данные воздушной разведки, мы прикинули, что с внешней стороны здания толщина ледяного покрова должна составлять около сорока футов. Зияющая дыра, которую мы видели с самолета, находилась на вершине каменного, изрядно осыпавшегося возвышения высотой в двадцать футов; три четверти его окружности находилось под защитой изогнутых соседних стен, превосходивших его по высоте. Если верить рельефам, башня стояла первоначально в центре гигантской круглой площади; высота ее составляла 500 или 600 футов, ближе к вершине шел ряд горизонтальных дисков, а по верхней кромке были натканы игольчатые шпильки. Похоже, стена рушилась больше наружу, чем внутрь, — тем лучше, иначе камни разбили бы пандус и завалили внутреннее пространство. Пандус и так сильно осыпался, и арки, видимо, завалило полностью, но недавно ходы как будто немного расчистили.

Нам хватило мгновения, чтобы понять: именно этим путем спускались те, другие, и нам при возвращении будет разумнее не идти по своему длинному бумажному следу, а тоже воспользоваться пандусом. Башня находилась не дальше от предгорий и нашего самолета, чем ступенчатое строение, через которое мы вошли, и последующую подледную разведку лучше всего будет начинать с этого самого места. Странно, что после всех наших находок и догадок мы все еще думали о повторных вылазках в эти места. Мы начали осторожно пробираться по грудам камней и тут увидели такое, что забыли обо всем на свете.

В ранее скрытом от нас углу пандуса, там, где он отходил от стены, стояли трое саней с аккуратно сложенной покла-

жей. Это были те самые сани, пропавшие из лагеря Лейка; они были изрядно расшатаны, так как пережили немало передряг: их долго волокли по голым камням и грудам обломков, а в самых сложных участках поднимали и несли. Груз, рационально упакованный и стянутый ремнями, состоял из вещей хорошо знакомых: бензиновой печки, канистр, футляров с инструментами, консервных банок, брезентовых тюков — в одних явно были книги, в других неизвестно что; словом, это были вещи из лагеря Лейка. После предыдущей находки не скажу, что это стало для нас таким уж сюрпризом. Настоящее потрясение мы пережили чуть погодя, когда развернули один из тюков, показавшийся нам подозрительным. Похоже, не один Лейк занимался сбором биологических образцов: перед нами лежали два таких образца, сильно замороженные и в превосходном состоянии — раны на шеех залеплены пластырем, от возможных новых повреждений защищает тщательная упаковка. Это были тела юного Гедни и пропавшей собаки.

Х

Едва ли не сразу после столь печальной находки думать о северном туннеле и спуске в подземелье? Многие, наверное, обвинят нас в бездушии и назовут безумцами; но скажу, что ничего такого не пришло бы нам в голову, если бы не одно обстоятельство, круто изменившее ход наших мыслей. Снова прикрыв беднягу Гедни брезентом, мы застыли на месте, неспособные вымолвить ни слова, но тут в наше сознание проникли какие-то звуки. В последний раз мы слышали только вой ветра в заоблачных высотах, и было это до спуска в подледный лабиринт. Это были звуки хорошо знакомые и привычные, но в затерянном мире смерти настолько неуместные, что пугали больше, чем какие-нибудь дикие, невероятные шумы, — ведь они полностью переворачивали наше представление о космической гармонии.

С окружавшим нас немислимо древним, неживым миром гармонировали бы иные, адские тоны — хотя бы нечто вроде музыкального посвистывания, которое мы, помня отчет Лейка о вскрытии, связывали с теми, другими; после того, что мы застали в лагере, стоило только завуть ветру, как мы насто- раживались в ожидании этого свиста. Какие звуки уместны на кладбище, где покоятся иные эпохи? Голос этих эпох. Но шум, что мы слышали сейчас, опрокидывал самые глубинные наши представления, которые никто никогда не оспаривал: убежденность в том, что глубины Антарктики — это пустыня, столь же чуждая нормальному человеческому существова- нию, как безжизненный диск Луны. Нет, нам слышался не свист баснословного чудовища — чудовища поразительно жиз- нестойкого, осквернявшего Землю на заре ее существования, а теперь разбуженного от векового сна полярным солнцем. Прозвучавшие голоса были до смешного обыденны, к ним мы привыкли и в море у Земли Виктории, и в лагере в проливе Мак-Мердо, здесь же восприняли их как нечто немислимое и содрогнулись. Короче говоря, это были хриплые крики пингвинов.

Приглушенные звуки доносились из подледных пространств напротив коридора, по которому мы вышли наружу, — где-то там должен был находиться второй туннель, ведущий в гигант- ское подземелье. Водные птицы, обитающие в области, где уже не одну эпоху все погружено в мертвый сон? Этому могло быть только одно объяснение, но сначала нужно было убе- диться, что мы не ослышались. Крики повторились, причем временами по несколько сразу. Пойдя на звук, мы углуби- лись под арку, где проход был расчищен от камней. Мы сно- ва помечали себе путь бумагой — поеживаясь от отвращения, мы пополнили ее запас из тюка на санях.

Там, где ледяная поверхность сменилась россыпью детри- та, было ясно видно, что по ней что-то волокни, а однажды Данфорту попался и четкий отпечаток — чего именно, пояс- нять излишне. Пингвины крики влекли нас как раз туда, где, согласно карте и компасу, располагался вход в северный тун-

нель; на уровне земли и в цокольных этажах мостиков уже не было, и проход, к нашей радости, оказался свободен. Если верить карте, отверстие туннеля нужно было искать в цоколе большого строения пирамидальной формы, которое мы вроде бы видели с самолета и отметили как удивительно хорошо сохранившееся. Как обычно, наш фонарь высвечивал по дороге обильные резные украшения стен, но мы не останавливались, чтобы их разглядеть.

Внезапно впереди возникло что-то большое и белое, и мы включили второй фонарь. Сам поражаюсь тому, как, увлекшись поиском, мы забыли о своих прежних страхах. Те, другие, оставили свои запасы на круглой площадке и после разведки на берегу или в водной глубине вполне могли за ними вернуться, но мы вели себя так беспечно, словно их не существовало. Белый, неуклюже ковылявший зверь достигал в высоту шести футов, но мы ни на миг не усомнились, что к тем, другим, он не принадлежит. Те были больше и темнее и, судя по скульптурным изображениям, передвигались по суше проворно и уверенно, хотя ноги этим морским существам заменяли щупальца. И все же не скажу, что мы совсем не испугались. На миг нас охватил первобытный ужас, едва ли не сильнее прежних — рассудочных — страхов перед теми, другими. И тут же у нас отлегло от сердца: белая тень шагнула бочком в ответвление коридора по левую руку, откуда доносился призывный рокот двух таких же белых теней. Это был всего лишь пингвин, хотя и неизвестного вида, крупнее даже королевских пингвинов, причем жуткий — альбинос и практически слепой.

Когда мы последовали за птицей в боковой коридор и направили на безразличную к нам троицу свет обоих фонарей, нам стало ясно, что все они безглазые альбиносы и принадлежат к неизвестному гигантскому виду. По размерам они напомнили нам архаических пингвинов с рельефов Старцев, и скоро мы пришли к заключению, что нынешние птицы — их потомки. Очевидно, они выжили потому, что отступили

в теплые недра земли; там, в вечной темноте, они утратили пигментацию и зрение, от глаз остались одни бесполезные шелки. Не приходилось сомневаться в том, что это насельники того самого обширного подземелья, которое мы разыскивали; оно было теплым и обитаемым — когда мы это осознали, у нас в головах зароились самые необычные, волнующие фантазии.

Мы не могли понять, что заставило этих трех птиц удалиться от своего привычного обиталища. Если они совершали сезонные миграции, то явно не в этот большой заброшенный город, где царила мертвая тишина; в то же время к нам пингвины проявили полное безразличие, значит, и те, другие, едва ли могли их спугнуть с места. А если те, другие, напали на птиц, чтобы пополнить свои запасы мяса? Нам не верилось, что пингвины так же, как собаки, ненавидели резкий запах Старцев: все-таки их предки, видимо, прекрасно со Старцами уживались и эта мирная связь не прерывалась, пока последние обитали в подземелье. Досадуя, что невозможно сфотографировать этих аномальных представителей животного мира (прежний научный интерес вспыхнул в нас с новой силой), мы предоставили им горланить в свое удовольствие, а сами направились к подземной пучине, благо теперь сделалось ясно, что путь туда обозначен пингвиньими следами.

Через короткое время мы попали в длинный низкий коридор без дверей и без привычной скульптуры, который круто уходил вниз, и поняли наконец, что вход в туннель уже близок. Мы миновали еще двоих пингвинов и слышали поблизости крики других. Тут коридор кончился, и у нас захватило дух: впереди простиралось открытое пространство, внутренность полусферы, расположенной, очевидно, много ниже уровня земли; диаметр ее составлял не меньше ста футов, высота — пятьдесят. Со всех сторон полусферу прорезывали низенькие арки, и лишь в одном месте зиял, нарушая симметрию, черный сводчатый проем высотой почти пятнадцать футов. Это и был вход в бездонное подземелье.

В этой гигантской полусфере, под ее изогнутым потолком, испещренным поздней, но выразительной резьбой и похожим на небесный свод, бродили трое пингвинов; они были здесь чужаками, но это их не смущало. Черный туннель круто уходил вниз, в бесконечную даль; по краям вход был украшен гротескной резьбой. Нам показалось, что из загадочной жерловины тянуло теплым воздухом и даже просачивался пар, и мы задумались о том, что за живность, кроме пингвинов, могла таиться в бескрайних подземных пределах, в непрерывной сети ходов, пронизавших землю под исполинской горной цепью. И еще нам вспомнились курящиеся, как предполагал бедняга Лейк, вершины и странная дымка, которую мы сами замечали в местах, где к склонам лепились выступы-бастионы: могло быть так, что это выходил извилистыми ходами на поверхность пар из неведомых областей земной коры.

Размер туннеля, по крайней мере вначале, составлял пятнадцать футов в ширину и высоту; стены, пол и сводчатый потолок состояли из обычной мегалитической кладки. На стенах изредка встречались традиционные картуши в позднем упадочном стиле; все конструкции и резьба на удивление хорошо сохранились. Пол был чистый, только слегка посыпанный детритом, на котором читались следы пингвинов, ведущие наружу, и следы тех, других, ведущие внутрь. По мере продвижения температура воздуха росла, вскоре нам пришлось расстегнуть свои теплые куртки. Мы гадали, нет ли внизу следов вулканической деятельности и какова там температура воды. Через несколько шагов кладку сменила сплошная скальная порода, при тех же размерах и правильной форме туннеля. Временами наклон становился таким крутым, что в полу было выбито подобие ступеней. Несколько раз нам попадались небольшие боковые коридоры, не обозначенные на наших схемах; спутать их с главным туннелем и заблудиться нам не грозило, зато можно было укрыться в них от нежелательных встречных, если они будут возвращаться из

подземелья. Их невыразимый словами запах слышался очень ясно. Несомненно, при таких обстоятельствах спуск в туннель был чистейшим безумием, но есть люди, в которых тяга к неизведанному неодолима; без этой тяги не состоялась бы и наша экспедиция в загадочную полярную пустыню. По пути мы встречали новых пингвинов, прикидывали, сколько нам еще идти. Судя по резным изображениям, крутой спуск должен был продолжаться примерно милю, но опыт показывал, что на их масштаб не всегда стоит полагаться.

После четверти мили пути запах превратился в вонь, и мы стали тщательно примечать все боковые проемы. Пара, как на входе, мы здесь не различали: несомненно, потому, что не было температурного контраста. Воздух становился все теплее, и мы не слишком удивились, набредя на небрежно брошенную кучу вещей, очень нам знакомых. Это были меха и палаточная ткань из лагеря Лейка, порезанные на причудливые куски, но мы возле них не задержались. Чуть далее нам все чаще стали попадаться боковые галереи, причем более широкие, чем раньше, и мы поняли, что достигли разветвленной сети ходов под высокими предгорьями. К прежнему, безымянному запаху примешался другой, не менее мерзкий; чему его приписать, мы не знали, но подумали о гниющей органике и неизвестных подземных грибах. Совершенно неожиданно туннель раздался в ширину и высоту, и мы ступили в природную, по всей видимости, пещеру эллиптической формы, которой не было на резных рисунках; продольный размер ее составлял 75 футов, поперечный — 50; в гигантских ходах, открывавшихся тут и там, стоял загадочный мрак.

На первый взгляд ничто не указывало на искусственное происхождение пещеры, но, включив оба фонаря, мы определили, что она состояла из нескольких природных каверн, стенки между которыми были специально разрушены. Стены были шершавые, высокий свод зарос сталактитами, однако цельный каменный пол был выровнен и неестественно чист: ни детрита, ни обломков, ни даже пыли. То же можно было

сказать о полах всех крупных боковых галерей — главный туннель, по которому мы шли, составлял единственное исключение. Мы тщетно ломали себе голову над этой странностью. Новый запах сделался таким зловонным, что прежний почти не чувствовался. Все это место, с его гладкими, чуть ли не глянцевыми полами, пугало и настораживало больше, чем все виденное ранее.

Больших пещер вокруг виднелось множество, но с выбором пути ошибиться было невозможно: ход напротив нас отличался правильной формой и был гуще усеян пингвиным пометом. Тем не менее мы решили, что при первых же сложностях вновь начнем помечать путь бумагой, ведь пыли не было и следов не оставалось. Двинувшись вперед, мы обшарили лучом фонаря стены... и замерли на месте: резьба здесь резко отличалась от той, что осталась позади. Мы понимали, конечно, что туннель строился в период значительного упадка искусства, и арабески в его начале ясно об этом свидетельствовали. Но тут, в глубине туннеля, нас поразила внезапная и необъяснимая деградация рельефов — как по характеру рисунков, так и по их качеству. Снижение уровня мастерства наблюдалось и раньше, но ничто не указывало на то, что оно достигнет таких бедственных масштабов.

Новая скульптура была грубой и примитивной, тонкая детализировка полностью отсутствовала. Ленты рельефа, более глубокие, чем обычно, располагались примерно так же, как редкие картуши в начале туннеля, но выступающие части резьбы были утоплены относительно поверхности стены. Данфорт предположил, что это резьба по резьбе, — прежний рисунок, как в палимпсесте, был стерт и нанесен новый. Он представлял собой всего лишь грубый орнамент из спиралей и ломаных линий, приблизительно повторявших традиционный геометрический мотив Старцев — пятиконечную звезду, однако я бы назвал это не традицией, а пародией. Нас неотступно преследовала мысль, что дело не только в технике: нечто едва заметное, но глубоко чужеродное проникло, казалось, в самую эстетику рельефов. Данфорт предположил, что

потому-то поздние скульпторы и взяли на себя немалый труд по переработке рельефов, что эстетическое чувство к тому времени полностью выродилось. Их работа и походила на искусство Старцев, и решительно от него отличалась; глядя на нее, я постоянно вспоминал такие примеры смешения стилей, как лишенные изящества скульптуры Пальмиры, выполненные в римской манере. Те, другие, тоже обратили внимание на этот резной поясok: на полу под одним очень характерным рисунком валялась использованная батарейка.

Но нам нельзя было терять время, и после беглого осмотра мы продолжили путь, хотя порой высвечивали попутные рельефы, чтобы не пропустить какие-нибудь новые тенденции. Но ничего такого не попадалось, а резьбы становилось все меньше, потому что множились проемы, ведущие в боковые туннели с такими же гладкими полами. Теперь мы не так часто видели и слышали пингвинов, хотя нам чудился иной раз их отдаленный хор, доносившийся из каких-то неведомых глубин. Новый необъяснимый запах сделался удушливым, тогда как прежний, безымянный, различался едва-едва. Из туннеля вновь повалили клубы пара, что говорило о перепаде температур и о близости скалистых берегов глубинных вод, никогда не видевших солнца. И тут, совершенно неожиданно, впереди на гладком полу что-то показалось, и это не были пингины. Убедившись, что предметы, загораживающие проход, неподвижны, мы включили второй фонарь.

XI

И снова я дошел до эпизода, излагать который язык отказывается. Я должен был бы уже привыкнуть и загрузеть, однако иные переживания оставляют в душе глубокие, неисцелимые шрамы — стоит коснуться чувствительного места, и в памяти всплывает былой ужас. Как я уже сказал, впереди на гладком полу что-то завиднелось, и, могу добавить, странная вонь ударила нам в ноздри с удвоенной силой, на сей раз явственно смешанная с прежней, безымянной вонью тех, дру-

гих, что нам предшествовали. Второй фонарь помог нам с уверенностью опознать тела в проходе, и мы осмелились к ним приблизиться, но только после того, как убедились на расстоянии, что они причинят нам не больше вреда, чем шесть подобных им тел, выкопанных из звездчатых могил в лагере бедняги Лейка.

Они были покалечены не меньше, чем те, что покоились под холмиками, однако, заметив вокруг лужицы темно-зеленой вязкой жидкости, мы поняли, что с ними это произошло в не столь давние времена. Их было всего лишь четверо, тогда как из бюллетеней Лейка мы поняли, что в группу, которая нам предшествовала, должно было входить восемь особей. Меньше всего мы ожидали обнаружить их в таком состоянии и теперь задавали себе вопрос, что за чудовищная схватка произошла здесь, в потемках.

Если напасть на стаю пингвинов, они способны нанести клювами жестокие раны; между тем из подземелья уже отчетливо доносились голоса целой колонии. Может, те, другие, потревожили птиц и пали жертвой их ярости? Приблизившись, мы поняли, что этого быть не могло: пингвины клювы не в состоянии так растерзать твердые ткани, которые с трудом поддавались скальпелю Лейка. Кроме того, как мы убедились, нрав у пингвинов был исключительно мирный.

Выходит, те, другие, схватились между собой, и четверо отсутствующих убили остальных? Тогда где они сейчас? Что, если они близко и представляют для нас непосредственную опасность? Медленно и боязливо продвигаясь вперед, мы не без тревоги заглядывали во все боковые проходы с гладкими полами. Что бы за столкновение тут ни произошло, оно, наверное, спугнуло птиц, и те отправились в непривычные блуждания. Встревожилась, видно, вся колония, крики которой слабо слышались из неведомых глубин: не было никаких признаков того, что они постоянно обитали здесь, в туннеле. Вероятно, размышляли мы, произошла чудовищная погоня: слабейшие надеялись добраться до припрятанных саней, но преследователи их настигли. Мы рисовали себе демониче-

скую битву безымянных чудищ: они выныривали из черной бездны, а впереди неслись с криками стаи обезумевших пингвинов.

Повторяю: мы приближались к распростертым, изуродованным телам медленно и нехотя. О, если бы мы не подходили к ним совсем, а во весь опор кинулись бы прочь из проклятого туннеля с его масляно-гладкими полами, с уродливой, подражательной, а скорее издевательской резьбой на стенах — бежали бы прочь и не увидели того, что нам пришлось увидеть, не обрели мучительных воспоминаний, которые на всю оставшуюся жизнь лишили нас покоя!

При свете двух фонарей, направленных на распростертые тела, мы скоро рассмотрели, чего им в первую очередь не хватает. Они были по-разному смяты, раздавлены, скручены, изломаны, но одно у них было общее — отсутствие головы. Кто-то отделил их пятиконечные звездчатые головы от туловищ, притом не отрубил, а оторвал — словно бы огромным сосущим ртом. Вонючая темно-зеленая кровь растеклась большой лужей, но ее запах перебивало другое, более едкое, более необычное зловоние — здесь оно чувствовалось сильнее, чем где бы то ни было. И только приблизившись вплотную к останкам Старцев, мы проследили источник необъяснимого нового запаха, и в тот же миг Данфорт вспомнил некоторые выразительные рельефы Старцев (пермского периода, то есть давностью в 150 миллионов лет) и издал отчаянный крик, который истерическим эхом прокатился по сводам и древним стенам, испещренным зловещими, варварскими резными фигурами.

Я и сам едва удержался от вопля: я тоже останавливался у этих ранних рельефов и с содроганием в душе восхищался мастерством безымянного скульптора, сумевшего изобразить в камне омерзительную пленку слизи на безголовых телах Старцев: это были сцены времен великого восстания шоготов, и именно таким образом, засасывая в себя головы, эти жуткие твари убивали своих жертв. Пусть эти скульптуры повествовали о событиях седой древности, автор их совер-

шил кощунство: шогготы и их деяния не предназначены для глаз цивилизованных существ и никому не дано право сохранять их облик средствами искусства. Безумный автор «Некрономикона» нервно пытался уверить, что земля ничего подобного не порождала, что такие твари существовали только в наркотических снах. Аморфная протоплазма, способная воспроизводить в себе любые формы, органы, процессы; вязкая масса из слипшихся, пузырящихся клеток; гуттаперчевые сфероиды размером в полтора десятка футов, чрезвычайно мягкие и пластичные; рабы, управляемые внушением, строители городов; их растущие век от века злоба, ум, способность жить на суше, способность подражать... Боже милосердный! Что за безумие подвигло этих нечестивых Старцев пользоваться трудом подобных тварей да еще изображать их на рельефах?

Мы с Данфортом глядели на черную слизь, облепившую безголовые тела, такую свежую, глянцевую, радужную, испускающую тошнотворный непонятный запах, какой способен себе представить лишь человек с больным воображением; видели точки этой слизи на безобразно изуродованных стенах, где они, *собранные в группы*, посверкивали при свете фонаря, — и нам становилось понятно, что такое космический ужас во всей его глубине. Мы боялись не отсутствующей четверки: сомневаться не приходилось, с их стороны нам больше ничто не грозило. Бедолаги! В конце концов, они были по своему не так плохи. Они были как люди, только принадлежали к другим векам и к другой расе. Природа сыграла с ними адскую шутку — то же произойдет и с людьми, если безумие, бессердечие или жестокость побудят их потревожить охваченную зловещим сном полярную пустыню. Возвращение звездоголовых домой обернулось трагедией.

Их даже нельзя было назвать злобными тварями, ибо что такого они сделали? Пробудиться незнамо в какой век, вокруг холод, набрасываются с бешеным лаем какие-то четвероногие, нужно против них обороняться, а тут еще белые обезьяны, такие же бешеные, закутанные во что-то непонят-

ное и с непонятными орудиями... бедный Лейк, бедный Гедни... и бедные Старцы! Естествоиспытатели по своей сути — что они сделали такого, чего не сделали бы мы на их месте? Какой ум и какое упорство! Какая стойкость перед лицом невероятного — не так ли вели себя их сородичи и предки, когда сталкивались с чем-то подобным! Как их ни назови — лучистыми, растениями, монстрами, пришельцами со звезд, — в первую очередь они были разумными существами!

Они преодолели снежные пики, где некогда молились в храмах, где прогуливались под древовидными папоротниками. Увидели, что город их мертв и проклят; как и мы, прочли на стенах историю его последних дней. В мифических, объятых мраком подземельях, которых никогда не видели, пытались найти выживших собратьев — и что же нашли? Эти мысли пронеслись одновременно в наших головах, пока мы переводили взгляд с безголовых, испачканных слизью трупов на отвратительные рельефы-палимпсесты и дьявольские рисунки из точек, выписанные той же слизью. И нам стало ясно, кто выжил и справил свой триумф в циклопическом подводном городе, под покровом вечной ночи и в окружении пингвиньих стай; кому принадлежит та бездна, откуда сейчас, словно откликаясь на истерический выкрик Данфорта, потянулись завитки зловещего бледного тумана.

Поняв, что означают чудовищная слизь и безголовые тела, мы онемели и приросли к месту; о том, что мысли наши в те минуты совпадали, мы узнали много позднее, обсуждая случившееся. Нас парализовало секунд на десять — пятнадцать, однако нам казалось, что прошли века. Мерзкий бледный туман полз, извиваясь, все дальше; можно было подумать, его теснит какая-то движущаяся масса. Потом раздался звук, опрокинувший многие наши недавние умозаключения, и мы, как расколдованные, ринулись во весь опор мимо галдящих, сбитых с толку пингвинов обратно в город. Стрелой пронесшись по подледным мегалитическим коридорам, мы выбежали на круглую площадку и по спиральному пандусу взлетели наверх, навстречу свежему воздуху и дневному свету.

Как я сказал, новый звук опрокинул многие наши умозаключения — помня о вскрытии, которое провел бедняга Лейк, мы считали подобные звуки голосами звездоголовых, а нам ведь только что казалось, будто все они погибли. Позднее Данфорт рассказал, что в точности те же звуки, но едва-едва различимые, он уловил, когда мы еще не спускались под лед, в проулке за углом. И еще они очень напоминали свист ветра в просторных горных пещерах — его слышали мы оба. Рискую, что мои слова примут за ребячество, добавлю еще кое-что, хотя бы ради того, чтобы показать, насколько совпадали наши с Данфортом мысли. Разумеется, на них нас натолкнул общий круг чтения, однако Данфорт приплел еще что-то относительно неизвестных, запретных источников, которыми мог пользоваться Эдгар По сто лет назад, когда писал «Артура Гордона Пима». Читатели вспомнят, что в этой фантастической повести упоминалось слово, отсутствующее в человеческом языке, но грозное и необычайно важное. Оно было связано с Антарктикой и слышалось в неумолчном крике гигантских призрачно-белых птиц, живущих в самом сердце этого недоброго континента: *«Текели-ли! Текели-ли!»* И, признаюсь, именно это сочетание звуков различили мы оба, когда внезапно за надвигающимся белым туманом раздался тот самый, широкодиапазонный музыкальный свист.

Прислушиваться долее мы не стали, а бросились наутек, хотя нам было известно, насколько проворны Старцы: если кто-то из них выжил в бойне и с криком пустился в погоню, нам от него не уйти. Тем не менее мы смутно надеялись, что нас могут пощадить хотя бы из научного интереса, сумей мы продемонстрировать свою безобидность и мирные намерения. В конце концов, что за корысть Старцу нас убивать, если ему нечего бояться. О том, чтобы спрятаться, сейчас нельзя было и думать; мы на бегу посветили фонарем назад и обнаружили, что туман редееет. Неужели мы увидим наконец живой и полноценный экземпляр тех, других? И снова прозвучал загадочный напев: *«Текели-ли! Текели-ли!»*

Заметив, что преследователь за нами не поспевает, мы подумали, не ранен ли он. И все же мы не могли рисковать, ведь было очевидно, что он, скорее всего, ни от кого не убегает, а, напротив, гонится за нами, потому что услышал крик Данфорта. Времени на раздумья и сомнения у нас не было. И мы не пытались и гадать о том, где находится другой, еще более страшный и непостижимый выходец из кошмарного сна — эта невиданная, изрыгающая вонючую слизь гора протоплазмы, чья раса завоевала подземную пучину и отравила на сушу своих посланцев, которые исследовали галереи и изуродовали настенные рельефы. Нам было искренне жаль оставлять на произвол судьбы этого, вероятно, последнего Старца, к тому же, быть может, покалеченного. Какая участь его ждала, если его настигнут, страшно было подумать.

Слава богу, мы не замедлили бег. Завитки тумана вновь сгустились, кто-то все быстрее гнал их вперед; у нас за спинами панически кричали и хлопали крыльями отбившиеся от стаи пингвины, и это при том, что на нас они почти не реагировали. И снова этот зловеющий свист: *«Текели-ли! Текели-ли!»* Мы были неправы. Эта тварь не была ранена, она просто задержалась, встретив тела своих сотоварищей и дьявольские письма из слизи над ними. Мы никогда не узнаем, что было сказано в мерзком послании, однако похороны в лагере Лейка показали, как уважительно относились Старцы к своим усопшим. Фонарь, которым мы пользовались теперь без оглядки на экономию, высветил впереди большую пещеру, откуда расходились галереи, и мы обрадовались тому, что уродливые скульптурные палимпсесты остались позади — прежде мы их чувствовали, даже когда практически не видели.

В пещере мы подумали еще и о том, что в этой паутине ходов можно избавиться от преследователя. По открытому пространству бродило несколько слепых пингвинов-альбиносов, и они явно до смерти боялись того, кто за нами следовал. Тут мы могли бы притушить фонарь до самого минимума, направить луч строго вперед и понадеяться на то, что

панический галдеж и метания громадных птиц заглушат наши шаги, скроют наш истинный путь и наведут преследователя на ложный. Конечно, пол в продолжении туннеля, пыльный и замусоренный, разительно отличался от неестественно отполированных полов в боковых норах, однако в клубах тумана эту разницу будет трудно разглядеть; не поможет, наверно, и особый орган чувств, который позволял Старцам обходиться в крайних случаях самым скудным освещением. По правде, мы немного опасались, что и сами в спешке побежим не туда. Мы ведь, разумеется, решили держаться прямого пути в мертвый город: кто знает, что случилось бы с нами, если бы мы заплутали в сети подземных галерей.

Само то, что мы выжили и выбрались наружу, неопровержимо доказывает: преследователь ошибся галереей, мы же, по счастью, не ошиблись. Одни пингвины нас бы не спасли, но помог, вероятно, еще и туман. Клубы тумана то сгущались, то редели, и нам повезло, что в нужный момент они не рассеялись совсем. Собственно, на какую-то секунду пар разошелся: мы как раз оставили за спиной туннель с изуродованными стенами, вырвались в пещеру и собрались притушить фонарь и смешаться с пингвинами, чтобы сбить с толку погоню. И тут мы бросили напоследок боязливый взгляд в пещеру и впервые мельком увидели гнавшуюся за нами тварь. И если чуть позже судьба благоприятствовала нашему бегству, то в тот миг она нанесла нам жестокий удар: одного случайного взгляда хватило вполне, и это ужасное зрелище мы не забудем во век.

Когда мы оглядывались, нами, наверное, руководил извечный инстинкт преследуемого: оценить, далеко ли преследователь и какова опасность; а может, мы неосознанно пытались получить ответ на вопрос, заданный одним из наших органов чувств. Спасаясь бегством, думая только о том, как бы унести ноги, мы, разумеется, не успевали подметить и проанализировать подробности, и все же какие-то глубинные клетки мозга восприняли импульс, идущий от ноздрей. Позднее мы поняли, в чем было дело: в дальнем конце туннеля воняли

одновременно пленка слизи на безголовых трупах и преследователь за завесой пара, но теперь, по логике, запах должен был измениться. Там, по соседству с останками, новый, до поры необъяснимый запах резко преобладал, здесь же он должен был уступить место безымянному зловонию, которое ассоциировалось с теми, другими. Но этого не случилось: прежнее, еще более-менее переносимое зловоние было окончательно вытеснено, новое же набирало силу и едкость.

И мы обернулись — по-видимому, одновременно, однако не сомневаюсь, что первое движение сделал кто-то один, а другой бессознательно его симитировал. Включив оба фонаря на полную мощность, мы направили лучи на мимолетный просвет в тумане. Намерение у нас было примитивное — побольше рассмотреть; а может, столь же примитивное, но столь же неосознанное — на миг ослепить неведомую тварь, а уж потом притушить фонари, добежать до центра лабиринта, где разгуливали пингвины, и там запутать свой след. Лучше бы нам этого не делать! Любопытство обошлось нам многим дешевле, чем Орфею или жене Лота. И вновь нас пронзило ужасом свистящее: *«Текели-ли! Текели-ли!»*

Мне не под силу выложить напрямик, что мы увидели, но я должен быть откровенен, хотя тогда мы и помыслить не могли о том, чтобы поделиться впечатлениями даже друг с другом. Какие бы слова я ни подобрал, они не смогут передать читателю, какое страшное нам открылось зрелище. Ужас сковал наше сознание, и я удивляюсь, как нам хватило здравого смысла, чтобы исполнить задуманное, то есть притушить фонари и помчаться по нужному туннелю к мертвому городу. Нам помог инстинкт, и от него, наверное, было больше проку, чем от разума, хотя за свое спасение мы заплатили высокую цену. Что касается разума, то нам его тогда просто-напросто отшибло. Данфорт не владел собой — когда я вспоминаю наше бегство, мне первым делом слышится его истерический голос, твердивший нараспев набор слов, в котором никто, кроме меня, не уловил бы ничего, кроме полного бреда. Эхо повторяло его фальцетом вместе с гвалтом пингвинов, про-

катывалось по сводам над нами и позади нас, где, слава Создателю, было теперь пусто. По счастью, Данфорт завел свой речитатив не сразу после того, как оглянулся, — иначе мы лежали бы мертвыми, а не мчались по туннелю. Меня бросает в дрожь при мысли, что его нервная система могла бы среагировать немного иначе.

— Саут-Стейшн... Вашингтон... Парк-стрит... Кендалл... Сентрал... Гарвард...

Бедняга перечислял нараспев знакомые станции подземной линии Бостон — Кембридж, в мирной родной земле Новой Англии, отделенной от нас тысячами миль пути, но я знал: он не бредит и не затосковал по дому. Он просто был до смерти напуган, и мне было понятно, что за чудовищная, кошунственная аналогия стоит за его словами. Когда мы обернулись и всмотрелись в редящий туман, мы приготовились увидеть существо страшное, невероятное, но в какой-то степени знакомое. Но на самом деле в поредевшем, на беду, тумане нам явилось нечто совершенно иное, куда более жуткое и отвратительное. Это было полное, живое воплощение «того, чего быть не должно» из фантастических романов. Ближайшая аналогия, которая пришла мне на ум, это громадный, несущийся на всех парах поезд метро, каким его видишь с платформы: темная масса маячит в неведомой подземной дали, надвигается, растет, мигает причудливыми цветными огнями и, как поршень в цилиндре, заполняет собой все пространство туннеля.

Но мы стояли не на станции. Мы стояли в туннеле, и из его пятнадцатифутового поперечника, как гной из свища, выдавливалась кошмарная пластичная масса — черная, переливчатая, вонючая. Немилосердно набирая скорость, она гнала перед собой вновь сгущавшуюся спираль бледных подземных испарений. Крупнее любого поезда метро, эта жуткая, неопишуемая тварь состояла из бесформенной, пузырящейся протоплазмы; по слабо светящейся передней поверхности перебегали с места на место бесчисленные зеленоватые огоньки — это выскакивали там и сям, как прыщи, временные гла-

за. Давя по пути обезумевших от страха пингвинов, чудовище скользило к нам по полу, который оно и ему подобные давно превратили в гладкое зеркало. И вновь леденящий душу, глумливый крик: «*Текели-ли! Текели-ли!*» И мы вспомнили наконец: демонические шогготы, только милостью Старцев получившие жизнь, разум, умение моделировать пластичные органы, не знавшие другого языка, кроме того, что изображался группами точек, — эти шогготы *не имели и собственной речи, а лишь подражали голосам своих бывших господ.*

ХII

Мы с Данфортом помним себя в том полусферическом зале, богато украшенном рельефами, помним обратный путь по циклопическим комнатам и коридорам мертвого города, однако все это представляется нам обрывками сна. Чего мы хотели, как двигались, что попадалось нам на глаза — забыто. Мы словно бы плыли по неопределенному пространству или по иному измерению, где отсутствуют время, причинность, направление. Тускло-серый дневной свет на затененном дне круглой площадки слегка нас отрезвил, однако мы не стали приближаться к припрятанным саням, чтобы бросить последний взгляд на беднягу Гедни и собаку. Они покоятся в странном исполинском мавзолее, и я надеюсь, до скончания времен их сон ничто не потревожит.

Только на колоссальном винтовом пандусе мы ощутили наконец безмерную усталость и одышку, как и следовало в местном разреженном воздухе, но, даже рискуя потерять сознание, не замедляли шаг, пока не выбрались на открытое, освещенное солнцем пространство. Чудилось, что распроститься с минувшими эпохами — решение самое что ни на есть правильное: накручивая круг за кругом в шестидесятифутовом каменном цилиндре, мы замечали рядом непрерывную скульптурную ленту, выполненную в ранней, неиспорченной технике мертвой расы Старцев — то были их прощальные слова, начертанные пятьдесят миллионов лет назад.

Вскарабкавшись наверх, мы очутились на громадном холме из каменных обломков; западнее поднимались закругленные стены соседнего, более высокого сооружения, на востоке, меж полуразрушенных строений, дремали мощные горные пики. В просветы между руинами заглядывало с южного горизонта полуночное антарктическое солнце, низкое и красное, и по контрасту с такой относительно знакомой и привычной картиной, как полярный пейзаж, кошмарный город еще сильнее поразил нас своей невероятной древностью и запустением. В небе над нами мерцали, сплетаясь и расплетаясь, тонкие испарения льда, суровый мороз прохватил нас до костей. Устало опустив на камни дорожные мешки (во время панического бегства мы инстинктивно прижимали их к себе), мы застегнули свои теплые куртки и приготовились к утомительному спуску с холма и путешествию через древний каменный лабиринт к предгорью, где нас ждал самолет. О том, что заставило нас бежать из темных подземелий, хранящих вековые тайны планеты, мы не сказали ни слова.

Нам хватило каких-нибудь четверти часа, чтобы найти крутой спуск, по которому мы сходили с предгорья (наверное, тут когда-то была терраса), и скоро впереди, на склоне, среди редких развалин, завиднелся черным пятном наш самолет. На полпути наверх мы сделали краткую остановку, чтобы перевести дыхание, обернулись и бросили последний взгляд на фантастическую путаницу невероятных каменных построек, таинственным контуром прорисованную на фоне неведомого запада. Утренней дымки на небосклоне уже не было, вечные ледяные испарения стянулись к зениту и дразнили глаз, суля сложиться в какой-то определенный узор, но никогда не выстраивая его до конца.

За причудливым городом, в отдалении, на самом горизонте, различался сквозь дымку миниатюрный сиреневый силуэт, словно бы рожденный сном: гряда остроконечных вершин распарывала край розового неба. Древнее плоскогорье шло от этого сияющего ободка под уклон, русло бывшей реки пе-

ресекало равнину неровной затененной лентой. На миг у нас захватило дыхание от этой неземной, космической красоты, но тут же в душу прокрался смутный страх. Сиреневый силуэт не мог быть ничем иным, как только чудовищной горной цепью заповедной страны — величайшими на Земле пиками и средоточием земного зла; хранилищем несказанных ужасов и архейских тайн. Сторонясь этих гор, робея приоткрыть их тайну в своих рельефах, Старцы возносили им молитвы; но ни одна живая тварь не посещала их склоны и вершины, лишь сверкали в небе зловещие молнии, а полярной ночью над равниной тянулись таинственные лучи. Вне всякого сомнения, именно они послужили прообразом страшного Кадата в Холодной Пустыне, за ненавистным плато Ленг, о котором говорят намеками нечестивые старинные легенды. Мы были первыми из людей, кто их увидел, и, дай бог, последними.

Если скульптурные карты и картины в доисторическом городе говорили правду, от загадочных сиреневых гор нас отделяло немногим менее 300 миль, и все же, крохотные, тающие в дымке, они отчетливо разрывали снежную линию горизонта, подобные иззубренному гребню чудовищной чужой планеты, готовому взметнуться к непривычным небесам. Значит, высоты они достигали поистине беспримерной и уходили вершинами в разреженные слои атмосферы, где рождаются столбы тумана, о которых успевали шепнуть перед смертью отчаянные воздухоплаватели, объясняя, почему потерпели крушение. Глядя на них, я с тревогой вспомнил уклончивые рассказы в камне о том, что приносила иной раз с их проклятых склонов протекавшая через город река, и задал себе вопрос, правы или безумны были Старцы, боявшиеся этой темы настолько, что касались ее лишь намеком. Мне вспомнилось, что северная оконечность этой цепи должна находиться близ берега Земли Королевы Мэри, и как раз сейчас в тысяче миль оттуда работает экспедиция сэра Дагласа Мосона, и я взмолился небесам, чтобы сэр Даглас и его сотрудники не загля-

нули за прибрежный хребет и не увидели там ничего лишнего. Вот то главное, что донимало тогда мой измученный разум, но Данфорту, похоже, приходилось еще хуже.

Однако задолго до того, как мы миновали знакомое пятиконечное здание и добрались до самолета, наши мысли обратились к не столь мощному, но все же внушительному хребту, который нам предстояло преодолеть. Его черные, облепленные руинами склоны маячили впереди грозными великанами, и, глядя на них с холмов предгорий, мы вновь вспомнили азиатские картины Николая Рериха. Мы подумали о проклятой сети ходов, что их пронизывала, о жутких аморфных тварях, которые, быть может, пробирались, корчась и истекая слизью, к самым высоким из полых башенок, и нам стало страшно, ибо маршрут предстоящего полета проходил мимо этих обращенных к небу нор, где завывания ветра так похожи на знакомый музыкальный свист. Хуже того, мы заметили вокруг некоторых вершин явственные следы клубящегося тумана (несомненно, того самого, который бедняга Лейк ошибочно приписал вулканической деятельности), и нас пробрала дрожь, когда мы обнаружили в нем сходство с тем, другим, от которого мы спасались бегством. Проклятое, полное кошмаров подземелье — вот откуда исходили все эти пары.

Убедившись, что с самолетом ничего не произошло, мы судорожно закутались в меховую летную одежду. Данфорт легко запустил двигатель, и мы очень плавно взмыли в небо над зловещим городом. Внизу простирался циклопический каменный лабиринт — таким же мы видели его и в первый раз, совсем недавно, хотя нам казалось, что с тех пор минули века. Набрав высоту, мы принялись маневрировать, чтобы определить силу ветра, перед тем как пересечь перевал. Снежная пыль в зените бешено плясала — это значило, что где-то очень высоко носятся вихри, но на нужной нам высоте, 24 000 футов, было достаточно спокойно. У самых пиков мы вновь слышали характерный свист ветра, и я заметил, как дрогнули руки Данфорта, сидевшего в кресле пилота. Решив,

что при данных обстоятельствах даже такой неопытный пилот, как я, уверенней Данфорта проведет самолет меж горных вершин, я предложил ему поменяться местами и передать мне управление. Он не возражал. Я старался держать себя в руках и прилагал все свое умение, глядя исключительно в просвет, где виднелось красноватое небо, и совсем не обращая внимания на курящиеся горные вершины. Я жалел только, что нет воска, чтобы, подобно спутникам Одиссея у берега сирен, залепить себе уши и не слышать, как насвистывает в пещерах ветер.

Однако Данфорт, свободный теперь от обязанностей пилота, взвинтил себя до предела и никак не мог успокоиться. Он ерзал, оборачивался на оставшийся за спиной город, оглядывал изрытые пещерами и облепленные кубами горные пики впереди, унылые заснеженные холмы по сторонам, бурливое облачное небо над головой. И как раз над самым перевалом, когда я был предельно сосредоточен, Данфорт испустил отчаянный вопль, едва нас не погубивший: я дернулся и на миг потерял контроль над штурвалом, однако тут же взял себя в руки и уверенно одолел остаток опасного пути. Боюсь, правда, что к Данфорту никогда уже не вернется душевный покой.

Я говорил уже, что Данфорт не желает рассказывать, отчего он закричал и что такого ужасного увидел, но, подозреваю, причины его нервного срыва следует искать именно в этом эпизоде. По ту сторону перевала, медленно сбавляя высоту, мы обменялись несколькими словами (приходилось перекрикивать свист ветра и шум мотора), но речь шла только о клятвах хранить секрет, которыми мы обменялись, прежде чем покинуть кошмарный город. Есть вещи, согласились мы, которые не годится знать и обсуждать всякому встречному-поперечному, и я молчал бы и дальше, если бы не экспедиция Старкуэзера-Мура: ее нужно остановить любой ценой. Во имя мира и благополучия человечества оставим в покое иные темные, глухие уголки Земли и ее неведомые глубины, а то как

бы не восстали от мертвого сна противные естеству твари, не полезли бы, извиваясь, из черных нор порождения кошмара, чье безмерно затянувшееся существование бросает вызов небесам, и не отправились завоевывать себе новое жизненное пространство.

Данфорт признался только, и то намеком, что его напугал мираж. То, что он видел, не связано, по его словам, с Хребтами Безумия, которые мы пересекли: с их кубическими пристройками, гулкими пещерами, червячными ходами, где клубятся испарения. Фантастическое, адское видение блеснуло в зените, среди завихрений облаков: оно отразило то, что лежало по другую сторону сиреневых западных гор, которых боялись Старцы. Вполне возможно, это был обман зрения, и виноваты в нем были прежние переживания, а также настоящий мираж, который мы видели накануне вблизи лагеря Лейка, — но, как бы то ни было, Данфорт воспринял эту картину как реальность и лишился из-за нее покоя.

Порой у него срывались с языка отрывочные слова: «черная яма», «резной ободок», «протошогготы», «пятимерные массивы без окон», «неописуемый цилиндр», «древний маяк», «Йог-Сотот», «первичный белый студень», «цвет вне пространства», «крылья», «глаза во тьме», «лестница на Луну», «первоначальные, вечные, бессмертные» и прочая бессмыслица; но когда наступает просветление, он от всего этого отрекается, ссылаясь на мрачную, полную необычных идей литературу, которую читал в юном возрасте. Надо сказать, Данфорт — один из немногих, кто осмелился дочитать до конца источенный червями том «Некрономикона», который хранится под замком в библиотеке колледжа.

Когда мы пересекали горный хребет, высоко в небе и вправду наблюдалось бурное перемещение паров; я не видел, что делалось в зените, но допускаю, что завихрения ледяной пыли принимали там странные формы. Остальное вполне могло дорисовать воображение — ведь Данфарту было известно, насколько живо отражаются иной раз в атмосфере отдаленные картины, как преломляют лучи и увеличивают изобра-

жение такие вот слоистые, подвижные облака. И потом, эти жуткие образы появились в его намеках не сразу, а лишь после того, как в памяти ожило прочитанное. Одного-единственного взгляда попросту не хватило бы, чтобы столько всего воспринять.

А в тот миг он выкрикивал лишь одно слово, безумное, однако имевшее слишком понятный нам источник: *«Текели-ли! Текели-ли!»*

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОКАЗАНИЯ РЭНДОЛЬФА КАРТЕРА

Рассказ написан в декабре 1919 г. и впервые опубликован в мае следующего года в журнале «The Vagrant».

С. 7. *Кенотаф* (греч., букв. «пустая могила») — надгробие, под которым не погребен покойник. Традиция сооружения кенотафов восходит ко временам Древнего Египта и античного мира; эти памятники устанавливались при невозможности обнаружить тело погибшего (например, если он утонул в море) или когда человек умирал где-то на чужбине. Современные варианты кенотафов чаще всего можно встретить на обочинах дорог в тех местах, где люди погибли в автотрагедиях.

НЕИМЕНУЕМОЕ

Рассказ написан в сентябре 1923 г. и впервые опубликован в «Weird Tales» в июле 1925 г. Отдельные мотивы этого рассказа были использованы кинорежиссером Ж.-П. Уэллеттом при создании триллеров «Неименуемое» (1988) и «Неименуемое-2» (тж. «Невыразимый ужас», 1993).

С. 14. *...модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан Дойлем...* — Последние годы своей жизни создатель Шерлока Холмса активно проповедовал «возрождение религии и практического спиритизма», посвятив этому несколько объемистых трудов и статей.

С. 17. *Мэзер*, Коттон — см. сборник «Сны в Ведьмином доме», примечания к заглавному рассказу.

С. 23. ...*мильтоновскими легионами безобразных демонов*... — аллюзия на поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671), в которых описывается битва божественных сил с сатанинскими полчищами.

СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ

Рассказ написан в 1926 г. и впервые опубликован в январе 1929 г. в журнале «Weird Tales».

С. 40. *Беллуа-ан-Сантер* — небольшое селение в Пикардии, на севере Франции. Во время битвы на Сомме в 1916 г. здесь погиб американский поэт Алан Сигер (1888–1916), служивший во французском Иностранном легионе. Упоминание Лавкрафтом этого местечка, вероятно, является аллюзией на смерть Сигера.

ВРАТА СЕРЕБРЯНОГО КЛЮЧА

Рассказ написан в период между октябрем 1932 и апрелем 1933 г. в соавторстве с писателем Эдгаром Хоффман-Прайсом (1898–1988). Последний, находясь под впечатлением от рассказа «Серебряный ключ», предложил Лавкрафту развить эту тему и в августе 1932 г. прислал свои наброски. В апреле следующего года Лавкрафт закончил рассказ, в котором, по признанию самого Прайса, «осталось не более пятидесяти моих изначальных слов». В то же время Лавкрафт использовал многие из предложенных Прайсом идей, включая «сечения многомерных фигур» и множественность воплощений Картера в пространстве и времени. Рассказ был опубликован в июле 1934 г. в журнале «Weird Tales» за подписями обоих соавторов. Отдельные мотивы этого рассказа были использованы создателями американского фильма «Вавилон-5: Третье пространство» (1998), герои которого

находят в космосе гигантские врата в иную реальность, откуда в эту вселенную вторгаются чужаки, пытаясь управлять сознанием людей через их сновидения.

С. 47. *Бенарес* (тж. Варанаси) — город на северном берегу Ганга, считающийся священным у индуистов, буддистов и джайнов. Его относят к числу древнейших непрерывно существующих поселений в мире.

С. 70. *Китанил, Шонхи, бхоулы*. — Эти названия приводятся здесь по оригинальной рукописи; в некоторых изданиях они были искажены при наборе.

УЖАС ДАНВИЧА

Повесть написана летом 1928 г. и впервые опубликована в апрельском выпуске 1929 г. журнала «Weird Tales». По единодушному мнению критиков, главной литературной предтечей этого произведения является роман валлийского писателя Артура Мейчена «Великий бог Пан» (1894), упоминаемый в тексте повести. По мотивам последней в США сняты одноименные фильмы (в 1970 г. режиссером Д. Хэллером и в 2009 г. режиссером Л. Скоттом). Описанный в повести пустынный ландшафт действительно существовал — близ городка Уилбрэм в штате Массачусетс. Лавкрафт побывал в тех местах в начале лета 1928 г., непосредственно перед написанием «Ужаса Данвича».

С. 90. *Келено* — в греческой мифологии одна из гарпий: монстр с головой женщины и телом (крыльями, когтями) птицы.

Лэм, Чарльз (1775–1834) — английский писатель и поэт, самым известным произведением которого является сборник эссе «Очерки Элии» (1823), из которого и взят эпиграф к повести.

С. 91. ...*страх, навеваемый криками скрытых во тьме козодоев и мельтешением огромной массы светлячков...* — Со-

гласно поверьям, бытующим в глухих уголках Новой Англии, козодои могут перехватить человеческую душу, отбывающую в мир иной, а большие скопления светлячков предвещают несчастье.

С. 130. *Тритемий*, Иоганн (1462–1516) — немецкий ученый, бывший первым серьезным исследователем криптографии. Его «Polygraphia», опубликованная в 1518 г., заложила основу, от которой отталкивались все последующие авторы. Далее в тексте Лавкрафта перечисляются имена и названия книг, старательно выписанные им из статьи «Криптография» в Британской энциклопедии 1911 г. издания.

С. 133. «*Демонолатрия*» *Ремигия*. — Имеется в виду сочинение «*Daemonolatreiae libritres*» (1595) французского юриста Николя Реми (он же Ремигий, 1530–1616), который лично председательствовал на многих ведьмовских процессах, отправив на виселицу или костер несколько сотен человек по обвинению в колдовстве. Основанный на сведениях, полученных в ходе допросов с пристрастием, этот труд на протяжении столетий являлся настольной книгой для «охотников на ведьм» во многих странах Европы.

С. 136. *Negotium perambulans in tenebris...* — Дело, творимое в потемках (*лат.*).

МУЗЫКА ЭРИХА ЦАННА

Рассказ написан в декабре 1921 г. и впервые опубликован в марте следующего года в журнале «National Amateur». Продолжение этой истории под названием «Молчание Эрики Цанн» было написано Джеймсом Уэйдом и впервые издано в 1976 г.

МОДЕЛЬ ПИКМАНА

Рассказ написан в сентябре 1926 г. и впервые опубликован год спустя в октябрьском выпуске журнала «Weird Tales». В 1972 г. на его основе был сделан один из выпусков

американского телесериала «Ночная галерея», причем роль рассказчика создатели фильма отвели женщине, по их версии, влюбившейся в Пикмана.

С. 160. *Фюсли (Фюссли)*, Иоганн Генрих (1741–1825) — швейцарский живописец, писатель, теоретик искусства. Для его картин характерны мрачно-фантастические мотивы, изображение демонических существ и сверхъестественных явлений.

С. 161. *Доре*, Гюстав (1832–1883) — французский художник, прославившийся как иллюстратор Библии и многих классических литературных произведений, в том числе «Божественной комедии» Данте и «Дон Кихота» Сервантеса.

Сайм, Сидни (1867–1941) — английский художник, известный своими фантастическими картинами и, среди прочего, иллюстрациями к сказкам лорда Дансени.

Ангарола, Энтони (1893–1929) — американский художник итальянского происхождения, творчество которого высоко ценил Лавкрафт.

Со времен Гойи... — В данном случае речь идет о графической серии «Капричос» испанского художника Франсиско Хосе де Гойи (1746–1828).

Горгулья — в готической архитектуре: выступающая водосточная труба в виде фантастической, обычно злобно-уродливой фигуры.

Химера — в древнегреческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона. В средневековом искусстве химерами было принято называть изображения фантастических чудовищ.

Мон-Сен-Мишель — монастырь на скалистом острове у побережья Нормандии, основанный в 709 г. и достраивавшийся на протяжении нескольких столетий. Считается одним из выдающихся образцов средневекового зодчества.

С. 166. *...о временах Эндроса, Фиппса и ведовства.* — Эдмунд Эндрос (1637–1714) и Уильям Фиппс (1651–1695)

управляли колонией Массачусетс в 1686–1689 и 1692–1694 гг. соответственно. На то же время пришелся пик «охоты на ведьм» в Новой Англии.

Смит, Кларк Эштон (1893–1961) — американский поэт, скульптор, художник и автор фантастических рассказов, на протяжении 15 лет поддерживавший активную переписку с Лавкрафтом.

СКИТАЛЕЦ ТЬМЫ

Рассказ написан в ноябре 1935 г. и впервые опубликован год спустя в декабрьском номере журнала «Weird Tales». Он является своего рода ответом на рассказ «Пришедший со звезд», написанный в том же 1935 г. Робертом Блохом, большим поклонником творчества Лавкрафта. Последний посвятил свой рассказ Блоху, а тот в 1950 г., уже после смерти своего учителя, написал рассказ «Тень на колокольне», завершивший эту своеобразную трилогию.

С. 175. *Немезида* — стихотворение Лавкрафта, написанное 1 ноября 1917 г.

С. 177. *Стиль Адама* — неоклассический архитектурный и декоративный стиль, названный в честь шотландского архитектора Роберта Адама (1728–1792) и его братьев, которые ввели этот стиль в употребление.

С. 179. *Анджон*, Ричард (1802–1878) — американский архитектор, уроженец Англии; один из основателей и первый президент Американского института архитекторов. Строил монументальные церкви в неоготическом стиле, способствовав его популяризации в США.

С. 186. *Анк* — египетский иероглиф, символизирующий вечную жизнь, а также тайную мудрость. Представляет собой крест с овальной петлей в верхней части.

С. 206. *Родерик Ашер* — злощастный персонаж рассказа Эдгара По «Падение дома Ашеров» (1839).

ХРАМ

Рассказ написан в 1920 г. и опубликован в журнале «Weird Tales» в феврале 1925 г. Это единственное произведение Лавкрафта, содержащее, помимо прочего, элементы едкой сатиры на милитаризм и шовинизм.

С. 207. *Киль* — германская военно-морская база (а также главная база по строительству и ремонту субмарин), расположенная на Балтике и соединенная с Северным морем Кильским каналом.

С. 211. *Вильгельмсхафен* — германская военно-морская база на побережье Северного моря.

КРЫСЫ В СТЕНАХ

Рассказ написан в августе-сентябре 1923 г. и впервые опубликован в журнале «Weird Tales» в марте 1924 г. По его мотивам снята первая из трех частей американского фильма ужасов «Некрономикон» (1994, режиссер этой части Кристоф Гэнс).

С. 228. *Иаков I* (1566–1625) — король из династии Стюартов, правил в Шотландии с 1567 г., в Англии — с 1603 г.

С. 229. *В ходе войны...* — имеется в виду Гражданская война в США (1861–1865).

С. 232. *...современного Стоунхенджа*. — Начало возведения Стоунхенджа, знаменитого мегалитического памятника на юге Англии, ученые относят примерно к 3000 г. до Р. Х.

Кибела (Великая мать богов) — античная богиня фригийского происхождения, требующая от своих служителей полного самозабвения в безумном экстазе, когда жрецы Кибелы наносят друг другу кровавые раны, а неофиты оскотпляют себя. Культ Кибелы с VI в. до Р. Х. получил распространение в Греции, а в 204 г. до Р. Х. он был официально введен в Риме. С утверждением христианства как основной

религии Римской империи этот культ был запрещен, однако искоренить его удалось далеко не сразу.

Гептархия (греч. Семивластье) — возникший в среде ученых-гуманистов XVI в. условный термин для обозначения Британии раннего Средневековья, когда после вторжения германских племен (V–VI вв.) на ее территории образовались семь относительно стабильных королевств: Кент (юты), Суссекс, Уэссекс и Эссекс (саксы), Восточная Англия, Мерсия и Нортумбрия (англы). Само название достаточно условно, поскольку эти королевства периодически объединялись или распадались, и в действительности редко в какой исторический период их количество равнялось семи.

С. 233. *Рети*, Жиль де Лаваль (1404–1440) — французский барон, маршал и один из соратников Жанны д'Арк, после пленения и казни которой он оставил королевскую службу, удалился в свой замок близ Нанта и предан был занятиям алхимией, а также самым чудовищным злодеяниям. Поклоняясь дьяволу, барон приносил ему в жертву захваченных в округе детей, умертвив таким образом 134 невинные души. В конце концов он был арестован, предан суду инквизиции и казнен.

С. 234. *...после возвращения с мексиканской войны...* — имеется в виду гражданская война в Мексике (1914–1917), сопровождавшаяся интервенцией США.

Вуду — негритянский культ, широко распространенный на острове Гаити и практикуемый отдельными общинами в других странах. Вудуисты верят в существование многих богов или духов, которые якобы могут вселяться в людей и руководить их поступками. При мистическом общении с духами жрецы приносят в жертву различных животных; ранее нередки были случаи человеческих жертвоприношений.

С. 241. *Аттис* — в греческой мифологии юноша-фригеец, возлюбленный богини Кибелы, учредивший священные оргии в ее честь. По одной из версий легенды, он впал

в безумие и сам себя оскотил. Упомянутая в тексте поэма Катуллы «Аттис» исполнена ужаса перед зависимостью от иррационального могущества Кибелы. В Риме культ Аттиса существовал параллельно с культом этой богини.

С. 245. *Уильям Бринтон*. — Создавая этот образ, Лавкрафт мог воспользоваться фамилией известного американского археолога и этнолога Даниела Гаррисона Бринтона (1837–1899), состоявшего членом многих научных обществ в Америке и Европе.

Троада — область древней Трои, где разыгрывались события, описанные в «Илиаде» Гомера.

...о безвременной кончине президента. — 2 августа 1923 г. умер в результате инсульта 29-й президент США Уоррен Гардинг. Его пост занял вице-президент Калвин Кулидж.

Тримальхион — персонаж «Сатирикона» Петрония Арбитра и историческое лицо: чрезвычайно богатый вольноотпущенник, закатывавший грандиозные банкеты, на которых гости предавались неумеренному пьянству, обжорству и разврату.

С. 248. *Пилтдаунский человек* — плод мистификации, устроенной английским археологом Ч. Доусоном, который в 1912 г. якобы обнаружил близ местечка Пилтдаун в графстве Суссекс части черепа древнего человека. «Находка» представляла собой комбинацию из черепной коробки «хомо сапиенс» и челюсти современной обезьяны. Этот обман был разоблачен только в 1953 г., и Лавкрафт упоминает Пилтдаунского человека как образец, признанный всем научным миром.

Гюисманс, Жорис Карл (1848–1907) — французский писатель-декадент, известный своими романами на темы магии, алхимии и астрологии («Наоборот», 1884; «Там, внизу», 1891).

С. 251. *Dia ad aghaidh's ad aodaun... agus bas dunach ort! Dhonas's dholas ort, agus leatsa!..* — Эти слова герой произносит на гэльском — языке шотландских кельтов, а не на вал-

лийском, притом что место действия рассказа отождествляется с Уэльсом. В переводе они приблизительно означают: «Бог против тебя в самом тебе... да постигнет тебя ужасная смерть! Зло и горе — удел твой и всех твоих!»

В СКЛЕПЕ

Рассказ написан в сентябре 1920 г. и впервые опубликован в любительском журнале «Tryout» в ноябре 1925 г.

ИЗГОЙ

Рассказ написан между мартом и августом 1921 г. и опубликован в апрельском номере журнала «Weird Tales» за 1926 г.

КАРТИНКА В СТАРОЙ КНИГЕ

Рассказ написан в декабре 1920 г. и опубликован летом 1921 г. в любительском журнале «The National Amateur».

С. 274. *Птолемя* — в античном мире такое название носило несколько городов; вероятно, здесь говорится о том, что находился в Верхнем Египте.

С. 277. *Послереволюционный период* — т. е. период после американской Войны за независимость (1775–1783).

С. 278. *Пигафетта*, Антонио (ок. 1481–1534) — итальянский путешественник, участник кругосветной экспедиции Магеллана, составивший о ней подробный отчет. Упомянутая в рассказе книга Пигафетты «Regnum Congo» («Королевство Конго») существует в действительности, хотя из ее неточного описания Лавкрафтом явствуется, что сам он этого издания никогда не видел.

...и*ллюстрациями работы братьев де Брю...* — Автор ошибочно называет их братьями; на самом деле это отец, Теодор де Брю (1528–1598), и сын, Иоанн Теодор де Брю (1560–

1623). Де Брю-старший был известным фламандским гравером и книгоиздателем, с 1588 г. постоянно проживавшим во Франкфурте-на-Майне. Его сын унаследовал дело.

...анзикейских каннибалов. — Речь идет о жителях Анзику, одного из африканских государств доколониального периода, расположенного в бассейне р. Конго.

«Путь паломника» — аллегорический роман-притча Джона Беньяна (1-я ч. 1678, 2-я ч. 1684).

С. 283. *Мидианиты*. — Согласно библейским преданиям, это семитское племя было разгромлено израильтянами, которые после битвы вырезали поголовно всех уцелевших мидианитов мужского пола, а также всех женщин, не являвшихся девственницами.

ХОЛОД

Рассказ был написан в марте 1926 г., когда Лавкрафт проживал в Нью-Йорке, и опубликован в мартовском 1928 г. выпуске сборника «*Tales of Magic and Mystery*». По мотивам рассказа были сняты одна из трех частей фильма «Некрономикон» (1994, режиссер Сюсукэ Канеко), фильмы ужасов «Холодный воздух» (1999, режиссер Брайан Мур) и «Холод» (2007, режиссер Серж Руднунски).

С. 290. ...при 55–56 градусах Фаренгейта... — примерно 13 градусов Цельсия.

С. 292. *Гален*, Клавдий (ок. 130 — ок. 200) — знаменитый древнеримский врач, грек по происхождению; обобщил представления античной медицины в виде единого учения, оказавшего большое влияние на развитие естествознания вплоть до XVI в. Со временем «Галеном» стали называть любого искусного врача, пользующегося традиционными методами лечения.

Долина Царей — скалистая пустынная равнина к западу от Фив на Ниле (Верхний Египет), где в известняковых скалах вырублены многочисленные гробницы фараонов.

ШЕПЧУЩИЙ ИЗ ТЬМЫ

Повесть написана в феврале — сентябре 1930 г. и опубликована в августе 1931 г. в журнале «Weird Tales». В 2011 г. вышла ее экранизация, стилизованная под черно-белый фильм 1930-х гг. (режиссер Шон Брэнни).

С. 303. *...прибывшие в Вермонт осваивать дарованные губернатором Уэнтвортом земли...* — Имеется в виду один из трех представителей семьи Уэнтворт, в разное время управлявших этими владениями британской короны. Беннинг Уэнтворт (1696–1770), губернатор Нью-Гэмпшира в 1741–1766 гг., широко практиковал продажу новым поселенцам земель на территории, которая позднее станет штатом Вермонт, хотя на ту же территорию тогда претендовала и колония Нью-Йорк.

Пеннакуки — индейское племя, изначально обитавшее на берегах р. Мерримак в северо-восточной части Массачусетса и прилегающих областях Нью-Гэмпшира. К концу XVII в. пеннакуки были оттеснены англичанами на запад и север от этих мест и впоследствии практически полностью истреблены.

С. 305. *Калликанзары* — в современном греческом фольклоре злобные существа сродни гоблинам, обитающие под землей и выбирающиеся на поверхность лишь в самое темное время года, между Рождеством и Крещением, чтобы по возможности вредить людям.

С. 306. *Форт*, Чарльз (1874–1932) — американский писатель и исследователь аномальных явлений, чьи идеи оказали влияние на многих авторов, работавших в жанре научной фантастики, притом что очень немногие из этих авторов принимали самого Форта всерьез. В то же время в 1931 г. его последователи создали «Фортовское общество», на смену которому в 1960-х пришла Международная Фортовская организация, издающая свой журнал.

Мейчен, Артур (1863–1947) — валлийский писатель, автор фантастических историй, популярных в 1890-х, затем забытых и неожиданно вновь вошедших в моду в 1920-х гг., на которые пришелся расцвет творчества Лавкрафта.

С. 309. *Тайлор*, Эдуард Бернетт (1832–1917) — английский этнограф, создатель анимистической теории происхождения религии.

Лаббок, Джон (1834–1913) — английский банкир, политик, археолог и этнограф, автор капитального труда «Доисторические времена» (1865).

Фрэзер, Джеймс Джордж (1854–1941) — крупнейший английский этнограф и фольклорист, автор «Золотой ветви» (1890–1915) — 12-томного исследования религиозных верований и магии.

Катрфаж, Жан Луи Арман (1810–1892) — французский зоолог и антрополог; выделял человека в особое царство наряду с растительным и животным, при этом главным отличительным признаком человека считая его религиозность.

Мюррей, Александр Стюарт (1841–1904) — английский археолог, автор «Мифологического справочника» (1873), хранитель коллекций античных древностей в Британском музее.

Осборн, Генри Фэрфилд (1857–1935) — американский биолог, автор трудов по палеонтологии позвоночных и истории эволюционного учения.

Кит, Артур (1866–1955) — английский антрополог и анатом, автор фундаментальных трудов «Древние типы человека» (1911), «Человеческое тело» (1925) и «Религия дарвиниста» (1925).

Буль, Пьер Марселен (1861–1942) — французский палеонтолог, автор книги «Ископаемые люди» (1921).

Смит, Джордж Эллиот (1840–1876) — английский археолог, вел раскопки Ниневии, открыл и перевел многие древние тексты, в том числе эпос о Гильгамеше.

С. 319. *Magnum Innominandum* — Великое Неименуемое (лат.); согласно Лавкрафту, истинная и невыразимая сущность вещей.

С. 341. *Хастур* — это имя впервые появилось в рассказе Амброза Бирса «Пастушка Хаита» (1893), где его носит пастушеский бог. Позднее в рассказах Роберта Чемберса так именуется некое существо, а также местность где-то в далеких звездных мирах. В лавкрафтовской мифологии Хастур упоминается как нечто таинственное, без указания на его природу.

Желтый Знак — загадочный магический символ, придуманный Робертом Чемберсом и фигурирующий в его сборнике рассказов «Король в желтом» (1895), откуда этот символ позаимствовал Лавкрафт.

С. 355. *Содома* (Джованни Антонио Бацци; 1477–1549) — итальянский художник сиенской школы живописи, ученик Леонардо да Винчи.

С. 365. *Гончие Псы Тиндала* — фантастические существа (обитатели четвертого измерения, концентрирующие в себе все зло Вселенной) из одноименного рассказа Фрэнка Белнэпа Лонга, изданного в 1931 г.

С. 377. *...открытии за Нептуном новой, девятой планеты...* — Плутон был открыт американским астрономом-любителем Клайдом Томбо в начале 1930 г., за несколько месяцев до того, как Лавкрафт закончил работу над повестью, но позднее времени ее действия (1928 г.).

ТВАРЬ НА ПОРОГЕ

Рассказ написан в августе 1933 г. и впервые опубликован в журнале «Weird Tales» в январе 1937 г. В продолжение этого сюжета Питер Кэннон (род. 1951), исследователь творчества Лавкрафта, написал два рассказа: «Месть Азатота» (1994) и «Дом Азатота» (1997).

КОШМАР В РЕД-ХУКЕ

Рассказ написан в августе 1925 г. и впервые опубликован в январском 1927 г. выпуске журнала «Weird Tales».

С. 425. *Феникс-парк* — большой общественный парк, расположенный на севере Дублина.

С. 426. «*Es lässt sich nicht lesen*» — цитата (слегка искаженная) из начальной фразы рассказа Э. По «Человек толпы».

С. 427. *Бердслей*, Обри Винсент (1872–1898) — английский художник-график; среди его лучших работ изысканные иллюстрации к «Смерти Артура» Т. Мэлори, «Похищению локона» А. Поупа, «Саломее» О. Уайльда.

Доре, Гюстав — см. примечание к рассказу «Модель Пикмана».

Гавернерз-Айленд (букв. Губернаторский остров) — остров в нью-йоркской бухте, несколько южнее Манхэттена, где некогда размещалась резиденция британского колониального губернатора, а позднее находились крепость и военная тюрьма.

С. 434. *Эллис-Айленд* — остров в нью-йоркской бухте, на котором в 1892–1954 гг. находился главный центр по приему иммигрантов. Отсюда же отправляли восwoяси «нежелательных лиц», пытавшихся обосноваться в Америке.

С. 435. *Йезиды* (езиды) — наименование части курдов, исповедующих синкретическую религию, которая сочетает элементы язычества, древних индоиранских верований, иудаизма, несторианского христианства и ислама. Йезиды крестятся и обрезаются, почитают Христа, Магомета и Авраама, а кроме того — падшего ангела (олицетворяющего злое начало), которого изображают в виде павлина.

С. 436. *...трамповых сухогрузах...* — Трамповое судно — грузовое судно, не совершающее регулярных рейсов и занимающееся перевозкой грузов по краткосрочным контрактам.

С. 440. *Тринити-колледж* — самое престижное учебное заведение в Ирландии (основан в 1592 г. при Дублинском университете).

С. 443. *Лилит* — злой дух, обычно в женском обличе. В еврейской мифологической традиции выступает в роли суккуба. Она овладевает мужчинами против их воли с целью

родить от них детей. Согласно преданию, Лилит была первой супругой Адама, а позднее, покинув его, стала женой Сатаны и матерью демонов. В средневековой еврейской литературе, откуда образ Лилит перекочевал во многие сочинения европейских авторов, красивая внешность Лилит связывается с ее способностью менять свой облик.

С. 449. *Инкубы и суккубы* — в средневековых народных верованиях злые духи-соблазнитель. Инкуб — демон мужского рода, суккуб — женского. Считалось, что это падшие ангелы.

Геката — см. примечание к рассказу «Крысы в стенах».

Эгипаны (греч.) и фавны (рим.) — в античной мифологии боги природы, полей и лесов. Обычно изображались с козлиными рогами, копытами и бородой.

Молох — в библейских текстах это имя применяется к различным божествам и зачастую связывается с человеческими жертвоприношениями, причем в честь этого бога, как правило, заживо сжигали малолетних детей.

Астарт (Иштар) — в ранней мифологии разных ближневосточных народов могущественная богиня плодородия, материнства и любви. Со временем, однако, образ этой богини был низведен до покровительницы плотских утех.

С. 454. *Дельрио*, Мартин (1551–1608) — испанский богослов-иезуит, известный своими трудами по магии и оккультизму. Его считали одним из идейных вдохновителей «охоты на ведьм».

ХРЕБТЫ БЕЗУМИЯ

Повесть написана в феврале-марте 1931 г. и впервые опубликована в журнале «Astounding Stories» (февраль — апрель 1936 г.).

С. 460. *Море Росса* — море у берегов Антарктиды, между мысами Адэр и Колбек. Названо в честь открывшего его английского полярного исследователя Джеймса Росса (1800–

1862). Южная часть моря (примерно половина его площади) покрыта шельфовым ледником Росса.

Шеклтон, Эрнест Генри (1874–1922) — британский исследователь Антарктики. В 1908–1909 гг. безуспешно попытался достичь Южного полюса, а в 1914–1916 гг. предпринял попытку пересечь Антарктиду через полюс от моря Уэдделла до моря Росса, в чем также не преуспел.

Амундсен, Руаль (1872–1928) — норвежский полярный исследователь, первым достигший Южного полюса 14 декабря 1911 г.

Скотт, Роберт Фолкон (1868–1912) — британский исследователь Антарктиды, на 33 дня проигравший Р. Амундсену «гонку к Южному полюсу» и на обратном пути погибший вместе со своими спутниками.

Бэрд, Ричард Ивлин (1888–1957) — американский полярный исследователь, руководивший пятью экспедициями в Антарктику, первая из которых состоялась в 1928–1930 гг., непосредственно перед написанием данной повести.

...в докембрийских слоях... — Кембрийский геологический период начался ок. 540 и завершился ок. 490 млн лет назад.

С. 467. *Трилобиты* — вымерший класс морских членистоногих; появились в начале кембрия, вымерли к концу палеозоя (ок. 250 млн лет назад).

Криноиды (морские лилии) — класс иглокожих, самых ранних ископаемых представителей которого относят к нижнему ордовику (примерно 450 млн лет назад).

С. 468. *Дансени*, Эдвард Планкетт, барон (1878–1957) — англо-ирландский писатель, поэт и драматург, один из основоположников жанра фэнтези, подписывавший свои сочинения «лорд Дансени».

С. 469. *Архейские сланцы*. — Архейский эон в геологической истории Земли завершился 2,5 млрд лет назад.

С. 475. *Цефалоподы* (головоногие) — класс морских моллюсков, известный из кембрия. К современным видам относятся кальмары и осьминоги.

Спирифериды — вымерший отряд плеченогих (брахиоподов).

Телеосты (костистые рыбы) — инфракласс лучеперых рыб, известны с середины триаса. В настоящее время — доминирующий класс рыб.

Ганоиды (ганоидные рыбы) — надотряд лучеперых рыб. К современным его представителям относятся осетры.

С. 476. *Плакодермы* (пластинокожие, панцирные рыбы) — класс вымерших рыб.

Лабиринтодонты (лабиринтозубые) — подкласс вымерших земноводных, похожих на крокодилов или саламандр длиной до 5 м.

Текодонты — отряд вымерших пресмыкающихся подкласса архозавров; достигали 6 м в длину.

Мозазавры — вымершие морские рептилии со змеевидным туловищем; достигали 17 м в длину.

Палеотерии — род вымерших парнокопытных, внешне походивших на современных лошадей.

Диноцераты — вымерший отряд травоядных млекопитающих с несколькими парами рогоподобных наростов на черепе и длинными верхними клыками.

Эогиптус — древнейший представитель лошадиных, размером не крупнее лисицы.

Ореодонты — подкласс вымерших парнокопытных млекопитающих, внешне отдаленно напоминавших свиней.

Титанотерии (бронтотерии) — семейство вымерших непарнокопытных млекопитающих, похожих на современных носорогов, но значительно крупнее (высота в холке до 2,5 м).

Олигоцен — последняя эпоха палеогенового периода, 33–24 млн лет назад.

С. 477. *Команчский период* — термин, предложенный некоторыми учеными для обозначения отдельного геологического периода, соответствующего нижнему мелу в общепринятой терминологии.

С. 506. *Мачу-Пикчу* — священный город инков, воздвигнутый на труднодоступной вершине горного хребта в Перу

и покинутый жителями ок. 1530 г. Так и не найденный испанскими конкистадорами, он был открыт для ученого мира лишь в 1911 г. американским археологом Х. Бингемом.

Киш — шумерский город, центр одного из древнейших месопотамских государств, существовавший с конца 4 тысячелетия до Р. Х.

Дорога Гигантов — участок северо-восточного побережья Ирландии, где расположены ок. 40 тысяч смыкающихся базальтовых колонн, которые образовались в результате мощного вулканического извержения и последующего растрескивания слоя лавы при остывании.

С. 509. *Сад Богов* — горная местность в штате Колорадо, получившая название из-за множества причудливых скальных формаций, зачастую напоминающих башни, замки, храмы и т. п.

С. 514. *Петра* — древний город на территории современной Иордании, бывший столицей Идумеи, а позднее — Набатейского царства; в IV–V вв. пришел в запустение. Многие жилища, храмы и гробницы высечены внутри окружающих город скал, в том числе «Змеиная гробница», названная так из-за настенного рельефа с изображением двух змей — стражей царства мертвых.

С. 535. *Тейлор*, Фрэнк Берсли (1860–1938) — американский геолог, в 1908 г. выдвинувший гипотезу о смещении континентов к экватору в меловом периоде, объяснив этот процесс притяжением Луны, чья орбита тогда находилась гораздо ближе к Земле.

Вегнер, Альфред Лотар (1880–1930) — немецкий геофизик, создатель теории дрейфа материков; участник трех научных экспедиций в Гренландию, в последней из которых он погиб.

Джолли, Джон (1857–1933) — ирландский физик, впервые предположивший наличие связи между тектоническими движениями земной коры и радиоактивным распадом в недрах планеты.

С. 539. *Земля Грейама* — северная часть Антарктического п-ова, вытянутого в сторону Южной Америки. До 1961 г. так называли весь этот полуостров.

С. 541. *Уилкс*, Чарльз (1798–1877) — американский исследователь Океании и Антарктики. Открыл часть побережья Восточной Антарктиды, названную его именем (Земля Уилкса).

Моусон, Дуглас (1882–1958) — австралийский геолог, руководитель двух экспедиций в Антарктику (1911–1914 и 1929–1931 гг.). Его именем названы часть берега и море в Восточной Антарктиде.

С. 543. *Стигийское озеро* — аналог Стикса, подземной реки царства мертвых, представленной как озеро или болото в некоторых произведениях древнегреческой литературы и в «Божественной комедии» Данте.

Земля Тоттена — так до 1940-х гг. назывался ледник Тоттена.

С. 548. *Борхгревинк*, Карстен (1864–1934) — норвежский полярный исследователь, организовавший первую зимовку в Антарктиде (у мыса Адэр) в 1899–1900 гг.

С. 560. *Детрит* — отложения мелких частиц органического (отмершие растения и животные) и минерализованного вещества.

С. 566. *Пальмира* — греческое название древнего сирийского г. Тадмор. В эпоху поздней античности, находясь близ границы Римской империи с Парфией (позднее с Сасанидским Ираном) и временами претендуя на самостоятельность, город неоднократно опустошался захватчиками. Большинство сохранившихся сооружений относится к римской и ранневизантийской эпохам (I–VI вв.).

С. 570. *Палимпсест* — рукопись на пергаменте, сделанная поверх стертого предыдущего текста. В данном случае имеются в виду вторичные барельефы, выполненные на месте их удаленных предшественников.

С. 574. *Орфей*. — Согласно греческому мифу, легендарному певцу Орфею было позволено вывести из подземного

ПРИМЕЧАНИЯ

царства его жену Эвридику при условии, что певец ни разу не оглянется на нее по дороге. Орфей, не удержавшись, оглянулся, и Эвридика навсегда осталась в царстве мертвых.

Жена Лота. — По библейскому преданию, когда Господь решил уничтожить греховный Содом, он позволил бежать из города благочестивому семейству Лота, однако жена последнего, вопреки божественному запрету, оглянулась во время бегства и тут же превратилась в соляной столб.

В. Дорогокупля

СОДЕРЖАНИЕ

ПОКАЗАНИЯ РЭНДОЛЬФА КАРТЕРА	
<i>Перевод О. Мичковского</i>	5
НЕИМЕНУЕМОЕ. <i>Перевод О. Мичковского</i>	13
СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	25
ВРАТА СЕРЕБРЯНОГО КЛЮЧА. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	42
УЖАС ДАНВИЧА. <i>Перевод Е. Мусихина</i>	90
МУЗЫКА ЭРИХА ЦАННА. <i>Перевод Л. Бриловой</i>	149
МОДЕЛЬ ПИКМАНА. <i>Перевод Л. Бриловой</i>	159
СКИТАЛЕЦ ТЬМЫ. <i>Перевод О. Алякринского</i>	177
ХРАМ. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	207
КРЫСЫ В СТЕНАХ. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	228
В СКЛЕПЕ. <i>Перевод О. Мичковского</i>	253
ИЗГОЙ. <i>Перевод О. Мичковского</i>	265
КАРТИНКА В СТАРОЙ КНИГЕ. <i>Перевод О. Мичковского</i>	274
ХОЛОД. <i>Перевод Е. Мусихина</i>	286
ШЕПЧУЩИЙ ИЗ ТЬМЫ. <i>Перевод О. Алякринского</i>	298
ТВАРЬ НА ПОРОГЕ. <i>Перевод О. Алякринского</i>	387
КОШМАР В РЕД-ХУКЕ. <i>Перевод И. Богданова</i>	423
ХРЕБТЫ БЕЗУМИЯ. <i>Перевод Л. Бриловой</i>	458
Примечания. <i>В. Дорогокупля</i>	583

Лавкрафт Г. Ф.

- Л 13 Хребты Безумия : роман, повесть, рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт ; пер. с англ. О. Алякринского, И. Богданова, Л. Бриловой и др. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. — 608 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-06778-3

Второй том полного собрания сочинений мастера литературы ужасов — писателя, не опубликовавшего при жизни ни одной книги, но ставшего маяком и ориентиром целого жанра, кумиром как широких читательских масс, так и рафинированных интеллектуалов, неиссякаемым источником вдохновения для кинематографистов. Сам Борхес восхищался его рассказами, в которых место человека — на далекой периферии вселенской схемы вещей, а силы надмирные вселяют в души неосторожных священный ужас. Все произведения публикуются либо в новых переводах, либо в новой, тщательно выверенной редакции. Эта книга должна стать настольной у каждого любителя жанра, у всех ценителей современной литературы!

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ГОВАРД ФИЛЛИПС ЛАВКРАФТ
ХРЕБТЫ БЕЗУМИЯ

Ответственный редактор Александр Гузман
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Маргарита Ахметова, Лариса Ершова

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):



Подписано в печать 06.07.2016. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.

Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 38.

Заказ № 1849/16.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



YILN1475805R

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят известнейшие российские издательства: «Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри». Наши книги — это русская и зарубежная классика, современная отечественная и переводная художественная литература, детективы, фэнтези, фантастика, non-fiction, художественные и развивающие книги для детей, иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям знаний, историко-биографические издания. Узнать подробнее о наших сериях и новинках вы можете на сайте Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг, узнать о различных мероприятиях и акциях, а также заказать наши книги через интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01.

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors

Творчество Лавкрафта целиком опиралось на творения классиков жанра. Благодаря этому его труды выдержали испытание временем и сегодня, спустя полвека перемен и хаоса, у писателя есть немало увлеченных поклонников. Мы, конечно, можем отмахнуться от лавкрафтовской космологии как от абсурдной, но какая-то часть нашего естества подсказывает, что эти тайные страхи небезосновательны. В то время, когда Лавкрафт создавал «мифы Ктулху» и легенду о воскрешении Древних Богов, возвращающихся, чтобы править землей, многие с легкостью открещивались от подобных фантазий, не видя в них ничего, кроме параноидального бреда о будущем. Сегодня в обществе все более крепнет подозрение, что это будущее может стать нашим настоящим.

Роберт Блох

Говарда Филлипса Лавкрафта называли «Эдгаром По XX века».

Он любил кошек и мороженое, Древний Рим и старинную колониальную архитектуру своего родного Провиденса.

Он ненавидел современность и механизацию, холодную погоду и все, что хотя бы отдаленно было связано с морем. Его внешний вид обличал в нем автора ужасных историй. Он был очень высок и невероятно худ. Но каким бы непривлекательным оно ни казалось, это впечатление тут же отступало, стоило только заглянуть ему в глаза. Его взгляд был на редкость теплым и дружелюбным и никогда не терял заинтересованности ко всему происходящему вокруг. Несмотря на то что слабое здоровье помешало Лавкрафту посещать колледж, он обладал поразительными знаниями в области науки и искусства. Он много читал, и его фотографическая память навеки запечатлевала прочитанное. Он знал несколько языков и даже порой вел переписку на латыни. В знании истории ему не было равных, и довольно часто он развлекался тем, что составлял списки ошибок и неточностей, встречавшихся в голливудских эпических картинах. С другой стороны, говорили, что он прожил всю жизнь в комнате с зарешеченными окнами, ненавидел женщин и крахмальные воротнички, выходил подышать воздухом, которым, кстати, только и питался, неизменно после полуночи, знался с подозрительными личностями, неизвестно куда пропадал на целые недели, общался с людьми при помощи малочитаемых каракуль — словом, вел настолько трансцендентную жизнь, что остается только диву даваться, откуда он находил время для творчества.

«Книжная витрина»

